Жан-Пьер
Шаброль
ПУШКА
«БРАТСТВО»

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС» МОСКВА 1974

Jean-Pierre
Chabrol

LE CANON FRATERNITÉ

Paris • 1970

Пушка рабочего братства

...Федератов на Пэр-Лашез было не более двух сотен. Когда прямым попаданием из пушки снесло главные ворота, стали драться штыками, саблями, ножами — и все это в потемках, под проливным дождем. Федераты были смяты численно превосходящим их врагом. Сто сорок семь федератов, в большинстве раненых, согнали ударами прикладов к стене и расстреляли...

Так описывает Жан-Пьер Шаброль кровавое воскресенье 28 мая 1871 года.

Прошло сто лет. Ныне Стена Коммунаров — революционная святыня.

Стена Коммунаров...
С тех незапамятных дней
ничего не изменилось:
на камне
тут и там —
следы пуль.

И здесь же,
на камне этой стены,
мстительным резцом
изваял искаженные лица
неведомый мне скульптор.

И еще он создал фигуру женщины,
которая, прижавшись спиной к ограде,
в безысходной ярости,
тяжело дыша обнаженной грудью,

обратила к врагу лихорадочное лицо
и, простирая грозящие руки,
выкрикивает:
«La Commune est morte —
Vive la Commune!» [1]

Действительно — Коммуна живет.

«Она живет в достижениях социалистических стран. Она живет в битвах мирового революционного движения. Она живет в борьбе нашей партии за социальное освобождение трудящихся, за национальную независимость и мир, за те же идеалы, что и у бойцов баррикад мая 1871 года»,— писала газета «Юманите» в марте 1971 года[2], когда Франция, все передовое человечество торжественно отмечали столетие Парижской Коммуны.

Грандиозный международный митинг прошел в зале Мютюалите. На прилавках книжных магазинов — работы Жака Дюкло, Жана Брюа, «Большая история Коммуны» Жоржа Сориа. В театрах ставились пьесы «Весна 71 года» Артюра Адамова, «Расстрел в Сатори» Пьера Але, «13 солнц с улицы Сен-Блез» Армана Гатти. Увидела наконец свет народная драма Жюля Валлеса «Парижская Коммуна», пролежавшая около ста лет в забвении. Был переиздан роман Жана Кассу «Кровавые дни Парижа», впервые опубликованный в 1935 году,— одно из наиболее заметных произведений исторического жанра того времени. Появились документальные книги Армана Лану «Вальс пушек» и «Красный петух», новые романы: «Булыжники ненависти» Жоржа Туруда, «Пушка «Братство» Жан-Пьера Шаброля.

Создание этих книг связано не только с памятной датой. Здесь с наибольшей очевидностью проявилась одна из особенностей современной французской литературы, а именно — возрождение исторического романа.

Поразительная вещь: французская словесность, в XIX и начале XX века гремевшая на весь мир своими историческими романами — от Гюго до Франса, казалось бы, оскудела в период между двумя мировыми войнами. Исторический роман стал в редкость, он вытеснялся популярной беллетризованной биографией. А ведь жанр исторического романа — в самой природе нашего века,

---

[1] Е. Чаренц, Стена Коммунаров. Перевод Игоря Поступальского.
[2] «L'Humanité», 24 mars 1971.

когда каждый человек неразрывно связан с историей. «Люди, независимые от истории,— фантазия,— говорил Максиму Горькому Ленин.— Если допустить, что когда-то такие люди были, то сейчас их — нет, не может быть. Они никому не нужны. Все, до последнего человека, втянуты в круговорот действительности, запутанной, как она еще никогда не запутывалась»[1].

Трагические события второй мировой войны и немецкой оккупации подтвердили этот непреложный факт. Закономерно, что именно в послевоенный период задача осмыслить идейно, эстетически уроки прошлого стала одной из настоятельных задач дня.

Классическим образцом такого повествования явился роман Арагона «Страстная неделя» (1958), где все сюжетные линии, связанные с бегством Бурбонов, определяются в конечном счете движением истории, которую творят народные массы. Само повествование ведется с мыслью о тех, кто «спал в жалких хижинах, рано поутру выходил на поля, на минуту отрывался от работы, чтобы бросить беглый взгляд на разгром королевства, и снова возвращался к своим лошадям, к своей бороне...»[2]. Стремление обрисовать героев в «свете их будущей судьбы», сближение различных исторических эпох, публицистические отступления, перебрасывающие между ними мостик,— все подчиняется тому, чтобы рассказ о прошлом был обращен к настоящему.

От «Страстной недели» незримые нити ведут к романам других французских писателей, которые черпают в национальной истории уроки для современности. Новым для нынешнего этапа развития французского исторического романа является то, что *на авансцену выходит непосредственно народ*.

Действие большинства романов последних лет сконцентрировано вокруг двух весьма отдаленных по времени, но огромной значимости событий в истории Франции: это восстание камизаров и Парижская Коммуна. Общее в их проблематике — героическая борьба народа с поработителями и кровавая расправа над повстанцами, вызывающая прямые ассоциации с гитлеров-

---

[1] М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, М., «Художественная литература», 1952, т. 17, стр. 30.

[2] Aragon, J'abats mon jeu, Paris, 1959, p. 73.

ским террором. Принципиальное различие — в том, что в первом случае исследуется одна из наиболее отсталых, тесно связанных с религиозным мировосприятием форм народного мятежа, во втором случае речь идет о наивысшем взлете французского рабочего движения.

Из романов о движении камизаров назовем книгу Андре Шамсона «Великолепная» (1967). «Великолепная» — галера, на которой должны отбывать наказание «каторжники за веру», севенские гугеноты. Если Шамсон сосредоточивает внимание на морально-религиозных проблемах, то Макс Оливье-Лакан, автор «Огней гнева» (1969), обращается к самому восстанию камизаров. Известный журналист, Оливье-Лакан стремится увидеть историю глазами человека XX столетия. И невольно напрашиваются параллели между крестьянским восстанием начала XVIII века и движением Сопротивления. Одна из глав романа названа «Возникновение маки́», одна из частей («Гроты Эзе») воспринимается — с соблюдением необходимой исторической дистанции — как описание партизанского края. Убедительно раскрывается психология человека, сделавшего в ответственный момент истории окончательный выбор, ставшего на торную дорогу борьбы.

В 1961 году вышел в свет роман Жан-Пьера Шаброля «Божьи безумцы»[1]. В эпилоге книги читаем: «Итак, мы ввели сюда Историю». Это произведение подлинно историческое и вместе с тем современное по духу, хотя лишенное черт модернизации. Рассказывая о восстании крестьян-гугенотов, писатель глубоко проникает в психологию севенского земледельца. Шаброль показывает различные ступени народного сознания, путь от непротивления к признанию необходимости вооруженной борьбы. В этом и состоит смысл эволюции, духовного развития главного героя романа Самуила Шабру, который полагался поначалу только на слово божие, а затем взялся за нож. В центре произведения — восставший крестьянин. «Божьи безумцы» — это роман народного Сопротивления.

Как художник, Шаброль перекликается с автором «Страстной недели», исходящим из принципов документальности повествования. Но писатель находит свое собственное, оригинальное решение. «Божьи безумцы» —

[1] В русском переводе Н. Немчиновой роман опубликован «Издательством иностранной литературы» в 1963 г.

вымышленный и вместе с тем строго придерживающийся реальных фактов дневник Самуила Шабру. Историческая документация как бы вынесена за скобки: ее место в авторских комментариях. Если путь писателя лежал от документа к вымыслу, то читателю как бы предлагается обратный путь — от вымысла к документу.

Идейные и художественные принципы, положенные в основу романа «Божьи безумцы», получили дальнейшее развитие в романе «Пушка «Братство» (1970)[1]. Обе книги представляют собой дневники участников исторических событий, однако в новом произведении Шаброля документация уже органически вплетена в самый текст повествования: воспроизводятся отдельные характерные документы, приводятся биографии реальных исторических лиц, действующих в романе, их речи и заявления.

Как это присуще произведениям исторического жанра, точка зрения участника событий соотносится с точкой зрения современника. Особенность и новаторство романа Шаброля в том, что прием обнажается и становится одним из главных принципов всей структуры книги. Перед читателем — дневник Флорана Растеля, молодого крестьянина, приехавшего в Париж в год, когда шла Франко-прусская война и к столице подступали пруссаки. Дневник начат 15 августа 1870 и окончен 28 мая 1871 года. Вторично Растель возвращается к своему дневнику в 1914 году, когда разразилась первая мировая война, и, наконец, последние его замечания относятся к 1936—1939 годам — временам гражданской войны в Испании.

В заметках 1914 года вводится главным образом информационный материал, почерпнутый Флораном из воспоминаний, исторических трудов, приводятся факты, которых мог не знать рядовой участник Коммуны. И главное: высказывается точка зрения на все происходившее в те далекие годы уже сложившегося, умудренного жизненным опытом революционера.

Современная оценка, глубокое осмысление исторического прошлого, мостик к настоящему — вот главное в записях Растеля 30-х годов. Совет Бисмарка Жюлю Фавру:

---

[1] Впервые на русском языке фрагменты из романа «Пушка «Братство» с согласия автора были напечатаны в № 11—12 журнала «Иностранная литература» за 1972 год. В настоящем издании роман печатается с некоторыми сокращениями.

«А вы спровоцируйте восстание, сейчас, когда в вашем распоряжении еще есть армия, чтобы его подавить!» — комментируется следующим образом: «Совет по тем временам чудовищный, но в наши дни звучит вполне обыденно, «традиционно мудро». За рассуждениями 1914 года о начавшейся войне следует призыв: «Долой фашизм!»

Эти разные, отделенные друг от друга десятилетиями записи обладают внутренним единством: они ведутся человеком, который пережил три войны, три германских нашествия. Отсюда — трагическая перекличка:

«И снова тишина обрушилась на нас пылью пороха, зарядных картузов, развороченной земли. Мы вытащили из ушей паклю.

А дрозд, дурачок, поет себе да поет!

Снаряды рвутся над Шампанью, над Артуа.

Бомбы рвутся над Герникой».

Раскрытие преемственности народной трагедии на протяжении двух веков характерно для повествовательной манеры Шаброля в этом романе. Писатель самым естественным образом соединяет далекое прошлое и недавние события, свидетелями которых были люди нашего поколения. Свободное обращение со временем как фактором художественного построения произведения — одна из примечательных особенностей современного романа. Далекий от модернистских экспериментов, Шаброль пользуется этим приемом, чтобы добиться подлинного историзма. Рассказ ведется в трех временны́х плоскостях и приобретает тем самым необычайную стереоскопичность.

Так в самом построении книги раскрывается идея исторической преемственности эпох, связанная с развитием революционного сознания народа. Главная идея выступает в различных, сопряженных друг с другом планах.

Роман Шаброля — это прежде всего история пушки «Братство». Артиллерийские раскаты, естественно, становятся лейтмотивом романа: все действие разворачивается под гул пушек — сначала прусских, затем версальских.

Юная Марта, подруга Флорана Растеля, организует сбор бронзовых су, чтобы у рабочих была своя пушка для обороны Парижа, для защиты Революции. Из собранных монеток рабочие сами отлили пушку и назвали ее «Братство», используя один из лозунгов Французской революции конца XVIII века — «Свобода, Равенство, Братство». Эти прекрасные идеалы должны быть утверждены силой

оружия — к такому выводу пришли труженики Парижа.

Пушка принадлежит Бельвилю — пролетарскому кварталу Парижа. «Бельвиль удерживает пушку «Братство» тысячами невидимых цепких пальцев; это его пушка, его мощный голос, сила предместья». Правда, реальной военной силы она как будто не имеет: выпущенные ею снаряды не разрываются. Но ее громоподобный голос вселяет ужас в сердца врагов, дарует надежду и веру коммунарам. И в последний день Коммуны, когда бойцы Бельвиля сражаются на последней баррикаде, раздается последний выстрел пушки: «Казалось, никогда не кончит греметь это знаменитое «бу-у-у-ум-зи»... результат был чудовищен. Уцелели лишь задние ряды версальских солдат. С воплями они разбежались по своим норам».

Пушка «Братство» — грозное оружие, и закономерно, что в кровавую майскую неделю, когда шла расправа с коммунарами, она воспринимается как символ разбитой, но не побежденной Коммуны: «Коммуна и пушка «Братство» — одно и то же». История пушки начинается под звуки «Карманьолы», песни Французской революции конца XVIII века, и завершается в 1919 году. Переданная Тьером Бисмарку, пушка хранилась в Военном музее в Берлине. Во время немецкой революции 1918 года передовой отряд рабочего класса, спартаковцы, когда у них кончались боеприпасы, перелили пушку на пули, и таким образом полвека спустя она встала на защиту Берлинской Коммуны.

Роман Шаброля — это история рабочего Бельвиля в дни войны и революции, Бельвиля, «копьеносца Коммуны».

В центре произведения — простой люд предместья. Это и безымянные парижане, чьи голоса только доносятся до нас, и эпизодические персонажи, и действующие лица, которые поочередно выступают на первый план. Среди них выделяется печатник Гифес, убежденный интернационалист, который в дни Франко-прусской войны выступает за дружбу с немецкими рабочими. Перед нами возникает человек с бледным лицом, оттененным черной шелковистой бородой, мастер порассуждать, но когда надо — и действовать. Гифес — последний командир баррикады Бельвиля. Шаброль отнюдь не идеализирует Гифеса и других обитателей Дозорного тупика, слесарей и прачек,

кузнецов и сапожников. Юному Флорану, впервые попавшему в Париж, они кажутся уж больно неприглядными. Невольно у него вырывается вопрос:

«Ну скажи, скажи, разве вот это — пролетариат, народ?!»

И его наставник, ветеран революции 1848 года, отвечает ему:

«Представь себе, сынок, что да».

Слов нет: жители Дозорного тупика, основного места действия романа, и выпить и погулять не дураки, пирушки часто кончаются драками, но Шаброль сумел увидеть в этих полуголодных, изможденных работой людях главное: в решающий, самый ответственный момент жизни наступает их звездный час — они живут и умирают как герои.

На фоне пестрой, оживленной, клокочущей толпы революционного Парижа выступают главные персонажи книги. Это воспитавший Флорана старый революционер дядюшка Бенуа, участник событий 1848 года, бывший политический ссыльный, которого все зовут Предком, и возлюбленная Флорана Марта. Каждый из них представляет различные ступени народного сознания.

Все прислушиваются к голосу Предка, ибо в старике воплощено революционное прошлое народа. Он был «везде — и нигде», был «вроде никто» и знал всех. Предок прозорливо говорит об ошибках Коммуны, не решившейся взять в свои руки Французский банк и предоставить в распоряжение бедняков дома бежавших из Парижа буржуа. Ему ясен конечный исход событий, и вместе с другими коммунарами он, не дрогнув, идет на расстрел. Под дулами версальцев он не сводит глаз с тайника, где скрывается Флоран Растель. Ибо Флоран — его будущее. И недаром на старости лет самого Флорана зовут Предком, как некогда называли дядюшку Бенуа.

С Предком заканчивается страница истории, с Мартой открывается новая. Эпиграф романа:

> Когда волнуется народ,
> Смуглянка гордая идет
> Державным шагом
> Под красным стягом.

Смуглянка, Марта — образ совершенно конкретный: читатель видит как живую эту разбитную девчонку с огромными темными глазами, слышит ее насмешливую речь. Вот она с Флораном, вот в толпе и, наконец, в бою,

на баррикаде. Жизнь не баловала Марту — еще ребенком мать бросила ее на произвол судьбы. Но вопреки своему горькому опыту именно она олицетворяет прекрасное, праздничное начало, воплощенное в Революции. Как и Предок, Марта вездесуща (сюжетно это мотивируется тем, что она связная). Именно она преграждает путь солдатам, которым было приказано овладеть пушкой «Братство». «Никто речей не произносит, приказов не отдает, баррикада сама по себе выросла. Марта тоже к толпе с речами не обращалась. Да и что могла бы она сказать? «Это ваша собственная пушка, ее отлили из ваших бронзовых су...» И без того любой бельвилец думает именно так. Марта — вожак? Скорее уж символ, фигурка из просмоленного дерева на носу корабля, то бишь предместья». Так совершенно естественно образ Марты вырастает до символа.

Дальнейшая судьба Марты остается неизвестной. В последний раз ее видели поздно вечером, издали: она куда-то неслась при свете пожарища... Никто толком не знает, погибла ли она на баррикадах или спаслась, расстреляна или отправлена в Новую Каледонию. Но когда в 30-е годы Флорану кажется, что он узнал Марту на фотографии, где снята баррикада на улицах Барселоны, становится ясно: Марта — революционное будущее народа. Народа, который бессмертен.

Роман Шаброля — это история Парижской Коммуны. История весьма своеобразная. Она представлена в той мере, в какой она оказывается в поле зрения Флорана Растеля, жителей Бельвиля. Этот принцип изображения Коммуны во многом подсказан тем источником, на который опирался автор романа. Из посвящения мы узнаём, скольким обязан Шаброль историку-марксисту Морису Шури, перу которого принадлежат книги «Париж был предан» (1960), «Коммуна в Латинском квартале» (1961), «Коммуна в сердце Парижа» (1967). Автор этих книг ставил своей целью создать целостную картину Коммуны, рассматривая ее деятельность по отдельным кварталам столицы.

Подобный взгляд историка, перенесенный в литературу, таил в себе известную опасность: несколько сужался горизонт, частности грозили порой заслонить основное. Скрупулезное описание жизни квартала замедляло действие. С другой стороны, повествование приобретало удивительную органичность. И главное — именно здесь наи-

более отчетливо выступает народная точка зрения на Коммуну, ее руководителей. В книге перед нами предстают реальные исторические деятели Коммуны, такие, как Варлен и Делеклюз, Домбровский и Риго, Луиза Мишель и Елизавета Дмитриева, но прежде всего Флуранс, Ранвье и Валлес, ибо они — делегаты от Бельвиля[1].

Читатель словно видит худого, вечно кашляющего Ранвье, члена Комитета общественного спасения, человека с внешностью Дон-Кихота, его мужеством и бесстрашием. Ранвье самоотверженного и неутомимого, картина кипучей деятельности которого разворачивается перед нами в своего рода вставной новелле «День Ранвье». Мы слышим голос Валлеса. Этот «пылкий трибун-журналист похож на свои статьи: широколобый, волосы длинные, расчесанные на прямой пробор, вольно растущая борода, взгляд поначалу взволнованный, а потом мечущий молнии». Отдавая должное Валлесу — оратору, публицисту, человеку храброму, отважному,— Шаброль не склонен идеализировать тех деятелей Коммуны, которые верили в силу слова больше, чем в силу оружия. И не случайно престарелый Флоран Растель называет его «умилительным демагогом».

Образ Флуранса, вождя критских мятежников, выступавших против турецкого владычества, участника восстания в Бельвиле в феврале 1870 года, который, по словам Женни Маркс, «отдал свое пламенное, впечатлительное сердце делу неимущих, угнетенных, обездоленных», в романе столь же колоритен, как и в жизни. Вот он, в красной форме гарибальдийца, сидит за столом в бельвильской харчевне. Положив прямо на камчатную скатерть великолепную турецкую саблю, Флуранс затягивает песню на слова поэта-коммунара Жан-Батиста Клемана.

> Люблю я твой старый Париж,
> Франция моя!
> Свободой вскормленных сыновей
> И три твои Революции,
> Франция моя!

---

[1] «За исключением немногих — Варлена, Делеклюза, Флуранса, Гюстава Курбе и, может быть, еще трех-четырех имен,— большинство людей, возглавивших первое правительство рабочего класса, оставалось неизвестным за пределами своего батальона Национальной гвардии или своего квартала или округа. Но это составляло не слабость Коммуны, а ее силу. То было подлинно народное правительство, подлинно народная власть» (А. З. Манфред, Вступительная статья к книге: Морис Шури, Коммуна в сердце Парижа, М., «Прогресс», 1970, стр. 17).

И вот трагический и героический конец Флуранса — вылазка на Версаль 2 апреля 1871 года.

В музее Карнавале в Париже среди других исторических документов хранится последнее письмо Флуранса — оно приводится в романе. Пожелтевшая от времени бумага, торопливый почерк. Письмо заканчивается словами: «Нужно во что бы то ни стало собрать достаточно сил и выкурить их из Версаля». Идти на Версаль — таково было страстное желание парижан, их волю и выражал Флуранс. Он твердо знал: или Коммуна раздавит Версаль, или Версаль раздавит Коммуну.

Как известно, вылазка коммунаров окончилась неудачей. Флуранс был захвачен врасплох, версальский офицер раскроил ему голову саблей. Но до конца романа проходит тема бельвильских стрелков — Мстителей Флуранса, самых стойких солдат Революции.

Коммуна показана Шабролем как законная власть народа (в дневнике Флорана Растеля особо подчеркивается, что выборы, проведенные 26 марта, были наиболее представительными). Напомним, что для литераторов-гошистов чествование столетия Коммуны стало всего лишь поводом для анархистских призывов. Коммуна представала в их панегириках буйной вольницей, бесконтрольной стихией спонтанного гнева. В противовес подобного рода сочинениям Шаброль утверждает: Коммуна не анархия, а революционный порядок, революционная законность. В записях Растеля 1914 года отмечается: «Все дружно признавали: несмотря на отсутствие полиции, в Париже царил идеальный порядок».

В романе справедливо говорится о двух партиях, деливших руководство революцией,— бланкистско-якобинском «большинстве» и прудонистском «меньшинстве», о жарких спорах, разгоравшихся между ними. Но как мы узнаем из позднейших записей Флорана Растеля, рядовые бойцы Коммуны, те, что сидели в укреплениях, защищали форты, дрались на баррикадах, толком и не знали об этих разногласиях. У бельвильцев свои, самые простые и самые верные представления о Коммуне: «Народоправство! Справедливое распределение продуктов! Народное ополчение! Наказание предателей! Всеобщее обучение! Орудия труда — рабочему! Землю — крестьянину! ...Сорбонна, доступная беднякам! Полиция против богачей! Хозяев — в лачуги!»

Известно замечание В. И. Ленина из его «Плана чтения о Коммуне»: «Революционный инстинкт рабочего класса прорывается *вопреки* ошибочным теориям»[1]. И диалектика романа Шаброля заключается, в частности, в том, что народ очень тонко чувствует, когда сила Коммуны переходит в ее слабость, когда формальное соблюдение законности оборачивается то боязнью передать народу деньги, ему принадлежащие, то милосердием по отношению к палачам Коммуны. На собраниях, народных сходках раздаются самые различные голоса: говорят прудонисты, бланкисты, анархисты, люди в политике искушенные и от нее далекие. Но в сумятице этой есть внутренняя логика. Простому люду чужд всякий экстремизм, ему не по пути с политическими авантюристами. Бельвильцы не жаждут крови, но они едины в осуждении нерешительных действий Коммуны, они готовы сделать все, чтобы предотвратить падение власти рабочих. В майские дни они стоят насмерть.

Версальцы и коммунары. Силы, казалось бы, неравные. С одной стороны — искусство убивать, с другой — вера. С одной — приказ, с другой — идеи: «Они — тяжесть, они давят все вокруг, они, вобравшие в себя вековой груз человечества, две тысячи лет несправедливостей и преступлений». Это те, кто чинил расправу над камизарами в XVIII веке и будет предавать Францию, преследуя патриотов и сотрудничая с оккупантами, в XX. Но нельзя убить веру, нельзя убить мысль. В последних числах мая Флоран Растель заносит в дневник: «Может, сейчас это звучит наивно, но в тот час народ казался мне непобедимым». То, что могло казаться наивным сто лет назад, стало теперь реальностью. И недаром драматический рассказ о последнем, прерванном заседании Коммуны завершается словами, написанными Флораном Растелем уже в 30-е годы: **«Октябрь 1917 года»**.

Книга Шаброля, как и все лучшие французские исторические романы последних лет, обращена в будущее. За плечами ее автора опыт движения Сопротивления, когда совсем еще молодой Шаброль — в годы оккупации ему не было и двадцати — познал этот главный жизненный урок: свободолюбивый народ непобедим. В послед-

---

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., Изд. 5-е, т. 9, стр. 329.

ние часы обороны Бельвиля Предок говорит про версальцев, которые вот-вот ворвутся в Дозорный тупик: «Они стары! А мы... Мы юность мира!» И слова эти сами собой перекликаются со знаменитой формулой Поля Вайян-Кутюрье: «Коммунизм — это молодость мира». Вспомним предсмертное письмо героя движения Сопротивления Габриэля Пери: «Ночью я долго думал о том, как прав был мой дорогой друг Поль Вайян-Кутюрье, говоря, что «коммунизм — это молодость мира» и «коммунизм подготовляет поющее завтра»[1]. Так устанавливается связь времен, разорвать которую невозможно.

Роман значителен и по мыслям, в нем заложенным, и по своим художественным достоинствам. Шаброль не раз говорил, что пишет для народа. А это означает: стараться писать хорошо. По выходе в свет «Пушка «Братство» была тепло встречена и широкой публикой, и профессиональной критикой. В прессе мелькали такие строки: если вы можете прочитать в этом году только одну книгу, возьмите Шаброля. Андре Стиль писал в «Юманите»: «Талант Шаброля по-прежнему блистает. Повествование соперничает по величавости с раскатами пушки»[2]. В чем же секрет успеха писателя?

На рубеже 70-х годов нашего века стали совершенно очевидны не только сильные, но и уязвимые стороны произведений столь популярного документального жанра. С одной стороны, давала себя знать определенная скованность документом; с другой — что представляет главную опасность — тенденциозный порой отбор документов приводил к искажению исторического процесса. Шаброль счастливо избежал этих опасностей прежде всего потому, что опирается на подлинно народную во всей ее сложности и противоречиях точку зрения. Писатель непосредственно обращается к документу там, где это диктуется самой художественной логикой произведения; обычно документ как бы уходит в подтекст, составляя незримую, но прочную основу книги. Вместе с тем документы, тщательно отобранные, раскрывающие преемственность революционного движения, оттеняют заложенную в романе идею непреоборимости исторического развития. «Пушка «Братство» — характерный пример

---

[1] «Lettres de fusillés», Paris, 1958, p. 24.
[2] «L'Humanité», 24 septembre 1970.

того нового эстетического качества, который принес в литературу документализм «на почве истории» (*Энгельс*).

Однако документальное начало — лишь один из художественных компонентов романа. Повествование насквозь лирично, эмоционально. Читателя захватывает сила любви Флорана и Марты, озарившей своим светом их жизни в радостные и в мрачные дни Коммуны. Лирика любовная тесно связана с гражданской. В начале романа почти все его персонажи, в том числе Флоран и Марта, живут мечтой о грядущей Революции, а потом борются за ее воплощение. И в этом — главный источник лиризма романа. Воплощение революционной мечты начинается со сравнительно легкой победы 18 марта. В дальнейшем на первый план выступает драматическое начало. Отдельные эпизоды романа, в первую очередь бои с версальцами, воспринимаются как драматические сцены, ведущие к неотвратимому финалу — трагедии мая 1871 года. Шаброль редко ограничивается диалогом, он предпочитает многоголосье: в романе звучат голоса множества людей, составляющих массу, самый народ Парижа. Эта масса, то негодующая, то радостная, то ведущая смертельный бой, и является главным героем книги. Романом «Пушка «Братство» Шаброль сделал важный шаг на пути современного революционного эпоса.

Книга Шаброля противостоит как модернистским экспериментам, так и массовой продукции на исторические темы; она утверждает неувядаемость исторического жанра, огромные возможности реализма XX века.

В романе оживают события столетней давности. Мы словно переносимся в революционный Париж конца прошлого века, а Коммуна приближается к нам, становится частью нашей жизни, нашей борьбы. Прислушаемся к голосу Жака Дюкло:

«Изучение опыта Парижской Коммуны отнюдь не является делом только истории. Богатые уроки Коммуны не теряют своей жгучей актуальности. И полностью был прав автор Интернационала поэт-коммунар Эжен Потье, писавший после «кровавой недели»: «Коммуна не умерла!»[1].

Ф. Наркирьер

---

[1] «Правда», 17 марта 1971 г.

Морису Шури,
историку Коммуны
(1912—1969... он прочел
лишь половину этой книги,
которая стольким ему обязана).

Жану Лоту,
который дал мне идею
Пушки «Братство».

Ж.-П. Ш.

Когда волнуется народ,
Смуглянка гордая идет
Державным шагом
Под красным стягом.

ПЕДРО ДЕЛЬ ГРАВАС,
Песни для моей гитаны

Посылаю Вам рукопись, оставленную мне Флораном Растелем, моим прадедом. Добавляю к ней по Вашей просьбе свои заметки о последних днях его жизни.

Многим коммунарам, спасшимся от расправы или вернувшимся с каторги, как говорится, «повезло», однако мой прадед никогда бы не употребил такого слова, особенно по этому поводу. То были замечательные люди.

Публике отчасти известны его исследования, посвященные рабочему законодательству, роли профессиональных союзов, его политические эссе о стихийности масс, об эффективности действий и свободе, об анархизме и авторитаризме, о противоречиях, заложенных в человеческой натуре. Надо признать, что все эти труды проникнуты духом весьма умеренного социализма. Менее известна та роль, которую мой прадед играл в организации Международного бюро труда, ибо он сознательно держался в тени. Флоран Растель неизменно отказывался появляться на политической арене.*

Последние годы его жизни протекали в нашем маленьком городке Н. ...Все кругом звали его просто папаша Флоран. Овдовел он рано, но только в последние дни жизни снова заговорил о Марте. Он убедил себя, что она не погибла, а живет где-то, где — неизвестно. В возрасте восьмидесяти трех лет — было это в дни Народного фронта — он радостно готовился к поездке в Советский Союз. Он слышал, что группа оставшихся в живых коммунаров лечится в санаториях Крыма. Моей матери, то есть его

внучке, лишь с огромным трудом удалось отговорить деда от этой поездки, явно немыслимой для человека его лет.

Первые дни войны в Испании как бы вернули ему молодость — последнюю вспышку молодости. Он любил повторять андалусскую поговорку: «Каков в пеленках, таков и в саване». Меня он учил, что время меняет значение слов и поэтому должно говорить: не итальянцы — а фашисты, не немцы — а нацисты.

Летними вечерами, когда вся наша семья собиралась к ужину, родители обычно отряжали меня разыскивать деда по кабачкам или у соседей. Начав говорить о Социальной республике, он забывал о времени.

В последние годы дед порой терял представление о времени и окружающей действительности, однако разум ему изменял редко. Помню, как-то в воскресенье он послал меня купить ему лупу, что я и сделал, упросив хозяина вопреки правилам открыть мне дверь магазина. Дед, видите ли, «узнал» Марту на баррикадах Барселоны; снимок был помещен в одном из номеров «Иллюстрасьон», он все показывал мне смугленькую каталонку лет пятнадцати-шестнадцати, стоявшую на развороченной мостовой и размахивавшую красным флагом, казавшимся на фотографии черным.

Скончался дедушка Флоран в 1940 году. По трагическому совпадению — если только это вообще было совпадением — сердце его перестало биться в тот самый день, когда эсэсовцы промаршировали под Триумфальной Аркой. Поэтому-то он и не увидел Гитлера (которого величал «цепным псом Капитала»), велевшего запечатлеть себя в тот самый момент, когда он обозревает Париж с вершины собора Сакре-Кёр, этого памятника, воздвигнутого в благодарение Пресвятой Деве за подавление Коммуны.

Последнее замечание.

Два или три раза в год, бывая в наших краях, я обязательно делаю крюк и заезжаю в Н., чтобы поклониться его праху на тихом кладбище. Случается, я обнаруживаю на могиле деда скромный букетик цветов. Однажды ранним утром я спугнул кого-то. Я только успел разглядеть силуэт смуглой девочки в рваной юбчонке.

А на могиле дедушки Флорана лежали три красные гвоздики, еще влажные от росы.

Из письма к издателю

В 1870 году Флорану Растелю было семнадцать лет. В течение десяти месяцев он вел предлагаемый читателю дневник.

Текст дневника напечатан обычным шрифтом.

* * *

В 1914 году господин Растель в возрасте шестидесяти одного года снова берется за свой дневник. Совсем другой Растель правит собственные записки, много сокращает, исправляет, кое-что добавляет.

Вставки шестидесятилетнего Растеля напечатаны *курсивом*.

* * *

С 1936 по 1939 год уже восьмидесятилетний дедушка Флоран в последний раз перечитывает свой дневник.

Добавления старика напечатаны **жирным шрифтом**.

Тетрадь первая

Понедельник, 15 августа 1870 года.
Около одиннадцати часов вечера.
Рони-су-Буа.

Наши приключения начнутся завтра, в сущности, уже начались. Телега, груженная доверху, во дворе; заведем сейчас Бижу в оглобли — и дело с концом, слышно, как он, бедненький наш старикан, стучит копытами у себя в стойле, с которым в преклонные свои годы расстается надолго, а может быть, и навсегда; ему тоже не удалось подремать нынче ночью.

Пишу в мансарде, что над столовой, в самом дальнем углу чердака, а за дощатой перегородкой мы набили сена и отавы тоже набили так плотно, что сено все время сердито шуршит, даже доски выпучились и поскрипывают, еще бы, шестьсот тридцать семь копешек — я-то считал, времени хватало, небось сам на собственном горбу их перетащил. А ведь на Иоанна Крестителя мне минуло всего семнадцать. Уродило знатно... Луга наши от засухи не пострадали, но вот на соседних фермах и хуторах хоть плачь! А получилось все это потому — даже писать приятно,— что отец и Предок с умом понарыли оросительные канавы.

Ночь-то какая роскошная. Небо вырядилось: выставило напоказ все свои регалии. Все звезды как одна явились на поверку, даже те, что никогда глаз не кажут — то ли слишком они молодые, то ли слишком старые и спят

себе преспокойно. Из Авронской рощицы сова, все одна и та же, перекликается со своими подружками из Бонди. Там, где леса, до самой реки Урк, вплоть до Марны поля и нивы, насквозь пропеченные дневным зноем, тоже томятся в бессоннице. Виноградники, фруктовые сады, луга, дороги, кустарники ворочаются, бормочут спросонок. Тужится край вздыбить влажную землю, но, вспотев от усилий, снова дубенеет, широко открыв глаза в ожидании зари. В Нейи и Вильмомбле кое-где еще мерцают огоньки, там жгут свечи, лампы, там брешут собаки — словом, обычная возня не унимается. Со стороны Гранд-Пелузы словно бы зарево: солдат аванпоста поддерживает в лагере огонь.

В беседочке грохочет посуда, значит, мама уже поднялась и увязывает новый тюк, а куда, спрашивается, мы его денем? И так выбрали самую большую повозку для сена с высокими бортами, завалили поклажей до того, что даже к моему чердачному окну подступает: тут и деревянные козлы, и тюфяки на три кровати, комод со всеми пожитками, тюки с бельем, корзины с посудой, бочонок самого лучшего вина, мешки с картофелем, с поздними бобами, с ранними яблоками; сбоку приторочены стулья да еще стенные часы, приткнули кое-как одну копешку соломы, другую — сена, а на дне ящика — он мне вместо чемодана служит — мои книги (*а именно: «Робеспьер» Гамеля, «Марат» Бужара, «Эбертисты» Тридона...*). Сами мы пойдем пешком, хотя наш старикан Бижу не слишком-то избалован.

Задористый храп: Предок еще спит.

В ту субботу явились к нам капитан инженерных войск с двумя лейтенантами. Не слишком-то разговорчивые. Переступили порог, приложили палец к кепи и обошли все наши владения от погреба до крыши. Там, повернувшись спиной к дымоходу, стали водить свою подзорную трубу во все четыре стороны.

Кстати, между собой они разговаривали.

Когда сели на коней, капитан с седла спросил:

— Где хозяин?

Имел в виду папу.

— Где-то там с Базеном *,— тихо ответила мама и даже руку протянула в сторону Лотарингии. А лицо у нее какое было!

— Вы владельцы?

— Нет, арендаторы. Дом и земля принадлежат господину Валькло.

— Вам дается сорок восемь часов, чтобы очистить ферму.

Мама начала было возражать, но капитан только плечами пожал.

— Здесь будет установлено орудие. Подходящая местность. Удобнейшая.

Я крикнул:

— Никогда пруссаки не дойдут до Марны!

Тут капитан впервые посмотрел на меня:

— Это почему же?

— Да наши ружья их раньше остановят.

Мило улыбнувшись, капитан спросил:

— Возраст?

— Семнадцать.

Один лейтенант бросил:

— Да, отстает еще наша матушка-провинция!

А второй:

— На здешней почве, господин капитан, все растет быстро. Вытягивается в длину, вроде крепкое, зато внутри пусто!

Оба, фыркнув, пришпорили коней. Помчались по направлению к Вильмомблю. И даже когда лошади уже перескочили через живую изгородь, я все еще слышал их смех с Буассьерской дороги.

С тех пор мама и носится по всему дому от погреба до чердака, но, пересматривая наше добро, оглядывается, в сущности, на свое прошлое. И время от времени цедит сквозь зубы:

— Да разве все увезешь!

— Значит, хозяйское и оставим хозяину,— отрезал Предок.

— Но это же нехорошо будет по отношению к господину Валькло,— заметила мама.

— Обычно он сам приходит за своей долей, и даже раньше срока...

— Не нужно так говорить, дядюшка. Господин Валькло всегда с нами хорошо обходился. В шестидесятом году он моему деверю очень большую услугу оказал.

И мама пошла напоминать Предку, что когда дядя Фердинан уехал в столицу, то его как раз приютил наш хозяин.

Но и в этой решимости опять-таки следует видеть влияние Предка, который десятки раз при мне печалился: «Вот если б я вел дневник, ведь я такого навидался, столько всего пережил!..»

До самых последних дней мне, пожалуй, и не стоило браться за дневник. О чем было писать — о своем детстве, что ли, о детстве деревенского мальчика, об уроках *(весьма своеобычных)* дядюшки Бенуа по прозвищу Предок, о том, как я помогал родителям обрабатывать землю господина Валькло? А вот теперь столько будет всего... Я купил *(разбив для этой цели копилку)* десять толстых тетрадей в черных молескиновых обложках и дюжину карандашей. Сложил все это добро в старую холщовую сумку — папа отдал ее мне, а мама сшила ему новую, когда он уходил на войну.

Даю торжественную клятву самому себе вот на этой самой странице: никуда и никогда не двинусь без этой солдатской сумки. Пусть моя канцелярия хлещет меня по боку!

«Перо повострее сабли будет»,— говаривал Предок.

Я рано начал пробовать свои силы в писании. Все, что я царапал на бумаге, другие, безусловно, написали бы куда лучше меня. Все мои иллюзии как рукой снимало от одной ухмылки Предка.

Есть у меня воля, есть самолюбие. И чтобы решимость моя была как сталь, закалю-ка ее в горниле суеверия: дневник начат, если прерву его, то накличу на себя беду.

Однажды я, словно между прочим, спросил Предка, как делается вот такая литература, как писать про самого себя?

— Записывай все.

— Как так все?

— Все, что входит в тебя через глаза, уши, нос, кожу, язык и сердце.

— Но ведь... будет и хорошее и плохое!

— Плохое — это то, что входит в тебя через глаза и уши, но не твои, а чужие.

Такие разговоры, должно быть, очень нравились нашему старому чудаку. Мы часто беседовали с ним о форме и

содержании, сидя обычно летними вечерами на опорной стенке под орешиной, коротая зимние долгие вечера у камелька, и пламенный поклонник Гюго под треск цикад или поленьев учил меня смаковать и уважать наш прекрасный язык.

Прежде чем задуть фонарь на повозке, мама крикнула:

— Фло, а ты ничего важного не забыл?

Карандаши и тетради в солдатской сумке, ну а самое важное у меня в голове, у меня в сердце, самое важное — это завтра.

И раз Предок после долгих уговоров согласился ехать с нами...

Записав эти последние строчки, я отошел от окна и сейчас задую свечу. Пишу, положив тетрадь на колени, потом улягусь прямо на пол. Дом, откуда уезжаешь, уже не дом. Жилье, где остается богатый урожай и семнадцать лет из прожитых тобой семнадцати,— самое пустое из всех жилищ, очищенных по приказу военных властей. За перегородкой пошуршивает сено. Расточает сквозь щели ароматы луговых трав, подрубленных, срезанных под корень вянущих цветов, запахи лета, последнего нашего лета. Горький ласковый дух, от которого ширится грудь, дрожит все внутри...

Сентябрь 1914 года.

Пишу на той же ферме в Рони, которую я купил после смерти господина Валькло, благо у меня было отложено немного про черный день. Неужели снова придется удирать отсюда? Ходит слух, что немцы на Марне. Уже почти месяц, как я без особой охоты взялся за эти давно забытые тетради. От нечего делать, от душевной растерянности. В роковые часы вот так проверяешь, что уцелеет, что останется. Мой сын сражается где-то на дорогах нашествия. Каким-то будут представлять мои внуки далекого предка, который «был участником Коммуны»?

Лучший из этих внуков недавно погиб на Эбро. Он был бойцом Интернациональной бригады. Этот-то все понял.

Вторник, 16 августа 1870 года.
Два часа пополудни.
Застава Монтрей.

Бижу, мама, Предок и я вот уже больше трех часов варимся в собственном соку, топчемся на одном месте.

Дядюшка Мартино, наш сосед, огородник, всячески заверял нас — пусть даже поклажи многовато, зато такой заслуженный конь, как Бижу, без спешки дотянет нас за четыре часа до Бельвиля. Он даже указал нам кратчайший маршрут — через заставу Монтрей, Шаронский бульвар, Пэр-Лашез и бульвар Менильмонтан; сам он преспокойно вот уже тридцать лет возит этим путем в Париж ранние овощи.

Мама сразу все высчитала:

— Если выедем в шесть, прибудем на место еще утром и договоримся обо всем с невесткой. Значит, еще до темноты разместимся у твоей бельвильской тетки...

В самую последнюю минуту выяснилось, что надо пристроить на повозку еще один ящик и две бутыли; но тут наш Бижу, хотя и получивший двойную порцию овса, отказался трогаться с места, уперся как мул. Не обращая внимания на наши крики и даже щелканье кнута, Бижу поворачивал в сторону конюшни свою тяжелую башку и все встряхивал ею, чтобы откинуть подстриженную на лбу челочкой гриву и поглядеть на родные места сперва одним своим огромным влажным глазом, потом другим — а нам чудилось, будто он отрицательно мотает головой: нет, мол, нет и еще раз нет!

— Бедняга чует, что его ждет в Париже,— проворчал Предок, подошел к Бижу, прижался спиной к его груди, потом положил себе на плечо возле самого уха бархатистую конскую морду и, ласково его уговаривая, оглаживая, повернул в нужном направлении. Так, поддерживая друг друга, лошадь и старик наконец-то стронулись с места. Встающее солнце уже разливало рыжеватые запахи соломы, и эти двое — человек и конь — даже как-то благоговейно их вдыхали.

Миновав железнодорожный переезд у Мюлуза, мы очутились у подножия замка Монтро, прямо под фортом Рони. Я знаю этот форт с тех самых пор, как научился ходить. И был сейчас ужасно разочарован. В душе я ждал,

что увижу его, ощерившегося длинными жерлами орудий, ощетинившегося штыками, увенчанного знаменами, флагами, услышу барабанный бой, пенье рожков, короче, увижу в зареве легенд ... Но отсюда, снизу, крепость казалась вымершей. Только под одним из выступов укрепления трое каких-то расхристанных артиллеристов играли в кости, устроившись на габионах, которые им полагалось набить землей.

Голова нашей колонны застряла где-то у заставы. Молодой фермер из Бри-сюр-Марн, пустив галопом коня, проскакал мимо нас по обочине дороги. Минут через двадцать он воротился уже шагом и объяснил: въезд в город перегорожен баррикадой, либо надо в объезд, либо ждать, пока ее разберут. Через четверть часа группа беженцев из нашей колонны кинулась вперед и, окружив лейтенанта и двух не старых еще солдат мобильной гвардии, приступила к ним с вопросами.

— Терпение, терпение! Те, кто сложил баррикаду, сейчас ее разбирают. Это ведь тоже работа — сначала сделай, потом сломай. Еще вчера вечером путь был свободен: никто блузников с этой улицы не трогал, ничего от них не требовал. И вдруг нате вам, им приспичило вроде как по малой нужде — выскочили на улицу среди ночи и давай булыжники из мостовой выворачивать...

Офицер многозначительно повертел указательным пальцем у виска. Выпросив у кого-то из наших табачку, солдат, набивая трубку, буркнул:

— С этими, туда их, голодранцами, которых посылают в Эльзас, парижане еще слезы кулаками утирать будут! В воскресенье уже в Булонском лесу укреплений понастроили!

— Вот тут мы не отстаем,— хихикнул другой.

Удары заступов известили нас, что баррикаду сносят. Женщины из нашей колонны собирались кучками по пятеро, шестеро и, стоя кружком, тесно сдвинув опущенные лбы, болтали за повозками, а мужчины тем временем расселись на откосе. Из рук в руки переходили вкруговую вино, табак, газеты и письма.

Наслушалась вдоволь дорога разных небылиц. Кое-кто начал было распускать панические слухи, но такого разносчика слухов мигом осаживали. У самой заставы завязалась драка.

Тогда, в середине августа 1870 года, хотя уже бродило глухое беспокойство, мало кто мог вообразить себе размеры грядущих бедствий. Слухи, так сказать, приватного порядка как оглашенные спешили на подмогу официальному бахвальству, раздуваемому прессой. Простой люд порастерял свой прославленный здравый смысл. Да и мало знал об этапах вторжения. Впрочем, как можно было поверить, например, такому: 4-го пруссаки атакуют и уничтожают дивизию генерала Дуэ под Виссамбуром, 6-го прорывают фронт под Фрешвиллером и Вертом и разбивают наголову Мак-Магона, в тот же день истребляют при Шпихерне нашу знаменитую Рейнскую армию, которой командовал лично император. А там пошло: Эльзас захвачен неприятелем и с тех пор французские войска отступают с боями. В течение последующих недель лишь постепенно и с огромным трудом выяснилось, кто же за все в ответе: за недооценку сил противника, за путаницу при сосредоточивании частей, за слабость французской артиллерии с ее бронзовыми пушками, заряжавшимися по старинке, с жерла, за бездарность генералов... Но у заставы Монтрей ни один из крестьян, пробиравшихся в Париж, и не вздумал бы обвинить в этих бедах режим, а тем паче особу императора. «Повинуясь всеобщему желанию», Наполеон III передал командование армией маршалу Базену, и это официально подтвержденное известие скорее уж опечалило людей. Они цеплялись за декрет от 8 августа, объявлявшего Париж на осадном положении, и за воззвание императрицы к французам: «Да будет у нас только одна партия — партия Франции, и одно лишь знамя — знамя национальной чести...»*

Колонна тронулась, мужчины, сбившись группками, шагали по трое, а то и по шестеро возле чьей-нибудь лошадки и с жаром твердили о том, какие у Парижа мощные внешние форты, что есть еще у нас войсковые резервы и во Франции и в Алжире, есть мобильная гвардия, вольные стрелки, гарнизоны Национальной гвардии — от одного до двух миллионов защитников. Да и ружей хватает, даже с избытком. Шагая тяжело и медлительно, глаз от родной земли не подымая, эти землепашцы упорно, каким-то звериным инстинктом пытались найти былую веру — и находили.

Наш Бижу принюхивался к следам, покачивал баш-

кой влево-вправо, влево-вправо, чтобы легче было шагать. Коняга ничего не имел против баррикад, пусть даже с ними поспешили.

Уже в самом пригороде Монтрей новая остановка, пришлось уступить путь встречной колонне, на нашу ничуть не похожей: ни стенных часов, ни тюфяков, венчающих мирно покачивающуюся гору поклажи, а тачки, вереницы тачек, а из них пучками лопаты: землекопы из окрестностей Парижа едут возводить укрепления.

По нашим рядам проходит дрожь радости. Еще немного, и мы готовы назвать эту шумную толпу не слишком-то надежных поденщиков героическим легионом.

И снова крестьяне заводят свое, слышен вселяющий веру исконный бормот, будто, похрустывая, пережевывают пищу забившиеся под землю зверьки, всех-то они пережили, начиная с доисторических времен, и всех переживут.

— Новое министерство?.. Всегда этот Эмиль Оливье мне не по душе был... Вот с графом Паликао все сразу переменится...

Я спросил Предка:

— А кто этот граф Паликао?

— Генерал де Монтобан. Ему дали титул графа Паликао лет десять назад за так называемую победу над якобы целой китайской армией; отсюда далеко, поди разберись... Впрочем, заплата она и есть заплата, долго не продержится... А ты, славный наш Бижу, уж не взыщи, если я за тобой смотреть не буду, сморило меня.

И чертов наш старик взгромоздился на тюфяк, вместо подушки — стенные часы, и спит себе блаженным сном.

* * *

Надеялись добраться до заставы Монтрей к одиннадцати, прибыли в полдень, а сейчас уже четыре пробило.

— Беженцы, сворачивай сюда,— скомандовал полицейский.

А другой, через четверть часа:

— Откуда вы?

— Из Рони-су-Буа.

Отошел и еще гримасу скорчил.

Через час третий появился:

— Рассчитываете сегодня в Париж въехать?

— А то как же...

Отошел, вздохнул, потом вернулся, оглядел Бижу, потрепал его по холке и посоветовал:

— Распряги-ка ты его и напои. Водопой рядом, а повозку оглоблями подопри.

Он ткнул рукой в сторону заставы Монтрей. Из ворот лился человеческий поток такой силы, будто сюда устремилось все население Парижа: лавина экипажей, телег, повозок всех видов, начиная от фиакров, омнибусов, фургонов, набитых прекрасной мебелью, редкими драпировками, дорогой посудой, вплоть до ломовых дрог, тянувших целые древесные стволы для укреплений, зарядных ящиков, огромных пушек, которые с трудом тащили богатыри першероны. Вся эта погромыхивающая колесами колонна, спешившая вырваться, будто взбесившаяся, сама увязла в другом потоке — моряков, артиллеристов, вольных стрелков, национальных гвардейцев, землекопов, каменщиков, лесорубов, домашних хозяек, рабочих, просто зевак, женщин и мужчин всех сословий и состояний, озабоченных или праздно бредущих от нечего делать. И все это мычит, чертыхается, дерется, кусается, рвется вперед, толкается, а то и ластится, облизывается, харкает, кашляет, мочится, гадит, воняет шерстью, конским потом, навозом и табаком, винищем и слюной, и все это в пыли сорока самумов, под солнцем Али Баба, не хватает толькоАбд-эль-Кадера и его свиты.

Мама, наверно, вздохнула бы: «А я-то тебе лучшую рубашку дала».

Мы уже опустошили корзину с дорожными припасами. Устроившись прямо на земле, в тени, отбрасываемой нашей повозкой, мама вяжет черный чулок. Под каштаном пасется Бижу, вытянув губу, он шарит вокруг по земле и обнаруживает только три соломинки да трилистничек клевера. Он кидает на меня меланхолический взгляд, испускает глубокий вздох и зевает, показывая все свои десны. И в заключение трясет своей огромной башкой с уже поседевшей гривой, как бы говоря: «Если вы так уж на меня навалились, то хоть дайте мне опереться лбом о дерево и пустить ветры».

А Предок, голенастый, седобородый, навострив уши и зыркая глазами, бойко перебегает от группы к группе, иногда бросит словцо, и такое!

Пишу, взгромоздившись на матрасы, а спиной опираюсь на стенные часы. С моего насеста видно, как среди

нашего стойбища, терпеливо выписывая круги, пробирается миловидная цветочница: «Купите патриотическую маргаритку!» Товар ее расходится медленнее, чем новости. Какой-то мальчуган с целой пачкой газет смело врезается в людское месиво и уже через минуту бежит обратно, болтая пустыми руками, отфыркиваясь, что-то напевает себе под нос, скачет на одной ножке, отчего в карманах у него позвякивают медяки.

Бродят в толпе и менее приятные торговцы, торгующие собственной шкурой,— другими словами, те, кто готов заменить собой призывника. Они тоже шныряют в этом людском и лошадином скопище у парижской заставы. У каждого особая манера предлагать свой товар: один, видно совестливый, низко нахлобучив шапку, неслышно скользит у вас за спиной и доверительно шепчет: «Никто из ваших родных или друзей, вытащивших плохой номер, не ищет заместителя?» Другой, забубенный шутник, орет собравшимся вокруг зевакам: «А ну, нет ли среди вас какого-нибудь охотника пожить, который был бы не прочь, чтобы вместо него, конечно за наличный расчет, шлепнули бы бравого солдата, освобожденного от военной службы?.. Если есть, то вот он я!» А еще один — тощая длинная тень в заношенном рединготе и черном галстуке; этот вообще ничего не говорит, ничего не делает, а просто ходит себе среди людей, но к шапке у него приколота записка, где крупными буквами — даже издали прочесть можно — выведено: «Замещаю за 10 500 франков!» Лицо его трудно разглядеть: костистое, украшенное общипанной эспаньолкой, а серые глазки налиты кровью, взгляд бесцветный. Невольно ищешь в толпе славненькую цветочницу.

Застава Монтрей.
Около шести вечера.

Наконец-то полицейский махнул мне рукой — двигай, мол. Я живо слез со своего насеста и стал запрягать Бижу.

— Экий ты торопыга, сынок,— ворчал Предок, однако тоже подошел к повозке.

С тех пор прошел час-другой, и вот что произошло за это время: какой-то молодой человек с приятной физиономией, хорошо одетый и с мягкими манерами, вежливо сняв шляпу, осведомился о месте нашего назначения.

— Бельвиль.

— Ох, Бельвиль, дикарский край... Значит, Париж вы совсем не знаете. Тогда разрешите мне поделиться с вами моими скромными сведениями. Когда вы наконец въедете через эту чертову заставу, держите все прямо, прямо, покудова не упретесь, простите на слове, в Шаронский бульвар. Справа от вас будет кладбище Пэр-Лашез...

Пока обязательный молодой человек давал нам объяснения, сопровождая их легкими движениями рук, чуть касавшихся нас, будто птица крылом, сзади к нему подкрался какой-то невысокий кругленький толстяк в широкополой черной шляпе и вдруг без церемоний схватил нашего просветителя за шиворот, сладко пропев при этом:

— Любезнейший господин Тиртирлор, будьте так добры, верните этому юноше его карандашик, случайно попавший к вам в рукав.

Воришка повиновался без дальних слов. Жирная рука с короткими, покрытыми волосами пальцами выпустила воротник.

— Можно смываться, сударь? — пробормотал наш собеседник.

— Так уж и быть, мотай отсюда, скоро увидимся...

Самое любопытное во всей этой коротенькой комедии, по слухам столь обычной в больших городах, было то, что наш благодетель даже не взглянул на так называемого «господина Тиртирлора». Из-под низко нависших полей шляпы два блестящих буравчика сверлили нашего Предка.

— Зовусь я Жюрель, Онезим Жюрель,— объявил он, зажав свою массивную трость с набалдашником из слоновой кости под мышкой левой руки.

Я поспешил представиться, но Предок молчал. Он чуть ли не спиной к нам повернулся, вдруг необыкновенно заинтересовавшись четырьмя блузниками, водружавшими барьер. А тем временем новый наш знакомец участливо расспрашивал меня о планах на будущее: есть ли хоть нам где устроиться? Желая его успокоить, я сообщил адрес тетки.

Прежде чем распрощаться с нами, господин Жюрель еще долго распространялся о том, что сейчас, как никогда, необходима братская солидарность.

— Я понимаю ваши тревоги, я знаю в Париже каждый уголок, так что будьте спокойны, мой юный друг, господин Растель. Если я вам понадоблюсь, смело заглядывайте после девяти в кабачок «Кривой дуб» на улице Рам-

поно, я бываю там все вечера, да и от вашего дома это всего в двух шагах.

Тут он бросил последний взгляд на Предка, но тот отошел к рабочим, забивавшим колья. А колья забивали они, чтобы воздвигнуть барьеры для толпы; но к вечеру у заставы поднялась такая суматоха, что нечего было и думать о каких бы то ни было работах. Поэтому четверка блузников уселась с Предком на связку кольев. К ним присоединились два подмастерья булочника и еще один бочар, чтобы позубоскалить насчет «дела Ла-Виллет» *; со вчерашнего дня все парижские окраины подсмеивались, повествуя об этом «деле». Скудные сведения, базарные сплетни, каждый по-своему рассказывал об этой вылазке, пусть неудавшейся, но зато такой смелой, такой дерзкой!

*Огюст Бланки * более сорока лет провел в тюрьме. В предместьях любовно называли его: Узник.*

Бланки, вернувшийся во Францию после принятия закона об амнистии от 15 августа 1859 года, и его друзья Эд, Гранже, Бридо и Флотт*, убежденные, что Империя доживает свои последние дни и что предместья ждут только сигнала, решили первыми провозгласить Республику. С этой целью они задумали было напасть на Венсеннский форт. Но гарнизон оказался слишком многочисленным. Тогда бланкисты обрушили свой удар на пожарное депо Ла-Виллета, где имелось оружие и где, как говорили, царил республиканский дух. Было договорено, что к насилию прибегать не будут.*

После неудачного выступления Бланки удалось вернуться в Бельгию, но Эд и его друзья предстали перед военным судом. Франкмасон, редактор «Либр пансе», а потом «Пансе нувель», неоднократно подвергавшийся гонениям за «оскорбление нравственных и религиозных чувств и оскорбление католической религии», Эмиль Эд руководил военизированными организациями бланкистов левого берега, разделенными на «сотни», причем одна из них имела ружья. Эда арестовали по доносу в тот же вечер вместе с его другом Бридо. Какой-то шпик-любитель заметил под блузой вождя бланкистов револьвер.

Семь часов вечера.

Ну, сейчас-то наверняка въедем, считанные минуты остались. День клонится к закату, небо нахмурилось, однако августовская ночь еще далеко, от летнего зноя

вспучилось небо, задубело, как нарыв, и прорвать его под силу лишь громам да молниям.

Полицейский чертыхается на все лады...

— Последний обоз выезжает, готовьсь, сейчас ваш черед!

С бескрайнего закатного горизонта вкрадчиво поднимался, ширясь, какой-то гул.

— Гром?

— Да нет, Флоран. Вслушайся получше.

Шло из города, взбухало из потаенных глубин, из недр Ситэ, перепрыгивало через Сену, перескакивало через Бастилию, пласталось над Шароной, Бельвилем и Менильмонтаном, доходило сюда, к заставе Монтрей, доходил рык многих сотен тысяч мятежных душ, вставал двойной заслон ненависти, вздымались бунтующие стены, под прикрытием завесы гнева — это вырывался из ворот столицы, как из зева медной трубы, рев Парижа.

Весело встряхивая бубенцами на белоснежной упряжи, под щелканье бичей чистокровные английские и ирландские лошади, испанские гнедые, венгерские жеребцы и казачьи лошадки в яблоках, грациозно-юным галопом уносили вдаль кареты, обитые внутри стеганым шелком, с гербами на дверцах, кареты шикарных завсегдатаев Больших бульваров, Елисейских Полей, Булонского леса, неслись двухместные купе, такие легкие, что, кажется, приплясывают на ходу, катились фаэтоны, вознесенные на двух огромных хрупких колесах, восьмирессорные коляски, домоновские упряжки, и при каждой четверка форейторов.

Только мелькнули! Кончик оборки кринолина проехался по кожаному фартуку кузнеца, лунный луч сверкнул жемчужиной в углу заднего двора, барабан бросил четыре такта Оффенбаха, призывая к атаке, блеснула молния над громовым ворчанием давних бурь.

Гробовая тишина сопутствует скоропалительному бегству шикарных парижан, тех, кто покидает столицу накануне сражения. Народный ропот нарастает сначала тихо, глухо и наконец взрывается. Его осколки громыхают рядом с повозкой, запряженной Бижу.

— Чего это их на восток несет?

— В Бельгию удирают.

— Они-то все знают, не беспокойся. Знают, что уланы уже здесь, рядом!

— Но они же на врага напорются!
— Какого такого врага? Ихнего или нашего?
Как сабельным ударом, гомон толпы рассекает женский голос — это кричит торговка рыбой:
— Да они не так пруссаков боятся, как Парижа!
Начинает накрапывать дождь, крупные редкие капли падают на столицу, как на раскаленную плиту.
— Ну, Бижу, поторапливайся! — кричит Предок.— Уже конюшней, ты мой родненький, тянет, если только тут конюшни есть.— И он добавляет специально для меня: — Скоро дома будем.
Мне хочется задать старику один вопрос, но задать его легче, обняв Предка за плечи:
— Почему им позволяют бежать?
Старик только взглядывает на меня. Ну и ученик ему попался!
Наконец-то мы минуем заставу, наконец-то нелюбимый Париж! Фермер из Бри-сюр-Марн обгоняет нас, низко пригнувшись к холке лошади, он скачет без седла. И весело бросает мне:
— Вот ведь как, те, кто там внутри, хотят поскорее наружу, а те, что снаружи, хотят поскорее внутрь.
Вдоль фасадов в два-три ряда стоят люди и смотрят на беженцев. По обеим сторонам шоссе, сбившись у дверей, толпится простой люд — и ни слова, ни жеста. Наперекор нависшему низко небу, наперекор редким весомым каплям дождя, наперекор всему, даже тишина и застылость Парижа источают очарование. Просто непонятно, но зато неоспоримо. Мощь и нежность.
Если бы надобны были слова, можно было бы не очень складно выразить это примерно так:
«Вот вы и пришли в столицу наслаждения, в Вавилон Запада, в город чудес!
Итак, вы пришли сюда лишь затем, чтобы сдохнуть вместе с нами.
Спасибо вам, други!»
Вот мы и в Париже.

Два слова к моей монографии
о Дозорном тупике в Бельвиле.

Уже само название говорит о моих литературных притязаниях. В первое время после нашего прибытия туда

осенью 1870 года под этой рубрикой я собирал различные сведения, которые черпал у соседей, у знакомых. Постепенно меня так захватила сама жизнь квартала, что я вел эти записи спустя рукава. Итак, только теперь, поздней осенью 1914 года, я взялся пересматривать эти записи и постарался по силе возможности дополнить их теми сведениями, какие получил впоследствии, в частности, от Эмиля де Лабедольера, историка, специально изучавшего Париж Наполеона III. Хочу надеяться, что предпринятая мною работа отвлечет меня от жестокой реальности теперешней войны, которая сорок лет спустя предстает передо мной как некое переиздание.

В те времена, о которых я пишу в дневнике, только-только произошло присоединение Бельвиля к Парижу. В 1860 году барон Осман — префект департамента Сены — приказал снести городскую стену, так называемую Генеральных откупщиков и присоединил к Парижу примыкающие к нему маленькие городки — Отей, Пасси, Батиньоль-Монсо, Берси, Шарон, Гренель, Ла-Шапель, Ла-Виллет, Монмартр, Вожирар и Бельвиль. В столице вместо тринадцати округов стало насчитываться, таким образом, двадцать. По тому же плану кое-какие старые кварталы были снесены с лица земли и на месте их проложены широкие, прямые всем нам теперь известные авеню. Значительный объем работ — учитывая, что в то же время были вырыты сточные канавы, построен Центральный и еще несколько рынков, несколько церквей: св. Августина, Троицы; больницы, в частности центральная — Отель-Дье; театры: Опера, Шатле; несколько вокзалов, казарм; превращены в парк каменоломни Бютт-Шомона, расчищены Булонский и Венсеннский лес,— естественно, вызвал прилив рабочей силы в столицу.

Вот таким-то образом мой дядя Фердинан в возрасте двадцати лет прибыл в Париж и поселился в Дозорном тупике. До этого времени он жил с нами в Рони-су-Буа. Работал он на дому ткачом, а в бессезонье помогал отцу по хозяйству. После появления ткацких станков он остался не у дел и вынужден был покинуть родное гнездо. Папа порекомендовал своего младшего брата единственному знакомому парижанину — все тому же господину Валькло. Наш хозяин предложил дяде Фердинану жилье (откуда как раз выселил неплатежеспособных съемщиков).

* * *

На фронтоне дома, принадлежавшего господину Валькло, еще до сих пор можно разобрать старинную надпись: «Вилла Дозор». По существу, это был богатый загородный дом еще в те поры, когда сам Бельвиль считался просто живописной деревушкой, расположенной на «горе», неподалеку от Парижа. Меровингские короли уже давно облюбовали этот пригорок для своей летней резиденции.

Мода на прелестный уголок росла от века к веку. Дворяне и богатые горожане строили себе деревенские дома на склонах, густо поросших сиренью и особенно крыжовником. Бельвильский крыжовник гремел на всю округу...

Вилла господина Валькло получила свое название от расположенного поблизости дозорного поста.

Строение было солидное, туазов восемь в ширину и девять в высоту. Весь нижний этаж по обе стороны от входа отвели под кухню, бельевые и кладовые. Второй этаж занимали сами хозяева. Тут были высокие потолки, апартаменты светлые, окна большие. На третьем этаже было не так просторно, а на четвертом находились мансарды. Дом стоял посреди небольшого парка. Мощеная аллея выходила на дорогу, которая называлась в Бельвиле Парижская улица, потом, после присоединения предместья к столице, стала называться Бельвильской, однако местные жители обычно именовали ее Гран-Рю.

Один из господ Валькло, если не ошибаюсь, отец или дед нашего хозяина, возымел мысль возвести вдоль аллеи по левую ее сторону три стоящих в ряд строения, или, если вам угодно, одно здание с тремя входными дверями и тремя лестницами. Напротив, по ту сторону аллеи, он нарезал три крохотных садика для новых жильцов. После чего распродал по клочкам остальной парк, и там тоже вскоре выросли новые дома.

Быстрый рост Бельвиля подсказал владельцу виллы «Дозор» еще одну мысль, впоследствии оказавшуюся подлинно золотоносной жилой, тем паче что внешне все выглядело как акт чистейшей благотворительности.

Три вышеупомянутых садика, которыми съемщики вообще не пользовались, тогдашний господин Валькло роздал безвозмездно ремесленникам, желавшим построить мастерские. Всегда готовый на любые жертвы, лишь бы содействовать промышленному подъему своей отчизны, этот

буржуа, поборник прогресса, не брал с ремесленников, по крайней мере первые годы, вообще никакой платы. Да и как бы отыскал весь этот трудолюбивый и искусный люд такое удобное местечко, где можно было бы обосноваться? Они валом валили сюда, подписывали не глядя бумаги. Благодетелю оставалось только выбирать, и уж кто-кто, а он-то в людях здорово разбирался. Первый, на кого пал его выбор, построил кузню, второй — столярную мастерскую, третий открыл типографию, четвертый — слесарное заведение; и когда заборы были сняты, на территории трех садиков просто чудом каким-то оказалось четыре самостоятельных участка. Каждый новоприбывший возводил свое заведение собственными руками, любовно возводил, входил в долги, лишь бы приобрести доски и бревна получше, ведь за аренду-то ничего платить не надо! Правая сторона аллеи украсилась пестрыми вывесками, не слишком-то гармонирующими друг с другом, зато дома были сложены на редкость прочно, не то что жилой дом напротив, треть которого рухнула еще в 1868 году.

Так оно и шло. Господин Валькло оказался владыкой собственного своего королевства и стал со временем счастливым обладателем кузни, столярной мастерской, типографии и слесарного заведения. Не помню, говорил ли я, что по контракту хозяин земли через пятнадцать лет становился хозяином возведенных на ней построек. Четверо ремесленников наделали хлопот своему благодетелю. Скверные привычки прививаются быстро, и самая из них скверная — ничего не платить за аренду, тем более что после перестроек Османа разрешено было повысить квартирную плату в столице в два раза — Бельвиль теперь уже стал Парижем, а Париж рос себе и рос.

Потребность в жилье, пусть даже в самом незатейливом, была столь велика, что господин Валькло умножал количество квартир, что называется, почкованием. Несколько наспех возведенных перегородок превращали комнату в отдельную квартиру, на одном этаже расселялось столько народу, что раньше им и целого дома не хватило бы. Таким образом, тупик постепенно превратился в кишащий людьми городишко. Из своих апартаментов второго этажа виллы хозяин не спускал глаз с вечно бурлящего тупика, как добрая хозяйка — с кастрюли, где закипает молоко; так он следил за температурой Парижа. Не раз в голову ему приходило, что благоразумия ради неплохо бы перебрать-

ся куда-нибудь в спокойный уголок, ну, скажем, поселиться в квартале Оперы. Это ему-то, домовладельцу, снимать квартиру! В конце концов он все же приобрел особняк на Елисейских Полях, отремонтировал его, оборудовал, обставил по собственному вкусу, переселился туда, но не выдержал — уже на четвертый месяц вернулся к себе в тупик. Конечно, он сдал свой особняк втридорога, но кто решился бы утверждать, что только по этой причине он возвратился в родимое гнездо, в свой Дозорный каземат?

Целыми часами он сидел, расплющив нос об оконное стекло; жильцы хихикали: «Кровосос за нами подсматривает». Временами Кровосос приоткрывал окно — нюхнуть запахи кузни и аромат свежих стружек.

В 1870 году существовал еще господский парк, росли еще два каштана — один перед кузней, другой перед типографией; к роскошной вилле вела лестница в два марша с витыми колонками вместо перил, а над крыльцом — ниша, где стояла небольшая статуя Непорочного Зачатья...

* * *

Вчера, то есть 21 ноября 1914 года, обошел я все эти места. Ремесленников прежних никого не осталось, тупик зовется по-новому, но по-прежнему он кипуч и трудолюбив. Говорят здесь с пикардийским или фландрским акцентом. Это опять, уже во второй раз, прихлынули с Севера беженцы. Но мне все чудится, будто я прежний, семнадцатилетний, приехавший из Рони на повозке, запряженной нашим старым Бижу, шагаю по Дозорному тупику.

В нижнем этаже напротив кузницы трудился тогда у своего окошка сапожник, а рядом помещался кабачок «Пляши Нога». На крашеной железной вывеске на фоне ухмыляющейся рожи была намалевана босая нога с растопыренными веером пальцами. В зале с низко нависшим потолком нарисованная неискусной рукой фреска изображала кюре, генералов, буржуа и полицейских, громящих наш тупик. Кто-то уже потом подрисовал им поверх шляп остроконечные каски. Надпись гласила: «Грабь голытьбу!» Цементированные у основания балки поддерживали стену между кабачком и рухнувшим домом, куда заходили по малой нужде пьяницы, петляя среди гор мусора.

Едва я вошел в тупик, как запах мочи сдавил мне глотку, но здесь пахло также типографской краской, опилками, кожей, раскаленным металлом. И запахи отстали от меня только тогда, когда я поднялся по лестнице, ведущей в наше жилье, вернее, в бывшую теткину квартиру.

Среда, 17 августа 1870 года.
Вечером.

Темнеет, пристроился у узенького окошка мансарды, выходящего на Дозорный тупик, и пишу. Как далек от меня наш родной дом, как я сам от себя далек! Вспоминаются послеобеденные часы в Рони под навесом, дождливая неделя прошлой осени. Мы ждали, когда разгуляется и можно будет снимать яблоки, а пока Предок комментировал мне «Речи Лабьенуса», — памфлет Рожара против Наполеона III, этого «современного лже-Цезаря». Как сейчас слышу стук дождевых капель по черепичной кровле, дождь разошелся уже не на шутку, а дядюшка Бенуа тем временем читает мне с выражением статьи Валлеса * против войны («*Нам грозят кровавой бойней! Они ее жаждут! Она им нужна, нищета захлестывает все, социализм на них наступает... Самое время устроить новое кровопускание, дабы соки новых сил ушли кровью, дабы буйство толп заглушить залпами орудий*»). До сих пор словно бы вдыхаю в себя кисленький запах влажных яблок, сваленных в кучу (мы успели снять эти еще до ливней), вижу бронзовое, как колокол, небо, а наш старик все пересказывает мне свои беседы с Бланки:

—...Было это меж двух очередных отсидок... Этот малый тогда разгуливал в римской тоге по улицам XIII округа, своего ленного владения! Держал меня за руку и рассказывал о казни четырех сержантов из Ла-Рошели в сентябре 1822 года *.

Тогда Огюсту Бланки было столько же лет, сколько мне сейчас,— семнадцать. Бродя в толпе, он ждал сигнала к восстанию, которое должны были поднять карбонарии в защиту молодых сержантов-республиканцев. Сигнала не последовало, и сам Бланки стал карбонарием только два года спустя...

— Карбонарии! Нет, сынок, нам краснеть не приходится! Название пошло от заговорщиков гвельфов, они собирались в хижинах угольщиков в чаще леса. Мы

с Огюстом были «добрыми кузенами» одной и той же «венты» — двадцать членов составляли одну «венту», двадцать «вент» — один «лес».

До чего же в Рони-су-Буа я сросся с политикой. Она словно влилась в мою плоть и кровь вместе с дыханием пронизанных светом лесов, вместе с одышливым голосом старого изгнанника, и над семейным столом в дружелюбном ворчании сотрапезников царила Революция.

А теперь Рони уже скрылся во мраке времен, где-то на другом конце света... И сижу я в этой клопиной дыре, куда загнало нас троих — маму, Предка и меня,— и, хотя это пристанище могло бы стать орлиным гнездом, оно оказалось просто кротовой норой.

* * *

Перед въездом в тупик Предок, ведя Бижу под уздцы — Гран-Рю спускалась так круто, что повозка чуть не налезала на круп нашего коняги,— сказал мне:

— Поди разузнай, здесь ли живет тетка. Ведь если из этой кишки назад выбираться, придется коня распрячь!

И всегда-то парижские улицы не могли похвастать тишиной, а в те дни, когда столица готовилась к осаде, она превосходила самое себя. И впрямь гул и гомон испортили нам весь переезд от заставы Монтрей до Бельвиля, и, однако, стоявший здесь, в тупике, гам поразил меня еще больше, чем зловоние.

Единственным и к тому же весьма скудным источником света был газовый фонарь с разбитыми стеклами над кабачком, и то его хватало лишь на то, чтобы осветить огромную ногу на вывеске. Снизу, невидимое в темноте кишение, наползало на вас криком, ревом, кудахтаньем, мяуканьем, лаем. На каждом шагу мы чуть ли не наступали на кур и детвору. При тусклом свете, падавшем из окон мастерской и окошек кабачка, можно было разглядеть силуэты двух каштанов и третий — еще неподвижнее, чем первых два, еле-еле вырисовывался справа от арки, перед грудой обломков и хлама, у подножия развалившегося, третьего с краю, дома,— неподвижный силуэт сгорбившегося, страшного на вид попрошайки с протянутой рукой.

Детвора вдруг, как по волшебству, очистила площадку, и я очутился нос к носу с пушкой. Но тут всклубилось еще одно чудище, высотой шесть футов и столько же футов

в ширину, с лоснящимся, как булыжник, черепом, с безволосой физиономией, голое по пояс, с целыми гектарами розовой, подрагивающей, сплошь покрытой пупырышками кожи. На плече он нес вовсе не совенка, а крошечную девчушку с шапкой соломенных волос; завидя нас, она быстро спрятала свою замурзанную мордашку за блестящим черепом нежно-розового колосса. А он расшвырял печную трубу, домкрат и пару колес, из которых ребятня соорудила себе пушку. Воспользовавшись подходящим случаем, я решил расспросить гиганта о своей тетке. В ответ он улыбнулся, приветственно помотал головой, и, повернувшись ко мне спиной, с завидной легкостью унес под мышкой все составные части этого артиллерийского орудия, только что обстреливавшего Берлин. Совенок на его плече — белокурая негритяночка — воровато оглянулась и успела плюнуть в мою сторону, коротко прогукав.

Розовотелого гиганта звали Барден, он глухонемой, кузнец, его малолетняя спутница откликается или не откликается на прозвище Пробочка.

— Кого это ты ищешь?

Это второе явление ошеломило меня еще больше, чем первое, я уставился на говорившую во все глаза. Впрочем, поражала она не ростом, да и ничего в ней особенного не было. Девушка или девочка? То ли четырнадцать, то ли двадцать лет. Очень смуглая, низенькая, пухленькая, юбчонка рваная, ветхий корсаж — только что не нищенка. Зато глаза огромные, темные, грозовые глаза. Говорит на ужасающем диалекте парижских окраин, почти карикатурном. Каждая фраза, вернее, обрубок фразы сводится к ничем не оправданным усечениям, отчего спотыкливая ее речь и вовсе становится непонятной. Мне приходится все время переспрашивать ее вопросы и ответы. И это «ты» ex abrupto[1] меня тоже совсем огорошило.

— Мам Растель?.. Растель? А с виду она какая, твоя тетка?

— Не знаю, я и сам ее никогда не видел.

— Да в этой навозной куче до черта разных бабенок! Смугляночка возникла передо мной в нечистом свете тупика как некий его дух, как нимфа этого дремучего леса, фея Вивиана этой гнусной Броселианды.

Тогда я описал своего дядю.

---

[1] С первого слова *(лат.)*.

— Ага! Фердинан, который в солдаты ушел! Его супружницу Трусетткой кличут! Вот гляди, два окошка под самой крышей. На самом верху. Она только что с работы пришла.

Хотел было ее поблагодарить, но она уже ускакала. Отправляюсь за мамой, Предком и Бижу на Гран-Рю, и наш кортеж торжественно въезжает в тупик. У крыльца нас окликает какая-то мегера весьма внушительного вида:

— Эй, вы, неужто у вас хватает нахальства вот так въезжать сюда без спросу!

Груда колыхающихся жиров, обтянутых ситцем в горошек, а рядом какой-то лохматый пес, левретка и кошка.

Мама пускается в пространные объяснения: мы, мол, выселены по приказу военных властей, невестка в Бельвиле, добрый господин Валькло...— но вдруг рядом раздается чей-то звонкий голосок:

— Не теряйте зря времени и молодости, мам! Не ее это собачье дело, привратницы паршивой.

Опять черномазенькая нимфа Дозорного тупика.

— Ублюдок проклятый!

— А ты, Мокрица, заткни лучше свое хайло вонючее и исчезни, а то я на весь Бельвиль крик подыму, созову Национальную гвардию, Флурансовых молодцов *, господа бога и самого Бланки! Клянусь, через пять минут от тебя живого места не останется! Народищу сбежится в тупик тыщи! Стены и те рухнут...

Магические слова! Путь свободен.

Но это не Вивиана, это Марта.

* * *

Мама и тетя ссорятся. Это уже в третий раз после нашего приезда. Через тонкую перегородку мне все слышно. Слова становятся все резче, голоса — ожесточеннее. Боюсь, что Предок — нас с ним поселили в соседней мансарде — спит вовсе не так крепко, а просто делает вид, что спит. Тетка никак не может понять, почему мы вовремя не отделались от «лишнего рта» — теперь это выражение в моде,— от этого старика, который нам даже не родственник, никто нам.

Мама пытается урезонить невестку: Предок нам больше, гораздо больше, чем просто родственник, старик выучил ее сына не только читать, писать и считать, он

научил его самостоятельно мыслить и выражать свои мысли. Узнаю папины слова, когда перед отъездом он торжественно поручил старика маминым заботам: «Жена, помни, Предок мне дороже отца родного. Мы его вечные должники. Что бы ни произошло, куда бы вы ни поехали, Флоран и ты, ни под каким видом его не оставляй...» Так говорил папа, и мама запомнила каждое его слово. Даже сейчас я не могу слышать их без волнения, но тетку Альберту такими пустяками не проймешь:

— Ну и платите свои долги, каждый за себя! — вопит она. — Каждый живет, как ему нравится, но живешь-то всего один раз. Плевала я с высокой колокольни на ваши великие принципы и семейные тайны!

Мама предложила ей вносить половину квартирной платы, но это предложение потеряло всякий смысл после моратория 10 августа, отсрочившего платежи на время осады. Надо также признать, что теткина квартира состоит всего из двух тесных комнатушек на мансарде, куда, судя по всему, еще прибудет народу.

Голос за перегородкой становится все громче, а слова все недвусмысленнее:

— Ни на что эти старики не годны! Да-да, только жрут все, что в погребах и подвалах запасено, а потом еще тащут в дом с улицы всякие болезни!

А теперь она взялась уже за Бижу...

Четверг, 18 августа 1870 года.
Полдень.

Вот уже никак не мог вообразить, что у дяди Фердинана такая жена. Прежде всего она и впрямь очень красива! Высокая, держится прямо, крепкая, вся как сбитая. Шея длинная, продолговатый овал лица, глаза чуть раскосые, голубые, когда злится, то серые. Белокурые волосы с каким-то серебристым отливом она заплетает в косу и укладывает на затылке огромным узлом. Нынче утром видел в полуоткрытую дверь, как она, еще не причесанная, перегнувшись, открывает ставни, а солнечные лучи золотят роскошный поток ее волос, доходящих до бедер... Ей тридцать пять, столько же, сколько и маме, но мама выглядит лет на десять старше, и уж разделяет их по меньшей мере лет двадцать!

Тетка спит с мамой и со своим ребеночком в первой комнате; во второй, где приютились мы с Предком, стоит плита, которую топят коксом, здесь же кастрюли, ведра и посуда.

В первый же вечер я привязал Бижу под навесом у кузницы, так что наш коняга очутился в тени первого каштана, но на следующий день на заре я услышал, как Барден мычит во всю мочь, так только одни глухонемые способны мычать, и увидел, что он жестами требует очистить проезд для повозки с железом. Я привязал недоуздок к лестнице пристройки над мастерской, куда столяр складывает для просушки доски. Сутулый, на полусогнутых ногах, медлительный и медоточивый господин Кош был само терпение, но так тянул и мямлил, что невольно хотелось за него закончить фразу. Когда наш Бижу вырвал сразу три ступеньки, я, хотя внутри у меня все бурлило, вынужден был покорно выслушивать тирады любезного столяра, его доводы и сожаления...

Тогда я привязал нашу животину ко второму каштану. Отсюда он мог без помех любоваться вывеской: «Гифес, печатник. Типография. Литография». Бижу привык к свободе передвижения, да и недоуздок оказался гниловат... Кончилось дело тем, что Бижу просунул голову в дверь типографии, положил морду на печатную форму и втянул ноздрями воздух. Одним этим вдохом он вырвал с десяток строк муниципального циркуляра. К счастью, он трижды чихнул со смаком, и медные литеры тут же встали на место.

Владелец типографии господин Гифес — человек еще молодой. Из-за худобы кажется выше ростом. Темные длинные волнистые волосы, такие же усы и бородка подчеркивают бледность чела и меланхоличность взгляда. Меня он пожурил главным образом за то, что лошадь, мол, могла задохнуться. Со всех сторон набежала детвора, живо заинтересованная нашими с Бижу приключениями. Ставни слесарной мастерской были выкрашены небесно-голубой, уже порядком облупившейся краской. Бижу не слишком уважал голубой цвет и пришел в нервозное состояние, чего не случалось с ним уже давно и было явно ему не по возрасту. Перед кабачком «Пляши Нога» чуть было не разыгралась драма. К счастью, трое клиентов еще не успели угоститься как следует, а то бы им не увернуться от удара копытом. И это наш Бижу, который не лягал-

ся с той самой поры, когда его впервые завели в оглобли плуга...

Не без труда проведя Бижу меж кучами зловонного мусора, я привязал недоуздок к здоровенной балке развалившегося дома, но тут встревоженный хор, появившийся во всех окнах, подкрепляя свои слова жестами, дал мне понять, что мой скакун своротит, чего доброго, не только балку, но и дом впридачу...

Из дальнего угла тупика ко мне подковылял сапожник господин Лармитон. Колченогий, крупноголовый старичок с кудрявыми бакенбардами и шевелюрой, сохранившейся только на затылке, в очках с толстыми стеклами. Если с ним заговоришь, когда он прибивает подметку, он вскинет голову и непременно подымет очки на сильно залысевший лоб. Прежде чем обратиться ко мне, он сплюнул себе на ладонь, а когда разговор был окончен, снова набрал полный рот гвоздей.

— Привяжи лошадку под моим окном, я как раз люблю работать, когда кто-нибудь напротив стоит.

Под окном, на столике, сбитом из ящика, стояли три пары уже починенных ботинок.

— Как бы он вам их не сжевал!

— Никогда он себе такого не позволит, он же знает, что я его пригласил.

Собачонка сапожника, белый спаниель с двумя черными подпалинами — одна под глазом, вторая в форме седла на спине — подошла и обнюхала катышки Бижу, который принял ее авансы весьма благосклонно. Пес оказался таким же гостеприимным, как и его хозяин.

* * *

Ночью.

Предок спит. Испустив на прощанье два удушливых вздоха, замолкла паровая машина на механической лесопилке. В мастерской Серрона — «Все виды досок на выбор» — занята дюжина рабочих; помещается она позади виллы Дозор, а главный вход в нее — с улицы Туртиль. Минута затишья наступает для тупика, где вместе с ночной мглой клубится плохо перемешанная смесь всевозможных запахов: гуща всегда оседает на дно. Куры уже устроились на ночлег. Заснули и ребятишки, кошкам сейчас

раздолье, и они без помех крадутся в им одним известном направлении: день позади, и они делают вид, что не замечают крысу, вылезшую раньше времени, впрочем, и крыса-то почти с них ростом и, пожалуй, еще позлее. Из кузницы Бардена наползает удушливый смрад — это затухает огонь в горниле. Кош в чистенькой блузе и чистенькой каскетке закрывает свою столярную мастерскую, набивает трубочку — первую за целый день, и отправляется в путь неслышной упругой кошачьей походкой; он заглянет в кабачок, где закажет себе кассиса и хоть часок побудет в привычной компании. В нижнем этаже светятся окошки в «Пляши Нога» да в типографии, откуда долетает хлопанье ручного печатного станка. В темноте проступают смутные тени — два каштана, балка развалившегося дома, застывшая фигура нищего Меде, Бижу перед окошком сапожника Лармитона и наша повозка. Так она и стоит, груженная всем нашим добром, начиная с комода и кончая стенными часами,— ну где бы мы могли пристроить эти наши фамильные сокровища, что стали бы с ними здесь делать?

При сквознячке воздух в нашем тупике довольно сносный; еще мгновение, и потянет хмельным духом ночи, и прогонит запахи типографской краски, дерева, металла, кожи, вина, табака, румян, блевотины, мочи, постельного пота, а то и просто крови. Что-то грохочет по камням мостовой. Это работяга Леон, прислуга за все в «Пляши Нога», выкатывает пустые бочки. На заре их незамедлительно заменят полными. Из низенькой трактирной залы уже доносятся голоса, предвещая ссоры, а потом и драки.

Сразу же, как мы поселились в тупике, мне тоже пришлось подраться. Наши деревенские зуботычины не идут ни в какое сравнение со здешними, там это просто мальчишеское сведение счетов, игра, пусть грубая, но игра. А здесь бьются без пощады и жалости.

Встревоженный необычным ржанием Бижу, я как сумасшедший выскакиваю из дому: беднягу со всех сторон облепила детвора. В два счета я раскидываю шалунов. Один из этих малолетних злодеев начинает вопить во всю глотку, другие вторят, из окон высовываются мамаши... Все это в течение одной секунды... Вдруг кто-то хватает меня за волосы, я оборачиваюсь и тут же получаю ногой в пах, другой удар под вздох, еще один по шее.

Уткнувшись лицом в кучу лошадиного навоза, я совсем захожусь от злости. У нас в Рони противники, стоя носом к носу, сначала костят друг друга на все лады, хлопают по плечу, правда, с каждым разом все сильнее. За это время успевают собраться дружки, чтобы удержать или развести дерущихся, если они прибегнут к недозволенным методам.

Пока я выбираюсь из-под брюха Бижу, злоба все растет. Я вроде разум потерял. Слышен смех, радостные крики, в окнах гогочут взрослые, а ребята, обступив какого-то долговязого парня, сбившего меня с ног, поздравляют его с победой, скачут от восторга, а Марта шлепает его по плечу.

У меня не хватило терпения подняться с земли. Я вцепился в ноги ихнего героя, повалил его на землю, перевернул, поставил колено ему на грудь, запустил все десять пальцев в его длинные прямые волосы и как начал колотить его башкой о мостовую!.. Сапожник, кузнец и парикмахер еле вырвали его из моих рук.

Ну и история поднялась бы у нас в Рони! Непременно вызвали бы жандармов!

А здесь хоть бы что. Просто я выдержал вступительный экзамен. Марта взяла меня под руку. А тот долговязый, известный под кличкой Пружинный Чуб,— теперь он мой друг.

Все относятся к Бижу с почтением.

Ночь, настоящая ночь, когда теряешь голову, душу или кошелек! В такой беспорочной темноте рождаются или умирают, ночь начинается криком новорожденных и хрипением умирающих. Писк в соседней мансарде извещает нас, что проснулась крошка Мелани, моя двоюродная сестренка, родившаяся 20 июля нынешнего года, уже после отъезда ее отца, дяди Фердинана, на войну.

* * *

Когда в 1860 году брат папы, Фердинан Растель, вступил на парижскую мостовую, ему было ровно двадцать. Он познакомился с Альбертой Рашевской, она была значительно старше его, и у нее уже был пятилетний сынишка по имени Жюль. Помню, как сейчас, удивление и ужас моих родителей, когда до них дошла весть, что дядя, не прожив

в Париже и трех месяцев, успел сочетаться законным браком.

В Дозорном тупике и за его пределами, чуть ли не по всему Бельвилю тетя Альберта известна всем и каждому под кличкой Трусеттка.

Пятница, 19 августа 1870 года.

Одну из проблем Предку удалось разрешить полностью, а именно свою личную.

Не то чтобы в Рони нам всегда жилось легко, но зато мы были дома, в своей семье. Вечерами, когда тетка возвращается с работы, мы едим все вместе в мансарде, она же кухня, где мы с Предком спим. Наша хозяйка ни разу не обратилась к старику, даже смотрит куда-то поверх его славной мохнатой физиономии, обросшей седой щетиной. Во время этих унылых трапез разговор без передышки вертится вокруг того, что каждый обязан вносить свою посильную лепту — кстати сказать, до сих пор мы питаемся только теми продуктами, что привезли с собой из Рони,— вокруг того, что сейчас пустуют десятки квартир, так как трусы, а может быть, просто кто похитрее смотались из Парижа, так что без особых хлопот можно было бы при желании...

А сегодня тетка нам заявила:

— Завтра приезжает мой сын Жюль с одним своим приятелем. Тот постарше его года на три. Славный парень... Должна я их куда-то поместить или нет?

Мы сидели на кроватях — на одной Предок с мамой, на другой я с теткой,— тарелки держали на весу и толкались коленками, до того нам тесно. Старик не спускал глаз с раскрасневшегося лица тетки, а она брюзжала:

— Конечно, я вас вот так сразу на улицу не выброшу...

Она Предка ненавидела, я это чувствовал. Но сколько ни ломал я голову, не мог догадаться за что.

— Пусть хоть кто-нибудь один уедет,— цедила тетка сквозь зубы,— только один, и то легче будет. Положение не из веселых, вы сами в этом не сегодня-завтра убедитесь. Придется хочешь не хочешь...

Предок отдает тарелку маме. Тетка берет мою. Старик подбирает крошки, рассыпавшиеся у него по животу и коленям, подбирает не спеша, аккуратно, щепотью, а женщины тем временем уходят в соседнюю мансарду.

— Иди-ка сюда, сынок.

Он закрывает двери.

Мы стоим рядом, я смотрю на него. Я выше его на голову.

— Поди приведи маму.

Сколько ему лет? Семьдесят? А может, и меньше. Теперь, когда он выпрямил стан, он просто сила, сила без возраста.

Когда мама пришла, он скомандовал:

— Мать пусть встанет на верху лестницы, а ты, сынок, в коридоре стой. Что бы вы ни услышали, что бы ни произошло, никого сюда не пускайте.

Он указал на вторую мансарду, где под злобной рукой гремела посуда.

Предок подождал, пока мама займет свой пост, затем открыл дверь второй мансарды и не спеша затворил ее за собой. Мгновение тишины, и вдруг пронзительный крик. Крик не ужаса, не боли, а, скорее всего, удивления. И сразу перекушенный стон, но его заглушает довольное ворчание набившего свою утробу хищника.

Время для нас с мамой в этом темном вонючем коридоре тянется бесконечно долго.

— Флоран!

Тетя поправляет сбитый на сторону шиньон. При свете огарка блестит ее розоватая кожа. Вдоль тонкого длинного носа стекает слеза. Она протягивает мне свой кошелек:

— Беги скорее, Фло, к Бальфису и возьми нам на вечер четыре бифштекса, только смотри, чтобы были побольше, с дедов кулак!

Сидя на постели, Предок раскуривает трубочку.

Вечер.

Сейчас под нашей мансардой идет митинг.

—...В прошлый понедельник, 15 августа, был праздник Империи, их Империи. Так вот, они даже не посмели спеть «Te Deum»[1]. Сейчас им не до праздников, душа у них в пятки ушла!

Гифес, взгромоздившись на крышу пристройки столяра Коша, самую высокую из всех крыш Дозорного тупика,

---

[1] Начало псалма «Te Deum laudamus» — «Тебя, боже, славим» *(лат.)*.

вещает оттуда с высоты; все жители высунулись из окон, внизу, на дворе, тоже толпа. Мальчишки и девчонки облепили все соседние кровли — типографии, столярной, кузни, расселись на нижних ветках обоих каштанов... Сбежались отовсюду, даже из Менильмонтана, из Шарона, от Пэр-Лашеза и еще с десяток из Гут-Дора. Каким-то чудом детвора цепляется за балки, на самый верх взгромоздился какой-то заморыш, он кривляется на потеху людям, то подчеркнет какую-нибудь фразу оратора как бы ударом гонга — просто хватит босой пяткою о железную вывеску, то стукнет рукояткой сломанного пистолета без дула.

— ...Каждый день несет нам новые бедствия, разгром наших войск, их беспорядочное бегство! Наши храбрые парни ждут хоть одной, только одной, хотя бы самой маленькой победы, а мы уж ничего не ждем! Уже ничего не ждем от Империи! Только от Республики, от нас самих мы можем ждать победы над прусскими захватчиками и их королем!

Оба ряда унизанных слушателями крыш, весь тупик трепещет, задыхается, и рвется крик, словно из одной гигантской груди.

Оратор переводит дух. Стены домов еле заметно дрожат. Это на улице Анвьерж поезд окружной железной дороги ныряет в туннель и одышливо сипит, проходя под улицей Пуэбла, Гран-Рю и улицей Вера-Крус.

—...Париж, Франция, наш народ хочет драться. Где император? Где императрица? Где их ублюдок? Никто не знает... То и дело перебрасывают генералов с места на место! Эти идиоты уже в прятки начали играть! Теперь наш губернатор — господин Трошю *. Он правит столицей, которая требует одного — оружия. А он только вещает в ответ, что, дескать, уповает на старинный девиз Бретани, откуда сам родом: «С божьей помощью за родину!»

Взрыв неистового смеха сотрясает весь тупик. Тощий звонарь валится со своего насеста.

—...Вы только послушайте, что пишут эти трусы: «Это Париж 1792 года, бессмертной эпохи, когда пушка по тревоге подняла всю столицу, когда над башнями Собора Парижской богоматери реяло черное знамя *, когда вербовка солдат происходила прямо на площадях города». Мы, и только мы, всегда подымали на щит Великую Револю-

цию, Конвент, армию народа и солдат Второго года *. И нас за это бросали в тюрьмы. Видно, теперь они и впрямь здорово перетрусили!

Молодой типографщик простирает над толпой свои длинные руки:

— Но вольно им клясться Парижем или затыкать ему рот, все равно Париж 1793 года — вот он, здесь. Это вы сами, великий единый народ. Это вы, санкюлоты, отвечаете: «Здесь!»

Кажется, весь тупик подымается до самых крыш мансард в едином порыве, люди расправляют плечи, набирают полную грудь воздуха: «Здесь!» Из-под сводов выкатывается крик, достигает Сены, Люксембургского сада, южных застав, неприступных фортов.

—...Издыхающая Империя призывает граждан записываться в ряды Национальной гвардии, но берут лишь тех, кто может купить себе форму. А у кого есть на это гроши? У вас есть?

— Нет! — яростно выдыхает тупик.

Гифес, без кровинки в лице, устало опускает руки, и внезапно наступает тишина, от которой сжимается сердце. Типографщик сплетает пальцы и ударяет себя по лбу. Локомотив выныривает из туннеля и, торжествующе свистя, тянет вагоны вверх к Бютт-Шомону.

Типографщик продолжает, теперь говорит он тихо, очень тихо, будто молитву читает, выделяя каждое слово, и ни одно слово не пропадает:

— Довольно!

— Империи конец!

— Да здравствует Республика!

— Да здравствует народ!

— А народ просит только одного — ружей, «шаспо».

— «Шаспо» и пушек!

Толпа стоя повторяет эти слова все крепнущим голосом:

— Пушек!

Не закрывая узкого оконца, я поворачиваюсь и вижу, что мама собирается ложиться в постель, в ту самую, где до сегодняшнего дня спал Предок. Очевидно, она замечает написанное на моем лице удивление. Мама подымает руку, прикрывает глаза, чтобы легче было все мне объяснить, но отказывается от своей попытки. Рука бессильно падает.

И на сей раз она удовлетворится той вошедшей уже в поговорку улыбкой, неловкой улыбкой матерей перед тем, что должны узнать их сыновья и о чем родители не должны им говорить.

— Пушек, пушек, пушек!..

Одна из последних группок слушателей выбирается из нашего тупика, скандируя эти слова на мотив «Карманьолы». Под сводами арки гулко звучат их голоса и далеко-далеко разносится припев.

Республиканцам нужно иметь
Храбрость, хлеба и пушек медь!
Храбрость, чтоб отомстить,
Пушки — захватчиков бить.
И хлеб нашим братьям!
Пусть веселит нас
пушечный глас!

Припев спускается со склонов Бельвиля, переходит из уст в уста, и в каждом голосе сила, несущая пушку к сердцу Парижа.

Суббота, 20 августа 1870 года.

Повсюду валяются газеты. Подыми и читай. Положение ухудшается день ото дня; позавчера еще продавцы газет кричали: «Отечество в опасности!», а вчера уж: «Вторжение!» Наша оборона прорвана по всему фронту, наша армия разгромлена, Эльзас и Лотарингия заняты неприятелем, пруссаки уже появились в Нанси, в Понт-а-Муссоне, затем в Коммерси, топот их сапог все ближе и ближе. Бельвиль содрогается.

— Да ты читать умеешь?

Марта не может опомниться. Она тычет пальцем в середину газетного листа.

— Читай!

Бывало, я пытался представить себе ту, единственную любовь всей своей жизни, она непременно должна была быть высокой тоненькой блондиночкой, скромной, года на три-четыре моложе меня. Марта не отвечает ни одному из этих требований.

— Читай, вот тут!

— «Законодательный корпус подавляющим большинством голосов отклонил проект левых, но правительству

пришлось выслушать немало жестоких истин и грозных обличений. «Пора решить, готовы ли мы сделать выбор между спасением родины и спасением династии!» — воскликнул господин Гамбетта» *.

— Ой, Гамбетта,— обрадовалась Марта,— это тебе не пустяки. Он красный, он наш человек.

В мае прошлого года Гамбетта был с триумфом избран от Бельвиля, это были первые настоящие красные выборы, при которых руководились действительно «социальными идеями», теперь, по словам Марты, они известны всем как «Бельвильская программа».

— А внизу что?

— Это о модах.

— Читай скорее.

— «Цветущий ларец», Итальянский бульвар, 30, предлагает своим клиенткам, приютившим у себя раненых солдат, крепкий одеколон, секрет изготовления коего принадлежит господам Пино и Мейеру. Дамам, отправляющимся на морские купания, настоятельно советуем не забыть взять с собой крем «Снежинку», отбеливающее средство, великолепно снимающее морской загар». А еще ниже сообщение: «Общество железных дорог Южной Австрии предупреждает грузоотправителей, что железнодорожное сообщение в западной части Германии через Страсбург — Форбах прервано. Общество не дает никаких гарантий грузоотправителям, перевозящим свои товары из Швейцарии через Линдау, Базель и Женеву».

— Да ты, шут тебя возьми, мог бы салон держать не хуже нашего Шиньона.

Шиньоном окрестили здесь бывшего парикмахера, настоящее его имя — Батист Метэль. Целыми днями сидит он у окошка нижнего этажа, у того, что выходит на водоразборную колонку, и кисточка засаленного колпака мерно болтается в такт его движениям. От него вечно разит рыбьим клеем. Лицо костистое, украшенное длинными усами с лихо закрученными кончиками, склонено над париками, которые он мастерит, дело это тонкое и, помимо ловкости пальцев, требует еще и неистребимого терпения. Но как только кто-нибудь из жилиц выходит за водой, Шиньон вскидывает голову со съезжающими на кончик носа очками, взгляд его загорается, рот приятно округлен: этот за словом в карман не полезет. Когда он уж чересчур

разойдется, госпожа Фаледони, позументщица с нижнего этажа, Мари Родюк, торговка пухом и пером с четвертого, и со второго — Селестина Толстуха, мастерящая бумажные цветы и гирлянды, сурово его осаживают. По утрам Шиньон зычным голосом сообщает своим дамам последние газетные новости, а те, слушая его, все так же проворно снуют руками; чтение обычно сопровождается весьма выразительными комментариями, так что слушательницы в конце концов приходят к убеждению, что все эти журналисты ужасные зубоскалы. Торопыга, сын гравера, притаскивает газеты прямо из типографии, где работает его отец, и вдобавок еще сообщает слухи, которые в газетах не печатаются, а известны в редакциях.

Шиньон, Торопыга и еще многие, многие другие...

Нынче, когда я набрасываю портреты тех дней, мне хотелось бы подретушировать их, потому что я знаю их судьбы, но я не могу, иначе пришлось бы переписывать все заново.

И дневника бы не получилось.

Здесь, у колонки, блаженный уголок, и редко какая женщина не покидала этот рай со вздохом сожаления, таща два ведра воды домой, где нет хлеба, нет света и хнычет детвора, а тем временем муж, лишившийся работы, с горя спускает последние гроши, полученные в ломбарде, восседая в кабачке дядюшки Пуня, который сам раньше был рабочим, а потом преуспел. «Пляши Нога» никогда не пустует. Не только наш тупик, но, пожалуй, и весь квартал поставляет ему клиентов. Скотники с улицы Ребваль, конюхи с улицы Рампоно встречаются в обираловке Нестора Пуня с ломовиками, которые поутру въезжают через потерну Пре-Сен-Жерве с пустыми мешками или бочками. Иной раз вестовой заглянет в «Пляши Нога» по дороге в форт Роменвиль или Нуази, а Барден тем временем перековывает его конягу. Кабачок дядюшки Пуня служит также конторой по найму рабочей силы. В прокуренном зале толпятся бронзовщики из литейной братьев Фрюшан, расположенной в двух шагах отсюда, на перекрестке улиц Ребваль и Ренар, десяток сборщиков с фабрики Годийо, наладчики от Гуэна, из Батиньоля, клепальщик и два медника от Келя в Вожираре, где делают локомотивы. Один из них все твердит, что на этой каторге долго не протянешь. В один прекрасный день он возьмет и уйдет из

ихнего заведения и наймется туда, где потише, где «эти сволочи мастера» не будут тебе голову морочить, а будет всего только один-единственный покладистый мастер. Лихо расправив плечи, медник единым духом опрокидывает стаканчик. Зовут его Бастико, он гигант с лишенной растительности физиономией, с перебитым носом. Второй медник, Матирас, с рыжей бородой веером, ухмыляясь, подтверждает, что его дружок действительно уйдет — это он не зря говорит,— но все равно рано или поздно вернется к Келю или Гуэну, уже бывали тому примеры. Все дело в том, если, конечно, верить рыжебородому, что Бастико — и в данном случае он не одинок — никак не может приноровиться к новым методам труда. Он прирожденный ремесленник и в качестве такового вечно опаздывает, прогуливает все понедельники, а порой захватывает и утро вторника, ворчит, бастует, словом, по выражению хозяев, «лезет в политику».

И вправду, каждое утро на заре наш тупичок оглашают зычные крики Матираса, выманивающего из дому «своего коллегу», а через несколько минут начинают перекликаться их супружницы — Элоиза Бастико и Ноэми Матирас, сговариваются вместе идти на улицу Бонди, где обе работают у Кристофля в ювелирной мастерской, там занято более четырехсот человек.

Пливар, Фалль, Вормье, итальянец Пальятти, русский Чесноков, поляк Каменский... Марта всех их знает по именам, главным образом из-за их ребятишек.

В ту пору мой слух не был еще приспособлен к языку и говору парижских окраин. С другой стороны, я, как и все новички, мучился всеми муками пуриста. Мне было как-то неловко передавать подлинный язык Бельвиля. Даже перу было больно воспроизводить то, что резало мне слух, а при вторичном прочтении своих дневников меня просто коробило. Иной раз я все же пытался передать этот рубленый, исковерканный язык обходным путем, через косвенную речь. Мало-помалу мое ухо освоилось, и литературное кокетство постепенно отмерло. Я довольствовался тем, что скупо переводил на обычный язык то, что приходилось мне слышать, исключая кое-какие тирады, когда неблагозвучное калечение языка, обычное для жителей предместья, звучало чересчур грубо, особенно в области эмоций. Порой это противоречие было слишком резко, и я

записывал, так сказать, в отместку все эти языковые грубости. Чаще всего записывал слова Марты.

Каждый вечер, когда наш тупик может передохнуть от грохота ломовиков, доставляющих товары, Леон, прислуживающий у Пуня, выносит наружу четыре скамьи, козлы и доски. Тут и начинается застолье! Все это кричит, пьет, хохочет и поет до зари. При свете кинкетов на побагровевших физиономиях блестят пот и грязь. Черные мозолистые лапищи взмывают в воздух, будто крылья летучей мыши. Борода, каскетка, блуза и рабочие брюки здесь обязательны. А вот бороденка, подстриженная а-ля Наполеон III, котелок, плащ и редингот — это уже для буржуа, квартирующих по ту сторону арки. Их окна выходят на Гран-Рю, а к Дозорному тупику они повернуты задом, и нам видна только высокая стена с узенькими, забранными решеткой окошками, откуда никогда не выглянет человеческое лицо. Ну а если твое собственное окошко под крышей выходит в тупик, хочешь не хочешь — слушай разговоры и песни. Это горланят в темноте собутыльники в «Пляши Нога».

Иной раз из окошка мансарды высунется жена позвать мужа, иной раз она даже выходит из дому с младенцем на руках — а малыши постарше цепляются за ее юбку — и, пройдя по смежному переулочку, дрожа, вступает под арку.

Литейщик Барбере, обслуживающий печи у братьев Фрюшан, влепил своей половине парочку затрещин, так что она быстрехонько отправилась обратно на площадь Вольтера, где они живут, а он доверительно объяснил собутыльникам:

— Как это она все в толк не возьмет, что я целых четырнадцать часов проторчал в том пекле и имею, наконец, право не сидеть на нашем чердаке, где и повернуться-то негде, шутка ли — сундук и пять кроватей, а тут еще ребятишки орут и эта пискля хнычет. Вот если б моя супружница сумела устроиться так, как жена Вормье!

Жена Вормье, чернорабочего, больного чахоткой, пошла в полицию и записалась как гулящая. Впрочем, записаны они там или нет, но только женщины, посещающие «Пляши Нога», считаются погибшими созданиями. На весь Бельвиль особенно славятся две: Дерновка — дебелая блондинка, до ужаса размалеванная, и долговязая брю-

нетка, по кличке Митральеза, потому что, как только она откроет зубастый ртище и начнет крыть всех и вся, кажется, будто стреляет картечница, изобретенная капитаном Рефи.

Подобно Опере, подобно Комеди-Франсез, наш кабачок «Пляши Нога» выдвинул своих Мишо, своих Агар. Тупик, например, породил Дюрана, прозванного Нищебратом, тощего, общипанного и обычно очень молчаливого поденщика, в котором вино пробуждает бурные ораторские страсти. Тогда он поднимается, скинет каскетку, обнажив при этом куполообразный череп с проплешинами (впрочем, в проплешинах у него не только голова, но и бороденка, потому что лысеет он местами), и открывает свою страшную пасть. Вообще-то рты обитателей тупика, мужчин и женщин, не в блестящем состоянии, но, пожалуй, ни у кого нет такого страшного, как у Нищебрата, с кривыми пеньками вместо зубов. Тут бражники замолкают, подталкивают друг друга локтями, подбочениваются. Под августовским небом, щедро сыплющим звезды на уже засыпающий Париж, Нищебрат начинает рассказ о своей жизни:

— Появился я на свет божий в мерзкой, завшивленной лачуге в тупике Ренар 26 июня 1848 года, как раз тогда, когда солдаты крошили, как в Ла-Виллет, мятежников на площади Бастилии и в предместье Сент-Антуан *, в ту самую минуту, когда моего папашу укокошили — впрочем, поди знай, только с той поры его никто так и не видал. Мамаша моя говорила, что и раньше-то наш папашенька редко когда показывался. Значит, через неделю мне исполнится двадцать два года и два месяца. Чуете? Верноподданный его императорского величества — это я и есть, юный пролетарий, распролетарий, пролетарий из пролетариев! Сын, внук, правнук рабочего, сам рабочий — предки наградили меня голубой кровью, а поголубела она от холода и нищеты, да еще дерьмового винца туда подбавили — и с этим-то наследством должен был я расти, короче, рос как мог, одинешенек, от горшка два вершка, а словно взрослый. Не пустяк это. Моя матушка весь божий день надрывалась на ткацкой фабрике, а я — я подыхал с голоду и холоду в грязных лохмотьях под дырявой крышей. В восемь лет я уже работал на химической фабрике в Ла-Виллет; с тех пор и начали у меня волосы лезть. Давал волю всем своим склонностям, какие они ни были, зато и повеселился я, золотушный! Так я и рос, взрослел,

доставалось мне крепко, дурные примеры перенимал, читать-писать не научился, зато во всех пороках преуспел! Даже армия и та на меня не польстилась.

— Вот уж нашел о чем жалеть! — бросает Бастико.— Загнали бы тебя в казармы, а оттуда послали бы издыхать неизвестно за что — то ли в Мексиканскую экспедицию, то ли на Крымскую войну *.

Нищебрат уже отдышался и с достоинством заканчивает свою речь:

— Ясно, я женился, вообще-то баб я не пропускал, уж поверьте на слово. Вы мою Сидони знаете, и посему на сей счет полный молчок.

— Дюшатель * заявил, что рабочим вовсе не обязательно жениться и семью заводить,— ворчливо вставляет рыжий Матирас. — Незачем, мол, рабочим зря землю загромождать, раз они не могут обеспечить себе средства к существованию.

— Он, как это его... прав,— бурчит Пливар.

Алексис невысокий, молоденький, в очках, он работает наборщиком у Гифеса, пришепетывая, начинает объяснять, что это совершенно верно, что французский министр Дюшатель действительно держал такие речи и что Варлен *, переплетчик, даже приводил эти слова в имперском суде на втором процессе Международного товарищества рабочих *. Гражданин Варлен уточнил, что Дюшатель не сам это выдумал, а позаимствовал у «филантропа» англичанина по фамилии Мальтус.

Пока Нищебрат подкрепляет свои слабеющие силы солидной порцией пойла, за столом стоит гул голосов. Фалль рассказывает о своих малышах: все четверо больны, Матирас жалуется на дороговизну, Вормье — на безработицу, а Бастико орет:

— А если ты потребуешь, чтобы тебе повысили плату, тебя тут же турнут, помирай себе с голоду или пожалуйте в тюрьму, как в Каталонии, а то еще, чего доброго, и расстреляют, как в Фосс-Лепине... Уж в суд-то обязательно потащат.

— Тринадцать погибло в июне в Ла-Рикамари! Четырнадцать — в октябре в Обене! *

— Министр Лебеф представил к ордену капитана Госсерана, который приказал открыть огонь.

Вдруг снова в общий гомон ввинчивается пронзительный голос Нищебрата:

— А теперь, нищие братья, расскажу я вам о моем будущем, о нашей судьбе, о судьбе всех нас, бедняков! Распространяться не буду, и вот почему: если не помру раньше срока от застарелой золотухи, проскриплю еще несколько мерзких лет, покуда не попаду в дом призрения.

— Если только место найдется!

— И кончишь, как Меде.

Все взоры обращаются к согбенному силуэту попрошайки — это он в углу у арки протягивает за подаянием руку. Ветхая каскетка сползает ему на глаза. Так и торчит он там целые дни, болезненно жмурясь, и клянчит грошик, бормоча что-то невнятное.

— А ведь был литейщиком у Денвер-Леневэ в Лурсине, в свое время был работник хоть куда,— буркает себе под нос Матирас.

— Этот человек,— возглашает Алексис-наборщик,— произвел в четыре раза больше того, что потребил.

И молоденький наборщик начинает громить захребетников-капиталистов. Пряди длинных прямых волос падают ему на лицо, на носу подпрыгивают очки в такт обвинительной речи «против людей, которые ничего не производят, которые жиреют за счет того, что девяносто девять их братьев из ста лишены самого необходимого».

Разгневанные сотрапезники машинально оглядываются на закрытые ставни второго этажа виллы. Хозяин этой квартиры — единственный «капиталист», которого они видели во плоти. Но господин Валькло неделю назад уже покинул Париж со всем своим добром и домочадцами.

Вот о чем шумит ночной Бельвиль, и отголоски застольных бесед доходят до окошка мансарды, где я царапаю эти строчки, а мама только что заснула, но спит беспокойно, мечется во сне.

Воскресенье, 21 августа 1870 года.
Около полудня.

Марта может говорить о политике не хуже иного рабочего — члена Интернационала, а через минуту уже носится в салочки. Она верховодит дюжиной ребят из нашего тупика, всей этой мелюзгой, то командует, то нянчится с ними, словно родная мать. Как-то вечером она отважно бросилась на защиту какого-то хилого мальчугана,

которого отчим колотит почем зря, срывая на нем злость, и вовремя бросилась, а то пришиб бы мальчишку до смерти, и она же прибила Адель, дочку жестянщика, и Филибера, старшего сынишку торговки пером: как, мол, посмели не принести мешок древесного угля, а уголь по ее приказу таскают у дядюшки Вергуньи с улицы Орийон. Она знакома со всеми знаменитостями нашего квартала: с Огюстом Виаром , с Жюлем Бержере, с интернационалистом Остеном с Бютт-Шомона, с журналистом Люсипиа, с сапожником Тренке *, который, как только где ее завидит, еще издали кричит: «Привет, Марта!» А уж о самых лучших, тех, что в тюрьме или от тюрьмы скрываются, и говорить не приходится. Знает она бланкиста Ранвье * и героя Бельвиля прославленного Флуранса.

Темноволосая девчонка рассказывала мне о них, а сама и так и эдак вертелась перед витриной аптеки и старалась раздуть свои юбчонки:

— Нет, ты только посмотри, Флоран, знаешь, как мне кринолин пойдет!

...По Гран-Рю, сотрясая дома, проехала артиллерийская батарея. Шесть огромных пушек, зарядные ящики, конские упряжки, грохот колес по булыжнику, гомон батарейной прислуги; один вид этих чудищ преисполнил надеждой сердца зевак и жителей, выглядывавших из окон. Признаться, и меня разобрало, и у меня сил вроде прибавилось от зрелища этой несокрушимой мощи, тем более что пушки шли занимать позиции на наших восточных фортах: вот будет подарочек пруссакам, уж никак не ждут.

— Смотри, вот это бронзовые пушки, нарезные,— объяснила мне Марта.— Называют их снарядными, или гаубицами, потому что они могут стрелять и ядрами и снарядами — цилиндрическими и коническими. Вот это да! У нас есть также и тяжелые орудия, они производят два выстрела в минуту и бьют на три тысячи метров. Снаряды бризантные, взрываются в заранее назначенный момент, могут и раньше, чем попадут в цель.

Раскрыв от изумления рот, я уставился на чернявенькую коротышку Марту, на ее округлившиеся от восторга глаза. Умела, что ни говори, поражать людей. Но это было еще не все.

— А теперь, Флоран, я открою тебе мой самый-самый большой секрет!

И Марта показала мне свой тайник.

Я и сам знал, что каждый в детстве обзаводится своим тайником. К примеру, я облюбовал себе ямину под корнями засохшего дуба, за изгородью у ручейка, и все лето там играл. Но тайник Марты — это была уже не игра.

Убежище ее помещалось в бывшем чуланчике, чудом уцелевшем на втором этаже рухнувшего дома и как бы нависшем над развалинами. Снаружи ни за что и не заметишь. Логово она обставила — притащила тюфяк и три довольно-таки приличных одеяла, была там и начатая бутылка вина.

— Можешь, когда хочешь, приходить сюда ночевать,— торжественно объявила Марта.

Затем не без жеманства добавила, как полагается хозяйкедома:

— Только свечи у меня нет, нарочно ничего не зажигаю, чтобы снаружи не увидели.

Даже ребятишки из ее стаи не знали о существовании тайника. Подопечная детвора Марты до последнего времени собиралась в пристройке Коша за досками, но сейчас там не повернешься — в предвидении осады столяр пополнил запасы досок.

Через горизонтально идущую трещину стены виден буквально весь тупик от арки до виллы. Между двумя камнями в смежной стене был ловко выцарапан и аккуратно удален весь цемент. Если приложить глаз к этой дырке, то внизу откроется зала «Пляши Нога».

— А им снизу ничего не заметно. Ну сам скажи, здорово ведь устроено. Разве нет?!

Понедельник, 22 августа.
Сразу после пробуждения.

На Восточный вокзал все прибывают и прибывают раненые. Несколько ребятишек из тупика и мы с Мартой отправились туда вчера после обеда в надежде получить хоть какие-то сведения о наших отцах. Мы бегали по платформе среди носилок, солдат, санитаров, братьев милосердия, дам-благотворительниц, раздававших раненым вино в стаканах и бульон в чашках. Я орал: «Кто видел Растеля? Из 106-го линейного полка бригады Бурген-Дефея?» Филибер, старший сын торговки пером: «Бригадира Родюка, 4-й гусарский?» А Шарле — маленький горбун, сын позументщицы: «Артиллериста Фаледони...»

Нас гнали прочь, нас ругали сержанты — здесь, мол, вам не место, а мы безуспешно выкрикивали наименования воинских частей, где служили наши отцы, среди запахов крови, гноя, лекарств и угля. А другие выкликали другие имена, другие чины, целые семьи рыдали в голос, а какая-то женщина с воплем припала к неподвижно распростертому телу. Когда шум смолкал, слышался протяжный вопль боли. Африканский стрелок с обеими ампутированными руками бормотал в бреду: «Повсюду пруссаки! Вот опять, опять... Муравьи!» Весь как в латах, в окровавленных бинтах, пехотный капитан рассказывал с носилок своим родным: «Я был в Сен-Прива вместе с Канробером *, городок горел, в атаку на нас пошли тридцать тысяч пруссаков, но гвардия не поспела к нам на помощь. Гвардия, отборнейшие части, двадцать тысяч человек, ждала приказа и не дождалась...» Какой-то слепой, держась за плечо санитара, бормотал: «Это только позавчера было! Наш 60-й полк стоял на ферме Сент-Юбер. Два дня дрались, а до того неделю шли, не спали, не ели!» Из-под повязок выкатились одна за другой две скупые кровавые слезинки. А рядом полупомешанный капрал, которого с трудом удерживали два санитара, вопил без передышки: «Гравелот, помните о Гравелоте!»*

— Да заставьте вы его наконец замолчать!

— Он оглох, господин капитан.

Подошел еще один поезд, из вагонов высыпали таможенники, их отрядили в Париж рыть укрепления. По бульвару Мажента дефилировали во главе с барабанщиком пожарные в блестящих касках, согнанные в столицу со всех концов Франции.

На площади Шато-д'О обучали добровольцев, за неимением ружей они орудовали палками, тросточками, а то и зонтами. Тут были чиновники, студенты, принарядившиеся рабочие, каменотесы в белых тиковых куртках с красным поясом и красным шейным платком, плотники, каменщики, художники... И даже один гарсон из кафе.

Дотемна шатались мы по Парижу: Марта, Торопыга, Пружинный Чуб, Адель и Дезире Бастико, Шарле-горбун, оба Родюка, оба Мавореля и я. Впервые я по-настоящему выбрался за пределы Бельвиля. Но если верить Марте, сейчас Париж уже не Париж. Прежде всего самые-разсамые богатеи удрали. Значит, народу поубавилось в богатых кварталах, особенно в особняках.

Но все-таки, на мой взгляд, на улицах людей и суеты хватает. Потому что тем, кто остался, не сидится дома, их тянет на улицу, хочется поговорить, узнать новости, просто потолкаться в толпе.

Уже ночью мы добрались до заставы Трон, где строят тройные укрепления. Деревья повалили и пустили стволы, сучья, даже листья на потребу обороны, понаделали габионов, в них переносят землю, длинные патроны со взрывчаткой и все прочее. Работы не прекращаются ни на минуту даже ночью. От света фонарей, нацепленных на опорные колья, любой предмет отбрасывает длинную тень, пляшущую по мостовой: и булыжники, и земляные валы, и шанцы, и редуты, и палисады с амбразурами, и куртины с бойницами, и пушки, которые провозят мимо, и ядра, которые складывают пирамидками. Только что прибыл батальон мобильной гвардии — всё зеленая молодежь в штатском, они бродят возле походного лазарета, возле походных кухонь, в одной руке у каждого ружье, в другой положенный по довольствию хлеб; а воскресный люд кружит вокруг их лагеря, гонимый иным голодом, ибо эта трепещущая, неуравновешенная толпа давно изголодалась по надежде и славе...

* * *

Ночью.

Придется мне теперь совсем не спать: появился вор. Проходя мимо бочки, Предок машинально ударил по ней ладонью и по звуку догадался, что она наполовину пуста. Нам удалось забрать с собой в мансарду только самое ценное и не громоздкое из наших вещей — белье, посуду, а все остальное куда девать? Необходимо срочно куда-нибудь их пристроить! Прошлой ночью у нас украли самый лучший наш тюфяк. Мама возмутилась и заявила, что обратится в полицию. Тетка начала орать, вмешался Предок, и о полиции больше ни слова.

То и дело я откладываю карандаш и озираю наше добро. Стенные часы лежат плашмя на самом верху поклажи, и поэтому повозка в темноте похожа на огромную пушку, из тех, что я видел вчера. Под окном сапожника дремлет Бижу. Когда у него затечет нога, он переступит, звонко стукнет подковой о камень и высечет искорку. Догадывается ли он, верный наш коняга, что корму для него осталось

всего на полтора суток... Сейчас он стал вроде поспокойнее, зато какой-то невеселый.

Застолье в «Пляши Нога» кончилось — ни криков, ни пения. Даже два ломовика, подравшиеся из-за Дерновки, и те утихли. Сидят и слушают рассказ какого-то артиллериста, вернувшегося из Восточной армии.

—...Пулевая картечница Рефи, или, как ее называют, митральеза,— превосходнейшая штучка, только они ведь нам все время твердили: «Наша слава не нуждается в каких-то там новых изобретениях». Секрет они крепко про себя держали! Когда мы получили вот такие игрушечки, просто не знали, как к ним подступиться, а ведь война уже шла. Значит, приходилось прямо на поле боя разбираться что к чему! Да еще при каждом выстреле тебя так отбрасывает назад, а в минуту она три раза бьет! Как брызнут фонтаном двадцать пять пуль, а то и семьдесят пять! Так и косит пехоту, жаль только, недалеко стреляет. А вот у пруссаков пушки Круппа — это я тебе скажу...

Но вскоре проклятья по адресу генералов и самого императора заглушают рассказ артиллериста, и снова начинаются крики, хохот, пенье...

Если «Пляши Нога» — предпочтительное место сборищ горлопанов и рассказчиков, то уголок у водоразборной колонки облюбовали себе философы и ораторы. На ступеньках виллы устроились рядком Кош-столяр, последователь Прудона, и Гифес-типографщик, интернационалист; их слушают ремесленники, подсевшие к своим окошкам глотнуть свежего воздуха, тут же цирюльник Шиньон, причисляющий себя к эбертистам *, бланкист сапожник Лармитон и гравер Феррье, якобинец *.

Спокойным своим голоском столяр предвещает близкую эру Федерации:

— Кто сказал Свобода, сказал Федерация. Республика? Федерация. Социализм? Федерация. Федерация — единственная система, при которой все вступающие в нее приобретают больше, чем теряют, в отношении прав, власти и собственности...

Некоторые слушатели упрекают Прудона за то, что он дал себя соблазнить Луи Бонапарту и, таким образом, в какой-то мере содействовал государственному перевороту.

С тех пор как мы приютили у себя в Рони Предка, этот словарь и эти идеи стали мне кровно близкими в букваль-

ном смысле слова: они вошли в наш семейный обиход. Огорошенный вначале и самими обитателями тупика, и их лексиконом, я, помнится, жадно прислушивался к этим дискуссиям, так как они хоть отчасти напоминали мне чудесные вечерние часы у нас дома. Благодаря этому жители Бельвиля, раньше отпугивавшие меня, стали мне как-то ближе. Предместье можно сравнить с табаком: от первой выкуренной трубки тошнота подступает к глотке, но только от первой. Примерно то же самое произошло, когда Марта сводила меня в залу Фавье. Увлечение клубами было делом не новым. С 1848 года, после февральских дней, свобода объединений и ассоциаций, принесенная Второй республикой, вызвала к жизни множество клубов, четыре из которых особенно памятны: Клуб Друзей Народа, созданный Распаем, Центральное братское сообщество, Клуб Революции или Клуб Барбеса*, и Центральное республиканское сообщество, или Клуб Бланки. Эти два последних клуба отражали борьбу их вождей, бывших когда-то боевыми товарищами, а ставших смертельными врагами. Затем клубы были запрещены и практически исчезли и возродились с изданием закона 1868 года, который разрешил публичные собрания при условии, что они будут происходить в присутствии полицейского комиссара и что ораторы не будут нападать на правительство.*

Встревоженные успехом клубов и распространяемой ими революционной заразой, власти запрещали дискуссии по определенным вопросам. Каждый день газеты публиковали список запретных тем. Таким образом, клубы постепенно перестали говорить в открытую и прибегали к намекам, что усыпляло бдительность неизменно присутствовавшего на всех заседаниях комиссара полиции, рядом с которым восседал писец, без передышки скрипевший пером. Как-то на вечернем собрании очередной оратор посвятил свое выступление теме, не попавшей в черный список, и с самым невинным видом произнес речь о кролике. Целый час он распространялся об этом грызуне, вялом и жирном, который неизбежно попадет в суп, не забыв в весьма ярких красках обрисовать и крольчатник; а слушатели тем временем, веселясь от души, свысока поглядывали на стража порядка и его усердного писаку. Так что в конечном счете беседы у нашей водоразборной колонки были повторением клубных дискуссий, только в более мирных тонах. Социальная философия диктовалась личным

пристрастием, главный же интерес составляли последние новости и декреты.

Нынче вечером идет разговор о том, что толпа народа, забившая улицу Врилер, осаждает Французский банк, рассчитывая обменять бумажные деньги на золото. Хроменький сапожник клеймит правительство за то, что оно не прекратит безобразия.

— Куда там! Оно покровительствует крупным спекулянтам. Директора фабрик и крупнейшие негоцианты добиваются у властей разрешения обменять бумажные деньги на золото и в качестве предлога ссылаются на то, что так им-де легче расплачиваться с рабочими. В течение двух недель золотая наличность банка уменьшилась на сто двадцать миллионов!

— Одни спекулируют на акциях, другие на брюхе,— ворчит Шиньон, и вот уже наш парикмахер-эбертист принимается стричь и брить «хищников от коммерции».

— Девятого августа,— перебивает его Гифес,— Фавр * внес законопроект: «Реорганизовать Национальную гвардию, предоставив ей право самой назначать офицеров, а также немедленно раздать ружья всем гражданам, способным носить оружие». Однако правительство не так-то уж торопится проводить в жизнь собственные указы, это же слепому ясно! Ничего, народ его скоро заставит!

— Еще как заставит-то, прямо пинком в зад!

Такие речи как-то успокаивают и даже убаюкивают. Пока идут эти споры, я могу не тревожиться — никто не украдет наших часов и не обидит Бижу. Впрочем, Пато, собачонка сапожника, всякий раз подымает лай, если ее дружку грозит опасность.

Не знаю, кто именно: интернационалист, бланкист, якобинец или прудонист,— кто-то из них, возможно, и владеет ключом к грандиозным проблемам, стоящим перед человечеством, но, перебирая все их теории, я убедился, что они не показывают мне выхода из моих семейных и личных затруднений.

Вторник, 23 августа.
В сумерки.
В тайнике Марты.

Мой двоюродный брат, первенец тети Альберты, одним словом Жюль, переехал к нам. Ему исполнилось пят-

надцать, но он кажется взрослым. А наружность у него примечательная: невысок, коренаст, голова треугольная, глазки маленькие, близко посаженные, а рот огромный — от уха до уха. Его друг Жером, он же Пассалас,— этакий длинный и тощий скелет, башка вроде сабо, от правого глаза к горлу идет шрам. Ему, должно быть, не меньше восемнадцати... И тот и другой с недавно обритыми головами. Если тетушка не могла сказать, где пропадал ее старший сын, то Марте это было прекрасно известно:

— Он только что из тюрьмы вышел!

Марте это обстоятельство внушало немалое уважение. Да и мне их речи и манеры казались необыкновенными.

Оба молодца без дальних разговоров заняли вторую мансарду. Так что маме пришлось переселиться к позументщице. Когда она увидела, что я собираю вещи, то несколько встревожилась:

— Флоран, а тебе есть где жить?

— Ну конечно, мама.

— Где же?

— Я не могу тебе этого сказать, я поклялся хранить тайну, но не беспокойся, мне там будет хорошо!

Она воздела руки к небесам:

— Подумать только, что я даже не знаю, где ночует мой сын! Не ведала я, что доживу до этого!

— Что поделаешь, мам...

Я подошел к окну и показал ей весь наш Дозорный тупик, где выглядит вполне будничным то, что еще недавно казалось нам невероятным.

Тороплюсь записать, ловя остаток света, кривым ятаганом врезающийся в щель. До меня попеременно доходит запах красного и белого вина. Сквозь дьявольский шум голосов прорывается хриплый бас, требующий «литр крепкого — колеса смазать». Слышна чья-то скороговорка — это Митральеза честит какого-то сквалыгу.

Раз за разом я обхожу одну за другой улицы Бельвиля в поисках жилья, работы, уголка в конюшне для Бижу, сарая, куда можно было бы сложить мебель и стенные часы.

Нынче вечером, когда я проходил по улице Рампоно, меня окликнули из кабачка «Кривой Дуб»:

— Забывать стали старых друзей, мой юный господин Растель?

Голос принадлежал господину Жюрелю, с которым я познакомился у заставы Монтрей и который заставил воришку вернуть мне мой карандаш. Я с трудом припомнил его, может быть, потому, что теперь на нем была каскетка, блуза, очки, а тогда он был щеголем. Он расспросил меня обо всех, никого не забыл — ни маму, ни Предка, ни Бижу. Впервые со дня моего прибытия в это одичалое предместье я привлек чье-то внимание, а не просто ироническое любопытство. Жюрель вникал в трудности нашего положения, ему хотелось знать, чем он в меру своих слабых сил может нам помочь.

— Тем более что на ваших руках старик, кажется, он приходится вам дядей, он, должно быть, совсем растерялся в этом Париже...

Тут я не сумел удержаться от смеха и успокоил Жюреля насчет Предка. Он у нас калач тертый, справится с чем угодно, но никому не позволит совать нос в свои дела.

Господин Жюрель увязался за мной, и мы миновали пустыри и садочки, которые тянутся от конюшен Рампоно к лесопильне Серрона на улице Туртиль. Он с каким-то непонятным пылом разъяснял мне, как обстоят дела, словно старался убедить меня в чем-то, а в чем — пока что не открывал: в настоящее время главный и единственный наш враг — пруссаки. Надо собрать все силы, чтобы изгнать врага со священной французской земли, обратить против захватчика любое оружие, не пренебрегая пистолетом.

Сжав мою руку выше локтя и приблизив свое лицо к моему, господин Жюрель продолжал проповедовать полушепотом. Остолбенев, я не сопротивлялся, а он тряс меня, чтобы я слушал внимательно.

— Новое правительство не лишено недостатков? Несовершенен строй? Возможно. Разберемся после. Займемся всем этим, когда Франция победит. Наш добрый народ уже понял это. Он думает, как Гамбетта.

Прощаясь со мной, он добавил в заключение:

— Вчера на Бульварах кучка заговорщиков начала было вопить: «Долой Империю!», но в ответ им честные люди воскликнули: «Долой Пруссию!»

Господин Жюрель умеет войти в интересы своих ближних, он, по-моему, все способен понять. Ему ясно, что труженики земли далеко не все темные люди, между тем

вот здесь, в Дозорном тупике, «крестьянин» — бранное слово. И все-таки эта встреча оставила у меня неприятное впечатление.

То-то!

* * *

День быстро клонится к закату. В типографии зажгли лампы, но не слышно грохота машины, хотя несколько рабочих уже явились; Гифес и Алексис устроили небольшое собрание вместе со своими друзьями из Интернационала.

Заглядываю в дыру, которую так ловко провертела в стене Марта: зал «Пляши Нога» уже полон; накурено, хоть топор вешай. Однако в густых клубах табачного дыма различаю столик, на нем бутылку дешевенького вина и три силуэта: своего двоюродного братца Жюля, его дружка Пассаласа и между ними Митральезу, вертлявую, визгливую и расхристанную!

Нынче вечером я сижу и все думаю, думаю...

Начнем сначала... Было это в ночь с воскресенья на понедельник — всего только позавчера, подумать только, позавчера! Мы возвращались от заставы Трон к нам в Бельвиль. Торопыга, Адель, Пружинный Чуб и все прочие, включая Шарле-горбуна, шли впереди, они собирались вернуться в тупик, а мы с Мартой остались побродить по бульвару Менильмонтан. Только мы пересекли улицу Рокетт, как вдруг в сотне шагов от нас распахнулась дверь какого-то кабачка, оттуда вывалилась пьянчужка, ну просто пугало какое-то, и окликнула Марту:

— Эй, вшивуха! Двадцати монет у тебя часом не завалялось? А то как бы твоя бедняжка старуха от жажды не окачурилась!

Моя черномазенькая с силой оттолкнула попрошайку и ускорила шаг. Тут я вблизи разглядел эту толстую старуху, привалившуюся к стене, ее опухшую физиономию, всю в густой сетке синих прожилок, крупный угреватый нос, редкие волосы, висевшие слипшимися от грязи желтыми прядями, маленькие, налитые кровью глазки, причем от правого осталась только щелочка, так как синяк захватил даже скулу; но, проходя мимо, я поймал взгляд, в котором светилось мучительное недоумение, жалкий пронзительно человеческий взгляд.

Я догнал Марту:
— Ты ее знаешь?
— Это моя мать.

Вторник, 30 августа.

Раненый из 106-го батальона привез нам письмо от папы. Вернее, записку, помеченную 27-м, то есть от третьего дня. До сих пор ни 106-й, ни прочие части 7-го армейского корпуса не слышали ни единого выстрела. Отец мой чувствует себя прекрасно и то же сообщает о своем брате Фердинане. Поскольку письмо переслано через верные руки, минуя цензуру и контроль, отец ничего не смягчает: нашему высшему командованию, которое состоит сплошь из честолюбивых кретинов, прославившихся лишь тем, что они расстреливали из ружей и пушек толпы кабилов *, вооруженных одними копьями, приходится иметь дело с прусскими генералами, усердно изучавшими тактику современной войны. Наши красавчики, расшитые золотом, не располагают даже картами Франции, наша фанфароняшая армия получила только карты Германии.

А крестьяне, простые солдаты, не могут не заметить, что неделя форсированных маршей трижды возвращает один и тот же батальон к одной и той же роще или захудалому полю. Нерешительность, паника... Отец приводит тому ошеломляющие примеры: приказы, контрприказы, ружья без патронов, ядра без пушек. Начиная с 21 августа полки бродят между Парижем и Монмеди, целая неделя изнурительных маршей и контрмаршей под дождем, в грязи, с двумя сухарями на день; армия четыре раза меняла направление, отступала, устремлялась вперед от Ретеля к Мезьеру, затем от Ретеля к Монмеди, где и было написано письмо, прерванное в ту минуту, когда был получен приказ снова идти... на Ретель.

Мама прекрасно ладит с Фаледони, позументщицей. Разнообразие чинов и рангов требует такого же разнообразия галунов, бранденбуров, темляков. Оружейные и позументные мануфактуры процветают. Наша соседка, заваленная заказами, привлекла к делу маму. Мама счастлива: ей кажется, что и она приносит пользу, да и несколько лишних су никогда не помешают.

Предок просыпается веселый, как зяблик. Каждое утро он провожает тетку до ворот, где ее ждут госпожа Чеснокова и барышня Каменская. Иногда он заводит с дамами беседу, и так незаметно наши бельвильки доходят до улицы Амло, где работают на патронном заводе Жевело. Потом дядюшка Бенуа бродит по Латинскому кварталу, свернет на Бютт-о-Кай или еще куда и возвращается только к ужину. Если он запоздает хоть на три минуты, тетка себе места не находит.

Моего кузена и Пассаласа не взяли в Национальную гвардию по причине их юного возраста. Сообщая об этом, они не могли удержаться от смеха. Они надеются, что будет создан батальон для таких же сосунков, как они; многие юнцы мечтают о том же. Идея носится в воздухе, волнуя Бельвиль. У нас уже есть несколько национальных гвардейцев не на казарменном положении: Гифес, Кош, Ферры, Бастико, Матирас, Нищебрат, Пливар; все они носят неполную форму: кепи, куртка, пояс, портупея, панталоны, гетры, причем у наших добровольцев все эти части туалета редко бывают в комплекте. Зато вот Бальфис, мясник, и Пунь, владелец «Пляши Нога», отправились вчера на собрание в полной форме, и притом из прекрасного сукна, возможно даже сшитой по мерке.

Наши дела налаживаются. Я взялся по утрам подметать в конюшнях, за что конюхи с улицы Рампоно подбрасывают мне фураж и овес. Бижу и не мечтал о таком корме. К счастью, работы ему хватает, не то он разжирел бы, а это в его годы вредно. По поручению столяра, кузнеца и типографа делаем с ним несколько ездок в неделю, будет чем заправить вечерний суп. Добавлю еще, что наконец нам удалось разгрузить нашу повозку: стенные часы, комод и прочее добро хранятся в углу просторного склада лесопильни Серрона.

* * *

Тупик и Бельвиль вообще не перестают меня удивлять, равно как и Марта, а это немало. Так, я готов был поклясться, что из них не вытянуть ни грошика, скорее предпочтут с жизнью расстаться. И все же это удается нищим оборванцам, на которых натыкаешься всюду, по всему пути от нашей арки до виллы, от Бютт-Шомона до Пэр-Лашез.

* * *

Пруссаки расстреляли первых вольных стрелков, захваченных в плен; прусский король назначил в Эльзас и Лотарингию своих префектов. За одно только утро Париж приобрел миллионы людей, которых Пруссия не сумела раздобыть ни у себя в стране, ни в Англии! «Крейццайтунг», одна из самых влиятельных в Берлине газет, справедливо опасается народной войны во Франции. «Кёльнская газета» грозит нам нашествием двух миллионов человек, «Аугсбургская газета» восклицает: «Да процветает германская нация, и да сгинет романская!» Сообщения эти, перепечатываемые парижскими газетами, дополняют рассказы раненных под Виссамбуром, Фрешвиллером, Форбахом, уцелевших под Резонвилем и Гравелотом и переживших все ужасы бойни, и только подливают масла в огонь: надо-де сжигать живьем пруссаков, распинать на дверях амбаров этих зловредных скотов.

Гифес, пожалуй, единственный, кто не собирается подбрасывать в огонь свою охапку хвороста, да еще плясать вокруг костра.

Как-то вечером в кабачке, когда самые громогласные ненавистники пруссаков окончательно распоясались, типографщик спокойно заявил:

— Двенадцатого июля этого года, за неделю до объявления войны, парижская Федерация Интернационала уже понимала грозящую нам опасность. Тогда мы с друзьями выпустили воззвание *, гласившее: «Немецкие братья! Во имя мира не слушайте продажные или раболепные голоса, цель коих — обмануть вас насчет подлинного умонастроения Франции... Наши и ваши дивизии только утвердили бы полную победу деспотизма, как на этом, так и на том берегу Рейна... Рабочие всех стран, к чему бы ни привели наши совместные усилия, мы, члены Международного товарищества рабочих, не признающие более границ, шлем вам как залог нерушимой солидарности привет и наилучшие пожелания от рабочих Франции».

Я буквально задрожал от страха за тщедушного типографщика. Патриотический вой в «Пляши Нога» сменило тяжкое, как свинцовая туча, молчание. Я наблюдал за Пливаром и двумя медниками: вступив в Национальную

гвардию, эта троица еще сильнее распалилась в своей ненависти.

Гигант Бастико поднялся, уперся кулаками в стол:

— А сейчас, Гифес, ты бы и сейчас тоже такое воззвание подписал?

— Подписал бы не колеблясь.

Должно быть, их удержала только необычайная отвага этого бледного, узкогрудого человека, которого они могли пальцем пришибить. Бастико молча опустился на скамью. И вечернее оживление, обычно царившее в «Пляши Нога», само собой сникло. Говорили вяло, все больше о погоде, о том, что становится холоднее, о том, что зима уже близка...

* * *

Три или четыре дня назад министр внутренних дел официально заявил:

«...Армия Прусского кронпринца, которая, казалось, отступала, возобновила свой марш на Париж. Но Париж находится в состоянии обороны, и правительство рассчитывает на патриотизм его жителей».

А через несколько часов новая депеша из генерального штаба в Понт-а-Муссоне сообщила народу, что прусские дивизии движутся форсированным маршем на столицу.

Люди буквально окаменели: осада Парижа! Да нет... неужто все это истинная правда? А вы уверены, что мы просто-напросто не разыгрываем французскую комедию для всего света да и для самих себя разыгрываем?

Одни хлопают себя по лбу, другие щиплют себя — проснись, мол,— третьи совсем раскисли. Газеты Второй империи полны революционных, уже забытых призывов: «К оружию, граждане... Великолепная голытьба... Двадцатилетние генералы, вышедшие из разночинцев...» И все мурлыкают: «Республика зовет!» Пока вспоминают только музыку. Но и слова не так-то уж далеко, на кончике языка.

Академические перья вовсю льстят Парижу, как старой любовнице, обреченной врачами на смерть: «...Осада Парижа, этой Мекки новых верований, этих Афин современной мысли...»

А когда экстаз утихает, они вдруг трезвеют: «Об этом ведь столько твердили. Было прекрасно известно, что в Па-

риже назначена встреча трех прусских армий. Но надо сознаться, что каждому эта угроза казалась фантастикой, химерой, ничего общего не имеющей с реальностью».

Когда слухи о предполагаемой осаде подтвердились, весь Бельвиль вздохнул чуть ли не с облегчением. И напротив, опровержение слухов, разоблачение этой всесветной комедии сбросило бы наших бедняков с соломенных тюфяков, скатилась бы вся нищая братия со своих холмов, узнай они, что, оказывается, отдали последний грош, плоть свою и душу ни за что, ну, скажем, просто расплатились за дипломатический шантаж. Ведь им-то неведомо, что живут они в Мекке современных религий, в Афинах философии завтрашнего дня! Они не знают даже того Парижа, который осматривают иностранцы — ни Елисейских Полей, ни Тюильри,— так-таки и не знают ослепительного града, столицы, чарующей весь мир. А знают они только вертепы, да выщербленные мостовые, да мрачные каморки, город-стервь, где мрут они от непосильной работы и нищеты, мрут деды, мрут отцы, мрут сыновья. Вот он, их Париж. Ради его прекрасных глаз они отдают все, они, которые ничем не владеют.

Для богатеев Париж — это лишь ласкающая взор декорация...

А у наших он, Париж, в печенках сидит.

* * *

При малейших признаках тревоги население нашего тупика скрытно удваивается. Через две-три минуты ничего уже нельзя разобрать.

По приказу генерала Трошю идут аресты «лишних ртов». И на эту операцию губернатор Парижа вышел не с голыми руками! Полицейские без передышки проводят массовые облавы. С тех пор как пошли разговоры об этих самых «лишних ртах», они, то есть эти самые «лишние рты», кривятся в скептической ухмылке. Выражение это применяется в самом широком смысле слова: любой не имеющий профессии, средств к существованию объявляется «лишним ртом», но забирают также и тех, кто сквернословит, скверно причесан, скверно умыт, скверно одет, скверно сложен, скверно квартирует — короче, всех бед-

няков и тех, кто вовсе и не бедняки даже, и в первую очередь сквернодумов.

— А настоящие лишние рты — все эти господа трясогузки! — заявляет Шиньон.

Дозорный тупик начеку. Самый быстроногий мальчишка выставлен в качестве караульного на Гран-Рю — там, где повыше и откуда все видать. При первом появлении вооруженных сил префектуры он подает сигнал: вопит во всю глотку.

— Одного шпика, даже двух или даже полдюжины бояться нечего,— поясняет мне Марта.— Бояться надо, когда полиция тучей идет. Потому что в Бельвиле одному шпику сразу каюк.

После лотарингской бойни прибывают все новые и новые раненые.

Где-то в городе, в глубине какого-то двора, пехотинцы расстреляли какого-то человека, поставив его на колени и завязав ему глаза. Звали его Хардт. Он не сумел доказать, что он не прусский шпион. Вчера военный трибунал судил бланкистов, арестованных в связи с «делом Ла-Виллет». Шестеро приговорены к смертной казни. Эд, Бридо... Желая их спасти, Мишле * написал пламенное письмо, но генерал Трошю заявил: «Я требую деятелей всех партий вершить правосудие своими собственными руками, чтобы покарать тех, кто видит в общественных бедах лишь возможность утолить свои гнусные аппетиты».

Среда, 31 августа.
Кабинет господина Валькло.
Четверть одиннадцатого по его часам.

У тупика до предела натянуты нервы, гораздо чаще, чем раньше, поднимается руготня; дело доходит до настоящих ссор, а то и до кровавых драк. Старые обиды как бы переживают вторую молодость. Только сейчас цирюльник и сапожник растащили Фаледони и Мари Родюк, которые вцепились друг в друга и катались в грязи у колонки. Мари Родюк нет еще и тридцати. Она низенькая, живая, личико у нее точно розовый шарик с такими же веснушками, как и у ее старшего сынка Филибера. Удивительное дело: из горла этой крохотульки рвется чудовищный бас, а из глотки огромной, ширококостной Фаледони еле просачивается тоненький скрипучий дис-

кант. Это несоответствие особенно поражает, когда две кумушки схватываются. Позументщице уже под пятьдесят, и движется она не спеша, зато кулак костлявый и тяжелый. Она вечно жалуется, что с четвертого этажа, где Мари Родюк мастерит свои плюмажи и султаны, к ней летят перья. Шиньон вторит ее жалобам, а мама, которая помогает позументщице изготовлять галуны, объяснила мне, что если пух осядет на свиных жилах, которые она обматывает золотой канителью и шелком, то придется потом переделывать все заново. Мама поселилась у позументщицы и работает на нее, поэтому, казалось бы, ей тоже полагается ненавидеть торговку пером, но она никакой неприязни к ней не испытывает. Вообще ссоры возникают беспрерывно, и мотивы их удивительно разнообразны, равно как и их чисто механическая повторяемость. Например, из-за петуха тетушки Фалль, который будит на заре весь наш тупик. Хозяйка держит своего кочета в клетке вместе с тремя курочками. Клетка подвешена как раз над самой колонкой и является главным украшением мансарды, где ютятся супруги Фалль и их четверо золотушных отпрысков. Иными словами, на головы женщин, приходящих за водой, сыплется куриный помет. Десятки раз дядюшке Фаллю приходилось оборонять вход в мансарду от полчища всклокоченных фурий. К счастью для петуха, литейщик обладает силой и отвагой рыцаря Баярда. До сих пор они с Бастико оспаривают друг у друга место первого силача Дозорного тупика и по любому поводу переходят в рукопашную. Когда литейщик и медник дерутся на кулачках, выпивохи и зеваки окружают их тесным кольцом, из окон следит за ними вся прочая публика; но на самом-то деле настоящий Геркулес — это Барден, только глухонемой кузнец никогда не дает воли рукам.

Мужчины ссорятся и бьются зверски, до крови — в отличие от женщин, чьи ссоры киснут, бродят, как в квашне, годами и конца им не видно. Причин для женских дрязг множество — зависть, уязвленное самолюбие, сплетни, грязь; а мужчины бьются из гордыни, за неловко сказанное слово или потому, что пропустили лишний стаканчик. А также за честь дамы. Взять хотя бы Пливара, общепризнанного и неоднократного рогоносца, чего тупик не дает ему забыть, возможно, еще и потому, что не может взять

в толк, откуда у его супруги такой бурный успех. Достаточно взглянуть на эту перезрелую матрону — где бы там взяться легкомыслию? Очевидно, и впрямь существуют микробы вражды, и особенно зловредны те, что зреют подспудно; чтобы не ходить далеко за примерами, упомяну презрение такого вот Вормье и такого вот Нищебрата к каменотесу итальянцу Пальятти и к русскому Чеснокову, работающему на бойнях в Ла-Виллет. И чахоточный безработный Вормье, и запаршивевший поденщик Нищебрат внушили себе, что все зло идет от иностранцев.

Таков был народ в повседневной жизни. Таким я его открыл для себя, свалившись с высот своих семнадцати лет. Для меня в Рони народ был Прекрасным принцем из волшебной сказки под названием «Революция». Предок говорил мне, сидя у камелька, о Свободе, о Республике, о Социальной — и все это, равно как и прогресс и будущее, могло быть делом рук только великого и великолепного умельца — народа, избранной частью которого является рабочий класс. Народ виделся мне богатырем из старинных фолиантов с яркими картинками. Огорченный мелочностью, злобой, эгоизмом и алчностью наших деревенских соседей, я утешал себя: «Ведь они крестьяне, и только крестьяне, но есть еще народ, настоящий рабочий народ, есть совсем новый класс фабричных Парижа, есть пролетариат, чистый, светлый...»

Как-то вечером, когда Вормье отколошматил свою супружницу, когда этот рогач Пливар обозвал свою жену протухшей рыбиной, а Фалль с Бастико сцепились в кабачке у столика, под которым храпел мертвецки пьяный Нищебрат, я приступил к Предку:

— Ну скажи, скажи, разве вот это — пролетариат, народ?!

— Представь себе, сынок, что да.

И он еще улыбался, старый хрыч!

Тупик то хмуро, то яростно поглядывал на четыре огромных, забранных решеткой окна на втором этаже виллы «Дозор». Против них сосредоточена вся социальная ненависть, ненависть к хозяину, к буржуа, к Империи. В тупике не грозят кулаком небу, хватает и второго этажа. Со дня отъезда господина Валькло госпожа Билатр,

привратница, именуемая Мокрицей, стала тише воды, ниже травы. Пока ее патрон был здесь, она чувствовала себя важным лицом, огрызалась, а теперь незаметно скользит вдоль стен, как пес, оставленный хозяином. Она все время при муже, безногом ветеране, помнящем еще Севастополь; он доживает свой век в их каморке под лестницей в обществе единственно дорогих сердцу привратницы существ: спаниеля Клерона, левретки Филиды и гневливой сиамской кошки Береники.

В квартире господина Валькло, согласно его собственному плану, просторная комната была отведена под гостиную и спальню. Створки окон обтянуты войлоком и занавешены тяжелыми портьерами. Даже стены чем-то обиты, дабы заглушать звуки. Закрывая за собой двери, вы оставляете за порогом все внешние шумы. Впечатление необычное: как если бы вы внезапно оглохли. Мебель кубинского красного дерева с бронзовыми инкрустациями, прекрасная музейная тяжелая мебель — стиль ампир, настоящий старинный ампир.

— Ну как, нравится тебе? — шепнула мне Марта, когда мы потихоньку проникли в этот бастион тишины.— Ну и свинья поганая, этот Кровосос.

Гравюры на эротические сюжеты позволяли предположить, что владелец виллы вряд ли вводил гостей в эти покои, разве что избранных посетительниц... Отныне, по решению Марты, это мое жилье. Она опасается, что мои частые визиты к ней, в ее развалины, могут привлечь внимание к тайничку, которым она весьма дорожит как наблюдательным пунктом. А здесь, поднимаясь по лестнице, я для посторонних взоров просто иду к своей тетке, а затем незаметно сворачиваю... А очутившись «у себя», могу хоть орать во всю глотку!

— Здесь, по-моему, тебе удобнее будет заниматься своей писаниной,— каждый раз Марта чуть-чуть запинается на этом слове.

Воистину тронный зал!

Мы сговорились насчет условного стука. Она вручила мне ключ, сделанный Пружинным Чубом, подручным слесаря.

Остаюсь один среди всей этой тишины, среди этой роскоши, и горло мне сжимает страх богача, которому не удалось вовремя бежать из Парижа.

Марта все умеет устроить.

Мы перевезли вещи к Серрону — она устроила; сено для Бижу — опять она; место под навесом кузницы для нашей пустой повозки — опять-таки она...

Во всем тупике только Марта, не считая, конечно, Пробочки — белобрысенькой негритянки, — умеет понимать глухонемого, и он ее понимает; словом, они так спелись, что, когда кто-нибудь обращается к кузнецу со сложным вопросом, непременно кличут Марту.

Иногда я ловлю на себе ее взгляд, не простой взгляд. Вот, например, сейчас я было подумал, что она хочет объясниться мне в любви — как бы не так, держи карман шире:

— Флоран, обязательно научи меня читать.

Но прозвучали слова эти как любовное признание.

Суббота, 3 сентября.
Утро.

Слухи о разгроме армии и капитуляции растревожили весь Бельвиль. Сейчас здесь не разговаривают, а рычат. Люди перекликаются через форточки с посетителями «Пляши Нога». Тупик почти не спит. Крошка Мелани, моя двоюродная сестричка, заливается в мансарде, где поселились Трусеттка и наш Предок, но старика таким пустяком не разбудишь, и, когда малышка замолкает перед новой порцией рева, я слышу, как он с присвистом храпит. По ту сторону лестничной площадки Чеснокова успокаивает своего новорожденного сынка, напевая ему грустную песенку, очевидно украинскую колыбельную. А тут еще петух Фалля закукарекал раньше времени.

Лошади, запряженные в экипажи всех видов и стилей, взбираются, подстегиваемые кнутом, на крутые улицы предместья, а потом спускаются к заставе. Среди них катят под общий смех похоронные дроги, все в гофрированных лентах и со всеми прочими полагающимися по случаю финтифлюшками, только сейчас они завалены мебелью и статуэтками из чьего-то будуара. Богачей оказалось так много, что им все годится в качестве средств передвижения, даже катафалки, лишь бы куда подальше. И они так торопятся удрать, что неохотно уступают дорогу даже воинским частям.

Одиннадцать часов вечера.

Над тупиком реет знамя. Красное. Его вручили Непорочному Зачатью — Святой шлюхе, как выражается Шиньон, живущий этажом ниже. Древко примотали веревкой к вскинутой руке, благословляющей нищий люд тупика. Огненный цвет Революции полощется среди листвы второго каштана.

Вообще в Бельвиле много знамен, и красных и трехцветных. Национальные гвардейцы уже не расстаются со своей полуформой, а главное — со своим оружием.

Весь народ высыпал на улицу. С трудом пробираешься вперед, скользя между группками людей. То там, то здесь запевают сатирические куплеты в адрес Наполеона III, а в припеве упоминаются разные галантные похождения императрицы.

Взобравшись на повозку или цепляясь за столб газового фонаря на перекрестке, разглагольствуют ораторы. К тупику обращается с крыши своей типографии Гифес. Он только что вернулся с Больших бульваров, где национальные гвардейцы Парижа избивали кастетами граждан, кричавших о крахе Империи.

Вести о разгроме под Седаном подтверждаются, две или даже три французские армии окружены, и им осталось одно — безоговорочная капитуляция. Император не то взят в плен, не то погиб.

— Но в Тюильри,— восклицает типографщик,— больше боятся Революции, нежели поражения, больше боятся парижан, нежели пруссаков!

В качестве доказательства он приводит тот факт, что в Бовэ отправили арестантский вагон с заключенными из тюрьмы Сент-Пелажи, в подавляющем большинстве политическими.

— ...Граждане, это же наши братья, лучшие из лучших! И отправляют их так спешно из страха, что завтра сам Париж разобьет их оковы!

И тупик рычит в ответ.

Гифес терпелив от природы, объясняет он все ясно и понятно: Империя готова пожертвовать Францией, лишь бы спасти династию. 17 августа император решил по совету Трошю и Мак-Магона вернуться в Париж вместе с новой Шалонской армией*, встать у стен столицы и таким образом охватить с флангов части, которые под-

лежат смене. Но императрица, оставшаяся на время отсутствия Наполеона регентшей, была убеждена, что возвращение проигравшего войну императора развяжет Революцию. Мак-Магон повиновался. Надеясь спасти монархию, он губит Францию, а также в первую очередь Шалонскую армию, которую он в хаосе бессмысленных маршей и контрмаршей без толку двинул против двухсот тысяч немецких солдат, прочно удерживавших позиции. А тем временем императрица Евгения переправляет свое имущество за границу. Все видели, как к заставе тянутся фургоны с ее гербами.

— ...Парижу и Франции не на кого больше рассчитывать, кроме нас! Будьте готовы! Завтра забьют барабаны, загудит набат. Выходите все на зов Бельвиля! Да здравствует Республика! Да здравствует Социальная!

Тупик бурно подхватывает, повторяет эти здравицы. Кажется, будто и сон у всех пропал; люди не хотят расходиться, расставаться.

В «Пляши Нога» медник Матирас во все горло затягивает старую, еще 48-го года, песню:

Народы нам родные братья,
Тираны злобные враги...

Понедельник, 5 сентября.
Четыре часа утра.

У нас Республика!

И мы тоже слили свой клич с бурей, опрокинувшей Империю.

За моей спиной на роскошном ложе бастиона Валькло спит тихо, как мышка, Марта; голая ее нога свешивается над улочкой. Левая ступня обмотана мокрой тряпкой.

Занимается заря, заря первого дня нашей Республики. Спать мне не хочется, но ноги ноют, закутался потеплее.

Вчера утром над Бельвилем стоял перезвон колоколов, возможно, и не в нашу честь, вчера ведь было воскресенье,— ну и пусть! Бронза пела на колокольне Иоанна Крестителя, она воспевала мятеж. Били барабаны от Менильмонтана до Ла-Виллета, от Бютт-Шомона до предместья Тампль. Под звуки оркестра проходили батальоны Национальной гвардии.

Веселое солнце вставало над Бельвилем. Тупик окрасился всеми цветами фруктидора. Медник Бастико вышел

на улицу в форме национального гвардейца. Остановившись в воротах, он поднял ружьишко старого образца и воскликнул, обращаясь к невидимым собеседникам: «Вперед, други!» И те ответили из многих окон. Пливар стоял еще в одной рубашке, но успел натянуть на голову кепи. Марта нарядилась — напялила юбку, в которой поместились бы две такие, как она, и приметала на живую нитку подол, подшив его чуть ли не на полфута. Ее шейный платок был таких ярких и кричащих цветов, что, взглянув на него, я невольно поднял глаза к нашему увенчанному красным знаменем Непорочному Зачатью. Знамя было на месте.

Между улицами Орийон и Фонтен-о-Руа образовалась стараниями граждан четырех парижских округов — XX, XIX, XI и X, — пробка.

Столяр Кош, тоже в форме национального гвардейца, жаловался на беспорядок. Он опасался, как бы не пришлось Парижу заплатить слишком дорогую цену из-за того, что он лишился своих революционных вождей: почти все они либо в тюрьме, либо в изгнании.

— Первым делом надо вызволить из Сент-Пелажи Эда, Рошфора * и других! — воскликнул Матирас, у которого на груди висел помятый рожок.

А гравер Ферры:

— Флуранса надо вернуть поскорее!

По-прежнему шел разговор о вчерашней манифестации на Бульварах, где кучка смельчаков тщетно пыталась поднять против Империи толпу зевак. Наборщик Алексис видел, как полицейские сбили с ног на тротуаре возле театра «Жимназ» журналиста Артюра Арну * из редакции «Марсельезы».

— Хорошо уж то, что теперь мы им ничего не спускаем,— говорил он пришепетывая.— Вчера наши ворвались в полицейский участок и полицейского, выстрелившего в манифестанта, в ответ тоже обстреляли.

— Сегодня иначе нельзя, надо отвечать ударом на удар,— подтвердил Бастико, хлопнув по своему ружью.

— Посмотрим, как ты это сделаешь! — негромко проговорил столяр.— Ружья-то нам выдали, а патронов все еще дожидаемся.

— Какие это ружья,— ворчал Ферры,— старого образца. Старее самой смерти... Нам бы шаспо, мы бы сумели им показать!

Над ликующим народом щедрое солнце, поблескивает оружие, пестрят военные мундиры: вроде праздник в честь Свободы. Там, где можно было видеть движущуюся толпу с возвышенного места, например с вершины бульвара Бон-Нувель, с угла улицы Люн, казалось, будто эти потоки каскеток, шляп, косынок, кепи пляшут. И впрямь люди не просто шли, они продвигались вперед, повинуясь внутреннему ритму гимна; изредка припев его взлетал над толпой, но у каждого в душе непрерывно пело и пело:

Республика нас призывает
Победить или умереть!

Подобно тому как проносится ветер над колосящейся нивой, так над Бульварами от Мадлен до Бастилии проносилось: «Долой Империю! Да здравствует Республика!..» Марта вцепилась всей пятерней мне в плечо и подпрыгивала на месте, надеясь увидеть, что делается впереди и позади нас, и приговаривала:

— Ну и длинный этот Флоран! Чисто редька, чисто спаржа!

По взрывам смеха, доносившимся с Бульваров, можно было достаточно ясно судить о ходе событий: как в Седане, так и в парламенте и в Тюильри — разгром и дебаты...

Наши армии, разбитые при Бомоне, отброшенные к Седанской котловине, попали там в кольцо железа и огня семисот орудий, из которых били с высот, окружающих этот городок, двести тысяч пруссаков. В Законодательном корпусе Жюль Фавр внес предложение о низложении Наполеона III, но не решился потребовать отставки депутатов. Сейчас, когда стало туго, господин Тьер * снова вынырнул на поверхность. Ему принадлежит идея создания правительственного совета национальной обороны *. Депутатам левой хотелось бы провозгласить Республику, но они слишком боялись развязать Революцию, которая приведет к Социальной республике.*

Стоило вслушаться в шелест этой движущейся, колышимой всеми ветрами человеческой нивы, в ее голос, в эту пламенную дискуссию бланкистов, интернационалистов, прудонистов, якобинцев... Дискуссия замерла лишь ненадолго, когда вдруг кто-то сообщил сногсшибательную новость:

— Императора в плен взяли!
— Тем лучше! — отозвалась тысячеустая рать, которая и есть голос Парижа.
Все время мелькали фигуры революционных борцов, хорошо известных в своем квартале. Марта кивнула мне в сторону маленького щуплого старичка в длинном широком сюртуке, затерявшегося в массе рабочих XIII округа: это был Огюст Бланки.
Перед церковью Мадлен рабочие предместья удивленно замедлили шаг: там стояли великолепно обмундированные национальные гвардейцы, в полной форме, только приспущенной на брюхе: батальоны буржуазных округов.
В блузе или в сюртуке, в кепи или шляпе, построившись в колонну или группами, шаляй-валяй, Париж стекался на площадь Согласия.
— Иди же! — крикнула Марта, хватая меня за руку.— Прорвемся, чертова башка. Я желаю сидеть в первых рядах и гроша ломаного не заплачу.
Известно было, что происходит за оградой, Бурбонского дворца, за его стенами, где заседал Законодательный корпус. Из здания выходили журналисты, приставы, от них узнавали новости национальные гвардейцы, кто при оружии, а кто без оружия. Они прибывали под командой офицеров, а то и своего выборного командира. У входа на мост постепенно скапливались тысячи парижан всех званий и сословий.
— Председательствует Шнейдер...
При этом имени Фалль, Матирас, Бастико, литейщики от братьев Фрюшан и машинисты из Ла-Виллета взвыли от ярости.
Пока мы локтями прокладывали себе дорогу в толпе, Марта объясняет мне, что Фалли вроде беженцы не хуже нас: прежде чем стать литейщиком, наш Фалль, тот, под окном которого висит клетка с курами,— работал на заводе Шнейдера, где делали блиндажные плиты. Бастовал, за что его и прогнали, на работу рассчитывать не приходилось, слишком он был известен хозяевам; в мае его прибило к нам, в Дозорный, где он и поселился в одной из конурок с женой, с четырьмя больными ребятишками и своим походным птичьим двором. Только тут я понял, почему наш сутулый богатырь так напирает на передних, стоящих в толпе у моста. В его крике: «Да здравст-

вует Республика!» — есть и другой смысл: «Смерть Шнейдеру!» И таких, как он, немало.

*В глазах рабочих Эжен Шнейдер, владелец металлургических предприятий в Крезо, председатель «Комите де форж», один из управляющих Французского банка, стоящий во главе «Сосьете женераль», личный советник императрицы, был воплощением капитала. В XI округе знали Адольфа Асси *, молодого механика, возглавившего вместе с другими рабочими забастовку на заводе в Крезо в январе 1870 года. Шнейдер вызвал тогда крупную воинскую часть: три тысячи усмирителей. Среди них были пехотинцы, уланы и жандармы. На территорию завода они вступили с музыкой. Забастовка с переменным успехом продолжалась три месяца — при поддержке Интернационала, редактора газеты «Марсельеза» Рошфора, объявившего в своей газете подписку в помощь бастующим, и художника Курбе *, устроившего с той же целью выставку своих картин в Дижоне. В апреле суд в Отене приговорил двадцать пять забастовщиков к тюремному заключению в общей сложности на двести девяносто восемь месяцев. Сотни рабочих были выброшены на улицу без всякой надежды найти работу в своем округе. Арестован был и Адольф Асси.*

Вдруг перед нами открылся проход.

То, что происходило в зале заседаний Законодательного корпуса, помню очень смутно. Я впервые попал во дворец: колонны, амфитеатр, фрески, трибуна — все это впечатляло; впрочем, я сейчас думаю — а ведь кто об этом теперь скажет! — что события там разворачивались в атмосфере величайшего смятения.

Марта тащила меня за собой через огромные залы, под сводами перекатывались крики, топот людей и вопль Фалля: «Шнейдер, подайте мне Шнейдера!» Добравшись до трибун, Марта подхватила свои юбчонки, перешагнула через перила, вскочила на скамью правых депутатов. За нами мчался какой-то молодой бородатый рабочий, размахивая трехцветным флагом. Рабочие, буржуа и национальные гвардейцы, демонстративно срывавшие императорских орлов со своих киверов, теснились на трибунах, выкрикивая без устали два слова: «Низложение» и «Республика».

Председатель Шнейдер спасся бегством. Его кресло занял один из манифестантов (*бланкист Гранже*).

Очевидно, заседание снова началось, когда именно, я так и не заметил, и немудрено: ораторам, депутатам и не депутатам, приходилось вступать в переговоры с толпой, затопившей Бурбонский дворец.

Я услышал голос Марты:

— Сиди здесь, Флоран, я тебя найду. Главное, не трогайся с места. А то затеряешься, мужичок.

— А ты куда?

— Есть охота.

Через несколько минут моя смуглянка притащила четыре пирожка и полбутылки шампанского.

— Нашла лавку?

— Что бы ни нашла, а нашла! Неужели ты воображаешь, что в этом сарае еду на подносах разносят?

На трибуны наседали нетерпеливые:

— Требуем Республику!

— Социальную!

— Двадцать лет уже ждем!

— Поторопитесь вы, черт вас побери!

Парни вскакивали на скамьи и стояли так, размахивая руками, топали ножищами, чуть не отдавливая депутатам пальцы.

— Тише! Гамбетта!

Вот его стали слушать...

Даже Марта перестала жевать; прославленный оратор не стал долго распространяться:

— Граждане... мы заявляем, что Луи-Наполеон Бонапарт и его династия никогда больше не будут править Францией. С этим покончено!

Строгий зал заседаний Законодательного корпуса задрожал от криков восторга.

— А Республика? — повторяли самые упорные.

— На Гревскую площадь, живо!

И Марта схватила меня за руку.

— А зачем?

— Сама не знаю, все идут.

Парижане сотнями, тысячами неслись как оглашенные по набережным. Самые молодые первыми добежали до Ратуши.

Появился Фалль. Он размахивал шляпой:

— Эй, Бельвиль, гляди, вот шляпа Шнейдера!

Детина шести футов ростом, загорелый, с курчавыми, спадающими на лоб волосами, с серо-зелеными глазами навыкате, с тяжелой челюстью, Фалль был страшен в гневе... А тут он сказал почти со стоном:

— Сам-то он от меня улизнул, только вот шляпу я успел стащить с его башки!

— Ну, ничего! — утешает Фалля наш сапожник.— Зато он набрался страху...

А столяр из Шарона рассказывал, как генерала Трошю, скакавшего на площадь Карусель, перехватила толпа:

— Раз десять его лошадь хватали под уздцы: «А ну-ка, генерал! Покричи, чтобы всем было слышно: «Да здравствует Социальная республика!»

Клянусь, в воздухе стоял запах фиалок, хоть месяц был не тот да и место неподходящее.

Какой-то человек появился на башенке Ратуши. И тут же над ней красным знаменем взвился фланелевый пояс зуава.

Шаронский столяр узнал верхолаза.

— Шатлен это! Эжен Шатлен — гравер, революционер 48 года, к тому же самоучка, песенник, заткнет рот любому кардиналу.

Гревская площадь — просто луг, там полевые цветы, некошеные травы, над ними — рощицами ружья, листвой — знамена; под солнцем она живет своей скрытой хлопотливой жизнью, благоухает себе, как июньское поле.

История здесь перевернула страницу, совсем рядом с нами, за этими высокими окнами. Люди, стоявшие плечом к плечу, расступились, чтобы дать дорогу шествию, что с триумфом несло к Ратуше каких-то бородачей, пылко жестикулирующих.

— Это Валлес!

— Кто, кто?

— Жюль Валлес, журналист. В прошлом году он был социалистическим кандидатом.

— Да никакой это не Валлес, а Рошфор!

— Бланкисты высадили решетки в тюрьме Сент-Пелажи и освободили своих.

— Ну и ну! Эд и другие были приговорены к смертной казни за нападение в Ла-Виллет.

Знакомые встречаются, незнакомые знакомятся. Первым делом сообщают, из какого они квартала, а сообщив эти сведения, интересуются вами: «Ну, как там у вас

в Бельвиле?» Но на этой площади, где была провозглашена революционная Коммуна 1789 года, тысячи и тысячи взглядов прикованы к очагу парижских мятежей, к Ратуше, где были провозглашены временные правительства 1830 и 1848 годов.

— Все Жюли там собрались.

— Какие такие Жюли?

— Жюль Симон, Жюль Ферри *, Жюль Фавр ...

— Остерегайтесь Жюлей!

— Будем надеяться, что там Бланки...

— Узник задаст перцу этим депутатишкам.

— По-моему, это Гамбетта говорит...

Гамбетта или не Гамбетта — ораторы на балконе не переводились.

А когда прибыли солдаты с опущенными в землю штыками, когда они начали брататься с рабочими, поднялась давка и Марту чуть не затоптали. Я тоже нырнул в гущу толпы и обнаружил ее лежащей на земле — как еще она уцелела! Я поднял ее.

— Флоран, туфлю потеряла!

Я снова нырнул, энергично работая плечами, боками, и наконец нащупал две туфли, правда обе с правой ноги. А Марта посеяла с левой.

— Мою найди.

— Да ты ногу до крови расшибла. Сейчас промою.

— Плевать я хотела, найди мою туфлю.

Хотя она отбивалась как бешеная, я дотащил ее на руках до берега. Пока она оплакивала свою туфлю — это единственная ее совсем новая, приличная пара,— я обмыл ей в Сене ногу, потом перевязал чистым носовым платком, мама выдает мне чистые в воскресенье по утрам.

За нами то вздымался, то вдруг опадал все заполняющий рокот толпы. Это Гревская площадь приветствовала Республику, ее правительство, ее министров... Очевидно, с целью подогреть народный энтузиазм — в минуты затишья между двумя выступлениями — полдюжины рабочих и студентов дотащили бюст императора до середины моста и, торжественно раскачав, швырнули его в реку, возродив церемонию похорон в открытом море.

Солнце скользило к горизонту и там за гребнями крыш высвечивало прицепленные к фронтонам красные знамена. Марта задремала, прикорнув у меня на руках. Шею мне щекотало теплое ровное дыхание. У моей груди медленно

и глубоко вздымалась ее грудь. Вечер сегодня выдался по-летнему прекрасный. Среди грозового гула толпы вверху над нами я слышал уханье, удары, радостные клики бывших подданных Его императорского величества, срывающих со стен Ратуши позолоченных чугунных орлов.

Должно быть, я тоже задремал. Марта осторожно растолкала меня и шепнула, чтобы я незаметно взглянул вверх и послушал, о чем там говорят.

Там наверху стояла какая-то супружеская пара, явно буржуа, и, опершись на парапет, с умилением любовалась нами. Пока я следил за ними из-под полуопущенных век, к ним подошла еще одна пара, и вот что мы услышали с Мартой:

— Господи боже, да это вы, госпожа Пакуле? Добрый день, господин Пакуле! Значит, вы тоже сюда явились?

— Нынче воскресенье, магазин все равно закрыт. И потом надо же прогуляться.

— А скажите-ка... Чем это вы здесь так залюбовались, что даже повернулись спиной к Истории?

— Видите, на берегу парочка заснула. Как раз когда вы подошли, я сказала мужу: «Ты только погляди, какие душеньки!..»

— Должно быть, гризетка и студент, ох, если бы они все были похожи на этих. Хочется надеяться, что худшего мы избежали! Возможно, торговля не так уж сильно пострадает...

— Скажите-ка, господин Пакуле, вы приняли меры предосторожности на случай осады? О, не беспокойтесь, я не спрашиваю, какие именно.

— В наше время, господин Мегорде, все предосторожности, увы... Кто знает, как еще повернутся общественные дела. Достаточно уж одной этой лавины демагогии! Только разжигают самые низменные страсти. В данном случае...

— В данном случае, господин Пакуле, иной раз полезно опередить события. Вот возьмите, к примеру, нашу витрину с этим гербом...

— Вы имеете в виду императорскую эмблему, господин Мегорде?

— Я вот чего боялся, что ее сорвут сами манифестанты, а они, знаете ли, слишком возбуждены нынче, особенно еще и потому, что перед ними открылся путь к общественной деятельности,— так вот, я боялся, как бы они

заодно не сорвали мою вывеску или мимоходом не стукнули по стеклу каблуком...

— Значит, вы собственноручно ее сняли, господин Мегорде?

— А как же, господин Пакуле. Утром вынес на улицу стремянку... и, представьте, прохожие встретили меня рукоплесканиями.

— А соседи?

— Ясно, тоже рукоплесканиями, когда увидели, что кругом рукоплещут.

— А знаете, господин Мегорде, вы достаточно сильно скомпрометировали себя! А что, если ветер переменится?

— Герб-то я снять снял, но спрятал его про запас...

Обе пары рассмеялись тихим довольным смешком, совсем как сообщники.

— Вот мы с вами смеемся, господин Пакуле, а ведь все это очень-очень серьезно — нам, буржуа, трудно выпутаться из этой истории силой ли, разумом ли. Наши депутаты, наши либералы, наши республиканцы поступают точно, как и я, разве не так?

— Мое искреннее желание, чтобы у них хватило мудрости и предвидения, как у нас, скромных лавочников, господин Мегорде. Надеюсь, они отстранят красных!

— Вы их видели, госпожа Пакуле? Мы с мужем наблюдали, как под нашими собственными окнами текли все эти бельвильские отбросы.

— Эй, вы, Пакулишки! Мегордешки!

Это взвыло само презрение. Дрожа от ненависти, Марта, не найдя аргументов сильнее, повернулась к ним лицом. Потом описала полукруг, прочно встала на широко расставленные ноги, нагнула голову и, задрав свои юбчонки, показала им зад.

Вдруг она охнула и подскочила на месте, тряся в воздухе босой ногой. Очевидно, она не только порезала ногу, но и подвернула лодыжку.

Итак, пришлось мне от самой Сены до нашего тупика тащить ее на руках. Она уцепилась за меня, обвила мою шею, ее огромные черные-черные глаза были совсем рядом с моими. К концу улицы Сен-Мартен моя ноша стала заметно тяжелее. У заставы я изловчился и, напрягшись, приподнял ее, сползшую, повыше. Левой рукой она плотнее обхватила мою шею. Уткнув подбородок мне в плечо, она шептала мне на ухо, словно баюкала:

— Какой же ты высокий! Какой сильный! Мужичок мой, колосок мой! — покусывала мне шею и снова начинала шептать: — Ты длинный, как день без хлеба, ты тяжелый, будто из золота, ты мой славный большущий пес, верно я говорю?

Мы пересекли Париж, направляясь в кварталы бедноты, мы брели среди кучек людей, а они окликали нас:

— Эй, влюбленные! Если вам квартира нужна, идитека в Тюильри! С сегодняшнего вечера там свободно!

— Что это за красотку ты, долговязый, несешь? Кто она такая — императрица, которая уже ходить не может, или же Республика, которая ходить еще не научилась?

Слушал я их вполуха, ведь я вслушивался в уютное мурлыканье Марты, спотыкался, чуть не опрокинул какого-то остряка, который загородил мне путь, раскинув крестом руки:

— Если притомился, носильщик, найдутся добровольцы.

Все предместье Тампль облепило окна, забило балконы. Теперь шуточки сыпались на нас сверху:

— Эй, верзила, на случай осады мясом запасаешься?

Шутники провожали нас насмешками от фасада к фасаду под полосой нежно-серого неба:

— А ну, Ритон, посмотри-ка на эту красулю, видать, расшибла себе ногу об осколки Империи!

Мы торжественно вступили в Бельвиль под градом соленых шуток. Первое, что я заметил, пройдя арку, был гигантский императорский герб, прислоненный к балкам в качестве трофея нашего тупика. Какой-то пьяница мочился на него. Меде, нищий, не спуская глаз с бронзового позолоченного хищника, сидел с протянутой рукой.

В «Пляши Нога» без счету чокались за Социальную республику. Все окна были распахнуты, во всех лачугах пели.

Вот теперь я узнал вкус Революции, она как легкий воздух, ласкающий кожу, как смуглая нежная кожа, чуть трепещущая, что-то бормочущая, покусывающая шею...

В этот вечер, по-моему, мы сошлись с Мартой. **(Ну конечно! Именно в этот вечер! Ведь был праздник...)** *Прожив до семнадцати лет в Рони, я был робок и чист*

и душой и телом. К тому же в те времена о таких вещах не говорили, и уж тем более не писали.

Вторник, 6 сентября.

Императрица сбежала. Гюго возвращается.

Говорят, на Брюссельской дороге нелепо пестрая колонна беглецов, важные сановники, крупные чиновники, дрожащие от страха генералы, изгнанные министры, камергеры и мамелюки встретились с возвращающимися изгнанниками. «По сравнению с этим встречи в «Эрнани», — заявил Предок,— просто самое обыкновенное совпадение. Если, конечно, не считать того, что Гаврош никогда не сидел на императорском троне...»

Пружинный Чуб вступил в Тюильри одним из первых. Перебраться через высокую ограду на площади Согласия для него, ловкого, как кошка,— пустячное дело. У входа во дворец он был если не первым, то, во всяком случае, в числе первых. Дойдя до большого бассейна, атакующие остановились как по команде: наверху, на площадке у воды, стоял заслон из гвардейских вольтижеров под начальством генерала Меллине. После кратких переговоров военные пришли к выводу, что им, в сущности, нечего оборонять, поскольку Империи больше не существует, императрица изволила только что отбыть, причем одна — совсем одна! — лишь в сопровождении дворцового служителя. «Скатертью дорога, Баденгетша!»

Надо было видеть, как крепыш Пружинный Чуб рассказывал про свои приключения во дворце, изображая все в лицах. Он расхаживал по императорским палатам, как хозяин. Рослый, движения непринужденные, квадратная голова острижена ежиком, глазки маленькие, широко расставленные, рот огромный, и две дырочки вместо носа. Из всех трофеев, добытых в воскресенье парижанами, самые весомые принадлежат, пожалуй, бельвильцам. Императорские гербы, пребывающие ныне в чересчур пахучем уголке бельвильских развалин, попали туда благодаря капризу Пробочки и геракловым усилиям кузнеца Бардена.

Пробочка — настоящее ее имя Мадлен, и лет ей восемь — шестой ребенок Пливаров. Два или три года назад, играя кузнечными мехами, она ударилась головой о край наковальни. С тех пор нос у нее расплющился и лицо стало

цвета асфальта, а кожа шершавая, тоже как асфальт. С того происшествия глухонемой и обезображенная девочка не расстаются, так что Пробочка почти разучилась говорить. Мамаша Пливар не против, ей хватает забот с детьми да и взрослых мужиков ублажать надо. Гигант и малютка следовали в рядах демонстрантов, держась за руки. Глухонемой не пропускает ни одного политического собрания. Это заполняет его жизнь. Садится в первый ряд и пожирает глазами оратора, улыбается, счастлив.

Итак, в воскресенье Пробочка с Барденом присутствовали при сбрасывании символов императорской власти, гербов, жетонов Второго декабря*, вывесок поставщиков Его императорского величества и прочих эмблем — а ну-ка посмотрим, как все это будет лететь на парижскую мостовую, тем более что жалеть не о чем, все эти императорские орлы не более чем дешевка, в самом дурном стиле Баденге! Вдруг Пробочка крикнула: «А вот это мне!» Речь шла о массивном чугунном орле, за которого никак не решались взяться даже самые яростные ниспровергатели из числа юных республиканцев, очищавших Париж от мусора императорской Франции.

— Я видел Бардена в эту минуту, но сам он расскажет об этом лучше! — говорит Пружинный Чуб.

И розовотелый глухонемой преображается: важно, вразвалку подходит к воображаемой решетке, цепляясь за прутья, ухватывает императорскую эмблему, стискивает горло хищной птице, борется с ней, колотит по чугуну, пока не вылетают заклепки. Чувствую, что у меня сжимается горло, а на лбу выступает испарина. Пробочка бьет в ладоши.

Но были и другие эмблемы, пострадавшие в тот день. Вечером того же четвертого сентября, когда народ радостно покидал Гревскую площадь, где рождалась Третья республика, по приказу новых хозяев страны было тайно сорвано с парижской Ратуши красное знамя, пояс зуава, который Шатлен водрузил на башенке.

* * *

Слесарь Мариаль — первый солдат, вернувшийся к себе домой в тупик.

Он, пожалуй, даже красив простецкой и грубоватой

красотой — такой бывает деревенская утварь. Прямой крупный нос, мощные челюсти и сильно выступающие скулы обрамлены бакенбардами, они, как и густая грива волос, каштанового цвета с проседью, поблескивающей серебром, что выгодно подчеркивает загар лица. Под полосками бровей, причем одна лежит выше другой, блестят глаза, черные, небольшие. Взгляд пронизывающий и грустный.

Мариаль получил в наследство слесарную мастерскую, большое, ныне запертое помещение, расположенное слева от арки, ведущей в тупик. Вместе с инструментом папаша Мариаль передал сыну любовь к рукомеслу. Сын трудился со всем старанием вплоть до того дня, когда из-за денежных затруднений ему пришлось взять заказ, который он сам считал унизительным,— заказ на мечи рыцарей-тамплиеров.

Было это в ту пору, когда в условиях небывалого промышленного подъема на Бирже, где шла лихорадочная игра, буквально в один день создавались колоссальные состояния. С благословения императорской власти спекулировали всем и на всем: на железных дорогах, на алжирских рудниках, на водах Монако, на Мексике, на Солони, на тех кварталах Парижа, которые по приказу префекта Османа сносили, и на тех, которые строились по его приказу... Нувориши тоже хотели иметь зáмки и предков. Им требовались фамильные портреты и рыцарские доспехи.

Настоящие доспехи и кинжалы стоили дорого, и раздобыть их было нелегко, вот в Париже и возникла как бы новая отрасль промышленности, специализировавшаяся на подделках.

Режим Второго декабря ввел в моду дешевку, но это, по словам самих ремесленников, было не самым меньшим преступлением Империи. Украшать себя подделками не казалось бесчестьем, на это закрывали глаза и даже считали хорошим тоном. Прекрасную мебель Первой Империи — массивные столы, секретеры красного дерева, которое когда-то привозилось с острова Куба, Наполеон Малый заменил обстановкой под стать своему царствованию, не гнушаясь подделкой: жалкие подражания Людовику XV, крашеное дерево, украшения из накладного золота, черненое грушевое дерево, а золотые и серебряные аппликации

изготовлялись химическим путем, с помощью нитрата. Императрица Евгения считала делом чести появляться на балах полуобнаженная, вся в побрякушках из алюминия! Поэтому-то при Наполеоне III отнюдь не зазорно было фабриковать средневековое оружие, сетчатые кольчуги, кирасы, алебарды, палицы, стилеты и рапиры, стопроцентно поддельные, но прекрасной работы, зазубренные, якобы побывавшие в боях и искусно покрытые ржавчиной, дабы привлекать такие же поддельные привидения, лишенные души, в замки, принадлежащие рыцарям, о которых никак не скажешь, что они без страха и упрека.

Мариаль оборудовал мастерскую, заказал два станка, обзавелся двумя компаньонами, снял весь третий этаж, как раз над кабачком. Дела пошли превосходно благодаря всем этим стилетам и щитам. Увы, чем больше Мариаль прикапливал деньжат, тем тошнее ему становилось. Он уже видеть не мог все эти эфесы, все эти литые оконные переплеты. Однажды вечером он решил лично для себя и ради собственного своего удовольствия смастерить какую-нибудь настоящую вещь, какие мастерил раньше. Но как он ни бился, все оказалось зря. Фабрикуя целыми днями всю эту «средневековую» дрянь, он потерял былую сноровку. А уж если ремесленник превращается в мастера подделки — обратного пути ему нет. Когда началась война, Мариаль оглядел свои руки и сказал, обращаясь к ним: «Раз вы разучились делать стоящие вещи, попробуем вас на другом ремесле».

И пошел в артиллеристы.

Его сосед, столяр Кош, бросил ему:

— А ты в самый, что называется, срок вернулся. Во время осады артиллерист всегда сгодится.

— Нечего мне тут делать.

— А почему, позволь узнать? Теперь небось не за императора будешь из своей пушки палить.

— Нечего мне тут делать. Хватит с меня.

Национальные гвардейцы и патриоты Дозорного тупика решили, что тут не все чисто. Как-то вечером Мариаль переложил лишнего в «Пляши Нога». И пошел...

Служил Мариаль в резервном артиллерийском полку, приданном Шалонской армии. Целый месяц их глупейшим образом гоняли туда и обратно, но пушкари на эти марши

не жаловались, особенно когда их посылали на смену потрепанным пехотным частям. Тридцатого августа они таким образом попали в окрестности Седана. А через сорок восемь часов их соединение заняло в самый разгар боя позицию к северу от небольшого укрепленного городка, на высотах Илли. Все полагающиеся необходимые маневры были проведены с блеском, особенно ладно пристрелялись, каждую минуту с регулярностью часового механизма выпускали по два снаряда. Этот концерт — и музыканты ни разу не сфальшивили — длился до тех пор, пока пруссаки не установили прямо напротив, тоже в результате безукоризненно проведенного маневра, ихние чудища, ихние пушки Круппа, которые на целые шесть сотен метров бьют дальше наших французских, хоть и того же калибра, да и попадание у них более точное. Словом, ответили, да так, что не опомниться. Меньше чем через час все шесть французских батарей были подавлены, прислуга и офицеры убиты или ранены. Наш слесарь спасся чудом. Одна лишь мысль им владела — раздобыть себе гражданское платье и бежать. Седан, крепость, армии, оказавшиеся в западне в этой котловине вместе со своим императором, капитулировали безоговорочно; но не это, даже не страх попасть в прусские лагеря для военнопленных подстегивал Мариаля. Случай завел одинокого беглеца в долину, которую только что держала под огнем его же собственная батарея. На противоположном гребне стоял корпус баварцев, так что пришлось до ночи сидеть тихо и прятаться. Целых девять часов пролежал он, погребенный среди трупов, сам подобный трупу, под грудой обезглавленных, изрубленных, изуродованных, разорванных на куски тел — это постаралась, поработала, следуя всем классическим приемам артиллерийского обстрела, наша добрая сталь Крезо.

Слесарь хлебнул еще винца, потом обратился к столяру Кошу:

— Покажь-ка мне свои руки.

Барден, которого чуть не до слез растрогала эта исповедь, тоже выставил обе свои лапищи. Мариаль задумчиво провел пальцем по мозолистой ладони кузнеца и пробормотал:

— Это другое, это не кровь.

— Прудон написал примерно так,— объявил Кош.— «Ум рабочего не только в голове, он также и в его руках».

Гифес спросил слесаря:

— А сейчас ты что рассчитываешь делать?

— Да сам не знаю.

— Не знаешь, и ладно,— заключил типографщик,— ты все равно на всю жизнь наш.

* * *

На взгляд нашего тупика, нет ничего общего между тем снарядом, который выпускаешь по врагу, и тем, которым враг бьет по тебе. Одно дело — наши убитые, другое — ихние. Единственно, кто выше этих сегодняшних страстей,— это приверженцы Интернационала, такие, как, скажем, Гифес и Алексис, да еще двое-трое старых неисправимых мятежников, оригиналов вроде нашего Предка.

Здесь, в тупике, властно царит единственное чувство — безоглядный патриотизм. Убили француза — преступление, убили пруссака — подвиг. И в «Пляши Нога», и в коридорах, и у водоразборной колонки все сходятся на том, что пруссака надо вздуть, вздуть так, чтобы ни крылышек, ни лапок не осталось, в порошок растереть, а крошки, если таковые будут, вымести поганой метлой. В начале войны соглашались гнать врага до Берлина «пинками под зад», а теперь ему и в такой милости отказывают: «захватчик удобрит наши нивы...» Надо иметь поистине железный характер, как у дядюшки Бенуа, чтобы не поддаться.

— Непобедимая Франция,— хихикает старик.— Да у меня от этих вечных глупостей с души воротит.

В разгневанных и недоверчивых предместьях поговаривают о создании в каждом квартале специального «комитета бдительности», уполномоченного контролировать действия новых муниципалитетов, бесстыдно навязанных Ратушей.

*Идея контроля шла от Интернационала, он-то не сидел сложа руки. Вечером 4 сентября члены секции собрались вместе с Федеральной палатой рабочих обществ * и потребовали муниципальных выборов, отмены всех законов против свободы печати, собраний и ассоциаций, политической амнистии, немедленного ареста бывших должностных лиц Империи, а также их агентов, в частности*

*всех членов так называемых бригад «безопасности». То же собрание, происходившее на площади Кордери *, приняло «Послание немецкому народу», привожу здесь его первые и заключительные строки:*

«Ты ведешь войну лишь против императора, а не против французской нации, твердили и повторяли тебе твои правители. Человек, который развязал эту братоубийственную войну, который даже не сумел достойно умереть и который сейчас попал в твои руки, не существует для нас более...

...Так давайте же, Германия и Франция, протянем друг другу руки с двух берегов реки, ставшей предметом распри. Забудем военные преступления, которые по воле деспотов мы совершали друг против друга. Провозгласим Свободу, Равенство, Братство народов. Заложим своим союзом фундамент для Соединенных Штатов Европы. ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВСЕМИРНАЯ РЕСПУБЛИКА!»

* * *

Мы с Пружинным Чубом вернулись домой уже в темноте, руки у нас затекли, ладони все липкие, потому что мы от предместья Тампль до Бютт-Шомона расклеивали красные афиши с призывом к немцам.

— Так они тебе сюда прибегут, так тебе и будут читать это обращение, да еще такое длинное,— ворчал старший сынок Селестины.

Трижды мне пришлось переклеивать объявления, которые он налепил вверх ногами, а ведь я ему двадцать раз объяснял, что, где большие буквы, там верх.

И вдруг под аркой у входа в наш тупик — два стража с саблями наголо, в сапогах, в круглых шапочках без козырька, зато увенчанных пером, в широких красных рубашках, стянутых поясом, а за пояс заткнуты два пистолета.

Движением подбородка они показали нам: проходи, мол, мимо — и крикнули: «Vi-a!» [1]

Мы запротестовали: мы же здесь живем. Они о чем-то с минуту посовещались на незнакомом нам языке, потом один из них повернулся и крикнул: «Пальятти!» На зов приблизился каменотес. Он был в такой же форме, что

---

[1] Проходи! (*итал.*)

и те двое. На их вопросы отвечал по-итальянски. Нас пропустили.

— Что это за форма такая?

— Гарибальдийская.

Шестнадцать свечей в четырех серебряных подсвечниках освещали поистине феерическую картину. Я даже ущипнул себя, а то ни за что не поверил бы, что Нестор Пунь мог самолично притащить из дому два вольтеровских кресла, застлать стол этой белоснежной скатертью, расставить дорогую посуду, разложить серебряные приборы. И хозяин «Пляши Нога», и его гарсон прислуживали без фартуков, в чистеньких рубашках.

В темном углу у кузницы были привязаны семь чудесных, явно офицерских коней. Но там им было тесно, и они беспокойно переступали с ноги на ногу, ржали, били копытом о землю, грызли удила. А наш Бижу, привязанный возле окошка сапожника, поворачивал к ним свою многоумную башку прожившего долгую жизнь коняги и, должно быть, думал: «Эх, детки, детки, скоро и вы угомонитесь, я-то уж давно угомонился!»

Четверо офицеров, тоже в красных рубашках, ужинали и, сдвинув лбы, негромко переговаривались с сидящими за соседним столом, тоже чистенько накрытым, но, конечно, без всей этой роскоши. Второй стол стоял чуть подальше.

Пальятти подтолкнул меня к почетному столу. В кресле прямо передо мной восседал наш Предок.

— Это и есть ваш мальчуган? — мягко спросил человек, сидевший напротив Предка.

— Да, он.

Кресло повернулось на ножках в мою сторону.

— Я Флуранс.

Флуранс! Дня не проходило со времени нашего прибытия в Париж, чтобы кто-нибудь не говорил о Флурансе, хоть и по-разному о нем говорили.

Сын знаменитого физиолога, Гюстав Флуранс, еще не достигнув двадцати пяти лет, становится ассистентом отца в Коллеж де Франс. Будучи обвинен в том, что на своих лекциях он затронул религию, Флуранс бежит за границу. В 1866 году он спешит на помощь к критским повстанцам. В 1868 году мятежники, одержав победу, избирают его главой своей депутации. В Афинах Флуранс

попадает в ловушку, расставленную греческим правительством и французским посольством; его, связанного, бросают в трюм французского пакетбота, а его товарищей критян насильно отправляют обратно на Крит. Вернувшись в Париж, Флуранс публикует в газете своего друга Рошфора «Марсельеза» серию статей «Армия и народ». В 1869 году его приговаривают к трем месяцам тюрьмы по обвинению в организации двух публичных собраний в Бельвиле. Одиннадцатого апреля он пишет из тюрьмы Мазас:

«...Что касается обвинения в подстрекательстве к ненависти и неуважении к правительству, что мне равно инкриминируется, то я считаю наисвященнейшим долгом каждого гражданина, о чем заявлю в своей защитительной речи, подстрекать своих сограждан к иным чувствам, нежели любовь и уважение к правительству, которое нарушает все свои обязательства, губит Францию и, к величайшему нашему позору, приведет нас к новому Ватерлоо и новому вторжению...»

Через год и четыре месяца Наполеон III капитулировал в Седане.

Арестованный во время манифестации 7 февраля 1870 года и приговоренный к ссылке, Флуранс бежит в Грецию. Двадцать третьего июля он пишет из Афин:

«Потоки крови льются сейчас по вине династии Бонапартов. Когда же человечеством будет управлять Разум? Когда избавится оно от этих идолов: королей, аристократов и их шутов? Когда отдаст оно все свои силы на просвещение, на всеобщее счастье, а не на удовлетворение эгоистических притязаний кучки паразитов?»

В августе 1870 года Флуранс возвращается во Францию через Швейцарию, где его арестовывают как прусского шпиона, но он снова в последнюю минуту спасается от расстрела и возвращается в родной Бельвиль.

Желая освободить мне место рядом с собой, Флуранс отстегнул свою великолепную турецкую саблю и положил ее прямо на камчатную скатерть, между серебряным соусником и хрустальным графином с белым вином.

— Бери, малыш, тут еще осталось крылышко цыпленка.

Он рассказывает о своем аресте и вмешательстве его друга Рошфора, который спас его, Флуранса, когда тот находился буквально на волосок от дюжины пуль.

Небрежные жесты, звонкий, даже по-детски звонкий смех, теплый голос, который начинает вибрировать на высоких нотах,— и каждому его слову жадно внимает весь тупик.

— Можешь остаться здесь, Флоран. Ты нам понадобишься.

А мне больше ничего и не надо.

Во многом мне изменил чудодейственный дар помнить все детали, каждую минуту, хотя, надо признать, я записывал все сразу же или почти сразу после события. Тем не менее ныне, по прошествии сорока пяти лет,— в разгар битвы на Марне! — тот вечер во всех подробностях воскресает в моей памяти. Флуранс говорил о положении вещей, об осаде, уже страшной, близкой осаде, а мы с Предком слушали.

Флуранс разбирал политику нового правительства:

— Вместо того чтобы воззвать к энтузиазму сотен тысяч наших славных парней, вооруженных лопатами и мотыгами, идти с военными трубачами впереди и с развернутыми знаменами, генерал Трошю сдает земляные работы обычным подрядчикам, а те ломаются, уверяют, что им, мол, не хватает землекопов. Я как-то ходил смотреть на укрепления...

Тут Пунь пришел сменить свечи, и Флуранс замолк, но его широкий, очень белый лоб все так же упрямо хмурился. Когда Пунь удалился, он вздохнул:

— Империю свергли, потому что она капитулировала. Народ не может примириться с мыслью, что Франция разбита. Шулера, рвущиеся к власти, ставят именно на эту карту. А захватив бразды правления, они тоже капитулируют.

Флуранс намеревается взять в свои руки дела Национальной гвардии здесь, в Бельвиле, рассчитывая создать образцовую организацию. Он вспоминает о недавних восстаниях в Польше * и на Крите, он убежден, что опыт герильи полностью подтверждает и обогащает тезисы Узника, а именно: его «Инструкцию по захвату оружия».

В этих своих тезисах, написанных в 1867 году и предназначенных членам его секций, Бланки развивает положения революционной тактики, рассматривает все ее

аспекты, включая возведение баррикад и стычки с противником, с тем чтобы установить в Париже диктатуру, которая подготовит приход коммунизма.

Нынче ночью все звуки разносятся как-то особенно далеко. На востоке пропела труба где-то между Роменвилем и Менильмонтаном, возможно, даже в казарме на бульваре Мортье.

Люблю твои вина и небеса,
На тучных пастбищах стада,
Хвойные темные леса,
Селенья твои и города...
Люблю я твой старый Париж,
Франция моя!

После долгого молчания Флуранс затягивает вполголоса:

Свободой вскормленных сыновей
И три твои Революции,
Франция моя! ..

Тут он замечает, что мы с Предком навострили уши.

— Эту песню сочинил гражданин Жан-Батист Клеман *. Наши друзья бланкисты вызволили его из тюрьмы Сент-Пелажи. Он получил год за «оскорбление особы императора и за подстрекательство к различным преступлениям».

Флуранс замолк в раздумье, потом проговорил:

— Пушек! Пушек! Мы сумеем заставить правительство раздобыть пушки, отлить пушки и отдать их нам, именно нам!..

Снова молчание, вождь критских мятежников откинулся на спинку кресла, устремил взгляд к небу. И тогда он сказал:

— Предместья — это наши мятежные горы, холмы Монмартра, Шомона, Бютт-о-Кая... и Бельвиль, мой Бельвиль! Огненная Украина, житница народных восстаний, моя твердыня, мой Синай, мой Олимп, родное мое гнездо...— И своими длиннющими руками он словно обхватил половину Парижа.— Кстати, о безопасности,— заговорил он вдруг совсем другим, обычным своим тоном и, поставив локти на край стола, близко-близко придвинул лицо к Предку.

И тот скомандовал мне:

— А теперь, Флоран, оставь-ка нас одних.

Я поспешил распрощаться и направился к дому. Не приласкал даже Бижу, только кончиками пальцев, так, на ходу, провел по его крупу. Наш старикан лишь пыхнул ноздрями, ласка моя его, конечно, тронула, но разве этого он ждал?

Едва лишь я приоткрыл дверь, как на меня что-то набросилось, видать кошка. Слава богу, что господин Валькло обшил салон тканью!..

— Сволочь! Дерьмо! — вопила Марта.

Наша смугленькая крепышка вечно меня озадачивала; хоть и была она маленькая, а пришлось мне напрячь все силы, имеющиеся в моем непомерно длинном костяке, иначе мне ее ни за что бы не одолеть. Но пока наконец я скрутил ей руки за спиной, повалил на ковер, придавил ей живот коленом и для верности еще прихватил зубами ее ухо, она ухитрилась все-таки ободрать мне ногтями физиономию.

— Сволочь! Дерьмо деревенское!

Утолив свою ярость, она расхныкалась:

— Ведь это же Флуранс! Понимаешь, что ты делаешь, или нет? Не мог за мной зайти! Или хоть бы позвал! А я-то весь вечер ждала, что ты вот-вот меня кликнешь! Не тут-то было! Пировал себе с Флурансом, пыжился, а я-то, идиотка, все ждала!

Тут меня осенило, и я одной фразой положил конец ее буйству:

— А теперь ты и отъезд его пропустить, видно, хочешь?

Так как мы не могли открыть окно из страха выдать свой тайник, мы поднялись этажом выше, высунулись в окошко на лестничной площадке и стояли там обнявшись, потому что для двоих места не хватало, так что неважно, помирились мы или еще нет.

Охрана и офицеры уже сидели в седле. И ждали по обе стороны арки. Флуранс держал своего вороного жеребца под уздцы, но прежде чем вставить ногу в стремя, обменялся с Предком еще несколькими словами. Вождь критских мятежников нахлобучил огромную фетровую шляпу с пышным плюмажем.

Наш тупик да и весь Бельвиль хранили глубокое молчание. Хоть бы какой младенец пискнул! Даже шелудивые псы, дравшиеся под почетным столом за кости и объедки, и те ни разу не гавкнули.

Вдруг запел знаменитый петух супругов Фаллей, и тут Флуранс с Предком порывисто обнялись. Два стража галопом проскакали под аркой, чтобы осмотреть Гран-Рю, один взял налево, другой — направо.

Флуранс вскочил в седло. Его окружили офицеры. Пятеро всадников дружно оглянулись и отдали честь, приветствуя нашего Предка, потом поскакали во весь опор. Стук лошадиных подков гулко отдавался в переулках, улицах, под арками уснувшего Бельвиля. Судя по конскому топоту, всадники направлялись кавалерийским галопом к Бютт-Шомону.

Еще не стихло цоканье копыт, как Дозорный тупик вновь ожил: на площадке взвизгнули колесики тележки безногого супруга Мокрицы, младенцы с лихвой наверстывали упущенное, трое завопили, словно по сигналу. Заскрипели балки, звякнуло железное ведро под слишком долго молчавшей струей воды. Вормье принялся лупцевать свою супружницу, а супружница Пливара во всеуслышание обзывала своего благоверного рогачом. Две фальшивые ноты: это Матирас прощался на ночь со своим старым рожком. Нищебрат открыл окошко — проверить, по-прежнему ли Пресвятая Дева в своей нише вздымает красный стяг. Откуда-то наползал запах кофе.

— Ох, шлюха! — Проведя пальцами по щеке, я убедился, что она вся в крови.

— А ты, коровяк вонючий, лучше со мной не связывайся! — усталым голосом шепнула Марта.

7 сентября.

Весточка от отца. Он попал в плен под Седаном. Был ранен осколком в правое плечо, но, как он уверяет, ничего серьезного. Пишет сам, а он у нас не левша. Кроме того, нам стало известно, что французскую армию, попавшую в плен, пруссаки согнали на остров Иж, к северо-востоку от Седана. Так или иначе, война для отца кончилась.

Тетрадь вторая

Четверг, 8 сентября 1870 года.

Первый номер газеты Бланки «Отечество в опасности» вышел вчера. В этой статье Узник вновь излагает свои проекты всеобщей мобилизации: пусть население Парижа будет разбито на батальоны солдат-землекопов, умеющих одинаково ловко управляться с лопатой, мотыгой и ружьем! Пусть льют пушки! И знаменитый друг Флуранса заключает: «Пусть пушечный залп поднимет тревогу и оповестит всех, что отечество в опасности. Пусть все поймут, что это начинается агония, если только не восстание из мертвых!»

С воскресенья идут разговоры о ранении маршала Мак-Магона. Супруга маршала в сопровождении двух врачей-хирургов отправилась в Седан. Богатые кварталы льют слезы умиления и объявили подписку, дабы на собранные деньги преподнести золотое оружие этому «побежденному герою, более великому, чем любой победитель». Но то, что до слез трогает Елисейские Поля, вызывает ухмылку у Бельвиля. Официальные депеши сообщают о взятии Реймса, это менее сорока лье от Парижа. Пруссаки вступили туда, предшествуемые сорока кавалерийскими эскадронами.

«С падением Империи Франция вновь обретает себя и сама распоряжается собой», — пишет Луи Блан *, который только что возвратился в Париж. «Париж — столица

цивилизации, которая не есть королевство или империя,— провозглашает Виктор Гюго,— это весь род человеческий в своем прошлом и в своем будущем. А знаете ли вы, почему Париж — город цивилизации? Потому что Париж — город Революции».

В Лионе, где провозгласили Республику раньше, чем в столице, народ завладел ратушей, там учреждена Коммуна. «Правительство адвокатов» отнюдь не торопится провести обещанные выборы; мэры, временно исполняющие свои обязанности и назначенные министром внутренних дел, судорожно цепляются за свои кресла.

В тот самый день, когда была провозглашена Республика, Федеральная палата рабочих обществ и парижские секции Интернационала собрались в 8 часов вечера на площади Кордери. На следующий день вечером, 5 сентября, рабочие делегаты явились в таком количестве, что пришлось «воспользоваться» зданием коммунальной школы, иначе негде было бы провести собрание — еще бы, сошлось пятьсот человек!

Во вторник шел дождь. В сумрачном, пропитанном влагой тупике два каштана кажутся двумя алыми пятнами, словно бы покрытыми лаком. Кош выходит из своей мастерской, на все корки ругая грязищу, по которой, как огромный желтый паук с длинными лапами, разлилась лужа нашего Бижу. Пунь с помощью Леона втаскивает обратно в помещение столы. Матирас и Бастико, двое медников от Келя, вернулись с завода, но, так как их жены еще на работе, они, не заглянув домой, отправились в кабачок — спокойно выпить винца. Мари Родюк, торговка пухом и пером, выйдя на порог, вопросительно поглядывает на небо, спрашивает совета у парикмахера — соседа справа, у сапожника — соседа слева, сидящих у окон, потому что опасается за свою готовую продукцию.

Вдруг на Гран-Рю раздается звук рожка. Все лестницы во всем тупике трещат от перестука туфель, ботинок, сапог и калош. А за нашей аркой на Гран-Рю примерно сотня человек торопливо идет куда-то.

— Что случилось?

— Не знаю.

Метров через пятьдесят нас уже три сотни.

Мы почти бежим.

— Куда это все?
— Не знаю.
— Так чего же ты прешься?
— А я за ними.

Когда мы останавливаемся, перед нами Фоли-Бельвиль, и нас уже тысячи три.

Администратор зала торгуется о плате за помещение с каким-то блузником. Марта узнала его — это бланкист Эмиль Уде *, он расписывает фарфор. Наконец двери зала распахиваются. Снова поет рожок, и Матирас ревнивым оком следит за горнистом. Рассаживаемся. Я задыхаюсь, затертый между гигантом Бастико и Селестиной Толстухой, в телеса которой меня постепенно вжимают, потому что с другого моего бока — сплошной мускул. Наш тупик представлен весьма широко: тут Гифес, Жюль, его дружок Пассалас, Пальятти, Чесноков, Фалль, Матирас, Вормье, Нищебрат, Марта, Пружинный Чуб, Мари Родюк, Шиньон, сапожник, Пунь, долговязая Митральеза, не говоря уже о ребятишках — обоих Бастико, троих Маворелях и многих других. Зал битком набит, среди публики — мундиры национальных гвардейцев, прибывших из Ребваля, с улиц Туртиль, Мар, с Американского рудника и с улицы Пуэбла; собралось много литейщиков, газовщиков, пильщиков, ломовиков, каменотесов, землекопов. А горнист, игравший на рожке,— из 16-го батальона мобильной гвардии. Всего только с десяток рединготов, а то все блузы, рабочие куртки, рабочие халаты и военные мундиры.

Выбрали президиум. Председательствовал Эмиль Уде. Первым делом он поблагодарил нас всех за то, что мы собрались здесь, и предоставил слово Жюлю Валлесу. Пылкий трибун-журналист похож на свои статьи: широколобый, волосы длинные, расчесанные на прямой пробор, вольно растущая борода, взгляд поначалу взволнованный, а потом мечущий молнии.

— Граждане! Я сам из Ла-Виллета и Бельвиля.— Гром аплодисментов.— Когда нам приходится туго — спросите сами у Ранвье и Уде,— когда Империя нас преследует, затыкает нам рот, морит нас голодом, когда мы отчаиваемся, мы возвращаемся в Бельвиль. В этом краю адского труда, на этой классической земле мятежа люди всегда готовы к бою...— Переполненный, душный от дыхания тысяч человеческих уст зал Фоли ликует.— Ваш

энтузиазм, ваше мужество, ваше спокойствие не могут не поражать ум и сердце! Я принял решение жить среди вас, я избрал себе отчизной этот мрачный угол.

(Умилительный демагог!)

Затем журналист описывает «Кордери, наш нынешний Зал для игры в мяч» *.

— Вечная сырость, площадь, со всех сторон стиснутая рядами домишек. В нижних этажах, где размещаются лавчонки, живут мелкие торговцы, а детвора их играет здесь же, на тротуарах. Тут не увидишь кареты. Мансарды забиты беднотой. Словом, так же пустынно, как и на улице в Версале, где третье сословие труси́ло под дождем; но отсюда, с этой площади, как некогда с той улицы, на которую вступил Мирабо, может быть дан сигнал, может прозвучать призыв, и его услышат толпы...

Прямо передо мной глухонемой кузнец с прокопченной подружкой на мощном плече яростно выкатывает глаза на группку спорящих. Губы его шевелятся, будто он пытается выговорить: «Тише вы».

Тем временем Валлес продолжает. И вот он поднялся на четвертый этаж дома № 6 по площади Кордери, толкнул дверь плечом и вошел в большое пустое помещение вроде классной комнаты в коллеже.

— ...Сама Революция сидит на этих скамьях, стоит, прислонившись у стен, опирается на эту трибуну: Революция в рабочей блузе. Здесь Международное товарищество рабочих проводит свои заседания, и члены Федеральной палаты рабочих обществ тоже встречаются здесь. Что перед этим залом античные форумы! Из этих окон того и гляди вырвутся слова, способные разжечь народный гнев, совсем как те, что бросал народу громогласный Дантон в сорочке с открытым воротом из окон Дворца Правосудия, обращаясь к народу, уже взбаламученному Робеспьером... Это сам Труд с засученными рукавами, Труд простой и мощный, с руками кузнеца, его орудия блестят во мраке, и он кричит: «Меня-то не убьешь! Меня не убьешь, и я скажу свое слово...»

Литейщики, пильщики, каменотесы, землекопы, механики и штукатуры гордо расправляют плечи.

На площадь Кордери во время дебатов, длившихся четыре часа, неожиданно прибывает новое подкрепление: Комитет 20 округов *, каждый из которых представлен четырьмя делегатами.

— ...Восемьдесят бедняков пришли из восьмидесяти лачуг, они хотят говорить, хотят действовать, а если нужно, то и драться — от имени всех парижских улиц, объединенных в нищете и в борьбе!

Так же как и Валлес, все сменяющиеся на трибуне ораторы не слишком склонны доверять правительству, «клике» Трошю, «состоящей из Жюлей и адвокатишек, куда более пекущихся о личных своих интересах, нежели о защите родины».

— А пушки? Ни для кого не секрет, что нам не хватает пушек! Чего же ждут наши правители, почему не прикажут отливать орудия? Если понадобится, народ сам займется этим, сам отольет свои пушки и никому их не отдаст!

В одну из кратких пауз, когда и оратор и слушатели переводят дух, за окном на улице раздается выстрел. В зал с криком врывается с полдюжины парней.

— Полицейский шпик! Он стрелял в наших. Здешние шпики попрятались после событий четвертого сентября, а теперь снова повылазили! Сюда идет полиция!

«Да здравствует Республика!» В зале Фоли-Бельвиль тревожно поблескивает сталь: кухонные, сапожные и садовые ножи, напильники, целый арсенал клинков, прихваченных из кухонь и из мастерских, отточенные лезвия, на кончик которых нацеплена пробка, чтобы сподручнее было пронести их под блузой; несколько пистолетов, еще теплых на ощупь —так долго держали их в кармане, так долго сжимала и ласкала их хозяйская рука; ножи с деревянной ручкой, кинжалы... Появляются даже два топора и коса, как только ухитрились их протащить, дьяволы! В нише какой-то щупленький печальный человечек вынимает из карманов руки и протягивает горделиво-мужественным жестом две аккуратные кругленькие бомбы, приложив одну к другой, чтобы получилось более внушительно.

— Что ж! Мы их ждем!

Можно прождать так до утра! Должно быть, им уже обо всем сообщили... Имя жертвы известно: Ламбер. Убийца, как это всегда бывает, скрылся.

Прежде чем разойтись, собравшись в Фоли-Бельвиль дают торжественное обязательство присутствовать на похоронах гражданина Ламбера. Жюль Валлес произнесет надгробное слово.

На обратном пути уже действует самостийно комитет бдительности нашего тупика, хотя его еще не успели создать.

— Нам нужно немедленно послать своего делегата в мэрию!

Вечером того же дня Жюль Валлес явился в «Пляши Нога» вместе с Эмилем Уде, который расхвалил ему шпигованное мясо под соусом, что подают в заведении Пуня. К ним подошел Матирас.

— Если вам горнист когда понадобится...

— Ба, горнист всегда найдется,— ответил ему Уде. — Как-то я набрел на остатки разбитого полка, гревшегося на солнышке. В куче разного хламья я отыскал рожок, протянул его какому-то одноглазому молодцу и сказал: «А ну-ка подыми его повыше и играй во славу Революции». И представьте, сыграл.

Пунь расщедрился — выставил мальвазию. А через час пошло веселье. Хохотали по любому поводу и без всякого повода. Наши вояки разрезвились, как дети. Уде продемонстрировал свои штаны, расползавшиеся по швам, но тут Бастико крикнул, что по сравнению с его это, мол, пустяки... И тут же вся обжорка стала показывать друг другу свои зады, у кого штаны изношенней, у кого больше штопки. И все это вполне серьезно, даже с какой-то невиданной прежде гордостью.

Нет, решительно мода меняется.

Суббота, 10 сентября.

Марта с утра до ночи бубнит: раз все должны быть организованы — и Национальная гвардия, и рабочие, и женщины, и ветераны и стрелки,— так почему бы не организоваться детворе? Ребятишки повсюду — дома, на улице, лезут куда им не положено. Никто на них внимания не обращает. Ей хочется создать детский комитет бдительности, причем без ведома взрослых, где мне отведена роль Валлеса, а она будет, это уж само собой, Флурансом, Бланки, Варленом, и Трошю одновременно. Но я несправедлив в отношении Марты — нет ни грана бахвальства в честолюбивых планах этой отчаянной девчонки, поскольку она намерена держать свою организацию в полнейшем секрете. И это уже не игра.

Париж отныне на военной ноге.

Но что осталось Франции? Знаем мы об этом немного, и то немногое, что мы знаем, не слишком радует.

*Бывший император Наполеон III пребывает в качестве военнопленного в замке Шпандау к северо-западу от Берлина. По его приказу две армии должны были форсировать Рейн; первая, под командованием Мак-Магона, сдалась в плен под Седаном, вторая, под командованием маршала Базена, блокирована в Меце и не может рассчитывать на подкрепления. Несколько крепостей еще пытаются сопротивляться: на востоке — Страсбург, Бельфор, Туль и Верден, на севере — Перонн, Лилль и Ла-Фер. Реально существует лишь одно крупное соединение, а именно XIII корпус генерала Винуа *. Сформированный в самые последние дни, он не смог поспеть вовремя к Седану, и, худо ли, хорошо, вернулся в столицу; надо сказать, что зрелище этих беспорядочно бредущих, пьяных от усталости солдат вряд ли способно поднять дух парижан, на чьих глазах измученные переходами люди валяются в грязи на авеню Великой Армии, рыгают, храпят, сморенные животным сном. Не вчера Париж родился на свет божий, но такого страшного зрелища, какое представляло разномастное это воинство, кишевшее на его улицах, даже он не видывал. И вот в этом-то муравейнике народ, разъяренный против пруссаков, не доверяющий своим министрам и генералам, постепенно начинает организовываться сам. Приходится действовать по наитию, и быстро действовать, не спуская глаз и с наступающих немецких войск, и с весьма подозрительного «правительства национальной обороны», которое ждет лишь подходящего случая, дабы отдать Францию пруссакам, по возможности без большого скандала.*

Марта и Торопыга притащили мне афишку, набранную в два столбца, и потребовали, чтобы я вслух прочел ее всем неграмотным нашего тупика. Это обращение Виктора Гюго к немцам, вот его заключительные слова:

«Ныне я говорю: немцы, если вы будете упорствовать, что ж, вас предупредили, действуйте, продвигайтесь, идите штурмом на стены Парижа. Они устоят вопреки всем вашим бомбам и митральезам. А я, старик, я тоже буду там, хоть и без оружия. Мне пристало быть с народами, которые гибнут, мне жалки те, что с королями, которые убивают».

Понедельник, 19 сентября.
Два часа утра.

Хочу поскорее записать все, что произошло со мной в тот прекрасный осенний день, в то воскресенье, когда я открыл для себя новый материк: Париж.

Сияющий рассвет сулил превосходную погоду, и, кажется, само небо клятвенно подтверждало это чириканьем воробьев, одышливым дыханием собак, ленивым потягиванием кошек, веселым «добрым утром» соседей, внезапной прелестью женщины, пришедшей по воду, какими-то особенно добродушными движениями грубых пальцев, набивающих трубку.

Когда радуешься солнцу, вставшему отнюдь не с левой ноги, сама прозрачность воздуха побуждает тебя взвесить, как много ты терял до сих пор, оттого что не купался с головы до ног в этом утреннем блаженстве, а подставлял ветру и солнцу только лоб, губы, уши, глаза и кожу, не слишком-то чистую. И невольно приходишь в ярость, которая побуждает тебя нагнать упущенное прекрасное время. Я впервые догадался об этой клятве утренней зари, впрочем, полагаю, что ее можно подстеречь только в Париже.

В тупике прямо посреди нашего свинюшника щебечет что-то юное существо, невысокое, стройно-девическое. Марта. В соломенной шляпке, щедро украшенной бантами, в лиловом корсаже с остроконечным вырезом, в широкой юбке, которая худит ее и прибавляет ей роста, с зонтиком под мышкой, наша неподражаемая смуглянка раздает огрызки мяса шелудивым псам, обитателям тупика, включая Клерона и Филис, не забывает она и котов.

— Здравствуй, Флоран! А я тебя жду.

Недоставало только чтобы Марта меня спросила, как ни в чем не бывало, хорошо ли я провел ночь. Чертова девчонка, я ведь не видел ее целых двое суток! Она осматривает меня с головы до ног: все, что на мне было надето по случаю воскресенья, вызывало у нее еле заметную гримаску.

— Ну, идешь?

— Куда?

— Там увидишь.

— Знаешь что, Марта, хватит с меня твоих штучек, всех этих тайн и капризов. Либо ты мне скажешь, что мы будем делать, куда, куда...

— Раскудакался.

В воротах, что-то насвистывая, появился Шиньон в новом костюме, при бархатном галстуке, с нафабренными усами. Не ссориться же нам в это утро, не стоит забывать, что обещал нам этот сентябрьский рассвет.

— Ладно... Уж раз ты злишься, я сейчас скажу, куда я тебя веду.

— Я злюсь? Я?

— Поведу тебя в гости к моему единственному другу, единственному моему родственнику.

Голос ее дрогнул. Слабость, умиленная нежность?

Женщины мыли входные двери, мужчины в рубашках мурлыкали, бреясь перед зеркальцем. Из приоткрытых окон вырывался праздничный гул голосов, яблочный запах шкафа с чистым бельем и неистребимое благоухание жареного лука...

В ту пору парижане еще не стремились неотличимо походить друг на друга. Каменотесы, с ног до головы в белом, носили красный шерстяной пояс. Землекопы щеголяли в широченных штанах, в бархатных жилетах, обшитых золотым позументом. Рабочий умел хранить свое достоинство, он не желал, чтобы даже в праздник его принимали за буржуа. В то воскресенье пролетарии надели свежевыстиранные штаны и блузы, у кого на голове была самая лучшая его каскетка, у кого фетровая широкополая праздничная шляпа. Ни за какие блага мира они не вырядились бы в редингот и цилиндр, ибо им дорого было появиться всей семьей в воскресной толчее у заставы и услышать себе вслед: «Смотри, смотри, машинист идет!» или «А вот это плотник!»

Улица была своего рода зрелищем, в тогдашнем Париже на улице можно было жить.

Рабочий-кровельщик в хорошо выутюженных штанах, в маленькой синей холщовой каскетке о чем-то весело болтал перед витриной колбасной лавки со стройной рыженькой девицей, а та стояла простоволосая, прижав к боку локтем каравай хлеба, и в руке держала кровяную колбасу, еще теплую, завернутую в толстую серую бумагу.

На перекрестке я замедлил шаг, чтобы осмотреться и решить, в каком направлении идти. Марта, помахивая зонтиком, медленно, упругим шагом шествовала по каменным плитам и, восхищаясь всем, как непритязательный горожанин, впервые очутившийся на деревенских просторах, ловко лавировала среди кучек прохожих.

Так через Тампль и Шато-д'О мы добрались до Бульваров. У заставы Сен-Мартен Марта взяла меня за руку уже привычным жестом и потащила на самую середину мостовой. Там, остановившись среди бешено мчавшихся фиакров, военных повозок, ломовиков и ландо, Марта уперла руки в боки и попросила с подозрительной ласковостью:

— Посади меня себе на плечо...

Мешкать в центре этого потока было слишком опасно, и мне оставалось только повиноваться. С высоты моего плеча Марта, приложив к глазам руку щитком, долго смотрела в сторону церкви Мадлен и удовлетворенно вздыхала, а потом скомандовала:

— А теперь поворачивай, пахарь!

Я шел, куда требовала Марта, в тайной надежде наконец-то побольше узнать о своей подружке, увидеть ее настоящее жилье, где она проводит долгие ночи без меня. В наш тупик она только наведывается, а вот где же она ютится на самом-то деле?

На площади Согласия люди прохаживались перед статуей города Страсбурга, украшенной знаменами и цветами. У подножия катафалка лежала книга, где каждый желающий мог поставить подпись, дабы выразить осажденному Страсбургу свою признательность патриота. Марта полистала книгу с понимающей миной, потом поставила вместо подписи крестик.

Полдень все еще свято выполнял посулы утра. Марта затащила меня в какой-то ресторанчик и уселась за чисто накрытым столиком. Прежде чем занять место, я с минуту топтался, охваченный сомнениями. Потом шепнул:

— А деньги-то у тебя есть, а?

Марта фыркнула. Ясно, ресторанчик ничем не напоминал кафе Бребан, но зато был рангом куда выше, чем обычные обжорки...

Моя подружка заказала тушеную говядину с овощами, телячье рагу под белым соусом, горошек с салом, сыр, виноград и бутылку легкого сюренского вина. Ела она не торопясь, клала в рот маленькие кусочки и долго их

смаковала. Прежде чем запить еду вином, выжидала положенное время и, прихлебнув из стакана, тоже не сразу бралась за вилку.

Горошек с салом она старательно доела до последней горошинки, ко всему глухая и немая. Потом посмотрела мне прямо в глаза мрачным взором. А в паузе между сыром и виноградом сказала медленно, но с той же энергией, с какой пережевывала пищу:

— Я никогда не знала своего отца. Или, вернее, могла выбирать себе любого, понятно?

Я кивнул.

Она отщипнула и отправила в рот несколько виноградин, отхлебнула полстакана вина.

— Когда я родилась, мать целых три дня с горя ревела. А когда я чудом выжила, она орала, что, мол, не заслужила такого наказания. Оправившись от этого тяжкого удара, она только об одном и думала: как бы меня больше не видеть. Зато едва я достигла возраста, когда уже смогла зарабатывать, мать взяла меня к себе.

Марта ухмыльнулась и доела виноград все так же медленно. Потом допила вино:

— Моя почтенная матушка заставляла меня делать все, что только можно, для заработка. Все. Понимаешь?

Я снова кивнул.

— Ничего ты не понимаешь.

Марта прикрыла глаза и, почти не разжимая губ, произнесла:

— А теперь иди себе. Жди меня у статуи Страсбурга.

Я начал было протестовать, но она даже зубами скрипнула:

— Иди, тебе говорят, дуралей!

Когда наконец у статуи Страсбурга появилась Марта, она вся раскраснелась от бега.

— Дорого пришлось заплатить?

Она с жалостью поглядела на меня, и я ясно прочел в ее глазах, что лучше мне было бы до конца своих дней сидеть у себя в Рони.

К вечеру мы очутились на самой вершине Монмартрского холма, щетинившегося жерлами пушек. Под безоблачным небом панорама Парижа открывалась во всей своей кристальной четкости: видно было даже то, чего нельзя было видеть, а только знаешь, что оно есть, на вос-

токе — лента Марны, ее широкая излучина у полуострова Сен-Мор, на юго-востоке — Сена, потом она течет с востока на запад, и, наконец, на юго-запад. А над Венсенном, Монтрейем и Рони стоял дым. *(Очевидно, это горели леса, их подожгли, чтобы расчистить поле для пристрела.)* Я пытался представить себе эти неприступные фортификации, этот надежный щит, прикрывающий столицу щит, воспетый на все лады.

Здесь, на Монмартре, пахло свежескошенной травой. В вечерней газете, брошенной кем-то из артиллеристов, сообщалось, что пруссаки вышли к Марне.

Как раз в это воскресенье, 18 сентября 1870 года, в то время как Париж фланировал, смеялся, садился за ужин, плясал и заполнял в вечерних туалетах театры и концертные залы, пруссаки шли от Шуази-ле-Руа к Версалю, окружив наши позиции в районе Шатийона и Кламара. В два часа дня у застав уже толпились какие-то насмерть перепуганные люди; это оказались парижане, они еще с утра отправились за город и, наткнувшись на неприятельские дозоры, бросились вспять. Последний поезд, отошедший от Северного вокзала, захватили немецкие аванпосты. Под началом принца Саксонского армия, шедшая с Мааса, охватила Париж с севера, тогда как III армия наследного принца Пруссии окружала его с юга. Через несколько часов уланы обеих армий соединятся в районе Версаля и весь Париж будет окончательно замкнут в кольцо.

— Танцевать умеешь?

Движением подбородка Марта указывает мне кабачок на краю Шан-де-Полоне, где у подножия башни Сольферино уже вовсю идет бал. Слышен смех, потом корнет-а-пистон в сопровождении скрипок весело заводит «Польку-жемчужину». Нет, танцевать я не умею.

— Тогда смотри!

Она забирается на лафет тяжелого артиллерийского орудия и меня тянет за собой. Здесь, на вершине Монмартра, мы оказываемся в центре треугольника площадью тридцать четыре квадратных километра — в узилище простого люда.

Я обнимаю Марту.

— Скажи, где же тот друг, которого мы должны были повидать?

Марта поднимает на меня глаза — и вот уж не поверил бы: они полны самых настоящих слез.

Заходящее солнце в этот сентябрьский вечер зажигает для нас на черном бархате Парижа два неграненых алмаза.

— Бельвиль, Менильмонтан,— шепчет Марта, и голос у нее тоненький, как у засыпающего ребенка.

Все вокруг затянуто сумерками, может, это не самое красивое, зато самое лучшее — сереющее небо Парижа, старый его сообщник, посылающий столице свой дар.

Звон разбитого стекла и визг какой-то девицы сразу прерывают «Польку-жемчужину».

— Сколько тебе лет, Марта?

— А какое твое собачье дело?

Вторник, 20 сентября.
Ночь.

Вчера днем Париж впервые услышал звук пушечного выстрела.

Марта потащила меня на самый верхний этаж виллы, туда, где мансарды. Из окошка, дающего свет лестничной клетке, можно выбраться на крышу. Ухватившись за трубу, мы напрасно обозревали окрестности. Канонада доносилась откуда-то издалека, совсем издалека. Ни вспышки, ни дымка, одно лишь неотчетливое погромыхивание, оно стихает на мгновение и тотчас же начинается снова. Но не только нам с Мартой пришла в голову мысль посмотреть, что происходит, бельвильцы машут руками, подбадривая детвору, взгромоздившуюся на коньки крыш между улицей Ренар и улицей Ребваль.

Мариаль оглаживает Бижу, а тот вздрагивает, прядет ушами.

— Смотрите, он сразу повернул голову в нужном направлении. Животные всегда такое чуют.

Среда, 21 сентября.

Сегодня меня разбудил не звон Барденова молота о наковальню, а шум голосов и мычание, будто вернулись ярмарочные дни и тупик заполонили сбившиеся в кучу коровы. Я быстро оделся и сбежал вниз.

Мясник, его жена, его дочка, двое подручных и жена Фалля, помогающая им по хозяйству, разместили по одну

сторону арки шесть коровенок, а по другую — пару телков. Поставили их как раз там, откуда меня и старика Бижу безжалостно изгнали.

Моя тетка, жена Чеснокова и сестра Каменского, собравшиеся на работу, остановились, не в силах оторваться от соблазнительной картины, которая рождала в воображении добрый кусок мяса. Все было забыто, даже фабрика на улице Амло, куда им надлежало спешить.

— А я-то рассчитывал, что во время осады хоть чуточку похудею,— острил Пунь, складывая руки на животе, округлом, как аэростат.

Господин Бальфис, мясник, крепкий сорокалетний мужчина — руки, торс поражали своей мощью,— подозвал меня:

— Видел, как ты старательно ходил за лошадью. Если согласен задавать корм моей скотине и убирать навоз, я тебя не обижу, только чтобы все содержать в чистоте. Понял? Теперь у нас на этот счет строгости пошли. Запомни хорошенько новые правила санитарной службы: хлев мыть два раза в день, раз в неделю — дезинфекция... Транспортное ведомство нам выдаст хлористую известь и карболку.

Шиньон в отличие от прочих был недоволен:

— Значит, теперь мне целыми днями коровьими задницами любоваться? С какой это стати их сюда нагнали?

Парикмахер призывает в свидетели столяра и типографщика, мол, из-за стада сейчас к ним ни один поставщик не сможет пробраться.

Но мясник при энергичной поддержке привратницы вместо ответа только размахивал запиской с собственноручным разрешением господина Валькло держать во дворе скотину.

Кто-то хихикнул:

— Значит, вы его видели, нашего благодетеля? Так где же он укрывается?

Другой подхватил:

— Как его здоровьичко? Мы о нем, знаешь, как беспокоимся!.. Сами понимаете, с тех пор как его нет с нами, нам жизнь не в жизнь!

— Странно,— пробормотал типографщик Гифес, запустив свои длинные пальцы в бороду,—а я-то думал, всю скотину велено размещать в Булонском лесу!

Появилась разгневанная Марта:

— Видал ты его, этого сукина сына Бальфиса?

— Почему же он сукин сын?

— Как почему? Достаточно на его ряшку посмотреть, сразу видать, что это за сволочь! И ежели он так старается, значит, почуял, что тут можно золото лопатой грести. А его дочка, эта кривляка Ортанс, чего она из себя корчит? Подумаешь тоже! Кусок сала! Вот уж действительно мясникова дочка!

Ортанс Бальфис — откормленная девица лет шестнадцати, белолицая, рыхлая, голова у нее не держится прямо, а лежит то на левом, то на правом плече, взор затуманенный, задирает нос перед нами, мол, не для меня ваш Бельвиль, я в этой дыре только временно.

— Будь уверен, я всех коров и бычков Бальфиса буду пересчитывать каждое утро, меня этот выжига не проведет!

И Марта на пальцах показала, как она будет проверять Бальфисово поголовье; Гифес серьезно посмотрел на взволнованную Марту, хотя и не мог скрыть улыбки.

Из своей каморки спустился Вормье, с важным видом, как положено человеку в форме национального гвардейца, хотя от гвардейской формы у него только черное кепи с красным кантом и пояс, туго стянутый на новенькой блузе.

Он уже не безработный.

С тех пор как, согласно декрету, нуждающимся национальным гвардейцам выплачивают по тридцать су в день, батальоны Бельвиля, Менильмонтана и Шарона заметно пополнились.

В настоящее время в Дозорном тупике числится пятнадцать военных. В основном это холостяки в возрасте между двадцатью пятью и тридцатью пятью годами — Алексис из типографии Гифеса, Леон из «Пляши Нога», Каменский... Гвардейцы квартируют по домам. Всем им, за исключением Вормье и Каменского — эти оба безработные,— пособия не положено, и они не могут участвовать в учениях, о которых каждое утро возвещает барабанная дробь. В семь часов утра Матирас и Бастико спешат на завод господина Келя, Пливар уже за раскройкой кож у Годийо, Фалль стоит у печи в литейной Фрюшанов, а Кош и Гифес открывают двери своих заведений. Что касается их воинских обязанностей, то они должны выходить на воскресные учения на час-другой и дежурить неподалеку

от тупика вечером или ночью. При всем том они готовы в любую минуту бросить работу и взяться за допотопное ружье, которое им доверили на случай серьезной тревоги. Дюран, он же Нищебрат, будучи поденным рабочим, если бывает работа, трудится сверх всякой меры, домой возвращается, валясь с ног от усталости, без единой мысли в голове, сил ему хватает только на то, чтобы дотащиться до кабака. Если же работы не предвидится, Нищебрат слоняется, не зная, куда себя девать, в поисках теплого уголка, или, как он сам выражается, «где огонек и дымок».

Париж помешался на Национальной гвардии; я имею в виду не только наши нищие кварталы, где ежедневные тридцать су гвардейца что-то действительно значат. Но разве весь Париж не говорит о бароне Ротшильде, что он в полной форме дежурит на укреплениях?

— Хорошо бы послать дежурить вместе с бароном нашего Меде! — воскликнул Шиньон.

— Меде, нищий, пойдет в национальные гвардейцы? — как по команде расхохотались обычные слушатели парикмахера Мари Родюк, Селестина Толстуха и госпожа Фаледони.

— А почему бы Меде не быть национальным гвардейцем? Тридцать су в день никому не помешают!

Марта выпрямилась, руки в боки, и вызывающе посмотрела на обычное сборище кумушек у водоразборного крана — торговку пером и пухом, ее подружку, мастерившую разные украшения из бумаги, на позументщицу и на самую вредную кумушку — Шиньона.

Пятница, 23 сентября.

Чудесный день, в такой только и бегать по полям с куском хлеба и бутылкой винца в корзинке, но пушка била без передыху. Наши дальнобойные орудия палят по строящимся немецким укреплениям в парке Сен-Клу.

Куда девалось прежнее оживление! То ли было, когда мы прибыли из Рони! Еще затемно запевали свою песню молоты и молоточки, и у каждого своя песня: дробная-дробная — у сапожника, чуть с растяжкой, громоподобная — в кузнице. Потом неровный стук копыт и колес — легкие повозки молочников. Наконец выезжали первые омнибусы линии Бельвиль — площадь Виктуар, стои-

мость поездки три су. Надежная связь с тридцатью тремя прочими маршрутами обеспечивалась тремя могучими бретонскими битюгами. Они вышагивают по-прежнему, но омнибусы почти пустые, и вид у них глуповатый, оттого, что вся мостовая предоставлена только в их распоряжение. Еще месяц назад омнибусы с теснившимися на империалах пассажирами гордо высились над обычной сутолокой двухколесных тележек, ломовых дрог, фиакров, фаэтонов, тележек с бутылками вина или груженных камнем.

Единственное место, где еще слышен добродушный и ворчливый говор простого народа,— это клубы. Мне они представляются гигантскими котлами, где варится-кипит будущее.

Вход в бельвильский клуб в зале Фавье стоит всего два су, в клуб Освобождения — десять, в прочих клубах — двадцать пять сантимов, за исключением клуба бланкистов на улице Аррас и знаменитого Двора Чудес, где каждый платит кто сколько может.

Бельвильский клуб помещается в танцевальном зале, стены расписаны клеевой краской, кругом зеркала и люстры.

Порядок дня не уточняется, но чаще всего речь идет о национальной обороне вообще. После выбора президиума председатель сообщает о положении дел и не без удовольствия сопровождает все своими комментариями. На председательском месте сегодня высокий мужчина, настоящий скелет с потухшим взглядом, у него жиденькая короткая бородка, он в форме офицера Национальной гвардии, на что указывают четыре серебряные нашивки на кепи. Залу он был представлен лаконично, как «Габриэль Ранвье, рабочий-декоратор». Гром аплодисментов подтвердил его популярность у бельвильцев.

При выходе из клуба я в толпе столкнулся нос к носу с господином Жюрелем. Я собирался было проводить его немного, но он исчез, кинув только:

— В другой раз, молодой человек, уж извини меня.

— Кто такой?

— Один неплохой дядька, Марта!

— Ты его хорошо знаешь?

— Да так... Встречал раза два-три.

Ночи осажденного Парижа непроглядно темны, не то что в наших полях, и здесь не услышишь ни голоса лисицы, ни совы, ни соловьиную трель.

Суббота, 24 сентября.

Национальные гвардейцы сегодня впервые в Дозорном тупике были подняты по тревоге. Проходя по аллее Фошер, Жюль и Пассалас заметили световые сигналы, как видно предназначавшиеся для пруссаков. Чесноков, Пливар и другие, в мгновение ока схватив ружья и даже не застегнув поясов, без кепи, бросились к подозрительному дому, обнаружили мансарду с мерцавшей свечой и, взлетев по лестнице, ворвались к мадемуазель Орени. Портниха была в ночной рубашке. Она поставила свечу на подоконник, собираясь выйти по нужде. Другой вины за ней не обнаружили. Никогда эта старая дева не сочувствовала республиканцам и вряд ли исправится.

Воскресенье, 25 сентября.

Сегодня праздник господень, пушки молчат. Церкви полны бретонских мобилей. Погода великолепная.

Стали чеканить пятифранковые монеты с изображением Республики. Вряд ли они заведутся у нас в Дозорном. Повозки, на которых развозили с вокзалов багаж, реквизированы для нужд санитарной службы. Муниципалитеты роют колодцы.

Понедельник, 26 сентября.

Только что кончил убирать коровий навоз. Подмел мостовую, вымыл ее, лазая буквально между коровьих ног. Потом задал корму и напоил скотину в тупике, включая, конечно, и Бижу. И так каждое утро... Усевшись на дышло нашей повозки, я смотрел, как работает глухонемой кузнец. Его подружка, Пробочка, с обожженным личиком, играла со своей куклой, взобравшись на балки навеса над кузницей.

Барден мастерил мне вилы для уборки навоза. Он голый по пояс, в деревянных сабо, в грубых тиковых штанах, в кожаном фартуке до щиколоток. Работал глухонемой не торопясь, но ни одно его движение не пропадало даром.

Я стоял и смотрел словно зачарованный, как Барден, наклонялся то к горну, то к наковальне, движения его напоминали ухватки косаря, голова, розовая, яйцевид-

ной формы, уходила в могучие, холмами выступающие плечи, маленькие, кругленькие, очень живые глазки то приковывались на мгновение к железу, накаливаемому на огне, то возвращались к полосе, ожидавшей молота на наковальне, порой взгляд его отрывался от работы, и в нем светилась вся жившая в этом человеке застенчивость и нежность. Я думал: что способен понять такой Барден в клубных разговорах, в демонстрациях, как воспринимает осаду, войну, пруссаков? Как объясняет он себе все нынешние потрясения, со всей их путаницей и неожиданностями? Каков сейчас внутренний мир глухонемого кузнеца? Он наблюдает то же, что и мы, но он одинокий зритель драмы. Для него наша необъятная трагедия только пантомима, объяснение которой он может искать лишь в самом себе. Ведь не его же неразлучной Пробочке быть ему суфлером. Напротив, если верить Марте, девочка постепенно забывает те немногие слова, которые знала раньше и которые не нужны для общения с Барденом. И сейчас она устроилась на балке и что-то напевает без слов.

За моей спиной обычные шумы Бельвиля. Шиньон в компании кумушек обсуждает полет «Нептуна». В ту пятницу летательный аппарат бесстрашного господина Дюруфа поднялся в воздух, имея на борту, кроме него самого, сто двадцать пять килограммов почты, и благополучно приземлился в окрестностях Эвре, так что шел уже серьезный разговор о создании «воздушной почты».

У окна второго этажа «Пляши Нога», где была квартира Пуня, красовался сам почтенный хозяин кабачка, а Леон с улицы бережно принимал из рук Пуня старые матрасы, не слишком надежный заслон от бомб для его питейного заведения. В последних номерах газет сообщаются расстояния главных пунктов столицы от прусских пушек, чей радиус действия всем известен...

Я по-прежнему с увлечением следил за неистовой борьбой железа в союзе с огнем против железа... Теперь голова кузнеца была уже не похожа на розовое яйцо, а казалась древним куском гранита на вершине горы в эпоху неолита, унаследованным нами от наших далеких предков.

Бессмысленный брус металла становился разумным... Вот уже видны зубья, скоро вилы насадят на прочную ясеневую рукоятку.

Кузнец вовсе не дикарь какой-нибудь, совсем наоборот, он владеет самым древним и самым тонким искусством нашей цивилизации, он умелец... Интересно, научился ли он ремеслу до того, как стал глухонемым? Впрочем, если хорошенько вдуматься, то и все прочие обитатели нашего тупика для меня натуры не менее загадочные, даже самые близкие, которых я свободно могу расспрашивать. Они с удивлением слушают мои даже самые, казалось бы, простые вопросы, явно считая их дурацкими.

— Скажи-ка, Пружинный Чуб, каков твой идеал?

— Что? Что ты сказал? Идив...

— Ну, что ты видишь в своих мечтах?

— Это ты про сны, что ли? Проснусь — и ничего не помню.

— Да ты послушай, ну что ты хотел бы иметь в жизни?

— Я-то? Хочу всегда, каждый раз, когда голоден, брюхо хорошенько набить да выпить вволю. Как по воскресеньям жрут. Вот как те, с улицы Мишель.

— А еще чего-нибудь? Ну, скажем, чего-нибудь получше?

— Ясно, по праздникам побаловаться малость не откажусь.

— Ты это о чем?

— Не соображаешь, что ли?

Обеими руками он очертил в воздухе формы роскошного женского тела во вкусе Рубенса.

— А как же любовь?

— Это жениться, что ли? Мне, милок, торопиться некуда, успею еще тыщу раз.

— Нет, не обязательно жениться, просто любить до безумия, обожать девушку...

— Это как в песнях поется, что ли? Песни-то я любить люблю, но только в башке слова никак не держатся.

Высокие мечты в нашем тупике реют довольно-таки низковато. Любой из наших, кого ни возьми — Бастико, Матирас, Нищебрат, Вормье, Пливар,— когда у них затуманится взор, а голос зазвучит томно, приступают, глубоко вздохнув, к одной из любимых своих тем: напиться, нажраться, спать с бабой. Похоже даже, что все прочее — только фокусы или же выдумки писак. Когда революционеры в клубах воспевают, наряду с будущим

рабочего класса прогресс цивилизации, счастье Человечества, наши из Бельвиля наверняка понимают это только так: напиться, нажраться, спать с бабой.

Во всем этом легко, даже, пожалуй, приятно понежиться, как в ванне, и одна из главных причин, по какой я цепляюсь за свой дневник,— это желание ускользнуть от заразы отупения.

Даже с Мартой мои философские изыскания длились недолго. Ее идеал?

— Спать на простынях.

— И все?

— Да погоди ты! Каждый день. И на чистых.

— А любовь, Марта?

— Чего-чего?

— Ну, скажем, какой должен быть мужчина, с которым ты хотела бы связать свою жизнь?

— Пусть не пьет.

— То есть как это?

— Пусть бывает под хмельком только раз в неделю. Ну и, конечно, по праздникам.

— И все?

— А чего тебе еще надо?

— Ну а если он тебя бить будет?

— Это уж зависит за что бить.

Дни мои заполнены разнообразными, часто нелепыми делами, о существовании коих я и не подозревал еще полтора месяца назад, да и сейчас их подспудный смысл, их реальная ценность порой мне просто непонятны. Нас кружит не доступный глазу необоримый поток, мы стараемся приукрасить его отвратительными неологизмами — только на то нашего лексикона и хватает. Мы глухие, немые, слепые игрушки неведомых сил.

Барден отрывается от работы лишь затем, чтобы послать улыбку наверх, Пробочке, которая мурлычет себе мотивчик, а слова знают только они двое. Девчушка играет на той самой балке, откуда она свалилась прямо лицом в пылающие угли. Правда, теперь над горном приделана металлическая сетка.

Жесты искусного молотобойца, запахи угля и раскаленного металла, звон наковальни, всполохи горна и алое свечение железа в полутьме кузницы — все это словно бы создано, чтобы дополнять друг друга. Именно в этой их объединенности — какое-то древнее нерушимое спо-

койствие. Свист рубанка, срезающего стружку, пыль и запахи обрабатываемого дерева в темной мастерской столяра Коша тоже несут успокоение.

Кузня да столярная мастерская — единственные на весь этот нищий Бельвиль лоскутья вечности. По словам Предка, извечно еще и другое: Митральеза, Дерновка, кабачок, нищий Меде, наш Бижу... Но дядюшка Бенуа повсюду видит нечто исконное: это свойственно его возрасту. Но ни шлюхи, ни вино не способны так умерить мою тоску, как вот это зрелище: Кош или Барден за работой.

Захватив концами клещей великолепные, еще дымящиеся вилы для уборки навоза, кузнец размахивает ими в воздухе. Любуется ими с минуту. Пробочка прервала свое мурлыканье. Человек создал орудие. Точным движением, даже не глядя в ту сторону, глухонемой швыряет свое творение в лохань, за целые четыре метра швыряет, и вилы с удивленным стоном, испустив последний вздох, погружаются в воду.

Оказывается, рядом со мной Марта. Давно ли? Сколько я ни напрягаюсь, ни разу мне не удалось подстеречь ни ее появления, ни ее ухода.

— Флоран, двух коров и теленка не хватает.

И тут же тянет меня за рукав.

— Ты куда?

— К мэрии, будем ругаться, чтобы Национальной гвардии обувку выдали.

Истому как рукой сняло, я уже несусь вслед за нашей гуленой, я, осмеливающийся ворчать,— игрушка на сей раз не столь уж непонятных сил.

Два, а может, и три батальона с офицерами и барабанщиками во главе стоят в строю, все босоногие, засучив штанины и растопырив пальцы веером; хорошенькие, розовые, как лепестки цветка, и уродливые, грязные, заскорузлые ступни, приплясывающие на месте под окнами мэра,— ради такого зрелища не жаль покинуть насиженное местечко. Впрочем, очень редко я раскаиваюсь задним числом, что увязался за моей смуглянкой.

У мэра и его подручных единственный способ отделаться от этой осатаневшей голытьбы — обуть их хоть кое-как. До позднего вечера национальные гвардейцы бродят, прыгая на одной ноге от двери к двери, в надежде найти ботинки под пару.

Среда, 28 сентября.
Утро.

Дозорный тупик не намерен терять своего боевого обличья.

Нищебрат и Вормье ходят взад и вперед в полной военной форме. Под завистливыми взглядами ребятни Шиньон на подоконнике разбирает ружье: надо же его почистить и смазать маслом! А Пунь повесил свое на стену в зальце «Пляши Нога». Впрочем, во всех квартирах оружие висит на самом почетном месте. Мелюзга, проглотив наспех ложку супа, замирает в восторженном любовании и столь же восторженно глазеет на главу семьи; мужчинам не надоедает на ходу поласкать ладонью свое ружьецо, а сколько идет разговоров о том, какой прием сподручнее для стрельбы! Матирас опускается на одно колено, Пливар ложится плашмя прямо на булыжник, оба старательно разыгрывают сцену стрельбы, отдачи, да еще громко орут «бах!». К стене у входа в трактир прибиты «Правила обращения с ружьем».

Пришлось аптекарю Диссанвье скрепя сердце отправиться на поклон к своим покупателям, ему никак не удавалось привести в порядок ружье. Напрасно он держал совет со своим дружком мясником Бальфисом. Тот тоже ничего в таких делах не смыслил. Особенно унижало нашего аптекаря, что ему, человеку с дипломом фармацевта, надо разбирать свое ружьишко перед громко ржущими Бастико и Нищебратом, учиться у них. Ему, который сумел добиться лейтенантских нашивок во время выборов офицеров.

В тот самый вечер, когда Вормье получил свое ружье, он решил попробовать его и пальнул из окна мансарды. Целил он в воробья, сидевшего на суку каштана у кузни, а вырвал несколько кирпичей из трубы на улице Клавель, что, впрочем, доказывало дальнобойность старенького ружьеца.

Наш Дозорный тупик всегда начеку. Порой достаточно сущего пустяка — и сразу помещения пустеют от чердаков до подвалов и жители вываливают на улицу. Это значит, обнаружилось какое-нибудь незнакомое лицо и в пришельце уже видят не просто прусского шпиона, а настоящего заговорщика, врага Республики. Всеобщая подозрительность подогревается еще чтением бумаг, обнаружен-

ных в Тюильри,— газеты публикуют их выпусками. Чего только не узнал народ из переписки членов императорской фамилии: оказывается, Мексиканская экспедиция, «эта величайшая идея царствования», была просто-напросто грязной сделкой между банкиром Жекером и министрами. Но главная сенсация — это разоблачение довольно-таки смрадной деятельности «черного кабинета», существование коего десятки раз отрицалось людьми, стоящими у власти. Оказывается, каждая статья, каждое перо в официальных газетах оплачивались по особому тарифу! Бельвиль с нетерпением ждет публикации длиннейшего списка журналистов и писателей на жалованье. Все продажно в этой Империи, начиная с самых важных судейских чинов. На основании обвинений, содержащихся в документах из дворцового архива, перед кассационным судом предстал высший чиновник высшего судебного ведомства Франции некий господин Девьенн. В качестве посредника он помог выпутаться из неприятностей Наполеону III, когда забеременела Маргарита Белланже, одна из любовниц императора. Обнаруженные документы доказывали, что «дело бомбометателей», разбиравшееся в Блуа в июле этого года, полностью сфабриковано тайной полицией. Арестовали и беспощадного господина Бернье, следователя. Но «главным украшением» этого болота оказался взяточник Жюль Балло, снабжавший заговорщиков деньгами, — обычный полицейский агент, готовый служить всем и каждому, любому правительству. После провозглашения Республики матерый шпик Жюль Балло сумел устроиться так, что его выбрали командиром батальона. А Трошю платил ему за то, что тот выдавал «вожаков непримиримых партий». Голова Гюстава Флуранса была оценена в триста тысяч франков!

Поэтому-то Бельвиль так пристально и разглядывает каждое новое лицо, и было бы весьма и весьма неосторожно, находясь в Дозорном тупике, задать первому попавшемуся зеваке такой, скажем, вопрос: «Флуранса не видел?»...

А раз весь квартал начеку, люди сразу же высыпают на улицу. Таким образом, во вторник нам удалось отстоять от огня жизненно необходимые запасы в условиях осадного положения. Загорелись бочки с маслом, сложенные в огромном количестве штабелями около Бютт-Шомона и больше чем наполовину прикрытые землей. Слу-

чилось это в обеденный перерыв. В мгновение ока весь Бельвиль был уже на месте происшествия. Наполненные землей ведра споро переходили из рук в руки, и пожар был потушен. Когда префект полиции и мэр города Парижа прибыли на пожарище, огонь уже почти сбили... «И они застыли в восхищении перед лицом народа, действовавшего как хозяин!» Именно в этих выражениях Этьен Араго, мэр Парижа, поздравил Бельвиль в своей прокламации. Такого еще не было! Перед Бельвилем сняли шляпу, да не просто шляпу — цилиндр.

Ночь с воскресенья 2 октября на понедельник 3-го. Форт Рони.

Две-три вспышки справа, со стороны Вилль-Эврара, одна-две слева, в направлении Вильмомбля, и сразу же сухой треск залпов. А спустя нескончаемо долгое мгновение разрыв нескольких снарядов. Падают они от нас довольно далеко, где-то возле Лондо, возле замка Монтро. Но под ногами у нас дрожит земля.

Вот она война, настоящая. Надо было вернуться сюда, в родное гнездо, чтобы увидеть ее воочию.

Час спустя.

Писал, положив дневник на колени, при тусклом свете бивуачных огней. Капитан второго ранга, комендант форта, подошел ко мне, видимо заинтригованный, а может, заподозрил недоброе. И тогда я рассказал ему свою историю: и о том, как я вернулся сюда, и о своем дневнике. Он любезно предложил мне присесть к столику, вернее, просто к доске, на которой он разложил под фонарем листы с артиллерийскими расчетами. Так что я расположился со всеми удобствами. Но пожалуй, следовало бы объяснить, почему я оказался здесь.

* * *

Взвод, сформированный из мужчин нашего тупика, должен был впервые занять сторожевой пост на парижских укреплениях. Обычно 141-му батальону положено собираться на Гран-Рю в сотне шагов от Дозорного, перед домом № 53, где и размещалась 27-я секция. Отсюда сводные роты с музыкантами во главе направляются на свои позиции. Гифес — он теперь, после выборов офицеров,

щеголяет в нашивках младшего лейтенанта — добился, в обход правил, разрешения от командира батальона Ранвье добираться до места назначения прямо из тупика и своими собственными средствами. Почему? Полагаю, что владелец типографии просто хотел сделать приятное своим людям, теснее сплотить эту большую семью, в чем она подчас здорово нуждалась.

Этим по-осеннему свежим и чистым утром наше воинство двинулось в путь так, словно собралось на загородную прогулку. Жены решили сопровождать мужей, принарядились и, так как нам предстояло пробыть на посту до вечера, захватили с собой съестное. Ноэми Матирас состряпала рагу из зайца, Элоиза Бастико зажарила курицу, Бландина Пливар — бараньи ножки. Словом, буквально творили чудеса, с беспечностью отчаяния потратив все до последнего гроша, чтобы купить мяса, которое в последние дни почти совсем исчезло с прилавков, да и цены на него заламывали просто неслыханные. Но ведь жены-то провожали своих мужей на войну, и может статься, в последний раз они обедали в семейном кругу.

К всеобщему изумлению, Пунь расщедрился и пожертвовал бочонок кларета. Не отставать же было и мне — я запряг Бижу.

Погрузка происходила под умиленными взглядами женщин, остававшихся дома,— Клеманс Фалль из-за больных ребятишек, а Фелиси Фаледони с моей мамой нужно было срочно сдавать заказанные позументы и аграмант. Сидони, супруга Нищебрата, осталась из-за тяжелой беременности, Терезе Пунь муж поручил управляться в его отсутствие с кабачком; Мокрица — понятно почему, Дерновка и Митральеза — из-за своеобразного чувства патриотической стыдливости, а Камилла Вормье, тоже шлюха, но не официальная, как те две, не пожелала позорить мундир мужа.

Тетка украсила плющом повозку, а из окна, покуривая трубочку, смотрел на нас с улыбкой Предок, держа мою крошечную двоюродную сестренку на руках. Наш акробат Пружинный Чуб отцепил красное знамя от статуи Непорочного Зачатья, и оно билось теперь над оглоблями. А за крупом Бижу кто-то пристроил надпись: «Дозорный тупик Бельвиля».

Шествие замыкали собаки. Славный Пато увязался за своим старым дружком Бижу, Буль из «Пляши Нога» —

за капралом Пунем, Негро — за своим хозяином цирюльником; Руссен бежал за Негро, Филис — за Руссеном, не обращая внимания на крики своей хозяйки Мокрицы, которая во все горло звала ее обратно, придерживая за ошейник Клерона, рвавшегося за всей честной компанией. Откуда-то взялись даже четыре кота, они с минуту трусили за псами, а потом со злобным мяуканьем исчезли во дворе красильни, что на углу улицы Пиа.

Сначала наш кортеж двигался в полном молчании. И национальные гвардейцы, и женщины, и дети, словом, все и каждый не могли отделаться от каких-то непонятных угрызений совести, покидая свой тупик. Только радушный прием Бельвиля подбодрил их. Зеваки, покупатели, теснившиеся перед лавчонками, коммерсанты выбегали на пороги домов. Из открывавшихся окон неслись крики приветствия. На углу улицы Пуэбла, перед воротами конюшен, амбаров, складов, перед кузницей Гратьена, где сдавались внаем кареты, толпились ломовики и возчики. Оттуда тоже доносились приветственные возгласы в честь наших гвардейцев и залп соленых словечек в адрес их супружниц.

Тупик, окончательно повеселевший, начал и сам отвечать остротой на остроту. Мы замедлили шаг перед зданием мэрии XX округа, чтобы почтить Республику. Когда мы добрались до бельвильского кладбища, наш тупик встретила восторженными криками толпа нестроевых канониров, вышедших из Артиллерийского управления на улице Аксо.

Мы уже подходили к Роменвильской заставе, как вдруг смерч алых всадников, промчавшись по бульвару Мортье, осадил лошадей перед головой нашего кортежа.

— Привет Дозорному!

Это был Флуранс со своими гарибальдийцами. Разгладив кончиком указательного пальца шелковистые усы, наш отважный мятежник рассмеялся детским смехом. Потом бросил по-итальянски какую-то шутку своим адъютантам Чиприани и Леонарди, отчего прыснула вся его свита, в том числе и наш Пальятти.

— Гражданин лейтенант, надеюсь, ты в курсе дела насчет ближайшей среды?

— Да, гражданин,— ответил Гифес.

— И... и ты согласен? — настаивал Флуранс.

— Конечно.

— Значит, я рассчитываю на всех вас! — заключил Флуранс и на прощанье взмахнул своей украшенной перьями шляпой, обводя взглядом нашу команду. Тут он узнал меня.— Эй, малый! Обними за Флуранса дядюшку Бенуа.

Как раз в эту минуту раззвонились колокола на церкви Иоанна Крестителя, и перезвон их был встречен смехом и улюлюканьем.

Кавалеристы повернули коней и ускакали галопом.

— Этот Флуранс вечно носится как оголтелый, будто ему зад припекает,— сердито буркнула Марта.

Два часа утра.

Вернулся к бивуачному костру, вместо пюпитра — собственное колено. Капитан второго ранга снова взялся за свои линейки, карандаши и карту. Готовится к обстрелу.

Сразу же за бойницами — стена мрака. Осенние звезды уже исчезли. Только несколько звездочек тускло мерцают вдалеке, словно бы спустились к самой линии горизонта, да и то это вовсе не небесные светила, а огни немецких бивуаков. Пушки замолкли. Тишина, нагоняющая тоску, гораздо страшнее, чем недавние грохот, взрывы. Тишина-то и разбудила Марту, и она с зевком: «Чую, будет заваруха»,— остреньким кончиком языка облизывает губы, встает, идет к укреплениям и стоит там, опираясь о стену локтями.

До рассвета еще далеко. Морячок подправляет поленья, а те вываливаются из костра. Его товарищи, спящие вокруг огня, просыпаются. Слышится сердитое ворчанье. Потом закутанные в одеяла фигуры яростно поворачиваются на другой бок, и снова раздается храп.

Дежурный по батарее примостился на оси орудия. Обхватив одной рукой ствол пушки, прижавшись щекой к холодному металлу, словно слившийся со своим орудием, он всматривается в мутную мглу, мурлыча себе под нос песенку, где говорится, что, мол, на мысе Горн

> Ужасно плохая охота
> На злобного кашалота...

Голос совсем мальчишеский, но певец заходится, как плакальщица на похоронах. От его пения мгла становится гуще и тишина еще весомее.

Но возвращаюсь к нашему кортежу...

* * *

Национальным гвардейцам Дозорного досталась часть укреплений на полпути между заставой Роменвиль и потерной Прэ-Сен-Жерве. Длиной примерно метров триста, а каменный эскарп был метров десять высотой. Добрались мы до нашего поста не без труда. Пришлось продираться сквозь густую толпу гуляющих и любопытствующих. Кого там только не было: и модницы с омбрельками, прикатившие в каретах, и буржуа, и щеголи, прибывшие сюда с семьями и друзьями, громко болтающие, поигрывающие лорнетами.

Дозорный тупик имел довольно сомнительный успех.

«Карнавал в поход собрался!» — дерзкого крикуна, на его счастье, не нашли. Разносчики предлагали нам кастеты, трости с вложенной туда шпагой, ремни для ружей, красные лампасы — если приметать их на живую нитку, из самых вульгарных штанов получаются военные панталоны Национальной гвардии. Какой-то говорливый мальчишка расхваливал свой товар — сатирические эстампы, нанизанные на бельевую веревку:

— Налетайте, за два су — «Птичка Бисмарка», «Баденге, почисть мне сапоги», «Дядюшка и племянничек» или «Подожди-ка чуточку, шалопай!»

Солдатам регулярных войск приходилось прикладами прокладывать путь своим офицерам и инженерам среди толпы, запрудившей улицу, идущую вдоль укреплений.

По требованию командира сменявшейся части лейтенант Гифес подтвердил, что все предметы, занесенные в инвентарную книгу, имеются в наличии и находятся в целости и сохранности. Наряд первыми получили Кош и Ферье — они охраняют пороховой склад, куда имеют доступ лишь офицеры и орудийная прислуга, одетые по всей форме. Курить поблизости от склада запрещается, лошадей кавалеристы обязаны переводить на шаг.

Матирас и Бастико, Фалль и Чесноков заняли свои посты на укреплениях, а жены их тем временем развели костры, чтобы разогреть содержимое мисок и котелков. Расположились они здесь как у себя дома, и от их простонародных словечек не одна светская красотка в испуге бросалась прочь.

Какой-то аристократишка с обширными седыми бакен-

бардами и ленточкой Почетного легиона в петлице пробормотал как раз у меня за спиной:

— Хотелось собственными глазами удостовериться. Сомнений нет — именно сброд решили вооружить!

На что откликнулся какой-то студент:

— Наконец-то у нас настоящая народная армия—мужчины впереди, при пушках, а женщины и ребятишки позади.

И как раз светские красотки и аристократишки, выехавшие в праздничных туалетах погулять в воскресенье за город, никак не вписывались в пейзаж, зато мы, рассевшиеся прямо на земле между фонарным столбом и батареей, словно труппа бродячих акробатов, уплетавшие за обе щеки привезенные из дому припасы, весьма подходили к окружающей декорации — к этому нагромождению габионов и фашин, а на откосе над нашими головами у пушек, выставивших свои жерла из амбразур, несли караул бельвильские волонтеры.

Итак, везде, хотя обстоятельства и место действия, как выражается Предок, могут быть самыми необычными, но все так же встают друг против друга два мира — праздные и труженики, щеголи и оборванцы, богачи и бедняки, причем первые прохаживались вдоль нашего кочевья, принюхивались к запаху нашей похлебки, с преувеличенным вниманием взирая на эти невиданные существа, обгладывающие кости, сидевшие на голой земле; смотрели они на нас, словно посетители зоологического сада или дамы-благотворительницы, явившиеся в дом призрения для нищих. И сколько раз им приходилось пугливо пятиться от какого-нибудь словца, от какого-нибудь слишком вольного жеста Марты или Трусеттки! Двое, может быть, и трое довезли до дому на своих кружевных жабо брызги нашей нищенской похлебки.

Перед укреплениями между столбом семафора и сложенными под навесом зарядными картузами угрюмо расхаживают Матирас и Бастико с ружьем на плече. Пройдут в одну сторону тридцать шагов, потом в другую и все время мрачно переругиваются. Со вчерашнего дня оба лишились работы... Завод «Кель и К°» полностью перешел на отливку пушек. Значит, медники там не требуются. Оба, и Матирас и Бастико, попали в категорию получающих тридцать су. Рыжий Матирас не склонен превращать это событие в трагедию и старается образумить своего то-

варища, подмаргивая чуть ли не на каждом слове левым глазом — это подмаргивание вошло у него в привычку и, как ему самому кажется, придает больше убедительности речам. Стоит ли зря расстраиваться... Но гигант Бастико не баба и не по-бабьи смотрит на свое увольнение. У него, этого грубияна, как говорится, золотые руки... Для него ремесло — это нечто само собой разумеющееся. И чего он, в сущности, добивается? Только трудиться до седьмого пота, и работа у него не переводилась, как у мужчин борода сама по себе растет. Он даже и мысли не мог допустить, что в один прекрасный день останется без работы. Пристальный взгляд близко посаженных маленьких глазок и нервическое подрагивание сжатых губ придают его физиономии нестерпимо страдальческое выражение. Он похож на обиженного ребенка. Если уж у медника нет работенки, значит, земля разверзлась и небо обрушилось.

После плотной трапезы в харчевне на улице Аксо Дисcанвье-аптекарь и Бальфис-мясник, первый — позеленевший, второй — побагровевший, сменяют Коша и Феррье у порохового склада. А Вормье, Нищебрат, Шиньон и Пливар сменяют караул у укреплений.

Оба медника, гравер, столяр, литейщик от Фрюшанов и рабочий с боен присаживаются вокруг котелков прямо на скошенной травке на пустыре. Рагу из зайца благоухает. Бочонок, пожертвованный Пунем, открыт. Наступил священнейший час трудовых будней!

Четыре часа утра.

Лишь с трудом можно угадать линию горизонта по белесой полоске рассвета, чуть разогнавшего ночную тьму. Марта спит. Знакомый аромат, аромат кофе вдруг напомнил мне, что оказалось достаточно всего полутора месяцев, чтобы Рони отступило куда-то в глубь веков.

Капитан второго ранга пришел за мной. В желтоватом свете фонаря он показал мне сначала на карту, потом на горизонт, вернее, на эту туманную белесость:

— А теперь-то вы сможете ориентироваться?

С закрытыми глазами!

Каждому пункту мрака я даю имя: вот Вильмомбль, вот Нейи...

— Благодарю вас. Я ведь в крепости только со вчерашнего дня. До того дела, в пятницу, был в Иври.

— До битвы в Шуази? Тяжело пришлось?
— Просто бойня, и главное — все напрасно.

Битва при Шуази — самая серьезная с начала осады. Артиллерия, пехота, мобили — все шли в атаку, стиснув зубы. Шли с яростью в сердце. Прорвали линию неприятеля. Пруссаки отступили до самого Шуази-ле-Руа, их ключевой позиции, ибо это обеспечивало связь между генеральным штабом пруссаков, расположенным в Версале, и дорогой на Германию, но и для нас эта позиция тоже была стратегически крайне важной: взять Шуази — означало открыть путь частям подкрепления, формировавшимся в провинции. Казалось, достаточно одного щелчка... Но не тут-то было! Отступление, откат на исходные позиции, причем нас по пятам преследовали оправившиеся от удара пруссаки.

Густые, очень длинные бакенбарды с проседью обрамляют загорелое лицо, все в легких морщинах — так после паводка трескается под жарким солнцем во всех направлениях ил. Лицо не офицера, а, скорее, простого матроса. Родом он из Пэмполя, а звать его Ле Ганнидек.
— Когда вы заметили, что я что-то пишу, вы подумали, будто я шпион, правда, да?
— Прусский генеральный штаб еще в шестьдесят седьмом году осматривал во время выставки наши укрепления. За месяц до осады наши газеты помещали подробные карты, причем очень точные. Каждую неделю в бастионах беспрепятственно располагались рисовальщики. Их кроки, печатавшиеся в газетах, в Версале рассматривали в лупу.
Капитан Ле Ганнидек снова углубляется в свои артиллерийские расчеты, а его моряки пьют кофе.

* * *

Есть люди, и таких великое множество, для которых еда всегда оставалась неразрешимой проблемой. Для них просто поесть — удовольствие, а уж поесть как следует — праздник.
Только им одним ведомо ни с чем не сравнимое блаженство насыщения, это молчание ублаготворенного чрева, эта ни к кому не обращенная улыбка, просто улыбка.
Бастико забывал о безработице, Фалль — о своих больных детишках, Пливар о бесчестье, нанесенном ему

Бландиной, а Бландина забывала, что Пливар по ее милости носит рога.

Вдруг возле Бижу остановился какой-то всадник.

— Чья повозка?

— Моя.

— Я ее реквизирую.

Сказал это артиллерийский лейтенант, сидевший на могучем гнедом жеребце. У одной из его повозок только что сломалась ось. А ему надо доставить в форт Рони снаряды.

— Мой коняга без меня с места не тронется.

— Ну что же... поедешь с нами.

— И без меня тоже! — крикнула Марта.

В мгновение ока нагрузили доверху повозку зарядными картузами и — но-о, поехали...

— Бижу, трогай!

Мы проехали сначала через подъемный мост, потом мимо различных заграждений гласиса и наконец выбрались в поля.

С первого же километра Марта преобразилась: глаза круглые, рот открыт, вся даже дрожит от восторга, лезет ко мне с вопросами да еще кулаком в бок тычет, объясняй ей, что это за «яма», когда это просто ложбина, что это за «холм», когда это склон Монтро, что это за «шашечница», когда это всего-навсего небольшие огородики, разбитые на косогоре; все ее восхищало, любой запах, даже запах палой листвы, любой цвет, даже цвет жнива, любая птица — сойка ли, зеленый ли дятел, разгуливающий по стволу,— любой шорох, шелест ветра в листве... Она то и дело спрыгивала с повозки, срывала какую-нибудь травинку, листик, жевала их, требовала, чтобы я тоже жевал, расспрашивала. Дышала всей грудью, медленно.

Иногда она вскрикивала и бросалась мне на шею, оказывается, она никогда и не знала, что небо сходится с землей. Сейчас ей и четырнадцати не было. И вдруг со слезами в голосе:

— Пускай говорят что хотят, Флоран, только Монмартр совсем не настоящая деревня!

Уже позже она мне призналась, что ни разу не выходила за линию парижских укреплений. Для Марты осада длилась всю ее коротенькую жизнь.

Ясно, с таким грузом старикан Бижу не мог поспеть

за идущими рысью артиллерийскими упряжками и поотстал, оно и к лучшему, так как и прислуга, сидевшая на последнем зарядном ящике, уже начала любопытствовать, приглядываться к прыжкам и ужимкам нашей бельвильской смуглянки.

Итак, мы остались одни в сумерках, и тогда я решил сделать крюк и свернул на развилку Гранд-Пелуз.

Немного же уцелело от нашего дома. Я говорю «нашего». Конечно, законный его владелец — небезызвестный господин Валькло. Но что для него наш дом? Выгодное вложение капитала, вроде акций, что ли, машин, ну, вроде свиньи на откорме! А для нас... На пепелище я обнаружил обгоревшую скамью, служившую мне сначала боевым конем, потом каравеллой, а позднее локомотивом. А вот на уцелевшем куске стены знакомая трещина: ее извилистые очертания напоминали мне то диплодока, то варварский лик Атиллы. В пепле я нашарил железный крюк; когда мне было лет десять, я раскроил себе об него ногу, прыгая с крыши сарая. *(Рубец виден до сих пор.)* **(И даже до сих!)** От старых дверей сарая уцелел свалившийся в крапиву наличник, на котором я вырезал фригийский колпак новеньким ножичком, вырезал с тем неистовым энтузиазмом, который заронил в меня Предок, тогда как раз вернувшийся из Лондона. Я хотел было взять наличник, но заметил на нем кровавое пятно. Очевидно, об него разбилась птичка, обезумевшая от канонады, пожара и злобы людской.

Пруссаки тогда еще не вступили на Аврон. Для дела разрушения вполне хватало и французской армии, и она поработала здесь на славу.

Не в силах сдержать волнения, я все пытался что-то втолковать Марте, показывал ей скамью, крючок, трещину, окровавленный кусок старого наличника, но она не слушала. Все это было для нее только старым железом, камнями, пеплом. Дома, даже убитые снарядами, не трогают сердца девиц, выросших в парижских предместьях. Поэтому я страдал в одиночку, что-то говорил (должно быть, вслух), метался во все стороны, обезумев, как та белая птица, которую притягивает лесной пожар.

Я подобрал остатки нашего урожая — схватил с грядки кочан капусты, яблоко в саду... Видно, у тех, кто жжет, разрушает, волчий аппетит!

Марта ждала меня у порога, она лежала ничком на травке, погрузив руки до локтя в ручеек, вслушиваясь в шум воды, вдыхая запах мяты, наслаждаясь свежестью, чистотой, которую она черпала полными пригоршнями, впитывала всей кожей. Вскочив на ноги, она схватила меня за запястья, развела мои руки и ласково сказала:

— Капуста-то гнилая, а яблоко-то червивое.

Шесть часов утра.

Рассвет заявил о себе внезапной сыростью и холодом. Марту снова сморил сон. Квартирмейстер с физиономией, распухшей от неумеренных возлияний, внезапно обнаружил у габиона это крепкое и в то же время такое хрупкое тело: Марта спала, скрестив на груди руки, положив голову на мешок с землей. Он скинул с себя куртку и, поймав глазами мой одобряющий взгляд, осторожно прикрыл тяжелой курткой нашу бельвильскую простушку и подошел ко мне.

— Кружечку кофе?

— Спасибо, я уже пил.

— Кофе невредно и повторить.

Говорит он по-простонародному. Сам из Тулона, звать Пеластром.

Устроившись на оси орудия, обняв рукой ствол пушки, моряк затягивает:

В трюме табак перевозят...

Однако этот моряк, видать, бывалый. Неудобная поза для него привычна, а песня их, матросская.

Водку вливают в глотку.
О-ля, о-ля, хо-хо!

Голос у него совсем молодой, и грустный напев звучит от этого еще более уныло.

— Сестренка, что ли? — спрашивает квартирмейстер Пеластр.

— Нет.

— Тогда поздравляю.

Капитан Ле Ганнидек счел необходимым предупредить меня:

— На заре открываем огонь.

— Грохота я не боюсь.

— Оно верно, но крупповские тоже будут стрелять.

Словом, решать должны мы сами. Я посоветовался с Мартой: уезжать нам? Она только плечами пожала:

— Разбуди меня, когда начнется.

— Сама проснешься!

Но она уже снова погрузилась в глубокий сон, уткнувшись в мешок с землей.

А я травить умею трос,
О-ля-ля, хо-хо!
Так значит, я уже матрос...

Серенькая, с бледными прожилками Аврора-охотница потихоньку высвечивает силуэт огромного сказочного зверя. Присевшего на задние лапы, вытянувшегося на передних, со смехотворно длинной шеей, переходящей прямо в клюв, чудище из чудищ. Мой диплодок, причудливо прочерченный трещиной по потолку.

Это одно из двух сотен морских орудий, заряжающихся с казенной части, их стянули сюда из всех портов с целью усилить артиллерию столицы. Моряки окружают их трогательной заботой; проходит кто-нибудь мимо такого чудовища и непременно, сам даже того не замечая, на ходу похлопает его ладонью. Эту пушку они окрестили «Покров», а между собой величают «Богоматерь»...

Выставив вперед ствол, осев на лафет, «Покров» стоит в укрытии за высокой насыпью, укрепленной плетеными решетками, а сверху еще уложены мешки с землей.

Капитан Ле Ганнидек взбирается на эту насыпь по вырубленной в стене лестнице. Он раскрывает подзорную трубу, вглядывается в горизонт. Прежде чем спуститься, бегло осматривает форт Нуази слева, и форт Ножан справа.

Ночью я нарисовал ему точную панораму местности, и, проходя мимо, он бросает мне слова благодарности.

Самые неприятные минуты рассвета позади, воздух уже не такой резкий, не такой влажный. Порывы восточного ветра подхватывают с насыпи пригоршни сухой земли, закручивают ее в длинные змейки пыли и обрушивают эту пыль на орудийную площадку в центре нашего редута. Унтер-офицеры вскрывают зарядные ящики. Какой-то морячок из чистой вежливости бросает мне на ходу:

— Если они при таком ветре пустят воздушный шар, вся почта прямым путем в Ньюфаундленд попадет!

И, не слушая ответа, лезет на насыпь, держа под мышкой связку сигнальных флажков.

Проснувшись Марта кидается мне на шею. Впервые я почувствовал, какая она, в сущности, маленькая.

Вчерашнее открытие деревенских просторов совсем сморило мою городскую мышку. И она спала мертвым сном. Проснувшись, она приоткрывала то один, то другой глаз, бросая вокруг испуганные взгляды, которые неизменно натыкались на стены укреплений, и Марта видела себя в новом для нее мире, более того — в мире, противоположном ее привычному: одно только небо и земля, а в этом гнезде на вершине холма одни только мужчины, военная косточка, моряки!

Стоит прелестное раннее утро осени, когда воздух наполнен птицами, и каждую птичку я знаю лично, потому что это наша осень, в нашем Рони, где так славно встать пораньше и следить, задрав голову, за бегом туч, разодранных ветром, несущихся в сумасшедшем полете к новым землям, словно они обезумели от открывающегося им сверху зрелища.

Капитан резко взмахивает рукой.

Рванулась вперед подземная река, вселенная одним прыжком наверстывает свои полсекунды. Разрыву снаряда на горизонте отвечает грохот залпов, конечный взрыв перекликается с начальным. Пушка «Богоматерь» вглядывается в свое чудовищно огромное жерло, отраженное в огненном зеркале, которое она сама же водрузила там, за многие километры отсюда.

Капитан воздевает руку к небу. Когда через секунду он ее опустит, когда, будто сверзившись с облаков, кулак упадет на край стола, рухнут, дымясь, еще несколько ветхих домишек, улетучится дымом крохотная серенькая деревушка в Иль-де-Франс.

Марта отпустила мою шею, но не выпускает из своих рук моей руки, словно хочет потащить меня за собой. Действительно, она тащит меня к пушке.

И впрямь эта пушка была подобна великолепному жеребцу, который, подобрав круп, вот-вот издаст трубное ржание, чуть что не встает в неудержимом порыве на дыбы и отпрядывает назад.

Хотелось бы увидеть здесь Предка. Конечно, мечты о будущем зачастую кончаются просто кабацкой болтовней, но, дядюшка Бенуа, существуют же на свете пушки!

Мечта, переплавленная в бронзу, становится явью.

Голос и запах пороха, вздыбь, рывки стального ры-

сака, отдаленное эхо взрывов, огонь, кровь — вот он, хмель Революции.

И снова тишина обрушилась на нас пылью пороха, зарядных картузов, развороченной земли. Мы вытащили из ушей паклю.

А дрозд, дурачок, поет себе да поет!

Снаряды рвутся над Шампанью, над Артуа.

Бомбы рвутся над Герникой *.

Вторник, 4 октября.

Во дворе осталось только три коровы и один телок. Перед мясными лавками с двух-трех часов утра уже выстраиваются очереди. У входа непременно дежурят национальные гвардейцы, иначе хозяйки передерутся или, чего доброго, разгромят магазин.

В газетах опубликована беседа с доктором Бургуаном, главным фармацевтом детской больницы: «По количеству основных белковых и фибриновых веществ конина по праву занимает первое место среди азотистых соединений, необходимых организму для восполнения его потерь».

Страсбург и Туль капитулировали.

Страсбург... Значит, все-таки «Бисмарк завладел ключом от дома», как и обещал. Что же решило предпринять правительство, чтобы отобрать у него этот ключ? Отлило из бронзы статую Страсбурга и водрузило ее на площади Согласия. Из бронзы, а так ли много осталось у нас бронзы для отливки пушек, в которых испытывается острый недостаток?

Вновь открываются театры.

Правительство объявило об отсрочке выборов «до того момента, когда их можно будет провести на всей территории Республики...» Другими словами, после окончания войны.

Бельвиль не согласен.

Четверг, 6 октября.

«5000 франков на отливку пушки.

Учитывая, что для успешной борьбы против прусской артиллерии и освобождения Парижа необходимо огромное

количество полевых орудий, самое меньшее полторы тысячи, и что нынешние заказы недостаточны;

учитывая, что одно полевое орудие, отлитое из бронзы, обходится примерно в 5000 франков, как то утверждают оружейники, которые согласны принять участие в отливке пушек и проводить обычные испытания;

Общество химиков города Парижа предлагает Национальной гвардии, муниципалитетам и даже простым гражданам принять участие в добровольной подписке, средства от которой пойдут на изготовление полевых орудий».

Красивая голубая афиша, клочок лазури, словно прогал в свинцовых небесах, душно навалившихся на Париж. Округи, кварталы хотят иметь свои пушки. И Дозорный тупик тоже хочет свою.

Каждый день с шести часов вечера начинается дождь. Тупик блестит, как старинная бронза. Оба каштана нехотя роняют лист за листом. Люди спешат укрыться в низкой зале кабачка. Вечерами мамаша Пунь привертывает газ, становится совсем темно, табачный дым щиплет глаза, разъедает глотку, и едкий купоросный запах сивухи становится в эти вечерние часы до того крепким, что так и липнет к коже, вдохнешь — и сразу захмелел.

— А ну, Леон, тащи-ка еще стаканчик этой отравы!

Со вчерашнего дня канонада не прекращается. Теперь главная надежда возлагается на формирующиеся в провинции три армии — в Нормандии, на Луаре и в Лионе. А из людей единственная наша надежда на господина Л'Ота, химика-эксперта при судебной палате Сены, и на господина Риша, доктора наук из Пробирной палатки, другими словами — на двух присяжных волшебников по отливке пушек. Главная тема дня: лошадь с новой, так сказать гастрономической, точки зрения.

— Да не только в осажденных городах,— ораторствует парикмахер Шиньон.— Еще вон когда, на заре истории, целые народы кониной обжирались!

— А я не мог бы лошадь убить,— бормочет Чесноков, забивающий скотину на бойнях Ла-Виллета.

— Даже во Франции, в Седане, в Сент-Этьене, да и в других городах уже довольно давно жеребеночком по воскресеньям лакомятся! Знаешь, сколько те, что лошадей бьют, зарабатывают? Прямо тыщи.

— Теленка, козленка, ягненка — сколько угодно, а вот лошадку не мог бы, ничего не поделаешь...— твердит свое Чесноков.

— Да ну тебя, казак! А мы, голытьба, вполне можем конину кушать, будто и так мало дерьма жрем.

Феррье комментирует вчерашнюю манифестацию, устроенную перед Ратушей. *(«В одиннадцать часов с музыкантами, играющими Марсельезу, во главе пять бельвильских батальонов под командованием майора Флуранса прошли Севастопольским бульваром и улицей Риволи,— отмечает буржуазная пресса.— Пять тысяч человек в образцовом порядке составили ружья в козлы. Все движение прекратилось. Эти люди, еще в рабочих блузах и куртках, показали блестящую воинскую выучку».)* Флуранс потребовал у правительства десять тысяч ружей системы «шаспо», которые без толку ржавеют в государственных арсеналах, а также создания народного ополчения, муниципальных выборов, немедленного выступления против пруссаков.

Флуранс, мол, такой, Флуранс, мол, сякой — конечно, черт возьми, у него, как у каждого из нас, есть свои недостатки!

— Иногда голос у него какой-то надтреснутый,— лопочет Шиньон.

— Как бы не так! — восклицает Матирас.— В жилах у него настоящая кровь течет, а не вода. Возможно, иной раз и пустит петуха на манер подмокшего барабана, зато всегда честно говорит, что мой рожок.

— Брешите, граждане, сколько душе угодно, наш Флуранс, хоть он с виду настоящий маркиз, такой же маркиз, как мы с вами, он, может, глоткой и храбростью больше берет, чем иной умник, он такая же голытьба, как мы с вами, словом, молодчага! Эй, ты, Пунь проклятущий, литр старого винца!

Весь кабачок «Пляши Нога» пьет здоровье Флуранса.

Но рано или поздно, тем или иным путем разговор неизменно возвращается к еде. Республике было бы неплохо об этом позаботиться.

— Скоро одни только богачи останутся, уж они-то с голоду не передохнут,— замечает Кош, он только что запер свою мастерскую и явился в кабачок.

— Бланки правильно говорит,— объясняет сапожник, явившийся вместе со столяром.— Раз у государства нет

денег, раз продовольствия хватит всего на два месяца, надо взять все продукты на строгий учет и распределять их каждый день согласно потребностям каждого гражданина. Хватит уже торговцам наживаться на простом народе. Надо им тоже норму установить, как и всем прочим.

— Так или иначе, а лошадь — нет, не мог бы,— твердит свое русский.

Посетители «Пляши Нога», сидящие поближе к окнам, поглядывают на коров, а у тех под упорным мелким дождичком шкура потемнела, блестит.

— Им-то ты, сынок, хоть не дюже урезаешь? — обращается ко мне Пливар.— И так уж они не бог весть какие молочные.

— Увы, к сожалению, урезаю все больше и больше! У господина Бальфиса фуражу все меньше и меньше.

Наш тупик готов видеть в мяснике Бальфисе чуть ли не благодетеля. То, что на нашем дворе пасутся коровы, хотя число их загадочным образом уменьшается через неопределенные промежутки времени, что вызывает кое у кого законное любопытство и буквально у всех тревогу, так вот, это жалкое стадо вознесло наш тупик над всем Бельвилем, где достать кружку коровьего молока не легче, чем птичьего. Каждое утро и каждый вечер я дою коров и распределяю молоко так, что оно не переводится в семье Фалля, Пливара, Чеснокова, Митральезы, Нищебрата и у нашей тетки — словом, даем всем матерям, у которых грудные дети. До прошлого воскресенья обычно после распределения оставалось еще несколько литров для больных и младенцев по соседству, но потом пришлось исключить из списков тех матерей, у которых хватает своего молока, что не обошлось без свары. Бальфис закрывает глаза на дойку его истощавших питомиц. А я со своей стороны совсем забыл, что он посулил мне оплачивать нелегкую работу скотника. Так или иначе, предместье завидует Дозорному и тому, что у нас оказался столь предусмотрительный мясник. К сожалению, наши министры ему в подметки не годятся, а то бы все уладилось и можно было бы выдержать осаду, пусть бы она длилась хоть до второго пришествия! Но увы, с каждым днем мы воочию убеждаемся, что все обстоит иначе; с хлебом еще туда-сюда, а вот мясо, хотя оно и бывает, но продажа его ограничена, и домашние хозяйки становятся за ним

в очередь среди ночи. Я сам стоял сколько раз, и, когда пытался бунтовать, тетка мне говорила: «Хочешь, чтобы за твоего Бижу взялись?» У Бальфиса очереди в три раза длиннее, чем везде, к нему идут расторопные хозяйки из Менильмонтана и даже Шарона, именно из-за наших коров... Тамошние жительницы плюют на новое постановление, обязывающее покупать продукты только в той лавке, к которой они приписаны мэрией...

— Ну, покупаете вы пушку или нет?

При звуках этого голоса в кабачке водворяется тишина. Оказывается, крикнула это Марта, явившаяся неизвестно откуда.

Всю низкую зальцу потрясают взрывы смеха, не злого, пока еще довольно добродушного.

— Вот уж раззявы собрались!

— Помолчите, вы! — повышает голос Шиньон.— Надо же ей объяснить. Пойми, козявка, эта история с подпиской на пушки — это все для важных персон, для богатеев, это все равно как, скажем, дамы-благотворительницы на своих нищих деньги собирают.

— Ничего похожего,— протестует наша смуглянка.

— Господи Иисусе, пять тысяч франков, да где же их взять? — вздыхает Фалль.— Тут и на выпивку-то не хватает.

— Но если каждый понемножку...

— Во Французском банке золота полны сундуки! — орет Пливар.— Если правительству нужны пушки, ему достаточно руку протянуть.

— Или пусть реквизируют завод Келя,— предлагает Матирас,— и велят ему пушки отливать бесплатно.

— Нас работы лишают, а мы же еще за пушки плати! — возмущается Бастико.

— Но вы же сами говорили...

Марта стоит, потупив голову.

— Слушай, босявочка, что правда, то правда, когда начались разговоры об этой самой подписке, нам и впрямь полюбилось иметь собственную пушечку, поставить ее здесь под каштанами, на двух колесиках, пусть она свою мордашку славненькую вверх задирает, смотрит, нет ли дождичка...

Под низким потолком залы реют мечты, кое-кто даже глаза прикрыл, чтобы получше увидеть свою пушку. Но это одно дело. А самим на нее раскошеливаться — другое!

Две с половиной сотни наполеондоров в навозе нашего Бижу не откопаешь.

Весь зал словно воочию видит небольшую кучку золота, кто представляет себе двести пятьдесят кругляшек, катящихся по залитой солнцем мостовой, другие слышат их мелодический перезвон в мешке, а кто-то даже затыкает уши, чтобы полнее насладиться песенкой красавца металла.

— Или тысячу серебряных экю,— бормочет Леон, оцепенев с бутылкой в руке, с рваной салфеткой, перекинутой через плечо.

Но Марта начинает орать:

— Вам бы только языком трепать да пить!

— Она, эта приставала, нас совсем допечет,— сердито бросает Пливар.

— Сейчас я этой девке хайло заткну,— заявляет Вормье, опрокинув себе в глотку стакан сивухи.

Я встаю, заслоняю собой Марту, готовый принять на себя удар, но она отстраняет меня и звончайшим голосом спрашивает:

— Ты, Пливар, заткнешься или я тебе помогу, а ты, Вормье, свою золотуху уж не в Аржантейе ли подцепил?

Оба как по команде опускаются на свои места. Остальные, заинтригованные, молчат.

— Раз так,— восклицает Марта,— мы сами пушкой займемся, не больно-то вы нам нужны!

И она уходит. Следом за ней ухожу и я.

Дождь перестал. Идешь и физически ощущаешь прикосновение к коже холодного ночного воздуха, словно тычешься лицом в развешанное для просушки белье. Бижу поперхнулся, но явно переигрывает, просто хочет, чтобы я его приласкал. Близнецы Пливаров орут так громко, что их дуэт перекрывает даже перекрестные вопли младенцев Фаллей, Чесноковых и Трусеттки. В каморке привратницы попискивает ее мерзкая левретка Филис. А славный Пато обнюхивает мои икры, словно хочет сказать: «А ну-ка, приятель, пойди взгляни на своего конягу». В сыром воздухе особенно резко разносится запах конского и коровьего навоза.

— Я тут кое-что насчет подписки придумала.

— Послушай меня, Марта, давай сначала поговорим с Гифесом. В типографии еще горит свет. Я видел, как Алексис ушел. Гифес, должно быть, сейчас один.

— Подожди, Флоран. Так лучше будет.

Она тащит меня за кучу мусора и там излагает мне свою точку зрения на искусство и способы извлекать деньги из пустых карманов. Свет в окнах типографии гаснет, скрипнула дверь. Но оттуда выглядывает не физиономия типографщика, а прелестное женское личико; незнакомка оглядывается, желая убедиться, что тупик пуст.

Высокая молодая кудрявая брюнетка в пеньюаре незаметно выскальзывает из мастерской, бежит к арке и исчезает на черной лестнице.

— Это кто же?

— Госпожа Диссанвье, жена аптекаря. А теперь можно идти. Надо полагать, Гифес сейчас добрый.

Суббота, 8 октября.

Гифес внимательно выслушал нас; темные глаза его сверкали, длинные пальцы поглаживали черную, холеную, аккуратно подстриженную бородку, обрамлявшую бледное лицо, где все было идеально подогнано одно к одному, только вот усики тоненькие, слишком он сильно их подбривает. Мысль Марты явно пришлась ему по душе. Улыбался он мечтательно, чувствовалось, что он в полном восторге от нас. Однако никаких практических советов не дал. Типографщик-интернационалист оказался точь-в-точь таким, каким я и представлял его себе, наслушавшись его выступлений и у нас в тупике, и в клубах.

Но когда мы изложили наш план, Гифес, казалось, вышел из состояния восторга. Его смущало наше нетерпение. Взгляд его скользнул сначала влево, потом вправо — туда, где в углах типографии залегла темнота, потому что он зажег в нашу честь только один газовый рожок. По-моему, он ждал одобрения кого-нибудь, кто был более авторитетен, чем он сам. «Гифес с его умом, с его храбростью,— говорили в Бельвиле,— вполне мог бы стать крупным революционным вождем. Беда только в том, что в решительный момент он сам не знает, чего ему хочется— по малой нужде или по большой».

— Итак... конечно... — наконец промямлил он,— пускай Флоран и выставит этот проект в клубе.

— Но ведь я не умею говорить публично!

— А ты заранее напиши свою речь.

* * *

Собирать в Бельвиле деньги на пушку, по словам Марты, дело муторное. Люди мнутся, мучительно размышляют, сколько же пожертвовать, боясь передать или недодать, и, по выражению Марты, «пока чешут себе затылок, им уже неохота раскошеливаться, природа свое берет». А Марте хочется, чтобы сбор денег был вроде игры, вроде пари, что ли, соревнования, праздника — словом, всем, чем угодно, только не «выкачиванием грошей из карманов». Короче, нужно, чтобы люди заранее знали, сколько им нужно выложить, но чтобы выглядело это совсем пустячком.

— Пускай будет по-твоему, Марта. Сколько же ты с них просить будешь?

— По одному су.

— Чего-чего?

— По одному су. Знаешь, такие маленькие бронзовые монетки, на которые никто и внимания не обращает. Пять сантимов.

— Марта, но ведь пушка стоит пять тысяч франков...

— А сколько в пяти тысячах бронзовых су?

— Подожди-ка... двадцать су — это франк. Значит, пять тысяч франков... будет сто тысяч су!

Марта тут же обрушила мне на голову лавину монеток: в Бельвиле сто тринадцать тысяч жителей и сто восемь тысяч в Менильмонтане, а еще беженцы, а еще мобили из Бретани, и еще воинские обозы, да мало ли кто еще проходит здесь... Ну скажи, кто откажется дать одно су на пушку?

Я рассмеялся.

— Маленькая монетка на большую пушку!

— Вот здорово! Под этим девизом и будем собирать. Знаешь, Флоран, ты не просто мужичок. Ты, кроме того... еще и «ученый».

Если даже по одному су с носа, то Бельвиль и Менильмонтан могут себе позволить оплатить целых две пушки.

— Слушай, Марта, интересно, как это ты себе представляешь: мы с тобой вдвоем ходим по улицам и канючим деньги, монетку за монеткой, а просить придется больше чем у двухсот тысяч человек. Если никто кроме нас не пойдет...

— Мы с тобой пойдем. И другие за нами.

Созвать ребятишек нетрудно, нужно только помеще-

ние найти. Но если Марта что заберет себе в голову, то уж не отступится. И она без обиняков попросила у слесаря разрешения воспользоваться его пустующей мастерской. Поклялась всеми богами, что ни один его инструмент никто пальцем не тронет, чего, кстати сказать, ничуть не опасался Мариаль. Он даже не заикнулся насчет того, чтобы ему уплатили за освещение.

— Ничего, если я тоже буду присутствовать? — только спросил он. Потом присел на верстак и стал ждать.

Первыми явились двое Бастико: дылда Адель — пятнадцати лет и коротышка Дезире — тринадцати, он слабогрудый. За ними трио Селестины Толстухи: Киска — пятнадцати лет, Виктор — тринадцати и Ноно — семи. Все кругленькие и пухленькие, в мать; у Виктора уже сейчас грудь и шея как у грузчика. Еще издали возвестил криками о своем приближении Торопыга, с ним пришел Шарле-горбун, Пружинный Чуб, а также мой двоюродный брат Жюль и его дружок Пассалас — мы с ним, семнадцатилетние, самые здесь старые. И, наконец, душераздирающее явление троих сынков Мари Родюк, после только что разыгравшейся у них в доме драмы. Обнаружив, что дети завшивели, мамаша, не долго думая, наголо остригла двух младших — десятилетнего Клемана и тринадцатилетнего Рауля; наголо — это даже мягко сказано: просто искровенила всю голову ножницами. Когда же она приступила к старшему, пятнадцатилетнему Филиберу, тот схватил стул:

— Мама, сейчас же положи ножницы или прощайся с жизнью.

Все трое отпрысков Родюк один в одного, лица квадратные, подбородки острые, сплошные веснушки — в мамочку, но сейчас двое меньших выставляли всем напоказ свои вдавленные маковки и синеватые черепушки, а старший, неистовый Филибер, победно потрясал своей белобрысой и подозрительной по живности гривой, и в глазах его еще горел огонь недавнего бунта.

Идея Марты зажгла всех. Если Жюль и Пассалас хихикнули, то только для того, чтобы подчеркнуть свое превосходство.

— А все-таки нам нужно пойти в клуб! — вздохнула Адель Бастико.

— Верно она говорит, теперь все от твоей речи зависит,— бросил мне мой кузен Жюль.

— Ты сначала ее составь,— предложил Торопыга,— а потом нам покажи.

Марта тем временем ломала себе голову:

— Как же мы будем называться?

— Клуб юных заморышей,—предложил Шарле.—Ведь один журналист нас так и назвал.

После заседания мы сделали первую пробу, обратились к нашему хозяину, бывшему артиллеристу Мариалю.

— Одно су!

— Это на пушку-то? Черта с два!

Начало получилось неудачное.

* * *

Моя речь:

Граждане,
в прошлый вторник господин Руссе писал в газете «Ле Насьональ»: «Пруссаки возродят Францию» — мы теперь французы, а еще два месяца назад мы просто, как известно, были хвастливыми заморышами!

Так вот, граждане, к вам обращаются эти самые юные заморыши Бельвиля, потому что они тоже хотят стать французами. Да-да, каждый из нас хочет стать французом столь же важным, как сам господин Руссе, его хозяева и читатели «Насьоналя».

Представители многих социальных и политических групп уже высказывались с этой трибуны. Вы слышали разных ораторов — рабочих, ветеранов, женщин, национальных гвардейцев, последователей Прудона, бланкистов, коммунистов, эбертистов, анархистов и даже, увы, слишком часто, обыкновенных вралей. Каждый мог изложить свою точку зрения, защищать свои требования. А мы, мы представляем — не будем касаться ни классов, ни философских воззрений,— словом, мы представляем ту... трудноопределимую категорию человечества, тот возраст, когда человек еще не стал личностью, но вырос уже из пеленок, уже не держится за мамину юбку, но не имеет пока права носить ружье.

Желанные или нежеланные, мы явились на свет божий, но мы оказались лишними. Мы едим хлеб, хотя и не зарабатываем его. Когда в идеальной Республике вы все станете настоящими французами, равноправными гражданами, мы или те, кто достигнет тогда нашего возраста,— мы будем лишь надеждой или огорчением!

Но мы, однако, существуем, мы перед вами, и мы намерены осуществить то, что отказываются сделать французы — полноправные граждане нашего Дозорного тупика: купить пушку.

(Здесь следует чтение голубой афиши...)

Итак, отныне мы будем шагать по вашим улицам, заходить в ваши дома, подыматься по вашим лестницам, стучаться в ваши двери, требуя вашей лепты: одно су, всего-навсего одно маленькое су.

* * *

Конечно, не слишком-то я подхожу под категорию «заморыша», я еще не полностью утратил свою деревенскую комплекцию, но у трибуны меня окружат Шарле-горбун, Бастико, Дезире, вид у него действительно болезненный, и трое Родюков — двое с синеватыми черепушками и один со вшивой шевелюрой.

Я так долго корпел над своей речью, что прочитал ее нашей компании только в последнюю минуту. Юные слушатели встретили ее без особого ликования. По правде сказать, они ни черта не поняли. И поэтому заявили, что написано слишком красиво. Марта посмотрела на меня с огорченным видом.

— Знаешь, Флоран, твоя писанина до того закручена, что только разным там ученым вроде тебя может понравиться, а в клубе было бы лучше, чтобы кто-нибудь вроде меня говорил.

— Ты что же, подготовила речь?

— Еще чего!

Ничтоже сумняшеся Марта поднялась на трибуну и недолго думая произнесла примерно такую речь:

— Граждане!

Никому не весело с протянутой рукой ходить,— я-то знаю,—даже когда собираешь на пушку, и это понятно! У людей свои заботы: мужчины днем на работе, вечером в карауле, их супружницы в очередях стоят, не говоря уже о том, что надо малышам зады подтирать. Ладно, раз нам одним нечего делать, мы и займемся этим, как-нибудь потрясем мошну для нашей пушечки. Ведь дело это стоящее. Никто у вас золота не просит, всего одно су! Только одно маленькое бронзовое су! Если каждый даст всего

по одному су, Бельвиль не одну, а две пушки купить сможет!

И последнее, что я хочу вам сказать, а то нечестно получится, положитесь на нас, мы в лепешку расшибемся, а пушка у нас будет. Только уж если мы ее купим, она будет наша! Будет одной пушечкой больше, чтобы по пруссакам стрелять. Но стрелять-то будем мы! И когда пруссаков не будет, пушка все равно останется в нашем тупике, ее не тронь! Это частная собственность!

Все! Играй, горнист... а денежки кладите сюда!

А ну, граждане, маленькое су на большую пушку, разрази меня гром!

В тот вечер в «Фоли» собралось примерно три тысячи человек. Четыре тысячи триста пятьдесят шесть су, двадцать одно кило и сколько-то там граммов.

Воскресенье, 9 октября.

«Всего пятьдесят сантимов от вокзала Сен-Лазар, через Отей, Пуэн-дю-Жур, без пересадки вокруг Парижа на империале железнодорожных вагонов, с видом на фортификации».

После Шароны поезд с зеваками исчезает у Пэр-Лашез и Бютт-Шомона. Проходит под нами, под нашими ногами.

Мародеры беспрепятственно пересекают пояс укреплений. Приносят врагу парижские газеты в обмен на сигары и ветчину.

Нынче ночью мы, взобравшись на крышу виллы, наблюдали за первой пробой «электрического маяка», установленного на Монмартре, на верхнем этаже «Мулен де ла Галетт»; пучок лучей может обшаривать заросли на расстоянии трех тысяч трехсот метров.

Дождь сегодня утром не испугал зевак. Целыми семьями они вышагивают по Гран-Рю, нагрузившись мешками со съестными припасами, которые раскушают по-семейному где-нибудь повыше, между укреплениями и фортами. Разглядывая сверху пруссаков, они будут наслаждаться угрями по пятнадцати франков штука, цыплятами по четырнадцать франков за штуку и салатом из зеленых бобов ценою один франк пятьдесят сантимов за килограмм. Небо тоже за них: дождь перестал вовремя, так что они могут лакомиться, сидя прямо на земле.

Сегодня ночью исчезла еще одна корова. Господин Бальфис потихоньку, пока тупик спит, уводит их одну за другой. Никто не осмеливается спросить мясника — куда он их уводит и что с ними делает. Никто ничего не знает, ни я, подчищающий за коровами навоз, ни госпожа Фалль, которая прибирает мясную лавку, ни даже Пружинный Чуб, поддерживающий тайные, но вполне определенные отношения с мясниковой дочкой Ортанс.

— Неужто вы воображаете, что он посвящает в свои дела дочку? — ворчит сын позументщицы.— Знаете, какие они все там скрытники!

— Надо бы ночью засаду устроить и проследить за ним,— предлагает Торопыга.

— Лучше бы всего этой ночью.

И я прочел им вслух извещение продовольственной комиссии, которое только что расклеили на стенах: «Начиная с понедельника 10 октября мясо будет распределяться между округами следующим образом: государство, представленное министерством торговли, постановило ежедневно забивать на трех парижских бойнях определенное количество скота, мясо которого будет ежедневно продаваться населению, другими словами, будет забиваться от четырехсот пятидесяти до пятисот быков и коров и от трех до четырех тысяч овец и баранов».

Постановлением того же министра регламентируется торговля кониной, санитарный контроль и убой. Он же устанавливает цену за килограмм конины: один франк сорок сантимов филейная часть, реберная часть, огузок, ссек, толстый край; все прочее по восемьдесят сантимов...

Простояв три часа в очереди, мама достала фунт супового мяса третьей категории — говядины на пятнадцать су, но, во всяком случае, не конины: Бальфис кониной не торгует.

Вчера Бельвиль снова устроил шествие к Ратуше. Сотни людей выкрикивали под окнами правительства: «Да здравствует Коммуна!»

В пятницу около полудня Гамбетта с площади Сен-Пьер на Монмартре поднялся на воздушном шаре, названном «Арман Барбес». Правительство поручило ему «организовать народное ополчение в провинции».

— Ловко придумали, чтобы от него избавиться. Если он, допустим, даже не сверзится в море, то уж, во всяком случае, не будет больше совать нос в их грязную кухню в

Ратуше,— сказал Пассалас, которому удалось устроиться в министерстве внутренних дел.

В прошлый вторник официально началось учение в школах, но многие учителя служат в Национальной гвардии. Так что в нашем тупике в первом классе буду преподавать я.

Многие, в том числе Марта, Пружинный Чуб, Филибер с Киской, и раньше просили меня научить их читать, но без особого пыла. Ну а сейчас не отстают, с тех пор как узнали, что настоящий пушкарь должен уметь разбираться в приказах при наводке орудия. Так что почти все вечера мы будем собираться в слесарной мастерской, обсуждать, как идет сбор денег. И каждое такое собрание будет начинаться и кончаться уроком грамоты, заучиванием букв.

В качестве букваря не без удовольствия приспособил одно из официальных воззваний, высоко оцененных в предместье, а именно сообщение об отсрочке квартирной платы за октябрь. Начинается оно нижеследующими чудесными словами: «Дорогие сограждане, враг стоит под стенами столицы, и поэтому наш настоятельный долг — избегать в самом городе всяких поводов к смуте, разладам и вражде между жителями Парижа...»

* * *

«Одно маленькое су на большую пушку!» Хорошо-то хорошо, но вот на какую пушку? Еще не во всех задних дворах, не на всех лестницах Бельвиля известен наш почин. Если мы окрестим пушку еще до того, как она будет отлита, придадим ей заранее, так сказать, индивидуальность, то и сбор, несомненно, пойдет быстрее.

Вечером в слесарной мастерской мы сидели и перебирали десятки всевозможных названий. В прежние времена орудия часто нарекали различными именами. В наполеоновской армии, к примеру, некоторые пушки называли «Мститель», «Унтер», «Громогласная», другие были окрещены в память родных мест: «Туринка», «Беррийка», или же им давали нежные прозвища: «Красотка Жанна», «Черноокая Анриетта». И мы тоже подыскивали название своей пушке исходя из тех же соображений: «Гром Дозорного», «Ревун из Тупика», «Социальная», «Зов голытьбы», но ни одно не казалось нам достаточно выразительным и достаточно точным для нашей артиллерии.

Мы окликнули Предка, который шел куда-то вместе с Пальятти. Старик не торопясь вытащил из кармана трубку—это давало ему время поразмыслить над нашим вопросом. Ведь трубку сначала надо прочистить, потом набить, раскурить, затянуться...

— Пушка «Братство».

И сразу же мы поняли, вот оно, прекрасное имя!

И только из угла, где стоял Мариаль, вошедший за минуту до Предка, раздалось хихиканье.

— И вы посмеете назвать «Братством» орудие, сеющее смерть?

— Да, посмеем.

— Странный способ доказывать братские чувства с помощью раскаленных ядер.

Предок не спеша вытянул из кучи подделанного под старину оружия тяжелый средневековый меч, потряс им над головой слесаря с удивительной для своего возраста силой.

— Вот сейчас ты вправе говорить, что меч есть зло. Ну а если ты его сжимаешь в руке и на тебя накидывается стая волков, тебе он небось хорошим покажется. «Свобода, Равенство, Братство» — вот они, три слова, заменившие: «Потому что так мне угодно». А каким образом произошла эта замена? С помощью пушечных выстрелов.

Спор продолжался еще некоторое время, но разве это настоящий спор?

Поезд, развозящий по Парижу всего за пятьдесят сантимов подвыпивших зевак, желающих полюбоваться укреплениями, просвистел где-то над нашими головами, прежде чем нырнуть в тоннель Вера-Крус. Дядюшка Бенуа и Мариаль ласково поглядывали друг на друга, каждый бросал два-три веских слова, не более, как и положено рассудительным людям, знающим, где надо остановиться в споре.

— Да, но какой ценой? — вздохнул слесарь.

— То была цена нашей свободы.

А мы — мы молчали. Даже самые маленькие из нас, Клеман Родюк и Ноно Маворель, бросили возиться с саблями, валявшимися на полу. Даже они смутно почувствовали всю важность этой минуты. Предок со своей башкой в нетронутой щетине, с толстым приплюснутым носом — и напротив него Мариаль, красивый, седеющий, с благородными чертами лица и бесконечно грустный...

Это не стычка. Предок и Мариаль любили друг друга. В результате долгих размышлений каждый пошел своим путем, оба они как бы представляли две противоположные части одного целого, как, скажем, лезвие и эфес шпаги: цель первого — поразить живую плоть, а назначение второго — быть по руке и приятным при соприкосновении.

— «Братство» на огневой позиции, да это же смеху подобно.

— Просто пушка, которая подоспеет вовремя.

— Для убийства...

— Пушка, которую и в другую сторону повернуть можно!

Как сейчас вижу эту картину: хриплый кашель бедняги Дезире Бастико, звон разбитой бутыли в «Пляши Нога» и громкая ругань, а напротив — освещенные окошки в квартире Мариаля на третьем этаже.

— В «Братстве» слово «брат» слышится.

— Моих братьев, Мариаль, не перечесть! Но не все люди мои братья.

— Зато все они мои братья,— убежденно проговорил слесарь.

— Значит, и палачи тоже твои братья?

— А кто палачи-то?

— Не знаешь? Жалко мне тебя.

— Палачи? Жертвы? Не люди бывают разные, а обстоятельства.

— Но ты-то, Мариаль, кто?

— Никто. Теперь никто.

— А кем станешь? Жертвой?

— Хотелось бы.

— Палачом?

— Убейте меня, прежде чем я им стану.

Запах ржавчины, пыли, масла, пресные запахи оружейного кладбища.

Столяр умоляюще повторил свою просьбу:

— Убейте меня, если понадобится, даже чуть раньше убейте, только бы не было слишком поздно.

На следующем уроке чтения я не стал заставлять своих учеников читать текст насчет отсрочки квартирной платы, а предпочел одно-единственное слово, слово «Братство»:

Б — Братья, Р — Республика, А — Артиллерия, Т — Трудящиеся...

Понедельник, 10 октября.

Пушка «Братство» — поистине магическая формула. Собрано уже больше сотни килограммов, больше тысячи франков, то есть больше двадцати тысяч су.

Теперь сбор идет уже повсюду: и в XI, и в XIII, и в X округах, и даже в VIII, в районе толстосумов. Знаменитые особы, какие-то темные личности, разбогатевшие шарлатаны не скупятся ни на деньги, ни на болтовню, ведь пушка — новый каприз Парижа.

Правда, нам, в нашем тупике, принадлежит почин, и начали мы действовать без промедления.

Гифес согласился бесплатно отпечатать нам очень коротенькое и на сей раз очень ясное воззвание, в котором я объясняю все, что касается пушки «Братство». Это воззвание мы расклеили на всех перекрестках от канала на Урке до заставы Трон, от заставы Роменвиль до Шато-д'О.

Мы объехали весь Бельвиль и Менильмонтан на повозке, запряженной Бижу, а к повозке прицепили пушку, сварганенную из печной трубы и пары колес. Впереди плакат: «Одно маленькое су на большую пушку», и второй сзади: «На нашу пушку «Братство». Плакат на правой стороне повозки гласил: «Война до последнего», а на левой—«За решительное наступление!» К обручу от бочки прикрепили длинный мешок, и получился гигантский сачок, так что можно на лету, не вылезая из повозки, подхватывать маленькие су, когда их бросают из окон верхних этажей. На каждой остановке устраиваем настоящее представление: Торопыга затягивает «Карманьолу», правда в собственной обработке:

Что же надо республиканцу —
Грош, чтобы дать оборванцу.
Для пушки тоже грош,
Уж очень девиз хорош...

Тем временем тройка Родюков, парочка Бастико и Ноно спрыгивают с повозки, отцепляют «пушку» и готовятся к стрельбе, выполняя все положенные маневры с такой быстротой и четкостью, что прохожие не могут сдержать восхищенных восклицаний. Пружинный Чуб, переодетый

в прусского улана, с помощью пантомимы разыгрывает охвативший его ужас при виде этого чудовища, проделывает десятки кульбитов и стремительных прыжков с ловкостью профессионального акробата. Кончается все это тем, что Жюль и Пассалас, переряженные стрелками Флуранса, забирают в плен этого чертова улана и, приставив к его заду штыки, проводят через толпу зевак. Пока длятся эти незамысловатые номера, Киска и Шарле-горбун трясут кружками для сбора пожертвований, а мы с Виктором подставляем под окна верхних этажей наши сачки. Взгромоздившись на повозку, Марта комментировала ход спектакля, разъясняла правила сбора и взывала к добровольцам. Если сборщик меньше чем за две недели принесет сто франков, другими словами, две тысячи маленьких су, другими словами, десять килограммов бронзы, он получает особое свидетельство, в которое заносится его титул: «Почетный пушкарь пушки «Братство». Если же он соберет двадцать или больше килограммов, его имя будет выгравировано на лафете. Тот, кто принесет больше всех, получит почетное право произвести первый выстрел. Практически на каждой улице или в каждом переулке находилось достаточно добровольцев, чтобы заглянуть в каждую квартиру, постучаться во все двери.

Мало сказать, что нас хорошо встречали в предместье. Монеты сыпались градом. Зрители, у которых денег при себе не было, брали взаймы у соседей, или меняли луидор, или бежали за деньгами домой. Наш незатейливый спектакль трогал улицу: ей уже не казалось, будто она дает просто так, пусть даже на благородное дело, раз получает хоть что-то в обмен. Она отдавала свои су на пушку «Братство», это уже само собой, но еще и для поощрения «актеров». Останавливались мы часто, и, когда снова двигались в путь, за нами увязывалась часть зрителей, чтобы еще раз полюбоваться спектаклем и еще раз уплатить за «билет».

В улыбке предместья светились гордость и счастье. Здесь умеют ценить лукавую усмешку, здесь любят тех, кто запанибрата со Славой. Как-то мы услышали за собой возглас: «Браво, гавроши!» Это крикнул ветеран сорок восьмого года с улыбкой под седыми усами и со слезами на глазах.

Было воскресенье. Денек выдался на славу. Окончилась неделя, чреватая событиями — отсрочка на не-

определенное время обещанных выборов, капитуляция Туля и Страсбурга,— неделя очередей и ограничений продовольствия; и поэтому мы стали как бы первой ноткой звонкого смеха, первой ноткой надежды. Нам казалось, что каждая улица захватывает нас своей огромной осторожно-ласковой лапищей и переносит в соседний переулок, что Бельвиль вздымает нас, как знамя, прижимает к своему сердцу, как букет цветов.

Из тупика мы выехали около десяти утра, когда перестал дождь, и рассчитывали вернуться домой к полудню. А вернулись уже в сумерки. Марта дирижировала всеми действиями нашей бродячей труппы, на обратном пути даже вожжи держала, пока я записывал имена и адреса новых сборщиков-добровольцев, которые вызвались собрать деньги у себя во дворе. Между двумя спектаклями на одном из перекрестков наша смугляночка поверила мне свои новые замыслы, навеянные нашей поездкой по улицам:

— Национальные гвардейцы получают тридать су в день, если они дадут нам по одной монетке, то небось не разорятся! А те, кто ходит по улицам, те, что приносят нам пусть эти же самые тридцать су, но авансом... так вот им, скажи-ка, Флоран, что мы этим-то можем предложить?

— Боюсь, что для всех имен на лафете места не хватит...

В полдень мы устроили очередное представление на улице Пуэбла, за Пэр-Лашез, и вдруг хозяйка «Трехлапой Утки» пригласила нас к себе в ресторанчик позавтракать. Ну и повезло!

Итак, мы уселись перед дверью вокруг котелка, откуда шел аппетитный аромат бургундской похлебки, а Бижу тем временем, зарывшись по самые ноздри в охапку отавы, блаженствовал, как в добрые старые времена. Наш чревоугодник даже не взглянул в сторону кавалерийских лошадок, привязанных слева от него.

— Только вот хлеба у меня нет, даже корочки не осталось,— вздохнула хозяйка «Трехлапой Утки».

— Великое дело! Сейчас принесу,— прощебетала какая-то толстушка, которая восхищалась нашим представлением, протиснувшись в первые ряды зевак. — У меня булочная вот там, напротив.

— А я вам сырку подброшу, таким теперь только после окончательной победы угощать будут!

На столе перед каждым из нас по бутылке монмартрского вина. А в самом ресторане патриоты устроили банкет. Выспренние фразы, обрывки политических прокламаций прорывались сквозь открытые двери, рождая в ответ беззлобные улыбки на лицах любопытных, с таким же удовольствием наблюдавших за тем, как мы уписываем все подряд за обе щеки, с каким наблюдали за нашим представлением. Жители предместья Менильмонтан отлично знали, что не часто на нашу долю выпадает такое роскошное угощение.

И в банкетном зале приутихли, видимо, пировавшие слушали оратора, который вещал:

— Пусть Европа готовится увидеть Париж в новом его величии; пусть увидит, как полыхает этот город-чудо. Париж, который веселил весь мир, нагонит на него ужас. В этом чародее живет герой. Этот город острословов исполнен высокого духа. Когда Париж поворачивается спиной к Табарену *, тогда он достоин Гомера. Мир увидит, как умеет умирать Париж. Под закатными лучами солнца агония Собора Парижской богоматери есть зрелище высочайшего веселья!

Все машинально повернули головы в сторону Собора.

После этой тирады пирующие стихли. Я даже сумел расслышать в приглушенном гуле раскатистый голос Предка. Приглядевшись повнимательнее к лошадям, привязанным у коновязи, я признал богатырских коней Флуранса и его свиты.

— Тебе прививку делали? — вдруг спросила меня Марта с набитым ртом.

— Нет. А зачем?

Марта сообщила мне, что оспопрививание происходит в мэрии два раза в неделю. С каждым днем возрастает количество смертных случаев от оспы. Даже не пытаясь скрыть дрожи жалости, наша смугляночка пояснила, что оспа главным образом косит жителей пригородов, перебравшихся в Париж, а также мобилей из провинции.

Тут в разговор вмешались зеваки:

— Ну и дети нынче пошли, да разве раньше такие дети были,— чуть что не со слезами заметил кладбищенский сторож.

И чей-то охрипший от непомерных возлияний бас подхватил:

— Да и бабы тоже! И что это их разбирает, не поймешь даже... Вот моя вбила себе в голову, чтобы никаких оплеух...

Вдруг я с изумлением обнаружил, что моя бутылка уже пуста, а пить мне хочется чертовски: уж больно похлебка перченая.

Я осторожно встал с места и благополучно добрался до повозки. Должно быть, я был под мухой, так как мне почудилось, будто на витрине «Трехлапой Утки» висит объявление, сообщающее что-то вроде: «Наша жареная конина вкуснее всякой говядины». И второе впечатление — тоже, конечно, с пьяных глаз: когда я вспрыгнул на повозку, мне показалось, будто у меня подметки металлические. На самом же деле, пока мы пировали, прохожие, прочитавшие наше воззвание, бросали в повозку маленькие бронзовые монетки. Так что все дно было словно чешуей покрыто.

— А вот налетай, супруга Бонапарта, ее любовнички, оргии во дворце! — Это выкрикивал разносчик, показывая желающим гравюру, где была изображена экс-императрица в натуральном виде: она, голая, позировала принцу Жуанвилю. Торговал разносчик и непристойными книжонками.

— Трогай, Бижу!

— Флоран! Эй, Флоран!

Да это же сын Мюзеле, наш сосед с фермы Шэ в Рони!

— Что ты здесь, Мартен, делаешь? Я-то полагал, пруссаки не пруссаки, а вы с вашим наделом ни в жизнь не расстанетесь.

— Эх, Флоран, не мы одни всеми клятвами клялись, что с места не тронемся, а потом...

А потом... наблюдая день за днем, как тянутся к столице тяжело груженные повозки, как пустеет в округе, как навешивают замки то на одну, то на другую дверь в Рони...И наконец в одно прекрасное утро наш сосед получил приказ отправиться в Париж и там продать своего мула, коров и весь фураж, чтобы даже соломинки пруссакам не досталось. А раз так, то чего ради сидеть в Рони? И мать с тем же упорством, с каким отказывалась покидать свою землю, теперь считала часы и минуты до отъезда. Отец решился уехать только в самое последнее мгновение, ночью. Наши соседи из Рони сняли в столице комнату под самой крышей, хорошо еще, что окошки вы-

ходят на кладбище Пэр-Лашез, хоть немножко на деревню похоже. Никто из их семьи работы не нашел. Сам Мюзеле-отец записался в Национальную гвардию: тридцать су в день. И он, он, владелец фермы, начал пить! Мартен рыдал у меня на плече: почти каждый вечер глава семьи возвращается мертвецки пьяный. И даже начал поколачивать матушку Мюзеле.

Мы дали друг другу свои адреса, обещали, если удастся, видеться как можно чаще.

— Эй, Флоран, я совсем и забыл!

Мартен бежал к нашей повозке со всей быстротой, с какой позволяли его коротенькие ножки. А подбежав, бросил прямо на дно повозки маленькое бронзовое су.

Мы еще не добрались до Шарона, когда внезапно все взоры оторвались от нашей группы и все задрали носы к небу. Еле взмахивая обессиленными крыльями, описывая от усталости ненужные круги, на осажденную столицу опускался почтовый голубь. Слава богу, хоть этому удалось ускользнуть от прусских ружей! Нет, это был не голубь из Ноева ковчега, но все же, все же... Голуби стали теперь самым надежным способом почтовых сообщений. Хрупкие воздушные шары, игрушки ветра, редко долетали до места назначения. Господину Гамбетте, баловню судьбы, повезло — ходили слухи, что он благополучно прибыл в Тур.

Суббота, 15 октября 1870.

Устроившись со всеми удобствами на верстаке Мариаля, я наконец-то берусь за газеты.

С организацией обороны предместья дела не ладятся больше. Положение таково: в порыве гнева комендант укреплений Флуранс подал в отставку. Следуя его примеру, наши национальные гвардейцы вышли из состава батальонов и создали особое соединение, которое и окрестили: Стрелки Флуранса. Естественно, они снова избрали его своим командиром, а тот настрочил в самом лучшем своем стиле:

«Генералу Тамизье, командиру Национальной гвардии. Несмотря на то что вы приняли мою отставку, я вынужден, дабы поддержать порядок и мир в городе Париже, и впредь выполнять обязанности командира. Вряд ли стоит добавлять, что я не намерен отступиться ни от одного

моего требования и что этот шаг согласован с моим штабом...»

Елисейские Поля превратились в фабрику патронов, театр Гэте — в мастерскую: там шьют белье для госпиталей, Люксембургский сад — в артиллерийский парк и выгон для овец.

Погода хмурая. В густом тумане, залегшем у фортов, можно без риска снимать с огородов урожай; снова появились свежие овощи.

Бельвиль в Париже—это все равно что малая крепость в крепости. Правительству неможется арестовать Флуранса, и оно ищет его повсюду... где и духу его нет. Трошю отлично знает, что наш вечный изгнанник спокойно и гордо разгуливает по своим ленным владениям.

Мастерская нашего добряка Мариаля превратилась в генеральный штаб при пушке «Братство». Поддельное оружие заперли в металлические шкафы, стоящие в глубине. В порыве раскаяния наши малыши, Клеман Родюк и Ноно Маворель, по собственному почину притащили рапиру и шпагу, которые они «взяли на время», чтобы поиграть дома. Всю эту неделю ни о чем другом не думал, кроме как о сборе денег. От Ла-Виллет до Шарона на каждой улице и почти в каждом доме у нас есть добровольцы. Когда я пишу «мы», «наши», то имею в виду в основном Марту, при которой я только писарь, кучер, а иной раз нечто вроде представителя, как говорится, для мебели.

Сунул руку в мешок из-под муки. Вытянул на удачу первую попавшуюся бронзовую монетку, еще не самую грязную. Тысячи их прошли через мои руки, а я так до сих пор толком и не разглядел, что изображено на них, какие у них решка и орел. Ни слюна, ни вельвет моих брюк, о которые я судорожно тер монету, не помогли. Пришлось прибегнуть к кислоте, которой Мариаль травит поверхность металлов. Одно прикосновение обильно смоченной кислотой тряпицы и — о чудо... о сюрприз! Из-под слоя грязи выступил профиль какого-то круглоголового бородача, а вокруг башки надпись: «Виктор-Эммануил II, король Италии». Итальянская! Сколько же раз эти монетки незамеченными переходили из кошелька в кошелек! Время, грязь, прикосновение мозолистых рук нивелируют коронованные головы, уничтожают границы.

Обтираю тряпочкой вторую, французскую: «Наполеон III, император, 1855». На одной стороне: «Пять сан-

тимов. Французская Империя». С трудом различаю абрис орла, парящего над молниями. На другой, лицевой, от чеканного изображения нашего Баденге осталась только какая-то бледная тень.

Для упрощения операций в каждом мешке из-под муки мы храним ровно по двадцать пять килограммов. Восемь мешков уже заполнены и стоят себе вдоль стены слесарной. В итоге — двести килограммов, или две тысячи франков! Марта потребовала под клятвой, чтобы я строго хранил эту тайну. Теперь только мы вдвоем с ней, по крайней мере из ближайшего окружения, знаем, что грамм равен сантиму, так что, вместо того чтобы пересчитывать монетки, мы их взвешиваем.

Притащили в слесарную два тюфяка. Несколько тысяч франков, даже пусть в самом неаппетитном виде, представляют собой великий соблазн для людей, куда более стойких духом, чем несчастные заморыши, бродящие по соседству.

С тех пор как Бельвиль восторженно глядит на труды наших рук, тупик тоже проникся симпатией к сбору монет... Первым забыл стыд наш Вормье: неторопливо волоча ноги, он явился к нам в мастерскую, нос по ветру, кепи набекрень, ружье на ремне, словом, заглянул, как сосед к соседу:

— Кстати, Флоран, знаешь, что мне в голову пришло, — конечно, после положенных рукопожатий и всего прочего, что требует вежливость. — Коль скоро гвардейцы, находящиеся не на казарменном положении, созданы для таких дел... так вот, если тебе понадобится куда отлучиться, я охотно постерегу твою лавочку.

— Еще чего! — крикнула Марта из дальнего угла слесарной.

Наш чахоточный ее не заметил, иначе не решился бы сделать мне такое предложение. И он удалился, собрав все свое чувство достоинства, впрочем, было бы что собирать.

— Грубо ты ему...

— Вот еще! Ты этих Вормье не знаешь. И он непременно сюда свою шлюху привел бы. А его Камилла, сам небось видел, какая толстуха, такой ничего не стоит себе за пазуху пару мешочков засунуть, и уйдет отсюда с титьками... только бронзовыми.

Оба медника, те сразу заявили без обиняков:

— Мужчины не бог весть какие хитрецы,— проворчал Матирас,— особенно если бутылочку пропустят...

— Когда вы к Келю отправитесь пушку заказывать, и я с вами пойду,— бросил Бастико.

— И я тоже. При нас они постесняются вам барахло какое-нибудь всучить.

Я-то лично засомневался, как это можно всучить обманом негодную пушку, но наши медники доказали мне как дважды два четыре: не раз бывало,что выпускали пушки, которые убивают только прислугу, поэтому-то промышленникам предписывается в обязательном порядке производить испытание орудий. Но их бывшие приятели, рабочие завода Келя, сообщили нашим двум уволенным медникам, что хозяева, ссылаясь на то, что до сего времени они такой товар не выпускали, наотрез отказались от контроля армейских фейерверкеров. Министр предложил Келю выплачивать половину или даже в случае надобности две трети суммы, если орудие разорвется. Капиталист категорически отверг и это предложение.

Марта, присутствовавшая при нашей беседе, да и я сам — оба мы поняли, что советы Матираса и Бастико не помешают. Кроме того, наши новоявленные безработные принесли по тридцать су, так сказать, авансом, вместо того чтобы каждый день давать из своего гвардейского жалования по одной монетке. Их примеру последовали и другие национальные гвардейцы из Дозорного, за исключением Вормье, Пливара, аптекаря и мясника, то есть двух самых бедных и двух самых богатых.

* * *

Со вчерашнего дня продажа мяса ограничена ста граммами в день на каждого человека; в ресторанах запрещено подавать клиентам больше одного мясного блюда. В газетах сообщается, что в лавчонках у фортов кошки продаются по три франка за тушку.

Но больше всего беспокоит домашних хозяек, которые уже с трех часов утра становятся в очередь у мясных, то, что с каждым днем все труднее и труднее доставать соль. «Без соли все плохо»,— говорят они, перефразируя Священное писание. И потихоньку сообщают друг другу адреса, где еще можно раздобыть щепотку соли, правда,

стоит она бешеных денег и даже отвешивают ее вам на ювелирных весах.

Соль снова приобретает свое былое значение, как в средние века.

Понедельник, 17 октября 1870.

Две коровы и один телок.

Моя тетка, матушка Пливар, Сидони и госпожа Чеснокова отняли своих младенцев от груди раньше положенного срока. Все молоко, правда, его чуть-чуть, отдаем новорожденному отпрыску Фаллей, слишком он слабенький.

Сборщикам-добровольцам, новичкам, впервые приходившим в тупик с деньгами, не нужно было зря шнырять по закоулкам в поисках нашего «штаба»: на Гран-Рю, у входа в арку, я вывесил небольшое объявленьице. А над дверью в слесарную мастерскую — второе, во всю длину проема и с такой же надписью: «Маленькое су на пушку «Братство».

Гифес с минуту молча смотрел на мою работу, потом сказал:

— Тебе бы следовало приписать: «Да здравствует Коммуна!»

— Не думаю.

Слова эти вырвались у меня как-то сами собой и прозвучали спокойно. Видимо, типографщик не ожидал такого ответа:

— Вот как? Ты против Коммуны?

— Вовсе нет.

— А ведь 8 октября наши батальоны, да и не они одни, дефилировавшие перед Ратушей, кричали: «Да здравствует Коммуна!»

— Мне об этом рассказывали. Возможно, если бы я был там, я тоже кричал бы: «Да здравствует Коммуна!»

— Тогда в чем же дело?

— Не могу хорошенько объяснить. Просто у меня нет такого чувства, что здесь надо написать: «Да здравствует Коммуна!»

Оба мы были вполне искренни. Так мы и расстались, каждый при своих мыслях, но сердца друг против друга не затаили.

Когда я рассказал Марте о нашей дискуссии, она молча, но равнодушно выслушала меня и тут же изложила

мне свой новый проект: добиться у Келя значительной скидки на пушку, так как мы сами проведем плавку.

— У тебя рудник, что ли, есть и плавильные печи?

— Чего-чего? Вечно ты с возражениями лезешь! Железный лом все-таки легче найти, чем денежки! Вот я, например, присмотрела один колокол, он, знаешь, сколько тонн весит!

— А где он, твой колокол?

— Ясно, дурачок, на колокольне!

* * *

Ночью.

Сейчас застал мясника за странным занятием — что-то слишком уж озабоченно он вертелся вокруг нашего Бижу.

— Скажи, Флоран, ты намерен его и дальше держать?

— Что за вопрос!

— А как, разреши узнать? Сена сейчас днем с огнем не найдешь. На меня прошу не рассчитывать, я, как видишь, ликвидирую свои дела.

Господин Бальфис ткнул пальцем в направлении арки, где вырисовывались силуэты двух коров и телка.

— Как-то устраиваюсь. Господин Гифес, а он лейтенант, имеет право на фураж, то есть, конечно, не для себя, а для своей лошади, но лошади у него нет, вот он и отдает свою порцию сена нашему Бижу.

— А вот это уже незаконно! Это уже прямое расхитительство!

— Вовсе нет. Бижу будет обслуживать роту, ну, разные там перевозки. К тому же Гифес доложил об этом командиру батальона.

— А-а, этому Ранвье...

Мясник по-прежнему не спускал испытующего взгляда с нашего Бижу. И наконец предложил мне, словно его только что осенила счастливая мысль:

— Я бы тебе хорошую цену дал.

— Я лошадьми не торгую.

— А завтра, дружок, будет уже слишком поздно. Кому нужна дохлятина, да еще старая.

Я задумчиво поглядел на круп Бижу. Широко расставив задние костлявые ноги, он мочился, всем своим видом выражая отвращение к словам живодера. Наш почтенный ветеран делал свои делишки с бойкостью жеребенка!

— А ну, не трогать!

Мясник, воспользовавшийся тем, что я повернулся к нему спиной, и уже оттянувший губу Бижу, чтобы осмотреть его зубы, отскочил как ужаленный.

— Он... он не любит... когда к нему пристают,— пробормотал я.

Я еще долго проторчал во дворе, все почесывал нашего старого хитреца за ухом, у нас там есть одно любимое местечко, о котором никто, кроме нас двоих, не знает.

Вторник, 25 октября.

После полудня кончился дождь, неожиданно прорвался солнечный луч, и кора каштана вдруг маслянисто заблестела, как сталь. Сегодня на дежурство в мэрию отправляется в полной форме Нищебрат. Под глазом у него фонарь.

— Ничего не поделаешь, звереют бабы...— поясняет он и смущенно добавляет: — Видать, младенчик ножкой стучит. Всякий раз та же история, не любит она этого, ну и звереет! — И тут же переводит разговор на другое: — Погода холодная, дождливая, дни все короче становятся, в одной шинелишке до костей пробирает...

Запыхавшись, примчался Торопыга и сообщил, что на Бульварах все заперто, открыты только кафе да две-три лавчонки. Все последние ночи слышится канонада со стороны Мон-Валерьена.

Литейное заведение братьев Фрюшан на улице Ребваль, выпускавшее газовые краны, будет теперь отливать пушки.

Еще одно открытое письмо Флуранса:

«Я был сразу же и единодушно переизбран командиром пяти бельвильских батальонов. И если сейчас не выполняю своих функций, то это прямой результат грубого и явного нарушения закона о всеобщих выборах. Штаб на Вандомской площади отказался утвердить мое назначение. Любой капрал Национальной гвардии в тысячу раз полнее воплощает собой народную волю, нежели люди, которые правят Францией, хотя единственное их право — присяга Империи. Я с восторгом поверил бы в план Трошю, но, когда нация жаждет добыть себе спасение любой ценой, это чревато серьезными опасностями. А ведь если Франция в 1793 году спаслась, то не потому, что слепо вверилась одному человеку и ждала от него чудес!.. Национальная гвардия Парижа томится без дела. Она видит,

что враг уже у стен столицы, она уже чувствует укусы голода. Она краснеет от стыда... Я же хочу лишь одного — отдать свою жизнь...»

В типографию зашел Жюль Валлес. С тех пор как его избрали командиром батальона, журналист щеголяет в новеньком кепи с четырьмя серебряными галунами.

У входа в типографию Валлес разговорился с Пальятти насчет Гарибальди. Каменщик-итальянец держит нас в курсе дела, сообщая об успехах армии краснорубашечников. Так, он первый сообщил нам о том, что седьмого октября в Марселе высадился их вождь с двумя своими сыновьями, Риччотти и Менотти. Старые раны до того измучили неугомонного Гарибальди, что он может передвигаться с места на место только на носилках. И однако по пути к нему присоединяются тысячи добровольцев.

*Гарибальди родился в Ницце. Служил во флоте королевства Сардинии, после заговора «Молодой Италии» вынужден бежать в Тунис. Из Африки перебирается в Южную Америку, где сначала ведет торговлю скотом, потом командует эскадрой в Уругвае, а затем корпусом добровольцев в республиканских войсках. В 1848 году возвращается в Италию, берет на себя командование армией Римской республики против Удино *, но после падения Рима снова вынужден бежать. Он то свечной фабрикант в Нью-Йорке, то капитан торгового судна в Перу, потом в Китае. В 1859 году возвращается в Италию и создает корпус волонтеров. В 1860 году он отдает Виктору-Эммануилу Сицилию и Неаполь и упорно готовит поход на Рим.*

— Понимаешь, Гарибальди идет на помощь Всемирной Республике!

Гарибальди поручили командовать Вогезской армией — другими словами, армией, которая будет формироваться в местах, оккупированных пруссаками! По его призыву итальянцы, швейцарцы, испанцы, американцы, поляки — волонтеры-республиканцы всего мира пересекали границу, чтобы сражаться под французскими знаменами!..

Грошики стали поступать что-то медленнее. Слишком много появилось сборщиков. Шагу нельзя ступить, чтобы не нарваться на кружку для сбора пожертвований; по всему городу разъезжают кареты походных лазаретов, и каждая взывает к милосердию парижан. Требуется в де-

сять раз больше коек, чем есть в наличии, раненых размещают повсюду, где есть свободное место: в монастырях, на вокзалах, впрочем сейчас никому не нужных, в фойе Театр-Франсэ, в школах, в помещениях суда, в «Гранд-Отеле», в Бельвильском театре. Дамы из высшего общества просто-таки соревнуются в патриотических чувствах и устраивают «частные лазареты» у себя дома. Сейчас это самый шик; к тому же можно спокойно пристроить в качестве санитара своего милого дружка, слишком изнеженного, чтобы мерзнуть ночами на укреплениях. Рассказывают даже, что одна дама — супруга крупного буржуа — долго подыскивала раненого для своего лазарета и наконец «купила» такового в одном госпитале за три тысячи франков.

Дни стоят тяжелые, серые, ночи черные, безлюдные. В столице, препоясанной железом, есть только одно живое существо — Война. Экипажей мало, ни торговли, ни работы, разве что на заводах, выпускающих оружие. У парижанина есть два основных занятия, вернее, два зрелища — обучение военному делу на площадях Парижа и дежурство на укреплениях. Словом, жизнь каждого прикована к его ружью. А мысли прикованы к одной повседневной заботе: что будем сегодня есть?

Норму выдачи мяса уменьшили до пятидесяти граммов, это уже третье сокращение за последние две недели.

Бастико, Матирасы и многие другие семьи безработных дошли до такой степени нищеты, что вынуждены продавать свой дневной рацион по повышенной цене, поэтому люди со средствами не слишком чувствуют лишения осады. Предместья страдают от жесточайшего безденежья, мэрии вынуждены распределять среди нуждающихся специальные боны достоинством в пятьдесят сантимов, и все торговцы продовольственными товарами — за исключением виноторговцев — обязаны принимать эти боны, но мясники, колбасники, бакалейщики, фруктовщики, и булочники кривятся, хотя каждый день боны аккуратно обменивают на звонкую монету.

В наше время не рекомендуется держать лошадь прямо на дворе, без конюшни... А какие взгляды бросают на Бижу домашние хозяйки, когда мы отправляемся в поход собирать деньги! Какие невеселые шутки отпускают ему вслед, некоторые даже облизываются, трут себе живот, приговаривая: «Ньям, ньям!»

Вчера вечером наш клуб потребовал провести выборы в Парижскую Коммуну и разослать комиссаров по провинциям. Проголосовали и приняли приветствие Гарибальди.

«Привет солдату-гражданину! Привет от имени Франции и Революции! Пусть придет к нам герой Америки, освободитель Италии, пусть научит нас вести партизанскую войну, войну, которая освободила его страну и освобождает Францию. Пусть придет он к нам; только здесь, у нас, он найдет себе солдат и оружие. Пусть придут наши братья из Лиона; пусть их революционная армия под командованием доблестного Клюзере соединится с интернациональной армией Революции, армией, которую поведет Гарибальди. Пусть Коммуны Марселя, Тулузы, Бордо, Лилля, Дижона, Руана, пусть все республиканские города шлют нам своих вооруженных граждан; революционный Париж выйдет им навстречу...»*

Покинув «Фоли», мы как вкопанные остановились посреди улицы: небо было кроваво-красным. Так и чудилось, будто там, наверху, перерезали глотку какому-нибудь огромному зверю и кровь из его артерий оросила Париж. По Бельвилю тут же поползли слухи: это, мол, пруссаки подожгли город со всех четырех сторон, чтобы выкурить нас, как крыс...

Нынче утром мы узнали, что́ именно произошло. Оказалось — северное сияние. Явление редкостное, но вполне объяснимое, мне это известно; однако же мы, вернее, наши носы чуяли запах гари, наши языки и губы узнавали ее вкус, липкость, и, однако же, кровь падала и падала на Париж.

Воскресенье, 30 октября.
Вечером.

Капитулировал Страсбург.

Нелегко далось мне написать эти два слова, как будто, начертанная черным по белому, эта печальная новость стала неопровержимой.

Нам ведь столько лгали!

Целые дни мы проводим в болтовне, в спорах, пережевываем слухи, сообщаем друг другу самые противоречивые сведения.

Капитулировал Страсбург. К счастью, еще держится Мец, хотя одна газета, «Комба», орган Пиа *, да-да, Пиа, осмелилась опубликовать в четверг сообщение под крупным заголовком: «Падение Меца». Правительство на сей раз действовало твердо и быстро. Оно не только дало опровержение, но еще обозвало «Комба» органом пруссаков. Публика в ярости сжигала экземпляры газеты прямо на улице. Итак, Мец, не испытывающий ни в чем недостатка, вооруженный до зубов, а главное, обороняемый прославленным маршалом Базеном, продолжает сдерживать целую немецкую армию, которая в случае падения города обрушилась бы на нас.

Нынче утром газеты сообщили, что мы одержали первую большую победу со времени осады, и приводят по этому поводу десятки подробностей, которые не выдумаешь, так что добрая весть эта весьма успешно выдерживает натиски озверелого сомнения, посеянного в наших умах многомесячным бахвальством. Читаешь, и на душе легко, откладываешь газету, и снова сомневаешься. Где правда и где вранье и во всей этой писанине, и в упорных слухах о том, что Тьер якобы ведет в Версале переговоры о перемирии с Бисмарком? Я прямо спросил об этом Предка.

— Есть только один способ, Флоран, не ошибиться: ждать худшего. Худшее — всегда правда.

Мы с Мартой, надеясь хоть немножко отвлечься от мрачных мыслей, отправились к Пантеону посмотреть, как идет вербовка добровольцев. И хорошо сделали, что пошли. Даже если на минутку впадаешь в уныние, и то обидно.

Над знаменитой надписью «Великим людям благодарная отчизна» на белом полотнище выведено: «Граждане, отечество в опасности!» Ружья в козлах, украшенные трехцветными знаменами, патронные ящики с нашими республиканскими девизами: «Свобода, Равенство, Братство» — и памятные даты: 1789, 1792, 1830, 1848, 1870.

Перед трибуной кружка для сбора пожертвований на отливку пушек. Мэр объявляет:

— Откроем золотую книгу записи добровольцев V округа.

На площади не продохнешь, народу собралось уйма. Тут и там над толпой высится фигура в кепи—это верховые, офицеры или гонцы. По толпе проходит дрожь,

когда появляется рота национальных гвардейцев в полном обмундировании, с оркестром во главе, с кепи, нацепленными на штык, когда подымается она на трибуну, идущую вдоль всего здания, а особенно когда записывается в золотую книгу. После каждой подписи барабаны бьют поход, толпа кричит: «Да здравствует Республика!» Книг всего двенадцать. Муниципалитет берет под свою опеку семьи добровольцев и торжественно обещает заботиться о них. Каждый солдат получает белую полотняную повязку с красным республиканским треугольником, с синей печатью мэрии и с подписью самого мэра. На оборотной стороне имя и адрес добровольца. Уходя, он оставит эту перевязь родным. Мать или жена, дочь или старик отец, нацепив такой треугольник на грудь, могут повсюду проходить без очереди, будь то мэрия, будь то учреждения, распределяющие продукты или работу, будь то собрания или республиканские праздники — в любое место, на которое распространяется власть муниципалитета. В случае несчастья мэрия придет на помощь женам, подыщет им работу повыгоднее, даст образование детям, независимо от помощи государства.

К оружью, гражданин! Вперед, отчизны сын!

Какой-то буржуа в широкополой шляпе и рединготе расспрашивает блузника, пришедшего записаться в добровольцы. Оказывается, это старший мастер, он не может опомниться от удивления, как это один из его рабочих решается бросить выгодную работу из «патриотизма»!

— Я, конечно, восхищаюсь вами, дружок! Только не удивляйтесь, что я удивлен. Я-то считал, что единственная ваша забота — получать побольше, а работать поменьше. Ну, а этот порыв патриотизма...

Жена рабочего, прижимая к груди младенчика, не обращая внимания на дочурку, цепляющуюся за ее юбку, тревожится, старается увести мужа прочь.

— А не кажется ли вам, что вы немножко запоздали? — Голос старшего мастера звучит уж совсем сладко.— Война ведь не вчера началась. Так вот, дружок, почему именно сейчас?

Я было испугался, а что́, если рабочий ответит ему знаменитым словцом Камбронна *? Но нет, он ответил, как Виктор Гюго: «Потому что сейчас речь идет о Париже!»

И, повернув спину к собеседнику, ушел вместе со своей

женой и ребятишками. Этот пролетарий произнес слово «Париж», как священники произносят слово «Рим».

На обратном пути мы проходили мимо мясной лавки «Картере и К°» — «торговля кониной и кошатиной». Толстяк с засученными рукавами, в белом фартуке отвешивал покупателям мясо, а его дражайшая половина с кротким личиком под кружевным чепцом сидела у кассы. На «специальном» мяснике — так их именуют газеты — было надето кепи Национальной гвардии.

Объявление уточняло: «Скупка животных. Переговоры ведутся только с владельцами. Даем приличную цену».

* * *

Торопыга сообщил нам, какие результаты принес призыв «Отечество в опасности»: один только Париж уже дал в девять раз больше добровольцев, чем вся Франция в 1791 году!

Артиллерия Национальной гвардии насчитывает сейчас шесть батарей. Орудия свезены к Собору Парижской богоматери. Через несколько дней все будет полностью укомплектовано и две тысячи пятьсот артиллеристов-добровольцев смогут начать обучение в артиллерийском училище.

Понедельник, 31 октября.
На рассвете.

Новорожденный Фалля голосил всю ночь. Беспрерывный затяжной крик больного младенца, сплошной крик, прерываемый лишь приступами кашля, и так без конца. Соседи ворчат. Чесноков ругается по-русски, Пальятти — по-итальянски, а Пливариха набрасывается на своего рогача-супруга. Даже Бижу встревожился, упорно бьет копытом, отфыркивается. Будь я в Рони, я бы сказал, что сейчас половина седьмого, хотя и там и тут рассвет одинаково серенький, но здесь уже около восьми.

Думаю, что я проснулся рано, вспомнив усталую мордочку Марты. Когда вчера вечером она от меня уходила, я подметил на ее лице выражение тоски, а в глазах жалостливый блеск. Впечатление мимолетное. Я ее ни о чем не спросил. Все равно она на такие вопросы не отвечает, да и понимает ли она их?

Марта не такое уж типичное дитя парижских окраин. Слишком тонкая, смуглого оттенка кожа, блестящая чернота шевелюры, густая чернота глаз — скорее уже это африканочка, сбежавшая из свиты какого-нибудь кабильского князька. И однако же некая таинственная нить связывает Марту с ее городом, она физически ощущает даже легчайший трепет Парижа.

Первой к колонке подходит Сидони Дюран, жена Нищебрата. Потом плетется к себе на чердак, подгибаясь под тяжестью двух огромных ведер воды. Руссен и Пато довольно вяло отвечают на визгливый лай левретки Филис, ухитрившейся улизнуть из каморки привратницы. Но Мокрица, покачиваясь, как баржа в бурю, быстро загоняет свою собачонку обратно. Еще несколько недель назад в этот час благоухание кофе, шедшее из окон Ларминтона, заглушало вонь тупика. А сейчас либо кофе у них нет, либо он теперь не пахнет кофе; впрочем, и окон-то сейчас никто не открывает, и не только из-за холода: хозяйки уже давно перестали гордиться запахами своей стряпни. На голых ветках каштанов можно насчитать всего с десяток листьев. Сейчас иду на свою гуртоправскую работу, дела пустяк — остались всего телок и корова, но молока у нее чуть-чуть, так что младенчик четы Фаллей сулит нам не одну бессонную ночь.

* * *

Два объявления.

«Правительство национальной обороны сообщает, что господин Тьер, прибывший вчера в Париж, отчитался в своей миссии... о предложении перемирия».

«До правительства только что дошла трагическая весть о сдаче Меца. Маршал Базен со своей армией вынужден был сдаться неприятелю».

Худшее — всегда правда!

Перед этими двумя объявлениями стояли, окаменев, жители тупика и соседних улиц — рабочие, коммерсанты, и в первом ряду аптекарь с мясником.

* * *

В слесарную мастерскую ворвалась Марта.

— Опять взялся бумагу марать! А тут такое происходит! Идем!

Вдруг она умолкает, на пороге стоит господин Жюрель.

— Чего этому окороку здесь надо?

— Совсем, забыл, Флоран,— бормочет, заикаясь, толстяк,— я принес вам несколько су.

Он шарит в карманах и наконец извлекает из их глубин монету в два франка.

— Какие же это су?

Но господин Жюрель уже исчез.

— Вот еще пролаза вонючий!

— Успокойся, Марта. Он же все-таки не бретонец.

— Все равно от него шпиком разит!

Пунь, Пливар, Чесноков, Фалль и Вормье выходят во двор, затягивая на ходу пояса, а в зубах у них ремень ружья. Марта сообщила мне, что Флуранс сейчас ведет где-то горячую дискуссию с Делеклюзом*, Ранвье, Тренке, Валлесом и прочими. Мы бежим в Ратушу.

Страсбург! Мец! Маршал Базен в плену. Тьер вымаливает у Бисмарка перемирие.

Над Бельвилем разносится барабанная дробь. Горнист на улице Пуэбла играет сбор, ему отвечает другой, из предместья Тампль. Лесопилка, типография, даже кузница — все смолкли.

Вторник, 1 ноября 1870 года.

День всех святых. Под мрачным небом Париж, поливаемый дождями, похож на наши души.

Этот день поминовения мертвых я хочу посвятить описанию, в подробностях, событий, развернувшихся с одиннадцати часов 31 октября* до четырех часов утра 1 ноября. Часы, оглушенные зовом горнистов, барабанным боем, криками, пеньем, спорами, беготней, когда мне довелось увидеть вождей партий и министров за делом, стоять с ними рядом, чуть не касаться их.

— Зряшный день,— сказал Предок.

И все-таки в траурном рассвете я чувствую не горечь, а, скорее, жестокую усталость.

Я так и не ложился. Когда я уселся в слесарной и взял тетрадь и карандаш, Марта по обыкновению налетела на меня:

— Чего это ты все записываешь и записываешь, целые дни строчишь!

По ее мнению, ничего интересного в переживаемые нами дни не происходит. Хлеб наш насущный, сама жизнь для Марты не тема для записей. Марта голодна, Марта живет.

Однако в глубине души она гордится тем, что я сижу, сгорбившись над этим дневником. Если она скандалит, то лишь для того, чтобы подавить в себе уважение к учености. С «образованными», уверяет Марта, она робеет, злится за это на них, злится за это на себя. А тут еще, когда я пишу, я ею не занимаюсь: значит, к ее досаде против моих писаний примешивается и ревность.

Постояла, поглядела на написанные мною первые строчки, затем подчеркнуто сладко зевнула и пошла легла на тюфяк. Сейчас она спит, скорчившись, подтянув колени к подбородку.

Удивительная была девушка, только временами вроде ум у нее заходил за разум. И всегда это налетало неожиданно, вдруг. Ничего с этим нельзя было поделать. Все мои усилия избежать ссор и размолвок только подливали масла в огонь, и зрачки Марты угрожающе расширялись.

* * *

— Скажи, Флоран, ты обо мне в своих бумагах тоже пишешь?

Приоткрыла огромный черный глаз. Должно быть, я забылся и произнес вслух последнюю строчку... Но Марта уже спит или притворяется, что спит.

До меня доносятся три глубоких вздоха Марта теперь перевернулась на живот, уткнув лицо в скрещенные руки.

* * *

На сей раз меня прервали Предок с Пальятти, последний в рабочей блузе:

— Флоран, Марта здесь?

— Спит. А что?

— Нам она нужна.

— Она?

— Да, она. Никто лучше ее не знает Бельвиля.

Проснувшись, Марта начала было ворчать, но замолчала, поняв, что речь идет о том, чтобы спрятать Флуранса.

Наша смуглянка произнесла с понимающим видом:
— Идите за мной.
— А я вам не нужен?
— Пока нет, Флоран.
И все. Я уже давно, понял, что все считают меня неудачником. Неужели же теперь я в их глазах еще и подозрительный тип? Пусть идут к чертовой матери, возьмусь-ка лучше снова за свое «корябанье».

Четверг, 3 ноября.

Только и разговоров, что о «перемирии», так именуют капитулянты капитуляцию.

Слухи обоснованные. На Бирже рента поднялась на два франка, продукты питания чудом появляются, словно из-под земли — цены на них якобы упадут после снятия осады на семьдесят пять процентов. Можно купить масло по пять франков за фунт. Сен-Жерменское предместье расплывается в улыбке, там национальные гвардейцы — буржуа из батальона святош — обжираются так, что чуть подпруги, то бишь пояса, на них не лопаются, а Бельвиль тем временем шарит по ящикам — не завалялось ли где что-нибудь съестное.

Порой, собирая наши су, мы заглядываем в роскошные квартиры, брошенные богатыми владельцами и реквизированные не без труда для размещения многочисленных семейств, бежавших из пригородов. Крестьяне-новоселы в мгновение ока сменили свои хибары на шикарные апартаменты. Между бронзовыми с чеканкой настенными часами и люстрой венецианского стекла сохнет на протянутой веревке белье, в будуаре свалено сено, в комодах с медными и перламутровыми инкрустациями хранится зерно, кролики разгуливают по кабинету черного дерева, утки расположились в ванной комнате, куры завладели всей квартирой. Жалкенькие, еще от отцов оставшиеся ходики, трухлявые от червоточины, водружены над секретером, украшенным фарфоровыми медальонами.

* * *

Гюстав Флуранс скрывается в квартире господина Валькло, а весь Бельвиль его охраняет. Стоит какому-нибудь полицейскому переступить за линию, образуемую

каналом Урк, Менильмонтанским шоссе и укреплениями, как о его появлении тут же становится известно, его застращивают и выдворяют без особых церемоний. Эта поголовная настороженность отнюдь не излишня — наш пылкий революционер не из тех, кто сидит себе тихонько в углу. Он хочет быть в курсе всех дел, хочет в малейших подробностях знать о кипении сил народных. Поэтому при нем создано нечто вроде штаба, тут и адъютанты и все такое прочее. Пружинный Чуб, Торопыга, Шарле-горбун, оба Бастико, Маворели и тройка Родюков под началом Марты обеспечивают связь. Предок — тот вроде бы политический советник. Гифес представляет Интернационал. А мне Флуранс оказал немалую честь — взял меня своим личным секретарем. Каждое утро он диктует мне свои заметки — собирается написать большой труд о происходящих событиях. Иной раз он просит меня давать ему отчеты о тех собраниях, где ему было бы неосторожно показываться.

Клуб Фавье
Заседание 6 ноября.

Нынче вечером публика в нетерпении ждет результатов муниципальных выборов, проходивших в воскресенье. Первых ораторов выслушивают рассеянно. Фарадье, старший мастер на лесопилке Серрона, приятный седеющий мужчина, пытается убедить нас, что у хозяев и рабочих, мол, общие интересы. Он перечисляет несколько бельвильских маленьких фабричек, желая доказать, что капиталисты — это иной раз бывшие пролетарии, только более работящие и бережливые, чем все прочие.

— Те, о которых ты говоришь, самая дрянь и есть! — кричит Предок. — Эти бедняки, отрекающиеся от своего класса, готовы на любую низость, на любую пакость, лишь бы их приняли в свой круг буржуа, которыми они восхищаются! Ренегаты! И такие еще опаснее, потому что хорошо знают рабочего.

* * *

— Ну, молодец этот чертов Бенуа! — восхищенно и с нежностью вздохнул Флуранс, когда я рассказал ему, как Предок срезал Фарадье.

* * *

— Все эти мастера только мастера гадить! — проворчал Матирас.— Они там все свалялись с хозяевами!

— Серрон, хозяин лесопилки,— шепчет мне Марта,— наследника не имеет... Смекаешь?.. Значит, Фарадье...

— Мелкие буржуа еще порастленнее крупных будут! — подхватывает Фалль.— Торговцы — это самые что ни на есть подонки! Спросите-ка гражданок, что они им всучивают, когда те простоят несколько часов в очереди и получают на четыре су конской колбасы!

Женщины криком одобряют эти слова, жалуются на подлость людскую, обзывают бакалейщиков, мясников и булочников ворами и хапугами.

Проведя привычным жестом ладони от носа к груди, наш Фалль приглаживает свои висячие усы, потом, вращая выкаченными глазами, продолжает:

— Разве мы этого не видим, даже у нас, в Бельвиле, и уже дня два. Они совсем раскисли от счастья, что перемирие на носу. И хнычут: достаточно мы настрадались, пора кончать!

Кое-кто из женщин в зале признается, что и с них хватит, что они тоже немало намучались и от бесконечных очередей, и от лишений. Супруга Бьенвеню, парикмахера с улицы Рампоно, заявляет, что она, мол, от души рада — неведомо откуда в магазинах при первых же слухах о перемирии появились давно исчезнувшие консервы.

Стрелки Флуранса гневно протестуют:

— А ну, бабенки, марш на кухню!

Кош кричит:

— Смотрите лучше, как бы у вас жеребячья похлебка не убежала!

И все это под смех присутствующих.

Но тут подымается председатель и объявляет результаты выборов в мэрию XX округа.

— Наш пленник Ранвье получил 7500 голосов. Теперь надо выбрать ему достойных помощников. Впрочем, они уже выдвинуты самим народом: это Мильер*, Флуранс, Бланки; подавайте за них голоса, и вы тем самым возьмете реванш за события 31 октября, образумите реакцию! Париж спасет Францию и весь мир.

Неистовое «браво» прерывает его речь.

Армин, бондарь с улицы Лезаж, поддерживает кандидатуру Мильера, «ученого профессора коммунизма, который уже решил социальный вопрос».

* * *

— Вот уж действительно коммунист! — ядовито ухмыляется Флуранс, потом печально добавляет: — Он тоже был бондарем. Надо признать, заслуги у него, безусловно, есть, он стал доктором права, адвокатом, потом журналистом... Но это еще не значит, что его следует считать громовержцем Революции!

* * *

Тот же Армин разоблачает двойственную политику членов временного правительства.

— Они, видите ли, уверяют, будто в Ратуше нас пощадили, тогда как, напротив, это мы проявили мягкосердечье, ибо они были в наших руках и мы имели полное право вершить правосудие, да-да, именно право! Ибо мы могли бы напомнить им великие примеры нашей Революции. Но дайте срок! Наш час придет, наш реванш близок. Все тому свидетельством: и провал переговоров о перемирии, и победа наших кандидатов Моттю, Бонвале, Ранвье!

* * *

В этом месте Флуранс попросил меня сделать следующую вставку в мои записи: «Моттю — один из мэров, назначенных 4 сентября. В отличие от прочих он со всем пылом отстаивал интересы своих подопечных. Понятно, диктаторы отстранили его от должности. Он не угодил церковникам. Посмел, недостойный, говорить о преимуществах светского образования, которое формирует граждан, перед церковным, которое создает подданных. Посмел от имени своего муниципалитета отобрать помещения, занятые Орденом невежествующих монахов, этих подпевал иезуитов. За все эти непростительные прегрешения его сместили, и Жюль Симон, прожженный лицемер, который при Империи создал себе популярность, ратуя за светское образование, остерегся поддержать Моттю. Избиратели XI округа вернули гражданина Моттю в мэрию, которой он так умело управлял».

На трибуне Жюль Алликс*, лысоватый, мрачноглазый, с висячими усами и густой бородкой клинышком, доказывал как дважды два четыре, что силою вещей правительство само свалится в яму, куда намеревалось столкнуть своих противников.

— Что оно сделало? Пыталось заключить перемирие, но потерпело неудачу. И подумайте только, до чего же оно неосмотрительно! Сначала отказало нам в Коммуне, а теперь само дает нам ее, не подозревая об этом. Ведь оно заявило, что, выбирая по его настоянию мэров и их помощников, мы получаем нечто противоположное Коммуне. Ну что ж, мы ответили ему, избрав Ранвье, Моттю, Бонвале, Делеклюза, и еще раз ответим завтра, выставив кандидатуры Мильера, Флуранса и Бланки. Но на этом мы не остановимся; раз правительство пожелало применять закон, существовавший при Империи, придется применять его до конца, ибо если нам разрешено выбрать мэра и трех его помощников, то придется разрешить нам выбрать, в соответствии с тем же самым законом, муниципальный совет в составе пятнадцати членов, чтобы осуществлять контроль. Немножко арифметики. Двадцать округов — это значит триста советников. А мы просили только половину...

В зале смех, рукоплескание.

— Итак, Коммуна у нас будет, наша великая демократическая и социальная Коммуна. Мы расправимся с реакцией, ибо у нас есть Ранвье и Моттю. С вершин Бельвиля и Менильмонтана снизойдет свет и рассеет мрак, царящий в Ратуше. Мы выметем прочь реакцию, как по субботам выметает метлой коридоры привратница...

Веселый топот ног сменяется гулом голосов, ревом.

Когда в зале снова воцаряется тишина, какой-то гражданин просит прочесть вслух опровержение Жюля Валлеса. Реакционные газеты обвинили его в том, что 31 октября в течение тех нескольких часов, когда он был мэром XIX округа, он устраивал оргии и грабил казну. А на самом деле произошло вот что: бельвильцы, находившиеся с ним в помещении в Ла-Виллет, захотели пить (сочувственный смех зала), им выдали на едока по селедке (неудержимый хохот публики), по пол-литра вина на нос и по кусочку хлеба. Вот она и оргия. Жюль Валлес предлагает покрыть эти убытки из собственного кармана.

В заключение Гифес напомнил избирателям XX округа о завтрашних выборах:

— Называйте Мильера, Флуранса и Бланки; эта троица демократии сразит гидру реакции.

* * *

Флуранс вполне удовлетворен моим отчетом. Только мне показалось, что он готов упрекнуть меня за излишнюю подробность изложения. Он сам говорит, что ему вполне достаточно всего нескольких строчек, чтобы представить себе заседание, и я этому верю. Пока я читаю ему свои записи, он ходит взад и вперед по салону господина Валькло, то останавливается лицом к стене и сверлит ее пламенным взглядом своих голубых глаз, потом снова, стуча каблуками, начинает метаться, как тигр в клетке. Время от времени он обхватывает свой огромный лоб тонкими, чуть трепещущими пальцами. Кончики его закрученных усов подрагивают в такт его безмолвным тирадам. И обрушивает на меня град вопросов: много ли было на собрании женщин? Сорганизовались ли они? А ребятишки тоже пришли? Хорошо ли выглядит старик Алликс?

— Впрочем, никакой он не старик,— тут же обрывает он сам себя,— ему чуть больше пятидесяти, но он участник сорок восьмого года, июньских событий, да еще тюрьма, да еще психиатрическая лечебница!

7—9 ноября(?)

После плебисцита и муниципальных выборов *, с тех пор как ходят слухи о перемирии, уже несколько дней не слышно канонады. Словно бы пруссаки стараются обеспечить спокойствие, дабы правительство могло подготовить народ к капитуляции. Тишина, воцарившаяся на фронтах вокруг осажденной столицы, как соблазн, но это ничуть не смягчает гнева рабочих предместий, больше того, они еще отчетливее понимают, что означает подобная тишина. Когда молчат пушки, для буржуа это мир, а для Бельвиля — предательство.

Даже сами небеса на стороне капитулянтов. Вчера, в воскресенье, погода была изумительная. К одиннадцати часам светские дамы наводнили парижские укрепления и

разглядывали окрестности в лорнетки. На шоссе и дорогах беспечно толклись любопытствующие в поисках наиболее подходящего наблюдательного пункта, откуда были бы видны немецкие позиции, уже не внушавшие им более страха. Фотограф, воспользовавшись солнечным днем, снимал панорамы. Но не только чудесная погода приободрила всю эту праздную публику, им уже мерещился вблизи исход, любой исход, а главное — улучшение с продуктами уже и сейчас ощущалось, а для такой публики это второе солнце. Разговоры вертелись вокруг последних меню, рыбы, которую по приказу правительства ловят в Марне и в лесных озерах и уже стали продавать на рынках. Говорили также о «счастливых» результатах плебисцита и выборов, что, по их мнению, доказывало «здравый смысл» Парижа, коль скоро агитаторы, эти «вечно озлобленные люди», в конце концов очутились в меньшинстве, правда, меньшинство это до ужаса бурливое, но зато сидит себе на Монмартре, в Бельвиле и Менильмонтане, и больше нигде.

Пассалас рассказал нам, что творится в министерстве внутренних дел. Каким-то чудом ему удалось удержаться на месте, хотя новый префект полиции провел основательную чистку среди своих служащих. «Таков уж я есть!» — отвечал он на все наши расспросы и все подмигивал левым глазом, подтянутым к виску шрамом, который шел через всю скулу до самого кончика острого подбородка. От него, например, мы узнали, что теперешний префект Кресон призвал к себе служивших еще при Империи полицейских, велел им сбрить усы и обрядил в штатское платье. Тот же Пассалас предупредил нас, какие ловушки префект расставляет повсюду, надеясь схватить Флуранса и Бланки. Итак, нам стали известны причины, по которым генерал Клеман Тома*, новый начальник Национальной гвардии, приказал мобилям, прибывшим из провинции и размещенным на частных квартирах, перейти на казарменное положение в районе фортов.

— Правительство испугалось, что мобили легко сопьются с населением и такого наслушаются, что откажутся стрелять в народ, когда это потребуется...

Теперь замолчала и кузница — нет угля. Глухонемой вместе со своей неразлучной Пробочкой аккуратно посещает мои уроки, сидит себе, такой прилежный, внимательный, улыбается, будто и он тоже может научиться читать. Иной раз он эдакое выкинет, что просто диву даешься.

Как-то утром я возвращался из мэрии XX округа, нес Флурансу папку с нужными ему бумагами и вдруг на Гран-Рю наткнулся на господина Жюреля. Тот проводил меня до самого тупика, у кузницы мы остановились поболтать. Мой собеседник говорил о том о сем, сообщил мне последние слухи, по которым выходило, что переговоры о перемирии провалились. А я думал о Флурансе, который бесится в своем тайнике, поджидая меня с бумагами, и не знал, как бы мне поделикатнее отделаться от господина Жюреля и не рассердить его. Тут на пороге кузницы показался Барден. Он подошел к нам, взял меня за руку и потащил за собой. Причем еще кинул на беднягу Жюреля такой взгляд, что болтун скрылся без лишних слов. А Барден только головой потряхивал и печально глядел, будто просил у меня прощения за грубое свое вмешательство и в то же время упрекал меня за такое знакомство. Да и руку мою выпустил он только после того, как самолично убедился, что мой спутник покинул тупик. Поведение кузнеца было тем более необъяснимым, что обычно-то наш глухонемой великан еще ни разу на моих глазах не выходил из рамок вежливости и неизменного спокойствия. Марта, с которой я поделился своим удивлением по поводу этого случая, тоже не могла понять, в чем тут дело, зато самым подробнейшим образом расспросила меня о господине Жюреле, выудила из меня все, что я о нем знал — а знал я, в сущности, очень немного,— и все это с озабоченным видом, нахмурив бровки. В одном она уверена: если Барден поступил так, значит, были на то у него свои причины...

— Возможно, и были, но какие?

— Сама не знаю, но наверняка уважительные.

— То есть?

— Я своего Бардена знаю.

— Но ведь...

— А вот знаю! Чтобы человека узнать, мне вовсе не обязательно, чтобы он передо мной речи говорил.

Впрочем, за два с половиной месяца я и сам мог полностью убедиться, что это именно так. Марта знала все наперед о людях, больше даже, чем они сами о себе. Например, она говорила: Мариалю плевать на все, на него рассчитывать нельзя, он нас не продаст, но и не поможет ни в жизнь. Когда у Коша не станет работы, он не будет пить мертвую, как многие другие. Будет болтаться между мас-

терской и кабачком не затем, чтобы напиваться, а чтобы людей повидать, столярничать-то он не может, досок у него нет. Беременность жены Нищебрата проходит неблагополучно, как бы Сидони ни била своего супруга, ей все равно ребенка не доносить. Привратница подозревает, что Флуранс прячется здесь, но не волнуйся, никогда она не донесет.

— Это почему же?

— Потому что Мокрица нас боится больше, чем шпиков!

Нередко я заставал свою смугляночку, когда она стояла в одиночестве посреди нашего тупика, и огромные глаза ее, еще более темные, чем обычно, если только это вообще возможно, перебегали от окна к окну, от форточки к форточке, словно бы проникая в скрытую от посторонних жизнь каждой семьи, и видно было, что в эти минуты она болеет их болью, мучится их заботами. Конечно, она тщательно скрывала свои чувства, но я-то тоже начинал по-настоящему узнавать ее, эту девушку ниоткуда, ничью.

Когда же я стараюсь намекнуть ей хоть словом, что я, мол, догадываюсь, что у нее на сердце, она обрывает меня с обычной своей резкостью, отделывается шуткой, в которой самым удивительным образом смешиваются нежность и озлобление.

— А все-таки, что ни говори, Марта, этот тупик для тебя край родной...

— Разве я когда к тебе лезла с твоим железным крючком, о который ты себе всю шкуру разодрал, с входной дверью, которую ножичком изрезал, с деревянной скамьей, которая тебе то скакуном была, то лодкой, то локомотивом, лезла, а? Нет, не лезла! Значит, спаржа, и ты брось мне голову морочить, надоел! Завел свою мужицкую волынку!

Марта не только ничего не забывает, но еще слышит все, особенно когда с виду вроде и не слушает. Добавим, что она к тому же упряма, как арденнский мул! Уж если что вобьет себе в голову!.. Сейчас она злобится, потому что все последние события с 31 октября, переговоры о перемирии, плебисцит и выборы оттеснили в глазах бельвильцев нашу пушку «Братство» на задний план. Наморщив нос, поджав губы, со спутанной челочкой, падающей на глаза, она замышляет какие-то адские козни, чтобы оживить сбор пожертвований.

* * *

Солнце закатилось. Перемирия не будет, переговоры ни к чему не привели. В известном смысле для народа это победа, да, но в каком смысле? Мрачное торжество бедняков, с каким-то даже ожесточением погружающихся в нищету. Раз у них нет денег, чтобы есть вволю и спать в тепле, пусть весь свет подыхает с голоду и холоду...

Мама совсем иссохла. Чуть прикасается к еде и отдает нам половину своей порции вареного риса, даже не сдобренного маслом, а мы бормочем фальшивыми голосами, что, мол, не надо, и в конце концов малодушно принимаем ее жертву.

Ночь словно собрала со всех концов вселенной звезды над великим городом, и он сейчас как узник, бежавший из тюрьмы, которого сразу же, еще в тюремном дворе, схватили за ворот, а он успел только один-единственный раз вдохнуть глоток Свободы. В тусклом, грубом и равнодушном свете предстают перед нами ближайшие дни и недели; крыши мастерских, фасады домов и вилл поблескивают, как сталь штыка. Иссушающая ночь. Как под колпаком.

Только сейчас ко мне явилась Марта в своем зимнем облачении. Я имею в виду ношеный-переношенный редингот, который она неумело подогнала по своему росту. Отрезала баску, укоротила рукава, но все равно талия приходится чуть ли не ниже колен, плечи сползают до локтей, и поэтому у нее какие-то уродливые, коротенькие, как у карлицы, руки. Грубые швы плохо скрывают следы разгулявшихся ножниц. Я просто обомлел при ее появлении.

— Ну как, мужичок, хороша? — спросила она меня игриво и начала передо мной вертеться.

В ужимках Марты не было ни капли иронии. Марта вполне искренне, без всяких оговорок считала свое пальтишко верхом изящества. Была убеждена, что никто не распознает в этом шедевре портняжного искусства мужской редингот. И немало гордилась своим туалетом. Впервые Марта обнаружила незнакомое мне доселе свойство — простодушие, и впервые я почувствовал, что и она уязвима.

Никогда ИМ этого не прощу.

Моя к ним ненависть началась именно с этого. Ненависть, превратившая меня в чистокровного бельвильца. Ненавижу тех, кто может купить себе теплую одежду, скроенную по мерке из добротной новой ткани, купить своим дочерям шубку, кому никогда не бывает холодно по той лишь причине, что они дети богатых, что они избранные. Ненавижу мир тех, кто знает парижские тупики только по описаниям светских журналистов, кто презирает нас и боится, ненавижу их, ненавижу, а не боюсь.

— Что ж, Флоран, ты мне ничего не скажешь?

Тихонький голосок звучал тревожно и настойчиво.

Я бурно выразил свой восторг. Я бичевал себя. Я-то никогда не клацал зубами от холода, никогда не подыхал от голода. Даже не представлял себе городскую нищету! Зима здесь не знает пощады. Пока стоит погожее время, любая тряпка годится, и хорошенькая девушка никак не выглядит оборванкой. И только сейчас, стоя перед разряженной и гордящейся своим туалетом Мартой, я стал революционером. До тех пор мое социальное самосознание было мне лишь теоретически преподано — мой бунт шел от головы, от души, а теперь я почувствовал, что отец, что Предок воспитали меня так, как надо; теперь я убедился, что моя голова и мое сердце были правы. Надо признаться, что у меня сейчас от голода бунтуют кишки.

Сквозь закрытые ставни и дверь из «Пляши Нога» вырывается гул голосов. Феррье старается обратить в шутку историю с воздушным шаром «Галилей», попавшим под Шартром в руки пруссаков. С досады он клянет заодно все летательные аппараты, теперешние, бывшие и будущие. Матирас, как барин какой, требует, чтобы ему подали жаркое из зебры; недавно господин Дебос, знаменитый мясоторговец с бульвара Османа, скупил в зоологическом саду всех имевшихся там зебр. Шиньон рассказывает, как мобили, эти прибывшие в Париж провинциальные битюги, хвастающие молодостью и здоровьем, влипли, гуляя с уличными девками: привезут-таки они в свою Вандею, в свой Финистер и Луаре хорошенькое наследство на память о столице, на сорок поколений с лихвой хватит. Нищебрат толкует о том, что вновь открывается Опера.

Я спокойно перечитывал эти строки, и вдруг все эти запахи, идущие из обжорки папаши Пуня, словно бы защипали мне ноздри. Застарелые запахи табака, пота, грязи, вчерашней похлебки и кислого винца, старая, давно уже забытая смесь запахов, аромат моей юности. И по мере того, как я листаю этот дневник, каждое пережитое тогда чувство и ощущение все явственнее встает в памяти.

Эти десять месяцев — вся моя жизнь. До сих пор я питаюсь ими.

Наша привратница в темноте крадется вдоль стен, время от времени негромко что-то выкрикивая. Она уже отказалась от мысли найти свою сиамскую кошку, а со вчерашнего дня ищет левретку Филис. Мари Родюк яростно стучит ручкой метлы в потолок, потому что как раз над ней Дерновка почем зря кроет клиента, который хотел улизнуть, не заплатив. Но, видно, они поладили, и в тишине слышно только пение Людмилы Чесноковой, укачивающей своего младенца.

— Это их русская песня,— объясняет мне Марта.— Представляешь, степь без конца и края, вся покрытая снегом, а потом колосьями. В песне вот что говорится: «Когда все кругом бело, и ты, малыш, тоже весь беленький, но скоро степь позолотится, и ты, малыш, будешь золотеньким... Я положу тебя голенького под стог, и, когда жнецы в полдень присядут отдохнуть и поесть, они спросят — чей это золотенький малыш, скажут, что никогда ничего красивее не видели... И все тогда будет хорошо, и снова снега окутают землю, но ты уже вырастешь, будешь спать в тепле, на мешке с зерном...» Только по-русски еще красивее получается.

Моя смугляночка в немыслимом своем наряде задумалась и осматривает этот мой каземат, подземелье Дозорного, тем же взглядом, каким рассматривал я перекроенный ею редингот. Куда девалась та наивность, с какой она восхищалась элегантностью своего нового туалета; впрочем, в вопросах элегантности богачи и люди знатные уже так давно поднаторели, что если на эту область посягнет бедняк, то выглядит он шутом или дурачком каким-то. Зато Марта наизусть знает наш тупик, а это преимущество, и немалое. Она узнает младенчика Фаллей по кашлю, она может по силе приступа на неделю вперед предсказать, есть у ребенка шансы выжить или нет. По запахам, идущим из

канавы у колонки, она безошибочно заключает, что парикмахер прогорает со своими париками. Угадывает, сколько заказов получает позументщица и сколько та, что изготовляет искусственные цветы.

Марта подымает воротник своего лапсердака. Пусть он натирает ей щеки, она полна простодушной, непереносимой гордыни. Большие, слишком большие для ее личика глаза, тонкая кожа матового оттенка, буйная грива делают ее в этом наряде похожей на пугало. Дикарочка, силком вырванная из родных джунглей и обряженная сестрицами миссионерками в первое попавшееся тряпье. Словом, что-то совершенно нелепое. **(Вот где самое непростительное расточительство: ум, красоту народа выбрасывают на свалку.)**

В клетке, повешенной в мансарде под окном литейщика, осталась всего лишь одна курица; сами Фалли молчат, но Марта знает, что они скрепя сердце съели в первую очередь петуха, потому что его утреннее кукареканье звучало как оскорбление для проголодавшегося люда Дозорного тупика. В состав знания Марты входило также и искусство обходительности. Одного беглого взгляда, трех запахов и двух шумов было для нее более чем достаточно, чтобы безошибочно определить глубинную суть ночных событий и выразить ее в коротких словах, но к каким прибегала она варваризмам — «людей на измот взяло». Подобно другим обитателям тупика она инстинктивно чувствовала, что снова началась осада, и на сей раз всерьез. И сразу исчезла куда-то глупенькая девчонка, кичащаяся своим отрепьем. В глазах Марты зажигается свет, свет безвозрастный, тот свет, что расходится широкими кругами, как тяжелый звон колоколов, свет, что тревожит и, будто маяк, притягивает к себе своим блеском, затерявшихся в туманном просторе океана.

— Все-таки надо бы, Флоран, что-нибудь для них сделать.

— Да, надо. Революцию.

Марта пожимает плечами.

— Это само собой, но пока-то надо им хоть что-нибудь дать...

— Что именно?

— Чуточку счастья.

— Да за кого ты себя принимаешь?

Она смущенно опускает голову, потом бормочет:

— Но ведь чуточку счастья... самую, самую чуточку... всегда же можно, разве нет?

— Король тоже хотел попробовать жаворонков, а они взяли да улетели...

Она тряхнула шевелюрой, вскинула голову и, сердито взглянув на меня, сказала:

— Ну, тогда пусть раскошеливаются на нашу пушку «Братство», и то радость!

Вторник.

День начинается среди мертвой тишины. Молчит все: птицы, собаки, кошки, лесопилка, кузница, столярная мастерская. Тишина эта как зараза; без ссор и ругани просыпается тупик, где втихомолку жгут в печках для тепла разное тряпье, отчего вонища становится уже совсем невыносимой. Даже Бижу и тот не бьет копытом; теперь он с разрешения Бардена переселился под навес при кузнице, так как угля все равно нет. А телок — все, что осталось от стада мясника, — томится в одиночестве под аркой. Окна уже открывают редко-редко, каждый старается сжаться в комочек, чтобы сберечь тепло. В морозном воздухе из полуоткрытых ртов вылетают облачка пара, люди рысцой пересекают двор, где лошадь и телок кажутся неестественно старомодными, будто доисторические звери, уцелевшие после всемирного потопа.

В ящиках буфетов, в очагах, в кошельках, желудках пусто или почти пусто; зато головы и сердца переполнены, кажется, даже в размере увеличились. Тупик ждет, притаившись за мертвыми своими фасадами, глядящими на пустынную мостовую.

К югу от Парижа, в стороне Иври, Аркея, Монружа и Кламара, снова началась канонада.

Тетрадь третья

Рождество 1915 года.— Почти целый год потратил на перечитывание двух первых тетрадей. Правда, я часто откладывал их в сторону, одолевали иные заботы — эта война, последняя из войн! Неужели же никогда она не кончится? Трагедия остается неизменной — только названия меняются: тогда были пруссаки, сейчас боши. **(Нацисты.)**

Август 1938 года. — Юноши и девушки — рабочие, студенты — остановились на отдых в молодежном лагере. Говорим с ними об Испании. Они направляются туда, везут медикаменты и банки сгущенного молока. Я прочел им несколько страничек — о клубах. Они называют меня «Предок».

Воскресенье, 27 ноября.

За целых две недели ни одной строчки. Постепенно рука и правая кисть начинают действовать.

Париж клацает зубами от холода. Пишу, скорчившись под старым одеялом, сидя на мешке с нашими грошами (который все пухнет и пухнет), засунув левую руку в карман, а правая, ушибленная, вся посинела. При каждом выдохе изо рта вылетает смешное облачко пара. Приходится то и дело бросать писанину, ворочаться, стучать пятками об пол в этой заброшенной слесарной мастерской. Кляну холод, он еще пострашнее пруссаков, холод — надежнейший их союзник! И особенно кляну его с тех пор, как он вдохновил Марту.

День ото дня линяет энтузиазм, разбуженный мечтой о пушке. У добрых людей своих забот достаточно, кишки сводит от голода, а от холода зуб на зуб не попадает. На прошлой неделе полторы тысячи жителей Бельвиля осадили мэрию XX округа, требуя хлеба. *(Вообще распределение продовольствия приводило к настоящим скандалам. «Национальные гвардейцы не стесняются требовать платы с граждан, которым вручают карточки; другие раздают незаполненные карточки кому сами хотят и, наконец, просто бросают их на мостовую...» — признавался Шарль Делеклюз, мэр XIX округа в своем воззвании от 23 ноября. И этот человек великой честности писал еще: «Самые разнообразные ошибки были столь частым и столь скандальным явлением, что не могли быть случайностью, они, безусловно, были инспирированы и направляемы... С другой стороны, небывалые трудности создавала для нас администрация скотобоен, все с той же целью скомпрометировать муниципалитет в глазах населения...»)* После многочасового стояния перед муниципальными лавками наши женщины получают только немножко селедки. Однако духом не падают и бегут занимать вторую очередь, в специальные мясные магазины. И часто можно видеть, как «собачьи мамаши» стоят, держа завернутую в шаль, словно младенца, какую-нибудь собачонку, потому что боятся оставить своего ненаглядного любимчика дома за наглухо закрытыми, даже запертыми на замок дверьми, ведь в наши дни от собачьего лая у людей слюнки начинают течь. Гладят своих шавок, баюкают их, высматривая кусочек поаппетитнее, огузок фокстерьера, гончей или овчарки, во всяком случае, собачий огузок, но ведь убиенного-то она лично никогда не видела — не каннибалы же они в самом деле, чтобы знакомых кушать,— а то и грудинку дога, все-таки пожирнее будет. Понятно поэтому, что бродячих собак сейчас не существует. Марта, Пружинный Чуб, Торопыга, Маворели, Родюки, Бастико, Барден — все надежные друзья и, главное, крепкие ребята — установили дежурство и стерегут Бижу, а он, старый наш коняга, даже вроде помолодел, обожает компанию.

Клуб на улице Аррас вот-вот отольет свою пушку и окрестит ее «Народная». Марта поэтому бесится и орет так, что заглушает своими криками басистый голос «Жозефины», не от страха орет — от зависти.

«Жозефина» — стодевяностомиллиметровая пушка с пятью нарезками, и весит она одна, без лафета, более восьми тысяч килограммов. Мы всей компанией ходили на нее смотреть к заставе Сент-Уэн, где она стоит на куртине бастиона 40. Справа от нее Аньер, слева Мон-Валерьен, над которым вознеслась крепость, и дальше идут садики, дома, улицы Клиши и Левалуа. Заряженное восемью килограммами пороха, это артиллерийское орудие выбрасывает бомбу весом пятьдесят два килограмма двести пятьдесят граммов, включая сюда заряд в два килограмма двести граммов осколков и бьет на восемь километров под углом двадцать девять с половиной градусов. Мы видели, как она била по Оржемонтской мельнице. Под углом в сорок семь градусов ядро летит на десять километров — эта нам объяснила прислуга, состоящая из моряков. Конечно, никогда нашему Бельвилю не сгоношить такое чудо-чудное! Весь Париж уже узнает мощный и торжественный бас «Жозефины», и мы в Дозорном распрямляем плечи, только одна Марта зеленеет от зависти.

— Будем дрова продавать,— как-то вечером объявила она, кинув меланхолический взгляд на наши два каштана.

Уже давно в квартале под покровом ночной тьмы растащили доски, приготовленные для строек, и разобрали все ограды у палисадников. Одно за другим исчезают деревья. Наши два каштана еще стоят целехонькие, а тупик величественно делает вид, что даже не льстится на ветки, сломленные ледяным ветром.

Газеты негодуют:

«...Венсеннский лес гибнет под топором, и, если не принять строгих мер, к концу осады от него ничего не останется. Окрестные мародеры валят молодые деревца, опустошают поросли, рубят направо и налево посадки с невиданной дерзостью и безнаказанностью. Это уже настоящее дикарство...»

— А почему бы и нам?..

Когда стемнело, мы запрягли Бижу. Без особых трудностей мы миновали заставу Трон. Дело в том, что теперь на всех парижских заставах мобилей и пехотинцев заменили национальными гвардейцами и дали им в помощь «питомцев Республики» — юношей в возрасте от семнадцати до двадцати лет, находящихся под командованием Гольца, а с этим народом можно столковаться.

Так как наш кортеж был явно противозаконным, мы постарались проехать как можно дальше от траншей форта Венсенн и углубились в лес со стороны форта Ножан, где, как мы надеялись, нам удастся свалить хоть парочку уцелевших деревьев.

Нам открылся не лес, а настоящее поля боя. Из земли торчали мертвые пни в метр высотой, подобно батальонам, срезанным картечью на уровне колен. Даже не вылезая из повозки, мы почувствовали опасность, растерялись. У ям, где выжигали древесный уголь, стояли часовые. Ветер доносил до нас запахи огня, тлевшего под покровом сухой листвы и дерна. Рядом за посадками шла железная дорога на Венсенн. Марта раздала лесорубам топоры и пилы, взятые заимообразно у Коша. Торопыга, Пружинный Чуб и Филибер Родюк принялись за дело, и, хотя старались они действовать как можно тише, удары топора показались нам громоподобными. Мы зорко оглядывали лесосеку, охраняя «труд» наших товарищей, как вдруг Марта потащила меня за собой — метрах в трехстах отсюда, на насыпи, светилось три огонька. У железнодорожных путей стояла хижина в три окна. Из трубы весело валил дым. Над дверью, видимо, наспех была выведена надпись: «Кашемировый Лозняк».

— Ну и черт! Да принюхайся ты, Флоран!

Марта остановилась как вкопанная, ноздри ее жадно раздувались. Она даже по животу себя погладила. Настоящий запах настоящей хорошей говядины. Не крысы, не кошки, не собаки, даже не лошади... а настоящий аромат мирных и счастливых дней.

— И еще капустой пахнет, — вздохнула дочь тупика.

До чего же быстро забываешь запахи, всего несколько недель, и уже забыл.

— Пойдем посмотрим, что это там за принцы такие...

И хотя мы добросовестно расплющивали носы о стекло, каждую минуту протирая потевшие окна, нам почти ничего не удавалось разглядеть в полутемной комнате, освещенной двумя керосиновыми лампами и отсветами очага. А тут еще изнутри на стеклах оседал парок, так что все расплывалось у нас перед глазами.

— До чего же есть охота! Только сейчас почувствовала... Ух, сволочи! — ворчала Марта, вдыхая запахи, проникавшие сквозь щели в рассохшейся раме.

Огромные носы, клювастые или картофелеобразные, всклокоченные бороды, провалившиеся глаза, крокодильи челюсти, беззубые пасти — каждый из сотрапезничавших призраков обладал лишь одной-единственной из перечисленных примет, но зато поистине чудовищной. Порой такая вот образина подымала от тарелки голову, и тогда в свете лампы вспыхивали глаза ночного хищника. Кожа у них была желто-зеленая, трупная; все вино мира не могло хоть на миг придать живые краски этому сборищу упырей. В ожидании следующего блюда стервятники развязывали свои мешки, хвастаясь добычей. В глубине зальца какие-то тени, сдвинув лбы, резались в карты. Перед очагом шла игра в кости, прерываемая взаимными тычками. Грудастая старуха, какой-то жирный одноногий толстяк, с трудом тянувший свою деревяшку, и длинный костлявый юнец подавали на стол, держа блюда чуть ли не на уровне колен, да еще гнулись вдвое, будто старались скрыть их содержимое. Время от времени старуха или одноногий требовали тишины, взмахивая руками, словно дирижеры какие:

При крике петуха, при пении задорном
Я зажигаю лампу и иду.
И спину гну у печи иль над горном,
А денег не хватает на еду!

Должно быть, эта шутовская оратория исполнялась уже не впервой, и какая! — прекраснейшая «Песнь рабочих», которую пели повстанцы 48 года, и от нее вся эта страшненькая компания дружно заржала. Чета трактирщиков снова замахала руками, снова потребовала тишины:

Но сколько б ни трудились наши руки,
Как бы ни гнули спину у станка,
За весь наш труд, бессонницу и муки
Ждет старости костлявая рука...

Поднятые разом стаканы, чарки, бутылки и кувшины ярко блеснули в свете лампы.

...Так выпьем же, друзья,
Чтоб мир наш стал свободен!..

Вдруг все разом стихает. Стоя у очага, одноногий размахивает парой пистолетов, подымая их над головой, и в свете пламени на стену ложится рогатая тень.

«Лучи зари, зари, встающей над полем битвы, всегда озаряют нагие трупы» — забыл, где прочитал это изре-

чение, но сейчас я воочию увидел мародеров, которые,— у-у, вампиры! — преспокойно добьют раненого ради пары башмаков.

Эти нелюди начали с малого: обирали брошенные хозяевами огороды, правда с опасностью для жизни, под самым носом прусского сторожевого охранения, и все это в потемках, ползком на брюхе, но овощи, если удавалось провезти в Париж, достигали на рынке такой цены, что безобидные воришки превращались в разбойников, пускавших в дело ножи по любому поводу, а то и без повода. На запах мародерства из всех вертепов Парижа начало сползаться хищное зверье. Народная молва утверждала, что на передовых постах французы и пруссаки охотно прибегают к обменным операциям: вся эта шваль таскает им не только газеты, издающиеся в осажденной столице, но и доставляет ценную информацию, за что неприятель расплачивается продуктами или деньгами. Сюда же потянулись прельщенные легкой наживой виноторговцы, открывшие в брошенных домах кабачки. А так как они щедро угощали военных, патрули смотрели на их деятельность сквозь пальцы.

— А что здесь этим соплякам надо?

За нашей спиной раздался хриплый крик, будто на нас налетела огромная летучая мышь. Мы бросились наутек. Нас спугнул крючконосый громила с двумя мешками за спиной, в развевающемся плаще. Мы и не слыхали, как он подкрался к нам. Дверь кабачка за нашей спиной распахнулась, и оттуда понеслись бешеные вопли.

Торопыга и Пружинный Чуб уже свалили каждый по молодому тополю. Под ударами топора старшего Родюка стонал толстый ствол каштана. Остальная мелюзга вязала в связки хворост.

Небо очистилось, и нас залил яркий свет луны.

— Ну и обнаглели, чертово семя!

Посеребренный лунным светом, четко вырисовывался силуэт высоченного громилы:

— Сейчас я вам покажу, от каких дров тепло бывает, ох и покажу, не будь я шаронский Лардон, по прозвищу Кривоножка.

С полдюжины мародеров столпились за его спиной, мерзко хихикая.

Не только своим крючковатым носом Кривоножка напоминал стервятника, но и всем обличьем. Торчащий под-

бородок, подступая к нависшему носу, превращал его лицо в сплошной клюв. Под низким скошенным лбом поблескивали выкаченные глаза.

Тут Кривоножка заметил Бижу, оценил его опытным глазом и повернулся к своим дружкам, среди коих находились и Нос Картошкой, и Крокодилья Челюсть, и Беззубая Пасть, и Седая Бороденка, и Одноглазый; существа без имени, вылезшая неизвестно откуда нечисть, никогда не видевшая дневного света.

— На пятерых! — решил мародер.

Одноглазый — шестой — покорно поплелся в кабачок. Заорав как сумасшедший, я бросился вперед, сжимая кулаки: Кривоножка подбирался к нашему старому коняге с ножом в руках.

Но я тут же рухнул наземь под градом ударов. Крокодил набросился на меня, взмахнув дубинкой. Не помню, что было дальше, потому что я очнулся только в повозке от тряски, а Бижу, словно почуяв смертельную опасность, несся во весь опор. Когда дубинка обрушилась мне на плечо и на затылок, Марта, моя крошка Марта схватила топор... И оттяпала Крокодилу чуть ли не полруки. Тогда вся наша орава, и большие и малые, вооружившись кто пилой, кто топором, набросилась на пятерку мародеров.

— Сумели-таки вырваться и убежать от них!

Шарле-горбун стонал. А Пружинный Чуб злился:

— Возвращаемся не солоно хлебавши.

— Ну, я-то не зря съездила.

— Ради бога, Марта, помолчи!

Бросив на меня презрительный взгляд, Марта отрезала:

— И без тебя обойдутся.

Потом стерла с топора подолом юбчонки кровавые пятна, и при свете луны ее левая нога, обнаженная до самой ляжки, казалась отлитой из бронзы.

* * *

Вот что удалось разнюхать моему кузену Жюлю и его дружку Пассаласу: оказывается, Бальфис заключил соглашение с рестораном «Ноэль Петер», что во II округе. Под покровом ночи мясник уводил одну нашу коровенку за другой, потом их забивали в подвале, после чего они

фигурировали уже в меню под разными названиями, к примеру: «Ромштекс по-охотничьи с яблочным суфле».

Владелец ресторана расправлялся с моими питомицами не сразу, не в первую же ночь. Он их целую неделю держал у себя. Каждое утро кто-нибудь из его служителей выводил корову из подвала через потайную дверь, прогуливал ее перед входом в ресторацию, потом привязывал ее тут же, так сказать, для привлечения клиентуры.

С тех пор как Флуранс скрывается в Дозорном, мы удвоили бдительность, вот этого-то и не знал наш мясник, когда явился за последним телком и собрался вести его к «Петеру». Матирас заметил, что мясник отвязывает веревку. При первых же фальшивых, но оглушительных звуках рожка все дома опустели. Мясник-спекулянт предпочел исчезнуть без шума. Таким образом, бычка единогласно объявили «собственностью Дозорного» и перевели в тупик.

— Мы этого бычка на черный день прибережем,— заключил парикмахер Шиньон, любитель ставить точки над и.

* * *

Канонада стихла к полуночи. Где-то далеко, очень далеко пропел рожок.

— А нынче в лавочке масло по двадцать франков за фунт продавали,— вздыхает госпожа Фалль.

— А я видела кроликов по тридцать франков за штуку,— добавляет тетка.

— За яйцо франк просят. А национальный гвардеец получает в день всего тридцать су,— подсчитывает Адель Бастико.

Они не кричат. Просто переговариваются из мансарды в мансарду, но тишина стоит такая, что даже шепот слышен.

— Масло по двадцать франков фунт. Продавец говорит: «Себе в убыток торгую».

— И про кролика то же сказали.

— Все они так говорят.

— И еще добавляют: «Пользуйтесь случаем! Завтра еще дороже будет!»

— И верно, будет.

Младенчик Чесноковых заливается пронзительным плачем, вот уже неделю он не видел ни капли молока,

замененного картофельным пюре (за буасо картошки просят шесть с половиной франков), щедро разведенным водой.

К писку чесноковского младенца присоединяет свой голос младенчик Фаллей, ребеночек Митральезы, близнецы Пливаров, моя крошечная двоюродная сестренка Мелани, а за ней и все прочие сосунки, за исключением одного сыночка Нищебрата, который от слабости и плакать не может. Весь тупик сейчас думает только о нем.

Час спустя.

Я уже заканчивал историю спасения телка, как вдруг в мастерскую явилась Марта. Притащила две горсти бронзовых монеток. Поверх ее знаменитого редингота накинуто одеяло — оно заменяет ей и платок, и шубу. Снег перестал, но холод собачий.

— Возьми, тетке отдашь.

Три морковки. Бесполезно спрашивать, где и как Марта раздобыла такое сокровище.

— Младенчик Нищебрата помирает.

— Что можно для него сделать?

— Молока достать. Но даже мне не удалось.

Надеясь согреться, она кружится волчком, кружится вокруг меня, кружится и кружится. И, кружась, говорит без передышки. Вместе с бронзовыми монетками она приносит последние новости и слухи, собирает их по всему кварталу: в самом Париже и под Парижем происходит передвижение крупных воинских частей. Движение войск и закрытие застав означает одно: сражение. Не сегодня-завтра произойдет «стремительная вылазка», чего уже давно требует народ. Не верят люди... Трошю кретин, Бланки это прямо сказал.

Марта притащила также и газеты. И советует мне прочесть одну статью, приведшую ее в восторг. Автор требует полного упразднения католицизма «любыми средствами, а главное — силами революции». Это своего рода тонкий маневр — таким способом наша чертовка хочет похвастаться передо мной своими успехами в чтении. Надо сказать, что она действительно прекрасно усваивает мои уроки.

— Куда это ты собралась?

— Здесь еще холоднее, чем на улице!
Прежней близости между нами уже не было.

Понедельник, 28 ноября.

Париж весь как-то оцепенел, хмурится. Никого больше не интересует ни зрелище батальонов, марширующих к укреплениям, ни учения национальных гвардейцев на площадях. И слово «ружье» уже потеряло свой магический смысл, а ведь раньше, услышав его, люди выпрямляли стан, глаза у всех загорались.

Париж закрывает свои ворота в пять часов, парижане — в семь. А в восемь осажденная столица задремывает, прислушиваясь вполуха к отдаленной канонаде. Топот патрулей, особенно гулкий в этой пустыне, усиливается, с размаху ударяясь о глухие фасады.

От недели к неделе улицы освещались все более скупо, а теперь и вовсе фонари не горят: нет газа. Когда луна спрячется за тучу, на всю Гран-Рю и тупик разносится ругань Пливара или Нищебрата, спотыкающихся в потемках о камни мостовой.

Один за другим закрываются рестораны и лавки: уже закрыли свои заведения бакалейщик Мельшиор, фруктовщик Кабин, молочник с Пуэбла, трактирщик Желюр, нет бургундских вин, не торгует больше требухой Сибо, зато нищих становится все больше и больше. Последовав примеру Вормье, Фалли и Чесноковы тоже стоят теперь в очереди на улице Мар и ждут у дверей дешевой столовки под названием «Вулкан Любви», которую содержит некий господин Корнибер. Это уже своего рода падение. Еще неделю назад жители тупика всеми силами скрывали от соседей и друзей свои визиты в муниципальные столовые, а теперь, напротив, с чувством какой-то горькой гордыни во весь голос скликают знакомых, уславливаются о встрече в благотворительной харчевне и чуть ли не с презрением поглядывают на тех, кто еще крепится: «Все там будем, все! Это ведь надолго!»

Вот уже несколько дней как исчез Меде. У входа в арку теперь не маячит его серая согбенная фигура.

Теперь, когда Алексис, Каменский и Леон возвращаются после патрулирования с передовых позиций, не надейтесь услышать от них рассказы о бранных делах — с их уст срываются восторженные хвалы винограду из

Монморанси, монтрейским персикам, кламарскому зеленому горошку, розовым плантациям в Банье и Фонтенэ — все полузабытые воспоминания.

— Банье, Фонтенэ, Шатийон,— вздыхает Алексис,— да там целые океаны фиалок были! Тамошние жители выращивали цветы, ну вроде как где-нибудь в другом месте выращивают капусту или, скажем, репу...

— Капусту, репу...— задумчиво подхватывает весь кабачок.

— А розы, те даже целые деревни заполоняли,— продолжает наборщик.— По фасадам домов карабкались. В Фонтенэ последняя хибарка и та, бывало, вся розами увита. Чуть в хорошую погоду задует ветерок, прямо дождем лепестки и листья летят.

— А сейчас порохом да падалью разит...

— Вюртембержцы нарочно за изгородями гадят, под самым носом. Ядра в фиалковых полях взрываются. Немцы топчут розовые плантации, покрытые снегом. Ни домов, ни садов, ни огородиков — ничего не останется... Не скоро еще Париж увидит свои родные деревни!

Кабачок ворчит:

— Хоть бы знать, что наш Гамбетта затевает!

— А может, лучше не знать.

— Правительству-то все известно, только оно народ в неведении держит...

Нестор Пунь робко замечает, что, может, лучше дождаться ухода неприятеля, а уж потом сор из избы выносить..

— Нет, раньше его надо вынести!

— А иначе пруссаки никогда и не уйдут!

Большинство посетителей подымают хозяина заведения на смех.

— Сор — это реакция,— уточняет Гифес.— Адвокаты, засевшие в Ратуше, лишь покорные слуги этой реакции! Надо от них избавиться. Только Революция может одолеть пруссаков.

— Вот если бы 31 октября удалось, — бормочет Пунь.

— Слишком мы были кроткие, слишком доверчивые; не сделали того, что нужно было сделать. Ничего, теперь сделаем.

— Новый 93-год — вот что нам требуется!

— Придет 93-й, Шиньон совершенно прав! — бросает Феррье.—Будьте уверены, найдутся у нас Робеспьеры и Мараты!

Такие разговоры возникают каждую минуту, в любом месте — в столовке, в очереди перед булочными и еще не закрывшимися мясными лавками, на укреплениях, стоит только троим или четверым оказаться вместе; никогда еще люди не испытывали такой потребности собираться вместе, говорить. Потому что не осталось уже иных средств согреть плоть и душу.

*Из полной неразберихи в головах, смешения личного вклада каждого и сиюминутной эмоциональной реакции в зависимости от характера человека вырисовывались в общих чертах две тенденции: авторитарная и анархистская. С одной стороны, якобинская концепция, централизаторская и воинственная позиция — Шиньон, Ферръе, и, в меньшей мере, Кош, их лидером станет Делеклюз. С другой стороны — примиренческая концепция последователей Бланки, таких, как Гифес и дядюшка Лармитон, сторонников коммунализма и федерализма *. Само собой разумеется, одни оказывали влияние на других, и каждый в соответствии с обстоятельствами мог перейти в иной лагерь.*

Так и бывает во время Революции!

Смертные приговоры Базену и прочим изменникам — Канроберу, Лебефу и Коффиньеру,— вынесенные заочно клубами IV округа и одобренные другими, воодушевляли толпы людей, стоящих в темноте на неосвещенных улицах и топающих от холода ногами.

— «Гражданам предлагается самим привести этот приговор в исполнение».

По инициативе комитета бдительности Ла-Виллета создали Республиканскую лигу обороны, целью которой было беспощадное уничтожение всех тираний и борьба за торжество во всем мире Революции и Социализма.

Гарибальди уже нет в Вогезах, он перебрался в Германию, где Интернационал ждал только его, чтобы провозгласить Республику. *(Выдумка. Откуда только, спрашивается, все эти клубные говоруны сумели выудить такую информацию! Не стоит даже опровергать эти нелепости.)* Спекулянты замуровывают свои погреба, которые они доверху набили всяческим провиантом, надо бы почаще делать обыски. Недавно в одном таком подвале обнаружили полторы тысячи окороков...

Эти слухи словно укрепляющее, настоянное на гневе. Если верить Пальятти — десятки доказательств измены налицо. Правительство согласилось принять услуги легитимиста Борпэра, предложившего начать партизанскую войну, но отказалось разрешить формирование американского легиона, не пожелало иметь дела с Гарибальди, бравшимся освободить Париж от осады с помощью трехсот тысяч революционеров — итальянцев, поляков и венгров. *(Триста тысяч революционеров, свалившихся на этот доведенный до белого каления Париж... можно понять, почему так мялись Трошю и его подручные!)*

— Реакция,— объясняет Гифес,— хочет довести народ до полного истощения, обескровить его, а потом отдать Париж германскому императору!

Все берется на подозрение, вплоть до нового знамени:

— Почему это, скажите, на милость,— подхихикивает Шиньон,— с такой помпой вручали знамя батальону Бельвиля, а другим, видите ли, не дали? Разве не ясно, граждане? Просто хотели поставить под огонь республиканцев предместья. Это отравленный дар наших Макиавелли, засевших в Ратуше.

Короче говоря, все сводит к одному — предательство.

— Если они Париж собираются сдать пруссакам, мы сами его подожжем!

— Не подожжем, взорвем!

— Вот это разговор,— подытоживает Феррье.— Потом проложим себе силой проход среди пруссаков. Так вот, если еще где-нибудь на свете существует уголок, достойный приютить у себя республиканцев, мы там и водрузим красное знамя!

Среди таких вот деклараций и восклицаний вроде: «Париж — священный град Революции», единственное слово подымает людей с места, и слово это — «Коммуна». Любому слуху верят, любой слух повторяют, комментируют без обиняков. Среди нас только двое скептиков: Предок и Марта. Им требуется все увидеть собственными глазами, а если можно, так и пощупать. Оба с одинаковой гримасой выслушивают обычные наши жалобы: «Уже целую неделю голубей не видать!»

«Как хороша была Республика во времена Империи!» Не знаю, тогдашняя ли это острота или нет. Когда моральный дух ослабевал, гарибальдийцы рассказывали нам о

Польше. Бывалые солдаты Революции рисовали нам картины прекрасных дней 48 года. Предок напомнил о военных смотрах, которые Бланки «организовывал» среди бела дня на парижских Бульварах. По сигналу отовсюду сбегались молодые люди, строились в ряды, дефилировали от заставы Сен-Дени до ближайшего перекрестка и успевали скрыться до появления полиции. А на скамейке сидел старичок и поверх газеты, которую он держал в руках, делал смотр своим «сотням», и старичок этот был сам Узник.

Четыре часа пополудни.

Когда я пишу эти строки, бойцы Дозорного возвращаются с учения, плюют, кашляют, с грохотом волочат свои башмаки по мостовой. Идут они молча, лица у всех замкнутые.

Люди Дозорного привыкли к тому, что я вечно что-то царапаю, в любое время дня и в любом положении. Все чаще и чаще они прибегают к моим услугам. Марта буквально не дает мне дохнуть, требуя, чтобы я брал со своих клиентов плату: «Общественный писец — это все равно что доктор или адвокат. Деньги отдашь на нашу пушку». С тех пор как неизвестно откуда пошел слух, что сам Флуранс, «наш изгнанник», не гнушается использовать меня в роли своего личного секретаря, снисходительная улыбка, появлявшаяся на губах соседей при виде меня с листком бумаги на коленях и карандашом в руке, исчезла, сменившись уважением. Порой Мари Родюк, Фелиси Фаледони или Адель Бастико поругивали меня: «Чего это тебе вздумалось ребят грамоте учить? Смотри, плохо это для тебя кончится!» Родительницы, конечно, знали о наших вечерних занятиях и немало этим гордились, просто своими упреками они по-своему выражали радость. «Поглядел бы ты, как они, грамотные дети-то, на свою мамашу-то косятся,— рычала здоровенная Селестина Маворель,— все равно выше головы не прыгнешь».

Около полуночи.

Канонада продолжается, ужасающая, с каждой минутой она все нарастает, все оглушительнее. Длится она уже шесть часов. По словам людей сведущих, по Парижу бьют

одновременно из мортир и пушек, пускают ракеты. Десятки батарей, установленных вблизи Аржантейского и Безонского мостов. И бьют они без передышки, так, что орудия раскалены. Далеко на западе все небо охвачено заревом пожаров, словно встает огненная заря.

Марта чуть не силком вытащила меня из кабачка и велела запрягать Бижу:

— Сейчас стрелки Флуранса идут в бой, пойдем с ними!

— Я бы тоже не прочь, но...

— Боишься!

— Ничуть... только нас ни за что не пропустят!

— А вот и пропустят! Полюбуйся-ка!

Марта развернула женевский флаг *, который, надо полагать, «взяла напрокат» в лазарете, разместившемся в Бельвильском театре. Теперь над нашей незатейливой повозкой развевается флаг с красным крестом. Сверх того наша смуглянка-упрямица имела в запасе десятки доводов, от самых, что называется возвышенных, до самых будничных: мы, мол, будем спасать раненых, спасем и нашего старого конягу... и напоминает мне как бы между прочим, что в последний раз свежее мясо выдавали чуть ли не в доисторические времена.

Я еще не кончил запрягать Бижу, а она уже снова насела на меня:

— Беги скорее к Флурансу, там, должно быть, такое делается! А я тебя здесь подожду.

И я с обычной оглядкой пробрался к нашему вождю-изгнаннику.

В бывшем салоне господина Валькло у стены стояли Предок, Гифес, Тренке, два гарибальдийских офицера и Пальятти. Флуранс размахивал двумя только что полученными прямо из Национальной типографии, еще совсем свеженькими объявлениями, которые пронес под блузой Пассалас: «Положимся во всем на господа бога, вперед за Родину!» Подпись: «Губернатор Парижа генерал Трошю».

И наш пламенный мятежник Флуранс гремел во весь голос:

— Трошю — шуан, католик, ханжа, сын папы Римского и Орейской богородицы, тупоголовый, глухой ко всем новым идеям, ко всем республиканским чувствам. Благородный и великодушный Париж уже не впервые покорно подставляет шею под нож самых отсталых пле-

мен Франции: корсиканцев в лице Бонапарта и бретонцев в лице Трошю.

Флуранс нервно шагал по гостиной и, проходя в очередной раз мимо Предка, сунул ему в руку вторую афишу:

— Видели, Бенуа? Сразу узнаешь нашего Дюкро!

И снова нагнулся над хорошо мне знакомой картой «Общего плана парижских фортификаций в связи с осадой» — план этот был опубликован в сентябрьском номере «Иллюстрасьон», а уж сам Флуранс ежедневно и тщательно дополнял карту: наносил новые линии укреплений, появлявшихся с тех пор, уточнял детали. А тем временем наш дядюшка Бенуа изучал прокламацию генерал-аншефа II Парижской армии и читал отдельные фразы вслух:

— «...Прорвать железное кольцо, охватившее нас... мощное усилие... дабы подготовить ваше выступление... ваш командир предусмотрительно...— н-да, Дюкро — это действительно сама предусмотрительность! — свел в батареи более четырехсот орудий, из коих не менее двух третей самого крупного калибра...— вас будет более ста пятидесяти тысяч хорошо вооруженных, хорошо экипированных...»

— И это еще не вершина его стилистических перлов! — свирепо бросил Флуранс, не подымая головы от карты.

— Ого!.. «Лично я решил и приношу в том клятву перед вами, перед всей нацией: я вернусь в Париж или мертвым, или с победой; вы можете стать свидетелями моей гибели под вражескими пулями, но не моего отступления. Не прекращайте и тогда сражения, отомстите за меня. Итак, вперед... и да поможет нам бог!»

— Опять бог! Вот он, весь тут как на ладони, генерал Дюкро, «величайший стратег современности», и это он-то, фанфаронишка! А может, и еще что похуже.

— Что ты имеешь в виду, Гюстав? — спросил Предок, и в голосе его прозвучала тревога.

— Скажите-ка, отдав неприятелю шпагу в Седанском «ночном горшке», разве не стал Дюкро пленным «на честное слово»? Если стал, значит, бесчестен, его следовало бы сразу же арестовать и выдать пруссакам. Если же пруссаки дали ему возможность убежать, значит, он их сообщник, значит, он шпион и предатель, явившийся в Париж, чтобы нас всех загубить, а тогда его следует расстрелять.

Было ясно, что, по мнению Предка, наш изгнанник зашел слишком далеко. А я просто обомлел. Подобно Фаллю, Матирасу, Вормье, Кошу, даже Феррье, даже Шиньону, подобно всему Дозорному, всему Бельвилю, вопреки всей нашей осмотрительности и опасениям, вопреки исконному недоверию, свойственному рабочему, при всем том способному сразу забыть самые горькие разочарования, я сам верил в пресловутую «стремительную вылазку»... Рожки и горны так искренне пели под гулким небом серенькой холодной ночи в минуты затишья, когда замолкала канонада, что слышно было, как призывали к оружию своих сынов Ла-Виллет и Шарон, Тампль и Бютт-Шомон.

И надо полагать, все это было написано у меня на лице, потому что Флуранс вдруг взял меня за плечо и с болью произнес:

— И ты, ты, бедное мое дитя? Ты тоже верил в победу, верил в планы, выношенные этим тупоголовым бретонцем, пустобрехом-жуликом? — Он повернулся к остальным, голос его дрогнул: — И вы верили, тоже верили?

Все, кроме Предка и гарибальдийцев, опустили головы. Флуранс бессильно уронил руки, поднял глаза к потолку и вздохнул:

— О народ! Само прямодушие и простота! Мой народ, закосневший в нищете и доброте! Никакие уроки не пойдут тебе впрок!

Тренке так и стоял, не подымая головы, но из-за выставленного вперед куполообразного лба вид у него был отнюдь не смиренный, низенький сапожник напоминал сейчас бычка, готового боднуть.

— Кто же спорит, все они святоши и рубаки,— пробормотал он,— вопрос не в том, любит их кто или нет. Но для Дюкро и Трошю война — ремесло!

— И это ты говоришь, Тренке, ты, рабочий-революционер! Да неужели, черт побери, французы так и останутся при своем глупейшем преклонении перед эполетами, до конца дней своих будут млеть перед театральной мишурой, будут свято верить, что война — это некая таинственная, оккультная наука, непонятная непосвященным, и нечего даже думать постичь ее, если ты не щеголяешь в красных штанах...— При этих словах гнев Флуранса упал, горло сдавило от волнения. — Как! Француз до сих пор еще верит в эти бредни! Он воображает, что воен-

ное искусство — это алгебраическая формула какая-то, не поддающаяся расшифровке, и, чтобы разобраться в ней, надо быть посвященным в высшие тайны. Он не хочет взять в толк, что успех приносит, как на войне, так и в обычной жизни, тот же здравый смысл, тот же ум; что военное искусство, как таковое,— не бог весть что, тот же рабочий или коммерсант, если он человек храбрый и сообразительный, став генералом, будет на сто голов выше всех этих выпускников Политехнических училищ или даже Сен-Сира. Мы внушаем себе, что педантичное разглагольствование офицеров — это, мол, основа военной науки, что нелепое нагромождение технических терминов...

Бывший вождь повстанцев Крита не окончил фразы. С трудом переведя дух, он упал в кресло, уперся локтями в карту.

— Допустим, что это так,— отозвался Тренке, ничуть не поколебленный этой отповедью,— допустим. И тем не менее наши два болвана слишком дорожат своей воинской славой, чтобы рисковать поражением. Ведь никто, по-моему, не подбивает их на эту «большую вылазку».

Флуранс был по-прежнему погружен в изучение карты, поэтому он только пальцем ткнул в сторону Предка, словно хотел сказать: «Ответь им ты. Они меня совсем измучили».

Дядюшка Бенуа, не торопясь, выколотил свою трубку о каблук, не обращая внимания на то, что пепел падал прямо на розы и пальмовые ветви персидского ковра, потом взял третью афишу, призыв «правительства национальной обороны» к жителям Парижа: «Вы ждали этой минуты с патриотическим пылом, который с трудом сдерживали ваши военачальники!..— Предок прочел еще две фразы, монотонно, медленно, будто школьник на уроке: — Любое подстрекательство к смутам будет прямой изменой делу защитников Парижа и послужит на руку Пруссии. Подобно тому как армия не может добиться победы без дисциплины, так и мы можем устоять только силою единения и порядка».

Третья, и последняя, фраза, заключительная часть послания, составленного Фавром, Ферри, Симоном,— тремя Жюлями и К°,— как удар топора упала из-под седых усов старика: «Почерпнем же в первую очередь нашу силу в неколебимой решимости задавить в самом зародыше, несущем позорную смерть, семя внутренних раздоров!»

Тренке, Гифеса и всех прочих в мгновение ока будто подменило. Все глаза обратились к Флурансу с одним и тем же вопросом, который вслух сформулировал сапожник, хотя вряд ли в этом была необходимость:

— Что же нам остается делать?

— Драться! — ответил гарибальдийский офицер; он и его товарищ держались молча и неподвижно в тени по обе стороны кресла, где сидел Флуранс.

— Иду,— сказал сапожник.

Легким наклонением своего куполообразного лба он попрощался с нами.

— Подожди меня, Тренке, я тоже иду.

— Что?

Все бросились к Флурансу, первым Пальятти, за ним оба гарибальдийских офицера.

Командир бельвильских стрелков вступил в рукопашную со своими товарищами, отбивался от них локтями, плечами, стряхивал с себя мешавших ему пристегнуть кривую турецкую саблю, надеть свою знаменитую шляпу с перьями; боролся он и физически, и духовно: он, мол, отвечает за этих пролетариев предместья, добровольцев, идущих в бой под его знаменами. Гифес, Тренке, Предок и гарибальдийцы напрасно орали ему в лицо: стоит ему только высунуть нос за пределы Бельвиля, и его тут же схватит полиция! В такую ночь, когда весь Париж воспламенен мыслью о неотвратимости решающего удара, никто даже этого не заметит, его арест ничему не послужит, только ослабит революционное движение как раз в то время, когда оно переживает самый мрачный после 4 сентября период... Полицейские, тюрьма Мазас, военный трибунал — ему, Флурансу, лично на них наплевать, да еще как наплевать; а что касается Революции, то на одного погибшего вожака найдется десять новых! А вот его стрелки — другое дело, он их организовал, их обучил, он преподал им тактику герильи, ее стратегию, не известную кожаным штанам, он сам учился ей с шестьдесят шестого по шестьдесят восьмой год, среди скал и трех гор, среди их снежных вершин, между тремя морями — Эгейским, Ионическим и Средиземным. Даже золотая пена его кудрей и бороды трепетала, когда он извивался, как уличная девка, пытаясь вырваться из цепких рук и схватить свою огромную турецкую саблю. Нет! Ни один полковник не сможет на-

учить его батальоны следовать той методе, какую он им преподал. Его стрелки не понимают традиционную воинскую команду, созданную для оглупления серой скотинки. Усвоенные ими правила дисциплины и порядка ничего общего не имеют с идиотской методичностью казарм и фортов, они, эти правила, революционны по самой сути. Настоящим мятежникам, которых он воспитал, предлагают снова обратиться в тупых служак, да еще под огнем, впервые под огнем.

— Со мною они сумеют обрушиться прямо на голову пруссакам, даже не разбудив их, и исчезнуть до подхода подкреплений. А без меня они пропали, битва для них кончится резней или беспорядочным бегством!

— Есть же командиры батальонов и рот, офицеры твоей же выучки.

— Трошю их всех разжаловал. Так ему легче будет кричать во всеуслышание, что бельвильцы дезорганизованы, что они трусы.

— Но наши командиры там, в строю, и тем хуже для раззолоченых мундиров.

— Где они, Тибальди, Везинье, Верморель, Лефрансэ *, Ранвье? Подыхают с голоду и холоду в казематах Сент-Пелажи!

— Верно, но Тренке, Мильер, Левро, Гифес и другие твои соратники здесь, и твои стрелки пойдут за ними!

Флуранс вдруг перестал отбиваться, рухнул в кресло, обессиленный пробормотал:

— Увы, все это плохо кончится.

И вместо доказательств и объяснений стукнул ладонью по карте, прикрыв своей тонкой кистью, пальцами арфиста, все пространство между Мэзон-Альфором и Нейисюр-Марн.

Его друг Рошфор, сравнивавший Флуранса с «мадьяром, готовым в любую минуту накинуть доломан и вскочить на коня», рассказывает, что Флуранс на его глазах не мог найти дом родной матери в районе Оперы. «Он получил в наследство сто тысяч ливров ренты,— уточняет Рошфор,— но редко когда у него в кармане было двадцать су. Не испытывая особой потребности в пище, отдыхе, сне, он целыми днями бродил по Парижу, даже не вспомнив, что существует определенный час завтрака и еще один час — обеда. Он жил лишь страстным сердцем и

мыслью. До такой степени, что способен был бы голым выйти на улицу, если бы ему не напоминали, что надо надеть панталоны!»

...Батальоны направлялись к Бульварам, еще издали было слышно, как они, пройдя мимо мэрии, достигли перекрестка улицы Пуэбла. Громко звучала песня:

Республика нас призывает
Победить или умереть!

Какая-то непривычная была Марсельеза, будто сотканная из сотен тоненьких голосов.

Француз свою жизнь ей вручает,
Для нее он готов умереть!

Сами стрелки безмолвствовали, они шагали через Бельвиль суровые, притихшие.

А гимн пели женщины, провожавшие бойцов. Стрелки, шагавшие с краю, шли об руку со своими спутницами. Отец прижимал к груди спящего младенчика, укутанного в рваную шаль, а мать неловко тащила за ремень его ружьишко. И почти все женщины нацепили на себя ранцы и сумки, патронташи, скатанные одеяла, чтобы легче было маршировать бойцу до последней минуты, минуты расставания. Солдатки шли в одной шеренге с мужьями, но на расстоянии чуть ли не метра, то ли из скромности, то ли из уважения, то ли по другим каким деликатным мотивам. Шагали они тоже в такт и открыто на любимый профиль не пялились, но ни на миг не теряли его из виду, хоть и глядели искоса. И шли они, таща военную амуницию, до той последней межи, где им был уже заказан дальнейший путь; при каждом неверном их шаге звякали котелки и звонко сталкивался штык со штыком. А волонтеры все шагали, глядя прямо перед собой, окаменевшие, будто были одни, хотя шли локоть к локтю, одни перед лицом неизбежности, перед лицом той, что будет их последней подругой.

Республика нас призывает...

Матери и жены, невесты, сестры, родственницы, подруги, соседки — все эти женщины пели, не слишком громко, казалось бы, каждая для себя — или для него. А рифмованные концы строф гимна выпевали уже дрогнувшим голосом.

Солдаты невозмутимо молчали, вперив взгляд куда-то вдаль.

Страшное получилось шествие.

Вторник, 29.
На рассвете, который никак не наступит.

Пишу эти строки на спине Марты, она мне и пюпитр, и грелка, и спит она, привалившись к моим коленям, уткнув лицо в скрещенные руки, да еще ноги под меня подсунула для теплоты, и вот мы сидим, скорчившись — не разобрать, где я, где она,— на дне нашей повозки, над которой развевается красный крест. Ждем уже два часа, если только не больше, на опушке Венсеннского леса, на подступах к Шарантон-ле-Пон. Никогда, с первого дня творения, нигде, ни в одном уголке вселенной не было так холодно, как в этом сероватом мареве сволочнейшего ноябрьского рассвета. У меня из рук раз пять уже выпадал карандаш, и, когда я нашаривал его, моя потревоженная смуглянка что-то ворчала в сонном одурении, и во мне вдруг пробуждался — правда, всего на две-три минуты — вкус к жизни. Нам-то еще жаловаться грех. Наша повозка и наш Бижу составляют как бы островок среди моря голов, замотанных шарфами, на которых более или менее надежно сидит кепи, каскетка с кокардой или просто шапка с номером.

Ведь только что, а кажется, уже давным-давно я записал дискуссию у Флуранса в «Пляши Нога», где по углам жались в ожидании — ждать... вечно ждать сигнала к пресловутой вылазке — наши стрелки. Я говорил вслух каждое слово, которое писал, а Марта, прижавшись к моей спине, полуобняв меня за плечи, прижавшись щекой к моему уху, совсем сомлела в своей любимой позе. Это «писание вслух» вошло уже у нас в привычку, я изобрел этот метод, чтобы продвинуть свою ученицу разом и в чтении и в письме; и действительно, она уже разбирала мои каракули, не все, а так — одно слово из трех.

Записав всю сцену, я бросил Марте:

— Как ты думаешь, а этот Флуранс чуточку не того?

— Скажи, этого ты не написал, нет?

— Конечно, нет, но все равно он помешанный... Правда?

— Ну и что! Такой же, как все. Временами все вроде сумасшедшими делаются.

И укусила меня за ухо, не очень сильно, просто так, для острастки.

Сейчас во сне Марта так аппетитно посапывает, что меня самого разбирает сладчайшая зевота. Не могу больше. Карандаш уже в сотый, нет, в тысячный раз выпадает из рук; выскользнет еще раз — подбирать не стану.

Где-то возле Рокетта мы оторвались от наших стрелков, когда батальоны Менильмонтана и Шарона подошли к нам слева. Не видим больше ни Тренке, ни Гифеса, никого из 141-го...

* * *

Внезапное пробуждение. Мне почудилось, будто Бижу, закусив удила, понесся во весь опор. А это, оказывается, снова началась канонада. Странное дело! В сонной одури я каким-то непонятным образом перетолковал гул в движение. Зыбь уродливо замотанных голов, размеренный топот — все застыло. Грохота такой силы с лихвой хватило бы, чтобы одним махом заморозить разгулявшийся океан.

Чуть позже.

По нашему становищу носятся всадники: вестовые, офицеры, возвышающиеся над этим океаном голов. Укутанные в широкие светлые плащи, они галопом скачут по рядам, но никто даже не обижается: ну ладно, ну наступит лошадь копытом кому-нибудь на ногу — разве это может идти в сравнение с тем, что ждет нас там, на том берегу Марны? Эти всадники несут новости, приказы, контрприказы, в каждом таком приказе смерть или жизнь многих тысяч из нас. Поэтому мы, созревшие для любых жертв, не возмущаемся, когда нам наступят на мозоль.

Воронье летает с нетерпеливым карканьем, низко, повзводно.

По окружной железнодорожной ветке идут поезд за поездом. А по дорогам движутся артиллерийские обозы, обозы с боеприпасами. Все это длится уже два дня и не может пройти незамеченным для пруссаков.

Проснулась Марта: «Что тут делается?» — спрашивает она, протирая глаза. Ее не так напугала канонада, как

сердитый солдатский гомон. Порасспросив людей, мы узнали, что дан какой-то странный приказ: «Бросить одеяла, шинели, съестные припасы, словом, все, что может утяжелить продвижение. Набить карманы патронами». Забыв о холоде и голоде, люди повинуются беспрекословно. По окоченевшему, топающему ногами воинству разносится острое словцо: «Ну, одеял и хлеба пруссаки нахватают столько, сколько их душеньке угодно!»

«Кашемировый Лозняк».
Ночь *(с 29 на 30 ноября)*.

«Давай зайдем...» — Марта затащила меня сюда. Здесь хорошо. Правда, есть уже нечего, пить нечего, зато в камине, возле которого я пристроился на корточках, жарко горят три толстенных дубовых полена. Одноногий и старая грудастая баба стоят у стены, их трясет, у них зуб на зуб не попадает. Их подручный, юнец, куда-то исчез. Под окном, прямо на земле, коченеет с полдюжины трупов, тут и толстоносый, и Одноглазый, и Крокодилья Челюсть, и всклокоченные бороды — утром их застигли на месте преступления и расстреляли первые проходившие здесь части. То ли мне почудилось, то ли нет, что среди них и Кривоножка, тот, что хотел зарезать Бижу, но я не стал задерживаться.

Марта ушла «за новостями», она твердо решила найти стрелков Флуранса, пусть даже без самого Флуранса. Желая убить время в ее отсутствие, я сейчас записываю самое примечательное, что довелось услышать в этом зале, где набилось столько народу, что пришлось поставить у входа взвод гвардейцев с наказом не впускать никого, даже тех, кто отлучился всего на минуту.

Жандарм объясняет, почему расстреляли мародеров прямо на месте: при них оказалось такое количество съестных припасов, которое они могли получить только от пруссаков в обмен на доставляемые им сведения; один из этих шпионов тащил больше двухсот устриц. Жандарм, кроме того, полагает, что следовало бы расстреливать всех до одного виноторговцев, которые обосновались между пруссаками и нашими аванпостами. У них погреба ломятся от всякой снеди и напитков, пруссаки разграбили занятые деревни и теперь продают еду в обмен на военные тайны.

— В Париже на этой неделе устрицами полакомились по скромной цене — двадцать франков за штучку.

Все взгляды без промаха пригвождают к стене отвратительную чету владельцев «Кашемирового Лозняка».

— Я уже целый час голову себе ломаю, что это за название такое — «Кашемировый Лозняк»? — говорит какой-то старик, по внешнему виду учитель.

Из-под нахлобученного козырька кепи, из-под поднятого воротника старой шинельки доносится чей-то хриплый голос:

— «Кашемировый лозняк» — значит «корзина тряпичника». «Кашемир» — это тряпка. «Гарсон, столик грязный, вытрите, пожалуйста, его кашемиром». На танцульках в «Старом Дубе» хозяин говорит барахольщикам, тряпичникам то есть, которые приходят «вензеля выписывать», то есть танцевать: «А ну-ка, детки, оставьте-ка ваш кашемир в коридоре».

Старичок учитель со вздохом признается, что, мол, век живи — век учись...

Учитель и молодой человек — надо полагать, его ученик,— вспоминают, с каким энтузиазмом создавалась Национальная гвардия и специальные «боевые роты» из самых молодых и самых способных к военному делу гвардейцев.

— Иностранцы, пожалуй, еще больше, чем мы, поражены нашим патриотическим пылом. Один англичанин, Эдвин Чайлд, записавшийся в Национальную гвардию, сказал мне примерно следующее: «Все, что происходит в Париже с момента осады, по меньшей мере чудо. Этот современный Вавилон, прославленный своими модницами и сластями, изготовляет теперь митральезы, обновляет старые артиллерийские орудия, производит ядра, снаряды и порох, целые тонны пороха... В Национальной гвардии сто тысяч прекрасно экипированных отважных людей, лучше не бывает! Это цвет нации...»

Учитель замечает:

— Париж никогда не был так спокоен — никогда еще не было так мало преступлений и правонарушений. Ни убийств, ни краж со взломом, ни воровства, даже драк и тех нет.

Какой-то капрал ворчит:

— Позавчера вечером, когда наши батальоны проходили по Бульварам, толпа рединготников и разодетых

барынь выходила из Оперы. Вы бы их послушали: «Наконец-то начинается «большая вылазка»... Целых два месяца мы этого ждали! О, как это волнительно! Браво, браво, молодцы!»

— Те же кокотки приходили на пустыри нами полюбоваться и потешались над нашими маркитантками: у них, видите ли, широкие шаровары и шляпы с перьями; что правда, то правда, только у наших женщин вместо вееров и сумочек для сбора пожертвований за поясом кинжал и пистолет...

— А главное-то и забыл: на боку у них бочонок с трехцветной кокардой!

У дверей вспыхивает ссора, это Марта хочет войти сюда, хотя никого не пускают.

С 30 ноября на 1 декабря.

Приемная врача — угловая комната, расположенная на втором этаже. Четыре окна. Два выходят на главную улицу городка, два других — на дорогу, петляющую между живыми изгородями и палисадниками; окна заложены тюфяками и яркими разноцветными подушками. Матирас и Бастико дежурят у окон, что выходят на улицу, Фалль и Нищебрат — у двух других, что на дорогу. Пливар крушит кресло, чтобы поддержать в камине огонь. Гифес осматривает оружие тех, кто спит вповалку на ковре.

На кушетке тихонько постанывает Алексис, раненный в живот.

Под одеялом покоится вечным сном Вормье.

Пушка замолчала. Только временами два-три ружейных выстрела вызовут на минуту ответную перестрелку где-то далеко — не то в Вильере, не то в Бри-сюр-Марн.

На нашу беду, доктора здесь уже нет. Очевидно, уехал перед приходом неприятеля, как мы в свое время удрали из Рони. Марта, не слушая ни моих протестов, ни строжайшего запрета лейтенанта Гифеса, отправилась на поиски санитара, который мог бы хоть чуточку облегчить страдания бедняги Алексиса. До нас в доме врача стояли саксонцы и все переколошматили: разбили венецианское зеркало, том за томом уничтожали библиотеку. Даже панели и шторы порубили саблями. Нам посчастливилось раскопать два круга колбасы и четыре солдатских кара-

вая. Пиршество богов. Пишу при свете огарка, который Шиньон водрузил на коробку из-под паштета — увы, пустую.

* * *

Нынче ночью, когда наша черноглазая упрямица явилась за мной в «Кашемировый Лозняк», она уже знала, где находятся бельвильские стрелки. Без особого восторга мы покинули свой теплый уголок у камина, запрягли Бижу, которого оставляли под охраной часового. Старый наш коняга так укоризненно на меня взглянул, что я чуть не бросился просить у него прощения!

— Поторапливайся, Флоран! Наши в Кретейле.

Ночь светлая, ледяная. Небо звездное. В лесу спали десятки тысяч солдат, без одеял, без огня, тесно прижавшись от холода друг к другу. Почуяв еще издали нашего Бижу, лошади приветствовали его коротким ржанием. Порой нас останавливал разъезд или пост. Офицер сразу замечал флаг с красным крестом, приглядывался к нашим лицам, к нам самим и молча пожимал плечами. Иногда, впрочем, спрашивал, куда мы направляемся, но спрашивал просто для очистки совести.

— Какого батальона?

— 141-го, бельвильского, 9-я рота, из Дозорного тупика.

В Кретейле мы плутали больше часа, прежде чем нашли пристройку, куда забилась рота Гифеса. Недолго думая, мы втиснулись в это нагромождение спящих тел и спокойно заснули.

На прозрачно-светлом небосводе рассвет сулит ясный денек...

* * *

Меня подозвал Алексис. Он только о своих очках и беспокоится. Он их посеял, когда его ранило картечью. Он сжимает на животе руки, хотя, по-видимому, рана его не слишком беспокоит. Только жажда мучит. Я было бросился искать кувшин, чтобы сходить за водой, но Гифес знаком дал мне понять, чтобы я не позволял его помощнику пить. Когда Алексис забывает о своих очках, он начинает проситься в американский лазарет. Говорит

он многословно, очень тихо и очень быстро, так, будто у него уже не хватит времени высказать все. Ему, как национальному гвардейцу, приходилось по службе бывать во многих лазаретах, не хочет он туда, он на них нагляделся: врачей не хватает, санитары неопытные, зараза, гангрена... После ампутации никто не выживает. При каждом таком лазарете имеется специальный «барак смерти», куда кладут всех с заражением крови. С пустяковой царапиной на пальце и то живым оттуда не выйдешь.

— ...Я даже в «Гранд-Отеле» был,— продолжает Алексис, пришепетывая,— там теперь самый большой парижский лазарет разместили. Раненых кладут по четверо-пятеро в номерах, где до осады останавливались богатые иностранцы. Номера выходят на галерею, а там мертвых складывают штабелями, по пятьдесят человек разом. Запах страшный. Хирург мне прямо сказал: «Попасть сюда — значит умереть».

Алексис торжественно взял с меня клятву, что я отвезу его в американский лазарет — верит он только нам — Бижу, Марте и мне,— а также непременно отыщу его очки, потом он заснул.

А Марта все не возвращается!

Стравив в камине четвертое, и последнее, кресло ампир, Пливар задремал у огня. Ружейная перестрелка стихает. Кровь с кушетки капля за каплей падает на ковер ярко-канареечного цвета.

У окна, выходящего на дорогу, стоят на страже Фалль с Нищебратом. И чтобы не заснуть, переговариваются вполголоса:

— Я всегда утверждал, что Вормье был настоящий парень, вот уж действительно самая что ни на есть голытьба...

* * *

Последний день ноября рождался среди ледяной ясности. В предрассветном сумраке Аврон, Рони, Ножан, Фэзандри, Гравель и все жерла батареи Сен-Мор начали свой раздирающий уши концерт. Дивизии Бланшара и Рено уже перешли мосты, оттеснив неприятеля к первым отрогам Шампиньи. Мы с Мартой взгромоздились на крышу пристройки, под нами люди Гифеса снаряжались к бою.

Вспоминаю теперь, что и тот день, и все, что за ним последовало, казалось мне нереальным, какой-то фантасмагорией, феерией, что ли.

По приказу Гифеса Марта, Бижу, повозка и я остаемся на месте и по первому зову направимся туда, где в нас возникнет нужда.

Стрелки перегруппировываются на склоне косогора, метрах в трехстах от опушки леса, занятого неприятелем. Гифес с саблей наголо идет в десяти шагах впереди нашей роты. Какой-то офицер, гарцующий во главе батальона, приветственно подымает свою шпагу. Начинается подъем к лесу, уже расцвеченному ружейными выстрелами. Нищебрат спотыкается и падает. Пунь, Фалль и Вормье поворачивают к нему, но он уже поднялся, очевидно, зашелся от бешенства и, конечно, неистово чертыхается, потом рысцой догоняет своих и даже опережает. В лесу под лавиной бомб рушатся деревья, разлетаются в щепы, дрожат, гнутся в дугу. Национальные гвардейцы, одолевая подъем, смыкают свои ряды. То там, то здесь падают солдаты, но кажется, что валятся не люди, а кегли под ударом шара. На мгновение наши стрелки скрываются за строем деревьев. А выше сплошная белая завеса, откуда вырываются облачка, указывая расположение вражеских укреплений. Когда завеса разрывается, мы видим, что рота рассыпалась за деревьями, стрелки Флуранса рвутся вперед, размахивая руками. Впереди Вормье, обогнавший Гифеса, который потерял свое кепи. «Что-то Алексиса не видно»,— бросает мне Марта. Вдруг Вормье, в неудержимом порыве несущийся вперед, падает лицом на землю, раскинув крестом руки. По телу его проходит последняя дрожь, и он замирает. А там, наверху, Гифес и все остальные, пробежав опушкой, исчезли из виду. За ними следует Шаронский батальон.

Проходит полчаса. Наши стрелки выбираются из леса. Они стягиваются не торопясь и отходят. Некоторые по двое несут на руках убитого или раненого.

Они перестраиваются у какой-то ограды, здесь к ним присоединяются отставшие. Какой-то жандарм, проскакав мимо, кричит им что-то. Нищебрат отвечает ему выстрелом из пистолета. Жандарм круто осаживает коня, треуголка слетает у него с головы. Он несется прочь на бешеном галопе. Оказывается, он спросил наших, раненые они или нет. Получив отрицательный ответ, он при-

казал им, пересыпая свою речь отборнейшими ругательствами, снова идти на приступ.

Только что вернулась Марта. Она привела с собой национального гвардейца, но, увы, не врача!

* * *

Национальным гвардейцем, которого притащила с собой Марта, оказался Меде, наш нищий из Дозорного. Поначалу мы его и не признали. С жалованьем тридцать су в день он совсем преобразился. Понятно, что Меде записался в гвардейцы подальше от Дозорного, который видел его с протянутой рукой. Он отмылся, побрился, даже спину разогнул и вступил в Шаронский батальон.

Наш Меде сегодня тоже получил боевое крещение. Пулей ему оторвало половину правого уха. И теперь, с пропитанной кровью повязкой, он счел себя вправе прийти приветствовать бойцов Дозорного.

Марта так и не нашла врача. Она суетится вокруг Алексиса, у которого снова начались боли. Плетет ему какую-то чепуху про какого-то заморыша, о том, какие с ним чудеса происходили, а Пливар тем временем принимается за гардероб — надо же поддерживать огонь. Пунь с Кошем подымают на окнах, выходящих на улицу, жестяные жалюзи, а Чесноков с Феррье и Фалль с Нищебратом — на окнах, выходящих на дорогу. В комнате не продохнешь — такое тут зловоние. По словам Пуня, это от трупа Вормье.

Наши стрелки рассказали о страшной контратаке вюртембержцев и пруссаков, которые шли колоннами, с криками «ура», потрясая ружьями над головой, а за ними двигалось и двигалось подкрепление при поддержке крупнокалиберных орудий. Люди Гифеса цеплялись за лес сколько могли. Наш типографщик, последний среди всех командиров рот, дал приказ отходить только тогда, когда у солдат кончились боеприпасы и когда нависла угроза окружения.

До половины четвертого наши солдаты просидели, скорчившись за той самой оградой, ожидая подкреплений и патронов. Засели они в винограднике, и кое-кому посчастливилось обнаружить там кисти винограда, хоть и промерзшего, но, по их словам, вкуснейшего. А в сотне с небольшим метрах неприятель укреплялся, готовясь

к контратаке. Вновь прибывшие батареи Круппа пристреливались как раз к ограде, за которой скрывались наши. Через несколько минут эта позиция превратилась в чистое пекло. Какой-то капитан подскакал к ним, обозвал их сумасшедшими и приказал отходить к главной площади городка.

Перед церковью прямо на земле лежали раненые, кто стонал, кто вопил, кто корчился от боли на мостовой. Совсем сбившийся с ног врач перебегал от одного к другому. Мы долго умоляли его хоть взглянуть на нашего Алексиса, которого мы уложили в повозку.

— Ему конец,— только и сказал врач и, когда мы спросили, что же нам делать, добавил: — Чем меньше вы его растрясете, тем меньше он будет страдать перед смертью.

Солнце садилось багрово-кровавое. Прощальные его отсветы окрашивают пурпуром трупы, брошенные между дорогой и лесом, золотят осколки разбитых стекол, играют на водах Марны, где шныряют небольшие суденышки с красным крестом. Ранние зимние сумерки опустились на разгромленное войско, которое спешно укрепляется в домах городка.

* * *

Ждем контратаки пруссаков, силы которых значительно превосходят наши. Она непременно начнется на заре.

Гифес отобрал у своих людей патроны. Потом, пересчитав и разделив их, раздал каждому бойцу по три штуки. Вернувшись из батальона, Шиньон сообщил нам, что и речи быть не может ни о подкреплении, ни о боеприпасах, ни даже о пище. Дан приказ не отдавать ни пяди земли. Если неприятель пойдет в атаку...

Шиньон рассказывает также, что солдаты тысячами спят под открытым небом, прямо на земле, даже ничем не прикрывшись. А термометр упал до десяти ниже нуля. Под унылым светом луны люди жмутся к стенам, забираются в воронки от бомб. Им приказано ни под каким видом не разжигать огня. Раненые корчатся от боли, их свежие раны невыносимо горят на холоде. Трупы, окаменевшие от мороза, застыли в предсмертной позе, грозя кулаком белесому небу.

— Пленные вюртембержцы говорят, что нынче ночью пятнадцать тысяч пруссаков стянулись к лесу и готовятся к контратаке.

В доме бакалейщика, что напротив, вопит во весь голос раненый. Под кушетку натекла круглая жирная лужица крови, и отблеск огарка зажигает в ней сотни звездочек.

— Да еще ветер поднялся,— продолжает Шиньон.— Глотку перехватывает, уши как бритвой режет.

Пливар с сосредоточенным видом потрошит комод, он затеял разжечь такой огонь, чтобы чертям в аду тошно стало.

Начинается канонада. Бомбы рвутся в переулках и садиках. На сей раз начали пруссаки. Как ни напрягай слух, не слыхать ни батареи Аврона, ни фортов, ни редутов... Наша артиллерия не спешит продрать глаза. На востоке уже угадывается полоска зари.

— А ну, ребята! Мы должны встретить их в полной боевой готовности,— говорит Гифес каким-то бесцветным голосом.

Фраза звучит как заученная, будто он затвердил ее наизусть.

От взрыва дрожит весь дом врача. Панель, изрубленная саблями пруссаков, с хрустом обрушивается на Пливара, но тот хладнокровно подбирает щепки и швыряет их в огонь. Бомба повредила дом бакалейщика. Раненый уже больше не кричит. В короткий промежуток между двумя пушечными выстрелами слышно хриплое карканье воронья, кружащего низко над землей.

Бастико, Матирас и Фалль вскочили на ноги. Они приникают к окнам, обходят всю комнату, пересчитывают свои три патрона, возвращаются к окнам: сейчас начнется...

В десятый раз Гифес дает последние наставления:

— Стреляйте только наверняка! Подпустите неприятеля хотя бы на двадцать метров и бейте в упор!

Потом быстро командует нам с Мартой:

— А вы, малыши, запрягайте вашу лошадь и сматывайтесь отсюда, если только успеете. Поезжайте на Шарантон через Альфор. Это приказ!

Движением подбородка я даю ему понять, что сейчас, только вот допишу последнюю фразу. Но я тяну. От разрыва бомбы где-то совсем рядом кажется, что наш

дом развалился пополам. Потолочные балки падают поперек комнаты, к счастью, никого не задев. Мы с головы до ног обсыпаны штукатуркой.

— А ты, Меде, с нами остаешься? — спрашивает Гифес.

— Или здесь, или еще где!

Тут наш лейтенант даже багровеет от гнева, потому что мы, «малыши», еще болтаемся здесь. Алексис громко стонет, требуя, чтобы нашли его очки.

Разрозненные заметки, писано на привалах.
Четверг, 1 декабря, или пятница, 2-го.

От всего полуострова, от берегов, равнины и холмов идет глухое стенание. Что это, стоны тысяч раненых, обреченных на муки и испускающих в корчах последние вздохи, или просто это протяжно стонет утроба примарнской земли?

Пушки замолчали одна за другой, когда неохотно занялась заря. Слышны только где-то далеко разрозненные выстрелы, пенье рожка или горна да крики чаек, летящих от Сены к Марне над путями железной дороги на Лион, над фортом Шарантон и над Базельской дорогой.

* * *

Какой-то огромный всадник пронесся карьером к Кретейлю. И круто осадил у нашей повозки.

— Где наши?

— Там, в доме врача на главной улице, напротив бакалейной лавки.

Он снова поднял лошадь в бешеный карьер.

Флуранс.

* * *

В Альфоре пехотинцы сообщили нам, что французы попросили и добились перемирия на двадцать четыре часа, чтобы подобрать раненых. Более четырех тысяч человек пало под Вильером и Кейи.

При въезде на Шарантонский мост нас реквизировал лазаретный хирург. «Красный крест еще заслужить надо!» Схватил свои саквояжи и впрыгнул в повозку.

Человек он оказался остроумный, разговорчивый, звать его не то Жуанен, не то Жувен. Только по каскетке, на которую нацеплена алая бархатная лента с двумя золотыми галунами, можно определить, что он военный врач. Нам он велел держать путь на Жуанвиль и всю дорогу рта не закрывал. По большей части вел разговоры поучительные:

— В хорошем походном лазарете требуется не только хирург с полным набором инструментов, но, увы, необходимы еще две повозки и добрые кони. Вот в чем вся загвоздка... На первый раз заполучить людей — пустое дело, стоит только представить им будущую экспедицию вроде приключения... Так что начинается путешествие весело, с удалью... Только не дай бог нарваться на какую-нибудь драматическую сцену, а ведь они на войне неизбежны... Если вы себе на беду оставите ваших людей хоть на пять минут, вы рискуете не найти, вернувшись, ни одного, и тогда не миновать вам двигаться в одиночестве по способу пешего хождения, да еще тащить на спине мешок с инструментами. А когда отыщете своих, разговор не клеится, на вас еще неприязненно поглядывают с таким выражением, что, мол, ты, голубчик, больше меня не заманишь.

При приближении к Жуанвилю мы вынуждены были тащиться шагом. Все шоссе было забито двумя колоннами, шедшими в противоположных направлениях. В одной красно-голубые мундиры, сверканье штыков — это части, посланные генералом Винуа на подмогу генералу Дюкро. Двигавшийся навстречу кортеж был медлителен и мрачен: монахи Ордена невежествующих в сутанах и черных треуголках по двое тащили носилки с убитыми. Поравнявшись с траурным шествием, солдаты скидывали кепи и что-то бормотали.

Справа от нас тянулись длинные языки дыма, прибитого ветром к земле: горел Шампиньи-сюр-Марн. Здесь нам пришлось пропустить артиллерийский обоз.

Подальше мы обнаружили какое-то странное сооружение наподобие деревянной башни и решили было, что здесь размещен штабной наблюдательный пункт, но оказалось, этот бельведер воздвигли по ходатайству господ Альфонса де Невилля и Эдуарда Датайя, рисовальщиков из «Монд иллюстре». И впрямь мы разглядели обоих художников с палитрами в руках; стоя у своих

мольбертов, они, воспользовавшись минутой затишья, старались изобразить на полотне неоглядную панораму поля битвы.

* * *

Миновали Шампиньи. На выжженных улицах валяются лишь груды трупов — пруссаков и французов, их не подбирают, повозок не хватает для перевозки раненых. Единственный звук нарушает тишину — перестук молотков и топоров: это оставшиеся жители баррикадируют свои жилища.

Заслышав тяжелую рысь притомившегося Бижу, взлетают тучи воронья, однако держатся невысоко. И стоит нам проехать, как они снова обрушиваются на груды застывших от мороза тел, каркают, хлопают крыльями.

— Хорошо, хоть не разлагаются,— процедил сквозь зубы наш хирург.— Нос у меня уж больно чувствительный.

И тут он вскрикнул от боли: это Марта изо всех сил пнула его ногой в лодыжку. Он только молча оглянулся на дрожавшую от негодования смуглянку. Я испугался — ну, будет сейчас история. Но хирург улыбнулся.

* * *

Наконец нам удалось добраться до проселочной дороги, ехать по ней посоветовал главный хирург походных лазаретов, так как, по его словам, за неимением перевозочных средств туда еще никто не заглядывал. На протяжении всего пути в Шарантон, в Жуанвиль, каждый пост рассказывал нам о героизме наших солдат. Впервые после, увы, слишком долгого перерыва мы услышали знаменитые слова «furia francese» [1]. Вчера французы трижды штурмовали высокую ограду парка, превращенного вюртембержцами в крепость.

— А ну, ребята, подождите-ка меня здесь!

Наш хирург схватил флаг с красным крестом и, размахивая им над головой, зашагал по направлению к форту. Ледяной ветер доносил до нас неясный, но размеренный шум, а также смех и обрывки песен — это вюртембержцы продолжали укреплять свои позиции. Какой-то толстяк

---

[1] Французская ярость *(итал.)*.

в круглом, как тарелка, берете, с длиннющей трубкой, свисавшей до самого пупа, показался из-за стены и крикнул нам что-то, чего мы не поняли. Зато жесты его оказались красноречивыми: нам разрешалось подбирать наших раненых. Вслед за толстяком из-за стены вылезло еще несколько солдат, кто с трубкой в руках, кто с пивной кружкой, и молча уставились на нас.

Зуавы и пехотинцы 42-го полка ждали здесь со вчерашнего дня, прислушиваясь к стуку пивных кружек под разухабистую песню про «Одиннадцать тысяч кёльнских дев», принюхиваясь к аромату барашков, телят и поросят, которых немцы жарили целиком на вертеле, разложив костры тут же в парке. Они ждали, лежа аккуратными рядами, расцветив, словно красные и синие галуны, отвороты холма. Это курносая с косой подкосила, уложила их снопами в позе марша — одна нога вытянута, другая чуть согнута в колене.

Нас ждали здесь с пяти часов вчерашнего дня, ждали вольные стрелки, зуавы, пехота, мобили, иностранные волонтеры. Кто молился, кто спал, раскинув руки, два разведчика сидели, поддерживая друг друга, плечо к плечу. Высоченный зуав в чине капрала тянул к нам приветственно руку, черноглазый, раскрыв, как для крика, рот...

— Стойте!

Врач застыл на месте, а за ним мы с Мартой. Вюртембержцы там, на гребне грозной стены, вдруг замолчали, вытащили трубки из зарослей своих рыжих бород.

Раненых здесь не было. Ночной мороз добил всех до одного.

* * *

Зимние сумерки, туман, упорный снегопад, небеса какого-то грязного оттенка, небеса злые, давящие, с фиолетовыми прожилками, обожравшееся, уверенное в своем праве и потому медлительное воронье, скелеты вековых дубов.

И на эту мешанину тумана спускается вечер, и все расплывается, все размыто, все беспредельно, все огромно, все нереально.

Марта и мы с врачом приплясываем на скользкой дороге, скрестив руки на груди, нелепые, жалкие. Нас разбирает идиотский смех. Внезапно пушечный выстрел,

совсем рядом, приводит нас в себя. Мы вздыхаем с облегчением, выпрямляем согнутые спины, идем вперед.

— Тише! — бросает Марта.

Но второго выстрела не последовало. Тишина разрастается беспредельно.

— Слушайте...

Мы поворачиваем голову, вслушиваемся в неясное бормотание. Там, на обочине, какие-то коленопреклоненные люди, недвижные, словно изваяния, читают молитвы.

— Отходную читают!

— Да нет, я о другом! — твердит свое Марта.

Приходится напрягать слух. Сквозь молитвенный бормот мы различаем какой-то слабый стук, даже, скорее, треск, удары клювов. А в небе воронья уже нет.

Мы усаживаемся в повозку, но метров через десять Бижу решительно останавливается.

— А ну, мужайся! В лазарете у нас имеется овес для мобилизованных лошадей!

Но ни мольбы, ни угрозы не способны сдвинуть Бижу с места.

— Я ведь не как Трошю обещаю,— заявляет врач,— у нас действительно есть овес...

— По-моему, нам лучше сойти, он совсем из сил выбился.

Но даже с пустой повозкой Бижу не желает двигаться, сколько мы ни тянем его за узду, ласкаем, подбадриваем.

Но тут Марта, которая даже на колени перед Бижу опустилась, подзывает нас.

Снегом чуть запорошило груду костей, валяющихся поперек дороги. Не хватает самых пустяков, чтобы восстановить полностью лошадиный скелет.

— Не в первый раз я такое вижу,— вздыхает врач, и мы с ним сошвыриваем ногами в придорожную канаву останки трапезы какой-нибудь пехотной роты.

Бижу трогается рысцой, даже не дав нам времени впрыгнуть в повозку. О-вес! Эти два слога еще пробуждают в его памяти что-то далекое.

Разрозненные записи с пятницы 2 декабря
по воскресенье 4-го,
выправленные и дополненные в последующие дни.

Шампиньи. Пробуждение: рушатся потолки, разлетаются в щепы перегородки... Пора удирать подобру-

поздорову. Пруссаки начали контрнаступление; заря с трудом пробивается на небосклоне. Мобили покидают ими же вырытые траншеи на подступах к городку. Что-то будут делать батальоны Национальной гвардии? Я их видел вчера, они расположились у Марны, разбили лагерь, сложили ружья в козлы, дневной рацион хлеба нацепили на острие штыка. Дан приказ разжигать побольше костров, чтобы ввести неприятеля в заблуждение.

* * *

Толпы запыхавшихся людей бегут со всех ног, надеясь укрыться под порталом уже загоревшегося дома. А оттуда мчатся к другому какому-то строению, оно рушится, загорается у них на глазах. Толпа дружно поворачивает обратно и рассыпается.

Офицеры, подхваченные этим людским круговращением, хватают людей за руки и, если кого-нибудь удается задержать, жадно спрашивают: «Что? Отступаем?» Многие солдаты даже не успели обуться. И все как один твердят: «Мы разбиты». Все чаще ложатся рядом снаряды; грохот, толчки, разрывы, пыль, пламя, дым...

Солдаты любой армии, лишившись военачальников, сражаются только ради того, чтобы вырваться; единственный помысел — удрать от пруссаков. Они и между собой дерутся, шагают по раненым, сминают подбежавшего майора.

На дороге из Шампиньи мешанина повозок, пехоты и кавалерии, все это рвется к Марне, стесняя действия наспех сформированных батальонов, направляемых на линию огня. Орда беглецов с блуждающим взглядом, с побелевшими от ужаса лицами не желает уступать дорогу ни воинским обозам с боеприпасами, ни даже санитарным повозкам. Бомбы падают прямо в это людское месиво, падают до ужаса метко.

* * *

Французские пушки брошены в канавы, опрокинуты вверх колесами, но большинство не повреждено; попадаются даже совсем новенькие, с зарядными ящиками и повозками. Артиллеристы, поддавшись общей панике, перерезают постромки у лошадей и удирают верхом.

А мы-то, мы-то, как мы бьемся, чтобы купить себе пушку! Взяли бы здесь любую, нам никто и слова бы не сказал.

— Это было бы не то.

— Почему не то, Марта?

— Это была бы не наша пушка. Не бельвильская. Не «Братство».

* * *

Два огромных амбара забиты ранеными. Лежат прямо на соломе, вернее, на тоненьком ее слое. Двадцать распряженных мулов чего-то ждут. В углу, у стены, валяется труп расстрелянного солдата со связанными за спиной руками. Какой-то майор не отстает от санитаров:

— Мне еще вчера утром раздробило бедро. И даже перевязки не сделали! Что же мне, подыхать здесь прикажете?

А санитары следят только за умирающими. Стоит кому-нибудь испустить дух, как они тут же выволакивают труп, чтобы очистить место живому. Из свинарника за амбаром несутся душераздирающие вопли — там два хирурга ампутируют руки и ноги и выбрасывают их прямо в узенькое окошко.

* * *

Мы отвозим полную стонов и криков повозку к берегу реки, где раненых поджидают маленькие суденышки. Во время этого короткого переезда скончались два гвардейца. Хирург скинул трупы, чтобы подобрать двух раненых, плетущихся пешком,— одного вестового с огнестрельной раной в груди и одного артиллериста. Рука у него висит буквально на ниточке, и хирург не мешкая перерезает сухожилия.

* * *

Набережная Межиссери. Раненых, которых положат в Отель-Дье, выгружают здесь, а тех, кто попал в лазарет Сальпетриер,— у Аустерлицкого моста.

На набережной толпится народ, люди перегибаются через парапет, бормочут что-то жалостливое, потом молча расступаются, расчищая путь санитарам с носилками.

Каждое суденышко привозит свою долю глухих стенаний, прорезаемых пронзительными воплями. Из кают наползают тревожащие запахи пороха, крови, пота, страха и гниения.

До самого вечера по реке взад и вперед снуют суденышки с ранеными. Позади Собора Парижской богоматери артиллеристов обучают обращению с только что отлитыми орудиями.

В окошках омнибусов видны носилки, мертвенно-бледные, растерянные лица. Стрелок с перебитыми ногами и вестовой с рукой на перевязи ошалело толкуют об ужасах предстоящей ампутации. Газетчики пытаются раздобыть хоть какие-то сведения. Два художника делают зарисовки.

Трое офицеров с негодованием рассказывают о «трусости» бельвильских батальонов. Раздается чей-то слабый протестующий писк, смотри-ка, это поднял голос хозяин «Пляши Нога» капрал Пунь. Мы берем его к себе в повозку. Правая коленная чашечка у него раздроблена пулей. Военный врач уверяет, что, чем скорее ампутируют ему ногу, тем лучше. Мы расстаемся с ними у Отель-Дье.

Марта еще загодя вытребовала у хирурга свидетельство от лазарета, и, таким образом, наша повозка, запряженная Бижу, превратилась в санитарную. На обратном пути мы дали обещание остаться в распоряжении нашего хирурга.

По словам Пуня, один гвардеец из Дозорного стрелял в офицера.

— Нищебрат?

— Нет, Фалль.

Розоватый отблеск пожара кладет на ночной небосклон силуэты темных громад Консьержери с ее часовой башней, а пароходики тем временем, разгрузившись, снова бегут в Шампиньи. Мы с Мартой пешком отправляемся в Бельвиль, в ушах гудит от стонов и воплей, руки не сгибаются, ноги не идут, а между нами движется пустая повозка, вся заляпанная кровью.

* * *

На следующий день Флуранс арестован, Пальятти, Меде, Феррье, Леон, Нищебрат, Гифес и Фалль исчезли.

Понедельник, 5 декабря 1870 года.

Чудесный холодный денек. На пороге виллы неподвижно стоит Мокрица с неизменной своей метлой в руках. Выпученные ее глаза перебегают от арки к фасадам, от кабачка к мастерским. Тетушка Пунь подсунула ключ под дверь «Пляши Нога», а сама отправилась в лазарет ухаживать за мужем, которому ампутировали ногу. Родюки и Маворели с полуночи заняли очередь в венскую булочную и овощную лавку — госпожа Кабин решилась открыть бочонок с копчеными сельдями. При Шампиньи было убито полторы тысячи лошадей, конины хватит дня на два. Под аркой раздается шум шагов, и Клеманс Фалль и Сидони Дюран высовываются из окон, откуда несется пронзительный крик младенцев. Но на сей раз это оказался просто Кош, он притащил охапку кривых дощечек, выклянчил в Куртиле остатки каких-то разбитых ящиков. Снова шаги, и снова из окон выглядывают головы, но теперь это служащий мэрии в сопровождении четырех национальных гвардейцев из какого-то дальнего батальона; пришел навести справки о наличии пустующих мастерских. Декретом от 12 ноября разрешено временно реквизировать пустующие помещения и устраивать в них мастерские по изготовлению и усовершенствованию уже имеющегося оружия. Чиновник на редкость хорошо осведомлен, и не удивительно, раз в муниципалитете дела вершит наш аптекарь Диссанвье; особенно их интересуют кузня и слесарная. Барден слушает и ничего не понимает. С тех пор как глухонемой кузнец не ворочает больше своих кувалд, он вроде даже стал меньше ростом и все время зябко кутается в драное одеяло. Мариаль куда-то исчез. Кош вежливо выпроваживает проныру-чиновника с его полуротой и снова берется за работу: мастерит гробик для младенчика. Совсем плох новорожденный Нищебрата; неожиданно умер вчера один из сыновей Пливара, четырехлетний Фелисьен.

Армия возвратилась в Париж.

Батальон бельвильских стрелков распущен.

А Мокрица все стоит на крыльце и глядит в конец Дозорного, откуда доносятся звонкие удары молотка — это Кош забивает последние гвозди в маленький детский гробик.

Среда, 7 декабря.

Париж замело снегом. Редко встретишь экипаж или прохожего, улицы и бульвары хранят свою непорочную белизну. Никогда еще Марта не видела свой Париж таким чистеньким.

Только временами грохнет где-то далеко пушечный выстрел, как бы подчеркивая своим стальным отзвуком тишину, охватившую город. В нашем тупике, на Гран-Рю прохожие жмутся к стенам. Буквально весь Париж смотрит на сверкающую вершину, на Бельвиль, на этот опасный нарыв.

Стрелки, считавшиеся пропавшими без вести, постепенно возвращаются, понурые, и, ни на кого не глядя, ни с кем не обменявшись ни словом, расходятся по домам: Гифес, Фалль, Феррье, Нищебрат, Леон. Пальятти пришел последним. Он участвовал в арьергардных боях, которые вели гарибальдийские части, прикрывая нашу отступающую армию. В конце концов на последнюю перекличку не явился только один Меде. Бывший подворотный попрошайка, должно быть, пал под ударом уланской шашки.

Флуранса арестовали в Мэзон-Альфоре. Теперь он содержится в тюрьме Мазас.

Вот как сам вожак бельвильцев описывает это событие на 190-й странице своей книги «Париж, который предали», где Флуранс, не церемонясь, пишет о себе в третьем лице: «С 31 октября Флуранса разыскивала полиция, а он безвыходно жил в доме одного своего друга. Но, узнав, что его стрелки посланы на передовую, что они вели бой с пруссаками, что трое из них погибли, он не устоял против искушения соединиться с ними в Мэзон-Альфоре. Там он попал в ловушку. Пока он в одиночестве добирался до Кретейля, батальон стрелков получил приказ немедленно возвратиться в Париж. Когда он прибыл в Мэзон-Альфор, какой-то пехотный офицер, командир стрелковой роты, подошел к Флурансу и в самых любезных выражениях пригласил зайти к нему. Не заподозривший ничего дурного, Флуранс доверчиво явился туда; там офицер объявил, что по приказу генерала Клемана Тома вынужден его арестовать, причем сказал все это с краской в лице, стыдясь своей гнусной роли полицейского. Флуранса от-

вели в ближайший форт, откуда переправили в Консьержери, где он провел одну ночь, и наконец отправили в тюрьму Мазас. Таковы наиболее блестящие подвиги французской армии во время последней кампании — пятьсот человек арестовывают одного слишком доверчивого республиканца...»

В очередном «приказе» подробно разбираются случаи недисциплинированности и «трусости» так называемого батальона бельвильских стрелков, распущенного декретом правительства, и уточняется, что: «солдаты этого батальона обязаны в течение трех дней сдать оружие и обмундирование командующему артиллерией 3-го сектора, иначе они будут преследоваться по закону за присвоение воинского имущества...»

Сносят башню на авеню Малаков, которая может служить мишенью для крупповских пушек.

Одна только Марта, которую ничем не проймешь, продолжает потихоньку собирать бронзовые су для пушки «Братство».

(Начиная с 10 декабря.)

Марта — единственное темное пятнышко на непорочной белизне Парижа.

С четверга 8 декабря — густой снег, морозы не ослабевают. Светает поздно, так как ночную мглу сменяет липкий туман. Почтовые голуби приносят вести только об очередном поражении или явно лживые сообщения. Бельвиль никнет, словно его и нет в столице, а столица не узнает самое себя. Одна только Марта все такая же, как прежде.

Даже не похудела, но что она ест — великий боже! Где ест? Когда ест? Холод ее не берет. Где же она проводит ночи без огня? А ведь они, как говорится, тянутся дольше, чем дни без хлеба! Но самое удивительное — это ее взгляд. Хоть бы чуточку потускнел, затуманился... Огромные, черные ее глаза еле вмещают бурление жизни.

Дочь Бельвиля питает таинственный огонь, горящий где-то в самых затаенных глубинах ее существа; о душе и речи, конечно, быть не может, скорее, это инстинкт, своего рода одержимость. Все ее рассуждения ставят вверх ногами любые наши разумные доводы. Сейчас,

когда больше нет ни мяса, ни хлеба, ни дров, ни надежды, ни мужества, ни самолюбия, когда нет даже нашего стрелкового батальона, Марта выбрала именно этот момент для разговоров о пушке «Братство».

— Чтобы пушка была по-настоящему наша, нужно купить ее на собственные денежки.

— На чьи денежки?

— На деньги рабочих, бедняков!

— Да нету у них денег!

— Завалился же где-нибудь последний грошик. Вот его они и отдадут. Им это самим надо.

— Да почему же, почему?

— Потому что наша пушка будет не такой, как другие.

* * *

Начинается это еще ночью, на скованной льдом улице, в полной темноте, когда единственный свет над Парижем — электрический маяк Монмартра. Ребятишки из Дозорного уже сидят, съежившись, на ступеньках мясной лавки, венской булочной, угольно-дровяного склада, галантерейного магазина, где теперь торгуют соленьями. Долгими ночными часами они борются с холодом и дремотой, топают ногами, дуют на пальцы, растирают друг другу ручонки, стучат зубами, хнычут; мордашки у них позеленели от холода. На семилетней крошке Ноно Маворель нет ни одной шерстяной вещи, на десятилетней Фабиене Пливар тоже, на девочках легонькие пальтишки, сооруженные из отцовской холщовой блузы и старой мешковины. К половине третьего утра появляются женщины.

— Одно су на пушку «Братство»!

Дают. Неизвестно почему, но дают. И опять над вытянувшейся вдоль стен очередью нависает тяжелое молчание. На колокольне Иоанна Крестителя отбивают часы. Ближе к рассвету сползаются старики.

— Одно маленькое су на пушку!

И эти тоже дают. И тоже неизвестно почему. Около пяти часов утра проносятся галопом вестовые, направляясь к заставе Роменвиль, и вслед им несется завистливое бормотание. Наконец в восемь часов госпожа Жакмар открывает ставни.

— Одно су...

— За кого это ты меня принимаешь?

— Да нет, я просто проверить хотела...

Булочница ничего не дает. Этого нужно было ожидать, Марта это-то и предвидела. Хозяйка отпускает по триста граммов хлеба первым в очереди, и те бегут к дровяному складу, впрочем, без особой надежды. Занимается день.

— Одно су...

— Держи, малышка! Тебе повезло, я вчера свою шубу в ломбарде заложил.

Внезапно начинается канонада — на севере у Сен-Дени. Женщины обшаривают карманы с таким видом, будто их маленькое су может ответить на обстрел.

* * *

Часто по утрам я чувствую, что хватит с меня Марты и ее блажи. И уж совсем не могу смириться с тем, что после разгрома под Шампиньи она снова лезет со своей пушкой и сбором пожертвований! Мне эти бронзовые монетки кажутся теперь просто смехотворными... Твержу про себя: «Ладно, болтай!» А если я и уступаю, то злюсь на себя, потому что уже не верю.

А к ночи снова начинаю верить. Пересчитываю су; дело идет медленно, они ведь тяжелые. Из трех дюжин монеток, собранных сегодня, я штук восемь узнаю с первого взгляда.

Эту блестящую монетку я прозвал «Бланки». И вот почему: давший мне ее Кош объяснил, что газета Бланки «Отечество в опасности» перестала выходить из-за недостатка средств. Так пусть су на пушку пойдет. Монетка ярко блестит, потому что столяр непрерывно вертел ее в своих мозолистых пальцах, с тех пор как узнал о безвременной кончине бланкистской газеты.

А вот «перечеркнутый император». Кто-то крест-накрест процарапал чем-то острым профиль Баденге. «Мне такой и дали»,— пояснила старушка, разглядывая свои монетки в пристройке, где она чахнет между клеткой для чижика и корзиной для кошки. И клетка и корзинка уже давно, видать, пустые. «Ох, уж эта война»,— жалостливо вздыхает старушка.

А одно су до сих пор еще влажное. Хозяин отошел в глубь комнаты и оттуда крикнул мне, чтобы я открыл

дверь и ждал на пороге. Был он молодой, с блестящими глазами. Бросил су в ведро с водой и вместо извинения сказал: «У меня оспа. Выловите монетку и протрите ее хорошенько...»

«Черепица». Ее вытащил из кармана землекоп-великан. Только-только собрался он мне ее вручить, как на крыльцо мэрии вышел дядюшка Вильпье и прочел депеши, извещавшие о разгроме под Туром и Буржом. Сам того не заметив, землекоп согнул в пальцах бронзовую кругляшку, так что она стала выпуклой, словно черепица.

Другие монетки носят уже старые отметины, и, однако, перебирая их, я вспоминаю молодую вдову, подмастерье в лихорадке, ворчуна-машиниста, каменотеса, ломовика, словом, всех тех, кто мне дал эти су. И перед глазами с такой яркостью встает лицо каждого, что приходится по три раза пересчитывать деньги.

Одни монетки блестят, отполированные десятками рук, они стали совсем как золото, потому что долго звякали о соседние в карманах; есть тусклые, есть стертые, есть старые су, обнаруженные в ящике шкафа после упорных поисков, есть прогнутые, падавшие из окон верхних этажей, переходившие из одной деревянной чашки в другую, с одного двора на другой...

Жалким своим умишком я, кажется, нашел объяснение, почему сбор пожертвований переживает сейчас, если можно так выразиться, вторую молодость. Бельвиль, видно, хочет таким путем смыть пятно позора, которым пытались заклеймить его стрелков. После нескольких недель сбора я убедился, что эта мысль самим бельвильцам и в голову не приходила. А дают они потому, что это дорогого стоит, может, именно потому. А может, просто потому, что ничего другого им делать не остается.

— Пусть дают свое су, особенно если оно последнее,— твердит Марта, даже не меняя тона.

— А почему ты с них крови не требуешь, чего стесняться?

— Крови? А это попозже. Всему свое время.

И она не шутит. Я бросаю Марте:

— Да ты их ненавидишь, что ли?!

Марта подтверждает мои слова молчаливым наклоном головы. Плечи ее не дрогнули, она даже не злится.

— Марта!

— Видишь ли, Флоран, так им легче...

А вот это су с зелеными точечками дала Зоэ. Прежде чем вручить его мне, она обтерла монетку кончиком фартука, привычно предупредительным жестом прислуги.

Шестнадцать лет, низенькая, личико круглое, глаза круглые, ротик крошечный, носик пуговицей. Зоэ прошлой весной бросила свой родной Пэмполь и поступила к мэтру Ле Флоку. После их деревенской лачуги и полевых работ жилище адвоката на авеню Королевы Гортензии показалось ей прелестной бонбоньеркой, а должность горничной — приятным времяпрепровождением. Юная Зоэ уже сейчас ясно представляла себе весь свой жизненный путь, ровный, гармоничный, в конце которого ее ждал кружевной чепец и серебряные букли, как у Клеманс, старой кухарки, поступившей еще к деду теперешнего мэтра Ле Флока и позволявшей себе поэтому, прислуживая хозяевам, брюзжать под нос. В начале осады Адриан, лакей, и Паско, кучер, ушли в мобили. А на прошлой неделе хозяйка заявила Зоэ: «Бедная моя девочка, мы теперь не можем вас прокормить. Очень жаль, придется обходиться без вас».

Первый снегопад стал последним днем жизни старухи Клеманс, жизни достойной и примерной; она скончалась в три часа утра, стоя в очереди перед английской булочной. Назавтра Зоэ очутилась на тротуарах Парижа. Впрочем, не одна она. В одиночку и группами «лишние рты», то есть бывшая барская прислуга, слонялись по Отейю, Терну, Нейи, вокруг церквей Сен-Филипп-дю-Руль и Сен-Сюльпис. Гонимые холодом и голодом, субретки распродают, как могут, все свое добро, сначала узелок, а потом и все прочее. Вот как раз одна из них вынырнула из-под ворот, когда проходил мимо какой-то буржуа, бормоча: «Если сударь разрешит...»

Так вот Зоэ, уже выбившаяся из сил, добралась до Бельвиля. Марта буквально вырвала ее из рук мясника, который валил девочку в комнатке за лавкой, увешанной связками сарделек.

— Да оставьте вы меня, мне есть хочется! — отбивалась от нас бедняжка.

Я был просто восхищен поступком и стихийным порывом Марты, но она тут же прервала мои излияния:

— Пускай эта дуреха хоть с целым эскадроном гвардейцев путается, но чтобы эта тварь мясник ее трогал — жирно будет!

В дальнем углу слесарной мы устроили ложе. Даже отыскали где-то две горбушки и чуточку риса с салом на дне котелка.

Наевшись и отогревшись, Зоэ перестала хмуриться и трусить. На смену пришли рыдания. Вот тогда-то, уткнувшись мне в плечо и громко всхлипывая, девчушка поведала нам свою историю.

— Ох, уж и скотье эти буржуа!

— Вовсе нет,— запротестовала Зоэ.— Госпожу тоже понять нужно, что ж она-то могла поделать! Разве я сама это не понимаю? Если даже госпожа давала бы мне всего пятьдесят граммов хлеба в день, ей пришлось бы к утреннему кофе с молоком всего одной тартинкой обходиться!

Вдруг Зоэ замолчала, уставилась на нас. Не могла взять в толк, почему это мы с ней возимся. Она с радостью отдала бы за нас жизнь... Ей хотелось предложить мне, нам всем предложить... Как раз тут тройка Родюков притащила собранные ими на пушку су. Тогда Зоэ порылась в кармане и протянула мне монетку, машинально обтерев ее, пытаясь уничтожить серо-зеленые пятнышки, и от этого ее покорного жеста пахнуло застарелой привычкой рабства. Эта монета была все, что осталось у нее от шести су, которые бросил ей скрюченный подагрой привратник, испортивший нашу подопечную под лестницей в подъезде дома № 26 по авеню Короля Римского. Пять су ушло на покупку солдатских галет, которые она приобрела у какого-то гусара — тот больше ничего от нее не потребовал.

Середина декабря. (Забыл поставить дату.)

Ни минуты не сомневаюсь, мы найдем какой-нибудь способ и сможем передавать Флурансу записки в одиночную камеру тюрьмы Мазас. Некоторые заметки могут ему пригодиться.

* * *

Клубы. Все здесь уныло. Плохо освещенные и совсем не отапливаемые залы. Народу мало. Приходится долго упрашивать добровольцев выступить с трибуны! Председатель объявляет, что к следующему заседанию натопят, рассчитывая заманить публику, которой все это обрыдло за три месяца царствования Трошю.

* * *

Зал Фавье. При первом же упоминании о роспуске стрелков Флуранса поднимается ропот. В общем гуле тонет начавшаяся дискуссия. Из темных углов раздаются не знакомые нам голоса, с явным намерением повернуть нож в нашей еще кровоточащей ране. Пассалас пронюхал, что это орут агенты-провокаторы префекта полиции Крессона, которых спасает только отсутствие свечей.

Плотник взрывается:

— В наши ряды проникли мошенники и шпики с намерением обесчестить Бельвиль. Нас хотят довести до крайности. Граждане, будьте бдительны! Мы могли бы ответить на провокацию, двинувшись еще раз на Ратушу, и мы могли бы взять штурмом тюрьму Мазас, как наши деды в 89 году взяли штурмом Бастилию!

В силу какой-то странной магии дискуссия начинает разворачиваться серьезная, все присутствующие, взвешивая каждое слово, принимают в ней участие с одной-единственной целью — иного объяснения не знаю — быть достойными Бельвиля; дискуссия логически заканчивается решением созвать собрание, дабы стрелки и их командиры могли дать объяснения.

После 20 декабря.

Снег по-прежнему валит и валит, а когда перестает, то сразу холодает и свежий покров смерзается, покрывается ледяной коркой. Вверх по Гран-Рю можно подняться только на четвереньках, а спускаемся мы на заду. Из-за этой гололедицы, чтобы не уронить гроб, трупики детей носят прямо на руках, словно они еще живы, чаще всего несет отец, прижав к груди, а его самого держат с двух сторон приятели, один опирается на палку, а другой свободной рукой цепляется за любой выступ стены. Шествие замыкает самый близкий друг, он несет пустой гробик с крышкой, а также непременно до самого кладбища процессию провожает Кош с сумкой, где у него лежат инструмент и гвозди. Вот каким способом отлетают ныне в небеса бельвильские отроки и отроковицы. Положение во гроб происходит на кладбище, и вся семья стоит кругом, считая своим долгом оставаться до самого

конца, вздрагивая от каждого удара молотка, бьющего по шляпке гвоздя. Потом гроб относят к стоящим в ряд гробам, которые ждут своей очереди на захоронение, а оно может состояться лишь при том условии, что зима смилостивится, потеплеет хоть бы на два-три градуса и земля немного оттает.

Моя двоюродная сестренка Мелани, восьми месяцев от роду, умерла. Тетка пожелала сама нести свою единственную дочку на кладбище. Мама, Жюль, Предок, Пассалас и мы с Мартой брели по гололеду чуть ли не вприпрыжку, а скорбящая мать хоть бы поскользнулась, вот уж действительно mater furiosa [1].

Кош отправился на улицу Туртиль. Наш столяр надеется выклянчить у бочара или на лесопилке несколько досок, чтобы сколотить гроб для тринадцатилетнего Дезире Бастико, который при смерти, у него чахотка началась еще при Империи! Элоиза Бастико оправдывается:

— Вот уже два года доктора, как сговорившись, твердили: необходим горный воздух, кровавый бифштекс... Мы для него все, что могли, делали, даже больше, чем могли!

Не меньше десяти человек корчатся от боли и орут на всех этажах в Бартелеми на улице Опуль. И орут не от голода и не от холода, а от несварения желудка. Набили себе живот хлебом, с виду вполне аппетитным, купили его у разносчика, которого с тех пор так никто и не видел.

* * *

Предок, Жюль и Пассалас возвращаются на омнибусе с похорон матери Бланки. Префект полиции решил воспользоваться подходящим случаем. И наказал своим лягавым: «Ясно, что Бланки пойдет за гробом матери. Приказываю следить за домом покойной; смешаться с похоронной процессией, беспорядков не чинить, маломальски ловкий человек найдет случай вручить этому неуловимому фанатику повестку об аресте, датированную еще позапрошлым месяцем...»

Но наша контрполиция Рауля Риго * взяла похоронный кортеж под свое наблюдение, она опознавала аген-

---

[1] Неистовая мать *(итал.)*.

тов префектуры и следовала за ними по пятам. Их начальника окружили плотным кольцом вооруженные национальные гвардейцы и выпустили только тогда, когда Узник, как положено, проводил свою мать к месту последнего успокоения.

В неровном полумраке зала Фавье горячо обсуждается вечный вопрос: поголовная реквизиция, обязательное повсеместное распределение продуктов. Гражданин Болонь заявляет:

— Следует реквизировать все съестные припасы как у частных лиц, так и у торговцев; потом распределять их поровну бесплатно для бедных, за деньги для богатых.

— Неужто всегда будут бедные и богатые? — слышится чей-то робкий вопрос.

— При королях всегда, вот при Коммуне — другое дело!

Сейчас Бельвиль, как никогда, упорно требует Коммуны.

— Как 31 октября,— рокочет кто-то.

— Если бы Бельвиль не устроил 31 октября,— восклицает Бледный, он же Габриэль Ранвье,— реакционеры и предатели заключили бы перемирие и Республика погибла бы после наступления мира. Именно 31 октября дало первый толчок к сопротивлению, принудило правительство выйти из состояния бездействия, но правительство это — правительство реакционеров и иезуитов — совершало ошибку за ошибкой, один акт предательства за другим; оно отдало Республику в руки реакции и оставило армию под командованием генералов-бонапартистов. Подумать только, что Луарская армия полностью зависит от какого-то Ореля или Бурбаки *, главное, от того самого Бурбаки, которого даже газета «Сьекль» — а «Сьекль», да было бы вам известно, уж никак не назовешь республиканской газетой! — так вот, «Сьекль» обвинила его в пособничестве изменнику Базену! Будь у нас, как в 93 году, генералы-республиканцы, кольцо осады Парижа уже давным-давно было бы прорвано. Вот почему нам нужна Коммуна, она вернет нам 93 год, а 93-й вернет нам победу!

— А еще нам нужна постоянно действующая гильотина!

Это крикнул с места Шиньон.

* * *

Марта не дает нам ни отдыха, ни срока. Пока есть возможность постучаться еще в одну дверь, пока нам еще может повезти и мы встретим хоть одного прохожего, неумолимая смугляночка даже и слышать не желает о возвращении в тупик. Наши сокровища ни на минуту не остаются без присмотра. С первого же дня появления Зоэ мы назначили ее сторожем. По словам Марты, молоденькая служанка настоящая размазня, и где уж ей собирать деньги, зато она действительно честная и ни гроша не возьмет. И пусть себе, как китайский болванчик, сидит на мешке с деньгами.

Вчера вечером, когда мы с Мартой возвращались домой, я, едва мы миновали арку, сразу учуял беду, возможно, потому что в окнах слесарной мастерской промелькнула при свете огарка какая-то тень, а кроме того, потемки всегда как-то угнетающе действуют. Чем становится холоднее, чем раньше смеркается, тем скорее цепенеет Бельвиль, как боязливый зверь. Каждый в своей норе, скрючившись под грудой тряпья, гложет страшненькую дичину, приготовленную по непотребным рецептам и припахивающую помойкой. В Дозорном тупике смолкла былая возня; надо обладать действительно тонким слухом, чтобы уловить терпкие шорохи невидимок. Без передышки все долгие ночи напролет тупик скрежещет зубами; сквозь двери и ставни доносится этот скрежет зубовный.

Мы ускорили шаги; когда мы вбежали в мастерскую, в первую минуту увидели на полу что-то черное. Это оказалась Зоэ, она стонала, губы ее были рассечены в кровь: Бастико собирался украсть медяки, собранные на пушку «Братство»!

Я ринулся вперед... Ребром ладони медник отшвырнул меня к противоположной стене, где я рухнул на пол, почти в беспамятстве; вовремя ускользнувшая Марта бросилась созывать мужчин. Сбежались Нищебрат, Каменский, потом Матирас. Гигант Бастико стоял, сбычившись, рыча, как голодный зверь, и при каждом его движении из трех мешочков, которые он зажал под мышкой, стекала на пол звенящая струя. Сам Матирас, закадычный друг медника, пришедший с открытыми объятиями и добрым словом на устах, упал на колени, получив удар каблуком в

живот. Отделавшись от противника, бесноватый схватил новые мешочки, шагая прямо по монетам, да еще со злобой топтал их ногами... В его близко поставленных глазках сверкала ярость. Ни один из тех, кого он с неестественной легкостью побросал на пол, не посмел подняться, чтобы напасть на него сзади. Слышно было только его тяжелое дыхание, звяканье монеток и гул в тупике: топот на лестницах, крики сзывавших друг друга соседей...

Тут-то и появился Барден вместе с Пробочкой и Мартой. Кузнец схватил медника поперек корпуса, сжал, приподнял над землей. Потом поставил на пол. Бастико так и остался стоять, стараясь отдышаться, а монетки, высыпавшиеся из брошенных им мешков, все еще катились по полу слесарной. Потупив голову, медник направился к дверям. Люди расступались, давая ему дорогу, не подымая на него глаз.

По-моему, мы все сойдем с ума, каждый на свой лад. У меня, например, уже было нечто вроде галлюцинации: мне чудилось, будто я лежу на цветущем лугу у берега реки под лучами солнца, веет теплый, ласковый ветерок, я слышу летнее гудение насекомых, и среди него выделяется жужжание пчел, обирающих пыльцу с огромной цветущей липы, а сам я покоюсь в ее свежей тени; голода я не чувствую, в полдень мы изрядно закусили...

Миновал сотый день осады. Никаких вестей ни от отца, ни от дяди Фердинана. Мы не знаем, что делается за полосой укреплений. Может, вся Европа куда-то переместилась, Альпы сползли в море, а Париж — просто-напросто черная, замурованная наглухо яма. Мир интересуется им не больше, чем мертвым городом, о существовании коего уже давно забыли.

Писано в первый день Рождества.

Вчера Мартен Мюзеле, наш сосед по Рони, принес последние су. Собрал он их у Пэр-Лашез, обходя участников похоронных процессий. Сторожа и служащие кладбища тоже дали каждый по бронзовой монетке.

— А сейчас будем отливать пушку «Братство»,— заявила Марта после окончательных подсчетов.

Это недалеко: литейная братьев Фрюшан расположена на углу улиц Ренар и Ребваль, рядом с газометром.

* * *

Заправляет литейной один из братьев Фрюшан, худощавый человек лет пятидесяти, с седыми усиками и курчавыми бакенбардами. Под узкими глазами набрякли мешки, и кажется, будто этот весьма элегантный господинчик носит очки. Попасть к нему в кабинет не так-то просто. Мы ждали целый час под дверьми на перекрестке улиц Ренар и Ребваль, на ледяном ветру, пока не явился привратник и не сообщил, что господин директор соблаговолит нас принять, но только троих. Понятно, отправились Марта, Пружинный Чуб и я.

Я не сразу сообразил, что блаженное ощущение, охватившее меня, вызвано не чем иным, как теплом. Хотя помещение огромное, в нем так упоительно жарко, что слезы на глаза навертываются. В дальнем углу у печей литейщики работают полуголыми.

По металлической лестнице с большими просветами между ступенями нас ввели на галерею, нависшую над цехом, где помещалось несколько застекленных комнат, в том числе и кабинет самого хозяина.

— Мы хотим, чтобы нам отлили нашу пушку, пушку «Братство».

Фрюшан не расхохотался нам в лицо. Видимо, получил прекрасное воспитание и именно поэтому выражался до ужаса любезно.

— Что ж, хорошо, даже очень хорошо, мои дорогие детки. Ваш патриотический порыв со всей наглядностью показывает нам, сломленным усталостью и годами, что было бы преступлением сомневаться в будущем нашей родины...

— У нас деньги есть,— перебила его Марта.

— Пять тысяч франков?

— Да. Пять тысяч в бронзовых су.

— Скажите, милая девочка, сколько же это — о господи боже! — будет су?

— Сто тысяч.

— Надо полагать, вес солидный...

— Пятьсот кило.

— Тут обыкновенным портмоне не обойдешься!

— Повозка есть. Можем сразу же заплатить. Хотите, привезем сейчас, прямо сюда?

— Господи, конечно, нет!

На лице старшего брата Фрюшана явно читалось страдание: «авось не горит», но тут же он спохватился. Такие вещи, мол, быстро не делаются. Пушка — это дело государственное. Давайте возобновим разговор на следующей неделе. Подумайте сами, ведь сейчас Рождество! Конечно, вы уже давно не дети — в наши дни ребенок быстро взрослеет,— но так или иначе Рождество — это Рождество, и у вас много веселых планов на праздничные дни...

— Скажите, деточка, ведь у ваших папы и мамы найдется какой-нибудь пустячок, чтобы эта ночь при всех ужасах осады осталась у вас в памяти? Ну-с, что-то нам припас Дед-мороз?

— Пушку.

Господин Фрюшан не мог удержаться от улыбки. И снова терпеливо повторил все свои доводы: пушку нельзя прийти и заказать, как костюм у портного!

— А мы костюмов и не заказываем,— отрезала Марта.— Деньги у нас есть, сделайте нам пушку. Точка. Все.

Любезнейший господин Фрюшан начинал терять терпение: в конце концов, торговать пушками — это не то что торговать солью в бакалейной лавочке. Его заведение работает только на правительство. Наше предложение хоть и очаровательно само по себе, но неожиданно... До него уже доходили слухи о том, с каким пылом велся сбор денег. Но единственное, что он может нам посоветовать,— это действовать как положено. А от встречи с нами он получил просто огромное удовольствие. Молодежь Бельвиля оказалась именно такой, как о ней говорят, вполне достойной Вьала и Бара́. Наше появление здесь, в этом пыльном хозяйском кабинете, для него словно бы рождественский подарок, он от души благодарен нам, желает нам всяческой удачи, чего мы вполне заслужили, и, если бы это зависело только от него одного, он охотно задержал бы нас еще просто ради удовольствия поболтать с нами...

— Пружинный Чуб,— скомандовала Марта,— беги в Дозорный и собери народ. А мы будем сидеть здесь, пока пушку «Братство» не начнут отливать.

Фрюшан утер лоб вышитым платком. Правда, в кабинете было жарко.

— Мне сдается, что вы не совсем ясно поняли сам

принцип сбора средств,— проговорил он на сей раз не без труда.— Тем-то он и хорош, что символичен...

— Сим... чего? — сварливо переспросила Марта.

— Словом, это символ. Если вы прочтете в газетах, что такой-то округ, или такая-то ассоциация, или, скажем, господин Виктор Гюго, или господин Курбе подарили армии пушку, это означает, что они дали «правительству национальной обороны» пять тысяч франков!..

— Виктор Гюго! Гюстав Курбе! Разве они такие дураки?

— Просто эти господа знают законы, мадемуазель.

— Ну и пускай, а мы наши су Трошю не отдадим.

— Но ведь военный губернатор Парижа не себе деньги берет. Он вручает их нам, скажем, мне или какому-нибудь другому хозяину литейной.

— А мы даем деньги прямо вам и хотим сами следить, как нашу пушку будут делать!

Господин Фрюшан воздел руки к небу. Марта так и не присела. Только кинула на ближайшее кресло свой уродливый, неумело перекроенный редингот. Слегка расставив маленькие ножки, сжав кулаки, Марта, вся дрожа, стояла перед Фрюшаном и держала его под прицелом своих черных глаз, а тот, поеживаясь, пустился в новые объяснения: собранные деньги сосредоточиваются в окружных мэриях, которым даны все необходимые полномочия. Нам нечего бояться; напротив, наша пушка будет носить выбранное нами весьма необычное имя, и весь Париж будет знать, что она от нас... Он простер свою любезность до того, что сообщил нам даже адрес нашей мэрии — это совсем рядом.

— Клика узурпаторов не получит даже сотой части наших денег!

— Какие узурпаторы? — ошеломленно пролепетал Фрюшан. Он-то, надо полагать, клубов не посещал.

— Аптекарь, мясник, книготорговец, врач и остальные хозяева,— уточнила Марта, имея в виду временный муниципальный комитет, назначенный правительством 9 ноября с целью заменить Ранвье, Флуранса, Мильера и Лефрансэ — избранников народа. И презрительно прошипела: — Видать, он ни о чем и представления не имеет...

На галерею поднялись сначала двое литейщиков, потом еще трое, потом целых пятеро. И среди них наш Фалль. При них-то и разыгралась сцена между Мартой и хо-

зяином. Рабочий день кончался. Через застекленную стенку кабинета можно было видеть все, что происходит внизу,— машины, литейщиков,— там закрывали печь, складывали инструмент и скидывали рабочую одежду. Многие рабочие о чем-то спорили с Торопыгой, Мартеном Мюзеле, Аделью Бастико и другими, ухитрившимися пробраться в мастерскую вначале просто с целью погреться.

Литейная погрузилась во мрак — последняя плавка была окончена, все печи закрыты.

С подчеркнутой медлительностью господин Фрюшан надел свое пальто на меху, натянул перчатки и все время при этом извинялся: ему необходимо быть на совещании у министра общественных работ Дориана, не может же он заставлять ждать экспертов министерства вооружения. Раз мы ничего не желаем слушать, что ж, он оставляет поле действия свободным. Затем изящным жестом руки он нахлобучил на лоб свою шляпу, спустился по железной лестнице и вышел из мастерской как раз в тот момент, когда совершилось торжественное появление наших — Матираса, Бастико, Нищебрата, Шиньона, Феррье, Бардена, Пливара, Чеснокова, Коша, Гифеса, Пальятти и Каменского, которых притащил Пружинный Чуб.

У подножия лестницы толпились люди. Это наши, из Дозорного тупика, пришли начать переговоры с литейщиками. Каждый, не отдавая себе отчета, чувствовал, что вырвать заказ на знаменитую пушку «Братство» именно в такую ночь — значит на свой лад отпраздновать невообразимое Рождество 1870 года.

Фалль переходил от одной группы к другой, но ни слова не говорил. Ведь он-то был, с одной стороны, литейщиком у Фрюшана, а с другой — стрелком Дозорного.

Поначалу мирные беседы переходили в споры, споры становились все резче, но тут в литейной началась какая-то толкотня и в дверном проеме появились новые действующие лица. Это оказался аптекарь Диссанвье в окружении таможенников — их перевели за отсутствием работы в муниципальную полицию,— и еще с порога аптекарь приказал немедленно очистить помещение литейной, поскольку она находится в ведении и подчинении министерства вооружения. С этими словами он поспешил убраться, однако на прощание пригрозил: ежели завод не будет как положено закрыт в течение двух часов, порядок наведут силами воинских частей.

— Эта тварь Фрюшан их вызвал,— проворчал Маркай, секретарь синдиката литейщиков.

— А ну, разжигай печи! — скомандовал Легоржю, настоящий колосс, хотя брал он не так ростом, как разворотом широченных плеч.

Литейщики снова обрядились в кожаные фартуки, а Гифес с Пальятти поставили у дверей часовых на тот случай, если таможенники, предводительствуемые аптекарем, перейдут к враждебным действиям.

Температура в помещении, резко упавшая во время споров, стала подниматься до положенной, и не только потому, что загудела печь, осветив добрую половину литейной. Сейчас у каждого литейщика было сколько угодно помощников и подручных. Всеобщее ликование росло так же быстро, как распространялось по этому храму железа и кирпича тепло печи. Смех, шутки, обрывки песенок, беспричинные крики слышались то в одном, то в другом углу.

Все надзиратели и старшие мастера, за исключением одного лишь Тонкереля, чинно удалились вслед за хозяином. Зато остались почти все рабочие. Дело само пошло на лад, наиболее опытные литейщики, славящиеся как мастера своего дела, давали указания. Всеми операциями руководил Тонкерель. Этот невысокий плешивый человечек с пышнейшей бородой веером, видимо, пользовался авторитетом у всех, начиная с хозяина, и уважение он заслужил не начальственной хваткой, не преданностью хозяевам, а в силу профессиональных своих качеств. Просто все литейное дело держалось на нем

— Опоку-то сделать недолго,— озабоченно пояснил он,— только от этого металла у нас не прибавится. Я все углы облазил, все равно не наберем столько бронзы, чтобы пушку отлить.

— А сколько не хватает?

— Да примерно с полтонны.

— Найдем,— пообещала Марта.

Пока формовщик готовил опоку из тончайшего песка с добавлением жирной глины и, доводя смесь до нужной консистенции, помешивал ее деревянной лопатой треугольной формы, я приставал к Марте:

— Интересно, где это ты раскопаешь пятьсот кило бронзы?

Она только огрызнулась в ответ, видно, я помешал ее раздумьям.

Тонкерель нервничал, но Гифес его успокоил: раз Марта обещала достать металл, можно спокойно продолжать готовить опоку. Литейщики поглядывали на нашу смугляночку и отпускали шуточки.

— Вы хотите ее «Братство» назвать? — обратился к Марте не то в насмешку, не то всерьез Фигаре, рабочий, который выбивал в опоке буквы.

— А как же! — ответила Марта.— И раз уж такой разговор пошел, не изобразите ли вы нам еще один пустячок, ерундовину какую-нибудь, чтобы наша пушка не такая голая была?

Просьба Марты зажгла все сердца. Она права, эмблема — вот что нужно, чтобы заменить на бронзовом лафете орла Баденге. В конце концов восторжествовало предложение Шиньона и примирило спорящих — изобразить фригийский колпак.

— Попробую сделать получше,— пообещал Фигаре.

— А где же бронза, доченька? — гнул свое мастер Тонкерель.

— Иди, Флоран, запрягай Бижу.

* * *

Наш славный старикан Бижу бодрствовал. Мне почудилось даже, что он нас ждал. И когда я запряг его в леденистой тьме тупика, он радостно фыркнул. Марта обрушилась на меня за то, что я работал молчком. Ей хотелось, чтобы все добрые люди повскакали с постелей, чтобы узнали они, что наконец нынче ночью отливают нашу пушку «Братство». Госпожа Чеснокова, Трусеттка и вдова бедняги Вормье высунулись из окон и, выслушав наш рассказ, присоединились к нам, а мы с помощью Зоэ укладывали в повозку мешочки с бронзовыми монетками.

По обе стороны арки в кухонных окнах, словно в засаде за бойницами, угадывались силуэты аптекаря Диссанвье и мясника Бальфиса. Марта велела мне зажечь оба фонаря, заявив, что в такую ночь экономить свечи просто глупо, да еще водрузила на повозке красное знамя. Выехав из тупика, мы затянули «Песнь отправления», а повозка при каждом повороте колес так дребезжала и

грохотала, что, несмотря на лютый холод, вдоль всей улицы Ребваль распахивались окна.

Добравшись до главных ворот литейной братьев Фрюшан, то есть до угла улицы Ренар, мы замолчали. Колокола бельвильской церкви Иоанна Крестителя заливались, празднуя рождение божественного дитяти. Все церкви и соборы отвечали ему звучными голосами меди над белесой, скованной холодом громадой загнанного, как зверь в клетку, города, а вокруг него молчали французские и прусские пушки, так как было заключено перемирие. Басовито гудели большие колокола Собора Парижской богоматери, и мерные удары бронзы хором врезали в обледенелое бесцветное небо свою душераздирающую литанию.

Впрочем, Марта не разделяла моего волнения. Любые колокола она рассматривала лишь как потенциальные пушки — вот бы сорвать их с колоколен и переплавить в печи!

Наш медяковый кортеж торжественно въехал через широко открытые ворота прямо в литейную под радостные восклицания детворы, собравшейся здесь и блаженствовавшей в тепле. Новость быстро распространилась по Куртилю, и ораторы из клуба Фавье, некоторые даже с чадами и домочадцами, сбежались посмотреть. Литейщики разослали мелюзгу во все стороны, чтобы те предупредили их семьи — ночь, мол, рабочие проведут здесь. Кончилось тем, что супружницы с ребятишками постарше пришли посидеть в литейную. Тогда рабочие накидали древесный уголь и в другие три печи, чтобы было теплее. А женщины поспешно сбегали домой и притащили горшки с жиденькой похлебкой. Вернувшись, они уселись у гигантских печей вместе со своим варевом и ребятами.

— Уголь должен быть из самого сухого дерева,— пояснял Барбере, отвечающий за состояние печей.— Когда уголь как следует разгорится, в него помещают тигель с металлом, и тигель обмазывают слоем глины, а, чтобы жар достиг нужной силы, огонь раздувают с помощью мехов и само углубление, где находится тигель, закрывают керамической плитой. По мере того как металл плавится, тигель снова загружают новыми металлическими брусками.

Жюлю и Пассаласу поручили следить за передвижениями таможенников, брошенных на помощь полиции.

Если чертов муниципалитет зашевелится, они нас тут же известят.

Тонкерель расхаживает между полиспастом и печью, а за ним топает десяток любопытных, в том числе Кош-столяр, Матирас-медник, Феррье-гравер, и надо сказать, что слушают они его с увлечением.

— Искусство литья было известно с древности, — разглагольствует мастер,— но, по-видимому, тогда еще не умели плавить большие куски металла. И действительно, взять хотя бы такие гигантские статуи, как Колосс Родосский или статуя Нерона,— они не отлиты, а сделаны из медных пластинок. В «Словаре искусств и ремесел» говорится, что статуи Марка Аврелия в Риме, Козимо Медичи во Флоренции и Генриха IV у нас в Париже были отлиты не сразу, а в несколько приемов. Только к середине прошлого столетия это искусство достигло совершенства.

Слушатели не отставали от Тонкереля, ходили за ним как пришитые по всей мастерской и только временами испускали довольное ворчание — бедняки радовались, что их так добросовестно чему-то обучают.

Среди другой группки Предок расспрашивал Маркайя, секретаря синдиката, о забастовке литейщиков в феврале 67 года *. По наущению литейщика Барбедьена хозяева закрыли мастерские, надеясь этой мерой принудить рабочих выйти из «Общества кредита».

— Тогда мы послали в Лондон, в Интернационал, трех литейщиков, с просьбой к кредитным рабочим обществам Англии оказать нам помощь. Наши посланцы привезли оттуда несколько тысяч франков... Неважно даже, велика ли сумма или нет, важно, что она произвела свое действие — хозяева капитулировали.

Предок повернулся к самым молодым слушателям, тряхнув своей колючей, вольно растущей бородищей:

— Вот он, ребятки, каков Интернационал!

— С тех самых пор,— буркнул Фалль,— и пошел слух, будто Интернационал — баснословно богатая и могущественная организация.

Пливар и Нищебрат привезли на тачке полбочонка красного вина, они выклянчили его у Терезы, жены владельца «Пляши Нога».

— Вот уж и впрямь,— крикнули они нам,— и впрямь нынче ночью свершилось чудо!

Жена Нищебрата Сидони не побоялась принести сюда своего младенчика, который, что называется, дышит на ладан. Уселась у печи № 3 и держит его голенького на весу, повернет то животиком, то спинкой, правда, не подносит слишком близко к раскаленному древесному углю, старается хорошенько согреть своего бедного крошечного жалкого дитеныша, и так и этак поворачивает его, словно на вертеле.

— Вот проберет его жар до костей, он, глядишь, и поправится у меня,— твердит она Клеманс Фалль, которая подталкивает к той же печи своих четырех отпрысков, надрывающихся от кашля.

Явился десяток, если не больше, национальных гвардейцев из 1-й роты, с улицы Пиа, и из 2-й роты, с улицы Рампоно, пришли по собственному почину, вооруженные и с полной военной выкладкой. Сложив ружья в козлы у ворот, они ждали, не понадобится ли их подмога.

Теплый воздух пропитался уже забытыми запахами винных паров, круживших голову, крепким духом угля и обрабатываемого металла, который режут, плавят, отливают, а он странно поблескивает. Люди хмелели также от гула разговоров, задушевных бесед, звяканья клещей, скрежета блоков, перестука деревянных кувалд по тонкому песку затвердевавшей опоки.

Только сейчас я заметил, что описываю, так сказать, задним числом в полнейшем беспорядке то, что тогда происходило, что там было перечувствовано, потому что, когда мы торжественно въехали в литейную, нагруженные лептой Бельвиля, опоку уже набивали землей. Ну и пусть, мне просто хотелось насладиться прелестью, сиянием этой ночи, удержать хотя бы частицу того, что делало ее такой прекрасной.

А мужчины — мужчины толклись около печей, потом около бочонка с красным вином, и все вели себя терпеливо, уважительно, даже главные наши заводилы — Нищебрат с Пливаром; все дружно сошлись на том, что вынуть затычку из бочки следует только тогда, когда начнут отливать нашу пушку. Надышавшись аппетитнейшим запахом угля, разомлев в этом сказочном тепле, мужчины, не нашедшие применения своим силам, не зная, как послужить общему делу, сбегали домой и принесли кто последний ломоть хлеба, кто чудом сохранив-

шийся пяток картофелин, которые берегли в тайнике про черный день. Но сегодня было просто немыслимо съесть их в одиночку, как эгоисту какому-то, прячась за наглухо закрытыми ставнями. И наконец, было принято решение заколоть последнего теленка, принадлежавшего господину Бальфису, мяснику, зажарить его в печи № 4 и угостить граждан литейщиков...

Мы въехали, стоя в повозке под красным знаменем, и сразу же воцарилась тишина. Женщины поднялись, покачивая на руках своих младенцев. А мужчины степенно подходили поближе. Тонкерель осведомился, действительно ли мы привезли недостающую бронзу, а Марта, трепеща всем телом, так она тянулась, чтобы стать выше, так хотелось ей хоть на минуту сравняться с нашей пушкой, Марта, стоявшая на передке повозки, как фигурка на носу корабля, чуть позади нашего Бижу, у которого от тепла и удовольствия даже кожа подрагивала, Марта, не отвечая, указала рукой назад на двадцать наших мешочков, лежавших в два ряда, и в каждом мешочке было по двадцать пять килограммов маленьких бронзовых монеток.

Словно бы некое божество снизошло в этот храм металла и огня, некий дух, вдохновивший тупик, литейщиков, соседей, весь простой люд, собравшийся здесь: вот здорово! Очень даже здорово! Монетки пойдут в огонь, и таким образом душа Бельвиля переселится в душу его пушки «Братство».

Лавируя между канавами, тиглями, тележками, станками, наша повозка подъехала к печи № 1. Там Бастико — вновь обретенный Бастико! — подставляет спину, и ему взваливают на хребет первый мешочек весом двадцать пять килограммов. Стоя у литейного желоба, Барден подхватывает мешок за ушки и одним движением вскидывает себе на спину. Фалль и Тонкерель, стоящие у печи, берут мешок, подносят его к тиглю, вокруг которого теснится целая орда. Литейщик с мастером осторожно опрокидывают мешок, и оттуда тоненькой непрерывной струйкой течет бронза.

В минуты передышки, когда один мешок уже опорожнен, а другой еще не поднесли, когда стихает звяканье монеток, воцаряется такая тишина, что слышно довольное сопение младенчика Сидони, который, разомлев в тепле, спит себе и улыбается во сне.

Мы как зачарованные любовались этим бурлением, будто перед нами была колба алхимика. Коричневые, золотистые или черные монетки на миг вновь приобретали утраченный блеск металла. Они набираются жизни, чтобы тут же исчезнуть. Монеты корчились, сворачивались, скрежетали и стонали, размягчались, спекались вместе, текли и взбухали, и их непрерывно помешивал литейщик Бавозе, старший рабочий при печи № 1. Но для нас в эту струю, где сливалось двадцать бронзовых потоков, текли не просто монеты, умирающие в огне, а нечто несравненно большее: целые миры бед и радостей, улыбок и колебаний, порывов, усилий, столько минут и столько часов, столько лестниц, по которым карабкаешься на чердак или сбегаешь в подвал, столько лиц и столько личных драм, прошедших перед нами с той первой недели октября, когда мы начали сбор денег.

Когда Фалль с Тонкерелем вытряхнули в завораживающее кипение металла последний мешок, когда последние пять сантимов, застрявшие в складках холстины, исчезли в пламени, где им предстояло со славой перейти в иное качество, Марта воскликнула:

— А теперь поди попробуй сказать, что это не наша собственная пушка!

Как и всегда в знаменательные минуты своей жизни, Марта испытывала потребность смотреть на происходящее сверху. Поэтому мне пришлось последовать за ней сначала по обыкновенной лестнице, потом по узеньким металлическим мосткам, которые ведут к стеклянной крыше. Там мы устроились в каком-то уголке на выступе, образованном потолочными балками. Сидели мы, тесно прижавшись друг к другу. И тут Марта бросила на меня высокомерный взгляд, в котором явно читалось: «А теперь можешь любоваться моим народом!»

Перед нами, с этой колокольни, громоздился собор, храм жизни, где молитвой служит труд, где единственным богом, подлинным богом, является народ.

В абсиде гигантские зубчатые колеса и хитросплетения приводных ремней, идущих к токарным и сверлильным станкам, терялись в темноте. Чудодейственный механизм созидающего труда рабочих едва угадывался в тревожном полумраке, в каком издревле свершаются высшие замыслы. В боковых приделах часовенками были печи, и их пламя причудливо меняло тона, как церковные витражи,

пропуская слабое свечение зимнего солнца. Но поперечным нефом, и хорами, и алтарем была сама печь № 1, разбрызгивающая вокруг себя бесценные лучи своей гигантской дароносицы. Над ней щетинился ореол пляшущих огней, а вместе с ними плясали по стенам неестественно вытянутые тени верующих.

Нет, вовсе не надменная базилика была под нами, забитая элегантной паствой, собравшейся на полунощную мессу. Скорее уж, скромная сельская церквушка в дни голода и бедствий Столетней войны, когда при приближении наемных банд все жители искали тут убежища и запирались здесь на многие дни, иной раз и на многие недели, и единственным их защитником был Всевышний. В те времена под романскими сводами, разумеется, молились, но также и ели, пили, кормили грудью младенцев, умирали и рожали в доме божьем, превратившемся в дом народа. Тогда ребятишки так же резвились, с криками носясь по нефу; так же мужчины держали совет; так же, сбившись кружком, держа младенцев на руках, жались к теплым кирпичам женщины, как сейчас жительницы Дозорного, и тогда все так же парни потягивали винцо и закалывали тельца... Церковь уже не была храмом богачей и владык, а храмом бедняков, подлинным домом Распятого, и звучал в ней детский писк, вздохи, пьяные клятвы, все так же шумно перемалывали пищу челюсти, и все так же шумно проходил в глотку каждый кусок, а вместо ладанного духа плыли в ней испарения самой природы, нездоровое дыхание, запахи пота и влажного тряпья, удушливый смрад нечищенного стойла, аромат смиренных мук.

— Надоел ты мне, поповская башка,— прервала мои разглагольствования Марта.— Давай спустимся, сейчас начнется отливка.

Труйе и Бараке, двое литейщиков в кожаных фартуках, оба коренастые, один белокурый, другой брюнет, похожие друг на друга, как две капли, только одна капля медовая, другая чернильная, взялись за железные пруты с расплющенными концами, как лопаты у пекарей. Над печью Тонкерель готовится дать команду начать разливку.

Опоку — длинный ящик в железных обручах — поставили на попа в довольно глубокую яму и так, что верхушка этого стянутого латами гроба приходилась на уровне земли в пяти-шести метрах от печи. Слегка наклонный

металлический лоток соединял окно печи с горловиной опоки.

Наконец мастер Тонкерель подает знак. На коротком плече рычага скрежещет цепь. Люди, плотно стоящие по обе стороны лотка, отскакивают назад. Тоненькая струйка огня со сказочной быстротой увеличивается до размеров солнца, и оно, все еще кипящее, гаснет. Тогда вырывается ручеек почти белого цвета, яркий до ослепления и невыносимо жаркий. Струя расплавленного металла взбухает. Она выгибает, как кошка, спину меж двух металлических стенок лотка, и они стонут и трещат под ее огненной тяжестью. Жидкая бронза устремляется к опоке, ее направляют на ходу и усмиряют лопатами с длинными ручками, которыми орудуют Труйе и Бараке.

Одурманенные видом этого медлительного жирного потока, люди шепчут про себя: «Это наши бронзовые су, это они!» — но никто уже не может их признать. Матирас опустил свой рожок, даже не извлекши из него ни звука, Предок забыл о своей потухшей трубке, и пепел сыплется на грудь его рубашки, Сидони спрятала личико своего младенца себе под мышку, чтобы защитить от огня, Шиньон щурит близорукие глаза, Феррье стоит с открытым ртом. Приподнявшись на цыпочки и застыв в этой неудобной позе, Марта впервые в жизни бледна как полотно, Марта, посеребренная отсветами расплавленной бронзы. А потом все, кто пробрался в первые ряды, одинаковым движением расстегивают верхние пуговицы своих одежонок; в вырезе расстегнутой Мартиной рубашки я вижу ее маленькие стоячие грудки, серебристые соски этой не то Минервы, не то девчушки. Губы Торопыги непрерывно шевелятся, а Пружинный Чуб бормочет вслух:

— Наши су, наши маленькие су!

Но от них уже ничего, совсем ничего не осталось, кроме этого жирного, пышущего жаром белого ручья...

Тонкерель ворчливо бросает:

— Ну, вот и все!

Становится холодно.

Слишком быстро протек мимо нас яркий ручей. Все сгинуло, даже белесый нимб, даже его обжигающее дыхание. Все поглотила стоявшая в яме опока. Труйе и Бараке ставят в уголок лопаты и развязывают завязки кожаных фартуков. Толпа машинально отступает. Теперь зрители выстроились вокруг ямы. Они не отрывают глаз

от окованного железом гроба, засыпанного сверху негашеной известью.

— De profundis[1],— шепчет Нищебрат.

Фалль буркает:

— Хоть бы там внутри все как следует получилось!

Марта вопит:

— Чего же они ждут, почему не открывают?

— Ждем, когда пройдет двадцать четыре часа,— отвечает Тонкерель, пожимая своими сутулыми плечами.

К мастеру приступают с расспросами, словно ему не верят; а он ожесточенно отбивается, будто и впрямь виноват: надо ждать минимум двадцать четыре часа, прежде чем можно будет снять опоку и извлечь пушку. И запомните, это еще только самое начало. Надо будет потом зачистить ее и отшлифовать. Хороший токарный станок, работающий от паровой машины, справился бы с этим делом за двенадцать часов, но у братьев Фрюшан сплошное старье, значит, нужно накинуть еще несколько часиков. Потом нужна расточка, что тоже займет часов четырнадцать, если, конечно, за работу возьмется мастер своего дела; к счастью, среди нас находится гражданин Удбин, лучший сверлильщик во всем городе Париже. После пойдет полировка ствола орудия. Потом останется только внутренняя нарезка. Вот тогда пушка будет готова и ее можно ставить на лафет...

— Кстати, лафет у вас имеется? Хватит еще грошей его купить?

Марта застегнула пуговку рубашки.... С самыми благими намерениями — по крайней мере я так считал — я накинул ей на плечи драгоценное ее пальтишко, но она поблагодарила меня бешеным взглядом; чувствовалось, что она охотно поубивала бы всех литейщиков на свете.

А тем временем Фалль, специалист по полировке, в тревоге наседает на Сенофра, специалиста по сплавам:

— Думаешь, выдержит монета как металл?

— А кто ее знает? Такое ни разу еще не пробовали. По норме для пушек требуется сплав, куда входит девяносто четыре процента меди, пять процентов олова и один процент цинка... А кто знает, что намешал в эти самые су наш дражайший Баденге. Уж не говоря о золо-

---

[1] Начало псалма «Из глубины взываю» *(лат.)*.

тых и серебряных монетах, они и с мелочью небось такого намошенничали...

Марта тянет за рукав то Фалля, то Тонкереля:

— Как? Что? Пушка плохая получится?

С грустной улыбкой литейщики говорят, что вроде бы нет, но только все возможно и даже довольно часто случается.

Марта топочет ногами.

— Так что же можно сделать? Ну, чтобы хорошо получилось?

— Молиться.

— Почему бы и не помолиться,— бросает Нищебрат,— только мы свою молитву споем.

И он затягивает:

Во французском городе милом
Живет железный люд,
Жар души его как горнило,
Где тело из бронзы льют.
Не в дворцах нам дано родиться,
Соломой нам было ложе...

И все присутствующие, и люди Дозорного, и люди литейной, подхватывают, как вызов, припев:

Вот еще сброд ярится,
Сброд — это мы, ну что же!

У Нищебрата звонкий уверенный голос, высокие ноты взлетают под здешние стеклянно-металлические небеса, на которых холодно поблескивают свежие пласты снега, и он продолжает во всю глотку, с жаром:

Марсельезу гремели знатно
В девяносто третьем году,
И идет наша голь перекатная
Брать Бастилию, да не одну.
Камнем трусы хотят оградиться,
И кричат подлецы, кривя рожи...

И все присутствующие подхватывают, как один пламенный голос, как верующие отвечают «аминь»:

Вот еще сброд ярится,
Сброд — это мы, ну что же!

* * *

Красное винцо — целый бочонок — исчезло в глотках, погасив сжигающий их огонь и безудержно рвущиеся крики. Опьянение было совсем особое. Шло откуда-то

из нутра. Литейщики, с радостью, добровольно взявшиеся за эту работу как за личное свое дело, испытывали сейчас, после столь редкостного чувства удовлетворения, вполне объяснимое беспокойство. Уже воскресенье, и что-то скажут братья Фрюшан, когда в понедельник утром все, как обычно, сойдутся на работу? Хозяева вполне способны без промедления разбить опоку, чтобы забрать себе металл — металла-то у них не хватает даже для официальных заказов.

— Иной раз просто не поймешь, что их разбирает, вдруг начнут во все дела мешаться да нас «организовывать», — жалуется Легоржю.— И всякий раз — ну чистая беда!

— Без них,— подтвердил Маркай,— если бы мы сами, по-своему взялись, в полтора раза больше пушек отлили бы, и качеством они были бы куда лучше!

— Тогда почему же,— негромко спросил Предок,— вы хотите возвратить братьям Фрюшан вашу литейную?

Рабочие кинули удивленный взгляд на старика — тот, улыбаясь, прочищал свою трубку-носогрейку,— потом потупились. Наступило долгое молчание.

— С ихней точки зрения, подчеркиваю — с ихней,— начал Сенофр,— с точки зрения Фрюшанов, эта пушка им принадлежит, коль скоро вы за нее не уплатили.

— Как это не уплатили? — взвизгнула Марта.— А пять тысяч франков бросили в вашу хреновую печь!..

— Тише, тише,— пытался успокоить ее специалист по сплавам,—вы ведь только металл дали. А это составляет лишь небольшую часть стоимости пушки. Вы заплатили бы пять тысяч франков за бронзу, работу, разные там расходы и... и... еще прибыль Фрюшанам должна очиститься. Завтра или послезавтра, когда пушка будет готова и вы пожелаете ее забрать, хозяева сумеют вам помешать. С их точки зрения, это воровство.

— В таком случае почему бы не забрать вместе с пушкой и литейную? — по-прежнему не повышая голоса, но настойчиво произнес Предок.

— Мне вот сдается, что Фрюшаны уступили нам поле боя чересчур легко...— заявил Гифес.

По словам рабочих, хозяин, в сущности, ничем особенно не рискует. Практически в литейной ничего не украдешь, ничего не испортишь. К тому же литейная Фрюшанов работает на национальную оборону, братья

знают, что их рабочие настроены достаточно патриотически, чтобы предпринять что-то могущее повредить производству, хозяин также считал, что рабочие достаточно устали и, конечно, проведут рождественские праздники в кругу семьи. И наконец, почти уверив себя, что все образуется, особенно если удастся избежать стычки с этим Бельвилем, которого он втайне побаивается, Фрюшан-старший отправился к себе домой, но, вероятно, заглянул по дороге в полицейский участок нашего бездействующего муниципалитета-призрака.

— Ведь и впрямь эти доблестные таможенники не явились, видно, решили с нами не связываться!

— И никогда не придут, никогда не свяжутся, если литейная будет работать как рабочая кооперация, и без Фрюшанов,— тихо добавил Предок.

Тонкерель даже подскочил:

— А ну, полегче на поворотах, дед! Это уж совсем другое дело, это уже не патриотическая война, а революция!

— Называй как тебе угодно! — завопила Марта, растолкав беседовавших.— Только знай, мы нашу пушку не дадим разбить! Ах, краденое, видите ли! А пять тысяч монет — это разве не Бельвиль своим потом и кровью заработал, по грошику собирал! Что в пушку вложено — все наше добро! Нечего нам раздутые счета предъявлять!

«Чудачка эта девочка»... «Я ее сразу приметил»,— улыбаясь, переговаривались рабочие.

— А знаете, она совершенно права,— миролюбиво заключил Предок, потом бросил взгляд на Гифеса, как бы давая ему слово.

— Верно, права,— подтвердил наш типографщик.— Как вы себя ведете в отношении хозяина, граждане литейщики,— это ваше дело, а вот пушка «Братство» — наше. Вот поэтому-то я в качестве командира 5-й стрелковой роты Бельвиля решил следующее: мои люди будут опоку сторожить. Повидаюсь с другими офицерами стрелковых рот, они нам помочь в таком деле не откажутся. Это вовсе не против вас направлено. Вы... вы... словом, замечательный вы народ! Рождественские праздники у вас прахом пошли... Хотелось бы очень, будь это в наших силах, вас за это отблагодарить. Ну что ж, черт побери, парни, которые явились сюда с примкнутыми штыками, будут в вашем полном распоряжении, братья литейщики,

если вам, скажем, понадобится вооруженная помощь, чтобы раз и навсегда покончить с хозяевами.

Женщины постепенно начали расходиться, завернув своих сосунков в шали и одеяла. Праздник окончился.

Речь Гифеса произвела впечатление, и глубокое, на всех литейщиков. Но каждый воспринял ее по-своему. Секретарь синдиката Маркай, литейщик Бавозе, Удбин и Легоржю, переодевшись перед уходом домой, потирали руки, весело хлопали друг друга по плечу, зато Тонкерель хмурился. Шашуан отвел в сторону Предка с Гифесом: да это же безумие говорить о революции, когда пруссаки топчут землю Франции. Фигаре, Сенофр, Бараке и Барбере дружной стайкой направились к выходу, искоса поглядывая на Коша, Фалля, Феррье и Шиньона с ружьями на ремне, уже занявших сторожевые посты у четырех концов опоки!

— Вот здесь-то стрелки Флуранса сумеют себя показать, — буркнул Сенофр. И на этот намек его дружки ответили одобрительным, но приглушенным хмыканьем.

Каждый ввернул свое ехидное замечание: «У бочонка они, конечно, храбрее, чем при Шампиньи», или еще: «Им — пусть мы войну проиграем, тогда легче нам гражданскую войну навязать!»

— И это рабочие! — обозлилась Марта.

— Помолчи-ка ты лучше,— вздохнул Фалль,— рабочие, и еще какие хорошие.

— Допустим даже, что они признáют ваше право на пушку,— все наседал на Гифеса с Предком Шашуан.— Все равно они не допустят, чтобы вы увезли ее в свой знаменитый тупик... Они ее в распоряжение Ратуши передадут, а Ратуша пристроит ее на какую-нибудь батарею по своему выбору, отдаст в руки опытных артиллеристов, возможно, даже моряков...

— Значит, правильно мы сделали, что поставили стрелков охранять пушку! — прервал его Гифес.

— Главное, не допускать сюда братцев Фрюшан,— заключил Предок.

— Черта с два,—возмутился Шашуан,— это же их литейная. Она от Фрюшана к Фрюшану переходит, от деда к отцу.

— Все принадлежит всем, а эксплуататорам — ничего,— наставительно заметил Предок.

Рассвет принес похмелье, холодноватый воздух отдавал какой-то кислотой. Я так устал телом и духом, что предложил Марте отправиться в тупик.

— Да ни за что на свете! Здесь будем спать. Вон там, смотри, у печи № 1. Осталось же в ней хоть немножко тепла.

Так она и заснула, привалившись ко мне. А я старался разглядеть высоко над головой сквозь стеклянный потолок, почти весь покрытый снегом, хоть какой-то знак рождественского утра, ведь должно же оно заняться когда-нибудь и где-нибудь. А моя смугляночка по своему обыкновению ворчала во сне:

— Всегда так, во всем так...— А через пять минут опять, тяжело вздохнув, пробормотала: — Сначала праздник празднуют, а потом... потом...

На бельвильской колокольне Иоанна Крестителя вразлет загудели колокола, встречая чудесный день, а там, в стороне Сен-Дени, пушкари, плюнув на доброго бородатого боженьку как на детскую забаву, уже начали палить, и, видать, по-серьезному.

Понедельник, 26 декабря.

Мороз не сдается. В рапорте генерала Шмитца, начальника генерального штаба, упоминаются многочисленные случаи обморожения среди солдат, которых не отпускают с позиций на ночлег. Хорошо, что у нас есть повод занять литейную. Тут я и пишу, невдалеке от печей, которые нынче утром снова разожгли.

Вчера, в воскресенье, ничего нового не произошло. Бельвильские стрелки по очереди сменяли друг друга у таинственной пушки, еще дремавшей в своей опоке, как куколка бабочки в коконе. Мы до того успокоились, что я взял да расположился за письменным столом самого господина Фрюшана-старшего, решив записать то, что произошло в рождественскую ночь. Примерно в полдень явился мой кузен Жюль со своим дружком Пассаласом. По их словам, узурпаторы, засевшие в мэрии, не собираются применять против нас силу, однако это не помешает им попытаться взять нас иным манером. Жюль в этот рождественский день обежал весь Париж: в мясных дают свежую конину — очевидно, на северном направлении произошли кровопролитные бои. Люди состоятельные не

пожелали отказаться от традиционного ужина в сочельник. Кролик идет за сорок франков, индейка — за сотню, кошка — за двадцать, а буасо картофеля стоит тридцать франков.

— А чтобы «еще сильнее разжечь вашу социальную ненависть», как выражается наш друг Риго, так вот, любезные мои оборванцы, послушайте-ка, какое в сочельник было меню в ресторане «Вуазен»: «Весенние овощи — консервированные. Рыба из Сены — редкость. Котлеты из волчьего мяса с горошком— огромная редкость. Кошка с гарниром из шести крыс. Жареная верблюжатина. Побеги спаржи — консервированные. Бисквитный пудинг из морских водорослей. Груши. Яблоки. Виноград». *(Волк и верблюд — это из зоологического сада. Кошка стала одним из самых изысканных мясных блюд, так что в течение нескольких недель это домашнее животное полностью исчезло.)*

Нынче утром, в понедельник, литейщики вышли на работу. Маркай, Бавозе, Удбин и Легоржю первым делом подошли пожать руку Матирасу и Бастико, Пливару и Нищебрату, которые при оружии несли караул у опоки. А Фигаре, Сенофр, Бараке и Барбере сделали вид, будто не замечают наших стрелков. Шашуан прямо нас спросил, к чему это мы уперлись как дураки, только зря навредим и тупику, и литейщикам. Тонкерель — он явился последним — сразу оценил ситуацию. Поклонился нам издали с вымученной улыбкой, потом заговорил о чем-то с Маркайем. Мне не удалось удержать Марту, и она, подскочив к ним, стала дергать их за рукав:

— Ну как, будем вынимать нашу пушку или нет?

— Ох, отстань ты ради бога, сейчас не время.

— Вы же сами говорили, двадцать четыре часа, а уже больше тридцати прошло...

— Слушай, дочка, тебе сказали: не меньше двадцати четырех часов. Если продержим больше, вреда не будет. Хоть в этом-то, кажется, можешь нам поверить?!

Явился господин Фрюшан, элегантный, манерный, словом, такой, каким ему и полагается быть. Поднявшись по металлической лестнице, хозяин литейной остановился на минутку возле своего наблюдательного пункта и оглядел свои владения. Потом привычным жестом подозвал к себе мастеров. А еще через четверть часа на трех ломовых дрогах, запряженных каждая шестеркой лоша-

дей, привезли бронзу для официальных заказов. Рабочие деловито хлопотали у опок и печей, где, гудя, разгорался огонь.

Четверка часовых переглядывалась, переглядывались и мы; нам стало не по себе. Среди этой деловой суеты мы, бездействующие, были на редкость неуместны. Наше оружие и наша стража явно стесняли именно самих рабочих, и так как мы отлично понимали это, то тоже испытывали неловкость. Там, наверху, в своей стеклянной будке господин Фрюшан, посасывая сигару, разбирал корреспонденцию. Литейщики, формовщики и старшие мастера десятки раз проходили мимо нашей пушки, но даже искоса на нее не глянули.

За печью № 3 Барбаре и Бараке оживленно беседовали с пятью литейщиками; этих пятерых не было здесь в рождественскую ночь. А теперь эта пятерка бросала сумрачные взгляды в нашем направлении.

— Недостает только, чтобы Бельвиль всем свои законы навязывал! — резко произнес один из них.

Маркай поспешил вмешаться, желая успокоить Сенофра и Фигаре, и только с помощью подошедшего Тонкереля удалось их утихомирить.

Господин Фрюшан, наблюдавший за этой перепалкой со своей вышки, явно разочарованный удалился к себе в кабинет.

— Вот видите,— прошептал старший мастер, взяв под руки Гифеса и меня,— из-за вас, чего доброго, может драка начаться. Есть у нас два-три молодчика, которые только этого и ждут. Попробуем добром уладить. Мы тут потолковали с Маркайем. Можете ему полностью доверять, он член Интернационала.

После такого представления секретарь синдиката литейщиков Маркай, круглоголовый мужчина с большими черными глазами, с висячими усами и узенькой бородкой, изложил нам принятое ими решение: пушку «Братство» окончательно доделают рабочие, они останутся добровольно в литейной после конца смены. Но с господином Фрюшаном можно будет договориться лишь на следующих условиях: стрелки немедленно покидают не только литейную, но и вообще территорию завода.

— Об этом и речи быть не может,— отрезал Гифес.

Тонкерель обиженно отошел прочь, а Маркай на прощание бросил типографщику:

— Ты неправ, гражданин.

В полдень, когда литейщики, примостившись у печей, подкрепляли свои силы скудным завтраком, принесенным из дому, Пальятти, Янек, Шиньон и Ферье сменили стоявших на карауле у нашей пушки, по-прежнему зажатой опокой, Матираса, Бастико, Пливара и Нищебрата.

Но вот для Марты пересменки нет, она даже на минутку не желает сбегать в тупик. Она, Марта, всегда живет только одной-единственной целью. И она не отходит от нашей все еще не родившейся пушки. Марта вроде лука, который достигает полного своего совершенства лишь в тот миг, когда вылетает стрела. На память мне приходят ее слова, сказанные в полусне: «Сначала празднуют...» Ну а если нам с боями все-таки удастся вырвать пушку? Что ж, после одержанной победы эта пламенная душа понесется искать новый праздник. И ей потребуются новые стрелы, чтобы напряглась тетива.

— А какой для тебя, Марта, самый-самый большой, самый прекрасный праздник?

— Революция.

Ух, черт, до чего же хорошо в литейной братьев Фрюшан! Кожа Марты на шее, за ушами, на спине, смуглая ее кожа, теплая и тонкая,— точно новый клинок, согретый в ладони, она вбирает в себя и удерживает запахи и как-то удивительно тонко примешивает их к собственному аромату. Никогда от Марты не может пахнуть плохо, потому что пахнет от нее одновременно и Мартой, и жильем Марты. Мы говорим: «У Марианны смуглая кожа», ну а наша Марта — она цвета всех революций.

— О чем думаешь, Марта?

— О лафете. Знаешь, Кош с Барденом могут его нам смастерить.

— Ну а колеса?

— Украдем.

Все еще в литейной. К вечеру.

Мы теперь одни, Марта, я и наша орава, но не в полном сборе. Литейщики то и дело поглядывают на нас, кто лукаво, кто печально, а двое-трое — злобно.

Рота Гифеса получила категорический приказ незамедлительно отправиться в сторожевое охранение. Тут и сомне-

ния быть не может, приказ состряпали марионетки из мэрии. А устроил это наш торговец скоропостижными смертями, он же аптекарь Диссанвье, который из кожи лезет вон, лишь бы угодить братьям Фрюшан. И понятно, что после клеветнических слухов насчет сражения под Шампиньи стрелки Бельвиля никак не могут ответить отказом на приказ отправиться на огневые позиции, даже сославшись на пушку «Братство».

Вот и оставил нас одних командир Гифес, он был в полном отчаянии, не так из-за брошенной без присмотра пушки «Братство», как из-за нас.

— Тут уж увиливать невозможно... Я обсудил это с Предком, и оба мы на сей счет согласны. Кстати, он скоро сюда пожалует.

— А тупик в курсе дела? — спросила Марта.

— Да я только молодого Феррье видел.

— Торопыгу? Ну, значит, все в порядке.

Сынок гравера примчался сразу же после ухода стрелков. Он хлопнул меня по плечу и шепнул:

— А ну, живо, спрячь-ка под куртку.

— Что это такое?

— Револьвер. Системы «лефоше», последняя модель, с барабаном. Заряжен. Шестизарядный.

Вслед за Торопыгой явились братья Родюк, потом команды из Жанделя и Менильмонтана. Но и теперь нас было всего пятнадцать душ.

Рабочие зашумели, когда господин Фрюшан старший перегнулся через перила своей галереи и крикнул им:

— Чего же вы ждете, почему не разбили до сих пор опоку и не вынули пушку?

— На вашем месте я не стал бы такими вещами шутить, сударь! — бросил ему Маркай.

Как раз в эту минуту подоспели Жюль и его дружок Пассалас. Они стали рядом с нами, окружив Марту. За спиной каждый прятал мячик, но мячик черный, перевязанный ленточкой.

— Бомбы,— шепнул мой кузен, но тут вошел Барден с Пробочкой на плече.

Работа остановилась. Марта стояла впереди меня. От ее волос пахнет металлом и плавкой, но от этого ее собственный аромат становится еще гуще. Слышно только, как потрескивает в печах огонь...

Господин Фрюшан снова крикнул со своего насеста:

— Тонкерель, вы что, не слышите меня?

Но в голосе уже не звучали повелительные нотки, скорее, чувствовалось, что хозяин уже не прочь попросить совета. Недаром обратился он к одному из самых норовистых своих мастеров.

Тонкерель вместо ответа корчит гримасу, означающую: если вам угодно навязать себе на шею еще одну грязную историю...

Тем временем приходят Предок, Трусеттка, Митральеза, Дерновка и Шарле-горбун, этот приволок целую орду с улицы Сен-Венсан, и каждый вновь прибывший во всеуслышание объявляет, что скоро, мол, сюда явятся их брательники, соседи, родичи, дружки-приятели и все такое прочее... Оказывается, кликнули клич в Шароне, в Ла-Виллете и в Тампле.

Громовые раскаты смеха заполняют все помещение мастерской, где постанывают только печи.

Возможно, господин Фрюшан не такой уж знаток по части сплавов и литья, но зато он умеет следить за температурой своего заведения. И потому спокойно заявляет:

— После работы, Тонкерель, подымитесь ко мне. Постараемся уладить дело. А теперь — к печам, и пускай вся эта... пускай все эти дамы и господа соблаговолят очистить помещение...

Ночью.

Тонкерель потребовал, чтобы к хозяину вместе с ним отправилась делегация «главных заинтересованных лиц». Таким образом, идут Предок, Марта и я.

Наши переговоры вкратце можно изложить примерно так:

— Вся работа, выполняемая в моей мастерской, является моей собственностью.

— Позвольте, господин Фрюшан, ведь малыши притащили свои монетки. Так что бронза, находящаяся в форме,— их собственность.

— Разрешите! Во-первых, не вся бронза. Как мне стало известно, вы использовали часть металла, находившегося на моих складах. Во-вторых, плавку и отливку

производили рабочие, которым плачу я,— под вашим личным руководством, Тонкерель, а вам тоже плачу я, и сколько еще плачу!

— Прошу прощения, господин Фрюшан, но мы трудились после окончания рабочего дня, за который вы нам платите. А мы имеем полное право работать, не требуя оплаты, особенно для Франции!

— Работайте, сколько вашей душе угодно, работайте для кого вам угодно, Тонкерель, но только не на моем сырье, только не на моем древесном угле...

— Ну-ну, господин Фрюшан, ведь и вам бы тоже не мешало принести хотя бы маленькую жертву нашей матери-родине,— с утонченной вежливостью вмешивается Предок,— особенно,— добавляет он, деликатно плюнув в чашечку своей носогрейки,—особенно потому, что вы и ваши братцы отхватили немалый кусок от пирога, я имею в виду — от военного бюджета.

— То есть как это, господин... господин... простите, не расслышал вашей фамилии... Не могли бы вы выразиться поточнее?..

— Имя мое ничего вам не скажет, так что неважно!.. А насчет уточнений, господин Фрюшан-старший, сколько угодно: когда по приказу министра Дориана все парижские заводы были переведены на военные рельсы, к этому времени ваша жалкая литейня, выпускавшая газовые краны, совсем захирела, вы были накануне полного краха...

— Позвольте, позвольте, сударь, ваши необоснованные утверждения...

— Необоснованные? Ну, как для кого! Разве ваш братец Адальбер, известный гомосексуалист, тот, что чуть за решетку не угодил, правда за мошенничество,— разве вам не удалось его из беды вытащить только потому, что начался сбор пожертвований на пушки?! А костюмчик, который на вас, вы заказали у Беломбра, как раз на следующий день после декрета Дориана...

— Сударь, сударь, мы ушли от темы нашего разговора.

— Вот тут вы совершенно правы, господин Фрюшан.— И старик безжалостно добавил: — А ведь хорошенькая история, если ее описать, весьма назидательная получилась бы статейка.

— Ну хорошо, Тонкерель, вы-то что предлагаете?

— Доделать пушку «Братство» так же, как мы ее и начали, в неурочные часы. Шашуан освободит ее от опоки, Бавозе пусть ее зачищает, Фигаре — отполирует.

— А вы с ними уже говорили, Тонкерель?

— Да нет, пока не говорил, только они все равно согласятся. Рассверлит ее Удбин, внутри отполирует...

— Ясно, лучшие рабочие... когда работать не на меня, то...

— А скажите,— перебивает его Марта,— у вас не найдется добровольцев сделать нам колеса и лафет?

— Э, нет, малютка! Нельзя просить все разом!

— В сущности,— бросил Предок, и это были его последние слова в хозяйском кабинете, — единственно, без кого можно здесь прекрасно обойтись, так это без вас, господин Фрюшан.

Спускаясь по металлической лесенке, Тонкерель то и дело оборачивался к Предку и наконец решился:

— Ну, вы тоже хороши!..

— А чего вы ждете,— проворчал Предок,— почему не выбросите к чертям этих Фрюшанов — братьев-разбойников и К°?

И так как весь тупик с родичами и дружками был еще здесь, ожидая отчета нашей делегации, Шашуан с размаху ударил кувалдой по опоке, скрывавшей нашу пушку «Братство».

Сосредоточенным молчанием приветствовала толпа освободившийся от оков некий странный предмет — грязный, бесформенный, похожий на ствол сухого дерева, какой-то бородатый, шелушащийся.

— Не горюйте,— заявил Бавозе, обстукав пушку кувалдой,— вот потрудимся над ней три ночки, и игрушечку получите, а не пушку!

Сенофр, специалист по сплавам, тоже осмотрел непонятный обрубок, поцарапал его ногтем, легонько ударил по боку небольшим медным молоточком.

— Тише, вы...

Ударил, еще несколько раз ударил и все подставлял то одно, то другое ухо, словно не доверяя своим барабанным перепонкам. И наконец с мечтательной улыбкой вынес приговор:

— По-моему, у вашей пушки «Братство» славный голосочек будет!

Три дня спустя.

Стрелки Дозорного возвратились домой еле живые от усталости. Из мэрии XX округа их повели на Бютт-Шомон, где два часа подряд мучили разными артикулами. Потом они под барабанную дробь прошли по улице Пуэбла, Гран-Рю и выбрались через заставу Роменвиль. В полной темноте миновали Нуази-ле-Сек. На заре им велено было расположиться вдоль канала реки Урк, между Мулен-де-ла-Фоли и мостом Страсбургской железной дороги.

Два дня и две ночи провели они на насыпи канала, под открытым небом, без палаток, даже огня им не разрешали развести. И все это ради чего? Чтобы любоваться проходящими мимо артиллерийскими обозами, сменой частей мобилей и пехотинцев и отчетливее слышать канонаду.

Кроме своих вещевых мешков, они притащили домой на плечах Матираса, в кровь разбившего себе ноги, а также Нищебрата, который ноги отморозил. А Пливар вернулся почти сумасшедшим.

Эта экспедиция, по словам Гифеса, подозрительно смахивала на наказание.

* * *

Шашуан, Бавозе, Фигаре, Удбин, как и большинство литейщиков, трудились под началом Тонкереля словно бы для самих себя. Работали посменно, чтобы не выпускать пушку из виду в течение тех пятнадцати часов, когда шла полировка, обточка на большом станке, приводимом в движение паровой машиной, а также в течение еще четырнадцати часов, пока растачивался ствол. Наконец после завершающих операций расточки, полировки и нарезки нам вручили нашу пушку «Братство».

Прямо роскошь!

Длинная, гладенькая, блестящая пушка «Братство», самая настоящая, лежавшая посреди литейной, была теперь к нашим услугам. Восемьсот пятьдесят килограммов. Тонкерель предложил нам пока оставить ее здесь, ведь ни лафета, ни колес у нас не было. Теперь-то уж можно довериться...

— Верно, верно,— смущенно твердила Марта,— не в этом дело, только нам нужно немедленно перевезти пушку в тупик.

Без особого труда, правда с помощью огромной лебедки, мы погрузили нашу пушку на повозку, в которую был впряжен наш Бижу, а друзья литейщики надежно ее закрепили.

Но уж больно неподходящее было время для торжественных въездов. Мы загнали повозку с пушкой под навес кузницы, откуда Барден убрал наковальню и весь свой инструмент. На пушку пришли взглянуть женщины — мама с тетей, потом Бландина Пливар, Селестина, Фелиси, Мари Родюк, Адель Бастико, вдова Вормье, но особого интереса не проявили. Мы надеялись, что наши бельвильские стрелки, вернувшиеся домой, устроят ей торжественную встречу. Но слишком они измотались, до того, что даже простое любопытство оказалось им не под силу. Во время своей стоянки на насыпи между Муленом и железнодорожным мостом они вдосталь навидались пушек на колесах, с зарядными ящиками и прислугой, столько перед ними прошло на передовую линию и обратно батарей в полном составе, что голый ствол нашей красавицы, укрепленной на повозке, показался им чуть ли не смешным. Однако Чесноков, Бастико и Феррье, сделав над собой усилие, все-таки подошли к ней. Медник плюнул, не на пушку, конечно, а в сторону. Забойщик скота долго ругался по-русски, а гравер хихикнул. Гифес, тот обошел повозку и, еле шевеля от усталости губами, похвалил нашу прекрасную пушку, будто речь шла об игрушке какой. А когда мы вошли в низкий зал кабачка, мы услышали, как Гифес, чуждый всяких иллюзий, разглагольствовал на тему: «Когда же начнут принимать всерьез вооруженный народ?»

Был только один человек, не считая, конечно, Марты, принявший всерьез кладь на нашей повозке,— я имею в виду Мариаля. Слесарь подбирался к пушке «Братство» как-то бочком, осторожно, словно лисица, учуявшая капкан. Протянул дрожавшие пальцы к жерлу пушки, потом резко отдернул их, будто ожегся. Покачал головой, буркнул:

— Детки вы мои! Бедные мои детки! Вы и сами не знаете, что наделали! — И даже побледнел от волнения.

Когда наш кортеж въезжал в тупик, мы спиной почувствовали, что вслед нам глядят из-за полуопущенных штор мясной и аптеки Бальфис и Диссанвье, которых кликнули их служанки. Мясник после того случая с теленком, а аптекарь после своего назначения в муниципалитет не смеют больше прохаживаться по тупику, но зато, когда мы проходим мимо, они смотрят на нас насмешливо с порога своих лавок.

— Надо организовать постоянную охрану пушки,— заявила Марта.

«Ор-га-ни-зовать»— это слово, подхваченное в клубах, Марта произносила торжественным тоном. Для ее губ политический жаргон обладал сочностью плода.

— Охрану? Это еще зачем? — запротестовал Торопыга.

Марта возмутилась: значит, он, Торопыга, считает, что на пушку «Братство» так-таки никто и не польстится?

— Но ведь Барден рядом; он в кузнице ночует,— поспешил пояснить свою мысль сын Ферры, продавец газет.

Даже Марта не решилась настаивать на своем, этим все сказано. Итак, диковинная наша пушка «Братство» стоимостью пять тысяч самых настоящих франков, сумма, которую никто никогда из наших не видел, даже рабочие, вкладывавшие всю свою душу, все свое умение в работу,— единственная пушка в осажденном Париже, о которой не ведал генеральный штаб, пушка без лафета, без колес, без ядер, без упряжи и без прислуги,— находилась под охраной глухонемого.

Отдельные записи из отчетов,
посылаемых Флурансу в тюрьму,
дополненные кое-какими подробностями
и замечаниями личного характера.

Чаще всего выдвигают такое предложение: дать правительству неделю срока, чтобы за эту неделю оно добилось снятия осады. Если за это время ничего сделано не будет, отправиться всем поголовно во главе с республиканскими мэрами в перевязях к Ратуше и провозгласить Коммуну.

Какой-то оратор из района Елисейские Поля — Монмартр заявил:

— Клуб Революции решил, что флагом Коммуны будет красное знамя. Красный цвет,— уточнил он,— это цвет солнца, огня, самой природы, цивилизации. В древних религиях красный цвет считался священным цветом. Огнепоклонники обожествляли красный цвет, если же приглядеться к этимологии восточных языков, то обнаружится, что слово «красный» одновременно обозначает и «прекрасный», то же и в славянских языках — красный там синоним прекрасного...

Спросили Чеснокова, тот подтвердил, что так оно и есть.

Ораторы одобряют этот выбор знамени, каждый на свой лад превозносит красный цвет. Один черпает примеры все в той же мифологии — и люди, изголодавшиеся по знаниям, готовы слушать его часами.

— Прометей похитил небесный огонь, другими словами, научил людей искусству добывать огонь. Тем самым с его помощью они перешли от стадии животного к стадии общественного бытия. Красный цвет — цвет огня — является, таким образом, эмблемой цивилизации. Вспомним также Аполлона...

Другой ссылается на Французскую революцию, что слушателями всегда высоко ценится:

— В трехцветном знамени белый цвет означал короля, синий — закон, а красный — народ... Так вот, у нас нет больше королей, и народ сам устанавливает законы. Поэтому выбор красного цвета для знамени Республики более чем естественен.

А председатель клуба Рен-Бланш на Монмартре бросил такую фразу:

— Нынче красного цвета боятся только быки да индюки!

Коммуна у всех на устах, причем определяют ее все по-разному. «Единственная власть, способная спасти отечество и цивилизацию», «новый комитет Карно *, призванный организовать победу...» Коммуна, твердят все, в самое ближайшее время обоснуется в Ратуше. А обосновавшись, первым делом возьмется за пруссаков — Коммуна их выгонит. Причем, по мнению некоторых, уже одно ее существование все уладит. А деньги Коммуна будет брать там, где они есть: сначала в церквах, где полно

золотой и серебряной утвари, из которой она будет чеканить монету; она может также обратить колокола в кучу денег, если, конечно, их не придется переливать на пушки! Наконец, она конфискует церковное имущество, а также имущество различных религиозных конгрегаций, бонапартистов и беглецов. В результате всех этих конфискаций она сможет накормить народ и будет финансировать рабочие общества, которые заменят хозяев.

Тетрадь четвертая

Воскресенье, 1 января 1871 года.
После полуночи.

Уже давно вошло у меня в привычку каждое 31 декабря, когда бьет двенадцать, высматривать в небесах огненное знамение и каждый год с вновь пробуждающейся надеждой ждать, что откроется новая глава времен. Некогда зимнее небо нашего Авронского плато глядело на меня благосклонно и кротко. Правда, каждый раз я бывал чуточку разочарован, что нет на небе ничего, кроме знакомых звезд, но потом спокойно шел спать, полный доверия к жизни: завтра утром папа задаст корму скотине, прежде чем взяться за починку плуга, мама задаст корму птице, прежде чем взяться за вязание черного чулка, а Предок, который храпит в соседней мансарде, расскажет мне о Платоне, Марате, Бабёфе, Прудоне или о Бакунине; потом, просветив меня, чтобы развлечь, совершит со мной прогулку по Ливерпульским докам, сведет под берлинские липы, а то и на барселонские рамблас... Был у нас дом, очаг, дрова, свинья на откорме, варенье и мука, земля, семена, умелые руки; хозяин где-то на отшибе, некий господин Валькло; в Париже, в пригороде, именуемом Бельвилем, тетя, дядя и маленький кузен; и еще полное мужества сердце, голова, полная светлых идей, — и никакого тебе бога, отягощающего душу.

Первый день нового, 1871 года. Пруссаки топчут Авронское плато. А сами мы в Париже стреноженном, в Париже удушенном, в заживо погребенном Париже. Когда идет снег, кажется, будто идет он только над одним Парижем; там же, за кольцом фортов, повсюду во всей вселенной сверкает солнце, везде тепло, везде радостно жить, а все беды, все десять египетских казней обрушились на этот город, на этот императорский Вавилон.

Я судорожно цепляюсь за свой дневник, и даже Предок больше надо мной не издевается, как бывало: «Мамаша с клубком, сынок с пером, а получается: мамаша-то — чулок шерстяной, а сынок — синий». Увидят ли свет эти тетради? Возможно, только после моей смерти. Впрочем, смерть сейчас самое привычное дело в этом Париже, на который ополчились все кары небесные: после оспы — тифозная горячка, бронхит, пневмония, скарлатина, дизентерия, круп, сумасшествия, эпидемия самоубийств, пьянство, гангрена, меткая ружейная стрельба и бомбардировки великолепными тяжелыми орудиями, целиком отлитыми из стали герра Круппа.

Когда пробило двенадцать на бельвильской колокольне Иоанна Крестителя, я вылез на крышу хозяйской виллы. Небо тускло поблескивало от холода и мерцания звезд. Пушки бьют с удвоенной яростью и зажигают кровавые недолгие зори на горизонте, в той стороне, где Рони. Отдельные разрывы достигают такой силы, что на голом стволе пушки «Братство», стоящей под навесом кузни, вроде бы выступают серебряные слезинки. Какая-то тень, тяжелая и вялая, хныча, бродит вокруг повозки, это, должно быть, привратница, она теперь выходит из дому только ночами. А в кабачке разливанное море и чей-то хриплый голос, отсюда не разобрать чей, выводит:

Я знаю, у Трошю есть план,
Бей, барабан, бан, бан, бан!
О боже, что за чудный план?
Я знаю, план Трошю таков,
Что всех спасет он от врагов.

В дни вот таких семейных праздников особенно тяжело на душе оттого, что нет отца. Где-то папа — в плену? А может, убежал? Может, примкнул к партизанам, действующим в тылу у пруссаков? Нашел ли он своего брата, дядю Фердинана?

А мама день ото дня все сохнет. Она и никогда-то не была плотной, шумной, болтливой, навязчивой, а сейчас ее совсем не слышно, даже вроде бы и не видно. Пройдет мимо — только вздох, тень какая-то скорбная. Сидит, сгорбившись над печуркой, и пытается на трех прутиках сварить нам что-то вроде похлебки, а самой ей только и достается, что ложку облизать.

Ну а Предок, вот уж старый козел, спит теперь с теткой. И видать, они по-настоящему любят друг друга.

Бижу бьет копытом о камни тупика. Пришлось ему уступить свое место под навесом у кузни нашей пушке. А не спит наш старый коняга не только из-за холода. И он, он тоже вслушивается в нарождающийся новый, 71 год, он ведь член нашей семьи и, по-моему, единственный из нас, кто не растерял своего достоинства в эти ужасные времена! Милостивые боги, сделайте так, чтобы он кончил свои дни у себя в загоне под грушевым деревом в Рони, а не в Париже, не в ихних глухих утробах!

Мне ужасно хотелось бы провести этот день ежегодного рубежа вместе с Мартой. Но я не посмел ей об этом сказать. Только одну ночь из трех проводит она здесь, а в остальные исчезает. *(Не то чтобы она внушала мне робость, но... как бы лучше выразиться?.. Это было знаком уважения с моей стороны. Нельзя же в самом деле зажать ласточку в кулаке, а можно, и то если удастся, только легонько погладить ее по перышкам. Свободолюбие Марты было ее главным обаянием, единственным ее богатством, истинным ее целомудрием.)* Я смотрю, как она живет, и это уже занятие. Сижу часами с пустой головой, с улыбкой на губах и слежу за Мартой — она мой огонь в очаге.

В ночь с 6 на 7 января 1871 года.

Последние двое суток немецкие бомбы рвутся на левом берегу. Красная Афиша, как бичом, подхлестнула Бельвиль.

Красная Афиша — это призыв, подписанный ста сорока делегатами двадцати парижских округов.

«Всеобщая реквизиция. Бесплатное распределение продуктов. Массовое вооруженное наступление.

Политика, стратегия, администрация правительства

4 сентября, являющиеся продолжением политики Империи, решительно осуждены. МЕСТО НАРОДУ! МЕСТО КОММУНЕ!»

Целый день мы охраняли эти афиши. Шпики, а также подкупленные женщины и ребятишки выбегали на улицу, чтобы сорвать афиши.

Вскоре последовал ответ правительства, вернее, краткая декларация, заканчивавшаяся следующими словами:

«... Губернатор Парижа не капитулирует.
Париж, 6 января 1871 г.
Губернатор Парижа
Генерал Трошю».

У каждой из этих двух афиш собираются шумные толпы. «Конечно, Трошю только перед Бельвилем клянется не капитулировать!»

Так как я делал записи тут же на улице, на меня набросились. Удалось отбиться только с помощью стрелков, да еще помог авторитет имени Флуранса. Холод страшный, и все-таки споры на улице не затихают. Господину Клартмитье, хозяину магазина «Нувоте», утверждавшему, что «наша» Коммуна придет слишком поздно, свысока ответил Шиньон:

— Если она придет слишком поздно, чтобы спасти Париж, мы его тогда сожжем вместе со всеми его потрохами, с реакционерами, себялюбцами, с наглыми собственниками и со всей этой швалью — лавочниками, которые, как клопы, сосут кровь из славного нашего народа. Сожжем пруссаков, тех, что внутри, и тех, что снаружи!

— А сами-то куда денетесь?

— Неважно куда! Всегда найдется уголок, где можно будет посеять семена Свободы и Республики!

— Если даже пруссаки прорвутся через укрепления,— добавил Матирас,— у нас еще хватит времени водрузить красное знамя над Ратушей, а потом уж изгнать врага! При Коммуне все возможно!

— А вы хоть знаете, что такое эта Коммуна? — спрашивает Флоретта.

Ответы летят с такой же быстротой, как неприятельские бомбы:

— Это — народоправство!

— Это — справедливое распределение продуктов!
— Народное ополчение!
— Наказание предателей!
— Всеобщее обучение!
— Орудия труда — рабочему!
— Землю — крестьянину!
— Пролетарии в Опере!
— Парижская биржа, переоборудованная под лазарет!
— Сорбонна, доступная беднякам!
— Полиция против богачей!
— Хозяев — в лачуги!
— Пролетарии за пушкой, а не перед пушкой!
— Медицинская помощь, оплачиваемая государством, бесплатные лекарства!

Тут Бастико подвел итог спорам со смехом младенца Гаргантюа:

— Коммуна, стой-ка... Она и есть Коммуна!

Слова его были встречены хохотом, аплодисментами.

Просто ли разговоры, ссоры ли, но шум не прекращался весь день. Продолжался он и ночью и завершился застольем в «Пляши Нога». До меня долетали отдельные возгласы:

— Пусть 31 октября послужит нам уроком!
— На этот раз дудки! С оружием выйдем!
— И пулять будем...

Конец фразы поглотило равномерным грохотом разрывов на левом берегу, под полной луной, посеребрившей новенькую бронзу пушки «Братство».

* * *

«ТАЛОН на одну пару суконных башмаков или на одну пару сабо, пожертвованных господами РОТШИЛЬДАМИ, получать в Гранд-Мэзон-де-Блан, бульвар Капуцинок, № 6, Париж.

Действителен до 20 января 1871 г.».

Ротшильдов дар чуть не перессорил всех наших женщин. Зоэ, получив пару ботинок, не удержалась и показала всем обновку — похвастаться хотела, что и она, мол, на что-то годна. Но Мари Родюк и Трусеттка, созвав всех кумушек Дозорного, доказали ей, что, напротив,

она ни на что не годна, если принимает подачки от банкиров.

— Вот дуреха-то, ноги-то согреть согреешь,— вопила тетка,— зато душа прогниет!

Женщины сейчас живут буквально на нервах. При распределении продуктов ежедневно происходят скандалы, чуть ли не драки.

— Если бы мы все до одной получили талоны, было бы не так противно,— поясняла госпожа Фалль,— если все — это уже не благотворительность, а победа.

Вряд ли бедняжка Зоэ была способна разобраться в таких оттенках.

— Она небось штаны спустила за то, что ей обувку дали! — бросила Камилла Вормье, которая в качестве вдовы солдата корчит из себя самое добродетель.

— Чего уж тут, эти бретонки служанками родятся, рабынями до смерти живут! — наставительно заключила Фелиси Фаледони, позументщица, в ее глазах любое ремесло, любая работа на дому, даже самая, казалось бы, жалкая, служит залогом независимости и свободы.

Кончилось тем, что, как всегда, Зоэ забилась в самый темный уголок слесарной мастерской, чтобы нареветься вволю.

Гражданин Делеклюз и его заместители в мэрии XIX округа подали в отставку, по весьма достойным мотивам: не желают «оставаться пассивным орудием политики, направленной против интересов Франции и Республики».

Этот «возвышенный пример» расценили по-разному. По мнению Ферье, ему должны были бы последовать все избранные в муниципалитеты. Но в глазах Гифеса отставка не есть политический акт. Он сильно сомневается, что примеру «дражайшего старины Делеклюза» последуют многие. Женщины XIX округа совсем растерялись: когда во главе их муниципалитета стоял ветеран-республиканец, они знали, что их поймут, поддержат. А теперь перед лицом новой администрации, распределяющей дрова и хлеб, они чувствуют себя беспомощными. Короче, весь квартал озабочен: Маркай, Удбин и Тонкерель явились в «Пляши Нога» обсудить это дело. Литейщики тоже приуныли, после того знаменитого сочельника их отношения с братьями Фрюшан лучше не стали.

— Делеклюз знает, что делает,— успокоил их Предок.— Будьте уверены, он с согласия Бланки действовал.

Его отставка — только начало. Мы накануне революционных боев за Коммуну. И не кручиньтесь вы, граждане, скоро братья Фрюшан будут у вас в ногах валяться!

Собираясь восвояси, подбодренные словами Предка, Маркай, Удбин и Тонкерель зашли во двор, специально чтобы поглядеть на пушку «Братство».

— Как? У вас до сих пор лафета нет?

— Будет, будет лафет! — сердито огрызнулась Марта.

— Во всяком случае, не вздумайте из нее сами палить,— посоветовал Тонкерель.— Может взорваться. Ваша пушка пока еще испытания не прошла, а она в испытании побольше всех прочих орудий нуждается. Бронза-то больно дерьмовая, кто знает, как она себя вести будет! Ведь из монеток лили...

Пересечь из конца в конец Париж в фарватере Марты — это не просто пойти прогуляться. Каждый перекресток, каждый переулок, даже кусочек тротуара или обыкновенная тумба непременно вызовут у нее какое-нибудь воспоминание, так что ей требуется немалое усилие, чтобы не поделиться этим со мной.

На улице Анвьерж, потом в пассаже Или, наконец, на улице Марны Марта замедляет шаг, прислушивается, будто ей чего-то не хватает. Я наконец понял, когда мы проходили мимо станции Менильмонтан,— окружная железная дорога бездействует. Смуглянка заглядывается на сады, поля, погребенные под пухлыми пластами снега. У подъездов чисто подметено — такова сила привычки. Вопросов я не задаю, я целиком положился на Марту. Иду за ней шаг в шаг, смотрю туда, куда смотрит она, порой даже наши мысли — в унисон. Когда она вот так останавливается, оглядывает свой Париж, она его не видит, она раздевает его взглядом.

Мясная на улице Оберкан торгует только ошметками трески, селедкой, превратившейся в окаменелость, а также зараженной долгоносиком чечевицей; по соседству сапожник, чья мастерская на углу улицы Фоли-Мерикур, тоже пустился в коммерцию: продает паштеты весьма сомнительного происхождения; прачка с улицы Рампон предлагает желающим солонину по ценам, считающимся «умеренными»; в витрине парикмахерской на улице Мальты мирно соседствуют парики и банки консервов.

Потому-то, когда Марта останавливается с равнодушной физиономией, гордо задрав носик, но слышит все, о чем говорят в очереди, я тоже зря времени не теряю, а стараюсь запомнить весьма знаменательные разговорчики насчет «поддельного молока» из оссеина, проще говоря, его перегоняют из костного мозга, и о поддельном мясе, до того хорошо подделанном, что «когда оно протухает, ну прямо мертвечиной разит!».

Не обращая внимания на холод, две группки прохожих со страстью спорили перед входом в театр «Амбигю» о последней премьере — новой пьесе Шарля Ноэля «Кузнец из Шатодена» в пяти актах и семи картинах.

— О друг мой, это же самая настоящая патриотическая пьеса! Весь зал хором подтягивает «Хор шатоденских мобилей»!

— Дюмэн просто неподражаем!

— Ну, этого-то даже осадой не проймешь, не худеет...

Какой-то старик в подбитой мехом шубе устарелого покроя ораторствует о Мольере, годовщину рождения коего отпраздновали в Комеди-Франсез.

— В ту самую минуту, когда подняли занавес и должен был начаться «Амфитрион», этот мольеровский вызов небу, загрохотали пушки, покрывая левый берег кровью и огнем!

В другой группе разговор идет о том, что в театре «Порт-Сен-Мартен» возобновлен «Франсуа Найденыш».

— Лучше всего, поверьте,— это драматическая интермедия «Рождение Марсельезы»... После исполнения обходят зрителей с прусскими касками для сбора пожертвований!

— Парижанам и так уж не слишком много приходится смеяться, а что ставят в театрах, подымает ли это их дух? «Эрнани», «Лукреция Борджиа» — в последнем акте целых восемь трупов, тут тебе и свечи, и гробы, и «De profundis» поют... В наше время такое и бесплатно увидишь, можно на билеты не тратиться!

Какой-то элегантный театрал настоятельно рекомендует собравшимся посмотреть в Фоли-Бержер «Те, кто маршируют» и «Несчастные эльзасцы» в театре Бомарше.

— Сам бы лучше к пруссакам промаршировал,— ворчит про себя Марта, но дрожь ее губ более чем выразительна.

Именно утром стоит поглядеть на площадь Оперы. Ну настоящая ярмарка, чего только там нет: в одном углу сложены барабаны, составлены в козлы ружья и национальные гвардейцы, прежде чем построиться в ряды, болтают группками, жестикулируют, совсем как барышники; а прямо на тротуарах продавцы под зонтами предлагают желающим снедь, от которой свинья и та рыло отворотит. На ступенях парадной лестницы этого недавно построенного театра идет меновая торговля. Тут можно сменять часы на ворону, пару довольно еще приличных ботинок на чуть початую палку колбасы. Продавцы, покупатели, нищие, шлюхи — все это толкается, снует. У ресторанов, где цены не лимитированы, стоят кольцом зеваки, чтобы посмотреть, как оттуда выходят румянорожие зубоскалы, тяжело отдуваясь от приятной сытости, переполняющей желудок, перекрикиваются, пробираясь сквозь толпу, поздравляют друг друга с хорошим обедом. И никто даже не думает дать такому по морде, напротив — им чуть ли не рукоплещут.

Человек тридцать сгрудились у витрины ювелира, половина ее отведена под драгоценности, а другая половина — под живую птицу.

Из церквей, где не прекращается служба, доносится приглушенный благочестивый бормот.

— Первым делом,— ворчит Марта,— в небо бабахнем и убьем!

— Что это ты мелешь? Нельзя ли выражаться поточнее?

— Чего точней! Бабахнем, говорю, вверх, глядишь, кто-нибудь оттуда и свалится!

— Ну и что?

— Ну и то, простофиля деревенская, не пугайся, небось нос себе не расквасишь.

У паперти уличный певец предлагает листки с песенкой об аресте подписавших Красную Афишу:

Решив, что воздух и свобода
Здоровью ужас как вредны,
Держать за стенами тюрьмы
Трошю решил друзей народа,
Их план, как выгнать пруссака,
Ему не нравится слегка...

По базарной площади снуют разносчики и предлагают свой товар — осколки снарядов, разорвавшихся на ле-

вом берегу. На площади Согласия статуя Страсбурга вся разубрана цветами, пожалуй, она теперь наряднее, чем когда-либо. Отдельные группы, ассоциации, даже военные батальоны с оркестрами во главе подходят и подходят, кладут венки, склоняют знамена, дают обеты...

Марта решила во что бы то ни стало проникнуть в Лувр.

— Живописью интересуешься?

— Не морочь мне голову! Сейчас в Лувре оружие делают.

Часовым у входа, пытавшимся преградить нам путь, она бросила:

— Нам отца повидать надо, мама наша помирает.

— А где он, отец-то твой?

— Он на нарезке ружейных стволов.

Мы идем по галереям, где размещаются многочисленные канцелярии по контролю и приему оружия, потом через огромный Тронный зал, где ужасно разит от жаровен; здесь, оказывается, переделывают ружья с устарелым затвором на более современные. Марта рыщет взглядом среди рабочих, которые трудятся в большой картинной галерее, выбирает себе одного старичка в очках с добродушной физиономией — он чем-то смахивает на Лармитона. Старичок вовсю орудует сверлильным лучком.

— Скажите, пожалуйста, здесь делают лафеты для пушек?

— Нет, доченька, не здесь. Мастерские перевели на Лионский вокзал.

— Непременно туда зайдем,— решает Марта, выходя из Лувра,— только попозже. А теперь хочу посмотреть, как бьют по Монпарнасу. Сейчас самое время.

— А ты не боишься?

— Ну и что тут такого, что боюсь? Что же я, не женщина, что ли?

До Марты я не умел ходить по улицам. Просто шел из одного пункта в другой. Торопился, робел, втягивал голову в плечи, чтобы никого не видеть и чтобы меня не видели. Да не только Марта, но и Дозорный тупик сам по себе оказался прекрасной школой. Когда я смотрю теперь, как уходят наши батальоны, у меня сердце сжимается. Смотрю на бедняков, обряженных в военную форму, тянущихся, чтобы придать себе бравый вид, и уже без труда представляю себе их жалкие жилища, их будни,

их бесхитростные мечты. Жена и ребятишки национального гвардейца ходят навестить его на укрепления, приносят чуточку супа, чуточку дров и проводят с ним часок, конечно, не бог весть что, и, однако ж, это-то как раз и важно, в этом вся новизна положения; а чтобы лучше понять это, достаточно видеть, как рабочий или приказчик, призванный под ружье, обнимает родных, расставаясь с ними на аванпостах: для него родина, родина, над которой нависла угроза, отныне уже не только зажигательное слово в речи оратора, родина для него это любимое существо; родина для нашего своеобычного воинства — все эти люди из крови и плоти, слитые в его душе воедино, самое драгоценное, что дарует нам жизнь и что нужно защищать любой ценой.

Из южных кварталов, которым угрожает вражеская артиллерия, бегут целыми семьями. Мужчины впрягаются в тележку, а сзади ее подталкивают женщины. Ребятня тащит в руках лампы и стенные часы. Взявшись под ручку, шествует вслед за нанятыми носильщиками, осторожно несущими ковер, чета буржуа, у него в руке клетка с канарейкой, а у мадам — узелок, откуда выглядывает кусочек кружева. Навстречу беженцам валят любопытные, им не терпится увидеть собственными глазами, какие разрушения причинила в этих кварталах бомбардировка. Особенно большой успех выпал на долю кладбища Монпарнас, где разворотило много могил. У кладбищенского входа идет бойкая торговля сувенирами; публика особенно гоняется за неразорвавшимися бомбами: одна штука идет за четыре франка двадцать пять сантимов!

На бульваре Анфер служащие муниципалитета выламывают решетки вокруг деревьев, желоба у фонтанов и все прочее, лишь бы было из бронзы, которая реквизирована на корню,— из нее будут лить пушки.

Бомбы падают на Люксембургский дворец и на Валь-де-Грас. Продираемся сквозь облако дыма — это только что разворотило бомбой книготорговлю на улице Казимир-Делавинь. Люди выбегают из домов, накинув пальто прямо на исподнее. Под ногами скрежещет битое стекло. Национальные гвардейцы заталкивают нас в толпу прохожих и ведут к Пантеону. Со стен какого-то здания на углу улицы Суфло потоками сыплется штукатурка. Балкон на втором этаже выставил в пустоту свою

искореженную решетку. Для вящей убедительности загонявшие нас в укрытие гвардейцы рассказали, что близ Люксембургского дворца уже взорвалось более двадцати бомб, а там, в музее, собраны лучшие произведения современного искусства; бомбы рвались также в саду, где находится походный лазарет. *(Знаменитые оранжереи музея, равных которым нет в мире, были полностью уничтожены.)* В лазарете, расположенном в Валь-де-Грас, двое раненых, из них один национальный гвардеец, были убиты прямо на койках.

— Ух, кровопийцы! А ведь лазарет узнать нетрудно, его по куполу издали узнаешь!

Десяток беглецов с улицы Сен-Жак. Только что упала бомба перед музеем Клюни. Бежим к Пантеону.

Там мы и провели ночь у гробницы Монтебелло вместе с жителями V округа. Большинство с тех пор, как начались бомбардировки, являются сюда почти каждый вечер с тюфяками и прочими предметами первой необходимости. Как мы ни спорили, нас с Мартой разлучили. Ее отправили ночевать в огромную подземную галерею, отведенную специально для женщин. Я улегся прямо на каменный пол рядом с какими-то четырьмя молодцами, резавшимися в карты при свете огарка. Под сводами в темноте жители улицы Сет-Вуа жаловались на своего домохозяина:

— И уж, конечно, лучший погреб в доме ему! А мы друг другу хоть на голову садись! Посмотрели бы, как он там, мерзавец, устроился: стены обоями оклеил, полочки понавесил, ему что — может год просидеть со всеми удобствами. А еды лет на десять припас! Ну... я и выбрал себе в качестве укрытия Усыпальницу Великих Людей...

Кто-то по соседству поносит «хлеб Ферри».

— Никак не разберешь, почему это у него вкус опилок, почему разит грязью и очистками, ведь известно, что делают-то его из старых панам, которые вылавливают в сточных канавах...

Высокие своды отражают громоподобный смех, раздающийся меж прославленных гробниц.

Грохот рвавшихся неподалеку бомб доходил до нас приглушенный, вялый. Из галереи доносятся обрывки ссоры из-за оставленного нашими войсками знаменитого Авронского плато, потом отобранного назад после кро-

вопролитных боев; его, по словам спорщиков, ничего не стоило удержать. А теперь пруссаки, завладев им, стоят вплотную к северным и восточным предместьям Парижа. Приближается мертвящее жужжание, и споры смолкают.

— По лазаретам бьют!

— И по монастырям! Бомбили Сакре-Кёр на улице Сен-Жак...

— Должно быть, монахи все портки себе обгадили!

В темноте нельзя разобрать, кто говорит, слышно только, что голос злой.

Разбудила меня песенка:

Видел Бисмарка вчера
У Шарантона я с утра...
Бил огромною дубиной
Свою бабу, как скотину.

В подземных галереях, в этой Усыпальнице Великих Людей, весело играет ребятня.

Когда я спросил Марту, о чем говорили в их убежище ее соночлежницы, она фыркнула:

— Радуются, потаскухи, что по декрету вдовы убитых при бомбардировке приравниваются в правах ко вдовам погибших в бою!

Мы шли по улице Сен-Жак. По льду резво носились маленькие конькобежцы, потому что рукав Сены от моста Сен-Мишель до Собора Парижской богоматери замерз.

* * *

Нынче к шести часам вечера канонада стала стихать. Показалось даже, будто вдруг стало чуточку теплее. Густой туман вползает в проходы между домами, в узкие улочки. До темноты еще далеко, а уже не видно крыш. В казарме Рейи бретонские мобили, желая согреться, пляшут и поют на своем странном языке песню, которую теперь весь Париж знает... Перед лазаретом Сент-Антуан нас остановили четверо мальчишек, потрясая под самым нашим носом кружкой для сбора пожертвований:

— Дайте, добрые патриоты, несколько су на пушку краснодеревцев предместья.

— А как ваша пушка-то называется?

— Там видно будет!

Мы расхохотались и хохотали до самого бульвара Филипп-Огюст.

Марта буркнула что-то вроде:

— Никогда еще я так не любила этот чертов город!

Был сейчас только один свет, от ее лица исходящий. Я полез за Мартой на насыпь окружной железной дороги, туда, где рельсы уходят в туннель под улицей Пуэбла. По лестницам мы взобрались на самый-самый верх. И зря взобрались: липкий туман, как припарка, пластался над Парижем. Ни огонька — ни к северу, ни к западу, там, куда без передышки, не затихая, бьют пушки, хоть бы искорка промелькнула от разрывов бомб, которые, как и каждый вечер, падают на шоссе Мэн, на Монпарнас и Вожирар. Но все равно моя смугляночка впивалась пронзительным взглядом в свой город. Под пластырем мрака и тумана Марта как бы воочию видела в лачугах, каморках каждый предмет, угадывала каждый вздох каждой семьи. И я, так близко от Марты и так далеко от нее,— я словно бы улавливал в еле заметном биении жилки на ее виске пульс самого Парижа.

— Эту ночь проведешь у меня,— вдруг произнесла она с такой непривычной для нее торжественностью, что я догадался: это мне награда.

Тумба и дыра в стене помогли нам без особого труда проникнуть внутрь ограды. Мы оказались на кладбище, только я не сразу это сообразил. В темноте, в таком густом тумане, что хоть пилой его пили, меня вели за руку по проспектам какого-то неведомого города в миниатюре. Впервые я попал на кладбище Пэр-Лашез. Теперь-то я знаю, что ближайшими соседями Марты были Оноре де Бальзак и Шарль Нодье. Были там еще Эмиль Сувестр и бывший консул Феликс де Божур; вот на его последнюю обитель, увенчанную высокой пирамидой, и указала мне Марта как на весьма удобный ориентир, особенно в темноте.

«Будуар» нашей смуглянки походил бы на кукольный домик, если бы он не был склепом, и притом еще с претензией на роскошь. Решетка окружала прямоугольный участок шесть футов на двенадцать, а в самом центре его стояла вроде бы индусская пагода, вся из розового мрамора, украшенная барельефами на благочестивые темы, и венчала ее каменная статуя плакальщицы в натуральную величину.

Вслед за Мартой я перепрыгнул через невысокую решетку, и тут она вытащила из кармана ключ, железный, массивный.

— Эй, погоди-ка, а кто... кто здесь похоронен?

— Трусишь?

Марта зажгла потайной фонарь.

— Любуйся, мужичок, пока еще никто.

В середине склепа было вырыто углубление, куда свободно могли войти три-четыре гроба, но сейчас ров, выложенный камнем, еще никем не занятый, зиял пустотой.

— Ты только представь себе, этот клоп жирный ухлопал на памятник тыщи су, а сам никак не сдохнет! В жизни тебе не догадаться, чей это: Валькло! Прямо помешался, все строит и строит. Это-то строили втихомолку. Никто о нем не знает, одна лишь я.

— Тебе Валькло ключ дал?

— Держи карман шире! Пружинный Чуб сделал, только уж, конечно, не знал для чего!

И тут Марта все тем же торжественным тоном заявила, что я первый из чужих буду здесь ночевать.

— И ни разу тебя здесь не застали?

— Еще чего! Риска никакого нет, разве что в День всех святых. Ах, да... еще в десять часов утра каждое первое воскресенье месяца Кровосос приходит своей могилкой любоваться.

Ложе Марта устроила себе из пустых мешков; мешок из-под картошки был засунут в мешок из-под муки, самого большого размера. А между ними она напихала еще конского волоса. (Прадед наших теперешних «спальных мешков», которыми пользуются туристы в кемпингах для молодежи.)

— Здесь тебе не Пантеон, будем спать вместе!

С минуту она замешкалась на пороге склепа, словно не решаясь запереть на двойной оборот ключа свою нору. Взгляд ее рассеянно озирал окутанное мраком кладбище, и она видела, нет, правда, видела все эти миниатюрные колонны и мавзолеи; по-моему, она способна была видеть даже усопших и поддерживать с ними добрососедские отношения.

— Мне-то повсюду в Париже жилье есть, только я предпочитаю Пэр-Лашез...

На западе и на севере по-прежнему грохотали пушки, бомбы все еще падали на левый берег, но Пэр-Лашез

охранял за́мок Марты глубокими рвами, ямами, наполненными до краев тишиной и мраком.

По словам Марты, ее изобретение — мешки с прослойкой конского волоса — вполне предохраняет от холода, при условии, если спать голым.

Возможно, все отсюда и пошло...

Единственная наша ссора, которую удержала моя память во всех подробностях... А ведь ругались мы часто. Начиналось с пустяка, а кончалось порой кулаками. В ту пору я был еще полон чисто рыцарского простодушия, и собственная моя грубость меня озадачивала. Теперь, в шестьдесят два года, я, по-моему, понял, что Марта, сознательно или нет, сама нарывалась на удары. А я в семнадцать лет обладал недюжинной силой, что трудно было предположить по моему виду — недаром Марту раздражала моя вялость, не вязавшаяся с высоким ростом, обычная моя апатичность. Всякий раз в глубине души я считал, что теперь-то мы разругались окончательно и навеки. А назавтра, после примирения, я проникался столь же быстро мыслью, что отныне мы никогда больше ссориться не станем, и следующая ссора, опять-таки по пустякам, но еще более свирепая, чем предыдущие, застигала меня врасплох, кулаки тяжелели от злости, и потом я долго стоял в отупении, глядя на свои распухшие руки. Прямо приступ какой-то! Ни заранее обдуманного намерения, ни шрамов, во всяком случае в душе. До сих пор я ни разу не писал об этих, других шрамах в дневнике из какого-то чувства стыдливости, а главное, еще и потому, что от наших ссор ничего не оставалось, даже капельки горечи! Но драка на Пэр-Лашез совсем иное дело! Мне и дневника перечитывать не надо, чтобы вспомнить, почему она началась. **(Прошу прощения, не по пустякам!)**

— Нет, Флоран, не хочу.

— Почему?

— А вот потому.

— Но ведь всегда ты сама...

— Ну и что?

Мы лежали совсем голые, стиснутые мешками, я бесился. Говорил ей о любви. И все нежнее говорил, все больше бесился. Я совсем расчувствовался, голос у меня стал ласковый, чуть ли не медовый, а она зевала.

— Ишь разблеялся, красавчик!

Она грубо оттолкнула меня, и оба мешка лопнули по швам. Мы зачихали от взлетевшего облачком конского волоса.

— А другие, Марта?

— Ну-да, другие... Умираю, спать хочется, балбес.

До сих пор — клянусь! — я в этих других как-то не слишком верил.

Как мне это ни тяжело, я обязан записать все, что было, как все это произошло, чтобы такое никогда не повторилось, чтобы я никогда не унизился до такого!

Я избил Марту. Не то что там какая-нибудь оплеуха или тумак, а что называется, измолотил. Бил кулаком наотмашь, изо всех сил. Я прижал ее коленями и осыпал ударами. Орал что-то и бил ее по голове, по плечам, по груди, словом, по тому, что в данную минуту находилось под рукой... У меня еще и сейчас, утром, кисти затекли и стали с овечью лопатку. Марта защищалась как могла ладонями, локтями, вертелась, чтобы вырваться из тисков сжимавших ее колен. Словом, всячески старалась увернуться, но молчала. Не крикнула, не застонала, застони она — у меня, быть может, руки опустились бы. По-моему, у нее была только одна мысль — чтобы я не забил ее до смерти, она даже не пыталась прекратить побои.

Не знаю, то ли я опомнился, то ли устал. Вдруг я упал на Марту и взял ее. Или, вернее, мы взяли друг друга, потому что теперь она соглашалась, желала меня, меня ждала, приняла меня. Таким образом, в том самом рву, где предстояло гнить останкам господина Валькло, произошло нечто необыкновенное. **(Ты даже представить себе не мог, малыш, до чего же это было необыкновенно!)** А вокруг нас шла битва, бомбы падали на Париж, холодали и голодали люди, и там, под нами, были все эти мертвецы, старые и молодые, уже давно простившиеся с жизнью, и те, кому еще предстояло с жизнью проститься. Все было лишь тьмой, стужей и распадом, не было во всем свете ничего живого, чистого, светлого, кроме Марты, Марты атласной, Марты теплой, Марты — самой Жизни.

Мы так и заснули в объятиях друг друга. Когда она покинула меня... покинула... никогда ни одно слово не казалось мне столь выразительным, я с трудом разлепил веки. А она шепнула мне:

— Пойду разведаю насчет этого лафета. Встретимся, дылда, в Дозорном.

Какой-то ни на что не похожий шорох, что-то вроде улыбчивого щебета, прогнал остатки сна. Я встал, оделся, а сам старался распутать, что было нынче ночью кошмаром, что сновидением, что явью. Ей-богу, не знаю, это ли зовется любовью... (Именно это я и старался вновь отыскать в течение всей моей жизни.)

Треск гравия под ногой, обрывки разговора возвестили о появлении двух могильщиков, за которыми я следил в замочную скважину.

— Ну, сейчас можно их спокойненько хоронить,— сказал один.

— Еще удачно получилось,— отозвался другой.— Ведь одиннадцать ребятишек привезли.

— Хорошо еще, что убитых во время вылазки сюда не доставили.

— А то пришлось бы продолжить кладбище до самого Ножана...

Уходя, Марта сунула под притолоку ключ, так что я мог отпереть дверь и запереть ее за собой. Меня потрясла прелесть утра. Солнечный отсвет играл на челе Бальзака. И снова я услышал тот милый щебет. Он шел из-под земли, он был словно улыбка на мертвых устах... Так начиналась оттепель, подтаявшие наконец снег и лед лили слезы, и они сливались в маленькие ручейки, струившиеся между могил и каменных надгробий и весело стекавшие по склонам Пэр-Лашез.

Пятница, 20 января.

Бельвиль закипает, как вулкан. Без барабанов, без труб. На улицах почти не видать людей. Лава еще не течет по склонам, но она бурлит и пылает в глубинах, я чувствую ее жар под ногами.

Бельвиль не прощает бессмысленной гибели своих национальных гвардейцев: на улице Ребваль плачут детишки, на улице Ренар вопят женщины, несут тела павших стрелков.

— Их нарочно убили,— рыдает госпожа Армин, вдова бочара с улицы Лезаж.

Больше они не произносят ни слова, да и другие тоже не вопят, не рыдают. Это и есть молчание Бельвиля. Бю-

занвальская резня — жестокий урок: «А-а, вам захотелось понюхать пороху? Захотелось подраться с пруссаками? Пожалуйста, сколько душе угодно». Трошю выразился почти что так, и это известно предместьям: «Если во время боя падут двадцать или тридцать тысяч человек, Париж капитулирует... Национальная гвардия пойдет на мир лишь в том случае, если потеряет десять тысяч бойцов».

* * *

Капитуляция? Слово это рушится со всех лестниц, врывается в предместья, на холмы, отскакивает от стен, подобно шару, начиненному порохом и готовому взорваться под угрюмым, холодным небом.

А пока что пила и рубанок нашего столяра, не уступая друг другу в упорстве и умении, визжат на весь тупик. По возвращении из Бюзанваля Кош приналег на лафет для пушки «Братство».

— Смотри-ка! Колеса прямо омнибусные!

Впрочем, Кош, как человек тактичный, предпочитает не осведомляться о происхождении этих самых колес. По его мнению, они слишком велики.

— И к тому же задние колеса! Такие громадины, что хоть саму «Жозефину» на них ставь!

Потом столяр начинает в подробностях разъяснять, какая это трудная работа. Никогда еще он лафетов не мастерил, это совершенно другое ремесло, со своими собственными законами, а их-то он как раз и не знает. Кош ворчит, жмурит глаза, покачивает головой, воздевает к небесам руки, а тем временем в уме у него уже зреют кое-какие соображения насчет этого и впрямь неизвестного ему дела. Но каждому ясно, что, чем сильнее Кош клянет наш лафет, тем больше эта работа ему по душе. Брюзжит он даже с каким-то смаком, как те страстно влюбленные в свое дело умельцы, которые готовы горы громоздить, лишь бы было что преодолевать.

— Сейчас увидишь,— шепчет мне Марта и бросает вслух: — Д-да, но раз колеса-то не подходят...

— Ничего, всегда можно что-нибудь придумать! А здорово чудной вид будет у вашей пушечки. Не знаю, много ли она настреляет, а вот страху, как пить дать, нагонит.

— Да-да, все равно дерева для лафета не хватит!

— Отцепись ты от меня, чертова девка!

И он направляется в мастерскую, теребя в руках свою каскетку. А через минуту уже выламывает из потолка своей пристройки две самые крепкие балки.

Понедельник, 23 января.

Всю субботу и воскресенье я носился как оглашенный и не успел ничего записать. Пользуюсь тем, что Флуранс спит, Флуранс, выпущенный на свободу, но сломленный усталостью, разочарованный Флуранс, Флуранс, какого мы еще не знали...

После кровавой резни в Бюзанвале* пустопорожние часы грузно ползут над Бельвилем. Люди собираются кучками, бродят от Куртиля до Ла-Виллет, от Бютт-Шомона до Пэр-Лашез. Матирас затрубит в свой рожок, на зов его сбегутся несколько граждан, потом потихоньку разойдутся по своим ледяным хибаркам. Так и не удается грозе взбухнуть над высотами, где плывут только маленькие круглые облачка и ветер кружит их, прежде чем разогнать.

— Ну и олухи! Вот уж действительно олухи,— тупо ворчит рыжеголовый медник, он даже предположить не мог, что на призывный зов рожка Бельвиль не высыпет на улицу.

— «Все к Ратуше» кричать-то они горазды по клубам,— бормочет Феррье,— а вот когда нужно идти туда, ни одной живой души нет.

— А мы, мы разве уж не в счет? — протестует Александр Жиро, музыкальных дел мастер, он сопровождал нас, когда мы собирали деньги на пушку, вместе с десятком стрелков 2-й роты 25-го батальона.

Слухи о том, что капитуляция — дело самых ближайших дней, пожалуй, уже не слухи. С утра той безумной субботы в Лувре идут переговоры между правительством и мэрами. Среди мэров есть еще несколько настоящих патриотов, например Моттю из XI округа, Клемансо, мэр Монмартра — они-то и держат народ в курсе дела, сообщают о готовящемся предательстве. К вечеру большинство стрелков собрались в Сент-Антуанском предместье, чтобы присутствовать на похоронах полковника Рокбрюна, убитого под Бюзанвалем; и многие участники траурного кортежа выкрикивали: «Да здравствует Ком-

муна!» и «Отставка!» Возгласы эти подхватывали целые роты. Национальные гвардейцы, члены клубов и комитетов бдительности, словом, все и повсюду, по-видимому, готовы были обрушиться на Ратушу.

— Идем к тюрьме Мазас! — крикнула Марта.

— Верно, все идем к Мазас!

— Надо бить в набат! — подхватил Шиньон.

— А по пути тушить газовые фонари! — приказал Жиро.

— Это мы с превеликим удовольствием. Раскокаем, а ветер доконает!

По дороге нам попадается тюремный фургон, может, в нем наши друзья. Мы останавливаем его, осматриваем. Там одно жулье... Пускай себе катит дальше! Капитан Монтель расставляет своих людей на перекрестках, чтобы они могли следить за Лионской улицей и бульваром Мазас. Так ряд за рядом, сея на своем пути мрак, мы собираемся перед тюрьмой. Эх, пушечку бы нам, впрочем, на худой конец сгодится и поливальная бочка, брошенная без присмотра. Мы волочим ее с оглушительным грохотом.

— П-е-е-ер-вая б-а-а-та-а-рея, слушай мою команду! — орет старикан Патор, тем временем барабанщики выбивают дробь, а капитан Сеген выстраивает нас вдоль тюремных стен.

— Рота, налево — марш... рота, направо — марш...

Гифес кричит:

— Высаживай ворота!

Ломами и клещами, позаимствованными на соседней стройке, наши уже разворачивают каменный порог. Тем временем один из наших офицеров, лейтенант Бержере, велит вызвать начальника караула.

— Воспользуемся моментом! — задыхаясь, шепчет Марта; впрочем, эта мысль многим из нас приходит в голову.

Град ударов обрушивается на створку полуоткрытых ворот, напрасно часовые стараются ее закрыть — приклады делают свое дело. Мы продвигаемся, отвоевываем несколько сантиметров. Как ни узка щель, Марта и Нищеброт проскальзывают внутрь. Глухие удары, два-три перекушенных стона, и дверь распахивается во всю ширь. Эфесом шпаги Жиро оглушает какого-то спесивого наглеца, пытающегося преградить нам путь.

— Флуранс? Где Флуранс?

Надзиратель сосредоточенно листает списки заключенных, отыскивая номер камеры, будто он его наизусть не знает! Так бы и искал до бесконечности, если бы вдруг к нему не вернулась память, правда вместе с громким оханьем. Чудо сие совершил Нищебрат, кольнув надзирателя штыком в заднюю часть.

Мы растекаемся по коридорам тюрьмы, и эхо множит крики, перекатывающиеся под сводами.

— Откройте же, черт побери!

— Хвати его по заднице прикладом.

— Ткни ему в морду револьвер!

Жиро обнимает полуодетого Эмбера *, которого он извлек из камеры в нижнем этаже 6-го отделения. Бежим, отталкиваем перепуганных стражников, даже не чувствуя того холода тюрьмы Мазас, о котором мне рассказывала Марта.

Имена узников переходят из уст в уста: Анри Бауэр, врачи Пилло и Дюпас...

Капитан Монтель спохватывается — мы забыли о Лео Мелье *. Бросаемся на поиски. Пришлось его разбудить.

— А где Флуранс? Куда он девался?

Один из граждан отказывается покидать свою камеру, так мы и не поняли почему,— это был доктор Напиа-Пике... Но сейчас некогда вступать в дискуссии. А тем временем надзиратели опомнились и выстроились полукругом возле входных дверей. Наши, Гийом, Дюмон-типографщик, еще один Дюмон и другие, воспользовались этим.

— Гюстав? Он уже на воле.

Перед аркой на острие штыков играют блуждающие огоньки факелов. Кто-то подводит Флурансу белого жеребца, а тот пофыркивает, возбужденный криками и светом факелов. Положив ладонь на переднюю луку седла, с обнаженной головой, без кровинки в лице, наш вождь вступает в краткий спор с Эмбером и Жиро, которые хотят сразу же идти к Ратуше, другие предлагают начать штурм тюрьмы Консьержери, чтобы освободить Тибальди, Лефрансэ, Вермореля и Жаклара *.

— Легче легкого повторить ту же операцию,— спешит выложить свои доводы Альфонс Эмбер.— Снимаем часовых, берем в свои руки власть. На заре Париж узнает, что хозяева города — мы. И он, Париж, нас, конечно, не прогонит...

— Идем подымать Бельвиль,— отрезает Флуранс.

— Мы таким образом уходим от сражения и решительных действий,— протестует Жиро, а ведь он тоже из нашего предместья.

Флуранс вскакивает в седло, пришпоривает коня и кричит:

— Кто меня любит, за мной!

Чистокровный жеребец легко перескакивает ограду, бледный причудливый призрак. Все дружно устремляются за белоснежным конским хвостом, развевающимся как султан.

* * *

Из тюрьмы мы отправились к мэрии XX округа, где я и пишу, расположившись за столом секретаря.

Мы без труда заняли здание муниципалитета на Гран-Рю. Надо сказать, что во время перехода от тюрьмы Мазас к церкви Иоанна Крестителя, особенно когда мы шли через Сент-Антуанское предместье, Ла-Рокетт и Менильмонтан, ряды идущих за белым жеребцом более чем удвоились. Очутившись в мэрии, Флуранс первым делом позаботился о своих освободителях, многие из них пришли с передовых постов и ничего не ели с самого утра. Он вынул из кошелька двадцать франков и послал братьев Родюк купить хлеба в ближайшей булочной. Но было уже поздно, и, конечно, никакого хлеба они не достали. Тогда Флуранс, подписав бумагу о реквизиции, выдал каждому бойцу по маленькому кусочку хлеба и по стакану вина, велев взять их из запасов мэрии,— примерно около сотни пайков. Шиньон и кое-кто из стрелков перебежали улицу и ударили в набат.

С субботы шли непрерывные споры, но самый горячий произошел между Флурансом и капитаном Монтелем, которого поддержал его друг доктор Сере.

— Как? Ты намерен оставаться здесь? И ничего не собираешься предпринимать? — наседал Монтель.

Монтель весельчак, кепи с тремя серебряными галунами нахлобучивает на самый нос, а нос у него длинный, прямой. Усы с лихо закрученными кончиками. Волосы длинные, встрепанные, а на висках лежат завитками. Любимая его поза — заложит левую руку между второй и третьей пуговицами своего двубортного кителя и начнет:

— Мы без единого выстрела освободили узников тюрьмы Мазас. Заняли Бельвильскую мэрию. Малон* готов выступить во главе Батиньольских батальонов. Дюваль* и Лео Мелье — хозяева в XIII округе. Серизье* и его 101-я рота, а также части V и VI округов — в боевой готовности. Мы с доктором Сере не сомневаемся, что захватим, как это уже было 31 октября, мэрию XII округа. Создалась превосходнейшая революционная ситуация, но надо спешить!

Флуранс отрицательно покачал головой: он не хотел выступать без своих.

— С твоим Бельвилем, без него ли, мы идем к площади Бастилии, где нас ждут друзья. Что ж, идешь ты с нами или нет?

— А сколько нас? Два десятка? Подождите, пока я соберу своих стрелков.

Капитан Монтель и доктор Сере ушли, пожимая плечами, а в предместье поскакали гонцы с приказом разбудить батальонных командиров; приказ — собрать войска на улице Пуэбла. А тем временем сам командир стрелков обмакивал свое перо в муниципальную чернильницу и строчил прокламацию, адресованную народу Парижа: «Помощник мэра XX округа Флуранс занял мэрию, куда был избран своими согражданами и где незаконно заседал муниципалитет, назначенный господином Жюлем Ферри. Флуранс обращается с просьбой к своим законно избранным в эту мэрию коллегам явиться сюда и установить народную власть...»

Перо противно скрипело по бумаге. Писал Флуранс со страстью — так пишут поэты — и прерывал свое занятие, только чтобы выслушать прибывшего гонца или растолковать тот или иной пункт своего плана Предку, гарибальдийцам, Гифесу и даже Торопыге с Пружинным Чубом, которые находились здесь и в любую минуту готовы были сорваться с места и мчаться в Ла-Виллет или Шарон с приказами, написанными на бланках мэрии.

— Когда поступят в мое распоряжение эти батальоны,— чуть не кричал Флуранс,— я с одним батальоном захвачу генеральный штаб Национальной гвардии, с другими — Ратушу и полицейскую префектуру!

Охваченный внезапным вдохновением, он вдруг перестал ходить из угла в угол и, присев на подлокотник огромного кресла, нацарапал новый приказ и вручил его пер-

вому попавшемуся юному гонцу из Дозорного, потом снова крупно зашагал по кабинету, восклицая:

— Пора! Все еще можно спасти! Я целиком разделяю их точку зрения... В три дня перестроить на революционный лад армию! Потом повернуть против пруссаков и добиться победы!

Так как Предок выражал свои сомнения, весьма недвусмысленно постукивая носогрейкой о каблук, Флуранс повторил, но уже менее уверенным тоном:

— И победить! Еще все возможно! — Потом упал в кресло перед письменным столом мэра, схватил было перо и вдруг выпрямился: — Все еще не вытряхнули свою трубку? А ну-ка, дядюшка Бенуа, выкладывайте все, что у вас на сердце!

— Ты не сердись, а пойми меня хорошенько. Ты, Гюстав, только-только вышел из тюрьмы. Почти два месяца ты не общался с народом...

Флуранс улыбнулся мне ласково, доверчиво, а я был оскорблен до глубины души: как, значит, Предок ни во что не ставит мои рапорты, которые мы с таким трудом доставляли узнику в тюрьму Мазас!

— Боевой дух батальонов, а особенно их командиров уже не тот,— продолжал старик, ничуть не смущаясь тем, что Флуранс слушает его с нескрываемым раздражением.— И началось это тогда, когда этот жандарм Клеман Тома взял в оборот Национальную гвардию.

— Ты, очевидно, имеешь в виду батальоны буржуа,— прервал его Флуранс,— всех этих святош из Отейя и Сен-Жермена!

— Увы, не только их...

В ожидании своих батальонов Флуранс несколько поутих, не метался по кабинету и больше уже не прерывал дядюшку Бенуа.

Подойдя к окну, он прислушивался к Бельвилю, до неправдоподобия молчаливому, потом рухнул в кресло перед письменным столом, подпер свое высокое чело кулаками, а под носом у него лежала краюха хлеба и стоял стакан вина, к которому он даже не притронулся.

Вернулись словно побитые братишки Родюки и Пливары. Командиры батальонов встретили их неприветливо. Эти господа, изволите ли видеть, встали с левой ноги и не верят, что все это всерьез. Только один из них лично явился в мэрию, и то без своего батальона.

— Сейчас ничего сделать нельзя,— лопотал он,— люди еще недостаточно разъярились против предателей. Какой от этого будет толк? Стоит ли нарываться на новые неприятности...

Не мог же Флуранс в самом деле задушить этого единственного, который все-таки побеспокоил свою драгоценную особу и явился в мэрию.

Конец ночи и утро прошли в ожидании, от которого с каждым часом становилось все тяжелее на душе. После полудня в мэрию ворвались Жюль и Пассалас.

— В Ратушу только что явилась вторая делегация. На сей раз солидная! Монтель, Шампи и Жантелини из Центрального комитета 20 округов.

— А кто их принял?

— Шодэ*.

— Шодэ! Этот шпион! Этот вербовщик девок! — даже сплюнул Предок.

— Шодэ?

— Да никого больше нет. Ферри в министерстве внутренних дел, председательствует на заседании по вопросу распределения оставшихся продуктов... Правительство тоже где-то заседает,— пояснил Пассалас.

— Спрашивается, к чему нам брать эту крепость?

— А вернее, разбить об нее лоб, ведь там под командованием этой сволочи Шодэ вооруженные до зубов бретонцы...

Пассалас поддержал Предка:

— Ферри ждал чего-нибудь в этом роде: вот уже два дня как он стягивает войска к площади Согласия, к Дворцу Промышленности, к церкви Сент-Огюстен. Жандармерия — на площади Карусель. А в Ратуше полным-полно мобилей из Финистера.

Жюль добавил:

— А я ходил к вокзалу Монпарнас, там генерал Бланшар готовит кавалерию и жандармов.

— Дюмон отправился к Собору Парижской богоматери, тамошний артиллерийский парк наверняка будет с нами,— робко вставил Гифес.

Флуранс схватил себя за волосы:

— Готовится битва, а мы, мы сидим здесь, и Бельвиль, мой Бельвиль спит.

— Если наши люди не пойдут за нами...

Вдруг под высокими сводами мэрии раздались крики:

— Бретонцы открыли стрельбу! Мобили убивают народ, собравшийся на площади Ратуши.— Торопыга выкрикнул свое сообщение профессиональным тоном продавца газет. Как это он еще не прибавил: «Не купите ли свеженький номер?»

* * *

«Бретонцы открыли стрельбу».

Каждый из нас, клянусь, вдруг ощутил себя одиноким, жалким под раззолоченной лепниной потолка в этой мэрии, пропахшей сивухой. Бельвиль — островок, и мы на этом островке, мы,— отверженные, прикованные к этому позорному столбу — Бельвилю.

— Пойдем туда! — бросила Марта.

— Вы, мелюзга, останьтесь здесь! — с силой произнес Предок.— Может, вы еще здесь понадобитесь!

Когда минута оцепенения миновала, нашим первым порывом было вслушаться в голос предместья: как обычно, резвилась детвора, как обычно, болтали кумушки, какой-то пьяница затянул трогательную песенку про кудрявых ягняток — сплошь кудрявые ягнятки. Набат уже давно замолк.

Весь вечер, потом всю ночь к нам стекались новости, увы, неоспоримо достоверные: бретонские шаспо смели с площади все живое. Восстание было убито в зародыше.

— А сейчас, Гюстав, тебе следует подумать о надежном убежище...

— Убежище! Убежище! Я только и делаю, что торчу в убежищах, во мраке, в духоте!

Но Предок ласково настаивал:

— Расправа неизбежна, и она будет еще более жестокой, чем раньше. Ты принадлежишь к тем, кому грозит наибольшая опасность.

— А что я успел сделать? Просто нелепо...

— Ничего, ты еще, Гюстав, возьмешь свое. Подожди немного, увидим, как разовьются события.

Кончилось тем, что Флуранс, убедившись, что сейчас ничего предпринять нельзя, согласился распустить свое немногочисленное войско и возвратиться в надежное место, другими словами, на виллу господина Валькло. Сейчас он там спит безмятежно, как ребенок.

* * *

Вот какие сведения мы получили позже.

Судя по первым слухам, насчитывались сотни убитых, правда, теперь говорят, что десятки (*подобрано шесть убитых и четырнадцать раненых*). Безоружную толпу охватила паника. Командир Сапиа *, дав приказ вести ответную стрельбу, упал, насмерть сраженный пулей.

— У Сапиа не только ружья, но даже сабли при себе не было,— утверждал Дюмон, еле приковылявший на раненой ноге.— Бретонцев налетела целая туча, и так они споро стреляли, что через минуту весь фасад Ратуши затянуло дымом.

— Счастье еще, что там шли земляные работы и люди могли укрыться за кучами песка.

— Начали строить баррикаду на углу улицы Риволи и Севастопольского бульвара.

— А другую строили в сквере Сен-Жак.

— Но армия наседала отовсюду. Нельзя было оставаться там.

— Шпики и жандармы всех подряд забирали, даже тех, кто вышел из дому, только чтобы раненым помочь. Во все квартиры врывались, которые выходят окнами на площадь Ратуши, и, если учуют запах пороха, всю семью начисто загребают.

— Они Флуранса искали. Были уверены, что он там. Кое-кто даже клялся, что его видел.

В это зловещее январское утро история вершилась где-то в стороне от нас, далеко от нас, без нас! В знойком мраке холод — еще одна, одиннадцатая казнь осады — снова обрушился на нас. Он ничего не щадит. Я усомнился в Флурансе, усомнился в Бельвиле, а тем временем из кузни идет какой-то странный шум. Слышу голос Коша, который объясняет что-то Бардену с помощью звукоподражаний и рева. Как это только столяру удается договориться с глухонемым кузнецом? Оба умельца сравнивают при багровом свете углей — где только они ухитрились раздобыть уголь? — деревянные части лафета с металлическими, уже выкованными. Можно ли усомниться также в нашей пушке «Братство»? Нет! Она-то настоящая, бронзовая, стоит себе на месте, ее со счетов не сбросишь!..

Среда, 25 января.

Флуранс то и дело переходит от гневных вспышек к унынию.

— Жюль Фавр поставил нас вне закона, это просто возмутительно! Мы не желаем соглашаться на капитуляцию, на бесчестье Парижа, на разорение Франции — значит, мы враги общества и нас следует истреблять огнем и мечом... Могли же мобили стрелять в воздух, куда там! Они целили в народ и без предупреждения открыли бешеный огонь по толпе, стреляли в упор. Трошю не зря втолковывал этим бедолагам-бретонцам, что народ Парижа противится заключению мира, а следовательно, не хочет положить конец их бедам, и добился того, что парижане стали им ненавистны. Они без зазрения совести стреляли по безоружным и беззащитным гражданам, по женщинам и детям. Всю площадь усеяли трупами! Кое-кому из раненых, как, например, нашему другу Дюмону, удалось спастись, и теперь они вынуждены скрываться, иначе их арестуют, засадят за решетку, подвергнут пыткам, и расправится с ними то самое правительство, которое ответственно за их раны...

Он взмахивает своей белокурой гривой, и трудно выдержать взгляд его угольно-черных глаз, когда он заводит разговор о генерале Винуа, назначенном вместо отставленного Трошю военным комендантом Парижа:

— Это тот самый Винуа, который обнажил фронт, чтобы повернуть штыки против народа, не желающего капитуляции! Гордясь своим первым успехом — наконец-то хоть один успех! — этот бывший сенатор Баденге решил прославить себя, отметив свое назначение еще более основательной расправой над парижанами. И впрямь редчайший случай, генерал является без опоздания... чтобы приступить к арестам...

Но голос вожака мятежников глохнет, слабеет:

— Эта кровавая ловушка стоила нам сотен храбрецов... Демократия понесла непоправимую потерю в лице этого бедняги Теодора Сапиа. У него и оружия-то никакого не было, кроме палки: его опознали и указали на него одному бретонцу, а тот не промахнулся — убил его наповал. Сапиа был сама отвага, и какой ум! А какой изящный писатель! Ведь это он, еще совсем юношей, редактировал газету «Ла Резистанс». Командовал батальоном и был отст-

ранен от командования за свои республиканские взгляды. Он умел увлечь, зажечь толпу. Придет день, и мы отомстим за него. Покараем его убийц!

И снова гневно взлетает его шевелюра, рассыпается прядями. Он сжимает кулак, неожиданно маленький, а длинный-длинный указательный палец тянется к окровавленным далям, лежащим там, за окнами с двойными рамами и закрытыми ставнями салона господина Валькло.

— Убивать людей, а потом их же обвинять в убийстве — это значит перейти все границы бесстыдства и лжи, и, однако же, господин Жюль Ферри спокойно их перешел. В своей прокламации он обвиняет «взбунтовавшихся национальных гвардейцев» в том, что они «открыли огонь по Национальной гвардии и по армии». И сейчас Париж негодует против этих «взбунтовавшихся», которые если и отстреливались, то лишь затем, чтобы прикрыть бегство жен и детей своих же сограждан.

И тут же уныло добавляет:

— Тот, кто совершает подобные преступления, не может допустить, чтобы его действия обсуждались. Следственно, ему надобно убить правду, или правда убьет его. Именно поэтому запрещены республиканские газеты «Комба», «Ревей», а их редакторы арестованы. Феликсу Пиа снова приходится скрываться. Делеклюза, заслуживающего уважительного к себе отношения, хотя бы из внимания к его летам и качествам, бросили в сырую зловонную темницу, и где же? В Венсенне, в форте, под охраной военных: после Мазаса они обычным тюрьмам не доверяют! Трошю старается принудить Париж к молчанию с единственной целью: выдать его пруссакам!

* * *

Газеты перепечатывают телеграмму командующего 2-го сектора, гласящую, что «Флуранс, по-видимому, присвоил две тысячи хлебных пайков» во время своего пребывания в течение нескольких часов во главе мэрии, вследствие чего все булочные в Бельвиле были закрыты по приказу господина Жюля Ферри: «Хотите получить ваш паек, господа и дамы, обращайтесь к своему прославленному Флурансу!»

— Остерегайся, Гюстав,— бормочет Предок,— против тебя не только полиция, но и славные люди, которые считают, что ты вырываешь у них из глотки последний кусок.

* * *

Нынче утром вышел декрет о закрытии всех клубов. Правительство вдвое увеличило количество военных трибуналов. По слухам, Жюль Фавр отправился в Версаль вести переговоры с неприятелем.

Пятница, 27 января 1871 года.
Сто тридцать пятый день осады.

Пушка «Братство» стоит здесь, в самом центре Дозорного тупика, между двух ям, откуда выкорчевали пни срубленных каштанов.

Столько о ней мечталось, что уж и не верится!

— А все-таки мы... мы... ее сделали,—бормочет Марта. Она не спеша обходит пушку, глаза у нее круглые. Тянет к пушке руку, пальцы в робком, но неодолимом порыве, совсем как малый ребенок, который не может не коснуться диковинки.

Такой, как наша пушка, нигде больше нет. Достаточно взглянуть на нее всего раз, чтобы сразу признать ее среди нагромождения орудий в артиллерийских парках.

До чего ж она чудная, наша пушечка!

Гигантские колеса теперь, когда ствол установлен на лафете, кажутся еще выше, особенно поражает расстояние между колесами: на то место, куда положили всего лишь бронзовую трубу, мог в действительности втиснуться корпус парижского омнибуса. У прусских пушек устроено для прислуги два сиденья, прикрепленных к оси, а Кош смастерил нам целых четыре, по два с каждой стороны, благо места хватает...

Кузнец и столяр трудились любовно, они израсходовали на пушку весь запас рабочего пыла, который копился с начала осады, когда оба остались не у дел; работали они с таким же наслаждением, с каким будут люди вкушать свою первую трапезу в день заключения мира. Не пожалели ни собственных рубанков, ни напильников. Зато не осталось ни заусенцев, ни зазубрин — ювелирная ра-

бота. Дерево и металл стали гладкими, точно кожа, одно белое, другой темный. И этим наша пушка тоже не походит ни на какую другую... Она — подлинное произведение искусства.

Кош и Барден не спали целую ночь, стремясь закончить свою работу. До зари провозились, чтобы посмотреть, какой у пушки будет вид при дневном свете; а потом остались, чтобы посмотреть, какой вид будет у зрителей, которые сходились один за другим и не без робости приближались к чудищу. Кузнец со столяром так и стояли рядом.

Я решился спросить:

— Она, должно быть, тяжелее, чем другие пушки?

— А то как же! — гордо ответил Кош.

Тут я подумал о нашем стареньком Бижу: ведь каждому орудию, даже небольшому, обычному, придается мощная упряжка, выносливые лошади!

— Ничего,— утешила меня Марта,— подналяжем, и сама пойдет...

Стали собираться окрестные жители. Под аркой стоял гул голосов. Слух распространился по всему Бельвилю. Каждый приходивший поглядеть внезапно застывал на месте, не дойдя до пушки метров пяти, пялил глаза и, постояв минуту с открытым ртом, наконец выдавливал из себя: «Ну и ну!..»

Нищебрат потребовал полбочонка вина, чтобы спрыснуть такое событие. Матирас пришел со своим рожком. От радости Пливар стал палить из ружьеца над головами собравшихся, и его чуть самого не убило при отдаче... Нянюшки, горничные и кухарки — вся прислуга мясника и аптекаря высыпала к окнам.

Дядюшка Лармитон предложил нам изготовить — мало того, обещал преподнести! — чехол из тонкой кожи, чтобы защитить ствол. Мари Родюк и Зоэ поспорили, какой пастой лучше начищать бронзу до блеска. Пришлось пообещать свезти нашу пушку к клубу Фавье; на этом особенно настаивал столяр — председатель клуба. Бландина Пливар, Клеманс Фалль, даже мама! сошли вниз, им хотелось разглядеть пушку поближе. Пружинный Чуб выражал свое ликование, подпрыгивая по-балетному, хотя сам, видать, не замечал собственных антраша. Ребячья команда с улицы Сен-Венсан и другая, из Жанделя, и многие, многие другие смотрели на нас с нескрываемой завистью. Если бы только у них хватило храбрости, они не-

пременно попросили бы нас давать им хоть изредка нашу красавицу. Марта взялась обрабатывать Людмилу Чеснокову, Ванду Каменскую и мою тетку. Наша смуглянка так распиналась перед этими дамами, работающими у Жевело, говорила с ними так любезно, аж до приторности: вот если бы они каждый день могли приносить с работы в кармане фартука хоть горстку пороха! Возьмут понемножку, а получится большая бомба.

— Смотрите-ка, все смотрите! — вдруг крикнул Божий Бубенчик, указывая пальцем на левую ось пушки.

И когда все присутствующие проследили движение его руки, наш клубный острослов фыркнул:

— Сюда смотрите, вот оно, мое су, я его сразу узнал!

А кто-то стал искать свое имя, которое, по его мнению, должно было быть выгравировано на лафете. И, не найдя, рассердился. Тут взбунтовались и все прочие жертвователи. Марта очень мило извинялась и... наобещала им невесть бог что!

Сейчас, когда я пишу эти строки, любопытство предместья все еще не улеглось. Возле пушки по-прежнему толпится народ: то больше, то меньше. Но вот раздаются какие-то крики, потом наступает тишина, такая тишина...

Пойду посмотрю, в чем дело.

* * *

Париж только что капитулировал.

Первые числа февраля 1871 года.

В те самые дни, когда наша пушка «Братство», сверкая новенькой бронзой, царила над всем тупиком, сотни наших орудий были отданы пруссакам или уничтожены по их приказу.

Конец осады словно бы пробудил маму от глубокого сна; теперь для нее все стало проще простого: надо лишь быстренько погрузить наши пожитки, мебелишку и постели на повозку, и — гони-погоняй! — покатим в родное гнездо, прямо в Рони. Родина больше не нуждается в нашем мече, зато земля ждет нашего орала. Мягкая-то мягкая, но железная, когда коснется выполнения долга, мама уже видела, как приводит в порядок наш дом, потом вместе со мной и Предком начнет работать в поле, а там

и отец не замедлит явиться... Милая ты моя, славная! Вот уж действительно ожила с первыми лучами солнца, как бабочка, нет, как муравей, до конца своей жизни неутомимый муравей...

Теперешнюю ночную тишину еще труднее переносить, чем грохот бомб. Сдача бастионов и орудий укрепленного пояса Парижа, гарнизон в плену, за исключением двенадцати тысяч солдат и Национальной гвардии, которой оставили оружие... сколько ударов по хребту Бельвиля. Сборища, набат, манифестанты, кричащие: «Не отдадим наших фортов!», звуки горна, барабанный бой, гонцы, стучащиеся у дверей и срывающие бойцов с постели...

Капитуляция довела до кипения предместье, но ничего путного из этого кипения не получилось — нас заела, по выражению Гифеса, «клубомания»:

— Клубы и лиги — это как зыбучие пески, при каждом движении только глубже в них уходишь. Буржуазия готова пресмыкаться перед пруссаками, лишь бы они помогли ей сохранить власть. А расплачиваться за все будет народ, и дело не ограничится только двумя сотнями миллионов франков, которые требует победитель.

По мнению типографщика, командира 5-й роты бельвильских стрелков, единственный выход — организация рабочих под эгидой Интернационала.

— Республика в опасности,— утверждает он.— Ради ее спасения интернационалисты должны объединиться с республиканцами.

Все те же слова, все те же бесконечные споры, но в эти дни, перед выборами в Национальное собрание, спорят с удвоенной энергией.

Чувства, владеющие тупиком, пожалуй, еще примитивнее, чем раньше, но зато уж предельно ясны; выражаются они во взглядах, в улыбках простых людей, когда они стоят вокруг фантастического бронзового чудища, загромождающего весь проход: наша пушка «Братство»! Послужит ли она нам в один прекрасный день? Кто будет из нее стрелять? И в кого?! Эх, все это очередные иллюзии осажденного города, прекрасный сон. Возможно, поэтому так и полюбилась всем эта чертова махина с огромным жерлом!

Незадачливый Фавр в буквальном смысле слова попал между двух огней: спереди — пруссаки, сзади — парижане.

23 января, вручая Эрисону депешу для передачи Бисмарку, он посоветовал капитану соблюдать строжайшую тайну: «Один бог знает, что с нами сделает парижская чернь, когда мы вынуждены будем открыть ей всю правду!» А через два дня тот же самый Фавр плакался на груди Мольтке: «Ни под каким видом я не позволю разоружить Национальную гвардию! Это будет началом гражданской войны!»*

Бисмарк — Фавру: «А вы спровоцируйте восстание сейчас, когда в вашем распоряжении еще есть армия, чтобы его подавить!» Совет по тем временам чудовищный, но в наши дни звучит вполне обыденно, «традиционно мудро».

В перерыве между двумя собраниями Флуранс приводит в порядок свои записи, речи, статьи, заметки и отчеты. Из этих обрывков и осколков наш ученый строит памфлет о сдаче столицы неприятелю.

— Слушай, Флоран, вот как он будет начинаться: «Пятьсот тысяч вооруженных людей, запертых в крепости, сдались двумстам тысячам осаждающих. Нелегко будет истории понять подобный факт. Такого еще не встречалось в ее анналах».

— История скажет,— возразил один из присутствующих,— что в Меце огромная армия, надежно прикрытая, прекрасно обученная, сформированная из бывалых солдат, позволила предать себя в руки врага, и ни один маршал, ни один командующий корпусом не сдвинулся с места, чтобы избавить ее от Базена, в то время как парижане, никем не руководимые, неорганизованные, имея перед собой двести сорок тысяч солдат и мобилей, думавших только о мире, сумели на целых три месяца отдалить капитуляцию.

Марта снова потащила меня прогуляться по Парижу — время от времени она испытывала инстинктивную потребность в таких вот походах. Впрочем, за зрелищами ходить было уже недалеко, стоит только выбраться из-под арки, и сразу натыкаешься на плачевный кортеж — двигающиеся к Парижу войска вместе со своими фургонами и доверху нагруженными повозками в беспорядке текут через Роменвильскую заставу, плетутся изнуренные моряки, еле волоча ноги от усталости, они отдали пруссакам

форт Рони, свои батареи и в придачу свою знаменитую пушку «Покров» — их бесценную «Богоматерь»,— и теперь, понурив голову, все в грязи до самого помпона бескозырки, эти морские волки, потерпевшие крушение в океане снега и грязи, тащат за собой повозки со своими пожитками.

В богатых кварталах уже не встретишь человека в форме национального гвардейца. Лишь два мотива побуждают еще кое-кого щеголять в красных панталонах и в черной куртке с белыми пуговицами: либо таким путем выражается личный отказ прекратить борьбу, либо просто больше нечего надеть.

Пульс Парижа надо слушать у его застав. Буржуа, располагающие хоть какими-то возможностями, торопятся удрать из этого города — который целых пять месяцев был для них тюрьмой! — и меняют свой изящно зловонный мирок на вольный дух деревенских просторов. У сторожевых постов, где проверяют пропуска, полученные при содействии высокопоставленных друзей (*листок, составленный по-французски и по-немецки, должен быть завизирован префектом полиции или начальником штаба генерала Винуа*), они встречаются с другими богачами, розовенькими и свеженькими, но с беспокойством во взгляде. Эти возвращаются в столицу всего на несколько дней, только проверить, цело ли их добро, и собрать деньги с жильцов. Рабочие, стоящие на посту в форме национальных гвардейцев, еще сильнее презирают тех, кто возвращается с единственной целью — набить себе карманы и даже не знает, что такое осада со всеми ее бедами.

Снова аванпосты стали излюбленным местом прогулок: Парижу охота поглазеть на пруссаков. И действительно, стоит посмотреть на них во время учения — зрелище впечатляющее: две сотни негнущихся ног выбрасываются на мгновение вверх, потом две сотни каблуков в едином притопе все разом ударяют о землю. Двести взглядов уставлены в одну точку. Одно движение, умноженное в двести раз, точное, математически высчитанное, вызванное к жизни подтявкиванием офицера, издали управляющего этими автоматами. Н-да, это совсем не то, что наши дядечки из Национальной гвардии!

Чуть подальше, в парке, окружающем великолепный особняк, двое пруссаков обрезают липы, а третий рыхлит газон.

Предыдущий листок из этой тетради вырван. Должно быть, сейчас он лежит на столе господина Кресона, префекта полиции.

Понедельник, 6 февраля 1871 года.
Около шести часов пополудни.

Решено, возвращаемся в Рони. И как можно скорее, черт побери!

Спускаясь из нашей мансарды, я услышал в каморке привратницы разговор. Кто-то расспрашивал нашу матушку Билатр «о жильце, который сейчас занимает квартиру господина Валькло». Мокрица всеми богами клялась, что ничегошеньки она не знает, что, насколько ей известно, с тех пор, как хозяин уехал накануне осады, никто в его жилище не заходил, даже ей он запасных ключей не оставил. В ответ на все посулы и угрозы наша привратница, вдвойне напуганная, уверяла, что ничего не ведает, и отвислые ее щеки дрожали.

Я схоронился в темном закоулке под лестницей. Поэтому-то я и мог разглядеть шпика, когда он вышел из каморки: Жюрель! Я бросился советоваться с Мартой.

— Не отпускай его и затащи в слесарную.

— С чего это он со мной пойдет?

— Скажешь ему, что ты знаешь, где Флуранс.

— Ты что!

— Втолкуй ему, что все эти истории с Революцией тебе обрыдли, особенно сейчас, когда война кончилась, внуши ему, что ты переметнулся.

— Да, но...

— Ну, действуй, и живо!

Я бросился в «Пляши Нога», потому что видел, как Жюрель направился туда, но там мне сообщили, что он выпил чашку кофе с водкой и ушел. Пройдя через арку, я приметил в конце Гран-Рю его грузный силуэт, узнал его по медленной походке. Тут он нырнул в таверну Денуайе. Когда я тоже вошел туда, он сидел один в углу, спиной к столику, где восседали машинисты и каменотесы.

Мое неожиданное появление, видимо, рассердило его, даже улыбка и та получилась принужденной.

— Уж не меня ли ты ищешь, миленький Флоран?

— Вас, господин Жюрель, простите меня, пожалуйста, но мне нужно с вами поговорить.

— Так вот уж срочно?

— Боюсь, что да.

Его бычьи глаза, обычно приветливые, впились в меня пронзительно, настойчиво. Начал я наугад, не решаясь перейти к главному. Пускай сам взвешивает все «за» и «против», пускай решает, оставаться ли ему добрым дядюшкой Жюрелем или ухватиться за довольно-таки неуклюже протянутую мною жердь. Уперев локти в столик, нагнувшись друг к другу, мы чуть лбами не стукались, взаимно принюхиваясь, как два пса, еще не решившие, куснуть дружка или облизать. Он только в том случае выйдет из взятой на себя роли, если я сыграю свою в совершенстве, но насколько же он был сильнее меня в такой игре! Поэтому мне оставался один-единственный шанс — как можно ближе держаться истины. Начал я с того, что признался в своей нескромности, позволившей мне подслушать дознание, которое он вел в каморке привратницы, и, ей-богу, по-моему, я даже покраснел! Его тяжелые веки опустились ровно настолько, чтобы прикрыть злой огонек, зажегшийся во взгляде. Больше я ничего не добавил. А Жюрель все глядел на меня и молчал.

Один из машинистов затянул песенку, в последние дни она вошла в моду:

Пусть о возмездии болтают дураки,
О смертных битвах, родине и чести...

Я в отчаянии твердил себе: «Да ну же, ну, я обязан найти способ заманить его в тупик!»

А я давно уж подтянул портки
И думаю о том, как мне поесть бы...

Жюрель все молчал. Его большие полузакрытые глаза с налитыми кровью белками впились мне в лицо, и только изредка, на секунду, он отводил их, когда хлопала входная дверь. А позади нас машинисты из Ла-Виллета и каменотесы с Американского рудника подхватили хором:

Пускай мужлан и будет патриот,
Под пулями пусть гибнет он, не я...
А я предпочитаю антрекот...
И за бифштекс я сдам Париж, друзья!

Оглянувшись на певцов, я демонстративно пожал плечами, и, так как Жюрель вроде бы удивился моему раздраженному движению, я, вздохнув, бросил:

— Хватит с меня! Хочу домой, в Рони. Хочу забыть все это...

С тем же сонным выражением — только голос прозвучал чуть саркастически — милейший господин Жюрель небрежно уронил:

— Значит, дорогой мой Флоран, ты так изменился? И до чего же скоро! Ну а как же, скажи, ваша пушка «Братство»?

— Эх, господин Жюрель, та ли пушка, другая ли, к чему она сейчас! Теперь мне кажется, будто мы все с ума посходили. И я вдруг словно бы проснулся...

А он осторожно поощрял меня к дальнейшим признаниям, опускал веки, покачивал головой, словно бы впивал сладостный нектар, вкусить который и не рассчитывал. Я же рассказал ему длиннейшую историю, как и советовала мне Марта: в конце концов, я просто крестьянский сын из Рони, в силу превратностей войны и осады я, на горе мое, был, так сказать, пересажен на парижскую почву. Очутившись в самом сердце Бельвиля, я, понятно, поддался опьянению всех этих речей, порывам этой толпы. Перемирие сразу меня отрезвило, вернуло на грешную землю. Я устал. Хватит с меня громких слов и пламенных идеалов, единственное мое желание — это не разлучаться со своей семьей, вновь очутиться на нашей ферме и обрабатывать свой клочок французской земли. Крестьяне — народ благоразумный. Они любят мир. Они авантюристов сторонятся...

Я сам был отчасти смущен: говорил такое, и слова мне вовсе рот не раздирали. Напротив, чем больше я об этом распространялся — а распространяться волей-неволей приходилось,— тем логичнее, тем естественнее получался мой рассказ; мне даже начало казаться, будто я не вру. Чем ярче я описывал свое отвращение к высокопарным клубным разглагольствованиям и свой страх перед этой бестолковой, но опасной деятельностью, тем уютнее я себя чувствовал в роли хитрого мужичка из басни Лафонтена.

Должен признаться, что и сейчас, когда я пишу эти строки, я все еще испытываю удовольствие оттого, что влезаю в свою деревенскую шкуру, снова напяливаю ее на себя, как надежную, вдруг обретенную броню; хочешь

жить счастливо — живи тихо! Господи боже ты мой, как же далек от меня ихний тупик!

Искренние нотки, звучавшие в моем голосе, усыпили подозрения шпика. До того я был искренен, что даже самого себя убедил!

— Подожди-ка чуточку, милый, я сейчас вернусь.

И он направился навстречу какому-то новому посетителю, но ни лица его, даже фигуры я не успел разглядеть. Незнакомец был закутан в просторный плащ, и широкополая шляпа скрывала черты его лица. Они перекинулись с Жюрелем двумя-тремя фразами, стоя у окна, потом незнакомец поспешно удалился, а господин Жюрель снова уселся за столик напротив меня.

— Можешь продолжать, я слушаю.

— Да... да... я уж и не знаю о чем...

— Ну как же так! Ты что-то тут говорил о кое-каких услугах, которые можешь мне оказать, или я их могу тебе оказать, или мы оба можем оказать друг другу. Признаться, я не совсем уловил твою мысль, сынок, может, объяснишься яснее?

Что еще выдумать, лишь бы заманить его в тупик, а там втолкнуть в слесарную мастерскую Мариаля, где ему уже, должно быть, готов надлежащий прием? Поздно было спихивать шпика на кого-нибудь другого, а самому умыть руки. Та легкость, с какой я громоздил мельчайшие подробности о своем душевном состоянии, казалось бы бесконечно далекие от истинных моих чувствований, смущала меня. И пока я по необходимости продолжал свою исповедь, даже не насилуя воображения, меня вдруг пронзила острая тоска, хотя я сам не слишком-то разбирался в ее причинах. Сначала я приписал ее тому, что играю неблаговидную роль, потом, поразмыслив, решил, что не так-то уж трудно делать такие вот виражи, от какового заключения и сам опешил. Теперь я упал еще ниже. Нет, правда, я вот о чем думал, причем думал всерьез: если я так легко вошел в эту роль и если Марта сама предложила ее мне играть, не означает ли это просто-напросто, что я ее вовсе и не играю?

— А тебе, мальчуган, видно, что-нибудь надо?

Вопрос прозвучал резко. Я озадаченно выпалил:

— Да.

Тут он понимающе улыбнулся. У него стало спокойней на душе. Раз я действую из корыстных побуждений, зна-

чит, моя исповедь не так уж подозрительна. Его выпученные глаза оживились, голос зазвучал уже не так ласково, Жюрель совлек с себя маску благодушия. В табачном непродыхном дыму, висевшем в таверне, его прошибла испарина. Я вдыхал этот застарелый запах, и мне не было ничуть противно, напротив, это был знакомый дух, который я узнавал после долгого перерыва.

— А я ведь тебе, мужичок, не очень-то верю...

— Почему, господин Жюрель?

— Потому что, если бы, как ты уверяешь, ты был трусом, ты действовал бы на манер этой суки привратницы, ты тупика еще сильнее боялся бы, чем полиции!

На мое счастье, как раз в эту минуту машинисты сцепились с каменотесами, и в суматохе мне удалось собраться с мыслями. Двое драчунов подкатились нам прямо под ноги, опрокинули наш столик, а когда порядок был водворен, я уже знал, что сказать.

— Мы, господин Жюрель, нынче ночью уезжаем из Бельвиля, навсегда уезжаем. Так вот, я рассчитывал, не можете ли вы помочь нам с пропуском...

— И это все?

Не особенно-то ловкий ход с моей стороны: сейчас покинуть Париж — дело двух-трех дней. То, что я не заломил настоящей цены, снова насторожило шпика. Но тут меня осенило:

— В Рони такие опустошения из-за войны... Если я хоть чего-нибудь сумею привезти, чтобы дом починить, подкупить инвентаря, семян... сумма-то, в сущности, небольшая!..

— Наконец-то,— торжествующе вырвалось у него. Потом сухо: — А что ты-то предлагаешь?

— Чего?

— Хватит ломаться! Что продаешь?

— Флуранса.

— Опоздал. Я знаю, где он.

Кинув беглый взгляд на входную дверь, он шепнул мне:

— Вот тебе и способ доказать, что ты ведешь честную игру. Скажи мне, где он скрывается?

— Так вот и сказать, задаром? Ну нет!

— Я же тебе толкую, что знаю где! Что ж, как угодно, прощайте, молодой человек!

Он уже поднялся из-за стола.

— В квартире господина Валькло, на втором этаже виллы Дозор.

Жюрель со вздохом облегчения рухнул на стул:

— Ну, в добрый час! Слушай, мужичок, если у тебя есть еще что продать, за ценой я не постою.

— Есть то, что вы без меня не раздобудете, если даже Флуранса арестуют.

— Что?

— Его секретные бумаги.

Он даже дар речи потерял.

— А... а... Можно на них хоть взглянуть?

При мне как раз было несколько листков, нацарапанных вождем мятежников, он дал мне их перебелить. Жюрель буквально вырвал их у меня из рук. Нацепил очки, вытащил из кармана бумажку и сравнил почерк Флуранса с тем, что было написано там. Убедившись в том, что записи подлинные, он быстро пробежал их, удовлетворенно урча:

— ...Все имена здесь... И доказательства тоже! За одно это их можно подвести под расстрел! Ловко сработано, Флоран...— Тут он убрал очки, а листки спрятал в карман.— Разумеется, это только так, для затравки? Беги и принеси все прочее.

Вот это меня никак не устраивало.

— Теперь-то хоть вы мне верите?

Отныне наши судьбы связаны навеки, Жюрель снизошел мне это объяснить. Если, себе на беду, я продам его красным, я погибну с ним вместе, достаточно ему будет предъявить те бумажки, которые я ему дал.

— Тогда пойдемте со мной, господин Жюрель!

Еще немного, и я бы в ноги ему повалился.

— Иди принеси остальное, я тебя здесь подожду, не бойся.

— Но... но там у них еще бомбы! И оружие...

Я готов был пообещать ему все что угодно, и «Жозефину» с «Покровом» в придачу.

— Надеюсь, они их не перепрятали?

— Пока нет, но надо спешить,— сказал я и поднялся со стула.

И он пошел за мной, правда не без колебаний. Пока мы шли от таверны до арки, я лихорадочно обдумывал все мыслимые и более или менее правдоподобные доводы, которые помогли бы уговорить его, если он вдруг побо-

ится войти в тупик. А тем временем наш добряк, господин Жюрель, шагал со мною рядом, полуобняв меня за плечи, и спокойненько и очень громко разглагольствовал о дождливой и хорошей погоде. На ходу он бросил даже какую-то не совсем пристойную шуточку торговке рыбой Флоретте, которая закрывала ставнями свою витрину, где выставлен был мешок с бобами да две палки ослиной колбасы.

— Как? Это здесь? — проблеял он.

Только на пороге слесарной его взяло сомнение. Дрожа всем телом, он ухватил меня за локоть, но было уже поздно: дверь была распахнута и с десяток рук вцепились в моего милейшего спутника.

Когда зажгли свечи, я увидел, что Жюрель лежит на полу, туго связанный веревками. Он хныкал и приговаривал своим прежним, добродушным голоском:

— Ну-ну, ребятки! Что случилось? Флоран, объясни же своим дружкам...

— Долго же ты возился! — проворчала Марта.

— Думаешь, легко было?

— Знает он, где Флуранс?

— Знает, знает!

— Ведь ты же мне сам сказал,— возмутился мой приятель.

— Как, по-твоему, успел он сообщить или нет? — приступала ко мне наша смугляночка, не обращая ни малейшего внимания на вопли Жюреля, уверявшего, что я-де лучший шпион господина Кресона.

— Боюсь, что успел кое-что передать.

И я вкратце рассказал о разговоре, происшедшем у окна таверны Денуайе.

— Больше он ничего не знает?

— Знает. Пришлось ему показать записки Флуранса, где перечислены имена и все такое прочее!

— Тем хуже для него!

— Что ты имеешь в виду?

— Да ничего, Флоран. Иди запрягай Бижу.

— Ведь нужно еще Флуранса предупредить!

— Давным-давно предупредили. Он уже далеко.

— Все равно шпики могут нагрянуть!

— Сразу не нагрянут, они в Бельвиль поодиночке боятся нос показать. А может, и вовсе не придут.

— Положим!

— Есть у нас одно средство их отпугнуть.

А тем временем наш пленник перешел от стенаний к обороне.

— Я чуял, что тут нечисто... Слишком уж все хорошо получалось! А ты, змееныш проклятый, обдурил меня совсем, когда плату потребовал. Ох, видать, старею я...

Тут вошли Жюль и Пассалас. И сразу же поднесли фонарь к толстому носу Жюреля.

— Смотри-ка, такого не знаем,— ворчали они.— Одно ясно — старый доносчик. Света, видите ли, боится! Такие на Иерусалимской улице никогда не показываются. И это самая сволочь и есть...

Мой кузен и его дружок от злости себя не помнили, что так промахнулись. А так как в эту самую минуту запищал младенчик у Фаллей, Пассалас ударил шпика ногой в тяжелую челюсть:

— Получай, это тебе от нашего пискуна!

Хлынула кровь.

— Это вам дорого обойдется, я сам лично прослежу, чтобы вы по заслугам получили! — проревел окровавленный рот.

Четыре огромные тени возникли на пороге мастерской.

— А ну-ка чешите отсюда, ребята!

Фалль, Чесноков, Каменский и Пальятти.

— А ты, Марта, задержись на минуточку,— сказал литейщик.

Четверо новоприбывших двигались в свете свечей. Уходя, мы слышали вопли Жюреля:

— Не оставляйте меня, детки! Только не оставляйте. Они... Они меня убьют! — Он катался по земле, корчился, как сосиска на раскаленной сковородке, в уголках рта у него появилась пена, и вся его толстая физиономия была перепачкана пылью и кровью.

Два-три вскрика, разделенные долгими паузами, долетели до моего слуха, когда я запрягал нашего старикана Бижу. Пушка «Братство» в потемках тянула к небу свою морду, огромную, львиную. Все ставни закрыты, тупик спал прямо с каким-то ожесточением. Даже младенец у Фаллей и тот затих. Марта оставалась после нас в слесарной еще минуты три. Выйдя, она кликнула Пружинного Чуба и Торопыгу, велела им раздобыть тюфяки.

Я запряг Бижу и отошел к братьям Родюк, стояв-

шим на карауле в дальнем углу улицы. Прошло немало времени, прежде чем Пальятти нас кликнул.

На повозку погрузили два тюфяка. Пришлось долго ее осаживать и разворачивать, чего Бижу терпеть не может, чтобы проехать по узкому проходу, так как путь теперь преграждала пушка «Братство».

К неосвещенным улицам лип густой туман. Я вел под уздцы Бижу, а на шаг впереди меня шла в одиночестве Марта.

— Флоран, придется тебе тоже прятаться. Ведь тот, второй грязнорылый, видал в таверне, что ты с ним говорил...

Жюль и Пассалас успели пробежать бумаги шпика. Наконец-то они установили его личность и немало этим гордились. Жюрель в действительности оказался Фассереном, одним из самых опасных агентов-осведомителей императорской полиции. Специальность у него была тонкая: втираться в ряды революционеров, подстрекать их, подбивать на заговоры, а потом выдавать заговорщиков. Вместе со своим коллегой, агентом Перрену, они затеяли знаменитую заваруху, приведшую 7 февраля прошлого года к делу о газете «Марсельеза», по которому был арестован Рошфор, и «делу бомбометателей», в которое был замешан Флуранс *.

— Улица Оберкан, площадь Шато-д'О,— объявляла Марта.

Мы продвигались в липкой мгле. Стояла та ни на что не похожая ночь, когда вроде бы можно физически ее ощупать, одна из тех ночей, когда прохожие казались призраками, а наш кортеж — кошмаром.

— По-твоему, обязательно надо было? — вполголоса спросил я Марту.

— Это же вредное насекомое, Флоран, не более того...

— Но раз так или иначе убежище было известно...

— А Возмездие — что с ним прикажешь делать? — произнесла она, и голос ее прозвучал, как призывный зов рожка, и дошел, словно сигнал, до тех, кто шагал позади.

Ух, какой же у нее был голос, когда она заговаривала о Возмездии! Не говорила, а пела.

Уже близился рассвет, когда наша смуглянка велела нам остановиться, густой зимний туман продлевал ночной мрак. Мы вздрогнули, услышав где-то рядом вой си-

рены парохода. Значит, мы очутились на набережной, где-то между Новым Мостом и мостом Сен-Мишель.

— Флоран! Есть у тебя чем писать?

Я вытащил свою неизменную тетрадь, карандаш.

— Напиши: «Возвращается отправителю».— Потом подумала с минутку и добавила:— Припиши еще: «Имеющий уши да слышит!»

Она сама вырвала листок из моей тетради, а затем вытащила наугад из прически шпильку.

Остальные наши спутники, забравшись на повозку, стаскивали, чертыхаясь, тюфяки. Раздался мягкий удар.

— Гони, кучерок! — крикнул мне Жюль.

Я погнал Бижу галопом.

Позади нас две расплывчатые тени — парочка полицейских — отделились от подъезда полицейской префектуры, где стояли на часах, и неторопливо направились к тому месту, которое мы покинули в такой спешке.

Неужели это застарелый дух, поднявшийся от продавленных старых тюфяков, вызвал в моей памяти родимый дом? Тут только я узнал его, такой надежный запах пота, пыли, мокрой шерсти, запах труда, который приносил с поля отец; и запах этот примешивался тогда к аромату похлебки.

На рассвете.

Последняя нить, но она еще крепко привязывала меня к тупику. Теперь и она порвалась.

Повозка нагружена так же, почти так же, как была нагружена в тот понедельник 15 августа 1870 года. Мама топчется между Бижу и пушкой «Братство», Предок пошел проститься с теткой. Через несколько минут рассветет, и мы сможем выбраться на Гран-Рю, проехать через весь Бельвиль и, распрощавшись с Парижем, двинуть на Рони. Роменвильскую заставу минуем без затруднений — там несут караул стрелки 9-й роты, а пруссакам на нас наплевать.

Госпожа Билатр визжит как зарезанная: у колонки, видите ли, грязь развели. Она опять ходит гордо, как индюк: господин Валькло известил ее, что возвращается сегодня к вечеру. Завтра Франция голосует *.

Вчера вечером я пошел в новое убежище Гюстава Флуранса, хотел вручить ему бумаги, которые еще оставались у меня, и потом, само собой, попрощаться.

Флуранс лежал в постели не один, а с Мартой. Ни тот, ни другая даже не смутились. Воображаю, какая у меня была физиономия... Марта широко открыла огромные черные глазищи и развела обнаженными руками, как бы говоря: «Ну, чего ты еще! Ведь это же Флуранс!»

Я бросил листки на постель и ушел, даже не закрыв за собой дверей.

Потом кинулся бежать.

Прощай, Париж!

Рони-су-Буа.
Воскресенье, 12 февраля 1871 года.

Дома нас ждал отец — он все такой же, разве что похудел. Он уже взялся восстанавливать ферму, благо ущерб не особенно велик. Главным образом пострадали участки, непосредственно примыкающие к Авронскому плато и форту Рони. Так, от фермы Мартино буквально не осталось камня на камне; мы приютили у себя самого огородника, его жену и двух взрослых его сыновей. Пришлось нам немножко потесниться, но ремонт и полевые работы идут быстро; и нам удалось убедить семейство Мартино нынешний год сообща обрабатывать землю.

По-прежнему наш край занят пруссаками. Но их почти не видно. Стараемся вообще о них забыть. После заключения перемирия они продвинулись вперед, чтобы занять позиции, оставленные нашими войсками. Рони, таким образом, уже давно не передовая линия, скажем больше: не граница. Жители Рони мало-помалу стягиваются к родным пенатам — вернее, к тому, что от них осталось. Возьмем хотя бы Мюзеле. Дом их не разрушен, но у самого хозяина сердце больше к работе не лежит. Мартен, который проводит у нас все вечера, намекнул мне, что отец никак не может стряхнуть с себя лени и отделаться от привычки пьянствовать, приобретенной в Менильмонтане.

Работаем по шестнадцать часов в сутки. Пока не стемнеет — на поле или на крыше, а вечерами при свече чиним инструмент и мебель.

Рони, 15 февраля.

Только что вернулись из Мо, ездили на ярмарку. Сельскохозяйственный инвентарь редкость, за семена заламывают неслыханные цены, запасных частей вообще не существует. Да, жители Мо не слишком-то любезны. Об осаде они ничего толком не знают и уверены, что хоть она и длилась долго, но было вовсе не так уж тяжко.

— Парижане получили по заслугам. Это же Вавилон, это же ад, проклятый богом город! Пруссаки — враги, кто спорит! Но мы-то теперь хорошо знаем всех этих саксонцев, баварцев — словом, всех немцев: почти полгода под их властью живем. Иной раз они крутеньки, зато хоть солдаты, а не людоеды, не анархисты!

Такого мнения — откуда оно только? — придерживается, в частности, торговец зерном, наотрез отказавший нам в кредите. А ведь вряд ли один из десятка местных жителей бывал в Париже, хотя до столицы отсюда всего сорок пять километров.

Бонапартистов среди них мало и еще меньше республиканцев. Все они монархисты, орлеанисты* или сторонники графа де Шамбора *. На Империю они злятся, зачем, мол, развязала войну, а на Республику — зачем, мол, ее продолжала да еще проиграла.

«Единственное, чего мы хотим,— это мира! Тот, кто нам даст мир, тот нам и хорош будет!» — то и дело слышишь на ярмарке скота, где старики со вздохом вспоминают «добрые старые времена» Луи-Филиппа. И поносят «красных», замахнувшихся на их добро и на самого господа бога.

Рони, 19 февраля.

Ассамблея в Бордо*: 400 монархистов против 150 республиканцев, и то среди них многие еще под вопросом. Должно быть, Бельвиль мечет громы и молнии.

Предок кружит по комнатам, с грохотом закрывает двери, словно совсем зазяб.

— Вот господин Тьер и стал во главе нашей Республики,— цедит он сквозь зубы.— Мы теперь во власти этого цепкого старикашки, бывшего министром при Июльской монархии, главы партии Порядка при Второй республике; именно он, эта амфибия, открыл Наполеону III путь в Тюильри; он в конечном счете подготовил наш разгром

в Седане! Это он-то республиканец? Чистейший продукт буржуазии, лучший ее алмаз! Это фея Карабосса, сторожащая колыбель нашей Республики, уже калечной от рождения; еще бы, двадцать семь ее департаментов — треть страны! — заняты полумиллионом пруссаков. Выложить в три года пять миллиардов*, а где их взять, я тебя спрашиваю... Тысячи рабочих обречены на безработицу, нищету, банки закрыты, торговле и промышленности не хватает рабочих рук: я имею в виду погибших, военнопленных в Германии, интернированных в Швейцарии, словом, сотни тысяч!

Зато господин Тьер внушает уверенность крестьянам. Тот факт, что он более шестнадцати лет был министром при сменявших друг друга режимах, плавал, так сказать, в мутной воде, ничуть их не смущает, даже наоборот.

«Да, черт возьми, требуется именно такой вот прожженный ловкач, чтобы вытащить нас из всей этой петрушки»,— вот что они говорят, радостно подмигивая, словно все хитрости этого лиса в рединготе играют им на руку и направлены к их выгоде, против врагов собственности — будь то семейное или общественное добро,— против пруссаков и против красных. До Республики им и дела никакого нет. Вслух они в этом не признаются, а в душе считают вполне естественным, что их полупочтенный спаситель втихомолку набивает карманы себе и своим собратьям по классу: ведь это, мол, входит в традиции мирной политической игры. Эти бедные и работящие вилланы относятся к господину Тьеру примерно как к барышнику: они знают, что он их обдерет как липку, но без него пока не обойдешься; этот сквернавец и мясника надует, когда будет продавать ему наших же ягняток... Впрочем, нас-то он не особенно обдерет, мы ему вот как еще нужны. На всех торжищах страны всегда появляются одни и те же барышники, неукоснительно и неизменно, как господин Тьер в часы национальных катастроф.

Рони, 20 февраля.

Нынче утром в мэрии, в надежде получить весьма проблематичные «талоны на зерно».

Делегат департамента, назначенный пруссаками, весьма красноречивый петушок, радуется, что ему вовремя удалось вырваться из осажденной столицы: парижане сов-

сем ополоумели, особенно рабочие восточных кварталов. Ничего не поделаешь, нервы... Они подыхали с голоду, верно, подыхали. Видели бы вы, как они на первые обозы с продовольствием набрасывались. Десятками умирали от несварения желудка! Только вот в чем штука: в алкоголе они нужды никогда не терпели. Объясняйте это как хотите, но все время осады вино лилось бочками! И красное, и белое, сколько душе угодно, а на голодный желудок оно в голову бросается...

Жители Рони стоически слушали его разглагольствования. Большинство из них, как и мы, недавно вернулись в родные места, но вернулись на пустые борозды. Кое-кто одобрял нашего краснобая. И многие вполне искренне одобряли, будучи убеждены, что парижский рабочий, невежественный грубиян, не знает даже азов военного искусства и, упорствуя, просто совершает преступление. Победа требует расчета, умелой подготовки, опытных военачальников и железной дисциплины — словом, как у пруссаков!

В особенности же негодовал некий Бонжандр, мельник, вернувшийся из Бельгии.

— Эти блузники слишком тщеславны, где уж им согласиться на капитуляцию. «Не могли нас так просто победить, значит, нас предали!» — как вам это понравится? Послушать их, так эти профессиональные безработные, эти столпы отечественной виноторговли — единственные истинные патриоты, единственные законные сыны Республики! Они готовы взяться за оружие. Да что я говорю? Уже взялись! Они на все готовы, чтобы снова начать войну, и прежде всего чтобы покарать изменников, другими словами, прелатов, хозяев, генералов, буржуа и крестьян... Ах, добрые мои друзья, славные люди, бойтесь Парижа!

Рони, 21 февраля.

Нашей участи можно еще позавидовать. Стоит только оглянуться вокруг, посмотреть хотя бы на Мартино. А наш дом уже почти похож на прежний и даже «опрятненький», по любимому маминому выражению; на поле вывезено удобрение, и сама погода вроде старается, чтобы земля уродила побольше. Словом, все «утряслось», как будто ничего и не «стряслось»: в этой перекличке чувствуется легкий осадок горечи.

На новехоньком припеке стоят в ряд и по росту, как и в прежние времена, горшки и горшочки. Не хватает только одного — третьего с конца, для перца. Что-то с ним приключилось, попал в плен или погиб на поле брани? Впрочем, такой горшочек не стыдно и в Пруссию с собой прихватить. А может, какой-нибудь подвыпивший солдафон, поселившийся в нашем доме, швырнул его, как гранату, в своего развеселого собутыльника? Старую грушу, что росла в углу у самой ограды, выворотило снарядом, и теперь мы помаленьку отапливаем ею дом. И каждый вечер собираемся у камелька. Мама вяжет черный чулок, отец вырезает ножом дверцы к буфету — наши пожгла немецкая солдатня. Предок читает «Мо д'Ордр» — новую ежедневную газету Рошфора. Была война, была осада Парижа, пропал наш горшочек для перца, старая груша медленно умирает в огне, и есть у нас жильцы: семейство Мартино. Мамаша Мартино вяжет, отец мастерит лемех, старший их сын, Юрбен, лощит наждачной бумагой рукоятку плуга, Альфонс, младший, чинит замок от погреба, дверь которого высадили ударом сапога. Единственные звуки—звуки дерева, металла и огня. После войны онемели вечерние мирные посиделки.

Зато в поле чувствуешь себя лучше всего. Природа, она быстро от катастроф оправляется. Утрами отвалишь лемехом пласт земли и прямо чуешь родное благоухание. Бижу, наш неутомимый труженик Бижу, тоже не надышится, бьет копытом и ржет, будто обращается ко мне: «А все-таки это тебе не булыжные мостовые да баррикады. Наконец-то под ногами землю чувствуешь!»

Когда идешь вот так за плугом, кажется, что ничего плохого больше произойти не может. Такая уж глупость: кара небесная и человеческая обрушивается сначала на поля, а потом и на самих земледельцев. Конечно, мы уцелели, но в каждом из нас что-то сломалось. Зло, подобное пьянству и лености, я имею в виду главу семейства Мюзеле, сразу бросается в глаза, а вот молчание у камелька — знак того, что каждый из нас глубоко затаил свою боль. Отец уже не тот, не прежний, и мама уже не та, не прежняя. Оба они стали словно бы потерянные, но оба по-разному. У одного душа болит о Седане, у другой — что похлебка жидка. Не получается ни разговоров, ни споров, каждый замыкается в себе со своей личной бедой: папа ведет про себя разговор с Седаном, а мама, мама — с оче-

редями у булочной. Мартен Мюзеле, Предок и я не избегли того, что можно было бы справедливо назвать «болезнью тупика» или «бешенством Бельвиля».

За четыре месяца осады особая форма лихорадки, которую специалисты именовали «осадной», тяжко поразила человеческие души. Приступы ее начинались по различным причинам: тоска, скверная пища, неуверенность в завтрашнем дне, безрассудная надежда с ее взлетами и падениями, за которой следует жестокое разочарование, доводящее до безумия чувство оторванности от всего прочего человечества, отсутствие вестей извне — самое страшное из лишений! — словом, такое впечатление, будто ты похоронен заживо и задыхаешься в своей могиле.

Не будь мы безумцами, мы бы не потрясали основы старого мира, здравомыслящего и подлого!

Устал от этого своего дневника, пробовал силы даже в поэзии. Отныне буду смотреть, как растет фасоль!

Всей душой наслаждаюсь нашим неторопливым, спокойным существованием среди здешних тяжелодумов и упрямцев, над которыми не властно время. Зато ночами тяжелее. С тех пор как мы возвратились в Рони, меня мучают кошмары. Будто в череп мне один за другим пробираются тысячи насекомых или крошечных грызунов, они проникают туда гуськом через уши и начинают свою кропотливую работу. Мартен Мюзеле признался мне, что и у него были такие же кошмарные сны, но теперь вроде стало полегче. Так что беспокоиться нечего. И еще ему случается побить животное или что-нибудь сломать, разбить, причем вполне сознательно. Порой и на меня налетают такие желания. Когда я рублю дрова, я вдруг резко вскидываю топор, словно кто-то стоит вот здесь, передо мной.

Марта.

Флуранс.

Рони, 24 февраля.

Предок:

— Знаешь, Флоран, Бельвиль снова подымает голову. А здесь люди с первого дня рождения гнут спину, живут распростершись ниц и помирают дураками. Весьма любо-

пытно было бы узнать, где ты вычитал, а может, слышал от кого, что Революцию делают в белых перчатках, что она — фарс для пудреных щеголей. Говоришь ты о ней, как разочаровавшийся любовник.

У, старый краснобай! До чего же мне хотелось устроить ему у нас, в Рони, такую жизнь, какую устроили в Бордо своему любимцу Гарибальди!..

Ряд департаментов выбрал своим депутатом неугомонного итальянца. **(«Единственный французский генерал, который не был разбит во время войны»,— сказал неподкупный старец Виктор Гюго.)** *Когда Гарибальди в красной рубашке поднялся с места, чтобы взять слово, вся Ассамблея, состоявшая из именитых граждан и генералов* **(битых!)**, *освистала его: «Вон итальянца!»*

Великому революционеру, поспешившему на помощь нашей Республике, так и не дали произнести ни слова. Он вернулся в одиночестве в Капреру.

Рони, 26 февраля.

Возвращаюсь в Париж.

Нас навестил дядя Фердинан. Он приехал из дома, проведя в тупике всего только час. А у нас в Рони просидел два часа и отправился догонять свой полк. И он тоже ужасно изменился. Особая, «военная лихорадка».

— Что ты хочешь, Леон,— втолковывал он папе,— знаю, тебе это покажется невероятным, но мне по душе жизнь военного. Тебя накормят, устроят на ночлег, а ты только исполняй команду; ни забот тебе, ни хлопот, бродишь по белу свету, людей разных навидаешься. В конце концов, это и есть настоящая свобода.

Вы бы поглядели, какие физиономии стали у моих родителей! Конечно, мама по-своему истолковала причину возвращения деверя в армию. Но тут папин брат повернулся к Предку и сказал:

— Я уже давным-давно принял такое решение. И в тупик только затем и заглянул, чтобы объявить об этом жене и Жюлю. Кстати, дядя Бенуа, мне бы хотелось поговорить с вами наедине.

Они вышли в огород, наш Предок и муж Трусеттки. Поговорили там с минутку, потом вернулись в дом, сержант шел, полуобняв старика за плечи.

— Что же поделаешь, если он выбрал себе такой способ самоубийства!

Вот и все, что сказал отец. Мама вздохнула:

— С этой войной смертям никогда конца не будет.

От дяди Фердинана я и узнал последние новости. Ему-то можно верить. Париж кипит. С позавчерашнего дня, то есть с 24 февраля — годовщины образования Республики,— несметные толпы проходят через площадь Бастилии. Национальные гвардейцы, мобили, стрелки, артиллеристы и члены рабочих обществ под крики «Да здравствует Республика!» украшают цветами Июльскую колонну. Гигантский пьедестал совсем исчез под венками и знаменами с траурным крепом. А Гений, венчающий колонну, держит в руке красный флаг, это какой-то морячок с обезьяньей ловкостью взобрался наверх и сунул знамя ему в руки под восторженный рев двухсот тысяч глоток.

Отец Мартино, вернувшийся с Центрального рынка, принес нам последние слухи, упорно ходящие по Парижу: пруссаки со дня на день войдут в столицу. На обратном пути огородник сам проезжал через предместья, ощетинившиеся баррикадами.

Нет, это сильнее меня...

Предок уже уехал.

Тетрадь пятая

*Заметки, сделанные, дополненные
и исправленные в конце
февраля — начале марта.*

Площадь Бастилии — как человеческий океан, куда без передышки втекают новые и новые батальоны. Идут они рядами, строевым шагом, без оружия, впереди военный оркестр, и над ними развеваются знамена с траурной перевязью. Командиры, нацепив красную перевязь, взбираются на пьедестал, чтобы произнести краткую речь:

— ...Хозяева монополий по-прежнему считают народ рабом! — кричит командир 238-го батальона.— Видно, они забыли, что пробуждение его бывает страшным!

Океан отвечает громогласным: «Да здравствует Республика!» По рукам ходят газеты, где сообщается о том, что завтра пруссаки войдут в город. В промежутке между двумя речами и четырехкратным «ура» слышна по соседству дробь барабанов, бьющих сбор, а вдалеке — неумолчный набатный звон колоколов. Все выше и выше вырастает гора цветов. Июльская колонна — памятник Революции — вся обвита знаменами и флагами, а группа гражданок в черном водрузила трехцветный стяг с надписью: «Мученикам — женщины-республиканки!»

Какой-то высокий, высохший, как скелет, старик показывает на красное знамя в руках Гения свободы и говорит бледному юноше, своему соседу:

— Впервые после 48 года оно реет здесь. Смотри на него хорошенько, мой юный Катон. Какое оно прекрасное! Какое алое! Это кровь тысячи мятежных! — Старика бьет дрожь. И юношу тоже.

На пьедестале уже следующий оратор, другой капитан, он призывает к единению «парижских сил против торжествующей деревенщины. Национальная гвардия,— выкрикивает он,— сама мужественность Парижа! Пусть все батальоны сгруппируются вокруг Центрального комитета*, избранного их ротными делегатами».

«Да здравствует Республика!» — гремит площадь Бастилии.

Барабаны бьют поход. Толпа рукоплещет стрелкам в киверах, зуавам в фесках и морякам в синих беретах; вся эта многоцветная толпа вливается в поток кепи национальных гвардейцев, над которыми плывет знамя с девизом: «Республика или смерть!» — это марширует 133-й батальон.

Чуть не стукаясь лбами, трое каких-то подростков и простоволосая девушка слушают студента-бородача:

— «Политическая страсть! Она дает силу тому, кем целиком завладевает, она оказывает честь тем, кому угрожает. Только честные люди подвержены этой лихорадке, которая бросает их навстречу опасностям, а порой ставит и в смешное положение. Такие не станут тщательно отсеивать боевые призывы или соратников по борьбе, они не останавливаясь идут, идут вперед, прорываются, рискуя даже поранить соседа, и бывает, что в спешке своей навстречу врагу, в жестокой неразберихе схватки дадут оплеуху ничем не заслужившему это человеку, свалят на землю любимого друга, сшибут с ног достойного...»

— Вот здорово! А чье это?

— Жюля Валлеса. Напечатано сегодня в «Кри».

— Дашь мне прочитать?

Девушка упархивает, размахивая газетой над растрепанной головой, хочет показать статью своим подружкам по мастерской или соседкам по дому.

— Национальная гвардия не признает иных командиров, кроме своих собственных избранников,— провозглашает новый оратор, усатый капитан, подпоясанный красным шарфом.— Национальная гвардия протестует против любой попытки разоружить ее и заявляет, что в случае необходимости она будет сопротивляться, применяя оружие!

Гирлянды иммортелей обвивают спиралью всю колонну. Светлоглазый бородатый человек с высоким лбом, кажущимся еще выше из-за густой шапки волос, зачитывает

резолюцию, ее только что приняло в Тиволи-Воксаль с энтузиазмом и пылом общее собрание делегатов Национальной гвардии: «При первом же известии о вступлении в Париж пруссаков все национальные гвардейцы становятся под ружье и сходятся в обычные сборные пункты, дабы немедленно выступить против захватчика!»

— А сам-то ты кто, краснобай?

— Эдуар-Огюст Моро*, сир де Бовьер, тридцати двух лет, мог стать генералом, инженером, партизанским вожаком или трибуном, ныне просто национальный гвардеец 3-й роты 183-го батальона IV округа!

— А где воевал твой батальон?

— Девятнадцатого января под Бюзанвалем. Восемь убитых, тридцать раненых, тридцати девяти вынесена благодарность в приказе, и в их числе вашему, гражданин, покорному слуге!

— Он прав, горожане. Республика не позволит пруссакам маршировать по парижским Бульварам, как в 1815 году! *

— Ваша прославленная Республика при последнем издыхании!

— Ничего, зато народ жив!

Брюзга охотно признается, что был одним из видных членов церковно-приходского совета XVI округа. И с горечью рассказывает, что правительство объявило сбор в богатых кварталах, но ни один батальон не отозвался.

— Ну, я и пришел сюда посмотреть. Я-то не боюсь, могу поклясться!

Тем временем подходят мобили с каптенармусами во главе; они несут огромные венки иммортелей и возлагают их под пение горнов — это приветствуют новый дар горнисты, стоящие у четырех углов пьедестала. А теперь идет стрелковый полк, это марширует сама армия, встречаемая неистовыми возгласами народа, который течет волной по бульвару Бомарше, это зыбь Шароны, это паводок Сент-Антуанского предместья. Ноги сами отрываются от земли, и радость буквально несет тебя, как пробку по воде. Только что я был у Венсеннской пристани, и вот я уже у парапета Арсенала.

Ничего общего с днем моего отъезда: ни тумана, ни сумерек, ни тишины, ни опаски, ни пряток. Ясный день, и повсюду солнце, солнце.

Встречное течение гонит толпу вокруг Июльской колонны. На пьедестале оратор в рабочей блузе пронзительным голосом, долетающим во все концы, восклицает:

— Завтра немецкая армия вступит в Париж через Елисейские Поля. Правительство отводит свои войска и очищает помещение Дворца промышленности. Оно забыло только о четырех сотнях пушек Национальной гвардии, установленных на Ваграмской площади и в Пасси. Это наши пушки. Мы сами их купили, на наши собственные гроши! Неужели же мы допустим, чтобы они попали в руки пруссаков?

Знамена батальонов трепещут над головами. Офицеры собирают свои роты. Вот уже командир 152-го батальона XVIII округа, Дезире Лапи, приказал своим людям — двумстам гвардейцам — двигаться в направлении Ваграмской площади:

— ...Там вас, граждане, дожидаются пушки, больше сотни. Завтра на этой площади будет враг. Надо, чтобы он застал ее пустой!

Другие батальоны готовятся идти в направлении Ранелага и парка Монсо. Играют горны, бьют барабаны. Национальные гвардейцы, явившиеся без оружия, берутся за руки и с пением маршируют по-военному.

Вдруг я остановился, обернулся, посмотрел на Марту:

— А где пушка «Братство»?

— Флоран... значит... значит... ты нас еще любишь!

* * *

Рано или поздно любой ребенок подойдет к пушке, сначала скромно прислонится к колесу, а потом с безразличным видом попытается ее столкнуть с места. Вот тут-то он поймет, что это чудище, на манер деревенской церквушки, вросло в землю всеми корнями. Пушку не толкают, ее выкорчевывают.

В смысле упряжки у пушки чисто княжеские требования. Подавай ей непременно четверку лошадей. Впереди слева — здоровенный битюг рыжей масти, на котором восседает передний ездовой, и рыжий оттенок красиво сочетается с мастью правой пристяжной, кокетливо перебирающей тонкими ногами. Кони непременно должны быть молодые, крепкие, хорошо выкормленные. Надо, чтобы были наготове сменные лошади, которых ведут за

зарядными ящиками, обозными повозками, фуражирами, походной кухней и батарейным имуществом.

Двигались ли когда-нибудь орудия в такой упряжке, какую мгновенно придумал в те дни Париж для своих пушек? Четыреста орудий катились по парижским улицам, впереди впряглись мужчины, а сзади подталкивали женщины, старики и целый сонм детворы.

Первыми протащили свои орудия из Ранелага, имевшие пунктом назначения парк Монсо, пузатые батальоны Порядка, видные члены церковных советов приходов Пасси и Отейя. Батальоны Монмартра, Ла-Виллета, Бельвиля, Шарона и прочих неблагонадежных мест направлялись к Ваграмскому парку, чтобы увести оттуда к себе на высоты великолепные орудия, которые народ оплатил своими кровными грошами. На каждом были проставлены инициалы жертвователей.

От Бютт-Шомона до Сены, от авеню Трон до Шато-д'О — со всех концов Парижа били сбор, гудел набат, трубили горны, и десятки тысяч людей стекались, вооружаясь чем могли. Под радостное громыханье металла о камень мостовой, под могучие окрики: «Тяни... Тяни... Само пошло...», сопровождавшие коллективные усилия, парижская артиллерия — бронзовые и медные стволы орудий, мортиры, полевые гаубицы, митральезы — триумфально следовала сквозь родной город меж теснившихся на тротуарах прохожих и фасадов, облепленных восторженными участниками этого смотра. Чудовища, покорявшиеся только четверкам першеронов, сегодня переходили на бег, почти летели по Бульварам, повинуясь женщинам и детям, а те, кто их подгонял, корчились от смеха. Народ переживал часы, когда не знаешь удержу своей мощи. По одному слову, разыгравшись, Париж завязал бы двойным узлом Вандомскую колонну. «Р-р-раз-д-два, взяли!»

— А где пушка «Братство»? — повторил я.

— Ну... Она по-прежнему там, в тупике.

— Как так? Выходит, вы ее даже с места не сдвигали?

— Поди ее сдвинь, Флоран, сам небось понимаешь...

Тут как раз перед самым нашим носом провезли пушку «Эльзас — Лотарингия» под приветственные крики любопытствующих зевак.

— А это-то чья?

— 59-го батальона V округа.

— А везете куда?

— На Вогезскую площадь! Пусть попробуют забрать ее оттуда!

Вслед провезли пушки «Карно», «Клебер», «Вольтер» и «Вашингтон».

— Может, Бижу? — спросила меня Марта.

— Где уж ему, бедному старикану! Всего на полдня его хватает, и то пашет мелко! Чуть корень попадется — и встал!

— Расступись! Расступись... «Виктор Гюго»!

Под оглушительные приветственные возгласы, подпрыгивая по камням мостовой, проезжает пушка, пожертвованная автором «Отверженных», и тянут ее Жаны Вальжаны, подталкивают Гавроши и Козетты.

— Значит, тупику рук не хватает?

— Ты прав, Флоран. Бежим скорее домой!

Только у самой арки я вдруг сообразил, сколь нелеп наш проект. По всему Парижу батальоны спешат увезти пушки к себе, в свой квартал, в надежное укрытие, совсем как пастух, собирающий перед грозой белоснежных ягняток, а мы именно сейчас выбрали время таскать свою пушку по Парижу.

— Пойми, Флоран, ведь здешний люд за нее заплатил! Так вот, они имеют право за свои-то деньги, чтобы их «Братство» тоже встречали рукоплесканиями.

Короче, нелепым оказался не наш проект, а мои глупейшие сомнения. Без дальних слов тупик впрягся в пушку. Так как все стрелки ушли к Шато-д'О, к гигантским колесам бросились женщины, дети и старики.

— Эй... Взяли!

Пушка «Братство» ни с места. Глухонемой кузнец тащил ее в обратную сторону, так как он повернулся к нам спиной и не видел, что делается впереди. Тогда Марта становится перед ним и, как дирижер, начинает махать руками: «Раз-два! Взяли!» Наконец наше чудище чуть пошатнулось.

На втором этаже виллы открыто окно, то, что рядом с нишей, где статуя Непорочного Зачатья с уже выцветшим флагом. Из окна какой-то человек в ночном колпаке, скрестив руки, наблюдает за отбытием батареи Дозорного. Черты его разобрать трудно, он стоит спиной к свету. Это господин Валькло.

Пушка «Братство» все еще не выехала. Застряла под аркой, ширина которой не рассчитана на омнибусы.

— Пусть что угодно говорят, а наша всем пушкам пушка! — восклицает Селестина Толстуха.

Барден бежит в кузню и притаскивает две кувалды, и мы сразу же начинаем отбивать у арки одну опору, затем другую. Господин Валькло все еще торчит в окне. По обе стороны арки, на пороге своих лавок стоят Бальфис с Диссанвье, скрестив на груди руки, наблюдают за нашей возней и понимающе переглядываются. Рано или поздно они, то есть мы за все заплатим.

— Пустяки, господин Бальфис,— весело бросает Марта,— вот увидите, что будет, когда мы зарядим нашу пушечку по самую глотку!..

Мясник даже побагровел весь, но хоть бы пошевельнулся.

Когда пушка выкатывается на Гран-Рю, сумерки уже окутывают Париж своей серой пеленой, а в нее врезаны башни Собора Парижской богоматери и башни Сен-Сюльпис, шпиц Сент-Шапель и колокольня Сен-Жермен-де-Прэ.

— А ну, осторожнее там!

К счастью, тут есть тротуар. Пушка по собственному почину катится под уклон, увлекая за собой людскую упряжку.

— Сама катится! — кричит Флоретта, торговка рыбой.

— Потому что она у нас лихая,— добавляет Филомена-галантерейщица.

— Эге, смотри-ка, ведь это мы ее купили! — бросает гражданка Монкарнье и замирает на пороге своей «Театральной Таверны», хотя там полно посетителей.

— Это ничего, что у нее рожа малость чудная,— замечает господин Бансель, старый часовщик с улицы Ренар.

Приходится повернуть наше чудище и вплоть до Бельвильской заставы сдерживать ее ход; но нас много, и мы действуем все более и более слаженно, подчиняясь властному дирижированию Марты.

На углу улицы Вьейез происходит заминка: в самом деле, куда ее тащить?

— Ясно куда, для начала на площадь Бастилии,— заявляет наша смуглянка.— Через Менильмонтан и Шарон!

— Значит, это она самая, знаменитая пушка «Братство»? Эй, подождите, мы сейчас спустимся! — кричат нам из окон.

Лавки и обжорки сразу пустеют. Почти все жители квартала уже побывали в тупике, чтобы полюбоваться своей пушкой. И все-таки они опять вертятся вокруг нее, чуть ли не обнюхивают и дают разъяснения «чужакам» — тем, что не из Бельвиля: «Из наших бронзовых су отлита... А то как же, уважаемый, расплавили их, и дело с концом...»

— За всю свою проклятущую жизнь такой пушки не видывал,— буркает какой-то безрукий инвалид.— А уж, кажется, и Крымскую кампанию проделал, и в Сирии воевал, в Алжире, в Сенегале, даже в Мексике. И все в артиллерии... Да снимите же с нее чехол, дайте посмотреть на нее в натуральном виде!

— Еще чего! — возражает Марта.— А вдруг дождь пойдет?

По правде сказать, ей просто нравится, что сооруженный Лармитоном чехол придает нашей пушке некий налет таинственности. А колченогий сапожник не поскупился на кожу. Он смастерил чехол слишком широкий и длинный для бронзового ствола орудия, из кусочков и обрезков, аккуратно их подобрал, сшил тройным швом, и этот шедевр сапожного искусства прикрывает всю пушку от жерла до казенной части, включая станину, а чехол зашнуровывается снизу самым обычным способом, наподобие ботинка.

— Направление: Пэр-Лашез! Все по местам! — командует Марта, сложив ладошки рупором.— А ты, Состен, иди вперед, оркестром будешь!

Во главе кортежа — Марта, и почти всю дорогу она пятится задом. За коренника у нас Барден, он так и сияет. Левые пристяжные, впряженные каждый в свою веревочную петлю,— это Ванда Каменская, Камилла Вормье и Селестина Маворель; правые — Трусеттка, Сидони Дюран, уже оправившаяся после выкидыша, и Клеманс Фалль. Позади этого треугольника бурлаков — Людмила Чеснокова, Фелиси Фаледони, Бландина Пливар, Зоэ и другие— эти, впряженные попарно, налегают всей грудью с каждой стороны лафета на три поперечных бруса.

Шарле-горбун, Торопыга и еще четыре парня управляют правым колесом, нажимая на спицы, а мы, то есть Пружинный Чуб, братья Родюки, еще трое молодцов из Жанделя и я,— левым.

Прежде чем встать в упряжку, матери усадили своих

малолеток на четыре сиденья, приделанные столяром к оси по обе стороны казенной части.

Любопытные, привлеченные шумом и гамом, поражены движением нашей махины, кое-кто дивится торжественному кортежу, а особенно выбранному нами маршруту: мы же ничем не рискуем, неприятель войдет в столицу с запада. В ответ мы напускаем на себя таинственный вид.

— Думаю, что это еще не виданное артиллерийское орудие — новое изобретение, грозное оружие...— на полном серьезе поясняет краснодеревец Шоссвер и для вящей убедительности снимает очки и излишне тщательно протирает их тряпочкой.

Новость эта распространяется с такой же быстротой, с какой во время осады распространялись всякие бредни о победах нашей армии. Недаром же парижский люд, столь недоверчивый в своем доме, до смешного простодушен в общественных местах. Из толпы вырывались самые быстроногие, забегали вперед, вихрем взлетали по лестницам, бросались к окнам, откуда выглядывали равнодушные или калеки, словом, те, кто уже не считает нужным беспокоить свою особу ради обычной уличной суматохи.

— Пушечка еще наделает шуму! — изрек мудрый краснодеревец, вдохновленный этим шумным успехом.

— Уже наделала,— бросил Предок.

На балконах и в открытых окнах красовались целые семьи, кто с салфеткой вокруг шеи, кто с тарелкой или стаканом в руке. Перед Пэр-Лашез выстроились в ряд кладбищенские сторожа; могильщики и мраморщики приветствовали наш кортеж кликами и торжественными взмахами лопат. «Рады стараться»,— бросает пушкарю какой-то высоченный землекоп, потрясая лопатой.

На Париж не спеша спускалась ночь.

Кто-то притащил нам черенок от вил, ярко-красное покрывало, белую деревянную дощечку, горшок с дегтем и кисть. Марта поманила меня, и я подошел к ней.

— Напиши-ка, Флоран, на дощечке большими-большими буквами «Пушка «Братство». А ниже помельче: «Стрелки Флуранса».

— А может, лучше «Стрелки Бельвиля»?

Смуглянка бросила на меня затуманенный печалью взгляд, потом отвернулась, пожав плечами.

— Скоро совсем стемнеет,— сказала она.— Нужно бы раздобыть факелы.

На перекрестке улиц Рокетт и Фоли-Мерикур какой-то человек в фартуке преграждает нам дорогу, раскинув руки крестом. Оказывается, это хозяин кабачка «Мирный Парень». Всей нашей батарее он предлагает зайти подкрепиться: каждый получит кусок сыра и стакан вина. Посетителей почти никого. Обычные завсегдатаи — деревообделочники, машинисты с Венсеннской железной дороги, служащие, национальные гвардейцы и члены корпораций,— все они сейчас на площади Бастилии или же в артиллерийских парках XVII округа. Четверо старичков да три девицы говорят о вступлении пруссаков в столицу.

— Это Тьер их умолил,— шамкает беззубый ветеран.— Эта шваль сам-то не осмеливается разоружить Национальную гвардию, вот он и позвал себе на подмогу своих дружков пруссаков!

Прихлебывая винцо, Предок излагает нам свою точку зрения: на сей раз и речи быть не может о разных адвокатишках, клерках и других салонных революционерах, теперь на смену им выходят рабочие с засученными рукавами — те, кто умеет держать в руках инструмент, чистокровные социалисты, словом, все те, у кого Революция в самом нутре засела, а не еще где-нибудь.

— Если делегаты 20 округов, парижского бюро Интернационала и Палаты рабочих обществ договорятся, Париж наконец-то поймет, за кем ему идти, и тогда Тьеру вряд ли удержаться!

— Ну хоть для меня разуйте вашу пушечку,— умоляет хозяин кабачка,— на минутку всего...

Покидая его, мы чувствуем, что он слегка обижен нашим отказом, зато твердо убежден, что мы везем новое оружие, о появлении которого говорят вот уже четыре месяца.

Июльская колонна освещена лампионами с разноцветными стеклами. Она вырастает из целой горы иммортелей, а на самой вершине — Гений свободы неутомимо вздымает красное знамя. У основания — солдаты, зуавы, мобили. Винтовки за плечами, штыки в ножнах. Они из тех самых четырех батальонов пехоты, которые к восьми часам вечера прислал генерал Винуа, чтобы очистить этот район. Презрев генеральский приказ, солдаты смешались с толпой. Офицеры, трезво оценив обстановку, сообщили об этом в своих донесениях. Дескать, нижние чины поддались всеобщему народному ликованию.

— Наше дело — стрелять в пруссаков,— объяснял ма-

ленький капрал с тем же жестким акцентом, что у нашего Фалля.— Для того нас и созвали. Не убивать же нам друг друга!

— А что за фрукт этот Винуа? — спрашивает зуав с кудрявой бородой.— Никогда не служил под его началом.

— Значит, ты в солдатах недавно,— вмешался Предок.— Винуа — бонапартист. Из тех генералов, что совершили переворот Второго декабря.

— И такого назначили военным губернатором Парижа! — удивляется капрал.

— Они эти фокусы умеют проделывать. Трошю кричал, надрывался, чтобы всем слышно было: «Губернатор Парижа не капитулирует!» Легко сказать! А потом этот бретонский иезуит Трошю взял и упразднил пост губернатора, вытолкнул вперед Винуа и возложил на него именно эту миссию: капитулировать. Фокус удался!

Справа на колокольне Сент-Амбруаз гудит набатный колокол. Скоро полночь, роковой час, час окончания перемирия.

Наше шествие теперь уже не артиллерийский обоз, а фантастический корабль. Нет тут ни домохозяек, ни стариков, ни детей, ни колес, ни брусов, ни бронзы... Есть монолит. Единое целое. Не живые существа, не вещи и предметы, а нечто сверхчеловеческое, и это нечто продвигается вперед неудержимо, разрывая пылающим форштевнем мрак.

За последние три недели тупик здорово изменился. Я понял это по кое-каким признакам: женщины, уже давно на улицу не показывавшиеся, дружно впряглись в ременные лямки. Постромки тянула одна команда в составе Клеманс Фалль, Бландины Пливар, Элоизы Бастико и Мари Родюк, и они ничуть не воротили нос от двух других членов упряжки: Дерновки и Митральезы. Напротив, налегая всей грудью на брус, они переговаривались между собой.

А матери-то... матери... госпожа Бастико, госпожа Фалль... неужели грудных младенцев дома бросили?

— Они договорились с Ноэми Матирас,— поясняет Марта,— она за ними присматривает.

— А у нее разве нету детей?

— Вот именно, нет!

Молодая женщина с тонким гибким станом, присоединившаяся к кортежу у площади Бастилии, вместе со всеми

толкает гигантское колесо, и это не кто иная, как Вероника Диссанвье. Под покровом ночной мглы, за рубежами Бельвиля жена аптекаря безбоязненно выражает свою солидарность с Дозорным.

— Это она ради Гифеса?

— Не только ради него. У нее тоже идеи есть.

Хотя уже около двух часов ночи, на Бульварах царит оживление, как в воскресенье летом в послеобеденные часы.

Не меньшее удивление вызывает пушка «Братство» у толпы, запрудившей Большие бульвары. Наша пушка в гигантском своем чехле, похожем на огромный футляр для скрипки, оставляет по пути своего следования легкую струйку феерических мечтаний.

— Почему вы с нее чехла не снимаете?

— И правильно делают, что не снимают,— кругом полно шпионов!

Фантастический наш кортеж сеет споры и ссоры. Самые любопытные некоторое время плетутся за нами. Другие, словно окаменев, жадно вглядываются в очертания пушки. Им необходимо верить в новое, небывалое оружие. Если выложить им всю правду, они уши себе заткнут. Верят не одни только католики.

Какой-то лейтенант артиллерии увязался за нами еще у заставы Сен-Дени. Этот вопросов не задает, напротив — сам на вопросы отвечает, ведет длинные монологи, вскармливает свои сегодняшние иллюзии славой минувших дней, короче — настоящий военный.

— Многие наши победы обязаны какому-нибудь изобретению, например цилиндрическому ядру, которое пришло на смену круглому. Нарезные орудия обеспечили нам победу в Италии, в частности при Сольферино. Дальнобойность и точность прицела нарезного орудия не идет ни в какое сравнение с теми же свойствами гладкоствольной пушки...

— Скажи, а наше хоть нарезное? — спрашивает меня тревожным шепотом Марта.

— По-моему, нарезное.

Новые батальоны подходят с пением Марсельезы, под барабанную дробь со стороны Монмартра и Латинского квартала. Люди понимающе подмигивают: пусть только пруссаки посмеют сунуться, они получат по заслугам! Весь Итальянский бульвар словно волнующаяся на

ветру нива — это медленно проплывают сверкающие штыки.

— Что это не видно нашего великого Флуранса? Должно быть, книгу дописывает?

Марта отпускает мою руку.

— Разве ты не знаешь,— говорит Предок,— что военный трибунал Винуа заочно приговорил к смертной казни Бланки, Флуранса, Левро и Сирилла — всех четверых.

Национальные гвардейцы и штатские группами выплескиваются к Опере, на бульвар Капуцинок, к церкви Мадлен. Наша пушка по-прежнему вызывает удивление — других, кроме нее, не видно. Все артиллерийские орудия, которые проходили здесь после полудня, шли совсем в другом направлении, к предместьям, к высотам Монмартра и Бельвиля, подальше от пруссаков.

Гифес заводит разговор с Предком. Только что типографщик имел беседу «кое с кем с площади Кордери», членом Интернационала, его очень беспокоит наша пушка.

— Он взял с меня слово, что орудие не будет стрелять без официального письменного приказа. Я ему ответил, что у нас нет ни пороха, ни снарядов, что пушка еще не опробована и что никто из нас не умеет управляться с ней.

— Должно быть, окончательно успокоился!

— Да не только в нем дело. Есть еще и это...

Командир нашего батальона указывает на людской прибой, подступающий к Елисейским Полям, и добавляет, понизив голос:

— А пруссаки, возможно, уже там, на мосту Нейи...

Около «Цирка императрицы», у Рон-Пуэн, какой-то капитан держит речь перед своими солдатами:

— Прусский Навуходоносор готовится пройти торжественным маршем перед нашими женами, дочерьми, невестами... Граждане, до сих пор нас не посмели разоружить. Кто же посмеет сделать это? Никто. Ибо тот, кто захочет вырвать ружье из наших рук, получит пулю в грудь.— Возгласы одобрения.— Граждане, поклянемся — и время не ждет! — что, ежели пруссаки вздумают плюнуть нам в лицо — я имею в виду войти в Париж,— мы наконец покажем наше мужество, которое воодушевляло нас в течение более четырех месяцев. Поклянемся же биться с ними не на живот, а на смерть!..

Сотни кулаков взлетают в воздух, скрепляя клятву.

На всем протяжении Елисейских Полей батальоны располагаются на ночлег. Ружья ставят в козлы, разжигают бивуачные костры.

Нашему кортежу приходится останавливаться все чаще и чаще. Пушка «Братство» по-прежнему вызывает любопытство, но также и тревогу. Что это еще за орудие, не похожее ни на одно из виденных раньше? Почему оно не приписано к какой-нибудь батарее? Почему не имеет номера? Почему оно не в артиллерийском парке на Вогезской площади, на Монмартре или на Бютт-Шомоне? Почему движется в обратном направлении? Уж не собираемся ли мы сдать его пруссакам?

— Вперед! — вопит Марта, колотя изо всех сил по спине Матираса, убиравшего свой помятый рожок.

— Пошли, пошли! — повторяли женщины, высоко вздымая свои куцые факелы.

И вот так около четырех часов утра в понедельник 27 февраля 1871 года пушка «Братство» прошла под Триумфальной Аркой.

* * *

Разбив бивуак на Елисейских Полях, мы ждали зарю. Только Клеманс Фалль и Бландина Пливар согласились вернуться в тупик, потому что надо было отвести домой маленьких ребятишек.

Мы ждали зарю и пруссаков.

Около пяти часов утра нам стало известно, что тюрьма Сент-Пелажи — это старинное здание, расположенное неподалеку от Ботанического сада, которое революционеры окрестили «Бобовая Харчевня»,— подверглась штурму, Пиацца и Брюнель* на свободе. Весть эту принес Гюстав Флуранс, прискакавший с эскортом из шести гарибальдийцев. Завидев меня, он соскочил с лошади, прижал меня к груди и тут же отошел. Повернулся к Предку, и опять начались споры.

— Останься с нами, Флоран!

Взгляды наши снова встретились, и я опять прочел в его глазах обыкновенную человеческую приязнь.

— А как пруссаки?

— Они сосредоточены там, Бенуа, и с примкнутыми штыками вот-вот ринутся на Париж.

Он снял шляпу. Украшавшие ее перья раздуло вет-

ром, когда он махнул ею сначала в направлении Нейи, потом в противоположную сторону, где точечки огней бивуаков светились на всем протяжении Елисейских Полей вплоть до самого Тюильри:

— А наших больше ста тысяч, они ждут здесь, и патронов у них нет, только штыки да ружьишки устарелого образца...

Тут галопом примчался гонец в красной рубашке; не слезая с седла, он крикнул что-то по-итальянски, и Флуранс перевел нам его слова: «Генеральный штаб 2-го сектора захвачен, патроны увезены».

Над спящими вкруг умирающих костров батальонами вставал день, серенький денек, страшная до бреда картина национальной гекатомбы. У меня невольно вырвалось:

— Надо их разбудить!

Тонкие пальцы Флуранса с силой впились мне в плечо:

— Один выстрел, Флоран, один-единственный, и начнется такое побоище!

— Эх, черт! Чего это они там, на Кордери, мешкают! — ворчит Тренке.

— Лясы точат,— зло смеется Фельтес.— По-ихнему, Социальная республика — это вроде форели, ее ртом хватают.

— На сей раз действительно нужно, чтобы они все обсудили! — твердо заявляет Предок.

— Ты, дедок, видать, слишком устарел, и тебе...

Бортом шляпы Флуранс с размаху бьет дерзкого по лицу, и тот падает навзничь.

— Мать честная, нет, вы только посмотрите, головорез, да и все тут!

Плюмаж все той же шляпы описывает круг над Елисейскими Полями, где тысячи и тысячи национальных гвардейцев все еще дремлют у костров, но кое-кто уже потягивается.

— Видишь эти тысячи славных парней. Каждый из них горит желанием наконец-то помериться силами в настоящем бою со всеми армиями великой немецкой империи!— Кажется, что Флурансовы перья сметают невидимую пыль с этого тяжелого и вялого пробуждения.— Тьер только того и желает, чтобы пруссаки огнем и железом избавили его от этих солдат-граждан, которых он не смеет разоружить сам. Ах да, пушки... Со вчерашнего дня Париж о

них только и твердит, все думы лишь о пушках, даже батальоны буржуазных округов того же мнения; одно правительство о них забыло! А я вам говорю: не забыло оно вовсе. Если Тьер бросил эти четыре сотни орудий, то не затем лишь, чтобы сделать врагу подарок, а в первую очередь затем, чтобы их лишился народ! Пойми, простофиля, батальоны, продирающие сейчас глаза на Елисейских Полях, зажаты между двумя вражескими станами: впереди Бисмарк, позади, за спиной, Тьер с кинжалом в руке. При первом же выстреле начнется кровавая резня!

— Ну, это еще бабушка надвое сказала!

— Да ты посмотри на них, дурачок. Еще не пробил их час. Нынче это просто стадо баранов, которых гонят на бойню, а ведь завтра они могут стать непобедимым воинством Социальной революции!

— Решение ясно,— буркает Тренке.

— Вот и нет,— мягко возражает Предок.— Это вопрос власти, на Кордери должны тщательно взвесить все «за» и «против», а эту самую власть так просто, как полфунта чечевицы, не взвесишь! Постарайся представить себе этих людей, сидящих вокруг колченогого стола. И перед ними два великих деяния: залатать Францию, переделать Историю. Никогда эти парни не были ни министрами, ни генералами, ни сенаторами. Починить, скажем, стол — вот это они могут, и отлично могут. Возьмет Пенди* свой рубанок, оближет губы под усами, как у кота; он уже заранее предвкушает удовольствие...

— Ну, а... взвесить власть, Бенуа? — пылко спрашивает Флуранс.

Предок встает, обходит вокруг нашей пушки, чтобы согреть озябшие ноги. Отеческим жестом проводит по казенной части, оглядывает свою ладонь и отпечаток ее на инее. А сам насмешливо бормочет:

— Счастье еще, что Лармитон смастерил нам этот чехол.— С недовольной гримаской принюхивается к запаху кофе, сваренного в кастрюле. Он предпочел бы подогретое винцо.

— Я не совсем понял, что ты хотел сказать о тяжести власти...— нетерпеливо продолжает Флуранс, обращаясь к Предку.

— Либо одно, либо другое, золотой середины уже не существует, Гюстав. Власть или тюрьма. Социальная республика или рабство. Одним словом, «да» или «нет». Револю-

ционные вожди всегда разбивали себе лбы об эту проблему: быть впереди или позади народа. Вести его за собой или плестись за ним. Подчинять его себе или бояться его. У нас здесь больше ста тысяч лучших из лучших парижан, и они готовы оказать сопротивление врагу. Первое решение — любой ценой остаться их вожаками; я хочу сказать — вести их туда, куда они хотят идти. На смерть. Заранее зная, что ведешь их на бойню...

— Но это недопустимо!

— Нет, допустимо. Тысячи мучеников. Десяток уцелевших, которые станут легендарными героями и через двадцать лет, воспользовавшись новой возможностью, начнут все с нуля.

— А второе решение?

— Противостоять народу, кричать ему, что он-де заблуждается, круто повернуть и самим решительно идти вперед...

— И тогда что?

— Тогда или дворец, или каземат. Достаточно оглянуться через плечо, дабы убедиться, следует за тобой народ или нет.

Так же, как и Предок, стрелки, гарибальдийцы, братья Родюки, молодцы из Жанделя, Флуранс, Марта и я думали об этой группке людей с большими мозолистыми руками, которые сидят сейчас вокруг кухонного стола в огромном голом зале. От этой горстки людей зависит будущее Парижа.

— Вот когда мы узнаем, скажут они «да» или «нет»,— заявляет Предок,— вот тогда и я скажу вам, кто они — безрассудные демагоги или подлинные революционеры.

Рассвело, ветер переменился, возможно, проглянет солнышко. Дым от бивуачных костров гонит сейчас прямо на пушку «Братство», и с нее слезами стекает тающий иней.

— После этого «да» или «нет» на следующий же день мы узнаем, принадлежит ли власть Кордери, но вот это уже сам народ скажет.

* * *

Кордери сказала «нет».

В расположении батальонов разъезжают повозки. Они развозят патроны, захваченные во 2-м секторе. Национальные гвардейцы сбегаются со всех сторон, чтобы не опоздать к распределению. А потом долго еще рассматривают

пули, лежащие в углублении ладони, пересчитывают их, пробуют на зуб, прежде чем аккуратно уложить. А кто-нибудь непременно их снова вытащит и снова пересчитает, снова попробует, уложит еще аккуратнее. Наконец они начинают готовить оружие, затягивают песню. Ружья разбирают, смазывают. Примыкают штыки. По любому поводу хохочут, как дети.

Гюстав Флуранс и Жюль Валлес наблюдают за происходящим. Журналиста трудно сейчас узнать. После побега из тюрьмы Шерш-Миди он сбрил свою знаменитую бороду.

— Подумать только, что я должен объяснить им это,— бормотал он,— сказать, что означает это «нет», что нужно сдать оружие в арсенал, разойтись по домам как оплеванным, понурив башку и поджав хвост, сидеть за закрытыми ставнями, а пруссаки тем временем пройдут через заставы Парижа, через Триумфальную Арку!.. Эх, дьявол, ну как, как я заговорю об этом?

— Начни издалека, поговори сначала о Бисмарке в белом кирасирском мундире, о Париже в траурных покрывалах, о тучах, которые проходят, о звездах, которые остаются, об уланах, о «Марсельезе» Рюда... Сейчас, бедный мой Жюль, или никогда пришла пора пустить в ход оружие литературы!

Мы смотрели, как медленно удалялся Валлес. И сразу же услышали оглушительные приветствия: батальоны узнали знаменитого журналиста, главного редактора «Кри дю Пепль», да к тому же еще и капитана Национальной гвардии. И все эти патриоты устроили ему волнующий прием, они-то были убеждены, что великий Жюль Валлес явился сюда для того, чтобы встать во главе их отрядов и преградить путь пруссакам... Потом воцарилось молчание, и длилось оно долго, слишком долго.

Нам надо было волочить нашу пушку обратно в Бельвиль. За время нашего отсутствия арку починили да еще укрепили двумя согнутыми металлическими полосами, вмурованными в стену. Мы посовещались, впрочем, тут одного взгляда было достаточно: раз мы не пошли на пруссаков, зачем же нам ссориться с господином Валькло?

Поэтому мы доволокли пушку до артиллерийского парка на площади Фэт и поставили ее в ряд за другими орудиями. И она осталась там, грустная какая-то, словно цапля, выставленная на позор среди лягушек.

На обратном пути мы узнали, что гражданин Жюль Валлес будет выступать в мэрии XIX округа, на улице Бордо.

Мы с Мартой бросились к Бютт-Шомону.

— Я слышал, что многие из вас решились идти навстречу победителю и преградить ему путь.

Журналист обращался к национальным гвардейцам в самом разнопером обмундировании. В зал, где нельзя было продыхнуть от трубочного дыма и человеческих испарений, густо набились вперемешку бойцы различных батальонов.

— Матрос не в силах остановить прибой! Самоубийство не выход для сильных духом...

Все головы тянулись в сторону оратора. В этой необычайной тишине даже непристойный звук пищеварения ни у кого не вызывал смеха. Где беззлобная насмешка, где дерзкая бесцеремонность, еще недавно царившие в клубах?

— Не стреляйте завтра, республиканцы! Не стреляйте, потому что, возможно, именно этого и ждут! Больше того, припрячьте свои пули! Закройте свои двери, свои окна, уши свои закройте! Не стреляйте, социалисты! Пуля, пущенная из окна, попадет в плечо, а луч идеи испепеляет весь мир и возжигает ответную идею!

Осипший голос Валлеса временами прерывался. Он охрип, бегая целый день от пехотинцев к артиллеристам, уговаривая разрядить ружья, вложить штыки в чехлы, обезвредить многие тысячи патронов и снарядов; и при этом его единственным оружием были слова, одни только жалкие слова, которые сами приходили на язык, которые он повторял с утра, те самые слова, от которых загорались глаза людей, сломленных усталостью и бессонницей, те самые жеваные и пережеванные слова, от которых еще порой зажигался взгляд Валлеса.

— И не дай себя убить, трус — герой, раз впереди еще много труда, много славных дел, раз существует не только родина в беде, но и Революция, которая грядет!

С Бютт-Шомона я уходил не в очень-то веселом настроении духа. Зато Марта что-то напевала, подпрыгивала, убегала вперед, кружила меня, возвращалась с легким смешком. Я остерегался спрашивать ее о причинах такого веселья. Наконец, не сдержавшись, она бросилась мне на шею, как накануне, и воскликнула:

— Будущее за нами, Флоран!
— Это как сказать...
— А ты хоть смотрел на наших парней, когда они слушали Валлеса?
— Ну и что?
— А то, что они стрелять не будут...
— Как...

Она подхватила свои юбки, перепрыгивая через канаву.

— Ни разу даже из пистолета не выстрелят. Хочешь пари?

Три повозки с Американского рудника катили по улице Мехико. Но сейчас они были гружены не камнем, а людьми, полуштатскими-полувоенными. Белые блузы заправлены под красный шерстяной пояс, это каменотесы, пошедшие добровольцами в Национальную гвардию. Они не пели, не смеялись, даже не разговаривали. Просто дремали, и головы их мерно покачивались.

— И эти тоже?
— И эти тоже стрелять не будут.
— Пойми же, Марта, в таком городе, как Париж, всегда найдется хоть один сумасшедший...
— Не найдется. Сейчас не найдется. Уж поверь мне, Флоран, я-то их хорошо знаю...

Мы повернули к дому. Губы мои сами складывались в улыбку. На улице Ребваль у ворот литейной братьев Фрюшан кучкой стояли рабочие и о чем-то беседовали, сдвинув лбы. Тонкерель, Маркай, Удбин, Сенофр и другие кивнули нам, но не прервали разговор.

— Как это чудесно, Флоран!
— Что чудесно?
— То, что власть у наших, с Кордери.

Вдруг до нашего слуха донеслись какие-то странные механические вздохи. Марта сразу признала, откуда они — на улице Туртиль на лесопилке снова заработала паровая машина. Тут Марта окончательно развеселилась.

Среда, 1 марта.
Около полудня.

Ничто не шелохнется, ничто не зашумит в нашем тупике. Даже ветерок, налетающий с Куртиля, и тот пренебрежительно обходит нашу арку. В «Пляши Нога» застыли в неподвижности притихшие выпивохи. Никто не

проворчит, никто не вздохнет глубоко, с присвистом. Все навострили уши, будто могут расслышать отсюда, как пруссаки входят в Париж и триумфальным маршем шествуют по Елисейским Полям.

Кто-то прицепил обрывок черного крепа к красному флагу, который до сих пор еще держит статуя Непорочного Зачатья.

У стеклянных дверей виноторговца, привалившись плечом, стоит лейтенант Гифес и смотрит на голубовато-серое небо, подперев кулаком свою выхоленную бородку, недаром он каждый день аккуратно ее подравнивает. А позади сидят стрелки, поставив ружья между колен.

Во вчерашней газете — нынче утром газеты не вышли — некий журналист вещает: «Париж, этот град, факелоносец гуманитарных знаний, снова распят на кресте сынами Атиллы, принесшими ему все бедствия и страдания...» Эти и подобные патетические заклинания просто не задевают слуха таких, скажем, Бастико или Пливара; все это напыщенное славословие останавливается в пяти вершках от их ушей и вяло падает к их ногам. И однако ж эти идущие сомкнутым строем легионы, те, что Бастико и Пливар с трудом могут себе представить, маршируют прямо по их сердцам.

А газетчик продолжает, потому что его читателям, конечно же, требуется, чтобы им объяснили все это: «Обезоруженный город, на который нацелены дула его собственных орудий, повернутых против него врагом, город-мученик рассчитывал купить свое достоинство ценою золота, отданного по контрибуции королю Вильгельму. Париж верил, что будет избавлен от унижения, что он не увидит, как на его площадях и улицах встанут бивуаком солдаты, которые не сумели взять с бою хотя бы малую часть парижских укреплений».

Нестор Пунь говорит примерно то же самое, только на свой лад:

— Через культю у меня не жизнь стала, а чистый ад, а ведь грозой вроде не пахнет!

Хозяин «Пляши Нога» расстегивает ремни, придерживающие его деревяшку. Правой ноги хоть и нет, но она как бы продолжает существовать, ощутимее, чем прежде, единственно затем, чтобы его мучить. Тереза приносит костыли и удаляется, унося прочь деревяшку и палку. Она не ходит, она просто перемещается, вроде бы сколь-

зит по вате. Она, как черный призрак, стоящий на страже против любых беспорядков.

Внезапно загудел набат на колокольне Иоанна Крестителя. Весь кабачок встрепенулся.

«Часть города Парижа, внутри линии укреплений, включая район между Сеной, улицей Фобур-Сент-Онорэ и авеню Терн, будет занята немецкими войсками, чья численность не превысит тридцати тысяч человек... Правительство взывает к вашему патриотизму и к вашему благоразумию, в ваших руках судьба Парижа и судьба самой Франции...»

Пливар вытаскивает из патронташа точильный камень, плюет на него и начинает с преувеличенным вниманием точить свой штык. Движения у всех вялые, как спросонья, еле ворочаются языки. Ни одной фразы не обходится без слова «кровь».

— И еще кровь проливать будем,— бурчит Матирас,— и самую чистую прольем! Что ж, не поскупимся, только, извините, когда наш час пробьет, а не ваш!

Шиньон поддерживает нашего рыжебородого горниста:

— Всякий раз, как им подыхать, они народ на подмогу зовут. И он, дурачок, прется! Но сейчас конец, сейчас народ им ответит: сдыхайте себе на здоровье!

«Они» — это буржуа, или, точнее, буржуазия, но говорить «она» как-то неловко... К тому же буржуазию за глотку не возьмешь, а вот буржуа...

«Они» — это уже не пруссаки. Кош уточняет:

— Ничего, эти-то снова уйдут (*они всегда возвращаются!*) (**Когда на Парижской бирже падают акции, когда пролетариат начинает гневаться!**), а вот хозяин — на него вечно хребет гнешь, и еще не завтра от него отделаешься...

— Ну, это мы посмотрим! — отрезает Шиньон.

— Слишком уж народ мягкосердечный,— бормочет Бастико.

На колокольне Бельвиля, не умолкая, гудит набат.

Четверг, 2 марта.

Вчера Марта наконец-то вытащила меня. Ей, видите ли, охота поглядеть на пруссаков. Она никак не ощущает той грани, которая разделяет обычное любопытство и чувство человеческого достоинства. Однако, прежде чем

повернуть к западной части города, она захотела навестить нашу пушку.

Чудище по-прежнему стоит на Бютт-Шомоне. Тянет свою шею в кожаном ошейнике над двадцатью двумя тридцатифунтовыми орудиями старого образца, над тремя сорокафунтовыми, тоже старого образца, над одним коротконоствольным шестидесятифунтовым орудием, двумя гаубицами — а всего над пятьюдесятью двумя огненными жерлами, Марта их нарочно пересчитала. Кроме того, есть еще в Бельвиле штук пятнадцать митральез да шесть усовершенствованных орудий. Марта беседовала с тамошними караульными наигранно-простодушным тоном. Пятеро стрелков грелись у костра, где пылали здоровенные доски, по-видимому, дробины, похищенные в артиллерийском обозе.

— До сих пор на посту стоите! А ведь осада и война тю-тю, кончилась комедия! Занавес опущен! Разве пушку можно спереть, унести под блузой, а? Впрочем, кому она сейчас, зверина эдакая, нужна?

Сержант слушал не перебивая.

Денек выдался сухой, светлый, бодрящий.

* * *

С улицы Пуэбла мы направились прямым путем на площадь Согласия. На улице Вик-д'Азир все магазины были закрыты, кое-где из окон свисали черные флаги. Прохожих мало. Поставив на землю два пустых ведра, а сама уперев руки в боки, какая-то домашняя хозяйка вынуждена была признать неопровержимую очевидность: вода в колонке кончилась, но хозяйка ничуть не ворчала, напротив, посмеивалась над этим. На улице Гранж-о-Белль, у лазарета Сен-Луи, строился под знаменем, перехваченным траурным крепом, батальон национальных гвардейцев. На улице уксусоваров какой-то рассыльный кричал парочке стариков с пятого этажа, перегнувшихся через перила балкона:

— Говорят, генерал Винуа отвел свои войска Порядка на левый берег, чтобы избежать, так сказать, стычек!

— Значит, правый берег в руках Национальной гвардии! — рыкнул в ответ старичок.

По Большим бульварам идут в направлении к Мадлен люди, идут торопливо, потупя глаза: «Надо же хоть

на морды их посмотреть! Знать своего врага...» Детвора валит гурьбой с Монмартра и Батиньоля, эти никаких предлогов не выдумывают: «Пойдем пруссачье дразнить!»

В конце улицы Ройяль баррикада — чисто символическая: просто стоят колесо к колесу зарядные ящики, а их охраняет с десяток национальных гвардейцев. Они охотно пропускают всех, кроме тех, кто в форме. Впрочем, таких немного. А по ту сторону баррикады теснятся пруссаки — поглазеть на парижан. С дюжину баварских стрелков в бледно-голубых мундирах взгромоздились на крышу омнибуса, из которого выпрягли лошадей. А там, за ними, вздымаются статуи наших великих городов, задрапированные крепом,— издали они кажутся трепетными призраками.

Какой-то фотограф пристроил на треноге свой аппарат. Пруссаки принимают красивые позы, но национальные гвардейцы нарочно движутся, чтобы не получиться на снимке.

Однако Марте всего этого мало. Увидеть по-настоящему для Марты — это все почувствовать, перетрогать. Она тянет меня за собой на улицу Фобур-Сент-Онорэ, где проходят патрульные отряды африканских стрелков и проезжают конные жандармы; она несется как угорелая по улице Буасси-д'Англа, по улице Элизе, по улице Сирк прямо к барьеру и перелезает через него.

И сразу же уши наполняет тяжелый топот немецких сапог с железными подковами — железными, я сам видел! — подкованы, словно мулы какие-то; в нос бьет вонища пропотевшего кожаного снаряжения, грязной шерсти и кислой капусты, преющей в котелках, прямо под открытым небом, над кострами. Солдаты чумазые, зато офицеры щеголяют в новехоньких ярких мундирах, и у каждого в руке план города Парижа.

Пехотинец-вюртембержец в серо-зеленой выцветшей шинели с красными обшлагами и в каске с шишаком по-отечески нам улыбается. Ему лет сорок, он брюхатый, бородатый и курит фарфоровую трубку с крышечкой. Мы убегаем.

По сравнению с нашими национальными гвардейцами, вооруженными чем бог послал и одетыми почти что в тряпье, пруссаки кажутся чуть ли не щеголями. Ружья, штыки, сабли у всех новейшего образца; вся амуниция из настоящей хорошо ухоженной кожи; у них есть все,

что требуется, вплоть до самых мелочей; каждый поврежденный снаряд, каждая выпущенная из ружья пуля должны тут же заменяться, без проволочек. Эта армия зиждется на интендантской службе.

Мы пробираемся на площадь Этуаль, на оккупированную территорию. Улицы как вымерли, окна закрыты, двери забаррикадированы. С улицы Марбеф доносится пение фанфар. Музыканты в остроконечных касках дуют в огромные медные трубы, дуют во всю мощь своих легких среди этой пустыни. Один из музыкантов размахивает каким-то подобием лиры, обвитой лентами, где вместо струн вставлены поперечные пластинки, и пруссак ударяет по ним. На углу улицы Франциска I две-три дюжины воробьев, копающихся в свежем навозе, дружно вспархивают и быстро исчезают под крышами, негодующе чирикая. Чистые парижане!

— Не брезгают уланским дерьмом! — ворчит Марта.

Солдаты, стоящие на посту вокруг составленных в козлы ружей, без звука пропускают нас, как-то странно улыбаясь, оскорбительно-странно. На обратном пути, на улице Сирк, мы снова натолкнулись на того жирного вюртембержца, только сейчас он прочищал свою длиннющую трубку с крышечкой. Он тоже признал нас — надо сказать, что мы с Мартой представляем собой незабываемое зрелище. И тут внезапно меня осенила одна мысль, неприятно меня самого поразившая: никогда бы я не смог убить этого человека. Я вообразил себе, как приставляю к плечу ружье, упираясь локтем в бруствер, и этот дядечка, попавший мне на мушку, бежит, задыхается, с трудом переставляя свои подкованные сапоги...

— Кош прав. Наши настоящие враги вовсе не эти вот. Настоящие враги — за их спиной и за нашей тоже.

— Где уж тебе,— презрительно бросает Марта,— ты никогда никого не посмеешь убить!

* * *

Мы дотемна бродим вдоль всей границы, разделяющей нас и их. Пруссаки укладывались спать прямо на мостовую, положив голову вместо подушки на край тротуара, храпели, чесали себе спины чубуками. Процокал эскадрон уланов, на пиках, торчащих за их спиной, играли сине-белые отсветы. Саксонцы в голубых шинелях и те-

мношинельные баварские саперы увенчали себя лаврами, сорванными в саду Тюильри. В толпе любопытствующих парижан всегда находился знаток, без труда определявший по киверу егерей кирасирской гвардии Бисмарка и щеголявший этим.

Ночь, которую следовало бы вычеркнуть из истории града Парижа. Ни омнибусов, ни экипажей, ни прохожих, ни газовых фонарей. Только изредка короткая вспышка спички, когда какой-нибудь патриот раскуривал трубку, вырывала из мрака немотствующий батальон, разбивший бивуак где-нибудь на перекрестке.

На улице Тампль гражданин Бурсье по собственному почину закрыл свой винный погребок, и над входом развевались два скрещенных флага — красный и черный. Завсегдатаи погребка, все добрые патриоты и революционеры, расселись перед дверью на обочине тротуара. И вполголоса переговаривались в темноте.

Где-то ближе к Ратуше в пустынном переулке гулко отдается чеканный шаг патруля. Доносится отдаленный окрик часового: кто идет? Разговоры не вяжутся, газеты выходить не будут, пока в Париже пруссаки, так условились редакторы.

— Вот эта тишина и есть мир? — ворчит виноторговец Бурсье.— Посмотрим, что будет утром!

— Ночь какая-то сумасшедшая...— подхватывает в темноте чей-то голос.— Кажется, что все люди тебе братья.

А тем временем на площади Бастилии при свете факелов продолжался марш батальонов.

4 марта.

Ушли они чудесным утром, при новом, по-весеннему ласковом солнце, под небом, изнывающим от карканья. Парижские старожилы не запомнят такого разгула воронья. Можно подумать, что следом за пруссаками движутся стаи стервятников.

Люди вылезали из домов, чтобы не пропустить отхода немецких войск. Сбившаяся на тротуарах толпа осыпала их оскорблениями. Вокруг солдатни кружили тучи ребятишек, забрасывали уходящих камнями. Говорили, что какой-то драгун замахнулся на них саблей, что какой-то офицер в бешенстве выстрелил в Триумфальную Арку. Много о чем говорили, много о чем шумели в этом люд-

ском прибое, заливавшем берега, оставленные захватчиком; женщин, мол, высекли — и даже обрили наголо! — только за то, что они посмели улыбнуться врагу. С какой-то девицы патриоты грубо сорвали одежду, проволокли ее перед статуей Страсбурга и силком, совсем голехонькую, поставили на колени. Погода прекраснейшая. Еды уже никакой не осталось. Длинные полосы дыма подымаются прямо к голубому небу: это жгут солому, чтобы очистить площадь Этуаль. А в других местах льют на мостовую и тротуары карболку, чтобы продезинфицировать их.

«Кровью бы надо омыть парижские камни!» — эта фраза обежала весь оскверненный город.

Не знаю даже, какой у нас сейчас день.

Сидя у пушки «Братство» на Бютт-Шомоне, я снова взялся за карандаш и бумагу. Весеннее солнце легонько припекает мне спину. Марта бродит где-то поблизости, между тридцати- и шестидесятифунтовыми орудиями — от одного поста к другому. Флуранс приказал усилить охрану артиллерийского парка Бельвиля.

Тьер вручил командование Национальной гвардией генералу д'Орель де Паладину, первыми словами коего были: «Я твердо намерен решительно подавлять все, что может нарушить спокойствие». Новый командир никогда не скажет «Национальная гвардия», а только «вооруженная сволочь».

Ореля сместил Гамбетта, чтобы сдать Орлеан пруссакам.

Принимая командование, он собрал командиров батальонов: из трех сотен только двенадцать человек явились на зов (*точнее: тридцать из двухсот шестидесяти).* Другими словами, этот главнокомандующий ничем не командует. Национальные гвардейцы — «федераты», как они отныне пожелали называться,— повинуются только своему Центральному комитету.

Пятнадцатого февраля в зале Воксаль на улице Дуан восемнадцать округов высказались за то, чтобы Национальная гвардия оставалась под ружьем. Двадцать четвертого они утвердили Устав Федерации Национальной гвардии, вышедший из недр Общего собрания делегатов, отсюда и возник Центральный комитет.

Передо мной вдруг появилась Марта и, уперев руки в боки, с отвращением бросила:

— До чего же у тебя ножищи огромные!

Потом отправилась к посту на улице Мехико, куда спешно прискакал гонец. По всему предместью только и говорят, что о предстоящем разоружении Национальной гвардии. Пассалас видел, как к Лувру стягивают войска.

— Составили ружья в козлы вокруг садов, а сами разлеглись на каменных скамьях, на мостовой, под решетками и колоннадой. Курят, болтают...

— Видать, заскучали,— добавляет Жюль.— А парни как на подбор, здоровяки, в последней кампании их не очень-то потрепало. Там полка два, если не больше...

— А в поле сейчас работы хоть отбавляй,— буркает Матирас, искоса поглядывая на меня.

— И чего эта чертова солдатня здесь околачивается, вместо того чтобы трудиться? — подхватывает Бастико.

Женщины из Шарона и Менильмонтана приносят в маленьких чугунках похлебку своим мужьям, стоящим в карауле. За ними увязывается детвора. Все семейство рассаживается возле пушки, пока «фриштик»[1] разогревается на костре. Пользуясь случаем, хозяйки протирают тряпкой орудия своего квартала.

Весенняя теплынь и аромат похлебки вызывают во мне воспоминания о первых полевых работах в Рони. Вот точно так же садится полдничать землепашец, только у этих-то не ломит ни плечи, ни поясницу. Здесь болтают, болтают. Птиц тут, пожалуй, больше, чем в живых изгородях Авронского плато. Сплошное чириканье, споры, щелкают клювы, языки, челюсти.

— Как это у тебя, раззявина, руки не отвалятся от вечного бумагомаранья?

Снова Марта. И снова мимоходом. С каждым днем она все больше сатанеет, заставая меня за дневником. Раз я пишу, значит, не занимаюсь ею, значит, ускользаю из-под ее власти. В такие минуты она ведет себя как ревнивая любовница, глупо, по-ребячески злится. Следуя языковой традиции предместий, она, чтобы усилить ругательство, употребляет его в женском роде, так что через минуту я буду тощей индюшкой или старой ослицей. Она изде-

---

[1] Искаженное от Frühstück — завтрак *(нем.)*.

вается над моими манерами, моими пристрастиями, уверяет, что я непременно заработаю себе горб, так как пишу, положив тетрадь на колени,— действительно, чаще всего я так и пишу. А с тех пор как она обнаружила у меня на первой фаланге среднего пальца мозоль от карандаша, она все время делает какие-то загадочные намеки, а взгляд у нее мрачный.

Париж лежит у наших ног. Война кончилась, и предместье говорит о ней даже с тоской. Осада была столь огромным бедствием, что заслоняла все мелкие заботы.

— Мы голодали, мерзли, мы кровь свою отдавали, а что теперь нам, нищим, остается? За квартиру за три срока платить!

— Погорели теперь наши тридцать су! — добавляет Бастико.—Пусть Кровосос еще попляшет, пока мы за квартиру свои денежки выложим.

— Не из пальца же их высосать.

Все головы поворачиваются к Предку. Последние дни Флуранс совсем не показывается. Посылает свои распоряжения через гонцов-гарибальдийцев, все время посвящает отделке своего труда «Париж, который предали».

— Ну, из двух миллионов парижан наберется разве что тысяч сто способных платить за эти три срока! Пускай даже все судебные исполнители, все судьи... королевства хлопочут с утра до ночи, все равно миллион девятьсот тысяч человек на улицу не выкинешь!

Где-то варганят монархию... Монархистское большинство уже существует в этом Собрании провинциальной знати, собравшейся в Бордо. Бельвильцы готовы защищать Республику, но как? Прудонисты и интернационалисты ведут между собой бесконечные споры. Предок старается переубедить типографщика, но безуспешно:

— Какой бы интернационалист ты ни был, ты остаешься на позициях 89 года, держишься за «Единую и неделимую», которая централизует политическую власть и позволит некой ассамблее говорить от имени всей Франции, в то время как некоторые провинции станут протестовать против подобной автократии!

— Я же вам твержу: федеральная система.

— В федерации, Гифес, число — это еще не сила. Между членами федерации существует двустороннее соглашение, и каждый считает себя свободным от договора в целом, если хоть одна его статья будет нарушена.

Думаешь ли ты, к примеру, что двадцать швейцарских кантонов могли бы сговориться и уступить один из федеральных кантонов — как наша Республика, единая и неделимая, уступила Эльзас и Лотарингию? Федеральный кантон послал бы их всех подальше!

Марта слоняется вокруг меня и жужжит, как комар перед грозой:

— Ну ты, простофиля свинячья...

14 марта.

Вот уже неделя, как где-то пропадает наша смуглянка. Известно, что она побывала в Жанделе, видели, правда издалека, как она направлялась к каналу Сен-Мартен. А через два дня ей, тоже издали, помахал ручкой кто-то из наших... Семь дней, в течение которых я не мог физически написать ни строчки. Камни тупика жгли мне подошвы, Бельвиль мне осточертел. Решение было принято: вернусь в родимую колыбель, возьму курс на Рони. И вот вчера утром у Роменвильской заставы я наткнулся на Марту. Она ждала меня здесь.

Ни здравствуй, ни прощай — молчок. Даже не спросила, куда я иду. А я в свою очередь воздержался от искушения спросить, где она пропадала эту неделю. Взяв меня за руку, Марта зашагала рядом со мной в направлении Рони. После Верескового болота мы пошли прямо полями. Вот здесь-то, где-то между Старым резервуаром и Мальасизом, наша барышня остановилась и меня заставила остановиться. Я присел на откосе, ко всему на свете равнодушный. А она молча стояла передо мной.

Когда Марта вот так приглядывается ко мне, я вдруг начинаю видеть себя как бы со стороны, таким, каков я на самом деле: долговязый, худющий, без кровинки в лице. Я не знал, куда девать руки и ноги. Я сам себе не нравился, чувствовал себя нескладным. Опустив глаза, я увидел заплатки на коленях — это мама постаралась. Кончиками пальцев я ласково водил по маленьким аккуратным стежкам, по заштопанным дыркам. А вот у Марты юбка была рваная-прерваная, только в двух-трех местах она зашила ее наспех, через край.

— И руки-то у тебя как крюки!

Вот первые слова, которые я услышал от нее после недельной разлуки. И она со вздохом добавила:

— Прямо с души от тебя воротит! — Даже слезы у нее на глазах выступили.— И все в тебе мне противно: волосенки ни белокурые, ни темные, нос с аршин, рожа как у старой девки, буркалы льстивые, мясо дряблое, сутулый, как приказчик, ножищи чисто корабли какие...

Перечисляя мои достоинства, смуглянка все больше распалялась. Хлопала себя по бедрам сжатыми кулачками, топала ногой, даже как-то по-старушечьи поводила подбородком.

Наконец она замолчала. Застыла как каменная и вдруг выпалила:

— Флоран, вот глупо-то, но я больше без тебя не могу!

Этот крик души сорвал меня с места, бросил к ней. Мы стояли лицом к лицу, и тут меня дернуло шепнуть:

— А Флуранс? — за что тут же получил с маху две оплеухи и услышал дикий вопль:

— Стыда в тебе нет, как ты смеешь мне такое говорить? Нашел время!

Я легко приподнял ее с земли.

Потом Марта снова взяла меня за руку. Мы шагали, не разговаривая, даже не глядя друг на друга. К Рони мы вышли между редутом Монтрей и замком Монтро, где теперь расположились пруссаки; до нас долетали их песни и крики, а также пиршественный запах тушеной капусты. Баварцы-артиллеристы, стиравшие в ручейке исподнее, окликнули нас, мерзко гогоча.

— А знаешь, ноги у тебя вовсе уж не такие огромные.

— Значит, ты меня вроде бы любишь?

— Да разве я об этом толкую! — крикнула она.

Мы были уже в десяти шагах от дома, как вдруг Марта придержала меня за руку:

— Знаешь что, Флоран? Ты непременно начни трубку курить.

* * *

Мама так ласково встретила Марту, что у меня закралось подозрение, уж не оказывала ли ей наша смуглянка во время осады кое-какие услуги, о которых я и не подозревал. Даже Бижу сразу признал Марту и приветствовал ее на свой лад — все тыкался и тыкался своими атласными губами ей в шею, в ухо.

Марту уложили в постель Предка. Среди ночи она дважды вставала, высовывалась из окошка и подолгу смот-

рела в сторону Бельвиля. Все тянула мордашку к Парижу, словно бы принюхивалась к той точке горизонта, где лежала столица. Она напомнила мне нашего прежнего пса, славного нашего Тибера, который за несколько часов до первых раскатов грома срывался с цепи и вышибал дверь кухни, влетал в дом прятаться под кровать, хотя на небе не было еще ни облачка и даже старые крестьяне не ждали грозы.

— Слушай, Флоран, надо быстрее домой возвращаться!

— Куда это «домой»?

— В Бельвиль.

Понедельник, 20 марта 1871 года.

Коммуна!

Баррикада горделиво перерезает бельвильскую Гран-Рю, она тянется от арки до улицы Ренар. Тупик служит ей кулисами. Впереди ров. Позади амбразура со своей батареей — пушкой «Братство».

Вот для начала краткое изложение событий, происшедших во время нашего путешествия в Рони, во время нашего «свадебного путешествия», как с лукавым подмигиванием выразился Предок, прежде чем ввести меня в курс дела:

— В жизни не угадаешь, кто помог нам воздвигнуть в тупике баррикаду. Бальфис и Диссанвье! Так-то, сынок! Мясник и аптекарь. И это — самое существенное. Чего не смогли сделать ни вторжение врага, ни осада — я имею в виду объединение мелкой буржуазии с пролетариатом,— сделало, и весьма успешно сделало, это Собрание глупых провинциальных дворянчиков. Уж надо до такой нелепости дойти — заседать в Версале! Лишить Париж звания столицы!* Тут-то аптекарь и не выдержал — гордыня заговорила. Сразу же бросился выворачивать из мостовой булыжники, и, уж конечно, красотка госпожа Диссанвье не стала его удерживать. Бальфис, тот пришел к нам из менее романтических соображений — просто мясник испугался, что, ежели Париж перестал быть Парижем, дела пойдут хуже... А там, в Версале, тоже произошло объединение: легитимисты*, орлеанисты, бонапартисты... Никак они не могут договориться о том, кого выдвинуть в монархи, но зато все дружно ополчились против нас вслед за господином Тьером.

Каждое слово, каждый акт этого Собрания, перенесшего свои заседания из Бордо в Версаль из страха перед Парижем, били по столице, как пощечина. Когда Гамбетта, депутаты Эльзаса и Лотарингии и шесть избранников парижских предместий, в том числе Малон, Ранк, Рошфор, Тридон* и Пиа, подали в отставку в знак протеста, дворянчики проводили их криками: «Скатертью дорога!» Когда 8 марта Виктор Гюго выступил в защиту Гарибальди, его чуть ли не освистали, виконт де Лоржериль, помещик, завопил: «Собрание не желает слушать Виктора Гюго, потому что он говорит не по-французски!» Автор «Возмездия» тоже подал в отставку.*

Собрание в Версале — это Париж без правительства, Париж без муниципалитета.

Мадемуазель Орени, портниха от Фошеров, господин Клартмитье — магазин «Нувоте», Серрон, хозяин лесопилки, и большинство лавочников Бельвиля находятся по нашу сторону баррикады.

После 13 марта все векселя, выданные с 13 августа по 13 ноября, должны были быть оплачены с процентами в течение семи месяцев. Семь месяцев, в течение которых все дела были прекращены, дисконт невозможен, а банк еще не открыл своих отделений. А тут еще поистине страшная проблема — квартирная плата. Триста тысяч рабочих, ремесленников, надомников, мелких фабрикантов и торговцев, израсходовавших во время осады последние отложенные на черный день гроши и еще ничего не зарабатывавших, очутились во власти домохозяев и тем самым на грани полного разорения. За четыре дня, с 13 по 17 марта, было представлено ко взысканию сто пятьдесят тысяч векселей. После чего Собрание в Бордо отложило свои заседания до 23-го, дабы возобновить свою «работу» в Версале, «не опасаясь уличных мятежей», как обещал им, пожалуй, несколько опрометчиво, господин Тьер.

Наша баррикада — ух, какая грозная! На углу улиц Пиа и Ребваль целых три баррикады, и тоже с пушкой. Остальные еще достраивают — это на улицах Клавель, Мар, Ла-Виллет, на перекрестке улиц Дюпре, Лила и Буа, в начале улиц Криме, Солитер и Фэт,— тут возводят целый плацдарм с чудовищно огромной баррикадой. Ниже мощное заграждение перерезает Бельвильский буль-

вар при входе в предместье Тампль. В домах, с лавчонок до чердаков, ни души — все высыпали на улицу, на перекрестках народ кишмя кишит — настоящий улей. Повсюду смеются, поют, а на заре что-то загромыхало.

Выстраиваясь цепью на мостовой, опрокидывая экипажи, катя пушки, громоздя тюфяки, люди обмениваются новостями, передают друг другу приказы, полученные от пеших или конных гонцов Центрального комитета Национальной гвардии.

— Министр внутренних дел Пикар перепугался,— толкует слушателям Гифес.— Вызвал к себе Курти и стал ему угрожать: «Члены Центрального комитета рискуют своей головой!» А тот бедолага совсем перепугался и чуть ли не обещал отдать пушки — Комитет, понятно, лишил его полномочий.

Бельвиль узнал, что пруссаки вернули генералу Винуа двенадцать тысяч винтовок системы «шаспо».

— Подумайте только, «шаспо»! — бесится Пливар, злобно пиная ногой свое старенькое кремневое ружье.

Правительство отослало в провинцию двести двадцать тысяч обезоруженных, согласно капитуляции, человек — мобилей и подлежащих демобилизации, заменив их солдатами из Луарской и Северной армий.

Винуа закрыл шесть республиканских газет, в том числе «Кри дю Пепль», «Мо д'Ордр», «Пэр Дюшен» и «Ванжер». Тираж их достигал двухсот тысяч экземпляров.

* * *

На заре в субботу 18 марта шел мелкий ледяной дождик. Охраняющих орудия Бельвиля в артиллерийском парке Бютт-Шомона было всего тридцать. Тридцать продрогших, сломленных усталостью, полусонных. И вдруг они увидели, что со всех сторон окружены солдатами с примкнутыми штыками, сотнями солдат. Капитан крикнул:

— Мне приказано стрелять в тех, кто окажет сопротивление!

Среди них было шестеро стрелков Мильерского батальона, шестеро с улицы Пиа, шестеро с улицы Рампоно и лучшие люди из Дозорного: Янек, Фалль, Ферье, Чесно-

ков, Матирас, Бастико и еще несколько человек. Всего тридцать. И они подняли руки.

Пушка «Братство» была первой из захваченных войсками генерала Винуа. А эти тридцать стояли, подняв руки, и смотрели.

Я снова устроился в кресле мэрии XX округа. Всю ночь приводил в порядок поступавшие со всех сторон сведения и донесения. Одним из первых приказов, отданных командирами батальонов, был: «Захватывать гонцов!» С утра начались аресты конных вестовых. Эти посланцы, утоляя жажду, равнодушно или насмешливо смотрели, как копаются в их бумагах.

Накануне Париж уснул мирным сном после, пожалуй, даже веселого дня. В четверг по случаю того, что он пришелся на третью неделю великого поста, назло Винуа, запретившему все развлечения, устраивались балы и маскарады. На Бульварах пели, в кафе не было ни одного свободного столика. Университет объявил о возобновлении лекций, студенты записывались на апрельскую сессию. (*Открылась Биржа, и рента поднялась.*) На субботу 18 марта не было назначено ни одного собрания.

Кто-то из пехотинцев, расположившихся бивуаком в Люксембургском саду, обозлившись, что приходится спать в палатке, прямо в грязи, доверительно сообщил другу Валлеса (*речь идет о Максиме Вийоме**, *одном из трех редакторов «Пэр Дюшена»*): «Утром возьмутся за пушки!»

Центральный комитет не принял всерьез ни одно из этих предупреждений. Напротив, успокаивал батальоны: «В данный момент бояться нечего. Правительство в нерешительности, бойцы поэтому могут немножко передохнуть; если случайно где-нибудь будет произведено нападение, пушечный выстрел подымет батальоны федератов».

В ночь с пятницы на субботу упал густой туман, словно ватой окутавший Париж, поглощая шумы и шаги.

Четыре дивизии, которыми располагал Тьер, получили приказ: первая—контролировать квартал в районе площади Бастилии, вторая — защищать Ратушу, третья — занять Монмартр, а четвертая — Бельвиль. Этим частям вменялось в обязанность разоружить Национальную гвардию и первым делом, понятно, отобрать у нее пушки.

Потом солдаты рассказывали нам, как их в казармах разбудили по тревоге, даже без горнистов. Им не дали

положенной порции кофе. И вывели без провиантских мешков на «полицейскую акцию».

Да, на рассвете в субботу не особенно-то блестящее зрелище являл Бельвиль, когда я выглянул, дрожа от холода, из окошка.

Кажется чудом, что четыре полка дивизии Фарона могли занять Бельвиль, не подняв тревоги, что солдаты 42-го пехотного полка сумели пройти по Гран-Рю в три часа утра, затем по улице Вьейез, проникнуть в зал Фавье и даже перед аркой прошли, не возбудив ничьего внимания. Поистине добрые наши бельвильцы спали без просыпу!

Бельвиль еще мирно похрапывал, а у Янека, Фалля, Феррье, Чеснокова, Матираса и Бастико уже совсем затекли руки. Не скоро они позабудут эти минуты.

Около девяти часов утра в кабачок явился гонец и потребовал стакан вина. Дядюшка Пунь кликнул клич, и со всего тупика сбежались женщины.

— В сущности, я вроде бы ваш пленник,— заявил гонец.— Значит, вы, как положено, обязаны меня кормить-поить.

Был он совсем желторотый юнец, «урожденный бовезец», и свел он знакомство в Париже, во время осады, с какой-то барышней, вроде швейкой. Одного ему хочется — к себе домой ее забрать. Он вез в Ратушу послание от генерала Фарона, гласившее: «В Бельвиле мои солдаты — хозяева положения. Операция по захвату пушек на Бютт-Шомоне развивается успешно».

Кабачок углубился в изучение этого документа, как вдруг в низенькое зальце с криком ворвалась аптекарша, госпожа Диссанвье:

— Идите скорее! Марта пушки останавливает!

Наша смуглянка казалась еще меньше ростом, чем всегда. Подбоченившись, твердо стоя на расставленных ногах посередине мостовой, она одна бесстрашно вышла на защиту нашего орудия. А оно, пушка «Братство», нацеленная жерлом на Марту, на всех нас, казалась несуразно огромной, победительной — особенно сейчас, когда ее тащила четверка лошадей и сопровождал отряд всадников. Люди генерала Фарона растерянно переглядывались. И если вся эта сцена произошла как раз перед аркой, то получилось это отнюдь не случайно. Марта с расчетом выбрала именно этот плацдарм.

Всю ночь она где-то носилась и меня вытащила из постели еще до зари. И с тех пор шныряла между солдатами, национальными гвардейцами и просто зеваками. Она видела, как впрягали в пушку четверку лошадей, видела, как вывозят ее из парка Бютт-Шомон, и хоть бы слово сказала, хоть бы протестующе рукой махнула. А потом бегом опередила кортеж.

Теперь женщины Дозорного тоже окружили солдат, обращаясь к ним то с угрозой, то с ласковыми уговорами. Торопыга, Пружинный Чуб, братья Родюки, Маворели, детвора из Жанделя и несколько литейщиков от братьев Фрюшан уже начали выворачивать булыжники из мостовой. С помощью самих пассажиров Барден перевернул омнибус, перегородив Гран-Рю. Когда сержант наконец спохватился, проезд уже перекрыли и развернуться было негде. Стоя под аркой, гонец, «урожденный бовезец», держа стакан красного вина в одной руке и кусок сыра в другой, ржал с набитым ртом.

— Здорово это у тебя получилось! — сказал Пунь.— А почему ты от них удрал?

Желторотый уставился на деревянную ногу владельца кабачка и пробормотал одно только слово: «сев».

Лошади фыркали, били копытами, пушка «Братство» по-прежнему торчала на месте, но положение ничуть не улучшалось — наоборот. И никто даже представить себе не мог, чем все это кончится. Само собой, подоспел еще ломовик Пьеделу и привел с собой дюжину каменотесов с Американского рудника, а за ними — рабочие лесопильни Серрона во главе со старшим мастером и самим хозяином; но ведь это была всего горстка против войск, шедших на подмогу тем, кто похищал нашу пушку,— а шла рота 3-го батальона 120-го линейного полка с улицы Тампль, две роты 35-го полка, явившиеся с бульвара Ла-Виллет с целью окружить нас со стороны улицы Ребваль, в конце которой ждали своей очереди пехотинцы 42-го полка, прошедшие через улицы Курон и Пиа, замкнув таким образом кольцо. Солдаты с примкнутыми штыками беспокойно поглядывали не только на баррикаду, но и на фасады домов, где изо всех окон высовывались лица.

— Да деритесь вы, как дерутся в Сент-Антуанском предместье! — советовала матушка Канкуэн с пятого этажа, а сама наполовину высунула из окошка, как раз

над рыбной лавочкой, старый буфет, державшийся в неустойчивом и весьма грозном положении: две его ножки уже нависли над головами собравшихся.

— Эй, хоть предупредите заранее! — громко фыркнув, крикнула Флоретта, но, вместо того чтобы скрыться в своей лавчонке, направилась к нашей пленной пушке.

От души смеялась не одна только торговка рыбой, смеялись дружно и зычно, как раз в тот самый момент, когда в соответствии с простой логикой Бельвиль должен был вот-вот пасть, когда нас готовились задушить или поставить на колени.

Средоточием драмы была пушка «Братство», заблокированная между нашим тупиком и улицей Туртиль. Чудище в кожаном чехле, окруженное кавалеристами, тащила четверка здоровенных першеронов, а перед ними по-прежнему стояла, вся трепеща, Марта. За ее спиной вздымалась баррикада, а позади баррикады сверкало целое море штыков, над которыми то там, то здесь возвышался торс офицера на коне.

За пушкой «Братство» еще одно неоглядное море штыков уходило куда-то далеко, в глубь Бельвиля. На перекрестках улиц Ребваль и Пиа тоже начали разбирать булыжную мостовую, но войска успели подойти и без труда преодолели это еще не грозное препятствие. Зажав приклады под мышкой правой руки, пехота, выставив дула, держала нас на мушке; казалось, что два дующих в двух противоположных направлениях ветра гонят стальную зыбь с севера и с юга на наш тупик.

Солдаты не спешат. Пальцы их судорожно сжимают приклады. Острия штыков еле заметно колышутся. А тут еще набат, опять этот набат, звучащий всегда будто в первый раз... даже лошади и собаки никак не привыкнут к этому торопливому металлическому звону. Где-то далеко, а может быть, и не очень далеко, на перекрестках Менильмонтана, Шарона, на рудниках, в карьерах, на бойнях, у входа на кладбища бьют сбор барабаны — человеческое ухо не может сжиться и с этими глухими непрерывными раскатами. Кто-то бежит по улицам Жюльен-Лакруа и Рампоно и через каждые десять шагов выкрикивает только одно слово: «Измена»!

Какой-то человек вскакивает на отлитый у Фрюшанов ствол пушки и выпрямляется во весь рост, скрестив руки на груди, повернувшись к штыкам, глядящим с севера.

Ветер ерошит его каштановые кудри и бакенбарды. Стоя в этом положении, он кричит:

— Не пойдете же вы на смерть из-за этой смертоносной махины!

Мариаль!

По команде капитана, гарцующего на коне, четверо жандармов хватают бывшего слесаря. По тротуарам и фасадам прокатился глухой ропот. Мариаль опустил голову. И дал себя увести. Когда женщины приблизились к его стражам, наш пацифист безнадежно пожал плечами. Он, он, желавший предотвратить резню, он сам лишь ускорил ее приближение... Солдаты отвели глаза от стальных своих штыков и с любопытством приглядывались к все растущей группе разгневанных женщин, наседавших на четверку жандармов. У солдат вытянулись и посерели лица. Их прошибла испарина. Среди них были совсем еще юнцы, почти дети, чьи силы и воля были на пределе.

Капитан завопил:

— Задержать остальных вожаков! — Был он маленький, сухонький, уже немолодой — под пятьдесят, с усами и козлиной бородкой а-ля Трошю.

Лошадям надоедает стоять неподвижно, они тянут сначала вперед, потом снова отходят на полшага, и от этого пронзительно скрипят оси орудия. Унтер-офицеры сверлят глазами толпу женщин и детей. И не обнаруживают нигде революционных вожаков по той простой причине, что их здесь нет. Гифес и Ранвье, очевидно, на бульваре Серюрье, там, где, опомнившись после первой неожиданности, формируются наши батальоны. Где, какие вожаки? Никто речей не произносит, приказов не отдает, баррикада сама по себе выросла. Марта тоже к толпе с речами не обращалась. Да и что могла бы она сказать? «Это ваша собственная пушка, ее отлили из ваших бронзовых су...» И без того любой бельвилец думает именно так. Марта — вожак? Скорее уж символ, фигурка из просмоленного дерева на носу корабля, то бишь предместья. Женщинам, заглядывающим в наш тупик, соседки уж непременно покажут ее: «Это Марта». А если появится посетительница из далеких кварталов, к примеру из Сен-Мартена или Сент-Антуана, наши уточнят: «Та, что собирала грошики на пушку».

Унтер-офицеры, четверка жандармов, окруживших Мариаля, и ближайшие солдаты вопрошают глазами ка-

питана: ведь не было ни актов насилия, ни явного мятежа. Поначалу, правда, кое-кто чертыхнулся, но теперь просто идут разговоры. Женщины обхаживают солдат поодиночке. Втираются в шеренги, проскальзывают под штыками. Офицеры твердят: «Не позволяйте им приближаться!» А как не позволишь?! Капитан орет: «Оттесняйте их штыками!» Четверо или пятеро солдат, стоящих в первой шеренге, повинуются и чуть опускают вскинутые штыки. Бесконечно ласковым жестом Трусеттка осторожно берет двумя пальцами штык, острие которого только что было как раз на уровне ее груди. Глядя прямо в глаза юному пехотинцу, она, улыбаясь, приподнимает штык, и солдатик багровеет. Ружье принимает первоначальное положение — к плечу. Солдатик улыбается. Остальные ружья тоже поднимаются. Капитан поворачивает коня и отъезжает от своего пришедшего в расстройство воинства, в ряды которого просочились женщины и ребятишки.

Два ветерана-пехотинца, ворча, приветствуют его уход.

— Говорят, его Лангр зовут. Никто никогда прежде этого самого капитана Лангра и в глаза не видывал...

— Да мы их тут никого не знаем,— подхватывает его дружок.— Тут офицеры со всех полков собраны...

Селестина Толстуха распекает пяток рекрутов, а те совсем повесили носы:

— Берегитесь, сынки, хотят, чтобы вы по уши влезли в эту заваруху! Те, кто вас в спину тычет, желают Республике погибели, хотят сделать из нее подстилку для трона. Не дурите вы, мальчуганы, оденьте-ка лучше на ваши самопалы чепчики. Смотрите-ка сюда: эта пушечка, наша бронзовая мордашка, мы сами за нее заплатили; в кровь расшибались, последние свои гроши отдавали! И если мы хотим, чтобы она при нас осталась,— это чтобы Республику охранять, как добрая гражданка охраняет колыбель своего младенчика.

Вероника Диссанвье собрала особенно большую аудиторию:

— Мы стоим между вами и Национальной гвардией, так что не надо угроз! У Революции еще есть время, она уверена в своей победе. Значит, те, что затеют сражение, как раз и будут мятежниками, бунтарями, ведущими огонь по Республике...— Прекрасная аптекарша добавляет: — Взгляните на нас хорошенько! Нас оскорбляют, на нас направлены дула ваших ружей, нас хотят довести

до отчаяния... Не отводите же глаз, ведь это нас вам велено убивать! Нас всегда и везде убивают, на улице Транснонен, в Ла-Гийотьере*, — да что там! — убивают и под Шампиньи, Бюзанвалем, под Монтрету! Вы храбрые люди! Честью клянусь, те, что уверяют вас, будто мы жаждем ненависти, грабежей, смерти, нагло вам лгут! Ненависть, боже ты мой! Да мы всегда идем к тем, кто страдает, потому что мучимся их муками, и, если их раны кровоточат, мы вместе с ними истекаем кровью...

— До чего же складно говорит! — бормочет какой-то солдатик.

— Еще бы ей не говорить, у нее небось муж аптекарь! — не подумав, бросает Мари Родюк.

Фелиси Фаледони больно щиплет ее за бок и ворчит в свои усы:

— Лучше бы сказала о Гифесе, да говорить об этом не след!

Леокади Лармитон раздает ножи из сапожной мастерской. Женщины сразу же бросаются перерезать ремни упряжи. Работают они, скорчившись, ползая у солдатских сапог, а солдаты, даже не скрываясь, смотрят в другую сторону.

Явился Торопыга, он принес весть от Ранвье: около двадцати тысяч национальных гвардейцев из Монмартра, Батиньоля, Ла-Виллета и Бельвиля собираются на Внешних бульварах. Ранвье — Бледный — беспокоится о нашей судьбе.

— Выкрутимся, — отвечает Марта. — Тупик свою зверюгу не отдаст. Передай привет гражданину Ранвье и скажи ему: пусть ведет батальоны в те кварталы, где женщины слабее.

На углу улицы Жюльен-Лакруа булочница при подходе войск быстренько открывает ставни. И пока Жакмар и его подмастерья месят тесто и разжигают печь, она выставляет в витрине плакатик: «Храбрым солдатам Республики — бесплатно!»

Среди пехотинцев начинается волнение, унтер-офицеры стараются их образумить:

— Приказа не было!

— Рядов не покидать!

— Стоять на местах!

Какой-то бывалый вояка спрашивает Желторотого, хорошо ли угощают в «Пляши Нога». Наш «пленный»

затаскивает к Пуню целый изжаждавшийся отряд. В «Театральной таверне» не протолкнешься, и хозяйка выносит стаканы вина и кружки пива прямо на улицу. Флоретта тоже вышла на порог своей лавчонки с бутылью. Леокади Лармитон сбегала домой и принесла свой самый большой кофейник. К ней тянется не меньше двух десятков кружек. Ряды расстроились, роты разбредаются. То там, то здесь торчит еще солдат с ружьем на изготовку, он так и не сдвинулся с места и только испуганно озирается. У самых старых и у самых молодых глуповато-ошалелый вид, и именно к ним женщины обращаются особенно ласково:

— Значит, ты, старый дуралей, думал, что тут тебе Ватерлоо?

Дерновка наседает на деревенского верзилу:

— Пойдем ко мне, хорошенький блондинчик, я тут в двух шагах живу, потолкуем с тобой о Социальной республике!

Но Митральеза с негодованием отпихивает ее в сторону:

— Так, гражданка, политической работы не ведут!

Сыр, колбасы и круглые буханки хлеба тащат с задних дворов и из каморок, где сами-то хозяева редко едят досыта.

— «Солдаты, сыны народа, объединимся ради спасения Республики. Короли и императоры причинили нам немало зла...» — Это какой-то длинный капрал в очках читает вслух обступившим его, не знающим грамоты солдатам воззвание Центрального комитета Национальной гвардии, вывешенное неделю назад на воротах между фруктовой лавкой и лавчонкой, где торгуют требухой. Офицеры куда-то исчезли. Ординарец капитана рассказывает желающим его слушать:

— Капитан говорит, что просто голова идет кругом: у меня, говорит, приказ разгонять сборища, а тут вся улица — сплошное сборище, в котором буквально растворилась моя рота! Прямо не знаю, удастся ли мне самому живым выбраться!

Четверо жандармов куда-то исчезли и бросили беднягу Мариаля как он был, в наручниках.

Набатные колокола гудят по всему Парижу.

Вдруг в конце Гран-Рю, напротив баррикады, возникает какая-то странная процессия. Тройка верховых:

полковник, рядом с ним капитан Лангр и трубач, за ними митральеза в упряжке, с прислугой и зарядным ящиком. Полковник привстает в стременах и осматривается, выясняя ситуацию. Костлявый старик, затянутый в мундир, который, казалось, только что вытащили из гардероба, так и сверкал галунами и нашивками. Не опускаясь в седло, полковник бегло оглядывается на митральезу, потом снова устремляет взор на толпу женщин, детей и солдат, в беспорядке теснящихся вокруг пушки «Братство». Не только волнения, никаких чувств не выдавало это костистое лицо, застывшее, как маска, и оттого особенно заметным делался нервический тик, подергивавший подусники капитана Лангра.

По знаку полковника трубач проиграл сбор. И тут же солдаты бросились по местам, расхватали ружья, построились в ряды по обе стороны баррикады. По первому зову трубы солдаты вываливались из кабачков, расталкивали обступивших их женщин, забыв о недопитой бутылке и неоконченной беседе. Унтер-офицеры проверяли равнение, они снова обрели и грубый тон, и несговорчивый вид. Солдаты ждали в позиции «ружье к ноге». Смолкли песни, крики, смех. Затих тяжелый топот грубых башмаков, затихло звяканье разбираемых ружей. Над Гран-Рю, над всем Бельвилем нависла тишина.

Полковник, не сгибая спины, опустился в седло. Этот безжизненный череп по-прежнему не выражал ничего, даже начальнического удовлетворения. Разве что блеснули глаза, да их и не было видно в глубоких орбитах, под козырьком кепи, обшитого галуном. Вдруг он протявкал:

— Разогнать толпу!

И голос у него был какой-то сухой, словно постукивали костяшки скелета.

Штыки с пугающей поспешностью нагнулись. Теперь можно было отдать любой приказ. Опешив от этого чисто механического повиновения своих новых друзей, женщины и ребятишки отступили и сгрудились перед первой шеренгой рот, построенных по обе стороны баррикады, где красовалась во всей своей чудовищной спеси пушка «Братство», лишенная снарядов и прислуги.

Капитан Лангр одернул мундир, поправил кепи. Затем с подобострастным восхищением оглянулся на своего начальника, скомандовавшего:

— Митральезу к бою!

Артиллеристы растерянно переглядываются. Положенный маневр здесь просто невозможно выполнить: как повернешь упряжку на этой узкой улице, идущей под уклон, да еще забитой народом, даже на тротуар заехать нельзя, потому что и там полно людей. Этот миг нерешительности дорогого стоит.

— Ну? — нетерпеливо бросает полковник.

Командир орудия разводит руками, устало встряхивает головой.

— Эй, гражданин, еще вина своего не допил! — бросает Трусеттка и подносит кружку долговязому капралу в очках, который всего пять минут назад читал вслух своим солдатам воззвание Центрального комитета.

— Не подпускайте ее! — блеет полковник.

Крупнотелая блондинка отвечает взрывом такого звонкого, заразительного хохота, что солдаты невольно улыбаются.

А тут еще мелкий, но упорный дождичек вновь начинает кропить косынки и кепи, плечи штатских и военных. Шеренги снова чуть расстраиваются, солдаты глазеют на хмурое небо. Бретонцы переглядываются с Зоэ.

— Ну, что там митральеза? — орет полковник.

Лошадей выпрягли, но орудие по-прежнему заклинено поперек мостовой. Впрочем, артиллеристы без особого усердия заканчивают свой маневр, без злобы отвечают женщинам, приступающим к ним с разговорами. Очкастый капрал потягивает свое винцо, а подружка Гифеса, держа за руку какого-то сержанта, вполголоса беседует с ним. Бельвиль снова незаметно просочился в стройные шеренги солдат. Молчание нарушено, опять, хоть и не так громко, начинаются разговоры.

Полковник привстает в стременах, переглядывается с капитаном Лангром, взгляд которого словно бы говорит: «Я же вас предупреждал...»

И полковник орет:

— Оттеснить женщин! Обороняйтесь штыками!

Солдаты даже бровью не ведут. Бывалый вояка и престарелая девица Орени смотрят прямо друг другу в глаза, да не только они, но и сержант и Вероника, очкастый капрал и Трусеттка, сержант-каптенармус и Селестина Толстуха, ординарец капитана Лангра и Сидони Дюран, толстый капрал, который уже не балагурит,

и Флоретта, бретонцы и Зоэ и еще многие-многие пехотинцы и многие-многие бельвильцы.

Митральеза все еще не приведена в боевую готовность, никогда еще артиллеристы не действовали так нерасторопно. Дождь по-прежнему барабанит по спинам, и люди невольно сутулятся.

Полковник выхватывает саблю, вздымает ее вверх, потом опускает и командует почти с рыданием в голосе:

— Стреляйте, стреляйте в воздух, только стреляйте! Хоть раз выстрелите, чтобы поддержать честь французской армии!

Несколько ружей вздрагивают в солдатских руках.

Высокий сержант успокоительно кладет ладонь на плечо Вероники Диссанвье и гремит на всю округу:

— Штыки в землю!

Сначала его команду выполняют лишь стоящие рядом солдаты, а потом и в задних рядах приклады ружей взлетают вверх.

— Да здравствует пехота!

— Долой Винуа!

— Долой Тьера!

Эти выкрики, сначала разрозненные, подхватывают бельвильцы, а потом и солдаты. По всему предместью ружья повернуты теперь штыками к земле. И вместо штыков вверх торчат приклады.

Сопровождаемый капитаном Лангром и трубачом, полковник поворачивает коня и скачет галопом мимо уже разбредающихся рот.

* * *

После поспешного отъезда командиров кое-кто из солдат смутился духом, зато остальные свободно вздохнули. Их снова потащили в кабачки и в лавчонки. А им одного хочется: обсохнуть, согреться...

— С самой полуночи нас с места на место перегоняли, велели чего-то ждать, да еще под таким дождем...

— Здесь ждали, пока войска подтянутся, а там, на холмах, упряжек ждали...

— Посчитай-ка, четверка коняг требуется для десятифунтового орудия, шестерка — для тридцатифунтового, значит, подавай более двух сотен клячуг! Да на что начальство, в сущности, рассчитывало? Увезти сна-

чала одну пушку, потом другую, а предместье так ничего и не заметит?

Ради очистки совести солдаты то и дело ссылаются на нерадивых генералов, твердят:

— Вечно нет того, что надо, где надо и когда надо; так и под Шампиньи было, и под Бурже...

— Народу лошади не требуются, он сам свои пушки куда хошь дотащит,— отвечает Бельвиль.

Дождь перестал. Чувствуется, что вот-вот проглянет солнышко. Леокадия Ланмитон, Фелиси Фаледони, Мари Родюк и Селестина Толстуха заботливо обтирают пушку «Братство». На опустевшей Гран-Рю поблескивает булыжник. А чуть подальше брошенная поперек улицы митральеза все еще роняет после дождя крупные капли, словно плачет.

На перекрестке улицы Пуэбла каменотесы остановили гонца, посланного генеральным штабом, и отвели его в «Пляши Нога». Вот какие сообщения вез он правительству от генерала Фарона:

«Наше продвижение в сторону Ла-Виллет остановлено».

«В Менильмонтане воздвигнуты баррикады».

«Войска в Бельвиле братаются с народом».

«Около десятка наших собственных орудий попало в руки мятежников».

«Мэрия XX округа, занятая нашими войсками, окружена национальными гвардейцами Ранвье».

«В одиннадцать часов генерал Фарон решил покинуть Бельвиль».

Каждое из этих сообщений, прочитанных вслух, встречалось оглушительным ревом в низеньком зале «Пляши Нога».

Затем послание аккуратно сложили, а гонцу после хорошего стаканчика вина наказали выполнить свой долг, то есть срочно доставить донесение тому, кому оно предназначается.

Вокруг митральезы шли горячие споры. Командир орудия не так уж рвался стрелять по толпе, но зато категорически отказался передать ее баррикаде, тогда получилась бы целая батарея — их митральеза и наша пушка «Братство». В этом его поддержали и артиллеристы. Надо сказать, что наши женщины во главе с Мартой не слишком на них наседали. Повсюду, где собирались группками по шесть-семь человек штатских и солдат,

споров не возникало. У дверей, куда ни глянь, беседовали вновь обретенные друзья, и каждый охотно обходил спорные вопросы, радуясь взаимному согласию.

— Мы все патриоты!

— Тьер и Бисмарк заодно действуют!

— Любой богом забытый городишко и тот выбирает свою коммуну, а Париж, видите ли, не может!

— Тьеру гражданская война нужна!

— Чтобы укротить чернь!

— Чтобы в Тюильри Орлеанский дом воцарился!

— Чтобы задушить Республику!

— Чтобы прижать рабочего, ведь это ему придется выплачивать пруссакам проклятую контрибуцию!

— И они еще хотели заставить вас в народ стрелять!

— ...Да, да... нас... В народ! У-у, сволочи!

От булыжника поднимается парок, а бельвильская Гран-Рю еле слышно вздыхает из самых своих глубин наподобие опары, подходящей в квашне; и это брожение народа проникло в самые недра армии, армии, которая сливалась со своим народом.

* * *

Полковнику Леспио удалось спасти свои собственные пушки только потому, что он дал письменное обязательство прекратить все враждебные действия. 203-й батальон Национальной гвардии, к которому присоединились пехотинцы, кавалеристы и артиллеристы, отказавшиеся воевать против народа, занимает подступы к мэрии XX округа, хозяином которой становится Ранвье, предъявивший ультиматум генералу Фарону. Но даже после заключения соглашения отход войск совершается не без труда. Полку, отходящему по улице Рампар, преградила путь баррикада, воздвигнутая на Фландрской улице. После переговоров их пропустили, но чуть подальше, на другой улице, восставшие стали преследовать бегущие войска.

У нас теперь есть собственные гонцы, их рассылает Центральный комитет Национальной гвардии.

— На улице Бафруа,— рассказывает, задыхаясь, подмастерье краснодеревца,— вот крику, вот ору! Члены Центрального комитета заперлись вдесятером в самой задней комнате, чтобы им не мешали работать!

Делегаты обратились с призывом ко всем гражданам

доброй воли, желающим пойти в гонцы и на разведывательную службу.

Подмастерье, выпучив глаза, любуется нашим замечательным укреплением. Центральный комитет поручил ему подбивать граждан на постройку баррикад, а также выяснить расположение наших батальонов.

Монмартр был в руках Национальной гвардии. Варлен собирал вооруженные силы Батиньоля. Восточные батальоны атаковали казармы на Рейи и Шато-д'О под командованием Брюнеля и Лисбонна. Повсюду батальоны ждали приказов Центрального комитета.*

Другой гонец, мальчишка-разносчик, сообщает нам:

— Центральный комитет окружает правительство с правого и с левого берега. Всякое сопротивление невозможно. Бельвильцам идти к Ратуше!

* * *

— На сей раз, кажется, удалось!

Стрелки Дозорного по улице Тампль направляются к Ратуше.

В конце улицы нас останавливает Ранвье, и мы сразу же начинаем выворачивать булыжники. Впереди — площадь, пустынная, безмолвная.

Тем временем Брюнель собирает своих солдат на улице Риволи.

— Весь этот район в наших руках,— заявляет он.— К префектуре идет Дюваль со стрелками V и XIII округов...

Бледному поручено держать всю ночь улицу Тампль на военном положении.

Этот приказ привез не более и не менее как сам Жюль Валлес:

— Брюнель мне сказал: я был солдатом и я за то, чтобы казарменной дисциплине противостояла дисциплина мятежа. Подите-ка разыщите Ранвье, ведь он ваш лучший друг, и передайте ему по-дружески эти мои соображения. Сам я никак не могу это сделать, иначе получится, будто я желаю разыгрывать роль начальника.

Журналист чуточку обижен: он сбрил бороду и бдительные пикетчики в таком виде не сразу признают его.

— Здесь Валлес!

Со всех концов баррикады сбегаются федераты. Редактор «Кри дю Пепль» на седьмом небе.

— Я был присужден к тюремному заключению именно как человек Ла-Виллета и Бельвиля!

Он носится вокруг баррикады, подпрыгивая на своих коротеньких ножках, кого-то хлопает по плечу, пожимает чьи-то руки.(Так Валлес мысленно набрасывал черновики своих статей): «Бельвиль... это многажды оклеветанное предместье, — неизменно хранил спокойствие и великолепную выдержку! Совершила ли Революция в этих проклятых кварталах я не говорю преступление, ошибку, а хотя бы даже одно насильственное действие? Граждане 141-го и 204-го батальонов, я взываю к вам как к людям чести! И пусть это знает весь Париж, пусть вся Франция знает! Этот самый Бельвиль, на который они обрушивали всю злобу, всю ненависть, даже желали в душе, чтобы его смели с лица земли прусские пушки,— Бельвиль — такой край, где не любят расставаться с ружьем, но это честный край, где трудятся не щадя сил, когда есть работа, и где справедливо гневаются, когда работы нет или когда переполняется чаша бесчестия...»

— Значит, гражданин Валлес, «Кри» снова будет выходить? — весело окликают журналиста, обходящего баррикады.

Федераты, бывшие в полдень на площади Бастилии, рассказывают о похоронах Шарля Гюго, сына поэта.

— Его убило?

— Нет. Во время осады у него что-то с легкими сделалось. Да и сердце пошаливало. Умер сразу от апоплексического удара. А было ему сорок пять. Я их семью немножко знаю. Я ведь привратник с Вогезской площади.

Федераты расположились закусить, как вдруг всю огромную площадь вокруг Июльской колонны придавило тягостное молчание: за катафалком шел в полном одиночестве старец, ветер развевал его седую гриву... Виктор Гюго провожал своего сына Шарля в последний путь на кладбище Пэр-Лашез.

— А ведь он других идей, чем мы, придерживается,— бормочет Гифес.

— Зато он против Империи был,— возражает Кош.

— Да, во времена Империи.

— Самое время против нее быть,— гнет свое прудонист.

— Так-то так, только он побаивается Интернационала.

Федераты стихийно образовали траурный эскорт и, опустив ружья дулом вниз, проводили катафалк до кладбища. Отовсюду стекались люди и присоединялись к кортежу; они шли за гробом на почтительном расстоянии от старца, уважая его одинокую скорбь. По всему пути следования траурной процессии солдаты брали на караул и склоняли знамена. Барабаны били в поход, пели горны...

— Слишком уж много чести,— ворчит Гифес.

— Как ни верти, это всего лишь несчастный отец,— тихо замечает привратник с Вогезской площади.

— Чего еще? — орет Шиньон.— Это все же Виктор Гюго, мало вам, что ли!

Пока в самом большом котле, какой только удалось отыскать в кабачке, варится картошка, каждый старается осознать, что сильнее всего поразило его в этот день.

— Фарон привел своих моряков и приказал им сорвать красное знамя с Колонны. И как только наши успели водрузить его обратно?!

— Забредешь в закоулки потемнее, а там полицейских кепи навалом. Полицейские от них втихомолку отделываются, поди отличи их сейчас от национальных гвардейцев!

— Ой, теперь все понятно! — орет Бастико.— Вот, значит, почему у меня кепи сперли. Полицейский постарался.

Пехотинцы 120-го полка со смехом вспоминают отдельные фразы из воззвания Тьера, которое по его приказу расклеили нынче ночью, а они его собственноручно срывали:

«...Пусть добрые граждане отмежевываются от дурных, пусть помогают силам порядка...»

«...Виновные предстанут перед судом!»

«...Необходимо любой ценой немедленно восстановить нерушимый порядок...»

Солдаты нарочно подчеркивают южный акцент и принимают напыщенные позы.

«...Правительство Республики хочет покончить с мятежным комитетом, члены которого — люди, почти все неизвестные населению столицы,— являются сторонниками коммунистической доктрины, они отдадут Париж на поток и разграбление!»

А другую прокламацию, вызывающую еще более неистовый хохот, генерал д'Орель де Паладин поторопился отпечатать нынче утром — пожалуй, слишком поторопился: «Монмартрский холм взят и занят нашими войсками, равно как Бютт-Шомон и Бельвиль. Пушки... находятся в руках правительства...»

От огромного котла поднимается приятный аромат, щекочущий нутро,— это мясник с улицы Платр кинул в варево здоровенный кусок сала. Над камином висит в рамочке старая литография Домье, появившаяся в «Шаривари»: Франция — Прометей, и Орел — Коршун. Пятна сажи придают ей особую выразительность. Присев на край барабана, Ранвье ведет разговор с Эдом, другом Бланки. Глядишь на этот высокий лоб, кроткие глаза, на эту недлинную, аккуратно подстриженную бородку, на эти огромные, неестественно пышные усы, и никогда не скажешь, что перед тобой профессиональный заговорщик, один из организаторов нападения на казармы Ла-Виллета. Всего два часа назад, даже, пожалуй, меньше, он с горсткой людей ходил штурмом на казармы Наполеона... Извечный смертник и Бледный делятся невеселыми мыслями о последствиях монмартрских расстрелов. Заметив меня, Габриэль Ранвье спрашивает:

— Предка поблизости нет?

— Нет. По-моему, он с Флурансом.

Кое-кто из стрелков, желая убить время, режется в карты.

* * *

Звон и грохот в мгновение ока очищают зал кабачка на улице Тампль. Это прикатила из Бельвиля наша пушка «Братство», у нее великолепная упряжка, зарядный ящик. Тащат ее шестериком рослые битюги. На месте переднего ездового в роли главного пушкаря — Марта. Облепив пушку со всех сторон — на стволе, на зарядном ящике, цепляясь за все, за что можно уцепиться,— висит прислуга: Пружинный Чуб, Торопыга, Киска, Адель, Филибер, Зоэ, Ортанс Бальфис — дочка мясника! — Барден с Пробочкой.

Восседая на коне — бретонском битюге,— Марта обводит рукой свой кортеж и показывает мне язык.

— Марш с пушки! — командует она.— Выдвинуть пушку «Братство» на огневую позицию!

Она поднимается в седле и объявляет федератам и любопытствующим, столпившимся вокруг:

— Сейчас попробуем нашу рыластую на Ратуше!

Гифес хлопает Марту по плечу:

— К столу, дети Коммуны...

Огромнейший котел слишком мал для того, чтобы насытить все эти бурчащие с голодухи животы, но распределение пищи происходит совсем не так, как обычно в предместье.

— Хватит, хватит...

— Мне что-то сегодня есть неохота.

— Лучше дайте лишнюю картофелину вон тому сопляку.

Марта ничего не желает слушать, велит распрячь лошадей, повернуть пушку. И вот наше орудие наведено на Ратушу.

— А... а... она не взорвется? — спрашивает Марта у Гифеса, обеими руками, точно куклу, прижимая к груди первый снаряд.

— Не думаю,— неуверенно отвечает типографщик.

— Ну и ладно! А что будет, если окажется, что бомба слишком мала?

— Может не долететь до Ратуши, и все тут.

Федераты и зеваки только улыбаются, наблюдая за детворой, готовящей свое орудие к первому выстрелу.

— В конце концов, такая же пушка, как другие, а нам бог знает чего о ней наговорили,— бормочет кое-кто.

Ночь наполнена радостью, каждый ощущает сладостный трепет веры, которую дает сила; улица Тампль ворчит и потягивается гибко и мягко, как могучий тигр, когда он, весь подобравшись, не отводит глаз от добычи. Пушка «Братство» только часть, жерло длинного, очень длинного орудия, которое тянется до самого Бельвиля, до Бютт-Шомона, и ее бронзовый ствол — улица, а душа ее — народ.

— В самую середину цельтесь! — вопит Марта.— Туда, между воротами, где часы!

Пружинный Чуб, забив заряд, откладывает в сторону прибойник. Марта вставляет снаряд, он скользит сам по себе, увлекаемый собственным весом, а в стволе что-то свистит.

— А ну, ребятишки, не валяйте дурака! — кричит Ранвье.

Люди, стоящие на баррикаде, вскрикивают: красное знамя взвивается над штаб-квартирой власти.

— Опоздали...— бормочет Марта и прижимается лбом к стволу пушки.

* * *

— Завтра будет вёдро,— заявил Желторотый, изучая с балкона Ратуши парижское небо.

— Ты это из-за знамени говоришь?

— Да нет. Я-то без заковык говорю.

В коридорах, на лестницах приходится перешагивать через сморенных сном в разных позах федератов. Те, кто здесь не в первый раз, в один голос твердят:

— Напоминает тридцать первое октября...

— Н-да, но это тебе не тридцать первое!

«Вожаки» сходились со всех четырех сторон Парижа, «великие люди» квартала, которые даже не знают друг друга, они наспех знакомятся, потом рассказывают, «как это все произошло» в их «краю». Например, некий гражданин по фамилии Аллеман* проснулся от кошмара: он увидел во сне, что Тьер режет патриотов.

— Вскакиваю с постели, открываю окно... на набережных полно солдат. Пантеон занят! Наспех одеваюсь, хватаю ружье, скатываюсь с четвертого этажа!.. Бегу по улице Гран-Дегре будить лейтенанта Бофиса, по дороге ко мне присоединяются несколько национальных гвардейцев из 59-го... Оттуда мчусь к Журду* на улицу Сен-Виктор. Он спит... Граждане, все на Сен-Марсель!

Пикеты гвардейцев с горечью обсуждали расстрел двух генералов. Кош не одобрял эту расправу.

— Надо поскорее да погромче кричать, что Коммуна тут ни при чем, а то многие граждане Парижа, что сейчас с нами, будут против нас.

— Генералы сами первые убийцы,— отрезал Шиньон.— Тома и Леконт были из самых худших, пусть катятся ко всем чертям!

— Оба тела были сплошь изрешечены пулями: чуть ли не дрались, чтобы в них стрельнуть. Говорят даже, что женщины мочились на них; что ж, по-твоему, это тоже к чести народа? — гнул свое прудонист.

— Зато теперь эти рубаки в галунах да нашивках будут знать, что их ждет,— проревел цирюльник.

Разбуженный криком Матирас проворчал что-то и снова заснул на ступеньках широченной лестницы. Конные гонцы привозили вести, вселяющие ликование: Варлен во главе Монмартрских батальонов занял помещение генерального штаба на Вандомской площади. Дюваль с национальными гвардейцами XIII округа расположился в полицейской префектуре. Тьер со своими министрами дал тягу. Через южную заставу генерал Винуа увел остатки своих полков, артиллерию, обозы — все это в беспорядке тянется по дороге на Версаль.

Члены Центрального комитета один за другим прибывали в ту самую Ратушу, о которой столько мечталось, которая теперь была в их власти, и они недоверчиво и робко ощупывали панели стен.

Набат стих. Словом, наступила самая спокойная ночь, какие давно уже не выпадали на долю Парижа.

Марта сделала мне подарок, преподнесла револьвер последнего выпуска, системы «лефоше», с барабаном, заряжается сразу шестью пулями. Лучших не бывает.

* * *

В это утро Марта трижды врывалась в слесарную и упрекала меня, что я зря теряю время «на корябанье», слава богу, она еще не знает, что я допоздна разбирал и дополнял свои вчерашние записи.

Весь день сияло солнце, настоящее республиканское. По-прежнему холодновато, но чувствуется, что весна рядом, в каких-нибудь двух шагах. В праздничном Париже, Париже без омнибусов расхаживали люди, посреди мостовой маршировали батальоны. Повсюду пели Марсельезу, «Песнь отправления», и в эту самую минуту, когда я пишу, в кабачке резервист Кош во весь голос выводит припев к «Тур де Франс».

Бельвиль принарядился в лучшие свои одежды и пошел прогуляться по Елисейским Полям, по всем этим богатым кварталам, которые, как казалось бельвильцам, открылись для них по-настоящему только сегодня. Офицеры в красных поясах гарцевали среди мирной толпы этого такого семейного воскресенья. Каждый мог наслаждаться праздничным обедом: мораторий на квартирную плату будет продлен, тридцать су выплачены... Было объявлено, что завтра снова откроются все магазины и восемь театров.

Все дружно признавали: несмотря на отсутствие полиции, в Париже царил идеальный порядок.

Этим воскресным утром Париж проснулся как в горячке. Расклейка новых прокламаций собирала повсюду веселые толпы. Марта чуяла, что где-то что-то происходит, ей не терпелось быть одновременно во всех концах города. А вот мне — нет. И без того происходило слишком много всего, все шло слишком быстро. Мне просто необходимо было немножко перевести дух, присесть на корточки в углу у какой-нибудь стены, чтобы пощупать грязь мостовой, чтобы втянуть ноздрями воздух — так крестьянин принюхивается к освобожденной от снега пашне. Я цепляюсь за вещи, особенно же за две, с которыми, по-моему, нигде и никогда не пропаду, и обе эти вещи краденые — «План Парижа при Наполеоне III» и револьвер системы «лефоше».

Двадцать тысяч национальных гвардейцев-федератов расположились лагерем возле Ратуши, составили ружья в козлы, нацепили на острия штыков круглые буханки хлеба. Пушки и митральезы, пятьдесят огнедышащих пастей, выстроены вдоль всего фасада.

Зоэ сшила себе широченные шаровары. Лармитон приделал лямки к бочонку, пожертвованному Пунем. Бывшая горничная, родом из Пэмполя, Зоэ не выражает ни малейшего желания возвратиться в услужение к адвокату, который небось уже теперь в Версале; она решила стать маркитанткой у стрелков Дозорного. Бастико вместо украденного у него кепи надел каскетку, как у апашей, к которой его супруга Элоиза пришила алую полоску. Фелиси Фаледони ужасно жалеет об отъезде моей мамы, которая, по ее словам, здорово ей помогала. У позументщицы сотни заказов, и все срочные, ее окошко в глубине тупика светится всю ночь. Дело в том, что наши стрелки стали «федератами»! И никто не желает показываться на люди без галунов, бахромы, петлиц, лент и кисточек; все они бьются за воинский шик, главное — кто кого переплюнет; и скрипят себе коклюшки до утра.

Мари Родюк заявляет во всеуслышание:

— Завтра, в понедельник, начинаю большую стирку!

— Я тоже,— восклицает Селестина Толстуха.

— Значит, переменим дни? — добавляет Бландина Пливар.

— Теперь мы небось люди свободные, разве не так! — подхватывает Клеманс Фалль.

Наши кумушки не перестают поздравлять друг друга со свободой.

Кое-кто из солдат осел в предместье, кое-кто вернулся сюда. Их узнавали издали по светлым шинелям. Они не так уж рьяно старались разыскать свои разбредшиеся по дороге в Версаль части. В Бельвиле они прижились, а Революция их уже не пугает. Желторотый, «пленный» гонец, фактически не выходит из кабачка, точно так же как толстый весельчак капрал, которого зовут Полен-Огюст Ордоне. Оба они без церемоний садятся с нами за стол в «Пляши Нога». Во время осады это как-то само собой вошло в привычку.

— Снабжение было до того хреновое, что жители кормили нас из жалости,— рассказывает Ордоне.— Делились с нами последним куском хлеба...

Даже простая похлебка и та приобрела теперь совсем иной вкус. Словно бы наступила весна трапез. Практически у нас в тупике никто дома больше не готовит: соседи ходят перекусить друг к другу или же в «Пляши Нога», каждый приносит с собой что найдется, кто незавидный кусок мяса, кто несколько картофелин, и все это бросается в общий котел ресторатора. А на дополнительные расходы устраивают сборы, обходят с кепи посетителей.

Самое главное — быть вместе.

— За ваше здоровье, братцы мои, проклятый сброд! Выпьем, голытьба! Чокнемся! Господин Тьер в штаны себе напустил в своем Версале. Нас он зовет «презренная толпа». Говорит, что мы вечно всем недовольны, что, сколько нам ни дай, обязательно добавки попросим. И он, недоносок, прав! Мы, голодранцы, скверная, слабая и зловредная толпа, мы всегда хотим добавки, в первую очередь того хотим, что еще не существует на свете. А знаете, чего мы хотим, господин Тьер? Да так, пустячка — лестница нам нужна. Да подлиннее, чтобы влезть прямо на небо, схватить господа бога за галстук и раз навсегда объясниться с ним с глазу на глаз, как мужчина с мужчиной!

Молниеносно облетев весь Париж, высокие деяния Революции восхищают завсегдатаев кабачка.

— Винуа до того задницу припекло, что он совсем о своем воинстве позабыл, забыл и о канонерках, стояв-

ших на якоре у Пуэн-дю-Жур, и о бригаде, расположившейся в Люксембургском саду. Ну вот гражданин Аллеман и решил ими заняться! А уж к концу дня сумел сыграть неплохую штуку: три батальона буржуа из VI округа, вооруженные пушкой, удерживали авеню Обсерватуар и Горное училище. Во главе 59-го наш Аллеман идет и предлагает свои услуги правительству. Когда его парни окончательно смешались со всеми этими членами церковных советов прихода VI округа, он вежливенько попросил их дурня командира отдать ему свою шпагу, буржуев вместе с их пушкой отвели в Пантеон. А оттуда отправили наших папаш к их мамашам, ну а пушки, конечно, себе оставили!

— Ну а как с бригадой в Люксембургском саду?

— И тут без Аллемана не обошлось! Когда взяли Горное училище, то захватили одни ворота и узнали пароль! Вот тогда наш лис из V округа берет с полдюжины головорезов и прется в сад, где их на каждом шагу останавливают часовые; с независимым видом проходит между пехотным полком и батальоном пеших стрелков, перелезает через решетку, отделяющую сад от Люксембургского дворца, нарывается на какого-то полусонного лакея, велит указать ему залу, где находится штаб бригады, и... вперед! А там пять штабных офицеров переставляют флажки на карте Парижа. Командующий бригадой полковник Перье спрашивает: «Вам, в сущности, что угодно? Каковы ваши намерения?» — «Увести вас с собой в мэрию V округа». Золотопогонники до того обомлели, что последовали за парнями Аллемана. Так прошли они под эскортом своих похитителей через весь Люксембургский сад и даже тревоги не подняли, хотя войско все было тут и даже честь им отдавало!

— Должно быть, в мэрии им знатный прием оказали!

Все теперь идет гладко да мирно. Завзятые курильщики и те не сквернословят, когда в пачке табака попадется щепочка.

— Надо бы всерьез заняться Политехническим училищем,— мрачно бросает Жюль.

Мой кузен со своим неразлучным дружком Пассаласом теперь официально зачислены в бывшую префектуру полиции, которую отныне возглавляют Риго и Теофиль Ферре*.

Тупик, страстно выслушивающий все подобные исто-

рии, осведомляется, как произошел захват полицейской префектуры на Иерусалимской улице.

— Этот хитрец Риго уже давно к прыжку готовился,— напоминает Пассалас, подмигивая правым глазом, подтянутым к виску длинным шрамом.

Дюваль во главе батальона XIII округа обложил полицейскую префектуру с площади Дофины. Высланный вперед патруль, продвигаясь, буквально жался к стенам. В конце этой небольшой площади — портик с железной дверью. Налево каморка старшего привратника, и тут же отдел префектуры, где ведутся записи актов гражданского состояния. Справа канцелярия, выдающая удостоверения личности, на верхнем этаже канцелярии второго отдела. Стучат в дверь прикладом. Ихний привратник вылезает с каскеткой в руке. «Никого нет. Все разъехались. Будьте как дома». Дюваль освобождает бойцов, арестованных этим утром, потом занимает казарму в Ситэ. А там оказалось великое множество оружия.

— Чисто сработано,— бормочет Пливар и даже сглатывает слюну.

— А что ты про Политехническое училище говорил?

— По полученным нами сведениям, генерал Рифо, начальник училища, собрал всех учеников, а сам был уже... в штатском!

— Откуда же Риго обо всем узнал?

— Сорока на хвосте принесла! Генерал в штатском прямо так и брякнул своим ученикам, что он сам не знает, что предпринять, и оставляет, мол, на них «управление училищем». Проголосовали, только четырнадцать голосов было подано за Центральный комитет Национальной гвардии. А все остальные разбежались по Парижу и вербуют сейчас сторонников Тьера.

— Следите за ними хорошенько, граждане! — вдруг выкрикивает Марта и, так как все взгляды обращаются к ней, бормочет: — А то как же, ведь эти мальчишки учатся, как вести войну! Мечтают только об убийствах да нашивках! И к тому же все они маменькины сынки, аристократишки, и женятся-то на банкирских дочках, и венчают их разные там архиепископы, и все такое прочее...

Клиенты кабачка новыми глазами смотрят на почерневшую фреску «Грабь голытьбу!», где разбойничью операцию совершают чудища в шапокляках, в кепи с кокардами в виде лавровых листьев и в остроконечных касках.

— А вдруг пруссаки тоже решат вмешаться и наводить порядок? — бормочет себе под нос Кош.

— Если они сами до этого не додумаются, то не кто иной, как господин Тьер, будет у них в ногах валяться: подсобите, мол,— бросает Шиньон.

Пливар схватил свое ружьецо:

— Что ж, пусть не стесняются, одним ударом двух зайцев убьем!

— За двумя зайцами погонишься...— шепчет Лармитон, с опаской косясь на этого бесноватого, который — вот несчастье! — только что получил новенькое ружье, «шаспо» последнего образца.

— Вы небось думаете, что вам по-прежнему будут платить по тридцать су в день? — кричит из кухни жена Нищебрата: она помогает Терезе и Леону мыть посуду.

— Если бы хоть Кель снова принял на работу медников,— ворчит Бастико.

— Заткнись! — кричит Матирас.— У нас есть дела поважнее, чем целый божий день стучать по жестянкам! Мы свои тридцать кругляшек получим, да еще с процентами! Эти трусливые недоноски не успели вывезти Французский банк. А там золота полно, хоть задавись! Так что всем славным парням Социальной республики сполна заплатят, надолго хватит, шампаньей еще будем упиваться.

Слушатели заранее облизываются, поглаживают себе брюшко...

— Эй, потише, граждане! — вмешивается Гифес, озабоченно морща лоб.— Значит, вы хотите, чтобы нас обвинили в воровстве, в грабеже? Наши враги только этого и ждут.

Слова его встречают одобрительным ворчанием — удивительный поворот на целых сто восемьдесят градусов. Они — победители, они — власть, они сами говорят об этом, твердят, а на деле остались тем, кем были,— простым людом, бедным людом.

Деньги — слово непомерно большое. Оно пугает их. Только издали, в чужих руках видели они крупные купюры и до сих пор об этом помнят. Все находящиеся в банке деньги — достояние Франции. Бельвильцы боятся Денег, они любят родину, они давным-давно привыкли ради нее трястись над каждой копейкой. Они не могут себе даже представить, что произойдет, если они запустят

свою мозолистую лапу в государственные сейфы, во всяком случае, им думалось, произойдет нечто страшное...

— И это говорит революционер!

Вся зала погрузилась в раздумье о деньгах, и было в этих думах что-то от смутной тоски с ее горькой нежностью. Голос Предка подействовал, как удар хлыста. Люди гордо распрямляют спины, затронуто их самолюбие.

— Гифес совершенно прав,— говорит Кош.— Революционеры обязаны подавать пример честности!

— Бедняки — народ благородный!

— Это уже не благородство, а юродство,— отрезает старик.

— Послушайте-ка, дядюшка Бенуа,— начинает типографщик.— Здесь все вас уважают за ваше прошлое, за ваши страдания, ваш опыт, и, если кто-нибудь посмеет проявить непочтительность к вам, я первый...— Дядя Бенуа покачивает головой и даже тихонько урчит.— Но,— продолжает Гифес,— сейчас возникла совсем новая ситуация. То, что было хорошо в давние времена...

Интернационалист смущенно замолкает. Присутствующие понимают, почему он вдруг осекся, никто из них не потерпел бы, чтобы Предку хотя бы намекнули на то, что он безнадежно устарел; ему, старому карбонарию, участнику «заговора Пятнадцати» и «дела Пороховых складов», борцу 48 года, знавшему казематы Мон-Сен-Мишеля, Белль-Иля и Корсики, бежавшему из Кайены,— ведь все рано или поздно становится известно...

— Это не воровство и не может быть воровством,— заявляет Предок.

— Почему же?

— Потому что эти деньги ваши. У вас их отобрали. Не вы воры, а другие! Богатые не раскошеливаются. Золото, накопленное в сейфах Французского банка,— это же ваши су. Оно ваше, даже больше ваше, чем пушка «Братство», которую как-то ночью украла у вас армия Винуа.

— Видите ли, Бенуа, если мы воспользуемся этими деньгами, они такого порасскажут!

— Они все равно будут говорить это, бедный мой Гифес. Самое важное, самое неотложное — это выдать нашим славным федератам по тридцать су и по пятнадцать су их женам. Без них Революция погибнет.

— Шампаньи нам подавай! — вопит Матирас.

— Э, нет! — кричит Предок, потом совсем тихо обращается к типографщику: — Видел? Если ты не выдашь полагающихся им тридцати су, негодяи могут этим воспользоваться. Они сколотят шайку и пойдут грабить склады и дома.

— Да что там! — заявляет батальонный горнист и снова опускается на скамью.— Если казна наша, так давайте же, черт побери, используем ее получше.

— Нет, Матирас! Именно потому, что золото наше! Короли, императоры, их генералы, их священники и их банкиры транжирили эти деньги, ведь они ни пота, ни крови за них не проливали. А теперь казна Франции стала казной Революции, а Революция будет бережливо относиться к своим деньгам: она-то отлично знает, что все это золото создано вашими жалкими су!

Матирас со вздохом поворачивается к старику:

— Выходит, лучше стянуть потуже пояс ради Социальной республики, чем ради императора!

— А какого мнения на этот счет они, в Ратуше? — спрашивает Ферье.

— Кто это «они»?

— Ну... они.

Предместье имело весьма туманное представление о новой власти: Федерация Интернационала, Центральный комитет Национальной гвардии, комитеты бдительности... Кто же командовал? Отчасти людей успокаивало то, что там были Флуранс, Ранвье, Валлес, Тренке, Дюмон — бельвильцы, все неподкупные, которые, хоть купай их в золоте, не переменятся и, что бы ни случилось, вернутся в свои родные места.

— Кто же «они»? Большинства из них мы и не знаем! — орет весь кабачок.— Откудова они взялись, эти революционеры? Ветром их принесло, что ли?

Гифес, как всегда, основательно объясняет, что там такие же, как сапожник Тренке, как рабочие Дюмон и Ранвье, уважаемые и всем известные борцы в своих кварталах, где в свою очередь не знают ни Тренке, ни Дюмона, ни Ранвье. Это новые люди — достойные люди, они надежда и будущее Революции.

— Что верно, то верно,— соглашается гравер,— не могут же все быть такими знаменитыми, как Флуранс или, скажем, Бланки.

— Будем надеяться, что они знают, что делают, а там знаменитые, не заменитые...— ворчит Пунь.

— В том-то и дело, что не знают,— шепчет Предок себе в бороду.

— Ведут ли и они такие дискуссии, как мы? Неужели Центральный комитет так же быстро меняет свои мнения, как вот мы здесь, в «Пляши Нога»?

— Еще быстрее, чем мы, сынок. Во-первых, люди там гораздо больше отличаются друг от друга, чем жители тупика. Во-вторых, когда говорит Матирас или Феррье, когда говорит кто-нибудь из наших стрелков, он говорит только за себя. А в Ратуше за тем, кто говорит, стоит весь квартал, батальоны, пушки, а порой и партия, и философия.

Все это Предок объяснил мне на ухо, и голос у него был грустный.

— Что ж тогда делать?

— Не знаю.

— А если так, то чья же это вина?

— Власти.

— Но ведь власть-то теперь наша!

— Власть — она всегда власть и есть!

Заметки без даты,
сделанные в следующие дни
на разрозненных листках.

Часть баррикады разобрали, чтобы было где проезжать повозкам. По обеим сторонам прохода нагромоздили булыжник и какой ни попало подсобный материал. Теперь в случае тревоги можно сразу же перегородить Гран-Рю.

Пушка «Братство» в боевой готовности, и при ней зарядный ящик. Охраняют ее наши стрелки. Кучера с улицы Рампоно, что в двух шагах отсюда, взяли на себя заботу бесплатно поставить лошадей. Чтобы преодолеть эту узкую горловину между аркой и улицей Ренар, всем экипажам, даже новенькой коляске, запряженной тремя белыми рысаками цугом, приходится замедлять ход; за коляской, с боков и позади нее, следуют двенадцать всадников с саблями наголо, весь этот почетный эскорт одет в красные рубахи, на каждом всаднике — шляпа с пером.

— Эй, Флоран, садись!

Это Флуранс. Вот он и стал генералом.

— И ты, Марта, тоже! Я прямо из мэрии, собираюсь кое-что предпринять... может получиться даже забавно.

Мы торжественно движемся к сердцу Парижа... Еще недавно наша роскошная коляска вызвала бы в народе ропот, хотя вряд ли ее владельцы рискнули бы сунуться в пригород Тампль. А нынче простой народ знает, что в таких экипажах разъезжают вернувшиеся с каторги люди, объявленные Империей вне закона, те, кто возглавляет их мятеж,— так что, чем роскошнее экипаж, тем больше ему почета, тем радостнее его приветствуют.

Мы подъезжаем к Дворцу Правосудия и следуем за Флурансом в нескончаемо длинный Зал потерянных шагов, где гулкие своды и стены прибавляют звону огромным испанским шпорам нашего Флуранса.

— Гражданин судебный пристав! Прошу вас вернуть мне мое оружие! Оно мне как раз нужно.

— Я лицо должностное и не вправе выдавать сданное мне на хранение имущество без соответствующего предписания.

— А я генерал, командующий XX легионом, предлагаю вам выполнить мое приказание незамедлительно.

Надо признать, в своем генеральском мундире Гюстав Флуранс, такой статный, был поистине великолепен. Марта лукаво скосила глаз в мою сторону, а пристав дрожащими руками протянул Флурансу расписку за № 25 с описью, составленной в следующих выражениях: «...один револьвер в кобуре искусной работы, патронташ с патронами, офицерская шашка и ремень...»

— Читайте, читайте!

Чиновник, запинаясь, продолжал:

— «Предметы эти были изъяты у господина Флуранса 6 декабря 1870 года и на следующий день переданы из управления крепости в канцелярию суда...»

— А теперь ты, Флоран, садись и пиши: «Приставу 3-й судебной палаты, невзирая на все его возражения...»— Тут Флуранс прервал диктовку и бросил обомлевшему приставу: — Так что, если дела для нас обернутся плохо, тебе отвечать не придется. «Приказываю незамедлительно возвратить мне оружие, изъятое у меня 6 декабря, в подтверждение чего выдана мною настоящая бумага. Генерал, командующий XX легионом».

Он поставил подпись, прицепил к поясу весь свой бесценный арсенал, и мы тронулись в путь.

* * *

Из Ратуши Флуранс и Ранвье направились прямо в Бельвиль. Добрались они до нас вконец измученные, обратно же уехали веселые. В мэрии XX округа задерживаться не стали, ограничившись кратким отчетом о последних совещаниях командирам батальонов и делегатам комитетов бдительности; затем оба наших руководителя поспешили каждый в свой кабачок, где уже собрался народ, и отвечали на вопросы, в сущности продолжая дискуссию по спорным проблемам, волновавшим Центральный комитет Национальной гвардии. Временами их сопровождал Жюль Валлес. Предместье прежде всего с тревогой расспрашивало о Гарибальди. Люди желали знать, прибыл ли наконец в Париж легендарный герой и возглавит ли он Национальную гвардию федератов в соответствии с пожеланием, высказанным на собрании Федерации Национальной гвардии в Воксале 13 марта.

Ферье: — Гарибальди — молодчина! Показал себя как солдат, а главное — показал себя как революционер! Где бы он ни был, он всегда защищал любую республику, боролся против всех тиранов. Не колебался, когда надо было спешить на помощь разгромленной Франции, а ведь у него имелись веские основания быть недругом страны, пославшей войска против его родины...

А Бланки, как всем известно, был арестован 17 марта, как раз накануне диверсии Тьера, когда тот посягнул на наши пушки! Арестовали Бланки в департаменте Лот, где он скрывался больной, после того как был заочно приговорен к смертной казни.

Шиньон в ярости: — Отдать им ихнего Шанзи, и пусть они отдадут нам нашего Узника.

18 марта к вечеру генерал Шанзи в полной форме сошел ничтоже сумняшеся с поезда на Орлеанском вокзале, чтобы принять участие в Национальном собрании в Версале как депутат от Арденн. Дюваль из XIII округа уже отдал приказ задерживать на вокзалах всех офицеров. Охране пришлось обнажить сабли, иначе толпа растерзала бы злополучного генерала.

Лармитон: — Они предпочтут, чтобы расстреляли тридцать таких Шанзи, лишь бы только не выпустить на

свободу нашего Бланки! Наш Узник стоит сотни батальонов, тысячи пушек!

Матирас: — Между Парижем и Версалем идет борьба не на жизнь, а на смерть! Какие уж тут переговоры! Спросите буржуазных мэров сами.

Несколько муниципальных избранников богатых кварталов, среди них Клемансо, будущий президент Франции, а в те годы молодой мэр Монмартра, сделали попытку примирить оба лагеря. Они заявили Национальному собранию: «Пусть эти неистовые парижане делают, что хотят, пусть изберут свой муниципальный совет и даже офицеров Национальной гвардии, пусть будет еще немного продлен мораторий о квартирной плате. И вы увидите, они сами собой утихомирятся!» Куда там! Тьер и Жюль Фавр и слушать ничего не хотели. «Надо подавить мятеж!» И на том стояли.

Шиньон, торжествуя: — Ну что ж! Мы двух ихних генералов все-таки отправили на тот свет!

В один прекрасный день обитатели тупика заметили, что господин Валькло исчез... Ставни на окнах второго этажа виллы закрыты. Привратница прячется.

— А ведь это добрый знак, теперь можно спокойно не платить в срок,— рассудили кумушки у колонки.

Комитет бдительности тупика решил, что, если Кровосос не водворится в свои владения в течение недели, его квартира будет реквизирована. Кстати сказать, этот же комитет осудил Центральный комитет Национальной гвардии за то, что его руководители проявляют слабость и слишком уж мирволят мэрам. «Вспомните,— говорится в этой резолюции комитета бдительности,— что во всех предшествующих революциях буржуазия в конечном счете отнимала у пролетариата его права. Впервые со времени Великой Революции на стороне восставших военное превосходство. Мы ждали этого целое столетие. Долго так не продержится. Надо пользоваться этим! Время работает не на нас! Зачем же растрачивать его, ведя переговоры, которые ни к чему не приведут, а Тьер тянет и тянет, потому что это в его интересах!..»

Я сам составлял эту резолюцию. А Трусеттка выразила ту же мысль следующим образом:

— Пусть все ихние муниципанты и ихние депутанты подавятся своими речами! Если мы допустим, чтобы они

снова выхватили у нас вожжи из рук, они нас одним махом скрутят. А мы лучше сдохнем, а не допустим, чтобы они, сволочи, нам подменили нашу Революцию! Пока идет вся эта болтовня, версальский недоносок подтягивает свои войска и столковывается с пруссаками, чтобы свалиться нам прямо на голову, чуть только он вновь наберется сил. Мы согласны с тем славным малым, который ответил Бонвале (этот мэр III округа не случайно заслужил славу холуя.): «Послушай, голубчик, поди и скажи своим хозяевам, что мы здесь волей простого народа и отсюда не уйдем, разве только если нас заставят митральезы».

* * *

Жюль и Пассалас возратились из Версаля. Подвигов для этого совершать не понадобилось: просто сели в поезд и доехали. В Версале кутерьма такая, что нашим двум лазутчикам даже не было нужды скрываться.

Едва последние пруссаки покинули Версаль, как на их место налетела саранчой бежавшая императорская армия. Еще за два дня до этого туда же потянулись депутаты из провинции, мелкие дворяне-помещики, наши гордые бароны, надменные роялисты, искавшие в Версале пристанища для себя, своей поклажи и своих людей. Но тут они натолкнулись на толпы парижских чиновных лиц и просто беженцев, успевших завладеть гостиницами и уже реквизированными частными квартирами. За неимением места депутаты разбили бивуак в Зеркальной галерее, все скопом ночуют на походных кроватях, за легкими занавесками. В прочих залах Версальского дворца устроены канцелярии, где выделены ширмами приемные министров.

— В Версале не до песен, не до смеха. Посмотреть на их растерянные рожи — и то удовольствие,— рассказывает Пассалас.— Повсюду пехотинцы в грязи, в оборванных мундирах, еле волочат ноги, скандалят, не желают больше отдавать честь офицерам, а те и не требуют, трясутся, как зайцы! Все это спит вповалку прямо на плацу. Едят вонючую похлебку. Лошади стоят на привязи на авеню Сен-Клу. Перед дворцовой решеткой — заржавевшие пушки. В воскресенье вечером разнесся слух, что федераты движутся на Версаль через Рюэй и Вирофле. Вот уж началась паника!

— Знаешь, этот страх на руку Тьеру,— ворчит Предок.— Если он сообразит, как взяться за дело, он быстро подтянет свое дерьмовое воинство. А мы тут прогуливаемся по-семейному на Елисейских Полях, поем, смеемся...

Шиньон вдруг взревел:

— Наша знаменитая «стремительная вылазка» должна начаться сейчас — или никогда!

* * *

В Ратуше Флуранс все время настаивал на вылазке перед Моро и другими товарищами. Наш генерал не знал ни колебаний, ни сомнений: во Франции нет места для двух правительств. Господин Тьер выбрал гражданскую войну, ну что ж! Значит, разговор о перемирии исчерпан, оно уже невозможно. Тьер желает «республику хозяев», где он бы правил. А мы ее не желаем больше! Пора кончать с проволочками, с оттяжками, надо действовать! Станем правительством Франции, утвердим свою власть без промедления, и страна последует за нами. Наглухо закроем врата Парижа! Втянем в свои ряды остатки армии. Захватим Французский банк! Прочно овладеем всеми фортами, и прежде всего фортом Мон-Валерьен. Будем действовать быстро, наша программа довольно умеренная, мы увлечем за собой всех! Итак, не будем терять ни минуты! На Версаль!

— Наша главная опора — рабочие,— добавляет Предок и, обращаясь к Тонкерелю, спрашивает: — Раз братья Фрюшан бросили литейную, почему вы не берете ее в свои руки? — Разжигает трубку и ворчливо рассуждает вслух: — Версаль трепещет, а Париж распевает песни. В который раз повторяется история стрекозы и муравья. К несчастью, последнее слово всегда остается за муравьем.

Вечно эти старики ворчат!

Тупик сейчас далек от пессимизма, он упивается своей победой. В его беспечности есть что-то от наслаждения искусного мастера, который медлит, прежде чем последний раз взмахнуть резцом, ведь завершить свое творение— значит также расстаться с ним. Революция — это до того здорово, так что даже если дело и затянется чуток... Ведь новости хорошие, к чему тормошить людей...

Прежде чем пройти через арку, каждый вновь прибывший замедлит шаг и непременно огладит ласковой рукой пушку «Братство».

* * *

Эда встречают с триумфом. Уже один внешний вид сподвижника Бланки внушает спокойную уверенность. Высокого роста, широк в плечах, с тонкой талией, неотразимо изящен и ловок. Ему двадцать семь лет. Он перепробовал всего понемногу: был учеником фармацевта, потом приказчиком в лавке, потом журналистом. Командует 138-м батальоном Сент-Антуанского предместья. И он тоже первым делом произносит: «На Версаль!»

Вчера там Жюль Фавр с трибуны громил Париж, громил «врагов общественного блага, служителей кровожадных и хищных идеалов, кои развязывают гражданскую войну, неприкрытую, дерзкую, сопровождаемую трусливыми убийствами и грабежами под покровом тьмы...».

— Чего мы ждем, черт возьми! — скрежещет зубами Шиньон.— Почему не пойдем и не заткнем ему немедленно пасть?!

Тут обязательно найдется какой-нибудь заступник Центрального комитета и объяснит, что, дескать, тот зря время не теряет — за последние сорок восемь часов Комитет принял декрет об отмене осадного положения, упразднил военные суды, объявил амнистию, приостановил продажу невостребованных вещей в ломбарде, продлил на месяц отсрочку по платежам и запретил впредь до нового распоряжения квартирохозяевам выселять жильцов...

До поздней ночи в тупике раздаются песни.

* * *

Лазутчики Дозорного сбились с ног. Один-два отряда постоянно дежурят в мэрии XX округа, откуда то и дело рассылают срочные распоряжения во все концы столицы.

— Флоран! Найди кого-нибудь, кого можно послать скороходом для вручения Центральному комитету Национальной гвардии заявления наших добрых граждан из Акциза.

Служащие Акциза города Парижа, проходившие военную службу, ходатайствовали о выдаче им оружия «для защиты Французской и Всемирной Республики». Они

просят также сменить членов их администрации, поскольку последние принадлежат к «отъявленным империалистам и наносят вред Республике».

Благополучно добраться до места — еще не все. Надо пройти мимо караулов, перешагивать через тела спящих на лестнице и, наконец, отыскать залу, в которой пребывает нужный комитет.

— А может, вот эту парочку направить?

Адель Бастико и Шарле-горбун еле дышат. Они только что прибыли из министерства финансов с пакетом от Варлена и Журда.

— Ну что ж, Флоран, значит, тебе самому придется пойти!

И так каждый день. Все время я на ходу. Даже Марта, не знающая устали, в конце концов выдохлась. Но без нее я затерялся бы в улочках и переходах.

Утром в среду 22 марта.

Мы в распоряжении Бержере, на Вандомской площади, в штаб-квартире Национальной гвардии. Ждем. Вчера как раз здесь состоялась враждебная Национальной гвардии манифестация буржуа, богатых коммерсантов, аристократишек, кучки старых дворян и полковников в отставке. Бержере с двумя ротами федератов рассеял манифестантов, но он все еще не спокоен, опасается, как бы рединготники не вернулись сегодня снова, да еще пополнив свою команду. Если Бержере понадобятся подкрепления, мы с Мартой добежим до мэрии XX округа и попросим, чтобы подняли на ноги Бельвильские батальоны.

Бержере, бывший типографщик, был старшим сержантом императорских вольтижеров. Комендант города Парижа, он носил на боку шпагу, широкую красную перевязь крест-накрест, знаки отличия на отвороте мундира, в том числе масонский экер, высокие мягкие сапоги выше колен.

Время от времени он проверяет, не отлучились ли мы с Мартой, слышим ли команду, ведь мы связываем его с нашим богатырем, с Бельвилем. Его широкий лоб кажется еще шире из-за лысины до самой макушки. Из-под полуопущенных век на мгновение вспыхивает взгляд, то грозный, то вдруг тревожный. Мимо него взад и впе-

ред ходят командиры разных рангов. Предмет разговоров — вчерашняя манифестация сторонников Тьера.

— Их было добрых пять тысяч. Шли по улицам II округа. Выстраивались вдоль тротуаров и кричали: «Закрывайте лавки, друзья Порядка, следуйте за нами!»

— Некий Бонн, бывший капитан Национальной гвардии — у него портновская мастерская на бульваре Капуцинок,— выставил в витрине табличку: «Пора создать лигу против Революции. Пусть все добрые граждане присоединяются к нам». Подпись: «Друзья Порядка».

— В сущности, национальных гвардейцев среди манифестантов не было, все больше буржуйчики... Они и сюда явились орать: «Долой Центральный комитет!» Чего-чего, а наглости у них хватает. Потом рассеялись, сговорившись повторить свое сборище сегодня!

— Да Коста*, кстати, считает, что в эту толпу затесались и честные люди, негоцианты, преподаватели, даже студенты, и что они думали таким путем защитить буржуазную Республику, ту, которая была провозглашена 4 сентября! За их спиной действуют бонапартисты, они только и ждут удобного случая.

— Все было подстроено заранее, и вот доказательство: одновременно с их вылазкой не меньше тридцати газет обрушились на нас!

— Посмотрите, какие они расклеили афишки на стенах домов I округа!

Большая белая афиша призывает «добрых граждан» принять «мужественное решение, с тем чтобы обеспечить согласие и укрепить Республику». Подписи поставили офицеры 1-го, 5-го, 12-го, 13-го и 14-го батальонов.

— Там не менее трехсот имен! Надеюсь, Риго взял их на заметку...

К вечеру.

Тревожные часы. Так называемые «друзья Порядка» скапливаются перед новым зданием Оперы. Бержере ищет в муравейнике своей канцелярии, кого бы послать, чтобы замешаться в толпу заговорщиков: желательно штатских.

— Нас направьте,— предлагает Марта.

— Только как же мы будем знать: вызывать нам бельвильцев или нет?

Бержере смотрит на нас в некотором замешательстве.

— Сами решайте!

Марта движением подбородка выражает согласие.

Проходим сквозь сплошной, от здания к зданию, строй федератов по улице де ла Пэ. Все стоят ружье к ноге.

Бульвары Мадлен и Оперы запружены народом. Будто здесь весь Париж и сотнями глоток выкрикивает: «Да здравствует Порядок!» Острый холодок сжимает мне грудь, сердце, все нутро. Я почему-то нисколько не сомневался, что за Центральным комитетом Национальной гвардии стоят, как один, все парижане.

— У тебя, разиня, значит, глаз нету, не видел ты, сколько в Париже этого добра — церковников, прихвостней Баденге, головорезов, никудышных людей, богатеньких сынков и всяких развратников.

Национальных гвардейцев раз-два и обчелся. Да и то на них слишком щегольская форма, брюшко выпирает, добротная ткань выдает их истинную породу. Преобладают редингготы и круглые шляпы.

— Надо раздобыть хоть клочок голубой ленточки.

В самом деле, здесь это вроде условного знака. У всех в петлице голубое. На первый взгляд, оружия ни у кого вроде нет, но кое-где можно заметить, как, подмигнув, одни вытягивают набалдашник палки, обнажая лезвие шпаги, другие откидывают полу рединготa, а там солидная дубинка.

Чудесный ясный день. Где-то на колокольне пробило два часа. Толпа устремляется на улицу де ла Пэ. Элегантно одетый юноша машет ручкой, приглашая собравшееся на балконе общество присоединиться к нему. Кто-то рядом стоящий объясняет, что этот балкон принадлежит англичанину — знаменитому портному Ворту. Что касается юного денди, он оказался господином Анри де Пэном, сотрудником «Пари-журналь». Между тем в голове кортежа, поравнявшегося с третьим от угла домом,— заминка. Кто-то требует тишины. Марта впивается коротенькими своими пальцами в мой рукав — совсем детская ручонка... В нескольких шагах от нас строй бойцов Бержере ощетинивается штыками. Рединготники засуетились, повторяют слова из речи Жюля Фавра о Коммуне, которая есть «насилие над собственностью, крушение общества, подрываемого в своих основах»! Федераты — это «голытьба, душащая столицу», или еще лучше: «грязный сброд, подонки общества»...

Молодые люди идут против течения с веселыми возгласами:

— На улице Нев-Сент-Огюстен часовые уже обезоружены! Отнимайте винтовки у федералистов!

Толпа снова двинулась вперед, задние напирают, в узкой улочке образовалась пробка; еще несколько шагов, и людской поток упирается в развернутый строй национальных гвардейцев, которые держат теперь ружья наперевес — а что им прикажете делать?

Федераты и рединготники стоят друг против друга, нос к носу, грудь в грудь. Сзади толпа продолжает напирать все тяжелее, упрямее. Впереди, со стороны Вандомской колонны, раздается дробь барабанов.

Марта удерживает меня за рукав. Там, где противники сталкиваются лицом к лицу,— крики, брань, неистовый шум. Тысячи голосов скандируют:

— Долой Комитет Национальной гвардии! Долой убийц!

И среди водоворота слышится: «Адмирал... Адмирал...» Слово перелетает из уст в уста.

— Это старый морской волк,— объясняет кто-то.— Был под Севастополем, потом правителем Новой Каледонии. Разве скажешь, что ему уже шестьдесят!

— Тише! Слово адмиралу!

— Скорей, Флоран! Спрячемся в том подъезде. Тут сейчас пойдет такая трескотня!

Я иду за Мартой, вдогонку мне доносится дрожащий голос:

— Господа! Я только что из Версаля. Правительство, вами свободно избранное, назначило меня главнокомандующим национальными гвардейцами округа Сены...

Слова его тонут в начавшейся стрельбе, возгласах, страшной суматохе. Толпа отхлынула в сторону Оперы. Люди толкают, теснят друг друга, идут прямо по упавшим. Огромная площадь вдруг опустела, мостовая усеяна шляпами, тростями, судорожно бьющимися телами, рядом трехцветное знамя со сломанным древком. Окна и балконы на всех этажах разом пустеют.

Люди в растерзанной одежде, без шляп, с бледными лицами ищут спасения в нашем подъезде.

— Пропустите меня, я ранен! — Это вопит полный господин в рединготе с меховым воротником. Левой рукой он поддерживает правую.

— Не один вы пострадали.

Никто не уступает ему дорогу, и тогда толстяк громко называет себя:

— Я господин Оттингер!

— Банкир?

— Он самый!

Ему дают дорогу, спешат поддержать под руку.

Мы возвращаемся на улицу де ла Пэ кружным путем, пользуясь знакомыми переходами, попадая в тупики, бредем по улице Людовика Великого и Нев-де-Пти-Шан. «Друзья Порядка» спешно ретировались. Федераты подбирают раненых, вносят их в лавки, впрочем, далеко не все лавочники соглашаются впустить пострадавших. А о мертвых вообще забыли. Среди убитых красавчик Анри де Пэн. Он лежит навзничь, в глазах застыло удивление.

Все так же ярко-бесстрастно сияет солнце.

Перед штабом на площади люди собираются кучками и, сблизив головы, тихо переговариваются:

— Бержере предупредил их перед залпом?

— Раз десять, я сам с ним рядом стоял!

— Ну, они так горланили, что могли и не услышать...

— Вряд ли! Они просто были как бешеные.

— Нет, их кто-то подстрекал! Тьеру нужна была эта кровь.

— Лично я не стрелял.

— А я стрелял в воздух.

— Они первыми открыли стрельбу!

— Это уж верно. Лучшее доказательство — у нас у самих есть жертвы.

— А знаешь, кое-кто из наших стрелял куда попало, ведь многие впервые в жизни на курок нажали...

— Надо сказать, что «шаспо» коварная штука. Само стреляет. Я только вчера получил «шаспо», а до того пулял из какой-то рухляди...

Вечером.

В который раз мы разминулись с Мартой! В штабе распространились слухи, будто на Бирже и в мэриях I и II округов наплыв взбесившихся буржуа, требующих, чтобы их мобилизовали, говорят также, будто на Цент-

ральном рынке и в центре города возводят баррикады, чтобы сражаться с Комитетом Национальной гвардии.

Когда это я ухитрился потерять свою смуглянку? Помню только, как мы оба стоим, застыв на краю тротуара на углу улицы Капуцинок, а у наших ног умирающий корчится в судорогах. Белокурый юноша, на вид из богатеньких студентов или просто маменькин сынок, лежал, раскинув руки, и видел, как истекает кровью, взгляд его уже тускнел. Я никогда не думал, что в юношеском теле столько крови.

— Ну и что? Она даже не голубая!

А через мгновение я заметил, что рядом со мной Марты нет. Она исчезла где-то в толпе батальонов, пришедших на помощь своим товарищам.

— На Бульварах притихли, никто уже не смеется,— замечает один из гонцов. Едва прибыв на место, гонцы сразу же взлетали по лестнице в кабинет Бержере.

— Вот и хорошо! Значит, поняли, что с нами шутки плохи. Теперь будут принимать нас всерьез.

Шутили, впрочем, нехотя, без улыбки. Батальоны I и II округов притащили к Французскому банку мешки с песком, превращая здание в крепость. Из амбразур глядели митральезы. Пале-Ройяль был захвачен. Часовые, расставленные на всех перекрестках, никого не пропускали в центральные кварталы. Адмирал Сэссе разместил свой штаб на вокзале Сен-Лазар.

Перо генерала Бержере неутомимо скрипит. Он пишет приказы, подписывает, визирует, вручает бумаги гонцам. Белые листки на мгновение вздрагивают, словно крылья, у козырька кепи, люди отдают честь и исчезают.

— Поди-ка посмотри, что я нашла!

Марта вернулась и отыскала меня здесь. Мы отправились на рынок Сент-Онорэ; в глубине заднего двора люди толпились вокруг прекраснейшего из когда-либо виданных мною коней — чистопородный английский жеребец, еще совсем молоденький, огненно-рыжий.

На нем были только уздечка и удила — казалось, он вырвался из хозяйских рук, так и не дав себя оседлать. Никто из присутствовавших не знал, чей он, откуда. Когда началась перестрелка, он ворвался во двор и теперь не желал уходить. Никого к себе не подпускал. Никто, впрочем, и не предъявлял на него прав. Он кру-

жил на месте, косил диким глазом, бил при малейшем шуме всеми четырьмя копытами. Привратник, жильцы, любопытствующие из соседних домов жались к стенкам. Был среди зрителей возница омнибуса, но и он не выказывал ни малейшего желания приблизиться к обезумевшему скакуну. Как только какой-нибудь смельчак хотел подойти поближе, конь с грозной грацией бил передом или задом.

Я задохнулся от восторга... Не конь, а загляденье!

— Возьми его, Флоран!

Кто-то кликнул кучера, но он отступился, увидев, как взвился на дыбы наш красавец. Я решил взяться за дело иначе, подойти к коню не сзади, а спереди, стараясь не обнаруживать ни спешки, ни колебаний, глядя ему прямо в глаза. Одновременно я пытался разгадать его нрав: он был, как говорится, еще дичок и слишком молод, чтобы его можно было подолгу держать в стойле, даже в самом шикарном, и к тому же слишком силен. Его следовало часами до пота гонять на корде, пускать рысью, галопом, пока он окончательно не выдохнется. Быть может, владелец его сбежал в Версаль? Да и кто этот владелец? Избалованный сынок, которому пришла прихоть обзавестись роскошным конем, выпросил у папочки с мамочкой его себе в подарок, потом струсил, забросил его ради новой прихоти.

Стараясь не делать резких движений, я все приближался, а конь — так мне по крайней мере казалось — читал мои мысли. Он застыл на месте, только подрагивала грудь. Протянув вперед руку, я мог бы коснуться его ноздрей, но тут где-то рядом на улице запел рожок, и, прежде чем звук дошел до моего слуха, я как бы уловил его в обезумевшем глазу коня. Я инстинктивно сказал что-то совсем тихо и ласково... Что-то вроде: «Ну-ну-ну, мой красавчик, не бойся, мы еще с тобой подружимся...» При первых звуках меди он весь подобрался, выгнул спину. Затем снова расслабил мышцы. И все продолжал глядеть на меня. Пение рожка удалялось в сторону Сены, но теперь это было уже не важно.

— Ну-ну-ну, прекрасный мой принц, мой повелитель, хочешь со мной водиться?

Я осторожно гладил ему левой рукой подщечину, потом таким же осторожным движением взял правой уздечку, перекинул наперед, закрепил, цепляя пальцами

гриву. Ходившая быстрыми волнами кожа выдавала его внутреннюю дрожь. Оскал стал неузнаваем.

— А знаешь, дружок, мне очень хочется сесть на тебя. Смотри, я тебя предупредил. Согласен? Ты видишь, я уже подбираюсь с этого бока... Нет-нет, я все еще глажу тебя, все глажу... А теперь ты позволишь, мой огненный дракон?..

Рука моя ходила по холке, не выпуская уздечки и шелковистых прядей гривы, потом пальцы левой руки тоже ухватили гриву. Я сделал еще одно предупреждение, подогнул колени, вскочил ему на спину и приник лицом к его шее. Он не дрогнул.

Восхищенный ропот прошел вдоль стен, где толпились зрители. Я подозвал Марту:

— Уцепись обеими руками за мою руку, за кисть. Прыгай, да прыгай же!

Она уселась как-то боком, запутавшись в юбках. Пробормотала мне в спину:

— Хм, как же я буду держаться, я ведь в первый раз...

— Обхвати меня за талию, только покрепче!

Я зажал уздечку между большим и указательным пальцами. Легким наклоном я повернул коня к воротам; слегка сжав колени, пустил его тихой рысью. Привратник не без робости спросил:

— Вы знаете эту лошадь?

— Она же его,— отрезала Марта.

Уже на улице Сент-Онорэ у нее вырвался упрек:

— Галопом надо было выехать из ихнего двора.

— Вот как!

И я поднял коня в галоп.

* * *

Никогда мне не забыть фантастическую скачку в самом сердце Парижа—от церкви Мадлен к Центральному рынку, от Тюильри к Опере. Ничто не могло нас остановить.

Той ночью «друзья Порядка» раздавали патроны на площади Биржи. Тройные кордоны буржуа, набитых патронами, как пороховницы, перегородили улицы и улочки у выхода к Бульварам. Дан был приказ оставить открытыми двери и полуоткрытыми окна нижних этажей. Дом за домом занимали отряды буржуа. Центральный рынок стал их укрепленным лагерем.

И всюду одно: проход запрещен.

И всюду мы проходили.

Как знать, может, эти вояки-богатеи не могли и вообразить себе, что такая породистая лошадь служит федератам? Так или иначе, наше появление изумляло их безмерно. Они отскакивали в сторону с ошеломленным видом. Пропустив нас, они что-то радостно кричали нам вслед, но мы были уже далеко, и где-то позади, за нашей спиной, оставались их жалкие баррикады.

Возможно и другое: мы с Мартой и конь наш были просто красивы. Вот и все.

Как сейчас вижу нашу огромную косматую трехглавую тень. Особенно фантастично вырисовывалась она не в свете газовых рожков, а в отблесках пламени бивуачных костров, когда наша конная группа вытягивалась по стенам домов до самых верхних этажей, под стать видениям Апокалипсиса.

Марта решила: «Назовем его Феб». Не знаю даже, как пришла ей, самоучке, в голову такая кличка, видно, подхватила это словцо на наших клубных сборищах.

Нынешней ночью Чрево Парижа на мече и кропиле клянется извести Коммуну. Солдафоны и ханжи чувствуют себя сильными, и все же мы, мы скачем сквозь Париж как победители.

Останавливаюсь по требованию Марты перед рестораном:

— Сахару для Феба и морковки!

Лакейская братия спешит нам услужить, не жалея хозяйского добра.

Вижу ясно Феба, и Марту, и себя, стараюсь увидеть нас троих глазами ихнего часового, окаменело торчащего на тротуаре.

Грудь у меня стынет на ветру, спине горячо, слезы туманят взор, радостная дрожь пробегает по телу, слышу, как мурлычет себе что-то под нос Марта, ловлю веселое ржание Феба — и от этого еще слаще бьется сердце.

Когда при мне произносят слово «СЧАСТЬЕ», я каждый раз думаю именно об этих минутах.

25 марта.

Много шуму из ничего. Вооруженное восстание толстобрюхих провалилось.

Центральный комитет Национальной гвардии возложил военное руководство на триумвират в составе Брюнеля, Эда и Дюваля. Федераты добились капитуляции мэрии Лувра без единого выстрела, и к счастью! Ибо, открыв ящики, убедились, что забыли зарядные картузы.

Окончательно разочаровавшись во всем, адмирал Сэссе, переодевшись, бедняга, в штатское, пешком поплелся в Версаль.

Наш «Пэр Дюшен» в номере от 4-го жерминаля 79 года — то есть от вчерашнего дня — вежливо обращается к «национальным гвардейцам II округа и ко всем, кто именует себя «друзьями Порядка», с советом соблюдать спокойствие и не проливать больше крови на улицах Парижа».

Экземпляр газеты, которым я владею, побывал до того в руках Предка, и я обнаружил там следующие подчеркнутые карандашом строки:

«Хватит проливать кровь во имя этой людоедской абстракции, которую вы называете Порядком, а главное — хорошенько подумайте: без логики нет права...

Где та сила, в которой власть, какова бы она ни была, черпает свой авторитет?

Сила эта — воля народа.

Но воля народа по природе своей не есть нечто неизменное, несменяемое, чуждое прогрессу.

Итак, право каждого поколения дать свою формулу, узаконивающую Революцию и уполномочивающую в определенный исторический момент некую дееспособную группу, в отличие от других, менее дееспособных, организовать движение, выступить против установленного порядка вещей, с тем чтобы впоследствии подчинить себя контролю народа и суду нации».

* * *

И речи быть не может о том, чтобы отдать нашего Феба на попечение кучерам с улицы Рампоно, которые, кстати сказать, прекрасно ухаживают за упряжкой пушки «Братство».

Привязали мы нашего жеребца перед сапожной мастерской, где раньше стоял старикан Бижу. Доступ к водоразборной колонке стал труднее — приходится делать крюк,— но хозяйки не жалуются — слишком уж они гордятся нашим новым жильцом.

Утро 28 марта.

Как ни принуждал себя, эти выборы* не вызывали у меня восторга. Предок говорит: «Иметь ружья — и выпрашивать голоса...»

Афиши. Афиши. Афиши. Центральный комитет Национальной гвардии призывает голосовать «за тех, кто способен лучше служить вам, а это те, кого вы изберете из своей среды, кто живет той же жизнью, что и вы, страдает от того же, что и вы». Комитет советует народу не доверять «говорунам, не способным перейти от слов к делу, готовым всем пожертвовать ради красного словца, ради эффектного жеста на трибуне, ради остроумной фразы. Избегайте также и тех, к кому слишком благосклонна фортуна, ибо тот, кто владеет состоянием, отнюдь не склонен видеть в бедняке брата...».

Голосование происходит с восьми утра до полуночи. Трусеттка и ее комитет бдительности принимают избирателей в мэрии XX округа и в канцелярских помещениях, которые наши дамы разукрасили цветами и алыми полотнищами.

Национальные гвардейцы подходят к урне с подчеркнутой серьезностью. Они позволяют себе смеяться перед и после голосования, но несколько шагов проходят торжественно и тихо. Тайну голосования отвергают с каким-то даже неистовством. Утаивать свой выбор — в этом есть что-то подозрительное. Трусеттка в связи с этим распекает своих подружек:

— Тайна голосования — это ведь демократическое завоевание. Народ дрался за это!

— А теперь эта тайна оборачивается против народа!— протестует Мари Родюк.

— С чего это ты взяла? А если и так, тем важнее соблюдать тайну!

— Взяла, взяла! — передразнивает Мари.—А для чего толстяк Бальфис прячется? Зачем это нужно, если он голосует за Флуранса и Ранвье?

— А может, и голосует? Может, боится, что все иначе обернется...

— Ты что, и в самом деле так думаешь? — вмешивается Ванда.

— Нет, но все может быть!

— Знаешь, аптекарь тоже скрывается,— шипит Селестина Толстуха. В ее глазах каждый, кто не размахивает на виду у всех своим бюллетенем и не орет «Флуранс — Ранвье», просто-напросто личность подозрительная.

Тетя не без труда убедила свое войско в юбках, что избирателю надо оказывать особое внимание, даже если ты в нем не уверена.

— Эй, господин Диссанвье! Не угодно ли рюмочку? Социальная республика угощает! — бросает Мари Родюк таким тоном, что аптекарь не решился бы выпить, если бы даже умирал от жажды.

Опуская бюллетень в ящик, многие избиратели чувствуют потребность сказать несколько слов, коротенькую фразу, приготовленную заранее.

Ферръе: — За то, чтобы народ поумнел!

Шиньон: — Чтобы короли и священники с голоду подохли!

Есть и такие, кто считает нужным внести поправку в то, что сказал предыдущий избиратель. Так, Гифес провозглашает: «За то, чтобы воцарился труд!» — реплика на слова Пливара: «За то, чтобы рабочий подыхал не от непосильных трудов, а от несварения желудка!» Или Матирас: «Чтобы провалился мой хозяин!» — в ответ на жалобный вздох Бастико: «Чтобы снова у меня была работа!»

Иногда такие афоризмы сопровождаются выразительным жестом. Нищебрат заносит свой бюллетень, как кинжал: «В бога целю!», но идущий сзади дядюшка Лармитон шлет: «Поцелуй Марианне!»

Голосовать приходят вооруженные, каждый на свой лад. В первые часы, чтобы избежать всяких споров о результатах выборов, Ранвье счел разумным отбирать ружье при входе и возвращать при выходе. А смысл какой? Почему не пропускают с нашими ружьишками, а с пистолетами, саблями и кинжалами разрешается? Некоторые были так увешаны оружием, что разоружение их было равносильно раздеванию и потребовало бы уйму

времени. Они протестовали: «Ведь только минутка одна — войти и выйти». Кое-кто острил: «Самому Тьеру не удалось забрать у меня мой самострел, так что и ты лучше не пытайся».

Больше всего хлопот было с ружьями. Кто доверял подержать их товарищу, кто приставлял к стене... Ружье — символ. Бельвильцы и распевают, и смеются, опираясь на свои ружья. Они не страдают подозрительностью, они сами от всей души требовали этих выборов. Но что, если, скажем, результаты будут не те, каких мы ожидаем?..

Это вроде ежегодной ярмарки — встречаешь давно забытые лица. Одни улыбаются — запомнились еще с тех пор, когда мы собирали бронзовые су, с другими шли плечом к плечу по Бульварам 4 сентября, а вон с теми прятались вместе во время стрельбы 22 января на площади Ратуши. Все говорят: «Кажется, так давно это было!» Молодых парней и не узнаешь: переменились, отпустили бороды и кудри. Кепи еле держатся на буйной шевелюре. Физиономия федерата: смех из чащи кудрей.

Возле мэрии — господин Бальфис с двумя толстопузыми своими дружками, местными коммерсантами. Слышу, как наш мясник пророчествует:

— Из ихнего ящика Пандоры они получат то, что им требуется!

— По-моему, самые обычные муниципальные выборы,— возражает один из толстяков. Кажется, он трактирщик с улицы Пуэбла.— Законные. Призыв ко всеобщему голосованию утвержден мэрами, облеченными властью...

Марта пожимает плечами.

Возле помещения для голосования много говорят о проблеме законности. Какой-то рабочий ссылается на факты:

— Позавчера меня вызвали к гражданам Варлену и Буи, членам Центрального комитета, «с целью вскрыть сейф пятой канцелярии — поступления и расходы — Парижской мэрии» — так было написано в ихней бумаге...

— Небось много там было? — нетерпеливо спрашивают сразу несколько голосов.

— Один миллион двести восемьдесят пять тысяч четыреста пять франков наличными, что подтвердили присутствовавшие при операции пять свидетелей.

Разговор смолк ввиду появления двух всадников

в красном: Пальятти и Каменского, адъютантов Гарибальди, состоящих при руководителях Центрального комитета для особых поручений.

Они оставляют на мое попечение своих коней, а сами отправляются к Ранвье и тут же спешно отбывают. Исчезают в озаренной солнцем теснине Гран-Рю, быстрые, сверкающие, как две капли крови на хорошо смазанном клинке.

— Теперь, когда мы свое сделали,— говорит усталым голосом Бастико,— можно отложить ружье и взять в руки молот.

— Но не прежде, чем все остальные тоже отложат ружья,— не соглашается Матирас.— Иначе едва ты отвернешься, чтобы взяться за молот, они тебе в спину выстрелят.

Бастико упрямо трясет своей большой башкой:

— Гвардию собрать недолго, а вот работу наладить куда сложнее. Придется заново делу учиться, инструмент в руках держать. А ружьишко схватить в случае надобности недолго — услышишь тревогу, и беги. Верно, Гифес, я говорю?

Наш интернационалист, явно встревоженный, переходил от группы к группе. Для него слово есть слово. Когда речь идет об интересах пролетариата, всякий спор — дело важное. Гифес считал своим долгом дать отпор любой ложной идее, даже если кто-нибудь что-нибудь просто сболтнул шутки ради.

— По-моему, Бастико прав,— отвечает Гифес, лейтенант бельвильских стрелков.— Тем более что реакционеры распустили слух, будто французские интернационалисты действуют по наущению Маркса. Дескать, он их подстрекает к забастовкам, чтобы повысили заработную плату, и тем хочет подсобить нашим немецким конкурентам. Глупее выдумать нельзя, но пропускать такие разговоры мимо ушей тоже не годится.

— Хозяева не желают открывать мастерские,— говорит Фалль.— Они устроили локаут.

— А вы сами откройте их, без хозяев,— посоветовал Предок.

Гифес посмотрел на него с восхищением. Вот у кого надо поучиться!

* * *

Мы совсем не спим. Некогда. После выборов ночью подсчет голосов. Затем ликование. Вести летят со всех концов Парижа, оглушают криками и взрываются на перекрестках громогласным «виват». Дробь барабанов, трубачи играют что бог на душу положит, поскольку счастье не предусмотрено в музыкальном репертуаре казарм. Над толпой взлетают кепи, как пробки из бутылок шампанского.

Всего было избрано 86 человек, в том числе тринадцать членов Центрального комитета Национальной гвардии, двадцать бланкистов, семнадцать интернационалистов, семнадцать буржуа... Двадцать пять рабочих, и среди них тринадцать входят в Интернационал. Много совсем молодых. Только двадцать избранных старше пятидесяти лет, а двадцать шесть моложе тридцати.

Кандидаты буржуа победили лишь в XVI и частично в VI и IX округах.

— На сей раз, гражданин Флуранс, ты войдешь в Ратушу на законном основании,— замечает Гифес.

— На всякий случай выдвиньте-ка вперед вашу пушку «Братство»,— отвечает вождь мятежников,— так нам будет спокойнее.

В предместье Тампль кумушки говорят: «Это ребячья пушка!»

Пройти к нам не просто, почти как в самые боевые дни. Баррикады, построенные еще 18 марта, высятся по-прежнему, из амбразур выглядывают митральезы и пушки, над каменным гребнем баррикад поблескивают штыки.

«Братство» царит среди орудий всех калибров, составляющих наш артиллерийский парк, их подкатили сюда в дни, когда надо было дать отпор реакционерам.

История о том, как переплавляли наши бронзовые грошики в пушку «Братство», обошла все пролетарские батальоны. Литейщики Данфера оглаживают этот чудодейственный сплав, машинисты Монпарнаса, среди которых затесался каретник с Гут-д'Ор, толкутся вокруг нашего «громобоя», и глядят они понимающе, как прасолы, присматривающиеся к пригнанному скоту. Ружья носят на ремне только те, кто в карауле. Остальные ружья

составлены в козлы. На тротуар брошены тюфяки и охапками сено.

То один, то другой федерат взглядывает на небо и улыбается. От голубизны поднебесья веет теплом, лаской.

— Погода за нас.

Из рук в руки переходят газеты, шелестят, как крылья. Одни читают по уголкам в одиночку, другие бормочут себе под нос, третьи беззвучно шевелят губами, разбирая по слогам. Собираются кучками и читают сообща. Кое-кто уже успел прочесть и передать листок соседу, начинается обсуждение статьи, потому что всех волнует прочитанное.

Сцена эта привлекла внимание только что этой ночью избранного депутата. На нем красная перевязь с золотой бахромой. Положив руку на плечо своему спутнику, толстяку капитану, он говорит, не в силах сдержать волнения:

— Ты только подумай! Никогда ведь такого не бывало, ни в одной армии! Солдаты сообща читают газету, открыто выражают свои чувства, обсуждают политические новости, важные идеологические вопросы. Солдат — гражданин!

— Армия-то революционная, Антуан!

— Национальные гвардейцы не обычные солдаты, это живые идеи.

Сейчас у нас в ходу этакое чуть насмешливое рыцарство. Федераты, шумно расшаркиваясь, помогают женщинам перебираться через баррикады. Домашние хозяйки, работницы, жены, сестры, дочки носят на голове корзины или вешают их на руку. Другой рукой они придерживают юбки, громко смеясь при этом. Их карапузы ползают по мостовой на четвереньках.

Здание Ратуши забито вооруженными людьми. Целые роты спят прямо на соломе у подножия беломраморной лестницы, поднимающейся вверх двумя крыльями, спят в крытом дворе под стеклянными сводами. Спят они вповалку в самых причудливых позах. Дни и ночи они носились по Парижу, волоча пушки, вырывая булыжники из мостовой, опрокидывая кареты, а сейчас сон сразил их всех подряд.

С непривычки невольно шарахаешься, очутившись в этом спертом воздухе, пропитанном чесночным духом и крепким запахом пота.

Бойкая рыжеватая блондинка в шароварах, какие носят зуавы, осторожно пробирается по этому бранному полю. Она угощает желающих горячим кофе.

Маркитантки расположились со своими кухоньками в галереях. У них и вино, и хлеб, и колбаса, и суп с овощами и мясом, не говоря уже о водке в маленьком бочонке.

Вестовые, офицеры, депутаты, члены Центрального комитета Национальной гвардии, которых можно узнать по красным перевязям с серебряной бахромой, непрерывно снуют по коридорам и лестницам; все они спешат куда-то, у всех каждая минута на счету. Только попав в Тронный зал, где их ждут с утра накрытые длинные столы, люди вспоминают, что уже давно ничего не ели. Проходит несколько минут, и большинство из них с недовольной миной убегают, позвякивая шпорами, окунаются снова в гущу дел. У них и в самом деле времени в обрез...

Перед каждой дверью двое часовых, возле окон — ружья в козлах. Столы ломятся под грудами приказов, прокламаций, циркуляров, запросов, планов, каких-то записей; сабли и револьверы служат вместо пресс-папье.

— Не видели Гранжана?

— А это кто?

— Депутат от I округа.

— Наиболее подозрительный округ.

— Да, зато сам Гранжан молодец!

Сюда приходят представители мастерских, квартала. Каждый ищет «своего» избранника.

— Где помещается Центральный комитет Национальной гвардии?

— Не знаю!

— Никто, значит, не знает, дьявол вас дери!

У сердитого посетителя перевязь на груди с золотой бахромой.

Каждый кого-то или что-то ищет, такого-то человека или такую-то комиссию, потому что только они могут решить данный вопрос, не терпящий отлагательства. Бывает, что так и не удается найти концов. Люди и организации, вытесняемые то штабом, а то и просто шумом и суматохой, переезжают с места на место.

Даже по малой нужде отлучиться нельзя, возвращаешься, а свои уже неизвестно где... Ищи-свищи!..

Ругаются ругательски, а лица улыбающиеся.

Майор, очень щеголеватый, прищелкивает оторвавшейся подошвой и объявляет:

— Ох, у меня сапоги уже неделю каши просят!

— Гражданин, ступайте на Ломбардскую улицу, это совсем рядом, там моментально починят.

— Вы что, смеетесь надо мной!

— С чего это вы взяли?

— Я сам сапожник!

Стратеги из фабричных цехов и лавчонок стоят перед одним из длинных столов с кружкой в одной руке, с сосиской — в другой и с упоением переделывают мир.

Мальчишка-подмастерье, весь перепачканный мукой, явился по поручению хозяина, который желает узнать, обеспечены ли зерном мельницы. Возницам требуется переговорить с кем следует о фураже. Знаменосцы интересуются, какой предусмотрен порядок следования батальонов на предстоящем сегодня смотре. Что будут исполнять фанфары? Ведь музыканты знают только Марсельезу и «Песнь отправления».

— Эй, Марта! Где заседают граждане с Монмартра? Вы, бельвильцы, должно быть, уже знаете, что́ тут, в Ратуше, и где!

Моя смуглянка порхает, как мотылек, успевает откликаться на вопросы десятков людей, которых я в глаза не видал, и в XV и в XVIII округах она, по-видимому, так же популярна, как и в Бельвиле.

* * *

Огромная толпа теснится на площади, тротуарах, улицах, мостах, люди высовываются из окон, взобрались даже на крыши. Всюду руки, размахивающие флагами, носовыми платками. Не открываются ставни только на окнах вторых этажей: тут хозяева или в бегах, или не желают показываться, злятся. Мальчишки, мальчишки повсюду! На карнизах, на балконах. Беззастенчиво взгромоздились на плечи статуй! На подмостках, возвышающихся перед Ратушей, задрапированных красной материей, за длинным столом занимают свои места члены Центрального комитета Национальной гвардии, опоясанные красной перевязью с серебряной бахромой. Все они в форме Национальной гвардии. За их спинами статуя Генриха IV — «единственного короля, о котором народ сохранил хоть какую-то память», — утопает в красных флагах.

Мраморный бюст Республики облачен во фригийский колпак. На груди красная перевязь.

Издали кажется, что на перекрестках подымаются холмики: это просто толпа облепила баррикады. Женщины хлопочут вокруг своих мужей, пришивают им пуговицы или нашивки, поправляют воротничок, а те с насмешливой улыбкой принимают эти заботы: неловко все-таки перед товарищами, соседями по баррикаде. Покончив с починкой, жены начинают до блеска начищать «свое» орудие.

Не было ни особых обращений, ни афишек, а народ уже здесь. Явились национальные гвардейцы. Говорят, их пришло больше ста тысяч. Сердца замирают, когда под звуки фанфар, под дробь барабанов движутся по улицам Риволи, Тампль, по Аркольскому мосту вновь сформированные батальоны. Неистовый вопль восторга поднимается над трепещущей от гордости толпой, когда на площадь вступают верные народу матросы, моряки из фортов. Предместья всем сердцем чувствуют, какое это счастье— иметь на своей стороне людей, для которых носить оружие не забава, не случай, знать, что профессиональные военные, не чинясь, вливаются в народную армию. Блеском штыков, золотом и серебром погон сверкают на солнце ряды новоприбывших.

Батальоны выстраиваются вдоль решетки. Больше всего здесь красных знамен, увенчанных пикой или фригийским колпаком, но есть и трехцветные знамена, перехваченные алой лентой. Красный цвет повсюду — красной бахромой украшены приклады ружей, красные банты, красные ленты спиралью на пушечных стволах.

Из разных провинций Франции приходят добрые вести, пролетают, сверкнув в солнечных лучах, в весеннем воздухе: восстания и провозглашение Коммун в Сент-Этьене, Марселе, Крезо, Лионе, Тулузе *.

— Помнишь, Гюстав,— говорит Ранвье,— ведь ты как раз это провозглашал 31 октября, расхаживая по тому зеленому ковру под самым носом у Трошю.

Флуранс лишь улыбается в ответ. Как грустно все это! Оба они — в парадной форме, в красной перевязи с серебряной бахромой — направляются к подмосткам. Люди расступаются, давая им дорогу.

Женщины Дозорного, не отрываясь, глядят на своих мужчин, словно бы ставших выше ростом, застывших по стойке «смирно» в первых рядах стрелков, которым только

что делали смотр Флуранс и Ранвье. Мундиры стрелков подштопаны, вычищены, выутюжены.

— Намерзлись мы этой зимой и наголодались. Вспомни-ка,— говорит негромко Клеманс Фалль.

Бландина Пливар, большелицая, бледная, молча кивает головой.

— Опять мы сплоховали,— бурчит Марта.— Нашу пушку надо было выкатить на набережную.

— Это еще для чего?

— В честь Коммуны будут палить как раз с набережной.

— А все ты! Ты сама ведь решила, что пушке «Братство» лучше стоять у главного входа, чтобы отовсюду ее было видно.

— А если ее перетащить?

— А как же она тут пройдет?

Марта и сама понимает, что никто, даже она, не пробьется с такой махиной через эту толпу.

Впрочем, она успокаивается, услышав от Пассаласа, что на набережной будет салютовать пушка Коммуны 1792 года.

Воздух Парижа ударяет в голову как вино, один впадает в злобную мрачность, другой задыхается от счастья. Судя по обстоятельствам.

Бьет четыре.

Ранвье выпрямляется, в руках у него белые листки, но, поразмыслив секунду, он сует их обратно в карман.

— Центральный комитет Национальной гвардии передает свои полномочия Коммуне. Слишком переполнено счастьем сердце, дорогие граждане, чтобы произносить речи. А посему позвольте мне только восславить народ Парижа за тот великий пример, который он ныне дал миру.

Бурсье, владелец кабачка с улицы Тампль, называет имена избранных. Его трубный голос бьется о стены фасадов.

— Знаете, почему это поручили Бурсье? — говорит Трусеттка.— Потому что его младший брат был убит на улице Тиктон в 1851 году.

— Две пули угодили в голову мальчонке,— уточняет Лармитон.

Барабаны бьют поход. Оркестр гремит Марсельезу, подхваченную всем Парижем, будто она вырвалась из одной груди.

Едва смолкают последние ноты, в наступившей тишине слышится зычный голос Ранвье:

— Именем народа провозглашается Коммуна!

Голос пушки 92 года сотрясает землю под нашими ногами.

Да здравствует Коммуна!

Остриями сотен штыков подброшены в воздух сотни солдатских кепи. Плещут знамена. На площади, на балконах, на крышах тысячи и тысячи рук машут платками.

Десять, двадцать, сто пушек, нет, больше проникают гулом в недра Парижа. Марта вся дрожит. Она до боли сжимает мою руку. Из-под зажмуренных век выкатываются и бегут по нежно очерченным щекам слезы, две жемчужины, тяжелые, медлительные, как ртуть. В солнечных лучах блестят глаза, горят щеки.

Трусеттка всхлипывает на плече у дяди Бенуа.

Затем парад батальонов под командованием Брюнеля. Проходя перед бюстом Республики в красном фригийском колпаке, строй склоняет знамена, офицеры салютуют саблями, солдаты подымают над головой ружья.

Парад продолжался до семи часов вечера.

Впоследствии, отгоняя кошмары, я заставлял себя засыпать, вспоминая шумный прибой энтузиазма тех далеких дней.

И опять все тот же прибой. Он будит меня почти каждую ночь с тех пор, как я взялся снова перечитывать этот дневник, с первых же его страниц.

Полночь.

Легковейная ночь над Парижем. Фанфары, притомившись, умолкли, в последний раз отозвавшись в глубине кварталов, где народ, следуя за войсками, принимает участие в заключительном факельном шествии. Наконец-то, впервые с 18 марта, ни одного боевого приказа не было дано часовым, и позади нас погасли все окна Ратуши.

Как обычно, возвращаемся в Бельвиль через предместье Тампль, но на сей раз Феб скачет рядом с коляской, где бок о бок с Флурансом сидит Ранвье. Провожая их, Жюль Валлес сказал:

— Какой день! Мы можем умереть хоть завтра, наше поколение удовлетворено! Мы вознаграждены за двадцать лет поражений и страхов.

Обрывки музыки: тут и там танцуют, не знающие устали духовые оркестры дают импровизированные концерты.

Наши избранники — члены Коммуны — собрались сразу же после парада, в девять часов вечера, в зале бывшего муниципального комитета Империи. Председательствовал старейший по возрасту дядюшка Белэ*. Предок называет его «епископ-атеист».

Родившийся еще при Конвенте, избранник VI округа гражданин Шарль Белэ — испытанный борец за свободу. Инженер, депутат от радикалов во время Июльской монархии, он был комиссаром Республики в Морбигане в 1848 году, позднее пришел от либерализма к социализму. Этот бретонец, один из видных деятелей промышленности, был в числе основателей Интернационала, но отказался войти в его органы. И сказал своим рабочим: «Пусть рабочие остаются среди рабочих, не принимайте к себе ни капиталистов, ни хозяев».

В прошлом году в Меце старый Белэ — долговязый, кожа да кости — встретил на дороге улана и убил его ударом дубинки, которая заменяет ему палку.

Члены Коммуны, сурово приглядываясь друг к другу, знакомились. Одни требовали, чтобы Бланки, все еще томившийся в тюрьме, «был, не дожидаясь освобождения, избран почетным председателем!». Другие напоминали о необходимости проверить результаты выборов в соответствии с законом, что вызвало протестующие крики: «Хватит, все уши нам прожужжали своими законами! В конце концов, у нас революционный орган! Так или нет?»

Делеклюз: — Центральный комитет Национальной гвардии не передал нам официально и непосредственно свои полномочия!

Лефрансэ: — Пустые формальности! Поскольку Коммуна провозглашена, мы существуем.

— Граждане, наша власть законна или нет?

— Как-как? Чисто академический вопрос!

Один из членов Коммуны от буржуазии: — Но ведь Национальное собрание все же существует!

— За пятьдесят лет во Франции пять раз менялось правительство: легитимистское, орлеанистское, республиканское, бонапартистское, императорское, ни одно из этих правительств не было избрано! А наше избрано!

По вопросу о том, сообщать о ходе прений или нет, мнения также разошлись на этом первом заседании Коммуны.

— Народ должен все знать!

— Нет! Мы не муниципальный совет забытого богом местечка, мы военный совет, и мы не допустим, чтобы наши решения становились известны врагу!

Все это, как говорят, происходило в немалом беспорядке и шуме, каждый громким голосом отстаивал свою заветную идею: полная отмена смертной казни, несовместимость мандатов депутата Национального собрания и члена Коммуны, срочная замена стражи у заставы Насси и Отей федератами.

Я не только разочарован, но и немало удивлен: там, на площади, сотни тысяч сердец парижан бьются в унисон, а во втором этаже отвоеванной нами Ратуши наши же избранники сцепились, как тряпичники! Но Предок, тот не удивлен и не обескуражен:

— Слушай, сынок, скоро ты и сам узнаешь: только восстание прекрасно. Только борьба. Стоит завладеть добычей, и тут уж не Революция, тут уже Власть.

Центральный комитет Национальной гвардии был не слишком расположен передать кормило власти в другие руки. Избранникам Парижа пришлось вызвать слесаря, чтобы тот открыл дверь зала заседаний. Часовых не предупредили, и первым из прибывших пришлось долго объясняться с охраной. Словом, трений было предостаточно, но Флуранс и Ранвье старались не распространяться об этом.

Предка огорчает в этих мелких стычках больше всего то, что «извечные», как он выражается, человеческие слабости заставляют нас зря терять время.

— Самое неотложное сейчас,— твердит он,— выступить ночью со всеми войсками в поход на Версаль, чтобы окончательно уничтожить машину буржуазного государства.

* * *

Все чаще и чаще наши мысли занимает Версаль.

— Так-то оно так, но как поступят немцы, если мы начнем наступать? Они сохраняют свои позиции, держа в осаде всю восточную часть Парижа.

— А им плевать, что мы предпримем!

— Не думаю! В их глазах мы по-прежнему за войну

до последнего, и мы, дескать, хотим свергнуть правительство, которое заключило с ними мир!

По-видимому, Бисмарк был в затруднении из-за противоречивых сообщений своих шпионов. По одним данным, Париж был в руках темных элементов, и население якобы торжественно встретит пруссаков, которые явятся восстановить порядок. Другие утверждали, будто именно народ взял власть и что он, народ, будет эту власть защищать, улица за улицей, дом за домом, что он готов вести баррикадные бои, в которых он не имеет соперников, меж тем как немецкие части к этому плохо подготовлены.

Коммуна учредила десять комиссий. В одну из наиболее важных — Военную комиссию — были направлены от Центрального комитета Национальной гвардии Флуранс, Ранвье, Бержере, Эд, Дюваль, Шардон* и Пенди.

Один из лучших стратегов, Брюнель, не вошел в эту комиссию. Ему ставилась в вину причастность к попытке буржуазных мэров посредничать в переговорах с Версалем. Военное руководство так и останется яблоком раздора между Коммуной и Центральным комитетом Национальной гвардии.

Прибыв по поручению Флуранса с запиской к Ранвье, я жду, пока Ранвье объясняется с двумя своими оппонентами в красных перевязях.

— Мы хотим,— говорит с легким акцентом один из них, низенький, болезненного вида, щуплый человечек,— утвердить право трудящихся, а оно может зиждиться лишь на моральной силе и убежденности: пусть деспоты охраняют право, вернее, то, что они называют правом, с помощью картечи! *(Франкель*, венгерец, рабочий-ювелир, Делегат труда, промышленности и обмена.)*

— Мы должны превосходить своих врагов моральной силой! — поддерживает его пришепетывающий верзила с мягкими широкими жестами, кукольным личиком, украшенным вьющимися усиками. *(Верморель.)*

Господин Тирар, буржуазный мэр, избранный в Коммуну от II округа, подал в отставку. Он пытался объяснить, что согласился быть членом муниципалитета, но

что Коммуна решила заниматься политикой. Его сразу прерывают:

— Вы за Париж или за Версаль?

— По всей форме я имею полномочия от Версаля. Что касается мандата, который было угодно выдать мне здешними избирателями, то, во-первых, он не оформлен как должно, а во-вторых, вы его применяете в духе, для меня неприемлемом!

— Вы изволили заявить, что путь, каким пускают в Ратушу, известен, но всегда есть риск, что тебя там прикончат.

— Я просто сказал, что нельзя быть уверенным, что выйдешь оттуда.

Ему и еще семерым другим буржуазным членам Коммуны, также подавшим вслед за ним в отставку, предоставили убраться подобру-поздорову. Скатертью дорога!

Шиньон негодует. Слишком уж церемонятся с врагами народа.

— Опять «Оффисьель» толкует насчет того, чтобы договориться по вопросу о центральной власти. С версальцами на сей предмет один разговор: лишить их власти!

Таковы отдельные резкие ноты в общей песне Парижа, изголодавшегося по счастью, по великодушию.

Валлес пишет:

«Пусть звенит на ветру рожок, пусть бьют барабаны в поход.

Обними меня, товарищ ветеран, у меня ведь тоже пробивается седина! Ты, малыш, за баррикадой играющий в мяч, подойди и дай мне себя обнять!

18 марта спасло тебе жизнь, мальчуган. Тебе не придется, как нам, жить с малых лет во мгле, брести по грязи, мараться в крови, подыхать с голоду, подыхать со стыда, знать, как больно ранит бесчестие.

Конец всему этому!

Мы проливали слезы, чтобы ты не плакал, мы отдавали свою кровь, чтобы сберечь твою! Ты наш наследник. Сын отчаявшихся, ты будешь свободным человеком».

Нет, он не выглядел воинственным, этот вооруженный Париж! Мы-то проносились по улицам взад и вперед по нескольку раз в день — Феб, Марта и я. Случайные прохожие, незнакомые люди обмениваются оглушительным «гражданин», сопровождая это обращение по-детски радостной улыбкой. Свадебные кортежи весело шествуют

по Гран-Рю, не зная толком, ждет ли их гражданин мэр в мэрии или его вызвали в Ратушу, а может быть, в штаб батальона, или в клуб, или еще куда-нибудь... Восемь театров снова распахнули свои двери. Так хорошо под ясным небом, так хорошо на сердце, что, кажется, гулял бы весь день и не нагулялся. Парижские предместья, пригороды нищеты, не прочь пошуршать стоптанными подошвами по Елисейским Полям. Тут им, конечно, еще могут попасться господа буржуа, которые начнут злословить: «А что она такое сделала, ваша Коммуна, за две недели своего правления? Наводнила декретами парижский мясной рынок да еще запретила мочиться в неположенных местах!» А простые люди в ответ лишь снисходительно пожимают плечами: «Мораторий на квартирную плату — это, по-вашему, ничего? И наши тридцать су тоже ничего? Бедные, ох и бедные! Слишком они богатые, чтобы это понять!.. И даже распоряжение насчет писсуаров — вещь полезная, и, не сомневаемся, оно будет соблюдаться. Люди с удовольствием поливали тротуар в императорском вашем Вавилоне, а вот наш Париж, город Революций, они чтут свято».

Каждая домохозяйка тщательно подметала перед своей дверью. Метельщики со всем усердием убирали город. Никогда еще не были такими чистыми улицы Парижа.

Счастье смягчает гнев. Люди с удовольствием повторяют слова дядюшки Белэ: «Именно благодаря подлинной свободе, которую Коммуна несет Франции, сможет укорениться Республика в нашей стране. Коммуна теперь не в солдатской шинели, она труженица, ее трудом оплодотворяется мир на нашей земле... Мир и труд — вот наше будущее, вот чем питается наша уверенность в неизбежности возмездия и социального возрождения...»

А Валлес пишет: «Граждане солдаты, чтобы взошли семена Коммуны, заложенной и провозглашенной вчера, завтра нужно встать к станкам, сесть за рабочий стол. Мы все те же, гордые и отныне свободные.

Вчера — поэзия триумфа, сегодня — проза труда».

Над городом теплый свежий воздух, веяние весны доходит до самого сердца, благо мы в распахнутых на груди рубашках.

Феб втягивает ноздрями этот воздух, и дрожь прохо-

дит по его спине. Феб счастлив. Теперь я уже нисколько не сомневаюсь, что это он выбрал нас — меня и Марту. Когда я приближаюсь к нему один, он как будто ищет глазами за моей спиной нашу черноокую хозяйку. Быстроногому Фебу для полного счастья нужно одно: чувствовать на своей спине этих двух всадников и чтобы руки всадницы оплетали мою шею. Мы медленно выезжаем из ворот арки, так же не спеша следуем по Гран-Рю, по разошедшимся и скользким булыжникам мостовой. Как только путь свободен, будь то Бульвары или предместье, Феб, дрожа, скашивает глаз назад, на меня — правый, потом левый, что означает: «Можно припустить?» Я, ослабив уздечку, говорю полушепотом: «Можно, давай, мой прекрасный принц!» Он переходит в галоп и несется стрелой: жалко, что нет у меня в руках чарки с вином, мы наверняка не расплескали бы ни капли!..

— Бери барьер, ребятки! — кричат караульные у баррикады на улице Риволи.

Феб замирает на мгновение, только по обычной своей манере приплясывает от нетерпения на месте: «Ну как, прыгать?»

— Давай, Феб, давай, милый!..

Конь берет препятствие, амбразура позади, отовсюду несутся восторженные крики федератов. Феб—фаворит маркитанток из Ратуши, они щеголяют в жилетах с красными отворотами, в мягких сапожках, в маленьких шапочках с длинными лентами — на манер Итальянской армии времен Первой Республики. Он, Феб, также любимец наших воительниц с ружьем на ремне, с патронташем на боку, в черной фетровой шляпе, коей присвоено петушиное перо. Женские голоса приветствуют наше появление:

— Гражданин Феб, сахарку, пожалуйста! За здоровье Коммуны!

Менее бескорыстно внимание, которым пользуется наш Феб со стороны мужчин из числа кавалеристов республиканской гвардии, вестовых Ратуши, в доломанах, обшитых сутажом, тоже с перьями на головных уборах. Надо сказать, что у большинства из них не лошади, а клячи. Настоящих скакунов у них вообще нет. Уж больно разномастный у этой импровизированной кавалерии конный парк: тут и водовозные лошаденки, и битюги, четвероногие труженики, развозившие раньше молоко...

Вчера я был почти уверен, что лишусь красавца Феба.

Мы только что покинули Ратушу, где вручили Бержере пакет от Ранвье. Привязанный к решетке, Феб стал центром кружка восторженных почитателей, где преобладали вестовые, которых можно узнать по лошадиным хвостам, спущенным на спину на манер конских хвостов у драгун. Нас уже поджидал высоченный малый с предложением обмена:

— А не слишком ли резв этот скакун, чтобы на нем детишки разъезжали?..

Он брал в свидетели насмешливо хихикающих зевак, приподымая свою итальянскую шапочку с павлиньим пером, то распахивал, то запахивал охотничий плащ. На нем были плисовые штаны, заправленные в полусапожки, а за поясом два огромных седельных пистолета.

— А вам взамен отдам эту славную старушку, кляча смирная. С ней шею себе не сломаешь!

Его лошадь, еще недавно таскавшая фиакр, худая и высокая,— под стать своему хозяину, как две капли воды похожему на Фра Дьяволо. Отвязываю Феба, советуясь с ним взглядом, потом передаю хвастуну уздечку.

— Раз вам так загорелось, гражданин, пожалуйста, берите.

Марта ущипнула меня за руку, да еще с вывертом. Хвастун на мгновение заколебался.

— Но... но... конь ведь не оседлан!

— А он под седлом и не ходит. Впрочем, хорошему всаднику седло — оно ни к чему!

Фра Дьяволо не мог отступить под насмешливыми взглядами товарищей. Он вцепился в гриву, прыгнул, но, как только уселся на спину Феба, чуткий конь начал выплясывать на месте, выгнув спину, перебирая ногами. Верзила скатился на землю.

Феб сразу же успокоился и, подойдя ко мне, уперся мордой в мое плечо и в правое ухо. Нет на свете ничего более нежного, чем прикосновение его атласных губ — с этим не сравнится никакой шелк, никакой персик, даже смуглая кожа Марты.

— Ну что ж, теперь ясно, кому принадлежит эта великолепная лошадь!

Фра Дьяволо, ползая по земле, собирал свои пожитки: итальянскую шапочку, пистолеты, а мы, как всегда, разом вспрыгнули на нашего удалого коня, которому не терпелось унести отсюда ноги.

Тетрадь шестая

Мы — нарасхват. Бельвиль — копьеносец Коммуны. Спросите парижанина в любом конце столицы, и он скажет: «Когда понадобится, мы кликнем бельвильцев». А в глазах Версаля Коммуна — это и есть Париж в лапах Бельвиля. Мы полны гордости.

Иногда достаточно одного появления стрелков Флуранса, и все преграды рушатся. Так было и в почтовом ведомстве, где уважаемый господин Рампон отказывался передать свои полномочия гражданину Тейсу*, назначенному Коммуной директором Управления почт. То же имело место во Французском банке, когда нашему дядюшке Белэ преградил дорогу маркиз де Плек во главе четырехсот вооруженных тростями чиновников.

И скачет Феб с улицы Лувра в Ратушу, из Банка в мэрию Менильмонтана!

Пока мы дожидаемся ответа на доставленное послание или конца прений, узнаем новости от других гонцов из отдаленных округов Парижа.

Жан Аллеман прискакал из Версаля взбешенный.

Рабочий-типограф Аллеман был включен в число наборщиков, которым Национальное собрание доверило выпуск своего органа «Журналь Оффисьель», находившегося в руках версальцев. Он сразу же связался с революционными моряками, чтобы подготовить захват Национального собрания одновременно с полицейской префектурой и Отель де Резер-

вуар, где квартировали депутаты. Ядро тайной организации должно было взять Версальский дворец изнутри, меж тем как десять тысяч федератов двумя колоннами устремятся на Версаль через Вирофле и Сатори. И действительно, 25 марта Аллеман, со своими типографами и моряками, воспользовавшись ночным туманом, намертво заклепали девять пушек — из тех, что стояли наготове на плацу. Но Париж праздновал свою Коммуну... Аллеман, опознанный полицейскими, еле ускользнул из рук врага.

Федераты Монмартра не устают говорить о гражданке Луизе Мишель*. (*Незаконная дочь аристократа и его горничной, Луиза Мишель стала учительницей и примкнула к антибонапартистам и анархистам. С ней были дружны Виктор Гюго и Теофиль Ферре. Она предпочитала мужскую одежду и обычно носила с собой оружие. В дни осады Луиза появлялась в церквах и собирала там пожертвования на лечение раненых федератов. Она выступала с оружием в руках 22 января во время похода на Ратушу и 18 марта, когда парижане отстояли свои пушки.*) Она возглавила комитет бдительности XVIII округа и вместе с Елизаветой Дмитриевой* (*которая была другом Карла Маркса и активной деятельницей Интернационала*) создала Союз женщин. Луиза Мишель предлагала казнить господина Тьера и, желая доказать, что дело это легко осуществимое, собиралась лично расправиться с ним, тайком, переодетая, пробравшись в Версаль.

2 апреля 1871 года.

Вербное воскресенье. Небо хмурится. Шиньон бранит погоду: «Страстная неделя. Значит, хорошего не жди».

Ровно в десять Париж сотрясает канонада. Парижане решили было, что это праздничный салют холостыми патронами, потом — что это простое недоразумение. Но вот прибывают первые повозки, а на них раненые, умирающие. Во всех кварталах бьют тревогу. Батальоны собираются, опережая сигнал. Впереди женщины, они торопят мужей, вытаскивают из кухонь все, что имеется съестного.

Огромной волной двинулась человеческая масса, блестя штыками, оглушая топотом ног. Этот поток течет

на запад между заставой Майо и заставой Терн. Слышится тяжелое дыхание, из уст в уста передают:

— Версальцы открыли огонь!

— Открыли без предупреждения!

— Обстреливают Париж!

— Снова начинается осада!

— Возводите баррикады!

— На Версаль! Все на Версаль!

Гюстава Флуранса тревога не застала врасплох. Вчера я отвез генералу Бержере записку от Флуранса следующего содержания:

«Дорогой друг!

Узнав, что ты направляешься в Сен-Клу, я в час ночи прибыл к тебе. Сейчас шесть часов утра. Возвращаюсь в Бельвиль. Если ты предпримешь что-либо, извести меня, будем действовать вместе, ты знаешь, как мне этого хочется. Нужно во что бы то ни стало собрать достаточно сил и выкурить их из Версаля.

Жду вестей.

Твой Г. Флуранс»

Несколько дней назад кавалерия Тьера обстреляла наши аванпосты в Шатийоне и в Пюто. Мы не остались в долгу. Перестрелка не омрачила ликования простого народа, но Флуранс насторожился.

— Достаточно взглянуть на карту, чтобы представить себе, к чему идет дело,— ворчал он.— Тьер непременно активизируется в направлении Курбвуа, ведь это подступы к Версалю. Недоносок приободрился сейчас, так как полученные известия, увы, подтвердились: Коммуне нанесено поражение в Лионе, в Нарбонне, в Тулузе, в Сент-Этьене, в Крезо... А Ратуша тем временем бездействует, черт ее дери! Еще бы! Она занята своими дурацкими диспутами насчет отделения церкви от государства!

Он встряхивает шевелюрой, приглаживает растрепавшуюся бороду. Он все такой же пламенный Флуранс, но теперь пламя это мрачное. И взгляд, которым он с гордостью и нежностью обводит своих стрелков, почти свиреп.

Стрелки Флуранса за эти полгода стали настоящими солдатами. Их жены набили вещевые мешки всем, что нашлось в доме самого лучшего, самого вкусного. А там видно будет. Ведь это последний бросок!

На всем пути следования стрелков их приветствуют комитеты и клубы.

— Бельвильцы идут! Да здравствует Коммуна!

— Бельвиль идет на Версаль!

Впереди фанфары, на перекрестках раздается «Песнь отправления» или Марсельеза. Сначала батальоны шли, строго держа строй, и толпа на тротуарах хранила спокойствие, но вот до ушей солдат и толпы на улицах доходят последние новости: зуавы открыли огонь с криками: «Да здравствует король!» А пехотный полк версальцев разбежался с возгласами: «Да здравствует Коммуна!» Когда волнение улеглось, батальоны снова, хотя не без труда, построились на мостовой: так оседают на дне котелка картофелины, когда перестает кипеть суп. Мальчишки поют:

> К оружию! Вперед на Версаль!
> Подденем на кончик штыков
> Тьера и его дружков!

В Париже все, кто способен носить оружие, устремляются на запад. И в этой сутолоке — ни единой пушки.

— А наша пушечка? — воскликнула Марта.

Кто-то пожал плечами: ведь и одного ружейного залпа будет достаточно, чтобы версальцы в панике разбежались.

— Наши братья пехотинцы только и ждут, когда мы появимся, и сразу воткнут штыки в землю, как 18 марта! — пророчествовал Кош.

Великолепный порыв! Конечно, день провозглашения Коммуны ни с чем не сравним: тогда, 28 марта, на площади перед Ратушей царила радость. Сегодня все иначе — сегодня эти люди чувствуют свою силу, а это ведь тоже радость, хоть и иная. Радость, которую ничто не может омрачить, даже едущие нам навстречу повозки с ранеными. Люди недовольно косятся на старушку, не сумевшую сдержать горького вздоха:

— Опять повезли несчастненьких, мало мы на них насмотрелись во время осады...

Раненые эти из трех батальонов V округа, которые вчера были посланы в разведку. Какой-то сержант без кровинки в лице — он ранен в плечо — стонет:

— У нас было по двенадцать патронов на брата и ружья старого образца. Мы никак этого не ждали.

Солдаты и толпа встречают его слова ревом. Хуже настоящей войны... Это... это уже не игра!

Штыки сверкают на солнце.

Отцы начали тревожиться за своих отпрысков.

— Эй, детвора, убирайтесь-ка отсюда! По домам! — гремит Бастико.

— Голова идет кругом от этой мелюзги, вечно под ногами вертятся! — ворчит Пливар.

При этом отцы обмениваются понимающими улыбками: счастливые ребятишки, им уже не придется переносить все то, что мы вынесли!

Только теперь предместья начинают понимать, чем была их жизнь прежде. И уже одно то, что люди говорят о ней в прошлом, доставляет им радость; подумать только, с детских лет и до глубокой старости вставать на заре, идти на фабрику, прихватив с собой ломоть черствого хлеба, а к ночи возвращаться без сил в свою берлогу. И так всю жизнь. И это еще счастье, потому что вечно подстерегала безработица или болезнь, увечье... Как каторжники, прикованные к тачке, даже недели отдыха не выпадало.

— Ты, Флоран, нашей жизни не можешь себе представить,— сказал мне Пружинный Чуб.— Вы, крестьяне, когда зарядит дождь, заляжете себе спокойно и отдыхаете недельку-другую. Конечно, и на вас есть управа: земля. Но разве ее можно сравнить с нашими хозяевами!

В самом презрении парижского пролетария к крестьянину есть какая-то зависть.

— Я знаю только, что снова так жить уже не смогу,— повторяет Матирас.

— И я тоже, сам понимаешь,— несколько принужденно подхватывает Бастико.— Во всяком случае, так, как жили раньше! — уточняет он и своей огромной ручищей похлопывает по ружейному стволу.

В рядах военных и штатских какое-то движение: с упоением слушают рассказ о том, как генерал Галифэ*, будучи в разведке на мосту Нейи, бросился вперед с саблей наголо, но никто из солдат за ним не последовал. Тут его окружили наши федераты... И отпустили на все четыре стороны.

— Видно, совсем одурели! — орет кто-то.

— Ничуть! Пусть, мол, вернется к своему хозяину и расскажет, какие мы есть!

Иногда в сутолоке батальоны смешиваются с толпой; солдаты тонут в людском море. Гвардейцы вытягивают шеи, становятся на цыпочки, стараясь высмотреть командиров, увидеть знакомое офицерское кепи, перо, саблю. Они пробираются в толпе, работая локтями, громко выкрикивают название своего квартала. В конце концов, разумеется, находят друг друга, но только ненадолго, пока снова не начинается суматоха, толкотня. То, что нет плана действий, никого не беспокоит, хватит с нас планов этих, по горло сыты!

План, конечно, существовал, и неплохой. Главные силы выступают под командованием Бержере двумя колоннами; из них первую, двигающуюся к Аньеру и Курбвуа, ведет Флуранс. Вторую, на Гарш и Вокресон, должен вести Бержере. Все батальоны численностью до 40 тысяч человек с разных сторон устремляются к Версалю...

— Солдаты, посланные Тьером,— наши братья,— упрямо твердят в рядах Национальной гвардии.— Увидят нас и воткнут штыки в землю...

— Это будет прогулка, вроде как 5 октября 1789 года,— заявляет Феррье.

Наш гравер просто обожает этот эпизод из истории Великой Революции. У него собраны картинки, на которых вооруженные женщины — тысяч семь или восемь — тащат пушки по дороге, ведущей на Версаль, а дальше к ним присоединяются тысячи мужчин. Есть в его коллекции и старинный офорт: белые чепчики и косынки, платья красные, желтые, зеленые, розовые и подпись: «Сбор парижских женщин с Центрального рынка и прочих мест в понедельник, перед тем как они выступят на Версаль, откуда возвратятся с хлебом и королем!» Они тащат на лямках огромную пушку и ведут за собой какую-то щеголиху, в воздух взмывают сабли, пики, топоры, трезубцы, дубинки и алебарды.

— Поди потягайся с ними,— с удовольствием напоминает отец Торопыги.— Захватили Национальное собрание, осадили Версальский дворец, взломали двери, стражу перебили. Во вторник 6 октября в два часа дня парижанки привели в свой родной город целый кортеж: пушки, повозки, заваленные мешками с мукой, а в центре шествия медленно следовала единственная карета и в ней пленники — восемь персон: монархия!

— Завтра мы таким же манером привезем Тьера,— заявил Шиньон.— Повторим церемониал с Капетом.

* * *

С наступлением ночи мы расположились на привал в уютных палисадниках деревни Аньер.

Аньер, а также Буа-Коломб и Ла Гаренн, соседние с ним поселки, почти не смыкали глаз. Разбуженные крестьяне встретили нас дружелюбно, но не без тревоги. Предложили устроиться на ночлег на сеновалах, раздали тюфяки. Но батальонам было строго запрещено рассредоточиваться. Ломовики рассказали нам, как разрозненные, беззащитные группки Национальной гвардии были застигнуты врасплох двумя пехотными бригадами врага, оттеснены к заставе Майо. Позже, перестреляв всех своих пленников до одного, версальцы отошли.

— Вы что же, граждане, своими глазами это видели?— приставал Гифес.

Нам как-то не верилось.

— Вот так же видели, как вас сейчас видим,— басил рослый возчик, тыча в воздух толстым указательным пальцем.

— Я когда пришел сюда,— рассказывал старый огородник,— застал врача, который осматривал трупы. «Они все умерли?» — спросил я его. «Разве вы сами не видите — ведь у всех носки ног вытянуты вперед». Это верно, у покойников всегда ноги носками вперед, а я ведь раньше не знал. Они шесть повозок нагрузили мертвецами, в каждой двести ног носками вперед. Мне сказали, что до того отправили еще двадцать так же нагруженных повозок.

Федераты плотнее укутывались в одеяла, стараясь прогнать кошмарное видение этих сотен ног, а все еще сомневались: «Ты что, и впрямь веришь, что они убивают пленных?»

Зажигать огонь было строго воспрещено, поэтому солдаты кое-как перекусили на скорую руку, есть не хотелось, да и спать тоже. Где-то довольно далеко, в самом центре полуострова Жанвилье, женский голос пел про злоключения какой-то Лизон. Напрягая слух, можно было различить лошадиное ржание, звяканье оружия: значит, рядом забились в ночную тьму тысячи людей, напрасно силясь поспать хоть немного, подремать перед атакой.

А там, за ними, лежал огромный Париж, разбросавший свои огни в белесом ожерелье укреплений.

* * *

Заря вставала в запахах сырой земли, в весенних запахах, с обычными деревенскими шумами — куры, петухи, собаки, скрип колес и ворот. На пороги домов выходили женщины с кофейниками в руках:

— Тут на всех не хватит, но вы подставляйте кружки, мы еще сварим...

Рассвет едва проклюнулся, а мир уже огласили радостные птичьи голоса, заполнявшие лесные заросли от Нантерра до Сен-Дени и от Аржантейя до Клиши: воробьи, дрозды, зяблики, снегири, в разных концах леса куковали пять, а может быть, и шесть кукушек.

Затем глухой солдатский топот по деревенским улицам заглушил звуки весны. Наша маркитантка Зоэ, сияющая и розовая, щебетала где-то в первых рядах колонны стрелков.

Издали то тут, то там проносилась над головами гвардейцев шляпа Флуранса, и можно было проследить по ее развевающемуся плюмажу, как он объезжал батальоны с эскортом своих гарибальдийцев.

— Флоран!

Я повернул коня на голос Флуранса. Командир XX легиона говорил своему адъютанту Амилькаре Чиприани:

— Я твердо убежден, что надо было выступить в ту самую ночь, когда приняли решение. Врага требовалось застичь врасплох, обрушиться на него лавиной, пока он почивал на лаврах по случаю своих первых побед. Но Бержере, Эд и Дюваль считали, что энтузиазм — это, конечно, хорошо, но надо навести немного порядка... И вот мы упустили драгоценнейшие часы!

Флуранс взглянул на нас. Вернее, охватил взглядом всю нашу группу целиком: Феба, Марту и меня. И вручил нам послание для Бержере.

У меня мелькнула мысль, что это поручение было лишь деликатным способом удалить нас с поля сражения.

Хорошо помню, что́ ощущал я во время этой скачки по деревенским пригородам, наводненным батальонами федератов, в то раннее утро очень ранней весны, в этот час,

несомненно, последний час настоящего счастья, ничем не омраченной веры. Я вдыхал запах перегноя, свежей зелени, нас обвевал уже теплый слабый ветерок. Я словно вижу, как мы скачем. Слышу крики часовых, узнававших нас: «Смелее, Бельвиль!» Спиной и боками я ощущал теплую тяжесть Марты, ее сплетенные вокруг моей талии руки, ее дыхание, обжигавшее мою кожу под мышками, сквозь рубаху. Она моя ноша, так же как она ноша Феба, я несу ее, подобно тому как матери-негритянки носят своих младенцев на спине, так же, как носили их в своем чреве.

О, какая это была ноша, моя Марта!..

Генерал Бержере ехал в бой в открытом экипаже, на нем были высокие, выше колен, сапоги, просторный редингот, красная перевязь, множество знаков отличия, и в том числе на левом лацкане маленький масонский экер. Положив рядом с собой на сиденье кепи с шестью галунами, он внимательно читал послание Флуранса. И чуть покусывал губы, отчего подрагивала квадратная бородка.

Солдаты, скользя взглядом по его слишком уж щегольской коляске, ворчали себе под нос:

— Если ты не маршал Саксонский, вою́й как положено, не хочешь пешком, так в седле!

Пока генерал беседует со своими офицерами и подготовляет ответ командиру XX легиона, колонна сомкнутыми рядами переходит через мост Нейи. Сидя на коне, я могу, обернувшись, охватить взглядом бесконечную перспективу и в самом ее конце — Триумфальную Арку, вырисовывающуюся в жемчужно-сером свете встающего дня.

Коляска трогается в путь. Нам дают знак следовать позади. Ответ еще не готов. Мы едем рядом с офицерами из штаба Бержере. Они говорят о Мон-Валерьене.

История Мон-Валерьена, начиная с 18 марта и в последующие дни, в буквальном смысле слова невероятна. В момент борьбы за пушки Тьер в панике приказал эвакуировать эту крепость; приказ он нацарапал собственной рукой, забившись в уголок кареты, которая мчала его что есть сил в Версаль. Восставший Париж, самозабвенно празднуя победу, не придал этому эпизоду никакого значения. И грозная крепость — один из ключей к столице —

стояла чуть ли не неделю пустая, пока тот же Тьер не послал туда новый гарнизон.

Проехали штабные, обмениваясь новостями, как видно хорошими. Какой-то капитан, привстав в стременах и обратив к западу свою подзорную трубу, воскликнул:

— На колокольне Буживаля развевается красное знамя!

— Значит, там разведчики Флуранса!

Марта изо всех сил стиснула меня и вдавила подбородок мне между лопаток.

Генерал Бержере приподнялся в своей открытой коляске, продолжая диктовать депешу. Потом опустился на сиденье, подписал и махнул мне рукой.

* * *

И вот именно в эту минуту...

Сунув бумагу в карман, я резко повернул Феба и слегка коснулся каблуками боков своего любимца...

Седоусый офицер успел мне бросить:

— Скажи, сынок, великому Флурансу, что вечером угощаем его шампанским во дворце Короля-Солнце!

Из кустов боярышника донесся свист дрозда.

Мы проехали мимо двух домишек с садиками, огороженными длинной невысокой стеной. А дальше простирались поля, на горизонте темнели деревья у подошвы еще более темной горы.

До последней секунды никто ничего не замечал, разве что Феб: вопреки обыкновению, едва я коснулся каблуками его боков, он взвился на дыбы и резко отпрянул в сторону. Заржал. Марта впилась мне ногтями в живот.

Вот в это мгновение и обрушилось на наши головы небо.

Мы не сразу поняли, что произошло: из крепости Мон-Валерьен били в упор тяжелыми снарядами по колонне Бержере, голова которой как раз поравнялась с воротами крепости.

И почти тотчас же среди свиста снарядов раздался беспощадно резкий и четкий, как удар штыка, тысячекратно повторенный крик: «Измена! Измена!»

Это тошнотворное смешение: чесночный запах пороха и приторный запах крови...

Лошади из упряжки Бержере распростерты, с вывалившимися внутренностями, в липкой луже крови. На траву и на дорогу скатились десятки тел.

— Нас предали!

Дождь снарядов не стихает, они ложатся все гуще, поражают все точнее. Оглашая воздух гневными криками, ошеломленная колонна поворачивает назад:

— Нас предали! Возвращаемся в Париж!

— Верни-ка, сынок, мне депешу!

Седоусый офицер рвет послание Бержере и кричит мне:

— Скажи Флурансу: пусть отступает! Он остался без прикрытия — противник обходит его и может отрезать. Скачи!

— А где он?

— Вон там, прямо перед нами, по ту сторону Мон-Валерьена.— Его рука описывает полукруг, словно перепрыгивая крепость, увенчанную огнем и дымом.— Ориентир — красные флаги, которыми утыканы все колокольни...

Феб с ржанием продирается сквозь человеческую колышущуюся массу. Все во власти беспорядочного бегства, начало его — линия обстрела, а конец — мост Нейи. Среди всей этой сутолоки живет одна мысль: возвратиться в Париж, под защиту его стен.

Довольно скоро мы наталкиваемся на наших стрелков, которые стояли в Рюэйе под залпами орудий Мон-Валерьена. К ним уже подошли авангарды колонны Бержере.

— Где Флуранс?

— Впереди! А где же ему, по-твоему, быть?

Вдали, ближе к Сене, слышны сигналы рожков, дробь барабанов, частые ружейные залпы.

— А ну, ребятишки, поворачивайте!

— Нет, у нас пакет для Флуранса!

Феб перепрыгивает через толстого капитана, еле успевшего пригнуться к земле.

Бельвильские стрелки сидят в укрытии за изгородью.

— Спешиться! — кричит нам Гифес.

Флуранс со своими всадниками виден впереди, метрах в ста, укрытием им служит домишко, в крышу которого как раз попал снаряд, вздымая брызги красной черепицы.

Одним махом Феб берет препятствие — изгородь, и

нас, как дождем, осыпают ветки, срезанные залпом с дерева, изрешеченного пулями.

Стараясь перекричать весь этот гам, я передаю приказ об отступлении. Флуранс пожимает плечами, не поворачиваясь и не отрывая глаз от подзорной трубы.

Потом, положив бумагу на переднюю луку седла, начинает царапать что-то. Он с непокрытой головой. Легкий ветерок играет завитками его бороды, прядями его шевелюры. В это мгновение первый луч солнца словно нимбом озаряет его голову.

— Это тебе, Флоран. Быстро в Бельвиль. Передашь записку Предку. Останешься в его распоряжении.

Позади нас федераты продолжали движение на Версаль. Под пулями и картечью они следовали за Флурансом, а он опять нацепил шляпу с плюмажем и высоко поднял свою длинную турецкую саблю.

Мы мчались галопом, уперев подбородок в плечо: мы не могли оторвать глаз от бельвильцев, — построившись в каре, они шли широким мерным шагом, шагом крестьянина, сеятеля. А Мон-Валерьен бил по ним, и бил уверенно, спокойно, бил без передышки.

Я не сразу понял, почему Феб вдруг прянул вправо: он объехал лежавшее на земле тело. Я чуть не вывалился из седла, Марта скатилась на землю. Я остановил Феба, повернул назад. Марта поднялась на колени, но так и осталась стоять, застыла.

Не вставая с колен, Марта смотрела на умирающую Зоэ.

Хорошенькая маркитантка бельвильцев лежала на спине, раскинув руки. Снарядом ей разворотило живот. Она потеряла свое игрушечное кепи, но шиньон не растрепался. И полны жизни были ее круглые глаза, перебегавшие с меня на Марту. Кукольное личико еще розовело. Кончик узенького языка скользнул по губам.

— Послезавтра мне исполнилось бы шестнадцать лет.

Снаряд, которым ранило Зоэ, разорвал на ней накидку и корсаж. Груди перламутровой белизны были обнажены, каждая в половину ядра малого калибра.

— Глупо, уж очень глупо,— тихо плакала Зоэ. — Не надо было мне лезть во все это. У мэтра Ле Флока мне жилось хорошо. Зачем вы меня увели?.. Что я вам сделала?..

Губы ее так и не сомкнулись. Круглые глаза уже заволакивало той прозрачной пленкой, за которой исчезает последний взгляд.

— Она ничего не сказала! Понял, Флоран! Ты-то хоть не будь олухом! Она умерла как человек, эта овца. Пусть все это знают...

А затем мы заблудились, доверившись петляющей Сене. Марта уже не могла быть мне проводником. Я подумал, что, если держаться Сены, она выведет нас к Парижу. Вместо того Сена снова привела нас на поле сражения.

Очевидно, я сбился с пути, оглушенный стрельбой. Набережные уже давно остались где-то в стороне. Теперь Феб мчался по песчаному берегу, по заросшим травою прибрежным полям.

Завидев железнодорожный мост, я придержал своего жеребца. Мы были в Шату. Совсем рядом, в яблоневых садах, скрытая огромными тополями, свирепствовала битва.

— Флоран! Это версальцы? Вон те!

Какими спокойными, чистенькими, красивыми казались издали всадники, следившие за ходом битвы с высоты, по ту сторону Сены. Напрягая зрение, я различил копья и остроконечные каски:

— Нет. Это пруссаки. Не нарадуются, должно быть!

И вдруг Мартой овладела та неодолимая судорога, которая сжимает горло и нутро беглецов:

— Скорее домой!

Я в ярости ударил каблуками и бессмысленно заорал, пуская Феба вскачь, на этот раз без оглядки:

— Скорее в Бельвиль!

* * *

Тупик казался особенно пустынным, быть может, оттого, что посреди мостовой восседал один-одинешенек безногий муж нашей Мокрицы. Он-то нам и крикнул:

— Они все в клубе Фавье! Там, говорят, баталия идет!

Мы уже повернули коня, а бельвильский калека все еще орал нам вслед:

— Эй, голубки! Будьте добренькие, захватите меня с собой!..

— Берем его, Марта?

— В другой раз!

Уже на улице слышен был яростный шум и возгласы: «Измена!»

В клубе Фавье, пожалуй, было еще теснее, чем на самом мосту Нейи. Ни за что бы мне не пробраться внутрь, если бы не Марта, от которой я старался не отстать, держась за край ее косынки.

Трибуной завладела Трусеттка. Она возглашала, не помня себя от гнева:

— А! Теперь взвыли, когда нос разбит? Больно? Тем лучше! Вперед умнее будем. Теперь-то смекнули, зачем Коммуне нужно было, чтобы все там тайно обсуждалось! Чтобы версальцы, видите ли, чего-нибудь не пронюхали! Держи карман шире! Среди наших делегатов в кружевах небось найдется достаточно предателей, чтобы Тьеру все рассказать, и целиком, и в деталях! Так что секреты эти на самом деле для того нужны, чтобы мы, народ, мы, клубы, комитеты бдительности, чтобы мы, женщины, не могли туда сунуть нос! Почему так, спросите? Потому что там запашок есть! — Шумное одобрение.— Они называют себя правительством народа, а сами народу не доверяют. Они говорят, что мы сами, дескать, их поставили! Это верно, поставили, да переставим, если будет нужно!

— Браво! Не в бровь, а в глаз! Давай, Трусеттка! Так их!

— И будем переставлять до тех пор, пока они не будут такие, как нам надо! Мы умеем воспитывать своих ребят. Сумеем воспитать и своих избранников, хоть бы пришлось для этого задать им не одну взбучку и отвесить не одну оплеуху!

Рукоплескали так, что стены чуть не обрушились. Я же принюхивался, не потянет ли где табачком: Предка бы отыскать.

— Что заслужили, то мы и получили, включая наших вождей. А мы, внучки «вязальщиц» и санкюлотов, как же мы могли так размякнуть? Дать себя так завлечь этой вороне в павлиньих перьях, этой телке, разукрашенной, словно ее на сельскохозяйственную выставку привели...

Я наклонился к Бландине Пливар:

— О ком это она?

— Да о Флурансе, а то о ком же еще!

— Вы о нем не беспокойтесь! — орала моя тетка.— Пусть на нем и штаны и все что в штанах при нем, это

ему ничуть не помешает улепетывать от версальцев! Флуранс... Как бы не так, лучше его Флорансой звать!

Весь взмокший, захлебываясь от злости, клуб Фавье с мрачным упоением повторял: «Флоранса... Флоранса...»

Я крикнул во всю силу голоса:

— Ну нет! Вы не имеете права!

Крик мой раздался в ту самую секунду, когда присутствующие наконец-то перевели дух. Все головы повернулись в мою сторону: насмешливые и гневные взгляды. Я услышал:

— Ага! Миленок Флорансы!

— Это его любимый писарек!

— Флоран — Флоранса!

Марта ухватилась за мои плечи, чтобы прибавить себе росту:

— Не смейте трогать Флуранса!

Смех перешел в кудахтанье. Но зала все же не осталась безразличной к нашему вмешательству, и теперь головы повернулись к трибуне, откуда без промедления со снисходительностью, ядовито прозвучал ответ Трусеттки:

— А вам, мои любезные, все кажется распрекрасным, как в сказке, лишь бы вам позволили гарцевать на барской лошадке!

На этот раз одобрение выражалось уже ревом. На мгновение я даже испугался за себя и Марту. Еще одно слово, и клуб разорвет нас в клочки...

Теперь трибуной завладела Клеманс Фалль:

— Поскольку все — или почти все — согласны, надо перейти к действиям, показать себя достойными великих предков времен Террора. Отечество в опасности, Революция тоже — по вине этих негодных и вероломных вождей.

Зал замер, задержав дыхание.

— Чего же мы ждем, гражданки? Почему не предаем их суду? Почему не покараем их? Что же, позволим им и впредь предавать нас? Все больше и больше? Мало вам, что ли? Они наших мужей подставляют под пули! Отцов наших детей! Что же, чтобы расшевелить вас, версальцам надо, видно, войти в Бельвиль? А сейчас они небось уже в Ратуше!

— Нет! — раздался грозный голос.

У входа произошло смятение.

— Дайте дорогу! Дорогу!..

Это был Габриэль Ранвье.

— Версальцев нет в Ратуше,— добавил он, уже поднявшись на трибуну.— Они не вошли в Париж, и не так просто им это сделать, если вы будете слушаться своей головы, своего сердца, а не поддаваться всякому вздору.

Бледный говорил негромко, однако до ушей присутствующих доходило каждое его слово. Он стоял на подмостках, освещенный отблеском газовых рожков. С непокрытой головой. Полоска засохшей крови, тянувшаяся из-под волос, спускалась по правому виску и пропадала в бороде, что еще сильнее оттеняло бледность резко обозначенных скул. И с правой же стороны свисал с плеча оторванный эполет. Вспоротый рукав открывал до локтя рубашку.

Ранвье спокойно, как будто ничего не было сказано до его прихода, обрисовал в кратких словах военную ситуацию.

— Да! Мы были застигнуты врасплох версальцами! Да! Мы были вынуждены отойти, но лишь затем, чтобы вернее завтра устремиться вперед!

На юге Дюваль, располагая всего двумя тысячами человек и девятью орудиями, стойко выдержал все атаки бригады и дивизии. Ему пришлось все же отступить в направлении Шатийонского плато, где он прочно удерживает редут.

На юго-западе национальные гвардейцы под командованием Ранвье и Эда подверглись жестокому натиску противника в Кламарском лесу. Они вступили в схватку с целой бригадой версальцев и героически оборонялись. Им удалось в полном порядке отступить под защиту двух фортов — Исси и Ванва.

Продолжительный припадок кашля прервал оратора. Клуб, за полчаса до того проклинавший на чем свет стоит членов Коммуны, особливо военных и, в частности, бельвильцев, теперь глядел в рот Ранвье. Зала не просто слушала со вниманием, были в ее сосредоточенности доверие, симпатия, вера.

Но вот Габриэль отнял большой клетчатый платок от своего бескровного, как у призрака, лица и, не спеша, внимательно осмотрев его, аккуратно сложил.

Наконец на западном направлении две колонны неожиданно попали под бомбардировку из Мон-Валерьенского форта, который вследствие неверных данных считался в нашем расположении или по меньшей мере ней-

тральным. Колонна Бержере в беспорядке отступила к заставе Майо. Зато генерал Флуранс отказался повернуть назад. Никакие увещевания не помогли. Тогда лейтенант Гюбо — из 59-го батальона V легиона — решился действовать силой и, подойя к Флурансу, схватил поводья генеральского коня. Но все было напрасно. О Флурансе нет никаких вестей. Ни один из посланных к нему из Ратуши гонцов не вернулся.

— Вот, граждане. Национальные гвардейцы спасли Париж и Коммуну. Таково положение на нынешний день и час. Если вы хотите знать, как действительно можно содействовать победе Коммуны, отправляйтесь завтра утром к мэрии XX округа. А теперь, граждане, я должен покинуть вас и возвратиться в Ратушу. Еще одно слово... Так сказать, в своем кругу...

От припадков кашля открылась рана. К бороде потянулась еще одна блестящая струйка.

— Граждане моего предместья, я возвращаюсь из Кламарских лесов, где долгие часы дрался, как дикий зверь. Я должен собрать беглецов, добыть подкрепление для Дюваля, боевые припасы для Эда, а тут приходят и говорят: «Прыгай, Ранвье, на своего коня и скачи, бросив все дела, твой Бельвиль в настоящий момент дерьмом исходит!» Если вы полагаете, что меня это очень обрадовало, вы ошибаетесь! Привет и братство! Да здравствует Коммуна!

Бледный вышел. Беспрепятственно. Дорога к выходу перед ним пролегла сама собой, меж тем толпа, плотно сжавшись, пела Марсельезу, но совсем тихо, почти благоговейно, как молитву.

На пороге клуба мы наткнулись на Предка. В записке Флуранса стояло только: «Бенуа, поберегите ребят. Они будущие свидетели».

4 апреля, вечером.

Бельвиль оплакивает своих мертвецов. «Пали за Социальную революцию».

На южном направлении, подавленные численным превосходством, полторы тысячи человек, оставшихся у Дюваля, вынуждены были капитулировать на рассвете, им было обещано сохранить жизнь. Печальной известности генерал Винуа лично явился взглянуть на пленных. Он приказал немедленно расстрелять всех, на ком была военная форма, вернее, остатки военной формы.

— Есть тут командир?
Из рядов вышел Дюваль:
— Я — генерал Дюваль!
Тогда Винуа, говорят, спросил:
— Как бы вы со мной поступили, если бы я попал в ваши руки?
— Я бы велел вас расстрелять.
— Вы произнесли свой собственный приговор!
Тут вышел вперед из рядов федератов еще один офицер:
— Я — начальник его штаба. Расстреляйте и меня.
Они упали, сраженные пулями, на лужайке у самой дороги с возгласом: «Да здравствует Республика! Да здравствует Коммуна!»

Винуа бросил им: «Вы подлый сброд и чудовища!» Журналист из «Фигаро» встал на колено перед трупом Дюваля. Чтобы сорвать с него белый подворотничок, вымазанный кровью, и выставлять напоказ в салонах Версаля.

Ранвье сказал:
— Я давно знал Дюваля, его звали Эмиль-Виктор. Он был рабочим-литейщиком. Примкнул к бланкистам и к интернационалистам. Был в числе осужденных по третьему процессу Интернационала. Во время осады принял командование 101-м батальоном XIII округа. И 31 октября, и 22 января, и, наконец, 18 марта Дюваль был неизменно впереди, неизменно среди лучших борцов. Это благодаря ему Риго 18 марта занял полицейскую префектуру. Он требовал немедленно выступить против версальцев, не откладывая ни на час. Коммуна сделала этого рабочего-литейщика генералом. Ему не было и тридцати лет.

На западе стрелки Флуранса держались до тех пор, пока не получили приказа об отступлении. Преследовавшая их кавалерия дивизии Прейля варварски изрубила кучку храбрецов. Лишь немногие спаслись, рассеявшись. Желторотый и Ордонне вернулись в тупик, переодетые в гражданское платье, «позаимствованное» в одном из домов Буживаля. У Коша саблей отсекло кончик носа, у Гифеса левая ягодица была вспорота штыком. Двумя пулями пробило раструб рожка Матираса, отчего, впрочем, он не стал трубить фальшивее обычного. Один лишь Бастико не явился на перекличку.

Пальятти вернулся в числе последних, весь пропыленный и окровавленный. Гарибальдиец до конца не покинул своего вождя.

Флуранса не стало. Бельвиль пока еще не знает всех обстоятельств его гибели. Верно только, что наш вождь был подло убит версальцами. Подробности, дошедшие до нас, столь ужасны, что в них трудно поверить.

Он оставался впереди, хотя Бержере, преследуемый кавалерией Тьера, давно уже отошел за Сену. Флуранс, не обращая ни на что внимания, продолжал двигаться на Версаль. Ночь застала его в Шату, еле живого от усталости. На берегу реки постоялый двор, Флуранс входит, снимает ремень, кладет на стол свою кривую турецкую саблю и пистолеты и без сил валится на постель. Был ли он предан хозяином постоялого двора или одним из жителей деревни, которые столь радушно встречали национальных гвардейцев? Так или иначе, постоялый двор окружили войска полковника Буланже, впоследствии генерала и недопеченного диктатора. Амилькаре Чиприани, охранявшего покой своего командира, пронзают штыками. Значительно позднее, оправившись от ран и возвратившись с каторги, он расскажет, как все произошло. При Флурансе бумаги, которые позволяют установить его личность. Жандармы с воплями дикого ликования выталкивают его во двор. Их капитан, Демаре, прискакал галопом:*

— Это ты, тот самый Флуранс?

— Я!

Тогда капитан Демаре вытащил саблю и ударил наотмашь героя Бельвиля с такой силой, что раскроил ему череп. (Амилькаре Чиприани сказал примерно следующее: «Его голова раскололась, словно упали два красных эполета».)

От Гюстава Флуранса нам остались статьи и книги: «История Человека» (1863), «То, что возможно» (1864), «Наука о Человеке» (1865), «Париж, который предали» (1871).

Тело Флуранса было брошено рядом с раненым Амилькаре Чиприани на кучу навоза, торжественно доставлено в Версаль, где дамы из высшего общества тыкали зонтиками в истерзанную голову, ворошили этот гигантский мозг.

Жандарм Демаре получил орден Почетного легиона и окончил свою карьеру в должности мирового судьи.

Габриэль Ранвье сказал: «Флуранс был счастлив среди нас. Он, интеллигент, он, ученый, чувствовал себя в своем рабочем Бельвиле как рыба в воде».

И еще Габриэль прошептал: «На Крите будут плакать».

* * *

Те, кто уцелел и вернулся в Бельвиль, отмалчиваются или жалуются, что их плохо кормили, плохо вооружили, плохо ими командовали. Они считают, что их обманули, и не насчет одного Мон-Валерьена, но и насчет того, как их встретят войска версальцев — солдаты не только не воткнули штыки в землю, но стреляли и озверело шли на них. Обо всем этом наши вернувшиеся бельвильцы рассказывают какими-то притихшими, детскими голосами.

Есть пустынные, будто вымершие кварталы. Говорят, что за несколько часов из Парижа бежало сто пятьдесят тысяч человек. Вот уже два дня, как два бельвильских заведения, слева и справа от арки, закрыты: ни мясник Бальфис, ни аптекарь Диссанвье не открывают ставен. Днем и ночью слышатся сигналы общего сбора и местной тревоги. Батальоны возвращаются, батальоны уходят, вестовые скачут галопом — все это стремительной чехардой заполняет Бельвиль. Люди теснятся у свежерасклеенных афиш. Продавцы газет оповещают о сражениях. Будто вернулись дни осады.

Марта еще более неразговорчива, чем всегда. То вдруг она судорожно цепляется за мое плечо, потом сердито бурчит себе что-то под нос, будто заталкивает слова обратно в глотку, а они бьются о стиснутые зубы:

— Он не верил в бога, а все-таки! Как он сумел умереть!

Бастико ударом сабли чуть не раскроили череп. Все же он остался жив, лишившись уха и части левой щеки. Клинок застрял в кожаной лямке фляги, однако повредил плечевую кость. Дьявольский удар! Бывший медник Келя лежит в городской больнице, в коридоре, на нищенском ложе. Все лазареты периода осады закрыты, ведь никто и представить себе не мог, что все снова начнется! От макушки до локтя вся левая сторона у Бастико

исчезает под сделанной наспех повязкой, насквозь пропитанной потемневшей кровью. Раненый все время вращает лихорадочно блестящим глазом. Старается, как может, успокоить свою Элоизу и детишек. Он чуть что не извиняется:

— Чего там! Я ведь не левша какой-нибудь! — провозглашает он, вздымая свою мощную правую длань.— Смогу еще молотом орудовать.

— И ружьем,— добавляет его дружок Матирас.

А вот что прочитал нам вслух отец маленького барабанщика, убитого залпом митральезы. В газете была напечатана статья господина Франсиска Сарсе, так описывающего наших пленных, прибывающих в Версаль: «Гнусные злодеи... истощенные, оборванные, грязные, с тупыми, свирепыми физиономиями...»

Два санитара со своими носилками остановились послушать чтение.

— Стыда у вас нет! — кричит им Селестина Толстуха.

— Ну, этому уж все равно торопиться некуда...

И они таким согласным движением повели плечами, что носилки с умершим, даже не покосившись, приподнялись, а потом снова опустились.

— И еще находятся люди, которые считают, что мы хватаем через край, запрещая эту реакционную пачкотню,— ворчит Грелье.

Бывший хозяин прачечной, Грелье теперь в министерстве внутренних дел. Вот он и схватился там со своим дружком Валлесом насчет запрещения «Фигаро».

— Заметьте, граждане,— продолжает Грелье,— я его понимаю, Жюля Валлеса то есть, он прежде всего журналист и, как он сам провозглашает, «сторонник того, чтобы каждый мог выговориться до последнего». «Ты неправ, Грелье,— так он мне сказал,— даже под пушечный лай и в самый разгар бунта надо разрешать типографским мошкам бегать, как им заблагорассудится, по бумаге, и мне хотелось бы, чтобы «Фигаро», так долго предоставлявшая мне полную свободу писать на ее страницах, тоже была свободной». А я таких рассуждений слышать не могу. Свободу «Фигаро»? Да полно! «Фигаро» только и делала, что обливала грязью социалистов и издевалась над ними, когда они были лишены возможности защищаться... Да вот вам пример! Помню, как Маньяр писал, что спокойствия ради следовало бы выбрать среди агита-

торов человек пятьдесят рабочих и еще богемы и послать их на каторгу в Кайену...

Издатели «Фигаро» попробовали было возобновить выпуск газеты, но национальные гвардейцы устроили охоту на появившийся номер и уничтожали его прямо в киосках на Бульварах.

Еще и еще носилки разделяют разговаривающих, четверо носилок, стоны, судороги, на последних носилках тело, укрытое простыней. Марта кладет мне голову на плечо и, закрыв глаза, шепчет:

— Смерть — это ничто, совсем-совсем ничто. Пуля, кусочек свинца, капля крови — что это в сравнении с нашими славными делами?

Вторник, 11 апреля.

В воскресенье 9 апреля, в первый день пасхи, мы провожали их на Пэр-Лашез. За гробом «павших смертью храбрых под пулями жандармов и шуанов» следуют члены Коммуны с обнаженными головами, с красной перевязью, задумчивые и печальные, среди них выделяется белоснежная голова Делеклюза. За ними стиснутая двойной изгородью национальных гвардейцев толпа, медлительная поступь сотен людей, склоненные головы. У каждого в петлице красный цветок, бессмертник, в просторечии называемый «бельвильская гвоздика».

Шли люди, которых мы знали, люди, прибывшие из Шарона, Сент-Антуана, Ла-Виллета, они спрашивали, пожимая нам руки, как спрашивают у близких родственников покойного:

— А Флуранс? Он здесь, Флуранс? Его прах тоже здесь?

Нет, Флуранса здесь не было.

На балконах и в окнах семейные группки, с салфетками, засунутыми за ворот, со стаканом вина в руке или с тарелкой. Едят всегда одни и те же...

Чувствую локтем голову Марты, прижавшейся к моему боку, она причитает, будто шепчет надгробную речь, до меня долетают фразы:

— Это был человек, настоящий человек... Такой нежный, такой неистовый. Как огонь, как вода... Застенчивый был и храбрый. Краснел от пустяка, как девица. Говорил, как старец, а готов был играть, как дитя. В бога не

верил, а жил, как монах. Знал, как надо переделать мир, и ничего не знал о жизни. Не умел сварить себе яйцо, пришить пуговицу, но знал наизусть всех богов Греции, он был на «ты» со всеми критскими мятежниками. Все время думал, думал! Даже сам на себя за это сердился. Хотел действовать, всегда действовать...

Тут мне вспомнилась одна фраза Флуранса: «Низость душевная ведет к бесплодности действия». Однажды он написал художнику Эрнесту Пиккьо*: «Для республиканца умереть достойно, как Боден,— высшее счастье».

Газеты «Ле Ванжер» и «Л'Афранши» сообщили в тот же день:

«Позавчера утром, в четыре часа, прах нашего благородного друга Флуранса был извлечен из земли на кладбище Сен-Луи в Версале и перевезен на похоронных дрогах в Париж.

В семь часов тело Флуранса было доставлено на кладбище Пэр-Лашез и погребено в фамильном склепе.

Печальная церемония была сохранена в самой глубокой тайне.

За гробом следовали: мать Флуранса, его брат, одно лицо, оставшееся неизвестным, и, кроме того, человек, чье присутствие великий гражданин счел бы для себя совершенно неприемлемым, а мы вправе назвать кощунственным, а именно... СВЯЩЕННИК!

И ни одного друга, ни одного собрата по Революции».

* * *

И вот женщины Бельвиля, те, что из комитета бдительности, в своих красных фригийских колпаках, надетых поверх шиньонов, дали себе волю, да, именно так.

Ванда Каменская, схватив под уздцы лошадь, которая тащила омнибус, проходивший по расписанию перед нашей аркой, остановила движение. Кучер омнибуса стал протестовать, тогда Людмила Чеснокова столкнула его на мостовую, как раз перед закрытой лавкой мясника, и начала колотить его каблуками, а он только извивался. В тот же миг Бландина Пливар взобралась на сиденье возницы и подняла к небу красное знамя. Трусеттка и Камилла Вормье, стоя по обеим сторонам мостовой, выкрикивали, вскинув головы так, чтобы было слышно в верхних этажах:

— На Версаль! На Версаль!

Прочие женщины ворвались в омнибус и выгнали оттуда пассажиров, совершавших рейс Бельвиль — площадь Победы.

Раздался крик Марты:

— Пружинный Чуб, Торопыга! Быстро! В Рампоно! Катите сюда пушку «Братство».

Омнибус, заполненный женщинами, пел Марсельезу.

Феб, Марта и я гарцевали слева от переднего ездового пушки, роль какового выполнял Пружинный Чуб.

Мы направлялись туда, откуда доносились звуки канонады.

Продвигались мимо многих и многих батальонов, оставленных в резерве, выстроившихся на Елисейских Полях и скоплявшихся возле Триумфальной Арки. Ни колясок, ни даже пешеходов сюда не пропускали.

Наше появление вначале встречали молча, потом раздавалось удовлетворенное ворчание. Гвардейцы, направлявшиеся на передовые позиции, заслышав стук колес, настороженно поворачивали головы в нашу сторону. Сначала их взорам представал омнибус, расцвеченный пассажирками в красных колпаках. Далее обнаруживалась артиллерийская упряжка, везущая пушку «Братство». Густо заросшие физиономии гвардейцев озарялись счастливой улыбкой.

Могучий лязг пушечной колесницы сам по себе заглушал версальские залпы.

Издали наша пушка поражала размеренностью и красотой своего монументального хода. Все снаряжение, конная упряжка, ездовые, наводчик, вся артиллерийская прислуга — каждый на положенном ему месте при этом удивительном орудии, начищенная до блеска бронза в золотистых бликах,— все свидетельствовало о том, как любовно заботились об этом чудище его хозяева. Конец дилетантам! Теперь у нас армия, настоящая армия, у нее прекрасная техника, хорошо смазанная, у нее дисциплина и вековой солдатский опыт, есть и рабочие руки, готовящие победу, настоящие умельцы, мастера чеканки и ковки.

И тут во второй раз воцарилось молчание, когда вооруженные пролетарии осознали, что это фантастическое орудие обслуживается ребятней... И плакать им хотелось, и смеяться...

* * *

Мстители Флуранса — вот как теперь называют себя бельвильские стрелки.

Они защищали предмостную баррикаду в Нейи, последнюю баррикаду, за ней — пустота, а дальше — враг. Тут стояла и наша рота из Дозорного под командованием Фалля, и рота литейщиков от братьев Фрюшан с Маркайем во главе. Увидав наш артиллерийский кортеж, они окаменели. Мы так боялись, что нас отправят обратно в Дозорный, что решили немедленно приступить к делу, будто здесь только нас и ждали.

Марта выкрикнула команду, сопровождая ее величественным жестом. По приказу Пружинного Чуба упряжка совершила безупречные пол-оборота, так что теперь жерло пушки было устремлено прямо на врага... Я достал затравник и фитиль, а Марта, лежа на лафете, начала наводку...

Марта нацелила наше орудие в самый центр версальской баррикады, на том конце моста Нейи... Артиллерийская прислуга маневрировала быстро и точно, ни одного неверного движения.

Пушка «Братство» изготовилась к бою.

С тех пор как началась война, ни разу еще я не видел пушку во всей ее звероподобной простоте.

Впереди был только мост.

На том и на этом его конце — баррикады. За каждой из этих баррикад — воинская часть, вооруженные люди, готовящиеся форсировать реку, а сделать это они могли лишь при том условии, что будут убивать, ступать по трупам.

Пустынный мост, и больше ничего.

Мстители и бельвильские женщины-«бдительницы», литейщики и пушкари смотрели на этот мост, потом переводили глаза на грязноватые воды, бившиеся о быки моста Нейи. В конце концов, всего-навсего река! И река эта — Сена.

Граница.

По одну сторону — Париж, по другую — Версаль.

— Она разделяет два мира, — ворчит Предок. — Старый мир — мир богатых, который не хочет сдаваться. И новый мир — мир бедняков. Мост создан, чтобы по нему легко было перейти реку, но не существует моста,

который соединил бы прошлое и будущее. Вот почему по нему нельзя пройти, не оросив его кровью.

Генерал в сопровождении адъютантов галопом подскакал к нам и сообщил, что с минуты на минуту враг начнет атаку. Генерал молод, с аккуратно подстриженными усиками, говорит с сильным иностранным акцентом *(Домбровский*)*:

— Отбросьте версальцев! Переходите в контратаку!

И он умчался, пришпорив коня, вместе со своим эскортом.

* * *

Каждый раз, когда я пробую вспомнить это мгновение, предшествующее бойне,— эту минуту, быть может, только секунду, когда останавливается биение сердца, когда словно повисает жизнь и пресекается дыхание, я вновь ощущаю тот особый, странный привкус, будто во рту у меня кусок железа.

Ветер меняется. Мстители Флуранса и их подруги тревожно переглядываются: порыв ветра доносит до нас праздничный шум, крики, знакомые мотивы, громкий смех, веселый гул, ослабленный расстоянием. Гифес сверяется со своими часами.

— Это театр «Гиньоль» на Елисейских Полях. Начали представление кукольники.

Мы улыбаемся. За нашей спиной Париж продолжается. Мы живой оплот его радости. Пусть грянет буря и пусть смеется, пусть поет Париж Коммуны.

Я стою у правого колеса пушки. Прикосновение к металлу заставляет меня вздрогнуть. Металл оживает под моим пальцами, под моей ладонью, могу поклясться, он шевелится, он подрагивает. Грошики Бельвиля перекатываются, кружатся в толще бронзы; одни корежатся, другие подпрыгивают, у каждого своя повадка; огонь бессилен уничтожить что-либо, никогда ему не справиться ни с терновником, ни с Жанной д'Арк. Из пепла возрождается виноградная лоза или легенда, вино, дающее силу мышцам, и бронза, и голос ее поднимает на ноги французские деревни...

* * *

Сквозь дымку тумана прорывается солнце.

— Приготовьсь! — кричит в усы Фалль, все еще сжимая в руке коротенькую глиняную трубку. Он вскидывает сжатый кулак над засаленной каскеткой.

С той стороны моста доносится дробь барабанов. Версальцы перепрыгивают через свою баррикаду.

Впереди офицеры с саблями наголо, за ними плывет трехцветное знамя. Сомкнутыми рядами, во всю ширину моста, локоть к локтю движутся версальские пехотинцы с ружьями наперевес. В чистенькой, аккуратной форме. В слабых еще лучах солнца играют краски: белые гетры, светло-голубые шинели, красные штаны, эполеты, кепи. Медленный, уверенный шаг. Ряды как по линеечке. С методичностью выверенного, нового механизма поднимается и опускается левая, затем правая нога. Белизна гетр, пурпур штанов еще больше подчеркивают размеренный ритм этого неумолимого марша. Во главе длинной колонны выделяется высокая фигура седоусого полковника. У офицеров ни одного, даже беглого взгляда назад: полная уверенность, что за ними следуют солдаты. Иначе и быть не может. Они видны все отчетливее. Различаешь стук каблуков, тиканье безупречного метронома. Ни суеты, ни спешки.

Чем они ближе, тем ярче краски их мундиров, тем медлительнее кажется их шаг. Уж не шагают ли они на месте? Им ведь бояться нечего, они — армия богатых.

— У, дьявол! — заревел Фалль.

Из наших рядов раздался выстрел. Версальский солдат рухнул ничком на камни мостовой. Первый ряд версальцев продолжает свое неспешное, непоколебленное движение, а в самой середине строя — зияние, подобно пустоте, образующейся на месте зуба, выдернутого из юношески крепкой десны. Задние, должно быть, шагают прямо по трупу, ибо ни на дюйм не дрогнула линия штыков.

Пливар пристыженно склоняет голову набок — во взгляде мольба, как у набедокурившего ребенка.

— Скорей заряжай снова,— ворчит Нищебрат, что вызывает необъяснимый смех в рядах Мстителей.

Усатый полковник уже приближается к середине моста.

— А чего мы ждем, почему не стреляем? — взрывается Шиньон.

— У них тоже ружья заряжены, а они, видишь, не палят! — рычит Фалль.

Все это растягивается во времени, в пространстве. Мост Нейи измеряется многими десятками лье.

Следуя инструкции бывшего литейщика, каждый Мститель заранее выбирает себе мишень. Нет больше ни медников, ни сапожников, ни рабочих, ни ремесленников, нет больше людей — только ружейные дула.

Горнист играет атаку. Версальская пехота бегом бросается вперед.

— Готовьсь!

Сжатый кулак Фалля вздрагивает, потом резко опускается. Трусеттка с торжествующим воплем вздымает вверх красное знамя.

Громовой удар. Один-единственный.

Громовой удар, какого никто никогда не слышал.

Фантастический, оглушительный взрыв, бесконечно повторенный... Вроде БРА-УУМ-УУМ-УУМ-ЗИ-И-И... Как дать услышать этот грохот, который невозможно ни назвать, ни определить, тем, кто не был тогда на мосту Нейи, передать хотя бы какое-то представление о нем? Гул колоколов Собора Парижской богоматери, стократно усиленный и утяжеленный, вырывающийся из пасти, до отказа набитой порохом. Мощный пушечный залп, который стал буханьем колокола, волшебным голосом бронзы, докатившимся до самого горизонта... Нет, это немыслимо себе вообразить. Картечь, орущая мелодию. Музыка, рожденная порохом. Громовые раскаты, гремящие заутреню. Вся небесная артиллерия в гудении этого набата.

Дымная завеса так плотно затянула баррикаду и мост, что сосед не различал соседа, никто уже не понимал, где находится.

— Вперед! — проревел Фалль.

Батальоны Монмартра, оттеснив нас, перескочили через баррикаду.

Дым рассеялся. Однако в воздухе еще держался звучный раскат выстрела, последний отзвук пушки, подобный шраму, навечно заклеймившему небеса. Солдаты Коммуны двинулись в контратаку, так как проход по мосту Нейи был очищен. На три четверти он был усеян трупами, краснели панталоны, белели гетры. А там, дальше, уже

начиналась паника. Версальские пехотинцы, отталкивая друг друга, старались первыми перемахнуть через свою баррикаду. Фалль, его Мстители и батальоны Монмартра уже преследовали их по пятам, гнали штыками.

— Ух, черт, ну и голосина у нашей пушечки! — пропела Марта, вытаскивая из ушей кусочки корпии.

На том конце моста — суматоха. На захваченной баррикаде версальцев Трусеттка водрузила красный флаг Бельвиля.

Пушка «Братство» была, попросту говоря, десятифунтовым орудием новейшей модели, новейшей, если говорить о стволе, а ствол все-таки важнейшая часть пушки. Чудовищной своей поступью наша пушка была обязана большим омнибусным колесам, а также лафету, созданному силой фантазии нашим столяром из Дозорного. А громкую славу бельвильский исполин приобрел благодаря сбору медных грошиков, особенно благодаря шумному энтузиазму юных жителей Дозорного тупика.

А долгое-долгое эхо — действительно невероятно долгое, — эхо первого выстрела раздвинуло границы этой славы до баснословных пределов.

Пушка «Братство» стала своего рода драконом на службе Коммуны.

Следует все же спокойно взвесить результаты этого уникального залпа на мосту Нейи. Пушка «Братство» никого не убила, это не подлежит сомнению. Версальские солдаты, чьи тела усеяли мост Нейи, были сражены стрельбой из ружей системы «шаспо». Стреляли из «шаспо» Мстители, стреляли в упор, и залп этот был тщательно подготовлен Фаллем.

Ядро упало метрах в двадцати от жерла пушки. Дело в том, что оно оказалось неподходящего калибра, много меньше, чем требовал размер ствола,— это братишки Родюки вытащили впопыхах такое из зарядного ящика. Этим-то отчасти и объясняется сильнейшая вибрация пушки, когда ядро проходило через ее ствол. Словом, когда все поздравляли друг друга с успехом, Пружинный Чуб признался, что, недолго думая, сунул не один, а целых два зарядных картуза.

Что касается литейщиков Фрюшана, то они не слишком удивились громоподобному голосу пушки. В частности, Сенофр, специалист по сплавам у себя в литейной. По их

мнению, от этого сплава бронзовых грошей всего ждать можно.

Впоследствии из версальских источников стало известно, что солдаты 151-го пехотного полка вошли на мост, полные уверенности в том, что «перепуганные бандиты» дрогнут и рассеются при первом же их залпе,— понятно, что они были ошеломлены могучим ревом нашей пушки. Сначала они решили, что это действует оружие нового вида, какая-то фантасмагорическая машина убийства. И в самом деле, в рядах версальцев солдаты падали как мухи. Они никак не предполагали, что федераты способны вести прицельную стрельбу. Остальное довершила паника...

Итак, если вдуматься, на мосту Нейи победу одержали медные грошики бельвильских бедняков.

* * *

Пушка «Братство» высится в самом что ни на есть сердце Дозорного. Ее знаменитый ствол обвит красными лентами. Каждая спица огромных колес любовно украшена пурпурными гирляндами.

Мимо шагает Бельвиль. В шеренги торжественного шествия вливаются и другие районы Парижа — Тампль, Шарон, Сент-Антуанское предместье. Все, кто знает, что и его грошик перелит в тело гиганта, желают услышать рассказ о той адской музыке, увидеть инструмент, ее издававший, и лежащие у жерла пушки трофеи: два флажка папских зуавов, захваченные Мстителями Флуранса.

В центре кружка внимательных слушателей Бансель, старый часовщик с улицы Ренар, громко читает статью, появившуюся нынче вечером в газете:

«Могучий голос меди, обративший в бегство версальцев на мосту Нейи, есть глас самого пролетариата, его обездоленной массы, обездоленной, но всесильной; в этом громыхании слились тысячи и тысячи раскатов, тысячи и тысячи грошиков, тяжким трудом добытых эксплуатируемыми».

Могут спросить: почему Коммуна столь поспешно отозвала прославленную пушку с фронта Нейи, где она сотворила чудо? Талантливый Домбровский, отвечавший за этот сектор обороны, вряд ли питал иллюзии насчет

реальной ценности артиллерийского орудия Бельвиля. Достаточно было короткого разговора с Фаллем, Маркайем и Тонкерелем, чтобы ему все стало ясно. Вместе с тем пушка «Братство» обладала некой магической властью. Но известно, что чудеса повторяются редко. Второй залп мог если не полностью свести на нет, то, во всяком случае, значительно ослабить власть пушки над умами. Нельзя было допустить, чтобы подобное орудие было развенчано.

На следующий день, после упорной артиллерийской подготовки, перестроившись и получив подкрепление, версальцы вернули себе мост Нейи. Но пушки «Братство» там уже не оказалось.

Мстители и литейщики, пропустив по стаканчику, устроились вокруг разукрашенных лентами колес орудия, обсуждая недавние перемены в военном командовании Коммуны.

— Когда уходят такие орлы, как Флуранс и Дюваль, ясно, черт возьми, что нечем заполнить брешь,— заявляет гравер.

— А ты скажи, стоило, по-твоему, как раз в такой момент развенчивать Брюнеля, Люлье*, Эда и Бержере, в общем, всю команду, не разбирая каждого в отдельности? — добавляет Матирас.

— А заменили-то кем? — буркнул Предок.— Клюзере!

— По-моему, генерал Клюзере,— вмешивается Кош,— как-никак друг вашего дражайшего друга Бакунина.

— Ну и что ж,— ворчит старик, выколачивая трубку о ствол пушки. На него устремлены сердитые взгляды, и он какими-то неловкими и торопливыми движениями вытряхивает несколько последних табачных крошек на обод пушечного колеса.

Большинство в полном восхищении от первых приказов нового главнокомандующего гвардии федератов.

— Правильно он напомнил нашим офицерам,— мирно рассуждает Кош,— что они лишь вооруженные трудящиеся и на хрен им сдались все эти перья да побрякушки!

Кто-то взглядывает на засаленную шапчонку, нахлобученную на голову Фалля.

— А что за подружка у Эда! — вставляет свое слово Трусеттка.— Хороша, нечего сказать! Требует, чтобы ее

величали генеральшей! Да-да, вот честью клянусь, не вру. Строит из себя принцессу, сучье отродье! Шьет себе костюмы амазонки у портного императорши. Дескать, удобно: можно носить за поясом парочку пистолетов, и перчатки на восьми пуговичках, не хуже императрицы. Вот за такую падаль прикажешь кровь проливать, на смерть идти!

Военный делегат Клюзере писал генералу Эду: «Приходится выслушивать немало жалоб, направленных в Коммуну, на ваших штабных, на то, что они ходят расфранченные, появляются на Бульварах с кокотками, в каретах и т. п. Прошу вас вымести беспощадно всю эту публику».

— Всех паршивых овец гнать вон из стада,— провозглашает Шиньон.

— Что ж, и стаканчика пропустить нельзя,— слабо протестует Пливар.

— Вот как! А знаешь ли ты, что два батальона — а может, и больше — 1 апреля, когда их посылали в Курбвуа, были пьяны как стелька, еле на ногах держались!

— А ты их сам видел, Шиньон? — взорвалась Селестина Толстуха.— Мало ли что наплетут злые языки, не всему верь.

— Уж тебе-то это хорошо известно,— посмеивался парикмахер-эбертист.

Бельвиль всем сердцем одобряет муниципальных делегатов I округа, которые строго потребовали отчета у Военной комиссии: «Вы назначили некоего Мариго интендантом — или чем-то в этом роде — Национального дворца *(бывший Пале-Ройяль)*, а он вечно пьян, реквизирует без всякой причины и права в больших, чем положено, размерах вино и продукты. Это позор для нашей Коммуны. Если вы не лишите его полномочий, мы вынуждены будем его арестовать!»

— Клюзере возьмется за нас как следует,— твердит свое Шиньон, хрустя пальцами.— И прекрасно сделает!

— Он просто нас презирает, вот и все,— говорит Предок, сплевывая табак.

— А нам это, может, и на пользу,— возражает ему Трусеттка.— Неужели лучше, когда объясняются в любви, а правды сказать не смеют? Просто не чувствуешь, есть над тобой командир или нет...

— Почему это вы думаете, будто Клюзере нас презирает? — спрашивает обеспокоенный Кош.

— Пхэ... Он кадровый военный. Мечтает о карьере.

— Он революционер, известный во всем мире! — кричит своим пронзительным голоском Фелиси Фаледони.— Как Гарибальди, как Флуранс...

— Самое большее, американский генерал,— ворчит Предок.— А мы там, как известно, не присутствовали!

Сын полковника, Гюстав-Поль Клюзере воспитывался как сын полка — в полку, которым командовал его отец, друг Луи-Филиппа. В 1845 году окончил Сен-Сирское военное училище. В февральскую революцию 1848 года лейтенант 55-го пехотного полка, в охране Французского банка, отказался сдаться республиканским повстанцам. Командуя 23 батальоном мобильной гвардии, получает крест Почетного легиона за храбрость, проявленную в действиях против восставших рабочих. Уволенный за неблаговидный поступок, вновь поступает на военную службу в Крымскую войну, дважды ранен во время осады Севастополя. В чине капитана проходит службу в Африке и там вынужден подать в отставку, тоже в связи с какими-то темными делами — хищением провианта. В 1860 году в Неаполе предлагает свои услуги Гарибальди, который делает его подполковником своего штаба. Не поладив с легендарным полководцем, отправляется в Америку, где поступает на службу к правительству Соединенных Штатов и воюет в рядах северян. По предложению Линкольна возведен в чин бригадного генерала и получает американское подданство. После окончания Гражданской войны в Америке возвращается в Европу, оседает в Англии, возглавляет фениев во время Честерской экспедиции. Преследуемый английской полицией, бежит во Францию, сотрудничает в революционных газетах и примыкает к Интернационалу. Осужденный в 1868 году за антиправительственную деятельность, он, как американский подданный, приговаривается к высылке. Возвращается во Францию после событий 4 сентября, приведших к падению монархии, присоединяется к анархисту Бакунину, провозглашает Коммуну в Лионе 31 октября, объявляет себя «командующим армиями Юга».

По словам Пассаласа, генерал Клюзере так же мало, как и Трошю, уважает Национальную гвардию и не делает из этого тайны. Этот профессиональный военный,

пестуемый Центральным комитетом Национальной гвардии, склоняется к мысли, что у Парижа столь же мало шансов выстоять против версальцев, сколь и против пруссаков.

— Да он и не скрывает своих мыслей,— подчеркивает Пассалас, который по-прежнему продолжает работать у Риго, в бывшей префектуре полиции.— Позавчера он сказал при свидетелях: «Что касается бардака, который царит в Национальной гвардии, то я никогда не видел ничего подобного. Настоящий портовый бордель, в своем роде совершенство».

Подобные разглагольствования нагоняют уныние на бельвильцев, которым хочется видеть все в розовом свете, в лучах Коммуны.

— Неужели он так сказал? Сказал такое? — повторяет ошеломленный Матирас.

— А ты думал! Если его послушать, то выходит, будто у нас и интендантство, и служба связи — все никуда не годится, и санитарная служба из рук вон плохо поставлена. Он, Клюзере то есть, говорит, что и неотразимое «народное ополчение», и непобедимая «стремительная вылазка» у него в печенках сидят. Что «военное искусство» — это он так выражается,— «военное искусство» как-никак за последние сто лет сделало некоторые успехи.

К тому же новый Военный делегат Коммуны не слишком горячий сторонник выборности военачальников: не понравился ваш приказ — и вы, уважаемый военачальник, при ближайших выборах полетите к чертям. Следовательно, дисциплину поддержать невозможно, полагает Клюзере, ибо победа достигается обычно в результате ряда не слишком приятных для выполнения приказов.

— Ну что ж! Кое в чем он прав! — сквозь зубы цедит Марта.— Каждому хотелось бы командовать, да не у всех это получается... Ой, мужичье чертово, не щипли ты меня! — обрушилась она на меня.

Бельвильцы смущенно посматривают на Фалля, а он закуривает свою трубочку-носогрейку.

Предок все не унимается:

— В июне 48-го Клюзере был награжден лично Кавеньяком. За что? За то, что «захватил у восставших одиннадцать баррикад и три знамени». Но когда восторжествовала Империя, наш народный усмиритель не полу-

чил своей доли пирога и тогда-то и подался в социалисты, именно из-за этого, а не из-за чего другого! Война для него — коммерция. Он продает свое искусство тому, кто больше заплатит. Говорят, в Америке северяне дали ему генеральский чин. Ну что ж, это еще можно понять — у них никого не было... Но вот что Бакунин ему доверил командный пост в Лионе, хотя бы даже на один день...

Кош упрямо повел носом с еще не зажившими следами рубцов:

— Послушай, старик, мы строим из того материала, какой есть! Не будем злопамятны. Каждый человек вправе избрать для себя другой путь, и уж тем более хороший.

— А кроме того, у нас есть Домбровский,— вмешивается Янек, который не любит подковырок в спорах.— Ярослав — вот это революционер, настоящий! Он это делом доказал, да и военный опыт у него огромный.

Бельвильцы распрямляют плечи. На этот счет все согласны. Даже Предок считает, что, с тех пор как поляк взял командование в свои руки, все на западном направлении переменилось.

Домбровский, выходец из бедной дворянской семьи, офицер русской армии, принимает участие в польском восстании 1863 года. Приговоренный к 15 годам ссылки, бежит из-под конвоя, когда партию ссыльных прогоняют через Москву, по пути следования в Сибирь. Добирается до Парижа. Во время осады предлагает свои услуги Трошю, который отклоняет его предложение. Назначенный Коммуной на самый угрожаемый участок, он помещает свой штаб прямо в Нейи. Справа от него стоит со своими частями его брат Владислав. Домбровскому было тогда 35 лет.

Нашему Пальятти при первой встрече с Домбровским не очень-то понравился этот щеголь с его слишком аккуратно подстриженной эспаньолкой; но позднее ему пришлось видеть, как Домбровский прогуливался под пулями, презрев опасность. Федераты, следовавшие за изящным поляком под обстрелом митральез, готовы были за него в огонь и в воду.

Дискуссия разгорается с появлением новых посетителей. Люди проходят под аркой отдельными группками, объединенными профессией, ремеслом или родом оружия,

а то и местожительством: тут и извозчики с улицы Мар, и газовщики с Ребваля, каменотесы с Американского рудника, рабочие с лесопилки Серрона, кучера с Рампоно, паровозные машинисты, мясники с боен Ла-Виллета и даже матросы с канонерок, бросивших якорь у Нового Моста.

Знакомое ржание зовет нас на улицу, нас — то есть меня и Марту. На тротуаре, у ног Феба, привязанного возле аптеки, с трудом поднимается с земли рослый бригадир и бормочет:

— Разрази меня гром! Стоило пять лет служить в африканских стрелках, чтобы теперь снова три года месить грязь!

Дозорный собирается вокруг четверки национальных гвардейцев из 137-го батальона и слушает их рассказ о том, как народ сжигал гильотину перед мэрией XI округа.

— Она, сволочь, никак огню не поддавалась. Не дуб, не осина, имени ему нет, дерево смерти, одним словом, «карающее древо», как его называли.

— Ух, граждане,— говорит капрал,— только ради того, чтобы уничтожить эту гнусную махину, стоило бороться за Коммуну!

В сарае, где держали гильотины, федераты обнаружили одну с пятью отверстиями, чтобы одним махом сносить пять голов.

— Мы такой и не видывали. Нам смотреть было некогда, подожгли столбы, балки — и все! Старались особенно к ней не прикасаться, уж больно омерзительно. Сволочь!

Подкомитет XI округа обнаружил гильотину версальцев на улице Фоли-Реньо, позади тюрьмы Ла-Рокетт. Достоверно известно, что она была сожжена перед статуей Вольтера под восторженные клики сотен и сотен граждан: «Долой смертную казнь!»

Двенадцать рабочих с боен притаскивают тушу быка. Бельвильцы жарят его прямо в кузнице. Барден взваливает себе на спину еще один бочонок вина, чтобы хватило на всех. Это уже третий. Все поют.

Какой-то национальный гвардеец с сединой в волосах ведет возле колонки беседу с нашими кумушками. Он все медлит около пушки:

— Ну, чем мы были, скажите, а? До Коммуны. Скотинкой. Рождались на соломе, жили в трущобах. Каждый кусок хлеба был пóтом полит.

Если не считать кепи, ремня и куртки, вид у него совсем не военный. На нем широченные велюровые штаны, сильно потертые, сплошь в заплатах, можно сказать, из дедовского наследства штаны. Разговаривая, он взмахивает искалеченной правой рукой.

— Вот эти три пальца я оставил хозяину при штамповке. Шакал этот решил, что больше я ему не нужен, раз я стал калекой! Это я-то, потомственный, можно сказать, пролетарий. Что уж тут говорить, оказался теперь я нуль, да что там — меньше нуля. А все-таки у меня остался вот этот да вот этот еще — он выставил вперед большой и указательный пальцы,— есть чем держать приклад и нажать на спусковой крючок. Коммуна — она девка славная, черт меня дери! При ней я снова что-то значу!

Бум-уум-зии... Шарле-горбун дует в ламповое стекло, как в рожок, желая изобразить на потеху детям громыхание пушки «Братство». Привлеченные странными звуками, подходят три пильщика от Серрона и двое подмастерьев из булочной Жакмара.

Сказочно-пьянящий аромат разливается вокруг, раздвигает стены — просторно становится в нашем тупике,— тот незабываемый запах, который так по сердцу народу: запах хорошего, сочного мяса. Да, парни с боен не подвели, такого мясца мы давно не видали. Слышно, как с наслаждением жуют люди, слышна сытая отрыжка, мы заслужили это винцо.

— На Елисейских Полях, у кукольников, переполненный зрительный зал. Когда падает снаряд, Пьерро придумывает какую-нибудь новую шутку, колотит эту скотину Баденге.

— Скажите-ка, граждане,— спрашивает один из поджигателей гильотины,— а верно ли, что из этой самой пушки на мосту Нейи пуляли малые ребята?

— А как же! — орет Трусеттка во всем своем великолепии и широко разводит руками у бедер, будто это она сама подарила миру всю нашу шумную ребячью ватагу.

— Господи боже мой, что это за дети! — жалобно произносит Мари Родюк, скрестив на груди руки, но тут же спохватывается: этот привычный жест в данном случае

неуместен, и, прикусив губы, она заводит руки за спину.

Селестина Худышка ворчит:

— Что ж это, больше, значит, некому защищать Коммуну, кроме сопляков?

— А что! Если бы все ребята так стреляли, как наши бельвильские, неплохо было бы! — высокомерно бросает Селестина Толстуха.

Марта решает: самая пора напомнить, что нашу пушечку следует вернуть на укрепления, западные или там южные, это уж как хотят, нам-то все равно, лишь бы «сподручнее было доставать сбиров и наемных убийц, которых поставляет клерикально-роялистская реакция версальских шуанов...».

Фалль отводит Марту в сторонку:

— Ради бога, Марта, не гонись ты за этим! У нас свои виды на пушку. Потом объясню...

Марта относится к этому недоверчиво. Она уловила несколько слов из беседы, которая происходила между командиром Мстителей и Ранвье: «Пусть ребята состоят при пушке, без них не обойдешься».

— Так чем же ты недовольна? Это ведь здорово! — говорю я.

— Дурачок долговязый! Если бы они действительно собирались снова пустить в ход пушку, они бы нас отставили!

— Да почему?

— Слишком они нас любят! Пролетарий, он, знаешь, дурень, боится, как бы чего с его детворой не приключилось!

Как будто в подтверждение этих слов Трусеттка и Фелиси торжественно преподносят нам два самых лучших куска мяса. Я благодарю Трусеттку, но только я; наша смуглянка держится холодно, не скрывает своего недоверия.

Чуть обугленное, а местами недожаренное мясо, истекающее жиром и обжигающее пальцы, напоминает нам знаменитую плавку в рождественскую ночь. Мы становимся в очередь под лафетом, в нетерпеливую очередь стремящихся утолить вином жажду, возле пасти винной бочки, которую уже снова успели наполнить.

Вечер совсем весенний. Вдалеке слышна канонада, как в самые страшные дни осады. Смех становится громче, кто-то снова затягивает песню. Марта уселась на первую

ступеньку лестницы, которая поднимается над столярной мастерской, навес над ней шатается, с тех пор как Кош вытащил оттуда несколько опорных балок, понадобившихся для доделки лафета. Вытянув скрещенные руки, скрытые складками юбки, Марта загляделась на темнеющее небо, впрочем, безо всякой грусти. Огромные, черные, как агат, глаза ее пылают огнем. Время от времени она без всякой связи, вздыхая, произносит какую-нибудь фразу: «А на мосту Нейи Желторотый и Ордонне держались совсем неплохо. Видишь, все-таки мужчины» ... или: «Феб... иногда мне кажется, будто он чует, где пролетит пуля...»

Я вытер о камни мостовой блестевшие от жира руки. Потом помыл их у колонки.

Какое это подспорье — слово, написанное на бумаге, само писание, возможность писать, держать в руках перо или карандаш.

Марта вздыхает:

— Вот есть люди, у которых своя кровать. Старая-престарая. Они на этой кровати рождаются. Им эту кровать передают, когда они женятся. И в этой кровати они зачинают детей. Они умирают на этой кровати, как умерли их отцы и как умрут их дети. Теперь и у меня есть свое ложе. У меня, у первой в семье. Мое ложе — Коммуна.

В неясном свете пугливо бродит какой-то подросток. Да ведь это Мартен Мюзеле из Рони!.. Как он вырос, окреп. Лицо загорело на деревенских просторах.

— Мне там невмоготу стало. Чего только не наслышишься в нашем Рони! Что столица, дескать, в руках темных элементов...

— Моих родителей видел?

— Заходил к ним. Они здоровы. Твой отец один со всем хозяйством управляется. У меня посылочка для тебя, кажется, рубашки, мать сшила...

— А может быть, правы они, Мартен!

— Да что ты! Они даже во сне грезить не умеют. Просто спят. Просто гниют.

Даже закрыв глаза, я не могу уже представить себе такую жизнь. Огонь в кузнице никнет, запах угля смешивается с запахом жареного мяса. У колонки федерат из V округа рассказывает о переустройстве Пантеона в соответствии с декретом об отделении церкви от государства;

отправление культов отныне не финансируется государством, а имущество религиозных конгрегаций национализируется.

— Народищу там собралось уйма! — Он загибает один за другим пять пальцев правой руки.— Журд объявил, что Пантеон опять станет местом успокоения Великих Людей, ввиду чего церковь св. Женевьевы будет закрыта для богослужений. Гражданин Дюпюи, кузнец, и ярмарочный торговец Шампелу взобрались на фронтон храма. Отпилили перекладины у креста и водрузили на нем гигантское красное знамя. Знамя сшили в комитете женщин-социалисток V округа. А оно, будь я проклят, затрепетало, зашелестело там наверху! Тут весь народ как загорланит! Пушка рявкнула. Артиллерийский салют... На улице Суффло, друг ты мой, стекла в домах все до одного повыскакивали. Десять батальонов прошли торжественным маршем. Все фанфары играли «Песнь отправления».

Каменотесы и мясники с бойни затянули у входа в кабачок «Пляши Нога»:

Во французском городе милом
Живет железный люд,
Жар души его как горнило,
Где тело из бронзы льют.

Марта опять вздыхает:

— А у деревенских ноги в землю врастают, и оттого душа у них корой покрыта.

Перед закрытой типографией стоят Вероника Диссанвье и Гифес и шепчутся, не стесняясь посторонних. Уже больше недели, как аптекарь Диссанвье куда-то скрылся. По улице Пуэбла с холма Бютт-Шомон под дробь барабана движется на запад батальон федератов. Яркая звезда загорается над городом.

Теперь к поющим присоединились кучера, газовщики и пильщики:

С Марсельезой вперед шагали,
Девяносто третий шел год —
Отцы Бастилию брали,
Им пушки ее не в счет...

Мартен Мюзеле рассказывает:

— Один из членов Коммуны появился на площади у нас в Рони. И прочел обращение: «Брат, тебя обманывают.

У нас интересы общие... Вот уже сколько веков тебе, крестьянин, тебе, поденщик, твердят, что собственность — священный плод труда, и ты этому веришь...» На члене Коммуны была красная перевязь, он доказывал, что, если бы это была правда, крестьянин давным-давно в богачах бы ходил, ведь из века в век он спину гнет. Но богатеют как раз те, кто никогда ни хрена не делал и не делает.

— А те что на это?

— Как только о «дележе» зашла речь, крестьяне сразу по домам разбежались, позаперлись там. Только и слышно было, как хлопали ставни и гремели засовы, хуже, чем когда от пруссаков прятались. Тот парень так и остался на площади один-одинешенек. Какие-то сопляки в него камнем швырнули, а он словно глас вопиющего в пустыне: «Париж,— дескать,— волнуется, он поднялся, хочет изменить законы, которые дают богатым власть над тружениками... Помогите же Парижу победить! Земля крестьянину, станки рабочему, работу всем».

— А те, должно быть, за своими ставнями слушали?

— Еще бы! А за жандармами все-таки пошли.

— Забрали его?

— Нет! Он, как свои тирады кончил, сразу исчез. Смелый, но на рожон лезть не пожелал.

Надо было мне остаться в Рони. Там, в нашей пустыньке, больше нашлось бы дела, чем среди пролетарской братии в Бельвиле!

На улице Ребваль поют солдаты:

> О муза предместий, вперед!
> В бой барабан зовет!
> На баррикаде над нами
> Республиканское знамя!

Мальчишки. Это ребятня из Жанделя пришла выпить стаканчик в честь пушки.

Под навесом в неверном, затухающем свете кузнечного горна кучка говорунов спорит насчет стратегии.

— А я вот сам читал в правительственном «Оффисьеле», так что это вовсе не слухи...— утверждает кривоногий старик, секретарь канцелярии по регистрации актов гражданского состояния.— Отчет от 6 апреля: «В целом наша позиция — это позиция людей, которые сознают, что они в своем праве, и терпеливо ждут, когда их атакуют, наше дело — обороняться...» И еще 8-го: «Строго

придерживаться оборонительной тактики, таков приказ!»

— Чтобы обороняться, Социальная республика должна ринуться вперед! — рычит федерат, по прозвищу Краснобай, машинист из Ла-Виллета.— Врезаться в самую гущу! Вот и вся хитрость!

— Клюзере правильно рассчитал: отсиживаться за фортами и ждать, как оно получится,— бросает краснодеревец Шоссвер.

— Значит, пускай Тьер, стервец, живет себе в свое удовольствие! — возмущается папаша Патор.— Развяжем ему руки, чтобы он мог пойти на всякие махинации с пруссаками!

— Снова осада? Ни за что! — вскрикнула мадемуазель Орени.— Париж теперь в тисках, помощи ждать неоткуда, на этот раз все может кончиться совсем плохо!

Гости небольшими группками покидают тупик. Прощаясь, они вежливо объясняют, что, мол, приходится рано вставать, работы невпроворот: кому школы открывать, кому церкви закрывать, кому приводить в порядок мастерские, снова пускать в ход фабрики...

Пьеделу, ломовик с Американского рудника, слышал от кого-то у заставы Роменвиль, что Бисмарк возвращает Тьеру тысячи пушек и митральез, захваченных пруссаками в Меце и в Седане.

Между тем Тьер перегруппировывал свои силы. До сих пор он не располагал достаточными резервами. И вот Винуа заменяют Мак-Магоном. После семи месяцев плена седанский банкрот мечтает о расправе, хочет выместить на парижанах унизительную капитуляцию перед пруссаками. Поскольку добровольцев наскрести не удалось, Жюль Фавр отправился в штаб Бисмарка и там выплакал себе позволение увеличить численный состав армии сверх предусмотренного условиями перемирия. Канцлер с интересом следил за тем, как французы убивают друг друга, но теперь он испугался, как бы пример Коммуны не подействовал на немецких социалистов. Фавр подписал соглашение, по которому «правительство дает заверение, что войска, собранные в Версале, будут использованы только против Парижа». При этом условии победитель соглашался довести численность французской армии до восьмидесяти тысяч, затем до ста десяти тысяч и, наконец, до ста семидесяти тысяч человек. Победитель ускорил

возвращение четырехсот тысяч пленных, коих изолировали, поместили в места, достаточно удаленные от населения и преобразованные в специальные лагеря генерала Дюкро, где их холят, хорошо кормят и щедро выплачивают содержание. Первыми по просьбе Фавра были освобождены офицеры. Репатриантов сначала сосредоточили в Безансоне, Оксере и Камбре. Пруссия обещала содействовать их транспортировке через оккупированные ею территории. Девятого апреля Версаль торжественно отмечает эту «национальную победу» банкетом, на который были приглашены иностранные послы.

ДЕНЬ РАНВЬЕ

УЛИЦА СЕН-СЕБАСТЬЕН, ДЕСЯТЫЙ ЧАС

Бледный назначил нам свидание здесь. Поручил купить газеты и отнести записку гражданину Жан-Батисту Клеману, ведающему в Артиллерийском управлении боеприпасами. Записка была скреплена подписью генерала Клюзере.

Марта ворчала у меня за спиной. Ну ясно, она тоже против генерала, служившего у янки, для нее он из тех военных аристократов, которые мечтают об одном: отнять у нас пушки и передать их артиллерийскому парку, в распоряжение Генерального штаба.

В бывшем церковном училище Сен-Себастьен делегат Габриэль Ранвье, он же Бледный, председательствует на собрании, посвященном замене «сестер» и «братьев» христианской школы светскими учителями. Председательница местного «Союза женщин для обороны Парижа и ухода за ранеными», дородная белошвейка, докладывает, что удаление церковников происходило вполне мирно:

— Несколько богомольных девиц притворно рыдали на груди святых сестер, изображая мучительное расставание! Да нашлась еще дюжина взрослых учеников, бросавших нам вслед камни. Тем дело и ограничилось. В общем, мы не жалуемся...

На улице Бернардинцев в школе для девочек с десяток фурий взяли приступом классы и пороли до крови учительниц светской школы. В школе Кармелитского ордена эти базарные бабы сбросили директрису с лестницы.

Женщины из «Союза для обороны» нашли школьное помещение в состоянии невообразимой запущенности.

Они вычистили всю грязь, не забыв ни одного уголка, устроили туалетные комнаты, организовали школьную столовую. Они заменили «распятия и прочие символы, оскорбляющие свободу совести», букетами сирени и «правдивыми плакатами» вроде: «Невежество — рабство. Образование — свобода».

Налицо оказалось не более тридцати учащихся из трехсот записанных, что не помешало Ранвье выступить с краткой речью:

— Мои маленькие друзья! Коммуна поручила мне сказать вам, что о вас она думает в первую очередь. Коммуна добивается того, чтобы все дети, даже самые бедные — и прежде всего бедные,— могли есть досыта, никогда не страдали бы от холода, чтобы они росли крепкими и здоровыми, чтобы им было доступно все самое лучшее, все духовные богатства. Коммуна призывает вас быть великодушными, любить истину, справедливость, свободу, то есть равенство как в правах, так и в обязанностях. Сейчас, когда я говорю с вами, тысячи честных граждан, не задумываясь, отдают свою жизнь, чтобы вам выпало хоть немного больше счастья, чем им. Никогда не забывайте об этом! Маленькие мои друзья, любите Коммуну, как Коммуна любит вас.

Марта вздыхает:

— Как это здорово — взять да прогнать боженьку...— Она еле сдерживает слезы.

Толстая белошвейка полагает, что преподавание в наших школах, даже в светских школах, неудовлетворительно, что нужно ускорить обучение. Женщины из «Союза» и новые учителя решают обойти все батальоны и все дома в квартале и призвать всех, кто умеет читать и писать, взять на себя этот долг чести и обучить грамоте не менее шести обитателей квартала.

— Когда наши мужья несут караул на укреплениях, у них случаются пустые часы. Достаточно одного грамотея на отделение. Ведь им там нечем заняться. Мужчины-то не вяжут...

Ранвье тут же составляет записку, которую мы отвезем гражданину Вайяну*, Делегату просвещения.

Этому «министру» был тридцать один год. Эдуар Вайян, выпускник Школы гражданских инженеров, член

Интернационала, связанный с бланкистами, состоявший в переписке с великим немецким философом Людвигом Фейербахом, выступил с призывом «ко всем лицам, изучавшим вопросы всеобщего и профессионального обучения», поделиться опытом насчет светского обязательного и бесплатного на всех его ступенях начального и профессионального образования.

У ЛИТЕЙНОЙ БРАТЬЕВ ФРЮШАН, ДЕСЯТЬ ЧАСОВ УТРА

Ранвье был буквально похищен литейщиками на углу улицы Ренар.

— Мне некогда! Надо присутствовать на бракосочетании, и не в одном месте...

— Минутку. Очень важно!

Гражданину Ранвье не удалось направиться с улицы Сен-Себастьен прямым путем в Бельвиль. Представительницы женщин-социалисток из Ла-Виллет подстерегли его у выхода из школы и сообщили, что ими замечен подозрительный транспорт: несколько фургонов с продовольствием готовятся выехать из Парижа. Пришпоривая коня, делегат неожиданно появился у складов, где он, выяснив, в чем дело, тут же реквизировал груз мяса и направил его по назначению: в Куртиль, престарелым. Коня пришлось сменить.

Что касается господ Фрюшанов, то они как сгинули еще 18 марта, так и не появлялись! Литейщики взломали ворота, дабы впустить комиссаров, коим «Коммуна поручила составить список мастерских, покинутых их владельцами, уклоняющимися от выполнения своего гражданского долга и не считающимися с интересами трудящихся»*.

По совету Предка рабочие решили пустить литейную Фрюшанов в ход. Они учредили «Кооперативное рабочее общество».

— Ты вот что скажи, старик,— спрашивает Шашуан,— а когда эти брательники вернутся?..

— Ну-у... Арбитражный суд установит условия, на которых кооперативы будут выкупать у вернувшихся владельцев их предприятия. Так что времени еще предостаточно.

Газета «Журналь де Версаль» от 19 апреля оплакивает хозяев: «Их капитал, плод их сбережений, равно как и их орудия труда, экспроприированы, конфискованы, распределены между личностями, объединившимися в общества под руководством диктаторов, на условиях, которые будут установлены по их усмотрению... Таким образом, предприниматели и хозяева устраняются декретом».

Предложение это обрадовало бельвильцев, внушило им веру в свои силы. Рабочие с лесопильни Серрона, машинисты из Ла-Виллета, металлисты Шарона, каменотесы Американского рудника обратились к своим друзьям литейщикам с просьбой разрешить им присутствие на их собраниях одного-двух делегатов, «чтобы поучиться искусству и методам обходиться без капиталистов». В свою очередь мастер Тонкерель выразил пожелание, чтобы рабочий кооператив литейной братьев Фрюшан связался с другими мастерскими и фабриками, которые рабочие взяли в свои руки, чтобы сопоставить опыт, а может быть, также и для того, чтобы чувствовать себя менее одинокими.

Ранвье ответил, что Коммуна создаст комиссию, на которую возложит задачу «уничтожения эксплуатации человека человеком — последней формы рабства — и организации труда через общества, объединенные на базе коллективного и неотчуждаемого капитала».

— У меня десятки свадебных обрядов в мэрии, не могу же я заставить их дожидаться,— говорит он, поглядев на часы.

— Комиссии нам недостаточно,— бросает Маркай.

— Но... по моему мнению, вы действуете вполне правильно,— добавляет делегат, не отрывая глаз от своей луковицы, где стрелки так и бегут.— Вам на месте виднее, вы в моих советах не нуждаетесь.

— Нам, гражданин, нужны не просто хорошие слова.

— Так чего же? Давайте кончим с этим делом!

— Нам требуются три вещи. Ежели в порядке важности, то пожалуйста: время, металл и деньги!

Бледный трижды воздевает руки к железным балкам свода литейной, после чего соглашается присесть на трибуне из кирпичей, попросту говоря — на печи, лицом к лицу с литейщиками.

Кооператив рабочих литейной братьев Фрюшан выработал обширные проекты, которые гражданин Ранвье заносит в свой потрепанный блокнот. Пункт первый: возобновить отливку пушек, на этот раз, конечно, для Коммуны. Пункт второй: создать профессиональное училище литейщиков.

— Ремесло у нас замечательное! — восклицает Тонкерель.— В Бельвиле десятки ребят мечтают научиться ему, и они, по-моему, правы. У нас здесь есть прекрасные мастера.— Первая трудность — это время: время, для того чтобы трудиться, время, чтобы обучать, и время, чтобы воевать. Ведь никто из наших пролетариев не согласится уйти со своего боевого поста, из рядов Мстителей Флуранса.

Ранвье похлопывает себя по кармашку, где у него лежат часы, с понимающим видом.

— За двумя зайцами погонишься,— посмеивается Фигаре.

— А вот и нет,— возражает Маркай.— Все дело в организации.

— А насчет организации...— насмешливо подхватывает Труйэ.— В Коммуне у вас, конечно, хорошие парни...

В конце концов, развивает свою мысль Маркай, нужно только освободить литейщиков от набивших оскомину воинских нарядов, от расхаживания по укреплениям, когда ничего, в сущности, не делаешь, на это годятся и люди, не имеющие серьезной профессии. В общем, тревожить нас надо только тогда, когда запахнет порохом. Тогда, конечно, не теряя времени, мы сунем ключ под двери школы или мастерской и схватим ружья. На этот случай и все с той же целью экономии времени надо бы предусмотреть быструю переброску бойцов: реквизировать два омнибуса, к примеру. А по окончании боя те, кто уцелеет, немедленно возобновляют преподавание и литье.

— Насчет тех, кто уцелеет, это ты верно сказал, — замечает Сенофр не то всерьез, не то в шутку,— чтобы научить малышей секретам сплавов, мне и одной лапы хватит.

— А проблема помещений для школ? Об этом ты, Маркай, позабыл! — вмешивается Легоржю.

В вопросе о профессиональном обучении они особенно честолюбивы. Обучение будет вестись на практике, на месте, прямо у печей, но и теория займет много времени.

— Надо бы реквизировать монастырскую школу для

мальчиков, она тут рядом,— предлагает Барбере, поглаживая длинные, как у старого галла, усы.

Снова Маркай:

— Нам металл нужен, иначе наша лавочка не откроется.

— Славно звонят у Иоанна Крестителя,— намекает Барбере.

— Мы могли бы отливать такие пушки, которые пели бы еще лучше, чем наше «Братство»,— бросает Сенофр.

Все громко смеются, с нежностью поглядывая на меня и Марту.

Ранвье заполняет блокнот.

— Вы еще насчет денег говорили...

— Мы не наличными просим,— отвечает, смущаясь, Маркай,— не звонкой монетой... Мы желали бы, чтобы Коммуна давала нам заказы в первую очередь.

— Право на предпочтительные подряды предоставляется рабочим обществам,— подсказывает Предок соответствующую формулу.

— Все это касается Франкеля из Комиссии труда,— одобрительно говорит Ранвье.— Он как бы ваш министр. С ним вы сговоритесь наверняка. Он венгерец.

Двадцать семь лет. Золотых дел мастер. В 1864 году, призванный в прусскую армию, он сводит знакомство с Бебелем и Якоби, содержавшимися в крепости Кёнигшварц. Во время поездки во Францию в Лионе вступает в Интернационал. Арестованный по обвинению в заговоре в мае 1870 года, Лео Франкель вместе со своими товарищами заявляет, что Интернационал вправе быть «непрерывным заговором всех угнетенных и всех эксплуатируемых».*

(Этот невысокий венгерец, золотых дел мастер, сказал своим судьям: «Цель Международного товарищества не повышение заработной платы трудящихся, но полное уничтожение наемного труда, который представляет собою не что иное, как замаскированное рабство».)

Выйдя из тюрьмы 5 сентября 1870 года, избранный 26 марта делегатом от XIII округа, Франкель писал 30 марта Карлу Марксу: «Если мы сумеем коренным образом преобразовать социальный строй, революция 18 марта будет самой результативной изо всех имевших место до сих пор. Действуя так, мы добьемся решения краеугольных проблем грядущих социальных революций...»

Ранвье все труднее и труднее взбираться в седло. К счастью, всегда находятся охотники его подсадить.

На углу улицы Пуэбла подмастерье булочника Орест останавливает Марту, Феба и меня:

— Мне хотелось бы перекинуться словечком с Бледным, да он притворился, что меня не заметил!

— С чего ты это взял? Его просто ждут на свадебные обряды там, в мэрии!

— А вы не могли бы ему сказать, вас он послушается...

Рабочим-пекарям надоело ждать, когда выполнят наконец обещание насчет запрещения ночного труда в булочных. Они решили собраться и идти к Ратуше.

— Я не хотел останавливать вас возле булочной, а то Жакмар мог услышать,— добавляет, потупясь, альбинос.

— Это как же? — возмущается Марта.— Ты дрейфишь перед своим орангутангом вонючим! Да еще теперь, когда у нас Коммуна! И еще жалуешься, что приходится работать ночью? Так тебе и надо! У Бледного дела поважнее, чем с такими рохлями, как ты, возиться!

— Рохлями, рохлями, еще посмотришь, какие мы рохли, пекари!

Я натягиваю поводья и говорю:

— Ты ее не очень слушай, Орест! А поручение твое выполним, скажем Бледному.

Как всегда, вся ярость Марты оборачивается теперь против меня.

— Вечно я у тебя неправа, пахарь несчастный! Что мое слово, что Фебова кругляшка, тебе это едино,— рычит она мне в спину.

20 апреля пекари демонстрировали перед Ратушей. Было их три сотни.

Как красива наша Гран-Рю перед бельвильской мэрией! Дюжина свадебных кортежей терпеливо ждет, коротая время в песнях и шутках. Хоть и бедность, и всевозможные ограничения — вторую уже осаду переживаем! — бельвильцы последнее выгребли из сундуков, выпороли зашитое в подкладки. Невесты все в белом, одно-единственное пламенеет пятно — красный цветок на груди, упоительная сердечная рана...

Прибытие Ранвье, высокого на высоченном Россинанте, позаимствованном в квартале Ла-Виллет, встречено бурей приветствий.

Игроки собирают свои ставки, выскакивают из кабачков, чтобы присоединиться к кортежу.

Мэр XX округа глядит на своего коня и готовится уже спешиться, когда в свадебный круг врывается краснокамзольный гонец с пером на шляпе и выкрикивает:

— Нарочный от Центрального комитета Национальной гвардии к гражданину Ранвье!

Мэр распечатывает пакет. Его исхудавшее лицо мрачнеет от строки к строке. Он медленно поводит головой, шепчет про себя: «Нет! Это невозможно!» Бросает нарочному:

— Скачи! Скажешь, что я буду тотчас же!

И поворачивает коня. Но самая решительная из стайки невест ухватывает высоченного одра прямо за ноздри:

— Не спеши, гражданин! Сперва повенчай нас!

Невеста — бойкая девица лет двадцати пяти, а то и тридцати — за словом в карман не полезет и глаз не потупит.

— Простите меня, гражданка! — почти заикается Ранвье.— Не могу! Речь идет о жизни и смерти людей, сотен людей...

Другая невеста, не уловившая ответа, подхватывает на хороводный лад слова первой:

> Повенчай нас, мой дружок,
> Белоснежный мотылек...

И вся дюжина свадеб, невесты, родственники, дружки затягивают хором, притопывая и хлопая в ладоши:

> Повенчай меня и Жана
> У каштана, у каштана!

Ранвье знаком приказывает мне подставить ухо и шепчет:

— Гони в Центральный комитет, объясни им, что я не могу явиться немедленно, но что я решительно возражаю против предложения Лакора.

> Хочет, чтоб мы повенчались,
> Пусть поклонится вначале!

Узнав, что четыре сотни солдат стоят в Нейи, не имея крова над головой, не получая жалованья, гражданин Лакор, делегат от VI округа, предложил направить к ним Шуто, чтобы собрать их под крышу.

— Нас повенчать надо, время не терпит! — выкрикивает бой-баба, поглаживая шестимесячное полушарие, которое она выставила вперед, рассчитывая на неопровержимость такого аргумента.

— ...И кто бы другой, а то Лакор, который вечно вопит, что муниципалитеты вмешиваются в дела военных частей! И чего доброго, уговорит остальных. А ведь и без того между Коммуной и Комитетом Национальной гвардии все идет вовсе не так гладко!*

Повенчай нас, мой дружок...

— Мы мигом, Феб не подведет!

Белоснежный мотылек!

Ранвье снова позвал меня:

— Нет, это ни к чему не поведет, ты да Марта — это не авторитетно... Напротив, разожжет их еще больше... Оставайтесь здесь, пригодитесь мне...

Но он все не решается сойти с лошади. Впрочем, хватит ли у него сил снова взобраться в седло?

Из отдела записей актов гражданского состояния спустился папаша Вильпье, чтобы посмотреть, как идут дела. Желая, по-видимому, оправдать свое появление, он говорит:

— Не понимаю, Габриэль, что это их всех разбирает... все нынче решили жениться. И не только в Бельвиле, не думай! Я говорил со своими коллегами из других округов. Все то же. Никогда еще в Париже не заключалось столько браков.

— Гражданин Вильпье! Принесите-ка книгу записей, свод законов, перевязь и все причиндалы, я буду их венчать прямо здесь, всех скопом.

— Прямо с седла? Так, что ли?

— А почему бы и нет!

Все было очень красиво. И их действительно повенчали.

Запах сирени. Взволнованное молчание. Худой, сутулый Габриэль Ранвье, взгромоздившийся на своего тощего ко-

нягу. Два хора, два кратких напева выводили «да»: мужские голоса и мелодичные женские голоса. И — прозвучавший одновременно звук поцелуя, один на все брачующиеся пары Бельвиля.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ, ОКОЛО ПОЛУДНЯ

На сей раз я понял, чем мы полезны Бледному: мы вместо него выслушивали людей, с которыми ему было недосуг побеседовать. Если кто-нибудь преграждал путь, Ранвье только пришпоривал коня и, чуть обернувшись, указывал на нас: «С ними, с ребятами поговорите!»

В тупике мы потеряли уйму времени, надо было поскорее открыть аптеку. После отъезда своего рогоносца-супруга Вероника Диссанвье выразила желание быть чем может полезной. Но не для того она отказалась следовать за своим мужем в Версаль, чтобы снова стать за конторку и отпускать пузырьки.

— И зря. Как раз в аптеке она могла бы действительно послужить Коммуне,— сказала не без яда Трусеттка.— Но Вероника и слушать об этом не желает...

— Пусть ей Гифес объяснит.

— Она свое твердит: дескать, она не аптекарша, и все тут.

— Будто мы без нее не знаем,— резко вмешалась Марта. Я бросил на нее тревожный взгляд, и она добавила сквозь зубы: — Надо делать, что можешь... Я думаю, Бледный так же бы ответил. А по-твоему, нет?

В предместье Тампль женщины-социалистки требуют, чтобы мэрии провели «повальные обыски на улицах и в квартирах» для изъятия оружия, оставленного эмигрантами.

— Обязательно скажите Ранвье: нам нужны полномочия, чтобы собрать данные о бежавших из Парижа. Тогда можно будет налагать денежные штрафы и прочие взыскания.

Не успели мы проехать и десяти метров, как к нам обратилась вдова погибшего на мосту Нейи, ей положено пособие в шестьсот франков. Как его получить?

Затем некий франкмасон сообщает, что ему поручено сделать весьма важное — и секретное — сообщение Коммуне от имени ложи Фобур-Сент-Антуан.

Выезжая с площади Шато-д'О, мы наткнулись на двух ветеранов 48 года. Старики настаивали на том, чтобы Ранвье не счел за труд посетить сегодня вечером заседание их клуба, которое будет посвящено важнейшим вопросам.

— Вам ведь известно, что в те же часы заседает Коммуна.

— Она все вечера заседает! — вознегодовал один из ветеранов и от негодования даже потерял свое пенсне.— Оттого-то мы в клубах даже не знаем, как выглядят наши избранники. Как же они могут знать, о чем народ думает?!

— Не могут же они присутствовать всюду зараз!

— Сами виноваты! На все дела набрасываются разом. А их ведь даже сотни не наберется. В 93-м их было двести сорок!

— Девяносто третий! Вечная песня!

Марта за моей спиной нетерпеливо вертится.

— Когда берешься переделывать общество и сверх того изо дня в день приходится заниматься судьбой двух миллионов душ,— рассуждает старый революционер, воинственно размахивая своим пенсне,— нужно побольше делегаций, комиссий. Пусть их будет вдвое больше, и то не хватит! Во время осады на все лады твердили, что нужно на десять тысяч жителей иметь одного представителя. Считали, что никак не меньше. Теперь самое время об этом напомнить, поскольку опять выборы. Мне кажется, этот вопрос, который тоже будет обсуждаться в клубе, мог бы заинтересовать гражданина Ранвье, если бы он соблаговолил навестить нас нынче вечером!..

А еще нас задержали две похоронные процессии с фанфарами, которые пересекли друг другу дорогу при выходе с бульвара.

* * *

Кабачок напротив переполнен. Гонцы, секретари, офицеры для поручений, кучера и охрана — каждый старается вставить словечко, высказать свой взгляд. Разноголосые крики, хохот, клубы дыма. Спирает дыхание.

Центральный комитет Национальной гвардии не так уж плохо организован. Нашлись солома и овес для Феба, суп и вино для нас с Мартой. Время от времени вестовые выходят, вызывают гонцов, требуют карету.

— Если уж на то пошло, то ведь Центральный комитет учредил Коммуну. С какой стати ему было уходить со сцены после победы?

— Виноваты члены Комитета лишь в том, что не выдвинули свои кандидатуры на выборах. Но им следовало бы воспользоваться дополнительными выборами.

— Лакор выдвигает свою кандидатуру.

— И правильно делает.

— Все они должны выставить свои кандидатуры! Чтобы влить революционную энергию в эту задремавшую Коммуну!

Их позиция ясна. Центральный комитет, вышедший из чрева Национальной гвардии, должен держать вооруженные силы в своих руках. Ибо вооруженные силы — единственная реальная сила Коммуны.

Какой-то сержант-каптенармус одобряет:

— Я уж не говорю о том, что, если бы, к несчастью, Коммуна была подавлена, первыми к стенке поставили бы членов Центрального комитета Национальной гвардии. Что же удивительного, что они хотят заниматься обороной!

Старый возница фиакра держится других взглядов:

— В Коммуну вошли избранники народа Парижа. Они и назначили военных начальников, настоящих генералов.

— Нашел тоже! Клюзере, что ли?

— А ты по делам суди!

Но робкий протест заглушается ядовитым смехом. Сержант указывает на окна, за которыми заседают делегаты Национальной гвардии:

— Кто, скажите, вытурил 18 марта этого недоноска и его Винуа с их солдатней? Они! Так кто может защитить Коммуну, а?

— Ну а еще что они могут? — спрашивает хозяин бистро, держа по бутылке в каждой руке.

Ему отвечают наперебой десятка два голосов:

— Ввести удостоверения личности, чтобы шпионов вылавливать!

— Взять в свои руки омнибусы и пароходики на Сене.

— Установить связь с республиканцами Гавра, а для этого тайно проложить ночью кабель в русле Сены!

— Никаких назначений в Национальной гвардии без консультации с Комитетом!

— Отозвать Клюзере! Хватит ему держать людей под открытым небом, когда имеются крытые траншеи.

Тон здесь совсем другой, чем в Ратуше. Стол вздрагивает под ударами кулаков.

— А мы, разрази их гром, якобинцы! — вдруг разорался какой-то уродец в синих очках. И он набрасывает свой портрет Коммуны: Коммуны-пугала, Коммуны, забравшей вожжи в свои руки, Коммуны самодержавной, воинственной.

— Не стоит больше и говорить о Коммуне,— заключает сержант-каптенармус,— от нее несет федерализмом, всех примирить хочет, а в общем — жалкое зрелище! Нам Комитет общественного спасения нужен!

Все это время кого-то вызывают, кто-то входит и выходит. На мгновение очередной оратор останавливается. Капрал-горнист 96-го батальона ищет подполковника Гийета̀, заместителя командира IV легиона.

— Пусть немедля явится на аванпосты, иначе все по домам разойдутся!

— Почему так?

— Вот уже неделя, как их не сменяли. Жрать больше нечего, и патроны почти все вышли.

Подполковника находят в задней комнате. Он храпит, положив голову на стол.

— Первый раз уснул за три дня, да еще, как видите, застигли меня тут врасплох,— бормочет он, застегивая куртку. И требует себе коня.

Незнакомый капитан заявляет, что у него неотложное дело к Центральному комитету Национальной гвардии.

— Можете себе представить, тридцать тонн ваты, мы ее случайно обнаружили. Лучше не придумаешь для укреплений. Картечь, угодив в вату, завязнет!

— А кто вас послал, гражданин?

— Я сам себя послал. Я капитан Айо из 181-го батальона II легиона.

Но люди стали разборчивы, и их трудно удивить: только что Вольпениль, директор Акциза, напал на целую груду одежды: пятнадцать тысяч пар гетр по 4 франка 50 и восемь тысяч пар башмаков по 8 франков 50.

— Вот увидите, наша добренькая Коммуна со своим коммунализмом, федерализмом и своей покладистостью не пожелает к ним притронуться,— ревет коротышка в синих очках.

— Восемь пятьдесят — цена сходная,— бормочет виноторговец.

— И все-таки дорого! Надо просто реквизировать. Но куда там! Это все равно как с миллиардами Французского банка. Ни-ни! Пальцем не тронь! Мы же честные... ни одного хозяйского су не заберем. А народ наш пусть босиком гуляет, с голоду дохнет. Ему не привыкать стать!

Гвардеец Мериго докладывает, что его батальон одет кое-как, плохо вооружен и все еще пользуется старинными ружьями.

— Для некоторых это предлог не подчиняться приказу. Офицеры, которым вроде бы надо подтянуть своих подчиненных, ни о чем думать не желают. Распустили людей. Когда в квартале бьют сбор, они сами — а они-то должны показать пример, быть всегда впереди своих солдат — норовят прийти последними... если только вообще соизволят явиться! Вот обо всем этом я и хочу сказать в Комитете Национальной гвардии. Надо отставить наших эполетчиков и назначить офицеров, которые дадут клятву держаться до последнего, защищая наше благородное дело. А тех молодчиков разжаловать перед строем, сунуть в лапы ружьецо, и пусть шагают в самом первом ряду, эти бакалейщики, которые нас позорят! Вы посмотрите на нашего старшего сержанта, галантерейщика, что ли, как он саблю по мостовой за собой волочит. А ему нужно в руках ружье с патронами держать да помнить, что патроны нам дороже хлеба!

Прения в Комитете закончились, выходит Ранвье, с секунду он смотрит на нас, не понимая, что это мы, еще секунду старается понять, какого черта мы торчим здесь... Вынимает часы.

— Опять опоздаю в Коммуну.

Коммуна заседает дважды в день. В два часа дня и вечером, порой до рассвета. Эти заседания прерываются только для того, чтобы наспех перекусить. Пока избранники народа находятся в Ратуше, они стараются воспользоваться этим, чтобы поработать в комиссиях, членами которых они являются и на которые взвалено бремя задач и забот настоящих министерств. Ранвье — член Военной комиссии.

— Скажите-ка, ребятки, вам не трудно вернуться в Бельвиль и предупредить Совет легиона, что я постараюсь заглянуть к ним часов в пять?

Он такой высокий и такой худой, такой бледный и сутулый. По-видимому, два часа перепалки в Комитете

изматывают его больше, чем инспектирование бойцов прямо под огнем. Выдалась в этот день одна-единственная минута, когда он перевел дух, посветлел лицом. Это было в Сен-Себастьенской школе.

— Дождитесь меня в Бельвиле. Чтобы не скакать лишний раз взад и вперед.

Флуранс был Сидом. Ранвье — Дон-Кихот. Не так уж надумано это сравнение: посмотрите только, как он тянется длиннющими руками, ухватывая гриву своего Россинанта.

ДО САМЫХ ПОТЕМОК

Габриэль Ранвье провел вторую половину дня, закончил день и начал следующий на одном дыхании. И без нас.

Отрывки разговоров при выходе из Совета XX легиона, где Ранвье председательствовал, не меньше, чем его запавшие щеки и усталость, говорили о жестокой словесной схватке, разыгравшейся там. Мстители, в частности Фалль, поначалу были в восторге, оттого что функции Совета расширятся, что в его обязанность входит теперь следить за «проведением мер, долженствующих обеспечить защиту Коммуны от поползновений реакции, развить свою революционную активность, включая сюда и административные дела».

Значительно холоднее было встречено сообщение о том, что отныне роты национальных гвардейцев будут стоять в казарме Лобо в связи с реорганизацией. Казенные здания на улице Риволи — это далековато. Убедить наших оторваться от ихнего тупика, от Бельвиля, «покинуть родное гнездо» было делом нелегким. Предстояло еще встретиться лицом к лицу с их женами.

Бледный уже гнал коня во весь опор, торопясь попасть на второе заседание Коммуны.

— Мне кажется, он теперь не так кашляет, верно, Марта?

— Просто некогда ему кашлять.

Вечером Ранвье вручил нам послание для доставки в бывшую полицейскую префектуру.

— А сюда возвращаться не надо. Отправляйтесь прямо спать.

В префектуре мы наткнулись на моего кузена Жюля и Пассаласа. Оба были углублены в работу.

— Забудьте, что я вам скажу, ребята, но если вдуматься, то нашего старика Белэ кто-то водит за нос... Не исключено, что Французский банк, который в виде милостыньки бросает нам, когда ему заблагорассудится, миллион-другой, тишком переправляет сотни миллионов версальцам... Вот если бы поймать их с поличным!

На обратном пути Марта выразила желание взглянуть на заставу Сен-Дени. Мы проехали Центральный рынок меж двумя рядами роскошных цветов, одурявших нас своими ароматами, и оказались в самой гуще праздничной толпы ярко освещенных Больших бульваров. Мягкий ночной воздух. Очереди у входа в театры. Под сводом газетных киосков целый водоворот каскеток и шляп. Этот весенний ветер вызвал на улицу зевак: одних из предместий, других из богатых кварталов. Тут они встречались.

— Трудятся с одной лишь целью — разбогатеть! Честолюбцы. Вот вам и все!

— Им уже недолго сидеть в Ратуше, и они это прекрасно знают... Уж вы мне поверьте! Вот и стараются устроить свои делишки и набить карманы!

Ударив каблуками в бока Феба, я вырвался из толпы. Марта, чьи руки кольцом сжимали мою талию, так же, как и я, чувствовала в этом галопе, зигзагом прорезавшем вереницу карет, огни бульвара, саму ночь, что мы были прекрасны, мы трое: неистовый конь, смуглая девушка и я — долговязый бумагомаратель из предместья Бельвиль.

— Скажи-ка мне, мужичок глиняный бок, много ли наш Бледный зарабатывает?

Она знала это не хуже меня...

Первого апреля Коммуна, учитывая, что «высокие посты не должны предоставляться или быть предметом притязаний как источник выгоды», ограничила шестью тысячами франков максимум годового оклада своих функционеров. В Версале члены правительства Тьера назначили себе пятидесятитысячный оклад.

Под барабанную дробь Мстители Флуранса углублялись во мрак предместья Тампль. Они шли в форт Исси.

Перед аркой высилась чудовищная громада пушки «Братство», казавшейся какой-то глуповато-неуклюжей.

Едва мы прибыли в тупик, Марта устроила мне невыносимую сцену. Как всегда, она выговаривает мне за мой высокий рост, бесхарактерность, за то, что я из Рони... Я ничего не мог понять в ее упреках, только то, что силы ее и нервы сдавали. Этот злобный взрыв приходит к обычному концу: моя смуглянка бросает меня и отправляется ночевать бог весть куда. Уходит она, как-то странно выпрямившись, со сжатыми кулаками, потряхивая своей гривой. Походке ее недостает величавости. У Марты болят ягодицы. Я мог бы, конечно, завести седло, но тогда обязательно украдут Феба.

Было это не то 10, не то 11 или 12 апреля 1871 года. Я забыл сразу поставить число, а память на даты у меня слабая. Впрочем, так ли уж это важно. Дни Бледного следуют друг за другом неотличимые: вчера ли, сегодня...

Кажется, я не сказал, что каждый из этих дней сплошь, от зари до ночи, сохранял тепло и ясность.

Строки из версальских газет:

«Ле Голуа»: «Париж стал адом, напоминающим о пещерах легендарных разбойников».

«Журналь Оффисьель»: «Самый цивилизованный, самый блестящий, самый приятный город в мире стал логовищем зачумленных, откуда всякий помышляет бежать».

Скончался Бастико.

Когда мы пришли, у изголовья койки стоял с потрясенным лицом начальник лазарета, наш добряк Паже-Люсипен.

— Никак не могу привыкнуть, хотя присутствую при этом ежедневно, даже по нескольку раз в день. Каждый раз даю себе слово, что в следующий раз не пойду. Но ничто не может меня удержать, мое место здесь, Коммуна меня поставила сюда также и ради этого...

Нашей тройке — Марте, Фебу и мне — было поручено известить Мстителей Флуранса, находившихся в форте Исси. Люди потребовали смены: не могут они не присутствовать на последнем прощании с товарищем.

— Даже и не думайте,— отрезал Фалль после разговора со штабом Исси.

Матирас взорвался:

— Как это?— Чтобы он не мог проводить в последний путь своего старого товарища по заводу! Посмотрим,

найдется ли кто, чтобы стать ему на дороге, а он не поколеблется начинить такому смельчаку кишки свинцом. Слово медника... Ну, знаете, если это и есть Коммуна!..

Фалль обратился к Гифесу:

— Объясни ему ты.

— Гражданин Бастико умер ради нее, гражданин Матирас. А ты предлагаешь почтить его память уходом со своего поста, прежде чем нас сменят. Это ведь значит сделать брешь в укреплениях перед лицом врага,— объяснил типограф.

— Если тебе нужно кому-нибудь набить свинцом кишки, я к твоим услугам,— добавил новый командир бельвильских стрелков, про себя признав увещевания своего предшественника правильными, но не слишком убедительными.

Другие, в том числе Шиньон, Пливар и Нищебрат, хотя сами сперва вознегодовали не меньше Матираса, старались теперь осадить огнебородого медника, удерживая его за плечи. Впрочем, был и еще немалый аргумент: версальские снаряды, которые сыпались дождем прямо на брустверы, господствовавшие над парижскими фортификациями на уровне Пуэн-дю-Жур. Матирасова буря в конце концов улеглась, по крайней мере на поверхности. Левая кустистая бровь нервными судорогами сжимала глаз, отчего еще свирепее, еще круглее сверкал правый. Кто-нибудь заплатит за смерть Бастико, уж об этом он позаботится!

Так получилось, что похоронами пришлось заняться женщинам. Трусеттка потребовала, чтобы тело было немедленно перевезено из лазарета в Бельвиль, где оно будет выставлено для прощания.

Ноэми Матирас не желала, чтобы гроб стоял в зале кабачка под тяжело нависшим потолком.

— Непьющий был... Во всяком случае, пока не стал безработным...

— Генералов выставляют в казармах, епископов в соборах,— бросила Фелиси Фаледони.— А он был рабочий, значит...

Итак, гроб бывшего медника Келя был установлен в литейной братьев Фрюшан. Стоял он на подмостках, под железными сводами, а свечи заменяло пламя печей.

Почетный караул состоял из тех, кто не мог быть послан на линию огня,— Предок, хромоногий Лармитон,

одноногий Пунь, глухонемой Барден, старый часовщик Бансель и другие. Все те, кто, не краснея, мог стоять здесь по стойке «смирно» перед героем Мстителей Флуранса.

Перед гробом прошла вся Гран-Рю. Бастико был первым из тупика, павшим смертью храбрых. Флуранс — тот был национальным героем и ученым. Вормье и Алексис, печатник Гифеса, нашли себе смерть в Шампиньи, в конце ноября, но это было в дни осады, под трехцветным знаменем. Зоэ — беженка — пробыла у нас без году неделя... Ныне в четырех белых досках покоился бельвилец, рабочий, федерат, убитый с красным знаменем в руках, потомственный, настоящий — об этом не принято было говорить, но это чувствовал каждый в душе, это слышалось во всхлипываниях и рассуждениях вслух.

— Когда я навещала его, он был уже очень слаб,— рассказывала Флоретта матушке Канкуэн.— А все-таки решил показать мне, что он умеет читать четыре слова: Коммуна, Социальная, Бланки, Флуранс. Слова у него были написаны на клочках бумаги, он их перемешивал в каскетке и заставлял вынимать, читая одно за другим: Бланки, Социальная, Флуранс, Коммуна. А ведь они разные, то есть буквы у них разные... А он не ошибался. Было это позавчера, накануне его смерти.

Проститься с ним пришли люди, которых даже и не ждали. Например, Серрон, владелец лесопильни, в сопровождении своего мастера Фарадье.

— Смотри-ка,— буркнул себе в усы плотник Огюст Ронф.— А я думал, он у версальцев.

Но госпожа Пагишон, та, которая кормит хлебом своих четырех собачек, заявила:

— Коммунарий он или нет, мне все равно, он был порядочным человеком — господин Бастико.

— Да, это верно, он мне однажды оказал услугу,— добавила мадемуазель Орени.— И животных любил...

Орени, портниха с аллеи Фошер, тоже у себя целый зверинец держит. Собак и кошек.

Каким-то чудом узнав о похоронах, рабочие Келя прислали депутацию — целых двенадцать человек.

— Вожаком он никаким не был,— объяснял рябой синдикалист,— но когда на заводе бросали клич: «Бастуй!», когда он видел, что его товарищи действуют прямо на глазах хозяина, то, даже если он не очень разбирался,

что произошло, даже если не слишком в это верил, все равно он инстинктивно становился на нашу сторону, и можно было на него опереться. Скалой стоял!

Депутация, между прочим, воспользовалась случаем и навела справки насчет рабочего кооператива, организованного в литейной Фрюшанов.

— Вот видите, правильно мы сделали, что выставили гроб здесь,— торжествовала Фелиси.

В литейной, которую пустили в ход под руководством Маркайя и Тонкереля, работа кипела. Литейщики стояли у печей, но ружья были у них всегда под рукой, и они чуть что — готовы были присоединиться к своим в форте Исси. На панихиде по Бастико вместо ладана были здешние запахи расплавленного металла, а вместо органа гудело пламя печей.

На эту пролетарскую мессу явились видные бельвильцы. Был тут бочар Серри, ставший медиком, был типографщик Дюмон, раненный 22 января, Тренке, Лефрансэ, был с белой окладистой бородой Мио* и даже Жюль Валлес. Они не могли долго оставаться и извинились перед устроительницами, что не смогут присутствовать завтра на погребении.

Горячая лава бронзы отбрасывала трепетный серебряный нимб на строгое чело бельвильца.

19 апреля.

Как позволили мы себя так одурачить? И сейчас еще не могу прийти в себя.

— ...Вставай, соня! Кто-то подбирается к нашей пушке!

Мы спали в нашем укрытии в тупике. Марта уже стояла на четвереньках, напрягшись вся, как хищник перед прыжком. «Тс-с-с!» — шептала она при каждом шуршании тюфяка. Сон у нее гранитный, но при любом признаке опасности, от самого легчайшего шума она уже на ногах, и сна как не бывало.

Пушка «Братство» ночевала перед аркой. Она стояла здесь днем и ночью с тех пор, как был взят мост Нейи. Повозки и кареты, проезжавшие по Гран-Рю, могли двигаться только гуськом, что не обходилось без недоразумений и без криков. Пушка стояла без всякого присмотра даже ночью. Впрочем, караулов здесь давно уже не ста-

вили. С тех пор как у нас Коммуна, Бельвиль спал спокойно. К тому же мы сами с превеликим трудом сдвигали с места нашу пушку, и вряд ли кто из посторонних сумел бы тайком похитить такую чудовищную махину.

— Для этого ведь лошади нужны, Марта!

— Слушай, они уже близко!

Мы поспешили им навстречу.

Их было человек пять, не больше, во главе с капитаном, совсем еще юнцом. Двое несли ремни и прочую упряжь, которую достали в конюшнях на улице Рампоно.

— Капитан Бевиль из штаба Артиллерийского управления. Нам нужна пушка «Братство».

Тон был весьма учтивый, даже чопорный, будто он беседовал с настоящей дамой.

— Письменный приказ есть?

— Пожалуйста!

— Флоран, проверь!

Света газового рожка было достаточно, чтобы убедиться в наличии печати и подписи, принадлежавшей полковнику, который в свою очередь ссылался на приказ генерала Клюзере.

— Ваша пушка реквизирована,— объяснил офицер,— как и многие другие орудия. Мы заняты оснащением частей в связи с предстоящим наступлением. Вы сами понимаете, что я не могу распространяться на сей счет более подробно.

Марта, ошеломленная, разглядывала капитана. Я тоже никогда прежде не видывал такого красавчика военного. Высокий, стройный, с белокурыми выхоленными усиками, с серьезным и учтивым видом прилежного ученика.

— Даже и не думайте увозить нашу пушку без нас! Я такой здесь тарарам устрою!

— О! — Легкое недовольство послышалось в его голосе.— Мои люди тем временем будут запрягать — так мы сэкономим время.

На нем не было ни плюмажа, ни помпонов, никаких побрякушек, мундир выглядел безупречно: прекрасного покроя, ни пятнышка, ни случайной складки. Генерал Клюзере, подумалось мне, заводит новую моду в Национальной гвардии.

Марта вскоре вернулась, успев поднять на ноги всю нашу команду. Сердитым жестом протянула мне сумку, забытую мною на нашем тюфяке.

— Не верю я им!
— Почему?
— Слишком лощеный этот золотопогонник!

Но Марта оказалась в одиночестве: все прочие не разделяли ее подозрений. Мы — мы были просто счастливы. Наконец-то наша пушечка еще постреляет. Займет свое место в грозе и громах коммунарских и всех их там оглушит, обгудит их, черт побери, своим бронзовым басом.

Наша команда с Барденом во главе, окончательно пробужденная важной новостью, перекликалась, рассевшись при пушке по своим местам. Насыщенный предгрозьем воздух прибавлял остроты их волнению.

Торопыга затянул:

Во имя справедливости
Пришла теперь пора
Восстать рабам в полях,
Заводах, рудниках,
Чтоб 93 год для них настал!

Под стук и звяканье, гулко отдававшиеся среди спящих фасадов, в который уже раз мы спускались к сердцу Парижа, и каждая встреча с ним не была похожа на предыдущую.

Юный красавец в капитанских погонах услал двух своих сержантов. Оставшиеся двое замыкали наш кортеж, отступив далеко назад от пушки, а сам командир скакал впереди, соблюдая приличную дистанцию между нами и собой, так что разговор был невозможен.

— Странною он нас повел дорогой! — проговорила Марта.— Как он чудно́ сидит на лошади.
— Да, я заметил!
— Почему он так держится?
— Он держится, как те, кто обучался верховой езде.
— А разве этому учатся?
— Конечно!
— Разве есть такие школы, чтобы учили на кобылах ездить?

В ее вопросе было больше восхищения, чем подозрительности: вот какие теперь в нашей народной армии шикарные командиры есть! В общем, настроение было хорошее. Мы следовали за красавчиком капитаном по темной улице и попали на маленькую треугольную площадь. Въехали в ворота и очутились во дворе...

Тяжелый зловещий удар заставил нас вздрогнуть. Гигантские ворота с грохотом захлопнулись за нами.

Наш красавчик мелкой рысцой подъехал к нам и осадил своего коня.

— А ну-ка, ребятки, слезайте, да поскорей!

Мы сразу, без перехода, перенеслись в другой мир: из будущего в прошлое.

Они вылезали изо всех углов, из-за запертого портала, из темных амбразур, из сырых нор и надвигались на нас, склизкие, верткие, с ухмылкой на рылах. Тараканье племя!

Шуаны, толстобрюхие богатеи, орлеанисты, убийцы-сутенеры, допотопная деревенщина, эксплуататоры, мошенники с титулами, в митрах, в орденах...

Должно быть, так вот теснятся, налезают друг на друга тараканы и тараканищи, подбираясь к крылатому трупику только что оттрепетавшей великолепной бабочки. Еще миг — и они утащат ее в свою смрадную щель.

Тут были офицеры в редингогах, буржуа в военной форме, но, в общем-то, среди полусотни жирных шутников не так уж много переряженных. Нам они казались все до странности знакомыми, у каждого своя гримаса, неизменная, и неизменно собственный дом. Высокий полковник, вытянутый, как шпицрутен, супруг томной наследницы солидного имущества, оптовик-бакалейщик, старший приказчик, ворующий в надежде попасть в высшие слои общества, высокопоставленный чиновник, наживший себе геморрой в золоченом кресле, промотавшийся аристократишка в поисках приданого в паре с папашей-нуворишем, племянник протоиерея и графский мажордом, богачи, которые измеряются звоном золота, и владельцы звонкого имени, и те, кто только мечтает о благородном металле или благородном имени; все преуспевающие, которыми кишит круглобокий сыр старого мира, где они копошатся, довольно урча; те, кто прежде всего заметит башмак, который просит каши, или протертый локоть; те, кто затыкает себе нос, проходя мимо бедняков, и которым все ведомо заранее: они знают все рецепты, все решения, все входы и выходы. Предместья перенаселены? Давайте эпидемию! Слишком много безработных? Давайте войну! Есть недовольные? А на что Кайена?

Маслянистое ржание, утробный хохот, раскатистый смех хозяина, который ничего не понял; счастливый

смех того, кто считает, что он всегда прав и что именно он смеется последним.

— А ну давай, мелюзга!

Мы не нуждались в пояснениях. Кованые чугунные фонари давали достаточно света. Итак, они желали получить пушку «Братство», и никакую другую, ту самую, о которой говорил весь Париж, мощный бронзовый бас. Чтобы уничтожить ее, или упрятать, или выдать версальцам — у них, конечно, есть для этого все возможности! А мы кто? Дюжина сопляков и один великовозрастный разиня. Не так уж трудно справиться. Одного пинка хватит...

Мы чувствовали себя маленькими, жалкими. Смех этих людей ставил нас на место: мелюзга!

И тут нас взяла ярость.

Они были толстые, высокие, их было втрое больше, чем нас! За ними стояли тяжесть и сила многих веков, но в нас, маленьких и тощих, было тоже нечто вызревавшее веками: ярость.

Времени много не потребовалось. Мы даже не стали осыпать их ругательствами, слишком многое надо было бы сказать, а нам нужны были все наши силы! Мы бросились на них, стиснув зубы, в гробовом молчании.

Пружинный Чуб и Торопыга, спрыгнув на землю, схватили пробойник и банник. Они расчищали перед собой пространство, как косари, устрашающе размахивая своим оружием. Родюки и девочки тоже вооружились кто чем мог. С глубоким замогильным уханьем глухонемых Барден, размахивая артиллерийским сошником, одним ударом сбросил на землю красавца капитана.

— Открывайте! Открывайте, сволочи!

Это была Марта, стоявшая лицом к воротам. Я и не заметил, как она спешилась.

Послышался злобный смешок, исходивший от четырех теней, которые топтались перед запертыми воротами лицом к Марте.

Выстрел. Согнув колени, одна из четырех теней рухнула головой вперед, три другие возились у замка. Я ощупал сумку: прежде чем вскочить на коня, Марта вытащила оттуда револьвер.

Теперь никто из тараканья уже не смеялся.

— Все в седло! — заорала Марта.

Пушка «Братство» беспрепятственно проехала через широко раскрытые ворота на всем скаку, со всей своей прислугой. Феб вырвался из ловушки, как положено, последним. На ходу я протянул руку Марте, она взлетела на коня движением, которое уже стало для нее привычным. Позади нас слышались стоны, несколько тел корчилось на мостовой, лошадь лежала копытами кверху, а вполне невредимые господа окаменели на месте.

Мы вернулись в Дозорный задолго до зари. Лошадей отвели на улицу Рампоно, пушку водрузили у арки. Торопыга и Пружинный Чуб первыми стали в караул при «Братстве», у лафета, ибо впредь наша пушка одна ночевать не будет!

Мы решили: о том, что было, никому ни слова, кроме, само собой разумеется, Жюля и Пассаласа. Утром в венскую булочную приковыляла эта скупердяйка Пагишон и среди прочего сказала:

— Кажется, нынче ночью наше «Братство» отлучалось...

На что Марта ей ответила:

— А мне кажется, вам, мадам, следовало бы попить липового отвара!

* * *

Узнала ли его Марта? Конечно! Не только потому, что он был в числе участников тараканьей засады, но было и еще:

— Вспомни, Флоран, тот день, когда провозгласили Республику, а я себе ногу повредила!

Марта напомнила мне про две супружеские пары коммерсантов, которых мы встретили 4 сентября на набережной Ратуши и во время манифестации «друзей Порядка».

— Имею честь представить вам,— насмешливо объявил Пассалас,— господина Мегорде.

— Да-да, это именно он! — торжествующе воскликнула Марта.

Худой, костлявый, кожа у него на лице шершавая, Мегорде был тем не менее весьма состоятельным коммерсантом, дух сытости сидел у него внутри, сквозил во взгляде, он глаз не мог поднять в этом «адском логовище Рауля Риго с его молокососами-разбойниками» — так, должно быть, он выражался в семейном кругу, сидя за ставнями, заложенными железными брусьями. Он уже от-

ветил на все вопросы, все выложил, не переводя дыхания, в страхе думая только об одном: как бы изрыгнуть побольше и побыстрее... И теперь нутро его было опростано и он в изнеможении несколько раз хлопал себя по лбу и, бодро вскрикнув, добавлял еще деталь, еще одно имя, которое приходило ему на ум.

— Но вы... меня отпустите, так ведь?

Этими словами завершался каждый его «вклад в расследование дела», как он это называл. Он был весь в испарине от страха, хотя кожа его оставалась все такой же иссушенной и жесткой. Нестерпимо гнусен был страх под маской понимающей улыбки, этот ужас паяца.

Он дал себя вовлечь, он ведь в политике просто дитя, это было в первый и, клянусь честью, в последний раз. Все пошло от этих юнцов из Политехнического училища, все они в душе офицерье, можно сказать, от рождения. В уме этих безумцев зародилась мысль, что было бы совсем не плохо умыкнуть у бельвильцев их знаменитую пушку, сыграть с ними шутку в отместку за все! Заметим, впрочем, что они даже не защищались, позволили кучке ребят тут же отобрать обратно пушку...

— Единственный выстрел был сделан этой девочкой... Этой барышней...

Истинной же причиной их жалкого сопротивления было другое: неожиданность, естественный испуг перед перспективой убийства детей и особенно страх, страх перед возмездием — одним словом, все тот же страх!

— Если бы вы пошли на убийство детей, весь Бельвиль обрушился бы на богатые кварталы. Ваша голубая кровь потекла бы по мостовым рекой! И вы это прекрасно понимали! — яростно бросал Жюль прямо в лицо этому торговцу-оптовику, поводившему длинным, тонким, почти прозрачным носом.

— Согласен, господа, согласен. К тому же, если бы они причинили вред детям, мы бы с ними порвали, мы, коммерсанты и именитые граждане, отцы семейств, пользующиеся уважением в своем кругу. Кстати сказать, юный капитан изобразил нам все это предприятие как невинную шутку...

Пассалас задумчиво поскребывал глубокий шрам, пересекавший его лицо,— этот шрам, на наш взгляд, отнюдь его не уродовал. Привыкли, должно быть!

— Руководители этого заговора не просто сорвиголовы,— произнес Пассалас негромким голосом.— Они стреляли, они шли на потери в людях, эти господа.— И подбородком ткнул в сторону пойманного с поличным.— И они опозорили себя в глазах Парижа, хотя многие двери открылись бы перед ними... И уже немало открылось!

Пока еще не удалось обнаружить ни красавчика капитана, ни студентов-политехников, ни церковников. Арест господина Мегорде не мог пройти незамеченным: узнав об этом, прочие навострили лыжи, у них не было иллюзий насчет уважаемого негоцианта. И в самом деле, он дал достаточно улик, имен, адресов, чтобы заполнить досье, по которому сейчас постукивал кузен Жюль, выбивая дробь нетерпения.

— Но кто же все-таки столь хорошо осведомил вас о Бельвиле? Из тупика кто-нибудь? — грозно вопрошал Пассалас.

— О, если бы я только знал, господа, я почел бы за особое удовольствие... и за долг свой...

Его искренность производила впечатление неподдельной, и в самом деле, организаторы заговора не могли слишком доверять подобным сподвижникам — их можно было понять.

— Зачем только я пошел на эту галеру!*

Семейство Мегорде два раза в год посещает Комеди Франсез. В отличие от Марты, которая проворчала:

— Что это он там несет про какие-то галеры? Из дюжины ружей промашки не бывает!

Да и остальным тоже недолго гулять, хотя у Риго есть более важная дичь на примете.

Пассалас приоткрыл дверь и бросил кому-то в коридор:

— Эй, други!

Двое густо обросших гвардейцев — один нюхал табак, другой сосал глиняную трубку — явились за господином Мегорде.

— Прошу прощения, господа, куда вы меня уводите? Насколько я мог понять...

— Давай, гражданин, вот сюда, здесь тебе будет квартира с кормежкой и стиркой за счет Коммуны!

Тон был добродушный, гвардейцы пожилые, у одного была винтовка на ремне, другой держал под мышкой,

будто доезжачий на облаве, старомодное заржавленное ружье.

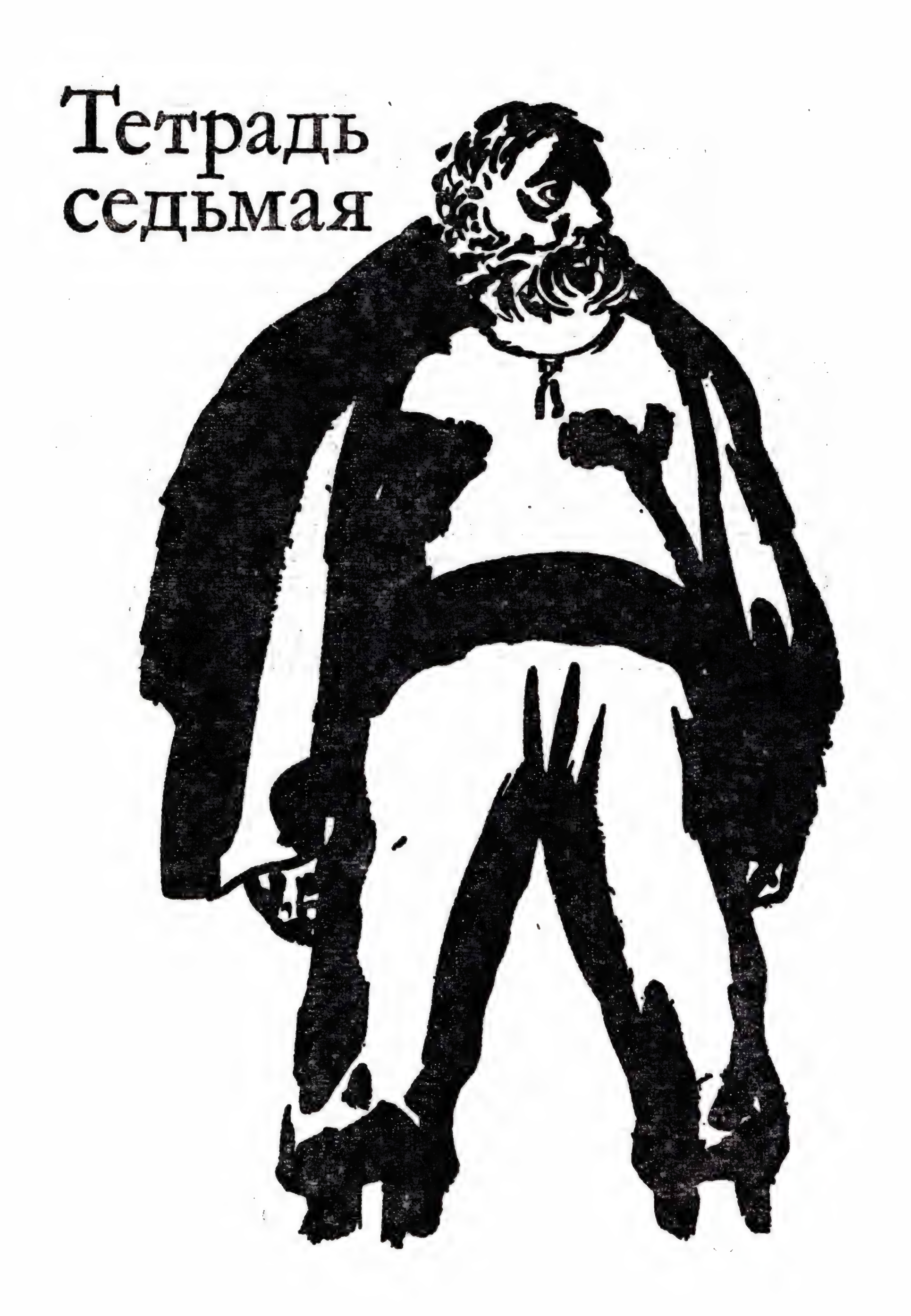
— А ты, кстати,— шепнула мне Марта,— перезарядил свой пистолет?

Тут развернулась длительная дискуссия: надо ли предавать гласности историю с диверсией политехников. Теофиль Ферре, правая рука Риго, с которым советовался Жюль, полагал, что не надо. Ничто не должно было омрачать славу пушки «Братство».

Два широких зарешеченных окна освещают огромную галерею с колоннами. «Квартиры» заключенных — темные, но чистые. Жюль сопровождает нас, поскольку необходимо при входе и особенно при выходе сообщать пароль. Федераты, стоящие в карауле, обсуждали с нескрываемой горечью последние тщетные попытки добиться освобождения Бланки. Один из караульных вспоминал о политических дискуссиях во втором этаже некой пивной на площади Италии во времена, когда Узник шагал по своей комнате в XIII округе, задрапированный в римскую тогу.

Мы нашли Феба на просторном дворе, обнесенном со всех сторон высокими стенами бывшей тюрьмы Консьержери.

Тетрадь седьмая



Дни стоят чудесные. Весна тоже коммунарка. Заря встает благоухающая, золотистая. Предместье напевает что-то или поет во всю глотку, люди шагают чуть не вприпрыжку, а когда сходят с тротуара на мостовую, непременно еще и антраша сделают. Ссорятся только из-за самого главного и важного. Конец семейным перепалкам, супружеским сварам. На подоконниках открытых окон цветы, шиповник подрагивает в зубах ветерана 48 года с седой бородкой, он мурлычет себе под нос песню, которую распевали когда-то на баррикадах. Отдаленный грохот, не прекращающийся ни днем, ни ночью,— уже не просто вражеская канонада, это само биение борющегося сердца, пламенный ритм всей нашей жизни.

Вечер все оттягивает свой приход, но жизнь предместья не прекращается и ночью, теплой и светлой, открыто жаждущей песен, легких шагов, знакомых запахов бельвильского люда. Каких только у нас не бывает манифестаций, и в самое неурочное время; число их все увеличивается, но людской наплыв не ослабевает, стихийно образуется траурная процессия и следует за гробом федерата, на факельных шествиях, устраиваемых для сбора денег, люди отрывают от себя последний грош; и так же страстно, сжав зубы, сжав кулаки, бельвильцы присоединяются к посланцам Коммуны, спешащим на обыск в монастырь или в подозрительную типографию.

Париж снова в осаде, за спиной его — пруссаки, в грудь нацелены пушечные жерла версальцев. Наш Па-

риж не только не задыхается в тисках, напротив, считает, что жизнь прекрасна и стоит песни. На укреплениях патриоты дерутся насмерть. Семьдесят молодцов с 4-й батареи, направленные в Жантийи, захватывают Бисетр и помогают укрепить Мулен-Сакетский редут; их капитан, гражданин Месаже, доносит: «Люди выше всех похвал. Все готовы идти вперед и требуют наступления». Гражданин Дюрасье, командующий речным флотом, двинул канонерки от плотины Моннэ к Пуэн-дю-Жур, откуда они накрывают ядрами высоты Медона и Сен-Клу. Бронированный локомотив, который ходит по окружной железной дороге через Отейский виадук, перевозит мощную артиллерию, бьющую без промаха.

Когда батальон возвращается для краткого отдыха в Париж, унося своих убитых и раненых, те, что уцелели, изможденные и пропыленные, проводят черными от порохового дыма руками по исхудавшим лицам и растерянно глядят во все глаза на свой ярко освещенный город. Но это только мгновенный шок. Они попадают в объятия семьи, друзей, завсегдатаев кабачков, ими снова завладевает их родная улица, их клуб, их снова захватывает та радость жизни, ради которой они и проливают кровь. Пройдя Версальскую заставу, они снова как бы находят себя, солдаты вновь становятся «парижаками», нет, лучше: парижанами, ибо теперь даже их будни — сама История.

«Белое знамя против красного знамени — старый мир против нового! Последняя схватка! Кто одолеет: наследники Гоша или внуки вандейца Кателино?»

Вот что вычитывали они на страницах своих газет.

Социальная республика, Коммуна, федералисты, Интернационал... Какие упоительные, прекрасные слова! Слова, рожденные Революцией, ласкают слух. Люди вкушают эти столь долго бывшие запретными плоды, смакуют их, у них даже слюнки текут от удовольствия. И когда эти слова звучат под высокими сводами бывшего храма, у них действительно неописуемый вкус.

Коммуна предоставила все церковные здания столицы в распоряжение народа ради того, чтобы «обеспечить политическое воспитание и просвещение граждан и держать их в курсе всех общественных событий». Только днем в церквах отправляют религиозные обряды, а вечером это клубы.

Когда приходишь слишком рано, еще слышен запах ладана, зато попозже так густо несет табачищем, что просто одно удовольствие!

На кафедре Шиньон.

Он растерян, наш бельвильский эбертист, он превзошел своего учителя, но там, наверху, под куполом, у него закружилась голова; он — такой неистощимый в своем красноречии, доставляющий столько радости аудитории предместий — сейчас не находит высоких слов, а обычные кажутся ему обидно малыми. И он, простерши руки ввысь каким-то извиняющимся жестом, жестом священника, спускается вниз, в кафедральный мрак.

Вдруг мы услышали позади себя чье-то бормотание: в маленьком боковом приделе спиной к нам стоял кюре в сутане, рядом с ним — единственный мальчик из церковного хора.

— Какого черта они здесь колдуют! — возмущается Марта.

Закусывающий в нише у ног Мадонны национальный гвардеец с бутылкой, куском хлеба и колбасы в руках мирно сообщает нам: кюре вновь «освящает» божий дом, поскольку клубные речи лишают церковь «святости» или, как мы сами говорим, «атеизируют».

— И вы ему это позволяете?

— А что ж, девчурка, ведь шума от него нет! Чего напрасно придираться?

Кумушка в корсаже подходит к нам:

— А он как раз не вредный! Меня венчал!

— Нашла, чем хвастать! — взревела Марта.

— Послушай ты, вшивуха, мой-то муженек, он, знаешь, где? В форте Исси. А вот твой папаша навряд ли!

Вокруг строго шикают какие-то старушки, явно оскорбленные в своих лучших чувствах.

— Они не клуб уважают, а сам сараище этот,— тихо негодует моя смугляночка.

Ниже следуют заметки, сделанные в расположении гарнизона форта Исси и требующие более стройного изложения, чем я и надеялся заняться в первые же спокойные дни, однако...

Мстители Флуранса размещены в казарме Лобо, что за Ратушей. Коммуне важно иметь их постоянно под

рукой. Ибо они стали настоящими солдатами. Если прежде они старались подражать принарядившимся военным, то теперь напоминают скорее охотников или даже браконьеров. Трудные марши, спешные переходы, бои вытеснили слабость к плюмажам и побрякушкам. Бельвильцы ограничиваются лишь самым необходимым, исходя из того, что доступно. У них свои повадки, выработанные отнюдь не казармой, не муштрой. Так, у каждого Мстителя своя манера заряжать ружье, подсказанная долголетними навыками прежнего, ныне оставленного ремесла. Когда Кош берет винтовку, пальцы его невольно скользят вдоль ствола, я не раз видел, как именно таким жестом наш столяр раньше гладил доску, прежде чем положить ее на верстак. Гифес, загоняя патроны в барабан револьвера, прижимает его к груди с тем же озабоченным, ушедшим в себя взглядом, с каким типограф вкладывает редкие литеры в наборную кассу. Пливар, когда-то работавший закройщиком в сапожной мастерской Годийо, прочищает ружье, зажимая его между колен точно так же, как сапожники держат «ногу», на которую при починке насаживают башмак. Штыки нынче спрятаны в ножны. А ведь раньше любили щегольнуть блеском стали примкнутого штыка. Полы шинели впереди отогнуты, и углы их прочно заправлены под ремень. Шинель нараспашку, шерстяные пояса или кушаки — словом, все, что может развязаться, сползти, помешать на марше или во время прыжка через преграду,— от всего этого давно отказались. Любой непривычно громкий шум, внезапный порыв ветра — и головы инстинктивно поворачиваются, спины пригибаются — каждый из Мстителей Флуранса весь подобрался, как застигнутый охотником волк...

Но из кухни тянет вкусным запахом супа с капустой.

Итак, они в казармах, и, хочешь не хочешь, надо приспособиться. Они считаются лучшими из лучших среди добровольцев, солдат Коммуны, наравне с волонтерами Монружа, федератами Национальной гвардии, вольными стрелками Парижа и Тюркосами Коммуны. С теми, на кого может спокойно рассчитывать восставшая столица. Они здесь, начеку, готовые в любую минуту отбить атаку на форт или отстоять Ратушу от покушения реакционных заговорщиков. Они все это ясно сознают, и воспитал в них это сознание их капитан, литейщик Фалль. Он учил отнюдь не речами, о нет! И в конце концов это по-

няли также их хозяюшки. Людмила, Сидони, Бландина, Ноэми и Вероника по очереди посещают своих бельвильцев, сидят недолго, робеют, каждая представляет всех женщин предместья, каждая обязалась заниматься не только своим мужем. Их ждет множество дел там, в Дозорном, чтобы жить самим и чтобы жила Коммуна!

Плакат на стене Дозорного *(от 20 апреля)*:

«Ввиду того что в настоящий момент целесообразно централизовать артиллерийскую службу,

все батареи независимо от степени готовности, не участвующие непосредственно в боевых действиях и не использующиеся для обороны укреплений, должны быть доставлены завтра до полудня в Военное училище.

Виновные в неповиновении будут лишены гвардейского жалованья.

Член военкомиссии
Россель*».

— И нашу пушку «Братство», значит, отдавать в казармы? — возмущается Пружинный Чуб.

— Ни за что! — отрезает Марта.— Мы от них гроша не получили. И не надо нам ничего! Так что пусть они нашу пушечку лучше не трогают!

И сорвала объявление.

Двенадцатого апреля армия Мак-Магона численностью сто тысяч человек начинает наступление на Париж через Нейи и южные форты. В распоряжении Домбровского, Ла Сесилиа и Эда было не более семи тысяч человек. В своих воспоминаниях, озаглавленных «Перемирие и Коммуна», Винуа признает, что Поляк — Домбровский — удержал Нейи и нанес чувствительный урон версальским частям, которые потеряли двух генералов убитыми...*

Форт Исси, в сумерках.

Фалль и Ла Сесилиа изучают карту. Капитан и генерал. Трудно найти людей, более непохожих, чем беррийский литейщик и итальянец с Корсики, учитель. Они на «ты».

Наполеон Ла Сесилиа прибыл из своего штаба, помещавшегося в Военном училище. Черный красавец жере-

бец, с которого он спрыгнул, еще бьет копытом после бешеной скачки, брызжет пеной, в холодных сумерках от него идет пар. На генерале серо-голубая шинель с красными отворотами. Простые нашивки. Единственное видимое оружие — сабля. Черные тонкие усы свисают по обе стороны подбородка. В больших глазах застыла усталость. Он выглядит куда старше своих тридцати пяти лет.

У Фалля на кончиках усов щеточкой осталось немножко яично-рыжей окраски. Толстый, заскорузлый палец движется по карте. Снаряды сыпятся на Исси с настойчивостью барабанных палочек, колотящих по ослиной шкуре. Иногда несколько снарядов падает и взрывается одновременно, и тогда почва колеблется у нас под ногами.

Мстители узнают пушки по голосу. Морские, самого крупного калибра, бьют день и ночь по фортам Ванв и Исси, а их по крайней мере шестьдесят. Обваливаются кусками стены, еще и еще. В ночном воздухе стоит смрад пороха и крови. Зарницы и громовые раскаты залпов — это как занавес, за которым идет скрытая настораживающая работа, безмолвное и темное кишение: движутся повозки, идут батальоны, обозы с боеприпасами и провиантом, подкрепления, без конца прибывающие из Версаля, слышен лихорадочный хруст — враг роет себе ходы в земле.

Федераты угадывают эти маневры и обводят глазами тесный круг Мстителей, как будто пересчитывают их. Каким далеким кажется теперь Бельвиль!

Кош и Гифес сокрушаются по поводу перемирия, объявленного 25 апреля, которое гнусный Тьер использовал для того, чтобы стянуть сюда побольше артиллерии.

Предложив перемирие, Коммуна руководилась желанием спасти жителей Нейи, ютившихся в подвалах. Их надо было срочно эвакуировать. Тьер согласился. За эти двенадцать часов он снял с участка Нейи главные силы своей артиллерии — 53 батареи — и сосредоточил их прямо перед Исси... На следующий день он поспешил заявить о начале «боевых действий».

— Каждый раз как затеваются переговоры, нас обводят вокруг пальца,— наставительно замечает столяр.— Во всяких таких комбинациях они мастаки, всегда нас перехитрят, чего уж тут. Они ведь испокон веку у власти,

еще бы им не изучить эту механику досконально! — Ласково поглаживая приклад своего ружья, он добавляет: — С ними надо разговаривать только вот этим языком! А ведь меня вроде бы в особой кровожадности не упрекнешь!

Разговор иссякает, и все укладываются на ночлег. Вытянувшись на соломе, Пливар и Нищебрат шепотом вспоминают славные воскресенья «у нас в Бельвиле». Леон, он тоже родом из предместья, мечтательно вставляет свое слово:

— Чудно как-то... Говорят, раньше на Бютт-Шомоне воды было — залейся! Потом воду провели в разные парижские кварталы. А теперь в Бельвиле, где люди друг на дружке сидят, всего-навсего две-три жалкие колонки. Воду тянут из Шарантона в специальных трубах, и достается она, само собой, прежде всего богатеям!

— То же самое насчет Публичной библиотеки,— подхватывает Гифес.— Открыли ее в 1838 году. С тех пор она пополнилась за счет многих дарителей. Но с той оговоркой, что пользоваться библиотекой могут только эти самые дарители. Так что она доступна лишь немногим привилегированным. Неплохо бы гражданину Ранвье заняться этим вопросом.

Совсем близкие разрывы снарядов прерывают Гифеса. Рушится стена. Кирпичи и камни подкатываются к нашим ногам.

Нищебрат на свой манер передает содержание фривольной оперетки «Корзина Жанны», которую он видел года два или три назад в Бельвильском театре.

Мало-помалу перешептывание затихает, и мы засыпаем на наших тюфяках, а бомбардировка в это время усиливается. И тогда появляется Фалль:

— Мстители, вставай! Сделаем вылазку, узнаем, что у них там, у подножия гласиса.

— Это называется дозор,— объясняет Желторотый своему соседу Ордонне.

Мы сопровождаем Мстителей до потерны. Они уже у выхода, когда артиллерийский лейтенант бросает им:

— Будьте осторожны: когда все стреляют зараз, становится светло как днем!

Мы смотрим, как их поглощает липкий мрак, исполосованный кровавыми лезвиями лунного света. Где-то за нами в темноте заржал Феб. Марта выдергивает свою

руку из моей и отстраняется, борясь с неодолимым желанием спрятать голову у меня на груди. Так она и увязает в этой громыхающей ночи, как муха на оконном стекле вечером в грозу.

Я беру ее за руку и тяну за собой; на этот раз снаряд уносит три метра фашин с самого гребня ближайшего укрепления. Мы бросились на землю при свисте падающего снаряда. И почувствовали, как нас осыпало землей. Марта поднялась и с четверть часа стояла, отряхиваясь и притопывая, чтобы доказать всему миру, что простое ядро не отошлет ее в постель.

Рядом, прямо на восточный выступ форта, обрушивается бортовой залп, вызывая бесконечный поток брани и проклятий. Я услышал какой-то непонятный крик: «Человек в горчице!» Едва мы улеглись, как принесли троих: двух убитых и одного умирающего. Поставив носилки на пол, незнакомый артиллерист попробовал сострить насчет новых соседей, которые, дескать, не обеспокоят влюбленных — тягостно это прозвучало. Другой, с хмурым лицом, подошел и задул нашу свечу, брюзгливо заметив, что тут в двух шагах сложены зарядные картузы, не хватало только, чтобы мы пустили на воздух форт.

Мы не успели разглядеть, куда ранило несчастного, но мы его узнали — умирал гарибальдиец Леонарди, рабочий с Американского рудника, друг Пальятти, состоявший в личной охране Флуранса. Он бормотал что-то в бреду, не стонал, а глухо выкрикивал: «Человек в горчице!» Эта предсмертная жалоба гнала от нас сон сильнее, чем все пушки версальцев. Марта сунула голову мне под мышку, прошуршав соломой: любой самый легчайший шорох становится здесь, в адском грохоте, до странности отчетливым. Прямо мне в ухо моя смуглянка что-то долго объясняет в полусне тягучим голосом. Я не узнавал ни ее слов, ни обычной манеры говорить:

— Бедный мой полевой мышонок, ведь я до сих пор не водила тебя в Американский рудник. Туда не пускают, запрещено, но со мной ты пройдешь, там меня все знают. Знаешь, это где? Если пройти выше Бельвиля, то у подошвы Бютт-Шомона увидишь два отверстия: вход в туннель окружной железной дороги, ясно? И рядом проход в Американский гипсовый рудник. Его так называют потому, что камни оттуда увозят далеко-далеко, на тот

конец земли. Сначала по каналу переправляют их в Гавр, потом через океан... Там счастливые люди — живут в просторных белых домах, их называют коттеджи, это очень далеко, у черта на куличках, во Флориде, они, должно быть, и не знают, что наши бедолаги из предместья ради них исходят кровью и потом. Их в подземелье Бютт-Шомона копошится более сотни. Пальятти высчитал, что сейчас они там ухитряются взрывать до тридцати килограммов пороха в день. А уж он-то в этом разбирается, ему удается выносить оттуда порох для своих бомб прямо под блузой, и немало. Мы с тобой непременно спустимся туда, ты и представить себе не можешь, как все это выглядит. Будто несколько парижских соборов схоронили под землей! Начали рыть не со вчерашнего дня, переходили с места на место, в конце концов одни столбы остались, на которых свод держится. А столбы огромные, вроде колонн или обелисков. Идешь между столбов с факелами, как в театре... Со сводов вода каплет — кап-кап! — стекается в лужи, земля болотистая... Гул стоит в этих пещерах, далеко-далеко отдается. А прислушаешься к этим звукам — будто музыка какая играет! И еще слышно — где-то поют шахтеры. И вдруг... спасайся, кто в бога верует! Тогда замелькают маленькие светящиеся точечки, разбегутся во все стороны — это наши парни спешат с факелами в руках. С минуту ничего не слыхать, только плюх-плюх — вода плещется, потом как бабахнет, гора как задрожит, потолок кусками обрушивается — значит, взорвали породу; тогда огоньки расходятся по своим местам во всех направлениях, со своими кирками... И снова песни до следующего взрыва!

И уже почти сквозь сон:

— Иногда тревога, несчастный случай: «Человек в горчице!» Я сейчас тебе все объясню: там полно всяких дыр. Приходится следить в оба, куда поставить ногу, чтобы не оступиться. Вода сочится отовсюду, собирается в углублениях, смешивается с гипсовыми обломками, получается настоящее месиво, но так как там полно белой пыли, то ничего подозрительного не видно, кажется, что обычная почва... Стоит ступить туда — и уходишь с головой, тебя засасывает, поглощает дыра, прощайте, други!

После зевка Марта добавляет:

— Спроси каменотесов, они тебе скажут: «Лучше уж человек за бортом, чем человек в горчице».

И она засыпает. Умирающий замолк. Он слушал наш разговор. Утром мы убедились, что умер он с улыбкой на губах.

* * *

Мстители приводят пленного крестьянского парня, беловолосого, бледного, он стрелок 18 батальона. Стоял на часах возле железнодорожного моста между Ванвом и Исси, а Чесноков и Янек, бесшумные, юркие, как ласки, подкрались и взяли его. Сам он на мосту Нейи не был, но слышал о нашей пушечке. По всей версальской армии идет слух, что, дескать, у Коммуны есть новое оружие, страшное, такого еще не видели.

— Так что вашу пушку «Братство» следует держать про запас,— тихо говорит Фалль Марте.

Солнце уже поднялось — может быть, поэтому наступило относительное затишье. Командиры батальонов выходят из каземата, который стоит целехонький, там штаб Межи, коменданта форта Исси. Каждый медленно идет к укрытию, где пребывает его часть. Фалль сообщает Мстителям последние новости. Рапорты ночных патрулей подтверждают прибытие новых версальских полков. Ясно, что наступление неминуемо.

— Готовьтесь, граждане! — обращается к нам Фалль.— Выступаем через час! Флоран! Марта! Повезете три пакета. Ваш скакун подкрепился? Ему предстоит немалый путь...

Феб радостно встречает нас и по самые глаза уходит в торбу с овсом.

Янек Каменский и Пальятти, осматривая свои ружья, ведут беседу о Флурансе. Он для них как бы родственник.

— Как-то он заговорил о моей родине,— вспоминает Янек.— Умел о ней говорить. Ведь он принимал участие в польском восстании, но не остался с поляками. И знаешь почему?

— Догадываюсь,— улыбаясь, отвечает гарибальдиец из Дозорного.— Восстанием руководили ксендзы и помещики.

— Флуранс,— уточняет поляк,— говорил так: «Для меня был неприемлем его дворянско-католический

характер, что не согласовывалось с моими убеждениями...»

Вытряхивая крошки из пустой сумки, Пливар выражает беспокойство насчет провианта и вдруг вне всякой видимой связи с идущими вокруг разговорами признается:

— Не так уж я любил работать в прежнее время, а теперь, кажется, начинаю втягиваться!

В разных концах форта заиграли трубы. Барабанная дробь раздается со стороны потерны, выводящей за укрепления: там формируется батальон волонтеров Монружа. Въезжает обоз, несколько фургонов, Пливар бранится: ведь это же вовсе не вино, а зарядные картузы, снаряды, ящики с патронами, мешки с песком и фашины.

Национальный гвардеец в поисках смазки для ружья просит Янека выручить его и вмешивается в его нежные воспоминания о Флурансе-антиклерикале.

— Вот что я вам расскажу, други! Я был у председателя Совета нашего легиона, гражданина Аллемана, когда ему нанес визит кюре прихода Сент-Этьен-дю-Мон. С виду то был человек безобидный, считался вроде святого: по утрам несколько тартинок с маслом, бифштекс ежедневно, в четыре часа чашка шоколада, чтобы до вечера не отощать. Ему хотелось знать, почему, собственно, Коммуна против священников. «Она вовсе не против,— отбрил его наш добрый председатель,— при условии, чтобы духовенство сидело тихо». — «А почему некоторых держат под замком?»— «А потому, что они, отклоняясь от священнических функций, клевещут на Коммуну».— «Но вы превращаете церкви в клубы, амвон в трибуну».— «Ну и что ж тут дурного? Если из спора рождается истина и если вы считаете себя обладателями истины, вы только выиграете от столкновения с противником!» — «Помилуйте, разве это допустимо? Какой священник согласится принимать участие в таком турнире, да еще в доме божьем!» — «Простите, господин кюре, но церкви принадлежат нации, и любой гражданин в качестве совладельца вправе там выступить». Что, здорово он его? Тот уполз, как крыса в нору, поджав хвост, только мы его и видели!

Я вскакиваю на Феба, протягиваю руку Марте. Пливар торжественно подходит к нам:

— Дорогие детки, ежели вам придется увидеть мою дражайшую половину, скажите ей, что моя последняя

мысль будет о ней. Да-да, мысль о том, что я больше ее не увижу, облегчит мне кончину.

Взлетая на коня, Марта бросила мне с упреком:

— Посмотри, что стало с деревом!

Не осталось ничего от последнего тополя. На его месте была яма, в которую три сапера ставили митральезу.

Между взрывами слышится воронье карканье. От Версальских ворот голоса пушек доходят смягченными, почти добродушными.

На улице Вожирар привратницы подметают мостовую, поминутно поглядывая на небо. Одна из них изрекает:

— Вечером выведу своего пса.

У входа в коллеж останавливается пожилой господин и, виновато посматривая на нас, снимает пальто со словами:

— Сегодня будет чудесный денек!

Прохожие приветливо машут нам рукой — мне, Марте, Фебу — просто потому, что так славно пригревает солнышко.

* * *

Нас и самих охватывает пьянящее чувство, когда я прямо с шага, минуя рысь, перевожу нашего милягу на галоп. Надо сказать, что, когда Феб берет вот так, прямо с места, ощущение незабываемое. Тряхнув гривой, вскинув голову, он поводит ноздрями, встает на дыбы, бьет передними ногами в воздухе, ржет и сразу переходит на галоп. Все это в единое мгновение, молниеносно. Тогда-то и наступает миг гордыни. Порыв доселе не знакомого несущего нас чувства гордости, но я боюсь его, потому что это чувство хозяина, владельца. Не будь Коммуны, у нас ни за что не было бы такой лошади. Такие бывают только у папенькиных сынков. Можно было, на худой конец, украсть такую лошадь, перепродать, но пользоваться — никогда. Увидела бы нас полиция на таком коне, тут же сцапала бы. Конечно, прежняя полиция...

Когда приезжаешь из форта, на первый взгляд кажется, что ничего не происходит в этом Париже. Но вскоре открываешь для себя, что происходит много нового и важного, поважнее даже, чем в форте Исси. Тамошние бесчисленные снаряды едва занимают пять строчек в га-

зетах. У читателей — иные заботы. Газетчики накидываются на Коммуну. Распинают ее всласть. Сегодня одно, завтра другое. Нынче дежурное блюдо —Риго. Против него целая интрига, его обвиняют в произволе. Везинье может сколько угодно доказывать, что нет человека, наделенного «более обостренным чувством справедливости»,— глава Комиссии общественной безопасности вынужден уйти в отставку, и его помощник, Теофиль Ферре, тоже. И вдруг полная перемена ситуации: три дня спустя Рауль Риго назначается прокурором только что созданного Революционного трибунала. Он наделен еще более широкими полномочиями, чем раньше, интриганы щелкают зубами от ярости, народ не без труда старается понять, что же, в сущности, произошло и почему.

— Ищут блох в голове у нашего Риго,— сердито объясняет мой кузен Жюль.— Хотел бы я видеть, что делали бы на месте Рауля Риго наши благородные отцы Коммуны. С их-то чистоплюйством! На него наваливают сразу два дела: во-первых, обеспечить порядок в Париже; во-вторых, разоблачать активных врагов Коммуны. А как? Опираясь на кого? Полицейская машина Империи была нацелена как раз на противоположное. Она, сволочь, вертится в другую сторону, а не в ту, что нам требуется, уже целых двадцать лет и даже больше. Со времен Луи-Филиппа они только и знают: травить революционеров! А вы хотите одним взмахом волшебной палочки заставить эту машину работать на Революцию!

В течение нескольких дней Риго пришлось организовать буквально на пустом месте восемьдесят квартальных комиссариатов с их администрацией, создать центральный аппарат и подобрать людей в канцелярию, в число которых попали наш Жюль и Пассалас.

— Он пользовался тем материалом, который был под рукой,— говорит Пассалас.— Начальнику его канцелярии, Да Коста, еще и двадцати нет! О нас двоих не будем говорить...

— То нас обвиняют в том, что мы не знаем удержу, а то ругают кислями,— подхватывает Жюль.— Так же и на Коммуну смотрят. Достаточно тебе того, что случилось в Белль-Эпине!

В прошлый вторник *(25 апреля)* в Белль-Эпине, близ Вильжюифа, офицер версальских уланов хладнокровно

расстрелял из револьвера четырех пленных федератов. Один из них, тяжело раненный, из последних сил дополз до наших позиций. Назавтра, когда Лео Мелье доложил об этом преступлении, в Коммуне разразилась буря:

— Ответные репрессии! Расстрелять пленных версальцев!

— И прежде всего парижского архиепископа!

Тридон: — Когда надо принять мужественное решение, всегда найдется кому его похоронить... А вы целыми днями занимаетесь пережевыванием мелких философских проблем; теперь вы уже не можете ответить репрессиями!

Бланше*: — Расстрелять на рассвете жандармов!

Антуан Арно*: — Да, публично расстрелять двенадцать жандармов!

Тридон: — Почему двенадцать за четырех? Не имеете права!

Остен высказывается против казней: — Коммуна сильна своими свершениями!

Авриаль* и Журд желают, чтобы «поступали в соответствии с законом».

Артюр Арну: — Нечего церемониться с Тьером! Разрушить его логово!

Гамбон*: — Если версальцы расстреливают пленных, пусть Коммуна объявит во всеуслышание Франции и всему миру, что она будет уважать жизнь всех пленных. Это относится в какой-то мере даже к офицерам, которые заставляют солдат драться.— Гамбон требует поручить это дело комиссии.

Официально народу ничего не сообщается об этих прениях, которые, впрочем, превратились, как это не раз бывало, в личные распри, так что Коммуна запретила публиковать протокол.

Марта все равно радуется. Она становится красноречивой.

Ее непередаваемое движение плечиками и звонкий смешок: «Все это мелочи. Коммуна есть, она наша! Наконец-то народ твердо стоит на ногах!»

Марта продолжала пользоваться своим укрытием, требуя, чтобы я держал это в тайне. Кстати сказать, в Дозорном было сколько угодно свободных помещений, с тех пор как Мстители перешли на казарменное положение,

а их супруги работали не дома, а в разных учреждениях, которые взяла в свои руки Коммуна. Этот коротенький месяц — с середины апреля до середины мая — был счастливейшим периодом нашей жизни. Мы наслаждались лучезарной погодой, всем наслаждались, мне все слаще и слаще было встречаться с Мартой. Она вся была как раз по мне. Ее кожа, капризы, глаза, даже сама ее миниатюрность были до странности мне по вкусу. По-настоящему я чувствовал себя хорошо только с ней, даже когда у нас бывали стычки. Я не представлял себе, что могу уснуть, не держа Марту в объятиях, и когда просыпался оттого, что она резко переворачивалась на другой бок, то успевал возликовать, осознавая свое блаженство, и снова впадал в сон, еще более блаженный.

Я суеверно старался не замечать того, что могло омрачить наше счастье. Да, она права, мы были слишком счастливы, чтобы из-за мелочей вступать в торг с Историей.

Кажется, давно забыты трапезы, те, что происходят за семейным столом, в определенные часы. Едят где попало, что попало. Семейный круг взорван: мужья в казарме или в фортах, жены в мастерской или в какомнибудь комитете. Дети посещают светскую школу — церковные закрыты, а кормят их в бесплатных столовых. Когда мы прибываем с пакетом в Ратушу или в Центральный комитет Национальной гвардии, в министерство или в мэрию, для нас всегда найдется стакан вина, ломоть хлеба, кусок сыра или колбасы на столе министра, а то и миска с горячим супом. А выходя на улицу, мы с удовольствием видим, как Феб дожевывает свою порцию овса.

Самый роскошный пир неожиданно устроил нам Орест, подмастерье нашего булочника, альбинос, и его коллеги из венской булочной. Они напекли бриошей, раздобыли где-то шоколаду и сварили очень крепкий, дымившийся в чашках черный кофе. Разучили специально на этот случай новые песенки. Вот так между двумя пробежками по Парижу мы отпраздновали введение декрета, запрещающего ночной труд. Собрались мы у печурки, где жарко пылал сухой хворост. Лео Франкель стал главным вождем пекарей. Его речь, произнесенная на заседании Коммуны, вырезанная из «Журналь Оффисьель», при-

креплена к стене над печью, и хозяин, господин Жакмар, не посмел сорвать этот клочок бумаги.

Франкель считал, что декрет этот далеко не исчерпывает того, что следует сделать. «Вполне одобряя самый смысл декрета, я не считаю удачной его форму. Надо было объяснить населению, каковы мотивы, которые заставили нас принять подобные меры. Среди нас тут есть рабочие — Варлен, Малон,— которые давно уже занимаются социальными проблемами, нам следовало бы посоветоваться с ними... Чем же объясняется, что пекари оказались самым обездоленным слоем рабочего класса, пролетариев... Мы твердим каждодневно: трудящимся надо учиться... А как вы можете учиться, ежели работаете ночью?.. Я уже говорил и повторяю, что декрет этот недостаточен, и все же я за него, потому что это единственное истинно социалистическое мероприятие Коммуны... Мандат, полученный мною, требует одного: защищать пролетариат, и, когда выносится справедливое решение, я его принимаю и выполняю, не интересуясь мнением хозяев».

Мы не успевали откликаться на все приглашения, даже когда не было спешных донесений. Люди привыкли видеть, как мы скачем по Парижу в свите Ранвье или одни, и узнавали нас еще издали:

— А ну-ка, ребятки, слезайте, выпьем стаканчик крепкой, настоящей!

В каждой мастерской, в каждой сапожной лавочке найдется что праздновать: отмену штрафов, отмену трудовой карточки и любой присяги, а иногда чествование охватывает все три события разом. Надо выпить за здоровье Франкеля, в честь сего гражданина можно было бы пировать и пировать, и пришлось бы тогда нас подсаживать на коня. Особенно чревата опасностями этого рода часть Бельвиля между укреплениями у заставы Менильмонтан, Пэр-Лашез и парком Сен-Фаржо, она славится своими южными склонами, возделанными с особой тщательностью. Дорога на Ратре. Когда-то здесь имелось несколько небольших кабачков, затерянных среди виноградников. Но открывавшаяся отсюда бескрайняя прелестная панорама, где выделялись башни Венсеннского замка, очаровывала путешественника. Сюда и устремились в свое время рантье. Как грибы, стали вылезать

из земли виллы, готические особнячки с башенками в стиле швейцарских шале, избушки, а вернее, провансальские домики, не говоря уже о стилизованных мельницах и о здешних Больших и Малых Трианонах, с облицовкой под мрамор. С того времени как Париж включил в свои владения деревню Бельвиль, среди архитектурных капризов праздных толстосумов выросло немало обычных жилых помещений: это рабочие, изгнанные из пределов Парижа при сносе старых зданий, вторглись в этот сельский рай. Тогда многие рантье, углубившись дальше в поля и леса в поисках буколического отдохновения, стали сдавать свои кокетливые жилища ремесленникам, мелким фабрикантам. Стук копыт Феба выманивает из этих владений приказчиков и подмастерьев, и они встречают нас на пороге своих замков, усадеб, пагод, фермочек, где скрежещет пила и гудит станок.

— Вестовые Коммуны!

— Эй, граждане, посошок на дорогу!

Тут остались только совсем старые, совсем зеленые или инвалиды, мальчишки-непоседы и усатые ветераны 1848 года, которые говорят так, словно книгу читают. Мы трогаемся в путь, изнемогая от выражений благодарности и советов.

29 апреля.

Этим утром нам довелось встретить странное шествие масонских лож* *(пятьдесят девять лож трех гросслож — Великого Востока, Шотландской и Мираим,— которые прибыли в десять часов на площадь Карусель)*. Важные особы, походка уверенная, медлительная, все в рединготах и цилиндрах, у некоторых *(высших чинов)* синяя или красная орденская перевязь и фартук, повязанный вокруг бедер, иные *(рыцари Розенкрейцеры и рыцари Кадош)* с черной перевязью и серебряной бахромой, а у многих *(офицеры лож)* грудь сплошь покрыта различными значками. Целый лес причудливых знамен: белых, зеленых, синих, красных, многоцветных и зловещий черно-белый флаг вроде шахматной доски. Выделялась снежно-белая орифлама с девизом: «Возлюбим друг друга!». Но ясно было, что наибольшим успехом у зрителей пользовалась женская ложа Сестры трех шипов. Название это мгновенно облетело развеселившуюся толпу.

Перед Ратушей выстроились почетным строем знаменосцы масонских лож; из их рядов несся возглас: «Да здравствует Республика!» От имени Коммуны их официально принимал тщеславный Феликс Пиа, произнесший пышную речь.

Зеваки недоумевали:

— Да что же это такое?

— Э, сударь, это франкмасоны, объявившие себя коммунарами. С незапамятных времен они не показывались на свет божий, а теперь вот проследуют перед нами через весь Париж!

Федераты, стоявшие на часах у Комиссии юстиции, толкали друг друга в бок, выражая бурное удовольствие:

— Не часто они вылезают из своих нор!

— Если уж они не боятся показать свое усердие, значит, у Коммуны победа в кармане!

При прохождении масонов по богатым кварталам их демонстрация выводила из себя господ на балконах. Они не ярились так, даже когда проходили мы.

«Устав масонского ордена во Франции»... напоминает всем своим адептам, что их первейший долг, как гражданский, так и масонский,— уважать законы страны, где они обитают.

Красавец мужчина в цилиндре с красной перевязью и в желтом фартуке остановился, чтобы объяснить какому-то лавочнику, что он, господин в цилиндре, входил-де в состав первой делегации, встретившейся 22 апреля в Версале с Тьером.

— Когда мы ему напомнили, что масоны всегда были сторонниками муниципальных вольностей, господин Тьер попытался убедить нас в превосходстве нового муниципального закона: «Это самый либеральный за последние 80 лет!» — «Вы, очевидно, изволили забыть закон 1791 года!» — «О, неужели вы желаете вернуться к безумствам наших отцов?» — «А вы, должно быть, решили пожертвовать Парижем?» — «Ну что ж, будет несколько поврежденных зданий, несколько человек убитых, зато восторжествует сила закона!»

Зеваки, остановившиеся, чтобы послушать, расходились с грустным видом.

Один из франкмасонов, которого его спутники называли «многоуважаемый Эмиль Тирифок», воскликнул:

— Призовем на помощь масонские ложи в провинции! Пойдем все вместе, размахивая оливковыми ветвями!

Другой, с черно-серебряной перевязью, добавил:

— Если будет нужно, мы бросимся меж сражающихся!

Когда полил дождь, процессия не дрогнула, но когда посыпались бомбы на углу авеню Фридлан...

Хотя знамена были видны вполне отчетливо, батареи Курбвуа и Мон-Валерьена и не думали униматься. Это казалось явным безумием — толпа в две тысячи человек двинулась по проспекту, простреливаемому снарядами. Посовещавшись, масоны решили, что в сторону укреплений направятся только знаменосцы в сопровождении делегатов, по одному от каждой ложи, и что будут высланы парламентеры с предложением прекратить огонь на время масонской демонстрации. Первой прибыла к укреплениям ложа «Постоянство» из Иври и водрузила там свое знамя.

«Вы явились от имени Коммуны? — бросил парламентерам Тьер.— В таком случае я отказываюсь вас выслушать. Воюющих сторон сейчас нет... У меня нет мотивов принимать те или иные условия или брать на себя какие-либо обязательства. Высшая власть закона будет полностью восстановлена... Париж подчинится власти государства подобно любой деревне с сотней жителей».

Без даты

После сорока восьми часов, проведенных в аду форта Исси, Мстители возвратились в казарму Лобо. Сгибаясь под тяжестью мешков, в отяжелевших от грязи грубых башмаках, они еще вынуждены были пробивать себе дорогу в толпе, запрудившей площадь перед Ратушей: очередная манифестация! В ее составе Республиканский союз департаментов*, тысячами глоток провозглашавший здравицу Коммуне... Слышны были все акценты французских провинций: беррийский, бретонский, эльзасский, овернский, провансальский, каталанский... Добравшись до казармы, большинство Мстителей, даже не расстегнув ремня, бросились на соломенные тюфяки. Кто повыносливее, старался хоть немного почиститься, а за-

тем становился в очередь к колонке. Здесь они встречали своих товарищей из других батальонов.

— Позавчера,— рассказывал гражданин Фио из IV округа,— я попросил помощника командира легиона Гийета собрать 94-й батальон — я являюсь членом муниципалитета, у нас имелись жалобы... В Отейе находилась лишь кучка людей из 94-го батальона, сидели они без провианта. «Надо собрать всех уклоняющихся, другого выхода нет» — вот что я сказал командиру.

Капрал-горнист из VII округа со стоном признался:

— В нашем квартале трубить сбор — все равно что черпать воду решетом.

Карабинер-волонтер, искавший на себе вшей, буркнул:

— В двух шагах отсюда Наполеоновская казарма, там есть гражданин Вест, бывший капитан «Защитников Республики». И представьте, натравливает своих бывших подчиненных против их же офицеров!

— Надо бы о нем сообщить, Гюстав!

— Ты что, за шпика меня принимаешь? Вот я тебе покажу, будешь знать!..

Розовые нити вились в струйках воды. Раненые, умываясь, невольно сдвигали свои намокшие повязки. Каждый старался промыть рубцы и шрамы. Были тут чудом спасшиеся после взрыва порохового склада в Аньере федераты 144-го батальона III округа, с тех пор трижды или четырежды побывавшие на передовой; были замечательные парни из 212-го батальона, которых сильно потрепало в излучине Сены и которые тем не менее просились обратно в бой, они не могли без злобы говорить о расфранченных субъектах, попадавшихся им повсюду в Париже.

Их законное негодование по этому поводу напомнило мне о письмах, которые перехватил отдел Жюля и Пассаласа. Вот одно такое письмо. Я его нарочно переписал.

«Париж. Суббота, 15 апреля 1871 года.

Ты, быть может, думаешь, дорогой мой Анри, что я существую, как какой-нибудь злоумышленник: днем прячусь, а на улицу выхожу только ночью. Отнюдь. Я не очень-то верю, что пресловутые декреты, ежедневно издаваемые ими, выполняются; одно дело говорить, другое — действовать. Вот уже десять-двенадцать дней, как считается, что я на стороне верных, а я и пальцем не шевельнул, и никто меня не беспокоит. Подумай только: хоть

и много народа поуезжало, в наших кварталах по-прежнему имеются люди, враждебные Коммуне, есть и такие, которые хоть и заявляют для виду о своей поддержке этой формы правления, но не столь самоотверженны, чтобы расшибать себе голову ради правительства, заведомо обреченного на гибель.

С ним разделаются пруссаки, если Версаль не справится сам, своими силами. Нашим VI округом в настоящее время управляет гражданин повар Лакор, который вчера преподнес нам воззвание, направленное против уклоняющихся от службы в Национальной гвардии,— поистине шедевр в своем стиле. Читая его, мы смеялись до слез, и все убеждены, что толку от него никакого не будет. Мой батальон просто сохраняет пассивность, это куда более эффективно, нежели сопротивление, мы не подаем признаков жизни, никто не двигается с места; уговорились, что в случае сбора каждый остается у себя дома. Если с нами вздумают поступить, как поступили в I округе,— отчислят нас либо расформируют, чтобы сформировать новый батальон,— мы в любом случае ни с места, ружей в мэрию не сдадим и будем дожидаться, когда к нам пожалуют на дом, что мне лично кажется трудновыполнимым. При первом же известии о такой угрозе я переселюсь к дяде Эжену, сомневаюсь, чтобы они явились к нему с требованием выдать меня. Напиши это маме, хочу ее успокоить... В общем, учти следующее: действительно преследуют только лиц, занимающих официальное положение, или тех, кто может стать объектом личной мести. Нам с этой стороны ничто не угрожает, и дни наши протекают до последней степени однообразно. Встаем поздно, утром напишем несколько писем, кои пересылаем с оказией; завтракаем, после чего, захватив книжку, отправляемся в Люксембургский сад или в сад музея Клюни; в три часа я встречаюсь с Дейе и прочими, и мы вистуем до самого обеда, к обеду я возвращаюсь домой, а вечером — прогулка по бульвару с папой или в одиночестве. Это расписано буквально по нотам, но, во всяком случае, как видишь, нас никто не стесняет в наших привычках и передвижениях. Стараюсь только не проходить по улице Сены и Боз-Ар. Не хочу попасться на глаза моим «бывшим товарищам» из 84-го, которые, чего доброго, начали бы от усердия не по разуму допытываться, почему я теперь не с ними и т. д. и т. п.

До свидания, дорогой Анри, будем надеяться, что все это скоро кончится, ибо мы истосковались по тишине и спокойствию.

Поль Виньон».

Карабинер продолжал топить вшей в красноватой воде и при каждой новой утопленнице издавал какое-то кудахтанье. Сержант 86-го батальона III округа заговорил о командире своей роты, которого убило снарядом в Исси.

— Гражданин Анри-Теодор Карейроль, гравер и резчик, погиб тридцати лет от роду. Прямое попадание в каземат, где набилось множество народу... Увы! Он не один отправился на тот свет.

Нарочный из 55-го батальона, привезший пакет из Мулен-Сакета от своего капитана в адрес Коммуны, заглянул в казарму Лобо наскоро перекусить и поспать часок, а там опять, как он выразился, «фейерверк смотреть».

— Гражданин Месаже, наш капитан, запрашивает четыре полевых орудия, тогда он займет траншею в восьмистах метрах впереди нашего редута. Четыре пушки не так-то много, особенно если сотни их ржавеют в парках!

В это мгновение ужасающий крик заполняет двор казармы Лобо, вихрем обегает ее, поднимает на ноги самых уставших, вытаскивает с коек оглушенных сном:

— Исси только что пал!

Люди сбегаются сюда из соседних кварталов, распространяя самые страшные слухи: «Межи, комендант форта, предатель!», «Версальцы вступили в Париж!», «Их видели в Вожираре...»

Бедняга Межи не переставал требовать подкреплений, так и не прибывших. Его позиции были наполовину окружены, вот его рапорт:

«Форт Исси, 30 апреля 1871, 10.05. Гарнизон больше держаться не может, и не без оснований. Все казематы разрушены. Я приказал заклепать орудия или снять их с лафетов. Эвакуирую гарнизон. Остаюсь с несколькими солдатами — взорвать укрепления со стороны Парижа. Беру на себя всю ответственность.

Эдмон Межи».

У выхода толкотня. Могучие голоса резко требуют «наших господ делегатов». Толпа смолкает, прислуши-

ваясь к доносящимся откуда-то сверху голосам, заверяющим, что никаких приказов об отступлении не давалось, что изменники понесут заслуженную кару... Потом толпа расступается и пропускает офицеров, которые берут с места вскачь, направляясь в соседние казармы на поиски своих батальонов.

Во дворе казармы Лобо особенно тесно у колонки: Мстители Флуранса подставляют голову под струю воды.

— Пойдем прикатим пушку «Братство»!

Еще чего! Марта не согласна: не для того мы из кожи лезли вон, чтобы наша пушечка досталась версальцам! Нужно сначала выяснить все на месте и выбрать позицию получше...

— Это называется «разведка»! — уточняет она с гордым видом. И тут же пренебрежительно: — Ты ведь всему веришь, готов скакать куда угодно, дурачина. А ну-ка, давай отсюда ходу!

— И Мстителей не подождем?

Чернявенькая командирша требует, чтобы мы догнали генералов Клюзере и Ла Сесилиа, которые уже проехали во главе нескольких рот.

Собачья погода. Дождь, грязь, темень...

* * *

Форт, оставленный комендантом Межи, так никто и не занял. Ла Сесилиа и Клюзере застали там только мальчишку, безмятежно восседавшего на тачке, груженной зарядными картузами и патронами. Мальчик играл спичками.

— Осторожно! Ты чего здесь делаешь?

— Жду неприятеля, чтобы взорвать форт!

Клюзере взял мальчика на руки и, еле сдерживая слезы, обнял его. Нашего Бара́ зовут Дюфур, ему тринадцать лет. Мстители оказались на месте. Пушки быстро расклепали, поскольку Межи, можно сказать, напортачил. Прибывали новые батальоны.

Назавтра *(понедельник, 1 мая)* мы узнали об аресте Клюзере. В форт Исси он отправился, не колеблясь ни мгновения, как был, в штатском, меньше чем с двумя сотнями людей; вернувшись оттуда, Военный делегат, усталый, забрызганный грязью, прошел сквозь бурлившую толпу, которая до самой ночи текла, демонстрация

за демонстрацией, перед Домом Коммуны. Он не успел ничего сообщить о своем успехе, объяснить, как обстояло дело. Гражданин Пенди, комендант Ратуши, ждал его здесь с отрядом специального назначения:

— Мой дорогой друг, мне дано чрезвычайно неприятное поручение. Я уполномочен тебя арестовать.

Пенди увел генерала в тюрьму Консьержери. Ныне «военный министр» находится в тюрьме Сент-Пелажи.

Начальник его штаба, полковник Луи Россель, замещает временно узника Сент-Пелажи, о котором газета «Коммуна» отзывается так: «Трудно найти более явное ничтожество, чем гражданин Клюзере. Генерал обязан был все реорганизовать в три дня, а ему понадобилось три недели, чтобы все дезорганизовать». Судя по тому, как он живо и мужественно реагировал на трагедию Исси, сразу же вновь заняв форт, никто не мог бы даже предположить, что он строил козни против Революции. Клюзере умело скрывал свою игру. Вот и все. Коммуна знает, что делает. Генерал-янки продался версальцам. Не так уж неожиданно, если вспомнить, что этот агент орлеанистов, этот головорез показал себя еще в 48 году как враг восставшего народа.

Контрреволюционные деяния генерала вспомнились как-то вдруг, хотя знали о них всегда. Но подобные слухи в данную минуту — я подчеркиваю, в данную минуту — были на руку правительству. Этот не слишком аппетитный прием не нов и не считается отслужившим. Вообще же упомянутый генерал был просто довольно живописным авантюристом. Хитроумец, попавшийся в сети собственных интриг, Клюзере в данном случае стал жертвой тайной борьбы между Коммуной и Центральным комитетом Национальной гвардии,— борьбы, которую он сам разжигал.

Злые языки утверждали, что с ним расквитались за кое-какие его мероприятия, как, например, обязательное закрытие не позже 10 часов вечера качабков в деревнях под Парижем, где федераты иногда хватали лишнего.

Так или иначе, но учрежден Комитет общественного спасения. Пять его членов наделены чрезвычайными полномочиями. Вот их имена: Антуан Арно, Лео Мелье, Габриэль Ранвье, Феликс Пиа и Шарль Жерарден*.

* * *

Нет, решительно невозможно предвидеть, как будет вести себя в том или ином случае Марта. Скажем, все в восторге от назначения Росселя,— он настоящий военный,— ей же, изволите видеть, Россель нехорош.

— Военная косточка! Значит, не может он любить народ...

Мстители Флуранса не столь недоверчивы.

— Пусть мы пролетарии-распролетарии, но, когда все воюешь да воюешь, сам солдатом незаметно становишься. Тут уж ничего не поделаешь. Солдат не прочь, чтобы им командовали, он даже высокомерие снесет.

У нас в Бельвиле один только Предок держится того же мнения, что и Марта.

— Этот Россель, как и вся их каста генеральская,— ворчит старик,— хочет не хочет, а должен будет выбирать: либо его расчудесные планы снова кончатся Седаном и Феррьером, либо он поведет народ к победе и взойдет на диктаторский престол. Порода их такая — если не Наполеон, то Трошю. Никуда они от этого не денутся.

Молчаливое и бессознательное сродство душ сближало старого мятежника и юную бунтарку. Странная перекличка взглядов. С первой же встречи, даже до того, как они успели промолвить словечко, обнаружилось, что есть целый мир, тысячи вещей, относительно которых меж ними существует само собой разумеющееся согласие. В главном. Им это было ясно с первой минуты: горе тебе, если ты не вышел из рядов рабочего класса!

Одинокие старики и одинокие девчонки. Та же невинность, доходящая до жестокости. Обоюдоострое лезвие мятежа.

— Дядюшка Бенуа прав,— упрямо твердила мне Марта спустя часы и часы после этого разговора.— Генералы, они для того и существуют, чтобы битвы проигрывать. А если чудом выиграют какую-нибудь, сейчас же им подавай власть. Твой дядя правильно говорит: генерал — это такая скотинка, от которой никакой пользы

не жди, вредный зверь. Генерал — он, знаешь, не лучше епископа.

Предок вхож в Коммуну. Всюду его знают, любят, как и Марту, и встречают его улыбкой почти так же, как встречают Марту. Когда новичок караульный преграждает ему вход винтовкой, Предок отвечает на его вопрос:

— Кто я таков? Да никто.

Но всегда получается так, что рядом окажется то ли делегат, то ли командир легиона, берет Предка за руку и проводит его. Расхаживает он повсюду маленькими, осмотрительными шажками, пощипывая колючки своей седой бороды; так он бродит от залы мэров к казармам Лобо, от Наполеоновских казарм или мэрии IV округа в Центральный комитет Национальной гвардии, любит пройти несколько шагов, опираясь на плечо Варлена, Делеклюза или Риго. Среди всех этих говорунов он неразговорчив, но его мимика, взгляды, даже урчание в животе — более чем выразительны. Его красноречие чем-то близко по стилю к ораторству Марты, хотя, конечно, классичнее, что ли. Короткие афоризмы слетают с бесцветно-жестких губ.

— Истина не поддается ужатию в отличие от такой стихии, как воздух. Рано или поздно она взрывается. Вроде бы удобно солгать народу, чтобы избежать драки, а глядишь, через три дня или через две недели эта самая истина сваливается вам же на голову. И тогда она сокрушает все.

Рауль Риго иного мнения. Россель ему нравится, но старику Бенуа разрешают высказывать все, что ему угодно, а кстати сказать, никого замечания Предка не раздражают. Кроме того, он друг Бланки. Для нового прокурора Коммуны этого достаточно.

Арест Клюзере не так-то легко проглотить. Многие твердят про себя: раз уж таких крупных военачальников стали арестовывать, значит, дело дрянь! Вот и бросаются в объятия Росселя...

— Революция наша сдает,— брюзжит дядя Бенуа,— начинает верить в каких-то спасителей, цепляется за магические слова, за талисманы, амулеты.

Марта одобряет со страстью, а потом, очевидно рассчитывая на мою забывчивость, начинает чуть ли не через сутки расспрашивать меня о значении слов: талисман, амулет. Я рад, что могу подтрунить над ней.

— Ясно, ты ничего не забываешь, записываешь себе и записываешь. Прямо шпик какой-то!

* * *

Никак не разделяю предубеждения Предка и Марты насчет Росселя. Его первые распоряжения, самый стиль работы льют воду на мою мельницу. Вечером 30 *(апреля)* версальский полковник Леперш, не сумевший воспользоваться замешательством Межи и занять форт Исси, потребовал, чтобы вернувшийся туда гарнизон «сдался не позднее чем через четверть часа».

В ответ он получил от преемника Клюзере, своего бывшего товарища по Политехническому училищу, нижеследующее послание:

«Гражданину Лепершу, командиру, чьи войска занимают траншеи перед фортом Исси.

Дорогой друг,

Если Вы еще раз позволите себе направить нам столь дерзкий вызов, как вчерашнее Ваше собственноручное письмо, я прикажу расстрелять Вашего парламентера, как того требуют обычаи военного времени.

Дружески преданный Вам

Россель,
Делегат Коммуны Парижа».

Ответ «дорогому другу Лепершу» смутил некоторых членов Коммуны. Они пожелали познакомиться с Росселем, узнать, что собой представляет этот вновь назначенный Военный делегат. Представ перед ними, Россель не стал скрывать, что для него Прудон, Бланки, Маркс и социализм — книга за семью печатями: «Я не совсем себе представляю, кто вы такие,— признался он,— но я знаю, против кого вы восстали, с меня этого достаточно». Заключая свое политическое исповедание веры, он заявил: «Не знаю, каким будет новый социалистический порядок: он мне по душе, я верю в него, во всяком случае, он будет лучше старого». И тут же несколько нервным тоном, в котором чувствовалась усталость, стал вдаваться в детали военной ситуации.

И отлегло от сердца у тружеников и мозговиков Коммуны, поначалу слегка опешивших.

5 мая.

Форт? Где тут форт? Груда камней и обломков, по которой бьет и снова бьет артиллерия. 3-й бастион? Да где-то там, внизу, не ищите его, не карабкайтесь, если не хотите последовать за ним и упасть, раскинув руки, с кровавой звездой во лбу, она стреляет недурно, эта солдатня из департамента Сены и Уазы, тут вам полная гарантия попасть на небо!

В двухстах-трехстах метрах отсюда моряки и стрелки полковника Леперша занимают Кламарский вокзал, который наши батальоны, ведомые гражданкой Луизой Мишель из Монмартра, захватили было, но потом вынуждены были отдать. Наша артиллерия уже не в состоянии их прикрывать: у нас осталось с десяток орудий, а у тех шестьдесят огненных жерл — прикиньте сами!

Версальская артиллерия бьет все чаще, все оглушительнее. Куда пруссакам... если верить наводчику, который занимал эти самые позиции еще во время первой осады.

Одно за другим выходят из строя наши орудия. Снаряды вот-вот кончатся.

— Лучшие наши пушки! Паршивые времена...— насмешливо говорит наводчик, разыгрывающий из себя наполеоновского ворчуна — ему нет еще и пятнадцати.

Порой при таких вот встречах, которые нередки, мне становится совестно. Надо признаться, что мы с Мартой и Фебом неплохо устроились.

— А знаешь, сколько за одну эту неделю подбили вестовых? — парирует Фалль.

— Да не расстраивайся ты, Флоран! — замечает Марта.— Наш час придет. Наш и пушки «Братство».

Старики — им лет двадцать — двадцать с чем-то — поругивают Росселя. Он якобы неуважительно отнесся к командирам двух батальонов, явившихся с жалобой: где же, дескать, гражданин Россель, обещанные подкрепления? На что Россель им ответил: «В сущности, я имею право вас расстрелять как бросивших свой пост! Форт положено защищать штыками, извольте перечитать труды Карно!»

Казематы форта и коридоры забиты трупами. Более трехсот мертвецов лежат штабелями высотой два метра в камерах форта.

Со вчерашнего дня ждут возвращения единственного оставшегося в живых врача.

Сегодня в кромешном аду Исси только и разговоров что об измене. В Мулен-Сакете будто бы этой ночью командир 55-го батальона Галлье выдал неприятелю пароль. *(Измена эта так и не была доказана, более правдоподобно допустить, что кто-то проговорился.)* Глубокой ночью версальцы захватили врасплох пятьсот бойцов, пятьдесят убили, увели пушки и двести пленных. Поначалу людей охватила паника, но затем редут вернули. Вдруг стало известно, что Феликс Пиа, член Комитета общественного спасения, без ведома Военного делегата изменил имевшийся приказ — старый болтун послал в Исси Врублевского, командовавшего войсками левого фланга, от которого зависел участок Мулен-Сакета.

В обвалившихся казематах, где приходится отсиживаться, в случайных укрытиях — не только негодование, но и прямой ропот:

— Надо, чтобы дело Революции снова взяли в свои руки люди 18 марта. Они эту Революцию сделали и пусть действуют по-революционному.

Защищает эту точку зрения офицер, небезызвестный Моро, которого называют также «сир де Бовьер». Центральный комитет — Моро входит в его состав — собрал *(в ночь со 2 на 3 мая)* пятнадцать начальников легионов из двадцати; собрание решило пренебречь сопротивлением Коммуны, напомнив ей, что она не правительство, а лишь муниципальная администрация. Далее речь шла о народном ополчении, о введении смертной казни с конфискацией имущества в отношении версальцев, изменников, шпионов, расхитителей общественного имущества, укрывателей продовольствия и т. д. и т. п.

— Истинная Революция, если вы к ней стремитесь,— вот она! — воскликнул сир де Бовьер, погружая пальцы в буйные волны своей бороды и шевелюры.— Не знаю, согласится ли вечно дрожащая Коммуна с нами, но резолюция принята и мои коллеги, видимо, полны решимости.

Этот великолепно сложенный командир с высоким челом и ясным взглядом не забывает сослаться на свои личные боевые заслуги во время битвы при Шампиньи, в Бюзанвале и дает понять, что Россель не может не согласиться с решением Центрального комитета Национальной гвардии.

— Чем он вообще-то занимался, этот парень, прежде чем нацепил саблю? — спрашивает Фалль.

— Немного поэт, немного журналист,— ответил Гифес.— Он года три назад даже написал одноактную комедию для театра Россини. Потом он наладил изготовление искусственных цветов.

— Еще один актеришка! — ворчит Леон.

Максим Вийом, один из трех редакторов газеты «Пэр Дюшен», описывает следующую сцену: он, Вийом, находился в кабинете Росселя на улице Сен-Доминик, когда тому доложили о прибытии делегации Центрального комитета Национальной гвардии. Военный министр, подойдя к окну, смотрел некоторое время на делегатов, окруживших начальника VI легиона Комбаца, который что-то говорил им, жестикулируя. Россель бросил сквозь зубы Вийому: «А что, если я велю их расстрелять, вот здесь, прямо во дворе?»

В два часа дня неистовый шум у потерны: прибыли десять фургонов снарядов. На 7-м бастионе от орудийной прислуги не осталось в живых никого. Их еще не остывшее место тотчас занимают другие.

За весь вечер появился только один омнибус. В него втиснули сколько можно было раненых. На пути из форта в деревню он стал мишенью для версальцев.

Только что на улице Вожирар мы обогнали остатки смененных батальонов. Под звуки орфеона и бодрых мелодий восстания еле волочили ноги выжившие. Эта безрадостная процессия замыкалась двумя повозками, нагруженными доверху винтовками: оружие мертвецов и раненых.

6 мая.

Батарея Флери поливает нас каждые пять минут по часам.

На носилках носят раненных в ночной битве, где с одной стороны участвовали наши, а против них выслали сотни версальских пехотинцев, которым были приданы еще и моряки. Бой шел за ничтожный мостик, по которому проходит версальская железная дорога, а под ним дорога

Кламар — Ванв. Застигнутые врасплох федераты держались сколько могли.

Митральезу ранило в пах. Вот уже несколько дней как троица наших женщин, в том числе жена Пальятти, бывшая Дерновка, бросаются в самое пекло, вынося раненых. А Митральеза обслуживала орудие на 5-м бастионе. Перед смертью она просит взять на попечение Бельвиля ее младенца.

Мне не по себе, стыдно мне. Известная всему тупику потаскуха Митральеза, с бешеным взглядом темных глаз, кожа да кости, крикунья, желтозубая дылда, никогда не вызывала у меня особой симпатии. А сейчас спокойным, даже красивым стало ее лицо, потемневшее от пороха. У нас в свое время была мода на браки по расчету, в том числе печатник Алексис посватался к Митральезе. Алексис погиб в Шампиньи. Митральеза не лила слез по своему нареченному, но предложение Меде, нищего из Дозорного, которого потом подобрала Национальная гвардия, отклонила. Кстати, что с ним-то стало?

Перед смертью гражданка...— мы не знаем не только ее фамилии, но даже имени не знаем — Митральеза да Митральеза, произнесла что-то непонятное, но глаза ее благодарили нас.

— Ее младенчик отныне воспитанник Коммуны,— постановляет Фалль.

— А мы все-таки усыновим его, мой муж и я,— заявляет гражданка Пальятти, меж тем как на носилках уносят оставляющее за собой кровавый след это длинное костлявое тело, чтобы бросить его в каземат на двухметровые штабеля трупов.

Запасы кончились. Чесноков добил лошадь. Этот участок укреплений дальше держаться не может.

Нынче Коммуна открыла двери Тюильрийского дворца, где будут даваться концерты. Марта, пренебрегая усталостью, потребовала, чтобы мы зашли туда хотя бы на минуточку. Мне пришлось даже посадить ее на плечи, как это делают папаши с любопытствующими младенцами, иначе Марта не увидела бы диковинную ванную комнату императора, которую нам загораживала несметная толпа зевак. Особенно тесно было в величественном Маршальском зале, где отвальсировали свое все придворные львицы Второй империи. Четырнадцать портретов — во весь рост — наполеоновских маршалов, и среди них самого Наполеона

Первого, великого дяди, были стыдливо прикрыты полотнищами.

Мы возвратились, еле дыша от усталости, вдосталь наглотавшись пыли.

7 мая.

Воскресенье, и не просто воскресенье, а первый воскресный день мая месяца, посвященного Деве Марии. Мы перед Собором Парижской богоматери, и Марта шепчет мне: «Слушай». Я сдерживаю Феба, из Собора рвутся наружу звуки псалмов, молитв, органный гром.

Форт Исси. Десять снарядов в минуту. Укрепления уже не имеют прикрытия. Все пушки, за исключением трех, сняты с лафетов.

Вражеские передовые линии подошли к нам почти вплотную.

Нас окружают.

Фалль застиг свою жену в ту самую минуту, когда она тащила носилки в траншею. Он кричит что-то голосом взбесившегося ревнивца и заставляет двух пареньков выпроводить ее оттуда, угрожая штыком. Ее ведут в укрытие. Уходя, Клеманс бурно протестует: почему никто не тревожит «вон ту дылду, которая толчется здесь с ружьем за плечами». Речь идет о Луизе Мишель. Эта гражданка с Монмартра встречается нам везде, где постреливают. Ей всюду вольный вход, поскольку Луиза участвует в работе женских организаций помощи раненым. К тому же какой караул устоит против ее грозного взгляда?

Россель вернулся.

Эд, официально принявший командование фортом, в отлучке. Его задерживают дела.

Россель невозмутим — в ярости он леденеет:

— Домбровский, какого черта вы здесь!

— Комитет общественного спасения, гражданин Россель, приказал мне взять на себя командование всеми действующими силами.

— А меня даже не сочли нужным поставить в известность? Значит, я уже не в счет, так?

— За вами остается, по-видимому, военное министерство,— не без смущения ответил поляк.

Но снаряды продолжали рваться, и оба слишком уважали друг друга, чтобы вести этот бесполезный спор.

Они договорились, как полагается военным, пренебрегая «политиками» с их вечными интригами.

* * *

Пливар попросил отпустить его домой хотя бы на несколько часов. С такой же просьбой обратились к своему командиру Нищебрат, позже Матирас и Чесноков, а ведь эти трое — храбрейшие из храбрых, несгибаемые. Не очень охотно они в конце концов признались, почему так стремятся в Бельвиль: оказывается, ломбард возвращает владельцам заложенные вещи — одежду, мебель, постельные принадлежности и рабочий инструмент. Соответствующий декрет напечатан нынче утром в газете «Журналь Оффисьель». Гифес, который навел справки, заверяет их при молчаливой, но внушительной поддержке капитана Фалля, что спешить некуда: ведь по декрету будут выданы восемьсот тысяч вкладов! Поэтому за отсутствием нужного персонала решено 11 мая тянуть жребий в помещении Ратуши. Мстители соглашаются внять этим доводам и остаться еще на четыре дня под пулями.

Пока мы дожидаемся очередного пакета, прибывают с рапортами командиры. Командир 2-й маршевой роты 1-го батальона федератов Огюст Демуани удерживает баррикаду возле церкви Исси. Этот человек, весь в грязи, испачканный кровью, по-настоящему счастлив:

— Я горжусь, граждане, нашими федератами из 1-го батальона! Ну и денек, отцы мои!.. Моя 2-я рота вела себя под огнем героически. Скорблю, но обязан сообщить вам о гибели пятерых. Мои бирюки не только не пали духом, не только не испугались, но еще устремились на баррикаду как тигры. И водрузили там наш флажок. Кричали: «Да здравствует Коммуна! Да здравствует Республика!» Вот и все. Привет и братство.

— Ты, гражданин, кто по профессии? — спросил Ла Сесилиа.

— Портной. Проживаю на улице Бурдонне, 39.

Максим Лисбонн с торжествующим смехом замечает:

— Вот как у нас! Наши военные училища — это цеха и мастерские!

Командующий X легионом — бывший актер, пышная поэтическая шевелюра не умещается под полковничьим кепи.

Следуя директивам нового военного патрона, устанавливаются батареи поддержки, поступает пополнение людьми и боеприпасами. Возле брешей выгружают тачки с землей. Федераты сбрасывают с себя военные куртки, превращаются в землекопов.

И в самом деле Марта права: «Во время Революции всю землю переворошат!»

— В нынешнем положении форта Исси,— подытоживает Россель,— существует только одна возможность улучшить наше военное положение, которое стало весьма и весьма угрожающим: перейти в наступление с теми силами, какие у нас есть, остановить продвижение врага, причинив ему серьезные неприятности. Но как накопить достаточно сил? Едва прибывает новый батальон, прежний сразу исчезает.

Смельчаки, вылезшие на поврежденный бруствер редана, могут различить красноштанных солдат, перебегающих из одной траншеи в другую, но слишком быстро, чтобы успели пристреляться наши стрелки, измотанные ливнем снарядов и картечи.

Теперь я, как никогда раньше, с наслаждением вспоминаю, что у меня есть собственный револьвер системы «лефоше», оттягивающий мою солдатскую сумку. Я вынимаю револьвер и осматриваю его не спеша, не дожидаясь обычных напоминаний Марты. Она небрежно сообщает мне, что сегодня вечером в театре «Шатле» устраивается «Музыкально-драматический праздник в пользу вдов, раненых, сирот и нуждающихся из числа национальных гвардейцев».

— А знаешь, Флоран, можно и не пойти, правда? — говорит она.

При этих словах Феб начинает похрамывать. Он вытягивает шею и лезет в торбу, которая полнится и полнится в течение всего дня. Совпадение? Кто скажет, выдумка или нет знаменитая солидарность коня и всадника?

* * *

Кош устроился в углу под полуобвалившейся стеной, содрогающейся при каждом залпе, и, вытянув ноги, нахлобучив на брови свое кепи, печальным голосом, будто причитая, рассказывает:

— Я не знал, куда нас ведут, клянусь! Фалль сказал: сбор! Он тоже не знал. С нами пошли ребята из других частей: Тюркосы Коммуны, вольные стрелки, федераты, волонтеры Монружа, все те же верные из верных, стойкие из стойких, но двинулись мы не в сторону неприятеля, а через замок Исси на деревню Ванв. Ну вот мы и шли. На авеню Малаков нас выстроили перед толпой каких-то парней. Человек полтораста. Вид у них был действительно не блестящий. Кое-кого из них мы знали в лицо. Нам объяснили: они сбежали из форта Исси, а в Ванве их поймал комендант заставы. Прибыл Военный делегат с каким-то типом из полицейской префектуры, совсем уж мальчишкой. *(Это был Да Коста.)* Россель орал: «Постройтесь как положено и расстреляйте мне вот этих. Для острастки». Фалль смотрит на Росселя, смотрит на нас... Ла Сесилиа запротестовал. Начальники ругались между собой, а мы стояли с ружьем к ноге перед парнягами, перед их неподвижной толпой, и боялись глядеть им в глаза. Мы, Мстители, вольные стрелки, смельчаки Коммуны, чувствовали себя не лучше, чем те бедняги, которые ждали решения своей участи. Потом начальники вроде сговорились, судя по их свирепому виду. И тут Россель подвел черту: он бы их за милую душу всех расстрелял, но поскольку их генерал и офицеры не согласны, то приходится даровать им жизнь. Трусов просто разжалуют и введут в Париж под нашим эскортом, и каждому надпись на грудь: «Трус, дезертировавший из форта Исси». Глаза бы мои не глядели. А исполнял этот приговор один Тюркос. Он ножницами надрезал шинели, чтобы была видна подкладка... Долго-долго возился. А другие срывали погоны, нашивки на кепи. Думал, никогда этому конца не будет. Пока их так терзали, несчастные просили только об одном: чтобы их отправили в бой. В конце концов Россель даровал им и эту милость. Канонада слышалась рядом, все время раздавались залпы.

Эта церемония происходила чуть не на глазах у врага. Ла Сесилиа был сброшен с коня. Он получил контузию колена и был перевезен в Военную школу, заменил его Да Коста.

— Мерзко это! Уж лучше бы их расстреляли!
— Умереть страшнее, Марта!

— Нет, хуже всего для человека, для настоящего человека,— позор.

— А ты не беспокойся, клоп! — взорвался Пливар.— За смертью дело не стало.

Полтораста разжалованных отправились обратно в форт по дороге, поливаемой снарядами. Тут большинство из помилованных и погибло.

— Неужели, по-твоему, это хорошая весть, а, Марта? — гремел Матирас.

С тех пор как не стало его дружка Бастико, медник все более ожесточается. Он приходит в ярость при малейшем проявлении чувствительности.

У Предка, как и всегда, свои соображения. Он не на стороне Коша, но и не на стороне Матираса.

— Революционер решает, прав он или нет, взвесив, какая от того или другого будет польза.

— Польза! — отрезает Марта.— А та, что Пьер или там Поль, которые шастают теперь по кварталам, собирая своих людей, сами десять раз подумают, прежде чем подставлять голову под пули. Вот она, ваша польза.

— Малышка права,— подтвердил старик.— Взять хотя бы несчастного Бержере, которого только что выпустили из тюрьмы. Нет, так обращаться с Национальной гвардией нельзя.

Последний приказ Росселя вызывает тревогу: «Беглецы и те, кто отстанет от своей части, будут изрублены кавалерией, а при большом скоплении расстреляны из пушек».

— Он с нашими федератами обходится как с солдатами!

— Послушай, Марта! Но ведь они и есть солдаты!

— Нет! Они повстанцы! Они хотят понимать! Они и сами с головой!

— Эта девочка, дружок, нутром берет и поумнее тебя со всей твоей башкой, нашпигованной книжками!

Марта награждает старого разбойника влюбленным взглядом.

Сегодня у нас среда, 10 мая 1871 года. Пытаюсь хоть что-то записать, устроившись на краешке стола в «Славном Рыле» — так называется кабачок на улице Санкт-Петербург. За спиной у меня Кош, Пливар, Нищебрат и Чесноков режутся в карты, потягивая густое темно-алое винцо.

Потому что Мстители нынче здесь и наводят порядок. Коммуна силами четырех батальонов Бельвиля заняла Батиньоль.

В конечном счете все это благодаря Росселю.

И еще будут обвинять Коммуну, что у нее, мол, не хватает духа! Наши делегаты действительно не знают ни минуты передышки. Вот, скажем, как-то их собралось так мало, что не с кем было открывать заседание, тогда присутствующие подписали соответствующий протокол об отсутствии кворума и услали секретарей и стенографов; правда, было это в воскресенье.

Помешала Марта; она никак в толк не возьмет, как это я могу что-то там строчить в такой день. Пробежала глазами вышеприведенные строки, потом потребовала, чтобы я порвал записи: все это чистая правда, но, если мои писания попадут на глаза людей, не переживших то, что пережили мы, что могут они подумать о Коммуне? Только плохое. А если взвесить все, Коммуна — это вовсе не так плохо. Я уже готовился было защищать свою писанину любой ценой, хотя бы ценой дискуссии о революционных аспектах истины, как вдруг Марта испарилась, это ее кликнул с улицы Торопыга...

С того самого дня тревога Марты передалась мне — я сразу же стал перечитывать свои записи — и никогда не утихала, она в каждой строчке чувствуется.

Всю ночь командиры легионов сновали по округам. Вчера в полдень семь тысяч плохо одетых, плохо вооруженных, падавших от усталости людей топтались на месте между окутанными траурным крепом статуями французских городов. Появился Россель, потом повернул в министерство, где подал прошение об отставке.

«Чувствую, что неспособен нести дальше ответственность, лежащую на командующем в условиях, когда все обо всем дискутируют и никто никому не повинуется... А тем временем враг раз за разом ведет дерзкие и рискованные атаки на форт Исси, и я сумел бы проучить версальцев, если бы мог располагать хотя бы даже небольшими боеспособными соединениями... Мой предшественник совершил ошибку, пытаясь бороться в этой нелепой ситуации... Ухожу в отставку и имею честь просить вас предоставить мне одиночную камеру в тюрьме Мазас».

— Я тогда там был,— рассказывает толстяк сержант.— «Счет не сходится!» — вот что он сказал. А ведь под ружьем было семь тысяч человек! Но и нас понять нужно,— добавляет рассказчик.— Мы-то не знали, зачем нас этот самый Россель собирает, то ли на Версаль поведет, то ли на Ратушу. Поэтому многие парни вообще не пожелали явиться на площадь Согласия. Не доверяли. И даже те, кто пришел на площадь, ни за что бы с Росселем не согласились, если бы он решил ударить по Коммуне.

Оратора не одобряют многие товарищи и в штатском и в военном. Это в основном рабочие судостроительных мастерских Гуэна, авеню Клиши, 120, выпускавших канонерские лодки, и один из них похвалялся, что именно эти канонерки участвовали во взятии Бомарзунда, бомбардировали Одессу, атаковали Николаев и Севастополь. О чем спорят, понять уже трудно, у кого голос громче, тот и перекричит остальных.

— Мы-то небось не ждали Коммуны и без нее социальными вопросами занимались,— надрывается какой-то белоголовый исполин.— Еще с августа 1840 года создали «Предусмотрительную пчелу»! *(Общество, число членов коего не должно было превышать двухсот человек, поровну делило между участниками проценты с капитала, вложенного в сберегательную кассу или же в государственные бумаги.)*

— Ну, уж это для дурачков,— мягко замечает Кош.

— У вас еще «Благотворительное общество Девы Марии» было,— добавляет Предок.

— Что бы ни было, а без ваших бельвильцев обходились.

Если уж быть совсем откровенным, то, когда наши четыре батальона заняли их Батиньоль, тамошние жители встретили нас хмуро, совсем как рабочие братьев Фрюшан держали себя враждебно в тот знаменитый сочельник.

— А ты строчи себе, писаришка, строчи! — орет мне в лицо молоденький механик.— Хоть самому гражданину Риго передавай все, что здесь говорилось, очень даже хорошо будет, если передашь!

Падение форта Исси, отставка Росселя — страшные удары, потрясшие не только Ратушу, но и весь Париж. В Коммуне — кто бы мог даже подумать такое? — началась грызня: Риго против Вермореля. На них обрушивается

Делеклюз: «Вы спорите, а тем временем на форте Исси водрузили трехцветный флаг! Со всех сторон нас обволакивает предательство. Нам угрожают восемьдесят орудий, установленных в Монтрету, а вы спорите!.. В такие минуты терять драгоценное время из-за самолюбия! Национальная гвардия отказывается идти в бой, а вы тут обсуждаете протокольные вопросы!.. Центральный комитет Национальной гвардии собирается вышвырнуть Коммуну за дверь, а это значит нанести удар в самое сердце Революции. При всех недостатках отдельных членов Коммуны она — источник мощного революционного чувства, способного спасти Родину... Парижанин не трус: если он отказывается драться, значит, им плохо командуют или он считает, что его предали... Ваш Комитет общественного спасения уничтожен, раздавлен тяжестью связанных с ним воспоминаний. А употребляя самые простые слова, можно совершить самые великие деяния...»

— Старик Делеклюз отпетый якобинец,— вздохнул Предок.— Во время его речи все собрание плакало. Оно единодушно приветствовало его, этот неподкупный труп. Он очень болен. А говорил он стоя, потому что так сейчас повелось...

Делеклюз заменяет Росселя.

После его речи при закрытых дверях началась дискуссия. Большинство покинуло зал заседаний, чтобы обсудить приватно ряд вопросов, невзирая на протесты меньшинства: «Мы имеем право совещаться, прежде чем нас запрячут в тюрьму». Сторонники большинства договорились о новом составе Комитета общественного спасения: Делеклюз, Гамбон, Эд, Ранвье и Арно. Жерарден, личный друг Росселя, и интриган Феликс Пиа были выведены из числа членов.

Сбившись в уголок, буржуа подымают голос:

— Какой генерал ни будь, а если нет верховного командования, он победы не одержит!

Кош печалится о Росселе:

— Народ уже успел его полюбить!

— Народ часто с первого взгляда начинает пылать горячей любовью,— с горечью замечает Предок.

* * *

Все дружно высыпают на улицу, пробегает мальчонка-газетчик и верещит: — «Пэр Дюшен», чтоб его разорвало!

«Вы клеймите презрением гражданина, обвиненного вами, хотя правосудие еще не вынесло ему приговора.

Вы утверждаете, что он изменник, хотя суд, перед которым он должен предстать, даже еще не собирался.

Вы ведете себя, как неразумные дети.

Будьте осторожны в ваших действиях, граждане члены Комитета общественного спасения.

И будьте осторожны в ваших речах!

Ибо в этом деле народ не с вами...»

Один читает, а четверо-пятеро заглядывают ему через плечо. Батиньольцы прямо упиваются каждым словом:

— Что правильно, то правильно, молодец «Пэр Дюшен».

— Это тебе не шутки шутить.

— И пыль нам в глаза не пускает!

Предок цедит сквозь зубы:

— Вот почему ваша дочка немая!*

— Какая еще немая дочка? — удивляется Марта.

— Старик хотел сказать: вот почему Бельвилю пришлось прийти к батиньольцам,— поясняет Кош и показывает на зевак и национальных гвардейцев, вырывающих друг у друга листок, где делегатов обзывают «подозрительными типами».

Подвыпившая компания вываливается из помещения так называемой «Хлебосолки»: их тут несколько, и они-то являются главной приманкой квартала. Завтрак — шестьдесят сантимов, обед — франк двадцать пять. Кормежка здесь, понятно, не слишком обильная или жирная, зато можно взять добавочное блюдо, а главное, там царит такое веселье, что, несмотря на серьезную конкуренцию заведений Дюваля, застолье приказчиков, польских и итальянских изгнанников, учительниц без учеников и служащих без службы превратилось в своего рода настоящие семейные трапезы, где с радостью встречаются завсегдатаи...

Однако атмосфера, царящая на улице, быстро их отрезвляет. Застольные прибаутки становятся поперек горла.

— Что, что вы говорите? Версальцы будут рыть в Булонском лесу траншеи?

— Ну, знаете, если слушать все, что говорят!

Оптимистам только этого и надо. Завсегдатаи «Хлебосолки», выпивохи, игроки, зеваки и федераты, со всех ног мчатся к мэрии, где только что наклеили официальное воззвание:

«Неправда, что трехцветный флаг вьется над фортом Исси. Версальцы не заняли форт и никогда не займут...»

— Если верить всему, что пишут...— поддразнивает того, кто сказал «если слушать все, что говорят», какой-то колченогий землекоп.

И так как патриоты дружно ополчаются на него, он беззлобно уточняет:

— Я как раз из лицея, из Исси иду, мы там цельные сутки вкалывали под таким обстрелом, только держись. Ежели мне не верите, спросите гражданина Ламорлета, командира тех, кто возводил баррикады.

Доказательств не требуется: когда землекоп поворачивается и на его лицо падает луч газового фонаря, всем становится видно, что на усах его запеклись капли извести вместе с каплями крови.

Слабонервные патриоты мгновенно меняют разговор, теперь речь идет о новом оружии — никогда не стареющая, вечно волнующая тема:

— Воздушные шары, начиненные взрывчаткой, они не только Версаль, они и пруссаков уничтожить могут, да еще в придачу и Англию — не зарься на Суэцкий канал!

— А вот эти «бронированные стрелки», что это — шутка или всерьез?

— Да бог с вами, конечно, всерьез! Доктор Паризель, председатель «научной делегации», поддерживает проект: представляете, металлическая повозка, что ли, на колесах, сзади под надежным укрытием помещаются трое стрелков; не подвергаясь ни малейшей опасности, они могут вести огонь по врагу.

Проект гражданина Делапорта, проживавшего в доме № 16 по улице Сен-Северен в V округе, опередил время всего на одну войну; как раз нынче утром я думал об этом, увидев в «Мируар» наши танки «Рено», действующие в районе Соммы.

Среда, 17 мая 1871 года,
28 флореаля года 79.
Сорок пятый день Коммуны!

Вчера Марта нацепила кружевной чепчик.

Мы с ней ходили смотреть, как будут рушить «памятник варварства, символ грубой силы и лжеславы, это наглое утверждение милитаризма, это отрицание международного права, это постоянное оскорбление, наносимое победителями побежденным, это непрерывное покушение на один из великих принципов Французской Республики — Братство»,— говоря словами декрета о разрушении монумента, короче — Вандомской колонны.

Ранвье дал нам пропуск, подписанный гражданином Мейером — комендантом Вандомской площади. «Пропустить, разрешается свободно циркулировать» и т. д. и т. п. Пропуск напечатан на прекрасном картоне: в одном углу пика с нацепленным на нее фригийским колпаком — эмблема Комитета общественного спасения,— а в другом вымпел «Всемирная Республика» и масонский экер. Марта, которая никогда ничего не хранит, пропуск решила сохранить.

Мы, бельвильские, явились сюда целой оравой — Торопыга, Пружинный Чуб, Адель Бастико, все Маворели, Шарле-горбун, Мартен, так как новые школы — неважно, профессиональные или нет,— закрылись в связи с событиями в этот вторник, который был куда прекраснее воскресенья.

Церемония была назначена на два часа. Но уже к полудню несметные толпы забили улицу де ла Пэ, площадь Оперы и улицу Кастильоне; хорошо еще, что Марта, верещa по обыкновению, размахивала красивым нашим пропуском. Балконы и подоконники чуть ли не рушились под напором зрителей.

Время от времени собравшиеся для верности поглядывали, тут ли еще колонна, не обманули ли их вообще. Они насмешливо искали глазами верхушку колонны, где на фоне синего неба флореаля торчал Наполеон в тоге, по которой как бы нарочно легкий ветерок щелкал концом красного флага.

Рабочие еще возились на лесах, прикрытых полотнищами.

Уличные торговцы зазывали покупателей, расхваливая свой подозрительный по качеству товар. Англичане бродили с места на место, отыскивая наиболее подходящую позицию для своих фотографических аппаратов.

В пикете мы наткнулись на Пассаласа.

— Пойдем с нами!

— Нельзя, я дежурю. Нам стало известно, что, когда статую будут валить, могут начаться вражеские вылазки. Поэтому-то мы принимаем свои меры. Арестован кюре Вотье: он заявил, что Коммуна рухнет прежде Колонны.

Тут к своему дружку Пассаласу прорвался сквозь толпу мой кузен Жюль.

— Я только что видел Гюстава Курбе. Он получил десятки угрожающих писем: «В тот самый день, когда падет мой старый император, нить твоих дней будет перерезана, подлый убийца!»

— Кто же осмелился написать такое гражданину Курбе?

— Ясно, какой-то храбрец из тех, кто шлет анонимные письма. А другой клянется, что пронзит его кинжалом, когда тот ночью будет возвращаться к себе домой без охраны, и еще один столкнет его в Сену, когда он будет проходить по Новому Мосту; а один бывший старожил острова Святой Елены предсказывает, что наш Курбе погибнет от яда.

— А где же он сам? Надо бы обеспечить ему охрану, хотя бы не в открытую.

— Сейчас Гюставу Курбе ничего не грозит. Посмотрика, он вон там, видишь, руками размахивает. Это он письма показывает, он их уже прочел Вермершу и Вийому из «Пэр Дюшен»

Какой-то здоровенный детина в тесном ярко-синем рединготе и в соломенной шляпенке за четыре франка вращал в правой руке тросточку, а левой потряхивал связкой писем самых разнообразных видов и цветов.

— Вон тот слонище, что ли?

«Слонище», о котором шла речь, то есть Курбе, выбранный от VI округа, был председателем Комиссии искусств, ведающей охраной национальных музеев и памятников искусства.

Марте не терпится поглядеть, что делают рабочие у колонны, все еще нерушимой: одни расширяют косое

отверстие, ведущее к внутренней лестнице, в это отверстие вполне может пролезть человек; другие пилят колонну горизонтально, со стороны улицы Кастильоне, а остальные, наконец, готовят подстилку из фашин, песка, брусьев и навоза, чтобы смягчить падение монумента.

— Зачем это они еще подстилку кладут?

— При такой тяжести колонна вполне может повредить большой коллектор, проложенный под мостовой.

— Ничего не вижу, возьми меня к себе на закорки.

— Еще чего! Ты небось не легонькая! Пускай тебя Пружинный Чуб себе на плечи сажает.

— Да-а, он не такой высокий! Уж не сердишься ли ты на меня, Флоран?

Тут она решила подойти поближе, но моряки при лебедке преградили нам путь, невзирая на «всюду пропускать беспрепятственно», в наших же собственных, по их словам, интересах, потому что никто не знает, куда шлепнется эта «чертова бронзовая грот-мачта»...

— А они как же? — запротестовала Марта, показывая на англичан-фотографов, выстроившихся со своими треногами, и на рисовальщиков с альбомами в руках.

Но пикет их уже разогнал. Пробило два, подручные отметали бронзовые и мраморные опилки, а рабочие тем временем снимали полотнища.

На угловых балконах волновались:

— На нас она, надеюсь, не свалится?

— Ведь махина тридцать четыре метра высотой... Они хоть рассчитали правильно?

Один инвалид, который каким-то чудом доковылял сюда на своей деревяшке, вдруг начал вопить, что пусть немедленно прекратят безобразие, потому что никто не имеет права прикасаться к тому, «кто был десницей Франции»!

— Да эта самая десница тебе ногу, дед, отхватила,— брякнул Торопыга.

Два безруких вместе с одноглазым заорали: «Вандалы!..» Реакционеры, сбившиеся под аркой ворот, поддакивали им, соглашались с этими обломками Великой армии, еще минуту — и они начали бы орать: «Да здравствует Версаль» и «Да здравствует Тьер».

Селестина Толстуха обозвала их сволочами.

— А ты, жирнявка, лучше бы себе чулки заштопала.

К счастью, началось самое интересное.

Симон Мейер взобрался на площадку, на самый верх, прямо под небо.

— Ой, черт! — крикнула Марта.— Он наш флаг снимет... А вместо него трехцветный присобачит!

Я тоже перепугался, но стоящий рядом лейтенант объяснил нам: нельзя же, чтобы красное знамя тоже свалилось наземь.

Оркестр 190-го батальона заиграл Марсельезу. Тут кто-то заметил, что лучше бы отвести в сторону пушки, направившие свои жерла в сторону улицы де ла Пэ, и заодно разобрать среднюю часть баррикады, перегораживавшей мостовую.

— Значит, вы прямо на землю дядю нашего Баденге хлобыснете?

Было уже около четырех. Жители предместья, потеряв терпение, скандировали: «Ко-лон-ну! Ко-лон-ну!», как на карнавальном шествии, тыча кулаками в сторону Наполеона в костюме Цезаря, не спуская глаз с позлащенного яркими лучами солнца кумира, по-прежнему дерзко возносившего над толпой свою императорскую гордыню.

Теперь уже музыканты 172-го батальона заиграли «Песнь отправления». Наконец прозвучал рожок. Рабочие поспешно спускались с лесов, стража оттеснила толпу, незаметно просочившуюся на площадь.

Заработала лебедка...Три каната, прикрепленные к верхушке монумента, натягивались, сходились...

Моряки налегали на рукоятки лебедки. Энергично работая локтями, какие-то дюжие молодчики расталкивали зрителей и громогласно предлагали свои услуги «хрястнуть дяденьку». Тысячи глоток скандировали: «Взя-ли! Взяли!»... Все взгляды быстро и нервно перебегали от верхушки колонны к ее подножию, от Наполеона к косому отверстию. Ногти Марты с силой впились мне в плечо. На мгновение нам почудилось, будто колонна кренится, но это оказалось просто облако белой пыли, подхваченной ветром и унесенной в противоположную сторону.

Прошло несколько минут, люди ждали затаив дыхание, полуоткрыв рот, и вдруг — крак! — по толпе прошло движение. Но нет, это лопнули канаты, обвиснув и щелкнув, как скрипичные струны, опрокинув на землю с полдюжины матросов.

Раненого моряка унесли с площади, а тем временем остальные отправились на розыски новых канатов. Пятеро

рабочих взобрались на пьедестал и сильными ударами лома и кирки стали расширять отверстие. Казалось, конца этому не будет, а пока что три военных оркестра, расположившиеся перед зданием министерства юстиции и штабом, сменяя друг друга, играли военные марши и патриотические песни.

Толпа, крикнув раз-другой: «Предательство! Измена!» — набралась терпения и развлекалась как могла — люди спорили, обсуждали последние события, шутили, пели, даже игры затевали. Особенно же забавлялась публика чтением вечерних газет, где в мельчайших подробностях рассказывалось о еще не состоявшемся падении колонны...

Снова заиграл рожок.

Прибыла новая снасть. Рабочие спустились с пьедестала. Лебедка заработала. Медленно натягивались канаты.

Оглушительный крик.

Колонна дрогнула, покачнулась. Марта затопала ногами. Раздался глухой удар и треск фашин. Земля задрожала, кое-где с веселым звяканьем вылетели оконные стекла. Облако пыли...

Я пропустил момент падения Колонны, Марта на нее смотрела, а я смотрел на Марту. Марта видела, как рухнул деспотизм, а я видел, как вырастала на моих глазах Марта.

Было уже около шести. Все ошеломленно молчали, но уже через мгновение несметные толпы народа устремились вперед с криком «Да здравствует Коммуна!», прорвав кордоны федератов; я крепко обнял свою подружку, не просто так, а чтобы ее не унес, не затоптал, не поглотил этот штормовой натиск человеческого моря.

Колонна разбилась на куски. Наполеон лежал навзничь, обезглавленный, однорукий. Голова Цезаря оторвалась от туловища и скатилась прямо в навоз. «Ну чисто тыква!» — крикнул кто-то. Подстилку из фашин разбросало кругом чуть ли не на десять метров. Моряки водрузили красное знамя на непострадавшем пьедестале; потом вся масса людей устремилась к этой внушительного вида трибуне. Начались речи. Офицеры и национальные гвардейцы позировали перед фотографическими аппаратами, а музыканты сыграли Марсельезу, а потом «Песнь отправления». Сотни любителей раритетов ползали на карачках,

дрались за бронзовые, железные или каменные осколки. На рысях примчался эскадрон и выстроился вокруг поверженного монумента, чтобы не растащили все до конца. Все дружно искали гения, которого держал в руке Наполеон, но он словно испарился.

— И это называется Колонна! — твердил инвалид на деревяшке.

А он-то думал, что она не полая, а вся сплошь отлита из бронзы орудий, взятых у неприятеля: и под Мадридом, и под Москвой. А оказалось — тоненькая-претоненькая бронзовая оболочка, хорошо еще, что камень прикрывала.

— Не толще ноготка, папаша,— стараясь утешить его, говорил один из пильщиков.— А носы-то у гренадеров на барельефе — камень еле бронзой прикрыт.

— Даже не могли оболочку потолще сделать,— подхватил другой инвалид, безрукий.

Федераты прикладами разбивали куски бронзы; одна старая дама клянчила у моряка кусочек Славы. *(Он продал ей кусок за пятьсот франков, а потом за другие пятьсот донес на нее.)*

С разрушением Колонны сокровищница художественных ценностей города Парижа не оскудела. Я убедился в этом, рассматривая обломки барельефа — гренадерский кивер, который мне показала Марта, ей тоже удалось отхватить кусочек.

Как мы любили друг друга той ночью! Вспоминаю трепет, влажные поцелуи. Наша орава возвращалась домой через ликующий город. В ласкающих сумерках этой прославленной в веках весны мы брели, хохотали, пели. А потом Марта потихоньку утащила меня в свой тайник, совсем как во времена Трошю.

Нынче утром чувствую себя особенно старым.

Прекрасные то были дни. Я записывал в дневник только самое волнующее. Почти с такой же стыдливой сдержанностью писал не только о любви, но и о грустных новостях, об успехах врага, о политических или личных распрях. Надо сказать, что мы были плохо информированы, и разве мы знали, разве кто-нибудь из нас, ликующих, мог предположить, что восемьдесят тысяч версальцев засели за укреплениями в Булонском лесу? А меж тем в самом городе никаких мер не принималось, это видел воочию каждый, но

никто не желал в этом признаваться вслух, вопреки вполне романтической болтовне об уличных боях к тому времени было построено только две баррикады.

«Казнь» Вандомской колонны была, так сказать, символом морального удовлетворения, на которое имела право Коммуна. Ее бойцы были лишены самого необходимого, самого, казалось бы, элементарного, например не было даже проводников: 22-й батальон, по существу лишенный командования, заплутался в предместьях и наскочил на заставу версальцев, потеряв в перестрелке много убитыми и ранеными. Версальцы тут же расстреляли раненых. Зато наши занялись домом Тьера на площади Сен-Жорж; Комитет общественного спасения 11 мая приговорил этот дом к разрушению. И Гастон Да Коста 15 мая, то есть через четыре дня, торжественно нанес первый удар ломом по крыше тьеровского жилья, будто это было самое неотложное!

Однако были люди серьезные, думающие, преимущественно представители меньшинства; назовем Тейса, сумевшего в короткий срок реорганизовать почтовое ведомство, венгерца Франкеля, выступившего в защиту рабочих, занятых на производстве военных материалов. «Вопрос ставится так,— говорил он,— эксплуататоры, пользуясь общим обнищанием, урезывают заработную плату, а Коммуна по своей близорукости способствует манипуляциям хозяев. Мы не вправе забывать, что Революция 18 марта была совершена именно руками рабочего класса. Ежели мы ничего не сделаем для этого класса, мы, чей основной принцип — социальное равенство, то Коммуне тогда незачем и существовать».

Форт Исси сдался 15 мая, после ожесточенных боев, длившихся пять дней, в то время как в военном совете председательствовал генерал Брюнель. Домбровский все еще удерживал Нейи. Вот что рассказывает Лиссагаре: в главном штабе Домбровского, размещенном в Шато-де-ла-Мюэт, «бомбами разворотило всю крышу. По позднейшим подсчетам, все его адъютанты погибали в течение первой же недели... Он слал в военное министерство депешу за депешей, но подкреплений не получал».

Генерал Клюзере из своей тюремной камеры давал Гайару-отцу советы насчет постройки баррикады.

В Бурбонском дворце полторы тысячи женщин шили мешки для переноски земли, получая по восемь сантимов за штуку.

Вечером 17 мая страшнейший взрыв потряс столицу, поднявшийся столб дыма был виден буквально отовсюду. Это на авеню Рапп взорвался патронный завод, рухнуло несколько пятиэтажных домов по соседству. По слухам, погибло около двухсот человек. Подозревали вражеские козни, однако точных доказательств не было. На следующий день были запрещены десятки газет. Коммуна посылала на передовые позиции рыть окопы офицеров, открыто разгуливавших с публичными девками, а последних в свою очередь в обязательном порядке заставляли шить мешки для переноски земли.

На бумаге Национальная гвардия насчитывала сто девяносто тысяч человек. Фактически меньше двадцати тысяч федератов противостояли армии версальцев, другими словами, ста семидесяти тысячам людей, подчинявшихся железной дисциплине.

Париж располагал тысячью орудий, но лишь треть из них была пущена в дело.

Никогда еще Париж не был таким опрятным, таким здоровым.

Боясь попасть в ряды Национальной гвардии и по многим иным причинам сотни тысяч парижан бежали из столицы. Находившийся в Лондоне Карл Маркс писал с законным удовлетворением: «Коммуна изумительно преобразила Париж! Распутный Париж Второй империи бесследно исчез. Столица Франции перестала быть сборным пунктом для британских лендлордов, ирландских абсентеистов, американских экс-рабовладельцев и выскочек, русских экс-крепостников и валашских бояр.»[1]

Сейчас только Марта объявила мне, что она беременна. Говорит она об этом как о чем-то вполне обыденном, как сказала бы, что нынче, к примеру, воскресенье. Сначала я что-то мямлил, а потом, сам не знаю почему, спросил, уверена ли она в этом, и она мне терпеливо, не сердясь, объяснила, что никогда нельзя утверждать наверняка, но она «попалась», как говорят у них в Бельвиле. Видно, она здорово в таких вещах разбирается. А я был сбит с толку, огорошен. Если говорить откровенно, я не испытал ни радости, ни страха, что в данных обстоятельствах было бы вполне уместно. Было это в Бельвиле, на Гран-Рю,

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 17, стр. 352.

такой тихой ночью, что даже пушки молчали. Перед аркой Марта заявила:

— Нет, только не сегодня.

И, подпрыгивая на ходу, свернула в сторону Бютт-Шомона, вскоре ее фигурку поглотил мрак.

А я остался один, наедине со своей тревогой. По-моему, я сразу как-то постарел. Одно верно, отныне в моей жизни произошел такой крутой поворот...

Один. И сна нет, а тут еще эти мысли кружатся в голове, вьются, выхода себе не находят...

Так закончился этот незабываемый день.

1 прериаля, год 79-й.
(21 мая 1871 года)

Гражданка Леокади, как ласково зовет ее супруг-сапожник, изумительно варит кофе; правда, не слишком крепкий, зато ароматный, вроде бы даже маслянистый. Такой от него идет славный дух, что даже неохота его с молоком пить, что, впрочем, весьма кстати, потому что молоко снова дают только грудным младенцам. Когда я спросил нашу госпожу Леокади, как это она ухитряется варить такой ароматный кофе, она сообщила мне, что, прежде чем заливать молотый кофе кипятком, надо его чуточку посолить. Объясняла она мне все это медленно и с удовольствием, потому что для этой хлопотливой старушки медлительность и есть удовольствие. Когда она, клохча от радости, возится в доме, суетится по мелочам, то, если долго на нее глядеть, прямо зуд начинается.

Когда мы с Мартой выходим из тайника, то непременно сворачиваем к двери сапожной мастерской и желаем хозяевам доброго утра. Леокади или ее супруг приглашают нас выпить по чашечке кофе и при этом обязательно радостно улыбаются друг другу, будь это хоть сотый раз на день. Словно всегда им внове эта улыбка.

Будит нас, как правило, еще до зари молот Бардена — вот уж действительно молотит, как глухой! Мы тишком выбираемся из тайника. Марта всегда как-то ухитряется сделать вид, будто мы явились с улицы. Мы медленно бредем по двору, поглядываем на небо, принюхиваемся к кофейному духу, бьющему из дверей сапожника. На лесопильне паровая машина, астматически дыша, пока еще собирается с силами перед долгим днем работы. Матушка

Пунь открывает ставни кабачка, совсем стала мрачная и угрюмая наша Тереза. Ее муж целую неделю не показывается на люди. Иной раз подымешь глаза и увидишь в окне второго этажа его толстый нос картошкой, прижатый к стеклу... Культя дядюшки Нестора так до конца и не зарубцевалась, все не проходит нагноение, бедняга не может привыкнуть к деревяшке, и кабатчица, эта старая суховатая молчальница, рассказывает об этом порой с такими подробностями, что понимаешь, почему она молчит о главном.

Напившись кофе, мы еще некоторое время болтаемся у колонки, судачим с кумушками и здешними федератами, которые не находятся на казарменном положении: скажем, с Шиньоном или Феррье, а они тем временем напяливают на себя свою сбрую, чтобы идти на дежурство в мэрию или еще куда. А тут Предок высунется из Трусеткиного окошка и попросит сбегать ему за «Кри дю Пепль»— эта газета выходит раньше других. После чего мы, как правило, направляемся на улицу Рампоно почистить Феба, а заодно и других лошадок — словом, всю упряжку пушки «Братство». Чуть душная теплота пахнет соломой и навозом, постукивают копыта, шумно выдыхают воздух бархатистые ноздри, и до того здесь славно позамешкаться после доброй порции кофе, запахов кожи и вара.

Первое утро Творения. Даже в заре есть благоухание праздника. Камилла Вормье, вдова, напевает себе в каморке, Бландина Пливар, говоря о своем муже-рогаче, называет его «мой зайчик», и Людмила Чеснокова громко фыркает... Помахивая пустыми ведрами, танцующим шагом приближается к колонке Сидони; вчера был второй тираж лотереи в ломбарде, и ее билет выиграл. А Барден выстукивает все это на своей наковальне, будто музыкант, будто слышит.

Солнце уже здесь, светит вовсю, медлит на пороге неба, стряхивающего с себя солому облаков, и старается не застать врасплох своего милого дружка — Париж. Первые лучи проскальзывают под подворотню, с удовольствием и не спеша гладят по шерстке нашу пушку «Братство», а я не спеша и тоже с удовольствием обтираю Феба соломенным жгутом, а Леокади так же не спеша колдует над кофе.

Все окна распахнуты настежь. Предок прицепил зеркальце к оконной раме и на глазах у зрителей подравнивает ножницами бороду, а из их комнатки идет веселый опрятный запах свежевыглаженного белья и утюга.

Со всех четырех сторон неторопливо сходятся кошки и со слабым мяуканьем трутся о чьи-то ноги, задрав хвост в виде вопросительного знака. Кошки, которые наделены даром предчувствия, почему-то не боятся второй осады.

Слепой скрипач устроился под аркой на бывшем месте нашего нищего Меде. Жена подпевает ему и продает желающим самую последнюю песенку:

> Как упадет Колонна,
> Свалив Наполеона
> Лицом прямо в навоз...

Пробудившийся тупик бросает первый взгляд на нашу пушку, нашу собственную. Она совсем такая, как мы задумали, мы сами ее сотворили, намыкались с ней вдосталь, спасли ее. И раз это она и она здесь — она, как дракон, стережет наш Бельвиль.

* * *

А неподалеку шли похороны федерата, убитого в Ванве. Красное знамя склонилось над разверстой могилой, и гражданин Тренке, с перевязью, говорил о возмездии, надежде, о будущем и о счастье, указывая на вдову, прижимавшую к своей черной юбке три детские головенки. Когда речь уже подходила к концу, все головы, как по команде, задрались кверху: там, в свежей листве, каких только не щебетало птиц! Вдова, трое питомцев Коммуны, родственники, друзья расходились по аллеям кладбища, но пять усатых молодцов в рабочих блузах и широкополых шляпах замешкались. Они расселись на соседней могилке возле свежего, только что насыпанного холмика, вытащили из сумок хлеб, вино, сыр.

— Чего это они? Неужто закусывать собрались?

Марта объяснила мне, что покойник был краснодеревцем и эти пятеро выпивох работали с ним вместе в одной мастерской, вот они и устроили в последний раз общую трапезу — как принято в их корпорации.

— За неделю... в Ванве... их всего шестьдесят осталось... от двухсот сорока... из батальона IV округа!

Между каждым обрубком фразы краснодеревец клал себе в рот кусочек хлеба с сыром, пристроив его на кончике ножа и изящно прижав мякотью большого пальца. Другие отвечали так же степенно.

— Вот уж куклы деревянные! Что языком трепать, что жрать, что жить, что умирать — тянут, не торопятся...

На улице Рокетт мы повстречали еще три похоронные процессии — красно-черные, направлявшиеся к Пэр-Лашез; Коммуна брала на себя расходы по погребению и содержанию могил тех, кто пал за нее. За катафалком, убранным алыми знаменами, шли делегат, семья покойного, его товарищи по батальону, друзья, соседи и просто прохожие.

Мясной рынок помещался на площади Бастилии, а Марта нынче утром никуда не спешила. Она обнюхала, ни одного не пропустив, копченые окорока — байонские, майенские, кольмарские, страсбургские, вестфальские и йоркские, не забыла и арльские, болонские и лионские колбасы, сервелат — не поклянусь, что она их не лизала. Она притоптывала ногой и счастливо вздыхала:

— Ой, Флоран, до чего же мир богатый!

Она раскачивала на ходу гирлянды колбас, открыв от восхищения рот, слушала крики зазывал, жевала то кружочек колбасы, то кусочек сыра, полученные в обмен на улыбку или просто благодаря ловкости рук. Я никак не мог оттащить ее от жонглера и огнеглотателя. Но, услышав торжественный зов трубы, она бросилась со всех ног, расталкивая толпу, и я обнаружил ее у помоста: она стояла, подняв свои прекрасные, горящие восторгом глаза на зазывал в пестрых костюмах, громогласно заявлявших, что половину сбора они пожертвуют на раненых.

Сейчас, когда я пишу это, мне вдруг вспомнились ее слова, которые я как-то не сразу понял.

— Флоран, до чего же прекрасна жизнь! Нельзя в ней никому отказывать, права такого никто не имеет...

Тогда для меня это прозвучало как плод ее социальных раздумий!

Потом мы качались на качелях, долго рассматривали панораму осады, вступление Гарибальди в Дижон, попытали счастья в рулетку, а потом углубились в созерцание тьеров, пикаров, жюлей фавров и их приспешников, изображенных карикатуристами в виде уродливо разбухших чудищ, выставленных в газетных киосках.

Марта была осколочком народного веселья, капелькой его смеха, так славно пахнувшего пряником. Это для нее Париж устраивает ярмарки и уличные гулянья.

Нынче вообще на улицах полным-полно народа. Люди торопливо шагают во всех направлениях, разбившись на небольшие группки в зависимости от профессии, возраста, пола, местожительства. Медники и жестянщики устремляются к Кордери, шорники держат путь в зал Шалле, каменщики с подручными идут к своей мэрии, портные — в зал Робер, работники боен — в зал Биржи. Отряд федератов задержал с полдюжины лихих гражданок во исполнение изданного вчера Бабиком декрета «брать под стражу женщин легкого поведения, открыто занимающихся своим позорным ремеслом, равно как и пьяниц, потерявших под влиянием пагубной страсти уважение к самим себе и забывших свой долг гражданина».

— Как,— возмутились задержанные,— мы работницы и идем в зал празднеств мэрии IV округа, а там по призыву Натали Лемель будут созданы федеральный и синдикальный комитеты.

— Прохожие над вами посмеялись!

— Скоты они! Вы нас за шлюх приняли, что ли? Неужто мы похожи?

— Говорят вам, что это просто шутки...

— Глупые шутки!

Теперь они уже не смеялись, называли номера своих батальонов, фамилии сержантов...

— Вот какие у нас женщины нынче гордые! — торжествовала Марта.

На площади Шато-д'О завязался ожесточенный спор.

— А я вам говорю, что нечего им, бездельникам, брюхо себе отращивать, пусть помогают нам баррикады строить!

Речь шла о полутора тысячах солдат, которые застряли в Париже 18 марта и которых Коммуна держала в казармах на Прэнс-Эжен. Они категорически отказывались нести любую службу, заявляя, что не желают поддерживать ни Париж, ни Версаль.

— Подумаешь, штыки в землю воткнули; по нынешним временам этим не отделаешься!

* * *

Одетый по-праздничному, простой люд спускался вереницей из мансард предместий, широким шагом беднота разгуливала по Бульварам, немного важничая под лучами солнца, которое наконец-то решилось светить для всех без

различия. Движением головы гуляющие насмешливо показывали на здание Биржи, осененное красным флагом: ярко-красное по небесно-голубому! Многие, осмелев, направлялись даже в Национальную библиотеку и в Лувр, снова открытые для публики.

На террасах кафе было полно, в «Кафе де Пари» мы заметили парочку влюбленных, приглашавших нас к своему столику: Гифес и Вероника.

— Идем, идем. Оранжаду! — провозгласила Марта.

Вино или кофе мы и в Бельвиле выпьем.

Мы устроились, как настоящие буржуа: руки положили на подлокотники, откинулись на спинку кресла, ноги вытянули, каблуками уперлись в землю, носки вверх, а мечтательные взоры устремили к небесам. И потчевали себя теми же лакомствами: пирожные, шоколад...

— Угощает Диссанвье,— шепнула мне Марта...

За соседним столиком громко болтали здешние завсегдатаи, настоящие, с деньгой, даже и сейчас чувствовалось, что они у себя, а может, просто это дело привычки.

— Версаль остается единственным правительством! Пруссаки не признают другого! И Франция тоже!

— Мой лакей получил письмо от брата, моряка-версальца. Они там тоже потеряли немало людей и по горло сыты, должно быть, всем этим...

— Когда Коммуна ограбит церкви и казну, она прикарманит золото рантье!

— Крупным собственникам надо бы обратиться к господину Тьеру. XVI округ все заграбастывает. Это несправедливо!

— Наши коммунаришки уже вцепляются друг дружке в глотку. В Ратуше, говорят, каждый день кого-нибудь недосчитываются. Скоро там никого не останется.

— Ну что ж, дай-то бог, а пока выпьем кофе с коньяком!..

— Уверяю вас, крысы уже начинают покидать корабль.

— Ну, сударь, ежели вы думаете, что министры нашего дражайшего Великого Карлика неизменно единодушны...

— Версальцы возьмут Коммуну в тиски и раздавят ее вот так!

— Я слышал, что версальские солдаты и моряки дерутся уже с жандармами и полицейскими.

— Вы же видите, наши красные полностью деморализованы.

В сущности, это было не более чем легкое ворчание, мурлыканье балованных котов, «хорошо упитанных и воспитанных», которые исстари лениво примащиваются у очагов больших городов, в свой час незаметно нанося удары лапой.

Знакомый деятель Интернационала подошел наскоро пожать руку Гифесу. К тому времени мы уже сидели чуть ли не на головах друг у друга, так что я невольно услышал шепот, предназначавшийся одному только Гифесу:

— На западе некоторые заставы уже не охраняются. И на укреплениях ни души. Мне это известно из достоверных источников. Но спрашивается, о чем же думает Коммуна...

Юный газетчик обходит одно кафе за другим и громко, полным иронии голосом, не скрываясь и не вылезая вперед, предлагает «Верите», «Сьекль» и «Авенир», официальный орган Лиги,— три из тридцати версальских газет, закрытых префектурой.

На Вандомской площади красовались на фоне навозной кучи обломки Колонны, все еще возбуждая любопытство воскресных зевак. Те же зеваки отталкивали друг друга локтями, чтобы попасть в объектив фотоаппаратов, наставленных заезжими иностранцами. Какая-то хитроумная маркитантка развесила гирлянды сосисок и колбас на трубу длинного телескопа.

— Послушайте, звездная колбасница,— обратился к ней толстый лейтенант, вышедший, очевидно, за покупками,— погода хорошая, я собираюсь устроить пир, три блюда, не меньше: прошу свинины, сала и поросенка.

Прохожие расхватывали новые песенки:

Народ, заруби себе на носу:
Не позволяй версальскому псу
Лезть к тебе на закорки...
Пусть лучше отведает порки!

На каждом перекрестке можно было обнаружить один или даже два образчика последней парижской разновидности: уличный оратор, обычно волосат, в широченной шляпе, он брызжет во все стороны слюной, еле успевая подхватывать непрочно сидящие на носу очки.

— Париж — безработный! Весь заработок национальных гвардейцев — тридцать су! Везде нищета. Нужно

организовать мастерские! Но национальные мастерские не годятся, хватит с нас этой выдумки! Пусть женщинам выдают работу на дом, ибо лично я одобряю гражданина Франкеля: в нашу эпоху надо, чтобы женщины работали.

— Он прав! — гремел хор мужских голосов.

А чуть подальше завязывались настоящие дискуссии, маленькие сборища и клубы под открытым небом.

— Народная диктатура — это террор!

— И что же из того следует?

— А то, что у нас органы общественного спасения не решаются стать органами диктатуры, поскольку их контролирует Коммуна!

— Общественное спасение... вот это, черт возьми, славно пахнет 93 годом!

— Коммуна сумела заслужить любовь всех хороших людей, честных, пламенных, но она не желает заставить трепетать подлецов...

— Позволь, позволь, а ведь мы в худшем положении, чем были наши отцы в 93-м!

— Грозны только на словах! Вот мы какие...

— Хорошо сказал гражданин Риго: надо, чтобы Комитет общественного спасения был в 1871 году таким, каким он, по мнению многих, был в 1793-м, только и в 93-м он таким не был!

— Давай, давай выкладывай весь свой товар: а мы сами выберем!

— Подождите, слово дается по очереди!

— Надо бы председателя, граждане парижане!

— Вы тут чешете языки, а версальцы у дверей Парижа!

— Не посмеют ни за что!

— Воткнут штыки в землю, как 18 марта!

— Пусть только сунутся! Париж станет их могилой!

— Париж — слышали тысячи раз — священный град революций и тому подобное! Олух ты после этого!

— Париж станет им могилой!

Это действует безотказно. Гарантировано почти полное единство.

Вторая после сброшенной Колонны великая достопримечательность — это Сен-Флорантенский редут, перегораживающий площадь Согласия от морского министерства до сада Тюильри. Восьмиметровой толщины. Рабочие уже покрывали дерном брустверы. Узким коридором, почти лишенным воздуха, еще можно достигнуть площади. У подно-

жия статуи города Страсбурга на месте увядших венков уже лежали свежие весенние цветы. Никогда еще городу-мученику, цитадели, проданной изменниками, не воздавали так щедро почестей. Все фонтаны Тюильри весело играли на вольном солнце.

Празднично одетый народ останавливается у этой черты.

Дальше начинается зона сражений — Елисейские Поля, иссеченные снарядами фортов Мон-Валерьен и Курбвуа, там цветы смертоносны, там расцветают только залпы картечи.

Странный вечер, какой-то яростно-кроткий.

В театрах полно. К театру «Жимназ», где идет премьера «Грозные женщины» и еще три легкие пьески — «Все они таковы», «Великие принцессы» и «Вдова с камелиями»,— подкатило с эскортом конных гарибальдийцев ландо, и из него вышел гражданин Асси, делегат от оружейных мастерских. Бывший рабочий Крезо во всем параде проследовал в бывшую императорскую ложу под сомкнутыми саблями.

Марта шла медленно, тесно прижавшись ко мне, мы шагали в такт, словно одно существо, и была моя дикарочка парижских мостовых такая нежная, до того нежная, что я испугался, уж не заболела ли она, однако она мне ничего такого не сказала. Я чувствовал, как вся она трепещет от счастья, и уверен был, что мечтает она о чем-то своем, расплывчатом, нежном.

— Флоран, хочешь, я тебе скажу, какая сейчас политическая и идеологическая ситуация?..

— Ясно, хочу.

— Так слушай: Коммуна между двух стульев сидит.

Впереди нас, всего в нескольких шагах, группа мальчишек в кепочках и синих блузах пела, четко печатая шаг:

Наш труд от помех не ослаб,
Нету хозяев, мошны и прочего...
Капитал — это жалкий раб,
А истинный король — рабочий!

* * *

У входа в Тюильри бойкие маркитантки в шляпах с перьями и в корсажах на больших медных пуговицах предлагали прохожим эмалированные значки с изображе-

нием красного фригийского колпака; сегодня чествовали славных женщин, занятых шитьем мешков, гражданок, которые ничего не жалеют ради вдов и сирот Коммуны.

Отправляясь на концерт, они вытащили самые лучшие свои наряды, эти гражданки, сидевшие чуть ли не круглые сутки с иглой в Бурбонском дворце, на тех самых скамьях, где прежде красовались министры и депутаты Баденге.

На галерее играло целых три оркестра.

— Просто смешно, но все время встречаемся!

Опять Гифес и Вероника!

— Флоран, видишь, кто там?

На бархатном барьере ложи, свесив ноги прямо в зал, сидели, обнявшись, Пружинный Чуб и Ортанс Бальфис. Но и кроме них, были сотни и сотни мордашек и физиономий, которые попадались нам и на брустверах форта Исси, и в клубе, на скамеечках бывшей церкви на Гревской площади, под пулями или при звуках музыки, так что начинало казаться, будто это все одни и те же... Под конец мы стали улыбаться друг другу, просто удержаться не могли, ну а если и ошибались — великое дело! Что ж тут обидного! Надо сказать, что теперь, когда в моду вошли прямо-таки самсоновы гривы, лохматые бороды и вонючие трубки, от всех трехсот батальонов федератов шел одинаковый запах и даже вроде лица у них стали одинаковые, родного брата не признаешь.

В мягких фетровых шляпах, украшенных пучком зеленых петушиных перьев и кокардой из красных лент, в шинелях и сине-серых панталонах, как у пехотинцев, в солдатских гетрах — во всей этой пестроте расселись наши волонтеры среди золота и пурпура и принесли в зал терпкие запахи пороха и крови из укрепленных домов Нейи. Они не успели даже почиститься, их только что сменили, но они не пожелали пропустить концерт! Им устроили триумфальную встречу.

Сам концерт происходил в Маршальском зале.

Мадемуазель Агар продекламировала «Возмездие» и «Кумир».

На эстраде, задрапированной красным, сто пятьдесят музыкантов, повинуясь взмахам дирижерской палочки знаменитого гражданина Делапорта, исполняли произведения Моцарта и Мейербера, их музыка звучала в зале, где всего десять месяцев назад Наполеон Малый со своими башибузуками, своей Баденгетшей и со всем своим курят-

ником восхищался трень-бренями и блюм-блюмами пруссака Оффенбаха.

— Скоро, Флоран, я такая же, как ты, ученая стану!

Какой же она казалась крошечной у подножия этих громадных кариатид, задрапированных в пеплумы, на фоне этой чудовищной позолоты, в свете этих люстр, где мерцали тысячи свечей,— крошечной и неотразимой.

Вот так, «господа короли», в вашем дворце, впервые послужившем патриотическому делу, наш Бордас исполнял, со своим грубым простонародным акцентом, гимн парижских предместий:

Сброд — это мы, ну что же!

А парни как грянут хором припев!

Уже к вечеру какой-то офицер генерального штаба сменил на убранной красным эстраде дирижера:

— Граждане, господин Тьер обещал еще вчера войти в Париж. Господин Тьер не вошел и не войдет! Приглашаю вас в следующее воскресенье посетить наш второй концерт в пользу вдов и сирот, который состоится здесь же!

Как раз в это время версальцы прорвали укрепления.

Тетрадь восьмая

Рони.
Начало июня 1871 года.

Наконец-то установилась хорошая погода. Папа уверяет, что урожай будет отменный, говорит он об этом часто, каким-то извиняющимся тоном. Мама молчит. Когда я вернулся домой в довольно-таки плачевном состоянии, когда я объяснил нашим, что мне придется скрываться, она не могла сдержать крика:

— Сынок, ты-то... ты ни в чем себя упрекнуть не можешь, скажи?

Больше она ни слова не добавила, но всякий раз смотрит на меня умоляющими глазами: «Скажи, ты ни в чем себя упрекнуть не можешь?»

Если вдуматься, мне не в чем себя упрекнуть, но они... И чем меньше могу я себя упрекать, тем сильнее виноват я в их глазах: вот как оно, бедная моя мама! Движением подбородка отец указал мне на сарай. Там я и поселился. Оттуда сверху видно далеко, да и выходов много: лесенка в хлев, лестница, ведущая на дорогу, окошко, выходящее во фруктовый сад. Я не спускаюсь даже к семейным трапезам, впрочем, меня это вполне устраивает. Утром и днем мама подает мне в люк, пробитый над яслями, супницу и хлеб, а по двору несет их со всеми предосторожностями.

Я вернулся домой ночью, и ни одна душа на свете, понятно, за исключением Марты, не должна знать, что я тут.

Дни теперь длинные. Вернувшись, я завалился спать и проспал целые сутки — как больное животное, мучаясь кошмарами. А сейчас я обязан писать, иначе меня затерзает совесть. Коль скоро я жив, должен же я быть хоть на что-то годен. Писать, чтобы вырваться из этого небытия, писать, чтобы свидетельствовать.

А вокруг мирный деревенский пейзаж. Весна кончается в неестественной жаре, трепещущей от многоголосого гудения насекомых. Папа погоняет на участке Матье нашего не знающего устали Бижу. По дороге тарахтит повозка — два пруссака везут фураж. Поравнявшись с папой, они приветственно машут ему рукой.

Надо писать...

Ту ночь, всю голубую, всю звездную, пронизанную всеми благоуханиями лета, ночь, когда в Париже замолкли даже пушки,— именно всю эту ночь напролет я провел за писанием, подумать только, провел один, без Марты.

Эту последнюю ночь парижане сладко спали, со счастливой улыбкой на губах. Ближе к вечеру версальцы, целые их полки, армейские корпуса, вошли в западные кварталы. Даже сейчас мне кажется невероятным, как это могло произойти и почему народ не спохватился. А ведь в то воскресенье вечером по Бульварам разгуливали праздничные толпы. Ни при выходе из театров, ни на террасах кафе ни один полковник в аксельбантах не насторожился, никто не заподозрил этого молчаливого кишения «самой большой армии, какой когда-либо располагала Франция».

Даже после пробуждения в понедельник двадцать второго мая парижане еще долго ничего не знали, еще долго очухивались и еще дольше не желали верить. Около восьми часов со стороны Тампля примчался, по своему обыкновению как оглашенный, Торопыга и крикнул: «Версальцы идут!» Его задержал пост у казармы. Как ни отбрехивался сын гравера, его отпустили только через несколько часов, когда правота его слов подтвердилась.

Ни набата, ни барабанного боя, ни пения рожка. Коммуна во избежание паники запретила прибегать к звуковым сигналам.

— Вечно этот страх, это презрение к народу,— говорил Предок.— Они всем народу обязаны и почему-то

считают себя умнее его! А ведь они были в курсе дела еще вчера! Представляешь, как они отнеслись к тому, что произошло, а?

Коммуна как раз вершила суд на генералом Клюзере. Валлес председательствовал. Ворвался Бийоре:

— Кончайте скорее! Я должен сделать собранию срочное сообщение.

В руках его дрожал листок, депеша от Домбровского: «Версальцы только что ворвались в город...»

«Все словно пеленой молчания окуталось! — рассказывал главный редактор «Кри дю Пепль».— И длилось оно ровно столько времени, сколько понадобилось каждому, чтобы проститься с жизнью».

Генерал Клюзере был спешно оправдан, заседание закрыто. Каждый бросился в свой округ — так ребенок ищет защиты у материнской юбки.

Но они не сочли нужным разбудить Париж Коммуны, пусть, мол, спит себе сладко.

В то утро Марта зашла за мной к Лармитонам, где я пил кофе. Как живая, стоит она у меня перед глазами, именно такая, как в тот рассветный час. На ней черная кофта и розовая ситцевая юбка. Волосы она стянула на затылке красной бархатной лентой.

— Скорее, Флоран, едем в Дом Коммуны, там, должно быть, много депеш накопилось.

Сейчас-то я убежден, что Марта уже все знала, но сочла нужным промолчать. Мы покинули тупик, где пробуждение сопровождалось обычными криками, песнями, смехом и утробным урчанием, и бросились на улицу Рампоно за Фебом. Пока я взнуздывал нашего скакуна, Марта осматривала мою сумку, проверяла, заряжен ли наш револьвер. Когда мы проезжали мимо пушки «Братство», она дернула меня за рукав, чтобы я придержал коня.

Несколько минут мы в молчании любовались чудищем, красовавшимся у входа в тупик, при виде которого становилось как-то спокойнее на душе.

На рысях мы миновали весело встающие ото сна кварталы. Зато у Ратуши царила совсем иная атмосфера. На площадь прибывали в распоряжение Коммуны батальоны, некоторые с горнистами. Между составленных в козлы ружей проезжали артиллерийские обозы, фургоны, повозки, скакали гонцы. Лестницы, коридоры, прихожие, все здание Ратуши гудело от лихорадочной толкотни. Вхо-

дившие и выходившие перебрасывались, еле переведя дух, последними новостями.

Мы заметили Фалля. Командир стрелков Дозорного стоял на пороге комнаты ядовитого желтого цвета (там в свое время префект Осман поселил одну из своих любовниц, актрису Опера-Комик) и слушал последние напутствия какого-то делегата.

— Надеюсь, Мстители Флуранса мужественно выполнят свой долг до конца.

Бывший литейщик пожал плечами, но жест этот был красноречивее любых клятв, потом заторопился к своему батальону — где его батальон, я не знал,— и по дороге улыбнулся нам.

Ворота Парижа открыл один шпик *(добровольный, смотритель Дорожного ведомства, по фамилии Дюкатель)*, прогуливавшийся вдоль укреплений. Заметив, что на укреплениях никого из защитников не осталось, он сообщил об этом версальцам. Федераты сопротивлялись из последних сил, но отошли за виадук окружной железной дороги, надеясь схорониться от беспрерывного артиллерийского огня.

Сначала неприятельский патруль, потом осторожно озиравшиеся взводы, потом батальоны, полки, дивизии, вся армия Мак-Магона проскользнула в эту брешь, приоткрывшуюся на манер челюстей, готовых смолоть Париж.

Было четыре часа. Только через три часа Бийоре известил об этом Коммуну. Какого же черта тогда нужен телеграф!

Слух Парижа так приспособился ко всяческим военным шумам, что не обратил никакого внимания на стрельбу в западных кварталах. До поздней ночи на Бульварах шло веселье.

Первые массовые расправы начались в тот же вечер, часов в восемь-девять.

— Если бы народ поверил, что такая резня возможна,— вздыхал Кош позже, слишком поздно,— мы бы совсем иначе дрались. Но добрый парижский люд и вообразить себе не мог, сколько в душе буржуа таится эгоизма и на какую холодную жестокость он способен.

Чудом уцелевшие бросились в Батиньоль с криками «Измена!» и посеяли там панику, они рассказывали о федератах — одних прикололи во сне штыками, а других поставили к стенке и расстреляли.

На рассвете Делеклюз велел эвакуировать военное министерство и поручил оборону площади Согласия Брюнелю. Тем временем заставу Майо обошли с тыла. Все батальоны и орудия, находившиеся между Нейи и Сент-Уаном, попали в руки неприятеля, который, не встречая сопротивления, дошел до Батиньоля.

С первыми донесениями нас послали к Брюнелю, разместившему свой штаб в «Английской таверне», в доме 21 по улице Ройяль.

Возле афиш, призывающих граждан к оружию и подписанных Делеклюзом, собирались люди: «Довольно военщины! Долой офицеров генеральных штабов, расшитых спереди и сзади галунами и золотом! Дорогу народу, бойцам с голыми руками! Пробил час революционной войны... Народ не разбирается в хитроумной науке военной тактики. Но зато, когда он держит в руках ружье, а под ногами у него камни мостовой, он не боится стратегов — выучеников монархии!»

Уже припекавшее солнце зажигало в свежем клее афиш серебряные звездочки. Публика честила беглецов из Мюэт и Пасси. А они, всклокоченные, в обожженных порохом рваных шинелях, кое-кто даже без кепи, не говоря уже о ружьях, злобно огрызались: «Посмотрел бы я на вас, что бы вы делали на укреплениях, когда бомбы так и рвутся, когда из всех фортов бьют без передышки! Мы пытались было укрыться за стеной, за баррикадами — куда там, с тыла стали бить. Версальцы на нас с двух сторон лезли! Предали нас!»

Молоденький трубочист, обезумевший от страха, рассказал, что он сам видел с крыши какого-то дома на Римской улице, как версальцы расстреляли восемь захваченных ими федератов. А других по дюжине сводят в парк Монсо, где идут беспрерывные расстрелы... Толпа встречала эти рассказы насмешливым ворчанием: чего только эти трусы не наболтают!

И тем не менее некоторые уже всерьез подумывали о баррикадах. Хозяйки запасались хлебом, мясом, овощами. Лавки запирались, владельцы кафе втаскивали обратно в помещение столики и стулья, хотя лишь недавно расставили их на тротуаре. Только что наклеенные воззвания были замараны углем. По пустынным улицам проносились на всем скаку гонцы и артиллерийские упряжки.

У входа в «Английскую таверну» полагалось показывать пропуск, но мы предъявили зеленую карточку, выданную нам Коммуной, с указанием фамилии, имени и занятия, словом, пропуск не хуже настоящего, в котором мы до последнего времени особой нужды не испытывали.

Вышедший только вчера из тюрьмы Брюнель не сидел без дела. Под его командованием как раз укрепляли дома справа и слева по улице Ройяль, на отрезке между улицами Буасси-д'Англа и Сен-Флорантен. Особняк герцога Крийона, с одной стороны, и морское министерство, стоявшее напротив, были превращены в форты; Брюнель велел также преградить баррикадой вход с улицы Ройяль на площадь Согласия. Если учесть, что сюда примыкала еще гигантская баррикада Гайара-старшего, получился мощный редут, тем более что на насыпи у Тюильри стояли пушки, державшие под обстрелом Елисейские Поля.

Когда мы, то есть Феб, Марта и я, прибыли к месту назначения, уже началось. При желании и при известном риске можно было разглядеть на площади Этуаль трупы версальцев и лужи крови, поблескивающие на солнце.

Версальцы, не встречая сопротивления, отважились дойти до Триумфальной Арки. Оказалось, что Париж не заминирован, сточные канавы не превращены в пороховые погреба, земля и вовсе не разверзлась у них под ногами. Они осмелели.

— Ждите! Ждите, пока они не подойдут ближе! — скомандовал Брюнель своим артиллеристам.

Внезапно насыпь Тюильри увенчалась огненной короной в громовых раскатах взрывов. Версальцы бросились к Дворцу Промышленности, многих скосило с близкого расстояния.

Слышен был грохот артиллерийских обозов, которые вытребовали себе в подмогу версальцы. Обходным маневром справа они заняли оставленные федератами Елисейские Поля. Прискакал гонец и сообщил, что неприятель выходит на площадь Сент-Огюстен через улицы Морни и Аббатуччи.

В «Английской таверне» Брюнеля не оказалось. Он осматривал баррикады и, не выпуская из рук тросточки, шел через площадь, где рвалась картечь. Вот тут-то я подумал, и даже сейчас мне стыдно, что я мог так подумать, что Коммуна, видать, с ума сошла, раз доверилась этому человеку, которого сама же посадила в тюрьму. Внешне

он напомнил мне Росселя, такие же тонкие черты, такой же пронзительный взгляд, такой же резкий голос, и даже козлиная бородка тоже каштановая.

Чтобы вручить Брюнелю послание от Ранвье, нам пришлось ждать, пока он закончит разговор с управляющим клубом на улице Ройяль.

— А я настаиваю, господин Бертоден. Где нужно пробить ход, чтобы установить непосредственную связь с улицей Фобур-Сент-Онорэ?

— Господин генерал, стены уж больно толстые!

— Если кирка не возьмет, взорвем.

Измученные, озлобленные стрелки, которым удалось уцелеть после бойни у заставы Майо, рассказывали, что когда они шли по улицам XVI округа, то чувствовали всей спиной издевательские взгляды буржуа. Сзади со стуком распахивались ставни, вывешивались трехцветные знамена.

— Ни в жизнь нам в здешних богатых кварталах не зацепиться, это не то, что у нас!

Брюнель внимательно прочел врученное нами послание и сразу же сжег его на спичке, которую привычным жестом поднес к записке адъютант.

— Господин генерал, ответ будет?

— Будет.

— Нам подождать?

— Зачем ждать? Ответ — да. Скажите Ранвье, Брюнель сказал «да». Можете считать себя свободными.

На площади Оперы, на самом углу бульвара Капуцинок, подметальщики возводили баррикаду из винных бочек и бочек для поливки улиц. На Вандомскую площадь свезли десятки тридцатифунтовых орудий; персонал «Кафе де ла Пэ» вывинчивал абажуры у газовых рожков и заклеивал крестообразно бумажными лентами зеркала. Мы продвигались с трудом: баррикады росли как грибы под ураганным огнем с Трокадеро. Все время приходилось их объезжать.

— А нам плевать, гонцы вы Коммуны или нет! Сворачивай!

На улице Монмартр расклеили воззвание делегатов II округа: «Версальцы вошли в Париж, но Париж станет их могилой. Все мужчины на баррикады, все женщины за шитье мешков. Мужайтесь! Провинции спешат нам на помощь...»

В тесных улочках, куда мы поневоле сворачивали, Феб врезался в маленькие группки рединготников, бросавших нам вслед злобные взгляды.

Иной раз приходилось слезать с коня и вести его под уздцы, чтобы он не сломал себе ног на развороченной мостовой, среди нагромождения булыжника, чтобы легче было ему пробираться среди этого кишения стариков, женщин, детей, перетаскивавших камни и не обращавших на нас ни малейшего внимания, но широко расступавшихся перед пушкой, которую волоком волокли гражданки во фригийских колпаках с подоткнутыми подолами юбок.

На тротуарах улицы Риволи, под аркадами, с расстоянием в двадцать метров группа от группы залегла возле составленных в козлы ружей рота федератов. А посреди мостовой за военным оркестром, игравшим «Песнь отправления», печатал шаг батальон, батальон гневных, и вместе с бойцами шли женщины с ружьями за плечами, а одна даже с ребенком на руках. Впереди на великолепном черном жеребце — Домбровский с белым как мел лицом. Подальше, у церкви Сен-Жермен-л'Оксеруа, мальчишки рубили на куски скамейки и выкатывали бочата. Баррикада, преграждавшая вход в сквер Сен-Жак, достигала почти шести метров высоты, и сразу было видно руку мастера: возводили ее каменщики, было их с полсотни, а туча детворы подвозила им на тачках со сквера землю.

Тысячи федератов по-прежнему ждали чего-то у Ратуши, хмурые, молчаливые. Ни песен, ни смеха, даже никто не хихикнул, а ведь было над чем. Бойцы передавали друг другу только что вышедшие газеты, заполненные победными реляциями: две штуки я сунул себе в сумку.

«Салю Пюблик», статья Марото:

«В последний час. Воскресенье, 21 мая, утро.

Новая победа, одержанная Домбровским над версальцами... Семнадцать митральез бьют одновременно, и больше трех тысяч версальцев падают как подкошенные... Господа версальцы, ежели вы по-прежнему льститесь на наши укрепления, милости просим, начинайте третью атаку...»

Газета «Политик»:

«Когда брешь будет пробита, они очутятся лицом к лицу с людьми непоколебимыми. Вот тогда-то не нужна будет артиллерия, тогда надо и должно рассчитывать только на личную отвагу бойцов. В свете этого совершенно ясно,

что федераты значительно превосходят своих противников. Это неоспоримо доказывают новые атаки, предпринятые ночью у Мюэт и у заставы Майо, когда одновременно проводился отвлекающий маневр в Отейе; версальцы потерпели поражение во всех названных выше пунктах и вынуждены были отступить в беспорядке, понеся значительные потери».

Через четыре часа после вторжения версальцев и через час после официального уведомления Военный делегат, сам честнейший Делеклюз, счел своей обязанностью написать воззвание, которое тут же было расклеено по городу: «Наблюдательный пункт на Триумфальной Арке отрицает вторжение версальцев, во всяком случае скопления неприятельских войск в этом районе не замечается. Командир сектора Рено, только что ушедший от меня, уверяет, что все это просто паника и что застава Отей не захвачена неприятелем; если нескольким версальцам и удалось прорваться, их тут же оттеснили. Я разослал штабных офицеров и вменил им в обязанность привести в качестве подкрепления одиннадцать батальонов и не покидать их, прежде чем они не будут расставлены на предназначенных им постах».

Можете вообразить себе растерянность, потом и гнев солдат, побывавших в западной части города. По Парижу пополз приказ: каждый в своем квартале. И этот приказ отвечал потаенным, самым, так сказать, нутряным желаниям разуверившихся отныне во всем федератов: разойтись по домам, очутиться на своей улице, среди своих, подчиняться команде местных, давно знакомых командиров. Там все станет ясно и понятно, все образуется, иначе и быть не может. Коммуна борется за правое дело, значит, не погибнет. Умирают люди, ну а если суждено умереть, что ж...

На площади у Ратуши собралось теперь больше трех тысяч федератов: кто сидел, кто лежал у орудий, зарядных ящиков и повозок, ждали приказа. Проносились гонцы, бросая: «Все идет хорошо!» Строились роты, предшествуемые горнистом, и отбывали к площади Согласия, на линию огня. Время от времени в оконном проеме появлялся кто-нибудь из членов Коммуны в красной перевязи и вместо речи провозглашал только: «Да здравствует Коммуна! Долой версальцев! Победа или смерть!»

На одном из дворов муниципального здания Жюль Валлес, в круглой шляпе и кожаных гетрах, с тросточкой в руках, вручал от имени Коммуны митральезу и красное знамя женскому отряду, и тридцать женщин, все с черными траурными повязками на левой руке, на него смотрели испуганно; в отряд зачислили тех, у кого от вражеской пули погиб муж, брат или сын. Простоволосые, подоткнув подолы юбок, они впряглись в митральезу и повлекли ее к баррикаде на Пале-Ройяль.

А тем временем главный редактор «Кри дю Пепль» уже взывал к какому-то ветерану 48 года:

— Ваше место не здесь! Идите вместе с другими! Устройте совет. Решите что-нибудь! Неужели же вы ничего не предусмотрели? Ох, черт!..

Свидетельства очевидцев трагически совпадали: всех федератов, попавших в руки версальцев, систематически расстреливают. И началось это с первых же минут прорыва. Однако XVI округ резко отличался от округов, населенных простым людом и проникнутых революционным духом. Все эти дома, стоявшие в глубине парков и садов, принадлежали богачам, знати, издавна тяготевшим к Версалю; парижане наводнили центр столицы, надеясь скрыться от непрерывного обстрела. Нашим федератам нечего было рассчитывать на поддержку этих кварталов; нескольким ротам, собранным наспех Домбровским, не удалось здесь задержаться. Таким образом, версальцы без особых трудностей достигли Елисейских Полей. Следовательно, эти массовые расстрелы пленных при всем желании нельзя было объяснить просто яростью солдат в умопомрачении боя; не могло быть речи также и о репрессиях, коль скоро Коммуна еще не применила декрета о заложниках, коль скоро Париж еще не был предан огню.

— Решение об этой резне было принято заранее и отнюдь не сгоряча. Просто дан такой приказ,— уверял мой кузен Жюль, которого мы встретили в понедельник утром на ступеньках Ратуши.— Между Версалем и Парижем идет борьба не на жизнь, а на смерть, и лучше осознать это сразу.

Эд, Тео Ферре, Шардон, Верморель и Тренке — бланкистский генеральный штаб — обосновались в кабинете Риго, в бывшей полицейской префектуре. Поначалу эти революционеры считали победу возможной. Они все еще надеялись, что версальские пехотинцы, такие же бедняки,

как и наши, воткнут штык в землю. Но тут в самый разгар жарких споров пришло неопровержимое известие: враг систематически расстреливает пленных. Стало ясно, что отныне все надежды на братание несостоятельны. Тогда бланкисты решили запереться в центре города вместе с заложниками, взорвать все мосты и драться насмерть!

— Риго сказал: заложники сдохнут вместе с нами; потом пошел за своим Монмартрским батальоном и вернулся... один. Его бойцы не пожелали за ним следовать, они хотят драться в своем квартале, у своего порога. К счастью еще, Мстители обороняют город... Пойду посмотрю, что там делается.

Мы глядели вслед Жюлю. Мелко перебирая коротенькими ножками, выпятив мощную грудь, он петлял по площади меж составленных в козлы винтовок. Потом оглянулся и крикнул нам:

— До свиданья, други-приятели, увидимся в этом мире. Или же нигде никогда не увидимся!

Стихийно возникавшие перед Ратушей бивуаки сердито переговаривались. Разгневанные взгляды бомбардировали балкон. Федераты упрекали Коммуну главным образом за недостаток энергии.

Гонцы, прибывшие от Лисбонна, сообщили, что Тюркосы Коммуны и Дети «Пэр-Дюшена» — два недавно сформированных соединения добровольцев — защищали вместе со 151-м батальоном улицу Муфтар у Обсерватории, но два других батальона XII округа отказались выступить на улицу Деламбр, где шли бои: «Каждый в своем квартале!»

В последние дни гражданин Лисбонн показал себя настоящим стратегом. Так, на улице Вавен он велел втащить десятифунтовое полевое орудие на третий этаж какого-то дома! И с этой высоты пушка била по версальцам, скопившимся на бульваре Монпарнас.

В сутолоке коридоров я потерял Марту. А когда нашел, она уже успела повидать Ранвье и даже кое-кого из знаменитого Артиллерийского управления:

— Живенько едем за нашим «Братством»! Пушки нужны — не хватает.

Солнце Аустерлица позлатило Тампль.

Обхватив меня обеими руками, смуглянка выкрикивала мне на ухо подхваченные в кулуарах новости: говорят, Коммуны уже не существует; двадцать делегатов собра-

лись, чтобы решать, а что решать? Лишь трепать по обыкновению языком и в конце концов разойтись.

— Каждый в своей мэрии — вот что они заявляют. А всем прочим пусть занимается Комитет общественного спасения!

Теперь со всех колоколен доносилось гудение набата. Навстречу нам проскакал кавалерийский эскадрон, проехали артиллерийские упряжки, прошел строевым шагом взвод моряков под рев приветственных возгласов, рвавшихся с балконов и из окон: «Да здравствует Коммуна!» Мы вдруг почувствовали себя как-то неловко, будто в чем-то провинились: наша пушка «Братство» опоздала. Справа и слева в лабиринте улочек, где теснится рабочий люд, барабаны били сбор. На перекрестках перед лавчонками виноторговцев целые роты стариков и взводы ребятишек распределяли между собой ружья и патроны. Мы замешкались, и, желая скорее попасть в тупик, я пришпорил и без того нервничавшего Феба, а самого меня пришпоривала наша смуглянка.

Перед аркой женщины Дозорного выворачивали из мостовой булыжники. Первым делом они возвели небольшую стенку с амбразурой для пушки «Братство». Когда Марта заикнулась, что орудие придется увезти, Трусеттка подняла крик, а за ней дружно заверещали все наши бабенки.

— Мы за нее небось сами платили! Пушка наша. Пускай здесь и остается!

Впрочем, и упряжки не было. Единственный, среди присутствовавших при этой сцене мужчин — дядюшка Ламитон, попытался было утихомирить разбушевавшихся фурий. Однако, поняв, что все его резоны ни к чему, колченогий сапожник отступился, но на прощанье крикнул:

— Стало быть, вам угодно ждать версальцев здесь! Хотите, чтобы они весь Париж перерезали, вам на это плевать, вас только один Бельвиль интересует... Что ж, чудесно. Ну а я лично пойду им навстречу. Желаю посмотреть, может, удастся что сделать, а не просто сидеть дома и томиться, вдруг можно их хоть чуточку задержать. Пускай я калека, а беру на себя одну баррикаду. Постараюсь уложить как можно больше версальцев. А вам, гражданочки, разрешите дать один совет: запаситесь

кастрюльками, приготовьте масло и керосин и лейте на голову тьеровским солдатикам!

Должно быть, впервые в жизни так надрывался и кричал дядюшка Лармитон. Пристыженные этими словами, женщины глядели ему вслед. А кроткая Леокади, его маленькая старушечка, засеменила вслед за мужем, догнала возле Фоли; и вовсе не затем она его догоняла, чтобы удержать дома, а чтобы повязать ему кашне, которое он в спешке забыл. А еще через десяток шагов они, старые влюбленные, обменялись последним поцелуем, а ведь он, как говорят, точно такой, как и первый поцелуй.

Тело его нашли на следующий день к вечеру в газетном киоске на улице Ренн. Командир Детей «Пэр-Дюшена» прислал к нам с этим сообщением одного своего юного бойца:

— Ваш старичок сидел на стуле в киоске, удобно так расположился, между колен поставил табуретку, а на нее пристроил мешочек с патронами. Стрелял он по вокзалу Монпарнас. Пульнет, перезарядит, пульнет... Метко бил. Не торопился. Только иногда снимет очки и протрет их краешком кашне. А мы за баррикадой на него все глядели, друг другу на него показывали. Мы даже как-то злиться начали. Благо бы фанатик, так нет — опрятненький такой старичок, сидит спокойно, как за верстаком. Варлен, командовавший баррикадой на углу Круа-Руж — вы бы только посмотрели, не баррикада, а настоящая крепость,— сколько раз нам велел увести прочь деда, да где там!.. Поди подойди, так и жарят, так и жарят. А старичок бахнет из ружья, потом махнет нам рукой — не отойду, мол, и все так спокойненько, миленько, с улыбкой; целый час он поливал версальцев. Когда они пошли в наступление, он все еще стрелял. Мы их отогнали, мы по ним из пушек картечью били. Вы бы посмотрели, киоск весь сплошь изрешетило! А он так и остался сидеть на стуле, в очках, улыбающийся, мертвый. А к блузе пришпилил записку:

«Гражданин Лармитон, Эзеб-Клодьен,
ремесленник, сапожник.
Дозорный тупик в Бельвиле».

Дети «Пэр-Дюшена» положили тело, завернутое в одеяло, на стол, который Тереза Пунь вытащила из кабачка. Трусеттка хотела было сама заняться похоронами, но вдруг раздался страшный крик:

— Не трогайте его!

Леокади.

Тем временем женщины Дозорного хлопотливо затыкали тюфяками окна, выковыривали ломом тумбы и каменные ступени. Они, даже не моргнув, отпускали своих ребятишек в пекло боя. Предпочли бы пожертвовать своими отпрысками, чем своей пушкой.

— Поскорей возвращайся! — крикнула Фелиси Фаледони сыну.

— Ну разве мать понимает, что говорит,— проворчал горбун, кинув взгляд на труп Лармитона.

— Если бы Предок был здесь,— вздохнула Марта,— он бы им растолковал.

— Поди им растолкуй! Они же сумасшедшие! И он тоже ничего бы не добился.

— Нет, добился, отвел бы Трусеттку в сторону и поговорил бы с ней!

Ко второй половине дня все вдруг встряхнулись, приободрились, федераты уже не шатались кучками без толку, не болтали зря у дверей кабачков. Каждый знал, что ему полагается делать; нет, не так — знал, что он сам считает нужным делать, по собственному выбору. На улице не было ни души, зато через каждые двадцать метров люди деловито вспарывали мостовые, рыли траншеи, наполняли мешки землей, устраивали бойницы и амбразуры, и все это с подъемом, весело, с шуточкой, что сейчас мне, в моем сарае в Рони, кажется прямо невероятным.

— А сверху положим узлы с тряпьем, глядишь, пули увязнут...

— Сыпьте землю на мостовую, удобнее будет лежа стрелять!

— Митральезу сюда, отсюда она без промаха косить будет всех, кто на улицу сунется.

— Идите в мэрию, пусть вам дадут талоны на реквизицию хлеба!

— И на вино не забудьте!

— Одеяла бы тоже не помешали!

— На что тебе одеяла, замерзнуть боишься, что ли?

— Мертвых прикрывать...

— Матушка, а секач-то на что, неужто заячье рагу приготовлять собираешься?

— Нет, красавчик, по черепушкам щелкать будем, когда патронов не хватит.

Каких только разговоров не наслушались мы по дороге, вернее, схватывали на лету обрывки разговоров под милым майским солнцем. Предместья готовились к Великому празднику.

Взгромоздившись чуть ли не на гриву бронзовому льву, что на площади Шато-д'О, какой-то очкастый старик со струящейся бородой обращался к слушателям, переходившим с места на место, не разгибавшим спину, не подымавшим голов.

— Еще один клубный брехун выискался...

— Это ты зря, Марта! Этот вовсе не ломается. Просто читает новое воззвание. Чтобы всем сэкономить время. И он ни к каким ораторским приемам даже и не прибегает. Послушай сама.

«Народ, свергающий королей, разрушающий Бастилии, народ 89 и 93 годов, народ Революции, не может допустить, чтобы в один день все плоды свободы, добытой 18 марта... К оружию!.. Ибо Париж с баррикадами неодолим!..»

Вырывающие из мостовой булыжники даже глаз на него не подымали, но в их «да-вай», в их «взя-ли» звучало ликование.

Гвардеец из охраны Центрального комитета Национальной гвардии, одетый в куртку зуава с поясом из синей шерсти, в красные панталоны, в черные гетры и в кепи бретонских мобилей, поравнявшись с акцизным чиновником, катившим впереди себя бочку, крикнул:

— Эй, Сатурнен! Зачем лезешь в чужие дела? Ты ведь до сих пор даже в клубе не появлялся, а уж о наших батальонах и не говорю!

— А сейчас я здесь, кузен. Раньше я Коммуну вашу недолюбливал, это верно, а теперь возненавидел Версаль как чуму — всю их поповскую братию, аристократишек и богачей!

— И ты сумеешь драться, кузен? Ты же пацифист известный!

— Еще как! И без поповского благословения. Пусть палачи боженьку призывают.

Люди вокруг стали прислушиваться: чиновник рассказывал своему родственнику об обязательных публичных молитвах, введенных на прошлой неделе по всей Франции. Предлагалось молить господа о «прекращении бедствий, от коих мы страждем».

— Ты, кузен, должно быть, не знаешь, что Тьер приказал окропить святой водой своих разбойников-солдат и устроил по этому поводу торжественную мессу на плато Сатори!

Бия себя кулаком в грудь, акцизный чиновник под аплодисменты всех, у кого руки в эту минуту не были заняты переноской булыжника, провозгласил:

— Я сам — пусть вам скажет мой кузен, он мне приходится двоюродным братом по отцу,— прежде мухи не мог убить... Прожил сорок девять лет, семь месяцев и три дня настоящим ягненком, а теперь предпочитаю подохнуть тигром, лишь бы попы снова не забрали власть!

Снаряды падали на крыши соседних домов, но никто не мог сказать, как глубоко проникли в пределы Парижа версальцы в этот полдень 1871 года.

На Авронское плато спускается вечер. Мама сунула мне в люк маленькую мисочку с супом, такие носят с собой в поле землепашцы.

— Ну как, сынок, все хорошо?

— Прекрасно, мам.

— Только потише разговаривай. И не слишком там ворочайся. Из Парижа какие-то двое приехали, остановились в харчевне в Рони. Всех расспрашивают. Спи спокойно, сынок.

Высунувшись из-за створки двери, она огляделась, не следит ли кто за ней, не заметил ли, что она носит в сарай еду. И шепнула совсем тихо: «Моему мальчику, господа, не в чем себя упрекнуть!»

А чуть позже папа приводит в конюшню Бижу. Наш старикан хрупает себе сено прямо под моим тайником, тяжко вздыхает. А то вскинет голову и принюхивается, раздувая ноздри. Слава богу, он от усталости даже ржать не может. Раздвигаю солому, служащую мне ложем. В щель вижу его огромный влажный глаз; до чего же славно, так же славно, как его запах, как стук его подков в ночной тишине. Сейчас займусь своими писаниями. Пока не догорит огарок, хотя свет мне зажигать не рекомендуется, и не только потому, что может произойти пожар.

Даже после всего пережитого не могу без улыбки вспоминать, как мы в понедельник обедали, правда наспех, в шикарном ресторане на улице Ройяль. Обслуживающий

персонал полностью остался на местах — и грум у подъезда, и метрдотель у входа в зал, и дама при гардеробе, и какой-то тип, который вином занимается, и прислужники, и еще какие-то, которые ведают совсем уж неизвестно чем. Ни Родюки, ни Маворели, ни я даже слов таких никогда не слыхали. Ух, воображаю, какой у нас был вид — глаза вытаращили, рты открыли, а лакей священодействует со скатертями и салфетками, с какими-то ни на что не похожими стаканами и бутылкой шампанского.

Потому что нас обслуживали лакеи. Нас, как будто мы милорды какие-нибудь. И обслуживали превосходно. Хотели бы хуже, да не умели. Некоторые даже явно пытались, когда поняли что к чему, когда обнаружили, что их клиенты не герцоги, не банкиры или министры, а самая что ни на есть голытьба, бельвильская мелюзга. Но достаточно было какого-нибудь постороннего шума, хрипа умирающего в прихожей, стука кирки, врезающейся в стенки подвала, или чаще всего разрыва бомбы на тротуаре или на крыше — и они вспоминали, какой вокруг кошмар, и начинали безукоризненно нас обслуживать. Когда я сообщил эти свои соображения Марте, она сердито фыркнула:

— У них такое ремесло — задницу всем лизать, значит, нужно работать не думая, а то поневоле портачить начнешь!

Пока мы рассаживались, произошел только один инцидент: легкая стычка между нашим кузнецом и метрдотелем — метрдотель чуть ли не силком подпихнул кузнецу стул под зад, а кузнец слегка столкнул его с винтовой лестницы. А Пробочка не желала слезать с плеча своего глухонемого друга и сидела там, как попугайчик на насесте, и что-то себе грызла, до того страшно ей стало среди всей этой позолоты, мишуры, скульптур, панелей, посуды и хрусталя. Веселья-то не получилось, и причиной тому была не только резня на улицах.

— Черт бы их всех побрал,— взорвался вдруг Пружинный Чуб,— здесь тебе не просто кафе. Чувствуешь себя вроде вора, что ли!

— Пей спокойно свое шампанское, сынок,— посоветовал ему артиллерист за соседним столиком, уплетавший за обе щеки омара.

Накануне сюда явился один из штабных офицеров Брюнеля и вызвал хозяина.

— Ресторан закрыт,— заявил тот.
— По какой именно причине?
— По причине... работ!
— А все эти люди?
— Персонал. Мы как раз воспользовались передышкой, чтобы прибрать помещение...
— Ресторан работал при Наполеоне III?
— Да, но...
Офицер выхватил револьвер, взвел курок. А на ладонь левой руки положил открытые часы:
— Даю вам минуту, чтобы открыть ваше заведение.
Успех превзошел все ожидания. Рассевшись на ступеньках лестницы, моряки Коммуны и стрелки 109-го батальона ждали, когда придет их черед пообедать, но дам пропускали без очереди и даже расшаркивались перед ними.
— Эй, вы там, уступите место дамочкам!
— Подать лучшего шампанского Флоранс, Авроре и Мари!
— Они, граждане, без передышки стреляли, мы-то видели!
— Эти имеют право промочить горло!
Мы находились в самом центре укрепленного полуострова, по которому со всех сторон били отборные пушки версальцев, и с приятностью рассуждали о достоинствах нашего последнего открытия: шампанского. Так как версальцы перешли в наступление на Елисейских Полях, у Оперы и церкви Мадлен, Брюнель вынужден был возвести еще одну баррикаду на улице Ройяль, между церковью и перекрестком Сент-Онорэ...
Доходившие сюда вести лишь на миг прерывали наши гастрономические беседы:
— Пушка по улице Риволи бьет. Невесело там, даже под аркадами.
— Деревья в Тюильри, как подкошенные колосья, валятся!
— Сейчас баррикад повсюду понастроили: и на улице Дюфо, и на улице Люксембург, на улице Нев-Сент-Огюстен, и на улице Монпансье...
— А на улице Театр-Франсэ, забыл? Я ее сам видел.
— Что это там горит?
— Министерство финансов. Зажигательный снаряд как жахнет в чердак, а там все их бумажки хранятся.

Сразу же туда отрядили пожарных, должно быть, сейчас уже сбили огонь.

Взмахнув от восторга руками, какой-то квартирмейстер опрокинул хрустальный графин, и тот разбился. Все словно оцепенели, разговоры стихли. По-моему, мы не слыхали даже канонады, хотя она стала сильнее и ближе. Потом снова раздался смех, пожалуй, несколько принужденный.

Вставая из-за стола, Марта оправила свою ситцевую розовую юбчонку, раза два-три хлопнув себя по крутому заду: очевидно, считала, что этого требует светский этикет, и, перешагивая через плечи матросов, сидевших на ступеньках, сладчайшим голоском бормотала: «Извиняйте, граждане!»

Все мы были немножко навеселе.

На нижнем этаже, превращенном в лазарет, был оставлен только один проход, так что шагать к дверям приходилось как бы между двух валов зловония и боли, чуть не цепляясь за ноги лежавших. Только сейчас здесь, в Рони, я задним числом удивился, как этот переход не отбивал ни у кого аппетита. Мы, например, когда шли туда, даже веселились и хохотали, потому что седовласый метрдотель, величественно поклонившись, пригласил нас войти:

— Господа, простите, граждане, вы в лазарет или завтракать?.. Чудесно. Ресторан на втором этаже.

Мы, повторяю, были порядком под хмельком. Путь нам преградила кучка о чем-то споривших людей.

— Вы обязаны отдать нам этого человека! Так надо!

— Нет, Коммуна отказывается отвечать преступлением на преступление!

Споривших четверо.

Двое «стражей Гарибальди». Один — сорокалетний верзила с горбатым носом в красном кивере, обшитом искусственным каракулем из черной шерсти, с плюмажем в виде конского хвоста и с козырьком над глазами — говорил с резким итальянским акцентом; другой — юноша в красной куртке, в красных панталонах и с красным же поясом — нацепил на свою шапочку длиннющее павлинье перо. Этот говорил очень тихо, медленно, нервно хрустя пальцами.

— Гражданин делегат, этот человек должен умереть! Никакой радости мне это не доставляет, но так нужно! Пока мы с вами здесь разговариваем, наших убивают де-

сятками! Необходима месть. Вы должны отдать нам этого убийцу! Мы готовы умереть, но дайте нам отомстить, гражданин делегат, иначе я сломаю свое ружье, да не я один!

— И сломает! Этот подлец расстрелял его родного брата!

Третий, тот самый подлец, о котором шла речь, стоял, иронически улыбаясь, между двумя гарибальдийцами в выжидательной позе. Это был лейтенант-версалец, еще совсем молоденький, с нафабренными усиками, закрученными на концах, с серыми, очень живыми глазами. С него сорвали портупею и оружие. Он машинально пытался пристегнуть левую эполету.

Вспоминаю тошнотворные запахи лекарств, пота и крови, стоны, ворчание одной из монахинь, ухаживающих за ранеными, которая требовала, чтобы все ушли спорить на улицу.

— Нет, мы в отличие от них не будем убивать безоружных пленных. Этого человека будут судить,— твердил четвертый. Мы видели его только со спины и по перевязи с золотой бахромой догадались, что это делегат.

— Я же ему говорил, но он слышать ничего не желает! — твердил первый итальянец.

Из-под козырька, надвинутого на нос, выползли две крупные слезы, с трудом прокладывавшие себе путь сквозь пыль, облепившую все лицо. Высокий гарибальдиец смахнул их тем же жестом, каким, должно быть, неделю назад смахивал где-нибудь под Ванвом или Нейи кровь с подбородка,где еще гноился затянутый свежей корочкой шрам.

— Гражданин делегат, если вы не будете карать наших палачей, не рассчитывайте больше на нас!

Ветеран-гарибальдиец одобрял слова своего молодого товарища, покачивая головой, и по его пиратской физиономии снова скатились две слезы, такие тяжелые, что он поднес было к глазам руку, но, спохватившись, вытер нос пятерней, желая скрыть этот неуместный плач.

— Дитя мое, ни я, ни кто другой из членов Коммуны не даст вам разрешения на это убийство.

Застыв за спиной Бардена, так и не спустившего с плеч своего попугайчика, мы слушали и молчали. Было что-то страшное в этом споре, который велся в самых умеренных выражениях, самым спокойным тоном, но за этим бурлили, вопили во весь голос, сталкивались идеи в оглушительных ударах грома.

— Прошу тебя, умоляю, забудь об этом убийце, вернись в строй.

Делегат обнял юношу, прижал его к груди. Слишком длинное павлинье перо проехалось по уху пленного и по носу итальянского ветерана.

Кисть Марты, забравшись под рукав моей рубашки, всползла к предплечью, маленький, сердито царапающийся зверек. И легкое прикосновение, словно крылышко бабочки, ее теплых, чуть шершавых кончиков пальцев...

Гарибальдийцы ушли, понурив голову, а пленный офицер остался под присмотром троих стариков федератов, сторожививших монахинь, которые недолго думая приспособили своих стражей ухаживать за больными.

Наконец нам удалось гуськом выбраться на улицу. Бросив беглый взгляд через левое плечо, мы узнали члена Коммуны — сапожника Тренке, выбранного в нашем XX округе на дополнительной баллотировке 16 апреля и назначенного в Комиссию общественной безопасности. Он шел, уставив свои добрые большие глаза куда-то вдаль, лоб его блестел от пота, а щеки от слез. Три блестящие жемчужины застряли в его коротко подстриженной бородке.

Пробочка тем временем решилась покинуть свой насест. Ее другу-исполину не требовалось даже шевелиться, а тем более сгибать свои огромные ножищи на манер слона, когда корнак сходит на землю. Нет, малютка Пливар легко соскользнула вниз, так рабочий, натянув телеграфные провода, спускается прямо по столбу.

На улице Ройяль трубы сзывали людей к бойницам, чтобы отразить новый штурм.

Выйдя из ресторана и вступив на улицу, мы успели только броситься ничком на плиты тротуара. Осколки снаряда забарабанили о камни мостовой. Рваным пунктиром пронесся ужасающий гул, потрясший воздух, вспышки, обломки, дым, пыль, брызги выбитых стекол и витрин, вихрь травинок.

Леденящий душу вопль.

Впервые в жизни из глотки Бардена вырвался членораздельный крик — неважно, что он означал: «беда» или «боже».

Кузнец стоял перед нами гигантским каменным изваянием, со скрещенными на груди руками, а мы, подымаясь с земли, ощупывали, цело ли у нас все.

Посреди мостовой крошечным комочком лежала бездыханная девочка.

Снова падали бомбы, падали совсем рядом, а Барден медленно двинулся к маленькому тельцу, упал рядом с ним на колени, заслонив от нас убитую. Потом глухонемой великан поднялся на ноги и повернулся к нам. Он нес на вытянутой правой руке девчушку, где-то на уровне своей груди. Все так же медленно проследовал он обратно, держа на широко открытой ладони Пробочку, как с ума сводящую милостыню. И тут мы даже вздрогнули от изумления, вспомнив, что всегда видали Бардена только с улыбкой на лице, только со смехом на губах. Голова и ручки вяло свисали по одну сторону ладони, поддерживавшей тело, а ножки болтались по другую. На левой ляжке, обтянутой бархатной юбчонкой, выступили круглые, как монеты, алые пятна, и такие же точно кровавые пятна отмечали каждый шаг кузнеца по развороченной мостовой. Он снова вошел в двери роскошного ресторана. Убеленный сединами метрдотель поспешно уступил дорогу гиганту с его невесомой ношей. И эта поспешность была далека от профессиональной привычки стушевываться.

Глухонемой шагнул туда, где стоял пленный лейтенант, и вперил взор в его глаза. По-прежнему держа тело девочки на правой ладони, он протянул вперед левую руку. Потом ухватил всей пятерней нижнюю челюсть лейтенанта, который глядел на Бардена как загипнотизированный. Сжал челюсть с такой силой, что закрученные кончики усов чуть не коснулись глазниц, ударил, всего только раз ударил его головой о стену и отнял руку.

Череп лейтенанта разлетелся, как будто разорванный снарядом, а тело сползло по стене и осталось внизу, осев, с согнутыми коленями, открытыми ладонями, обращенными к потолку.

На деревянной панели стены была изображена Венера на качелях. Солнце золотило под доской качелей ярко-красное пятно, сделанное кистью художника, а под ним растеклось похожее на кусок ободранной туши другое, столь же ярко-красное пятно.

Барден вышел на улицу.

Те два гарибальдийца, очевидно укрывавшиеся от разрывов, снова очутились у подъезда ресторана. Когда мимо них прошел кузнец со своей скорбной ношей, юноша с павлиньим пером на шляпе обозвал его сволочью.

Мы издалека следовали за Барденом до самой Вандомской площади. Люди молча расступались перед ним. Мы видели, как он обогнул остатки колонны, перелез через баррикаду на улице де ла Пэ, все так же держа перед собой на вытянутой правой руке тельце Пробочки, а левую обтирал о штаны; мы поняли, что великан Барден возвращается к себе в Бельвиль.

Первый день недели прошел как-то слишком быстро, так по крайней мере показалось мне. А ведь стемнело в положенное время, да и дни уже стояли длинные. Когда я роюсь в памяти, она подсказывает мне только разрозненные картины, обрывки фраз, и я не в силах привести их в порядок.

Центральный рынок превратился как бы в плацдарм некой крепости. Здесь царило обычное оживление, только вместо капусты в ивовых корзинах покоились бомбы, огородницы перетаскивали ящики с патронами, сталь штыков затмевала грозди сирени.

Пожарные Коммуны сбили огонь, охвативший министерство финансов, однако этой же ночью, которая была уже не за горами, новый зажигательный снаряд подожжет здание, и пожар уже не удастся потушить.

— А он самый настоящий революционер,— процедила сквозь зубы Марта.— Этот не говорит, а действует.

Она имела в виду Бардена. Вообще-то она была не в духе. Пролезая под какой-то изгородью, чтобы укрыться от разрывов картечи, она порвала свою черную кофту. Теперь над левой лопаткой свисал треугольный кусок ткани. Ветер, играючи, поднимал клок и щекотал Марте ухо. Она отмахивалась от этой назойливой щекотки, как от комаров, хлопая по лопатке ладонью. Раз она промахнулась, хватила себе по щеке и прямо зашлась от злости; как она взглянула тогда на меня своими бешеными глазищами!

Первая из багровых ночей спустилась на Париж. Сумерки притупили ружейную перестрелку, приглушили гул канонады. Бой барабана — еще один батальон, двести человек, шагает под знаменем цвета крови. Насупившиеся офицеры, каптенармусы, артиллерийская прислуга при зарядных ящиках, взмыленные гонцы — все это проносится на всем скаку мимо маркитанток, а те фыркают, подхватив юбки под коленями.

Марта потащила меня за собой — мы поднялись по одной ей известной лесенке на карниз башни Дома Ком-

муны. В такие вот минуты наша смугляночка испытывала потребность видеть Париж у своих ног. Огненные фонтаны брызг взлетали с берегов Сены прямо к звездам, все еще горело министерство финансов.

Марта укрылась в моих объятиях. На миг я подумал, что дитя Парижа испугалось Парижа, потом вспомнил, что она беременна, мы с ней больше к этому разговору не возвращались!

Мы любовались Парижем, окутанным покровом божественной ночи, и я думал, что Творец, если только таковой существует, Великий Маниту или, если угодно, боги Олимпа, ну пусть просто Верховное Существо — каждый в свой черед влюблялись в этот город и тогда являли его нам в несказанной ипостаси.

Где же версальцы? Где-то там, за этой странной, колышущейся и податливой стеной, которая рассекла столицу надвое. Пушки их утихомирились, раскаленные стволы ружей остыли, но там, позади этой железной стены, за этим надежным, как стальной сейф, блиндажом слышно их дыхание. Они отдыхают, как положено по уставу. Спят крепким сном. Ими командуют беспощадные генералы, профессиональные военные. Их маршрут выверен, и им нет необходимости знать, куда они идут. Им преподали искусство убивать в специальных училищах. У них ремесло, а у нас всего лишь вера. Им отдают приказы, у них и мыслей-то не осталось. А у нас столько идей, чересчур много идей. Мы стали неиссякаемым источником идей, и чем больше мы их отдаем, тем больше их у нас становится. А те тверды как сталь, как остро отточенное стальное лезвие, они упорны и сильны, до чего же они сильны! Они — тяжесть, они давят все вокруг, они, вобравшие в себя вековой груз человечества, две тысячи лет несправедливостей и преступлений.

Там за стеной — мрак.

На нашей стороне — свет. За исключением занятых неприятелем кварталов, улицы и бульвары освещены, как обычно. Свет — прежде всего, и тем хуже для тех, кто излучает свет!

Вчера я притаился, словно умер, в сущности, мне и полагалось бы умереть. Приходили те двое из Парижа. Бродили вокруг нашей фермы. Просидели почти до вечера на кухне под тем предлогом, что ждут, мол, хозяина.

Расспрашивали, но не в лоб, болтали без передышки, то один, то другой — словом, действовали напересменку. Вопросы задавали туманные, шли к цели не прямо, а в обход и очень искусно. Только к вечеру папа с мамой поняли, в чем дело: парижских шпиков интересовало лишь прошлое и связи Предка. Во всяком случае, пока что только это. Сказали, что снова придут. Поэтому вчера я остался без еды. Бог с ней, с едой; хуже другое — не могу ни шелохнуться, ни писать. Поистине я должен затаиться как мертвец.

ВТОРНИК, 23 МАЯ 1871 ГОДА

Каминов я сначала не заметил, хотя мы достаточно долго проболтались в том самом Тронном зале, где Людовик XVI получил из рук Байи* трехцветную кокарду, в том самом зале, откуда сто семьдесят два комиссара секций разошлись по своим кварталам, прежде чем дать сигнал к 10 августа. А каминов оказалось даже два, монументальных, с лепниной, разукрашенных разными финтифлюшками. Над одним из них ангел не ангел, в лавровом венке, с пошлой пухленькой мордашкой, похожий на балованную дочку и наследницу богатых коммерсантов, придерживал пальчиками полу своей белой туники. А ведь сколько здесь тех, кто даже не замечал этого бакалейного ангелочка, не замечали служащие, распределявшие дневные рационы, читавшие газеты, не замечали офицеры, сидевшие, ссутулясь, за длинными столами, где они подписывали приказы, которых ждали гонцы. А во дворе пережевывали овес и дремали оседланные лошади!

На ночь мы устроились на тюфячке в углу вестибюля, специально отведенного для гонцов. Прежде чем свернуться калачиком в моих объятиях, Марта — откуда только взялась такая домовитость! — нашла время починить свою черную кофту с помощью имевшихся под рукой средств: прикрепила висящий клок обрывком медной проволоки. Шагах в двух прореха почти не заметна. Клок теперь ухо не щекотал, зато при каждом движении проволока царапала ей плечо, но Марта предпочитала царапины.

Мы так устали, что лишь с трудом и то на минутку разлепили глаза, когда какой-то штабной офицер криком потребовал себе гонца. Впрочем, все здесь относились

друг к другу по-братски предупредительно. Выйдя из своего кабинета, офицер кликнул гонца во все горло, но, попав в вестибюль, в эту груду храпящих и мирно дышащих тел, он сразу стих, переконфузился и потихоньку потряс за плечо первого лежащего с края.

Проснувшись, я увидел, что во сне положил руку на корсаж Марты, вернее, прямо ей на грудь. Люди вокруг делали вид, что ничего не замечают. Мы переживали такие часы, когда интимные жесты, мимолетное счастье уже переставало быть объектом грязного любопытства, возмущенных охов и ядовитых насмешек. Федераты, застигшие нас в этой позе, с улыбкой отворачивались, они были счастливы нашей любовью. Революционное взаимопонимание не знает пределов.

На монументальной лестничной площадке Предок схватился с тремя офицерами, которым не понравилась прокламация Делеклюза.

— Он, видите ли, осуждает дисциплину! А нам только ее и требуется. Батальоны сразу же разбрелись по своим кварталам...

— А придут к себе и первым делом скинут кепи и куртку и нацепят каскетку и блузу.

— Если бы так поступали только простые солдаты! Но мы здесь сами видели делегатов — избранников Коммуны, они уже сбрили бороды. Как раз те, которые так любили щеголять в военной форме, первые сменят ее на штатское платье.

— Граждане, граждане! — негодующе воскликнул Предок.— Не смешивайте вы всех этих людей с нашими пролетариями. Если рабочий снова надевает блузу, то он это не для того делает, чтобы скрываться, а чтобы ему было сподручнее, и будет он драться не как солдат, а как инсургент. И убьют его не как солдата, а как рабочего, именно в качестве рабочего. Умоляю, не путайте вы его с Феликсом Пиа.

Феликс Пиа этим утром заглянул в Коммуну: «Настал ваш последний час. Мне лично все равно! Волосы мои седы, карьера окончена. И могу ли я надеяться на более славный конец, чем сложить свою голову на баррикадах? Но когда я вижу вокруг себя столько светловолосых, столько молодых, я трепещу за будущее Революции». С этими словами он исчез. Только потом его обнаружили в Лондоне. А в Париж

он вернулся лишь после амнистии. **(Чтобы закончить свою жизнь сенатором!)**

Верморель возвратился из Батиньоля, откуда он вместе с Ла Сесилиа, Лефрансэ, Жоанаром* и двумя журналистами — Альфонсом Эмбером из «Пэр Дюшен» и Гюставом Марото* из «Салю Пюблик»— привел подкрепление: целую сотню бойцов.

— Бенуа Малон упрекал нас за то, что мы оставили квартал. Тогда Ла Сесилиа прямо ему сказал: «Люди мне не повинуются».

В Батиньоле защитники баррикад мирно спали, разлегшись на мостовой. Неприятельский патруль захватил часового, но тот успел крикнуть: «Да здравствует Коммуна!» — предупредив таким образом об опасности своих товарищей федератов. Часового расстреляли на месте.

Но самое тяжкое разочарование принес нам Монмартр. Как же так? Этот знаменитый холм со знаменитыми своими пушками, этот Вифлеем восстания вдруг замолк, и в самую критическую минуту не было слышно его голоса!

— Вифлеем! Вифлеем! Какой же это Вифлеем, знаменитые пушки сняты с лафетов и заржавели, уж скорее это Голгофа. Если вам по душе играть роль жертвы, что же, в добрый час!

— Хе-хе, Голгофа — это тоже своего рода колыбель,— бросил Предок с добродушной улыбкой под белоснежными колючими усами.

— Бенуа Малон правильно делает, что орет,— подхватил какой-то офицер интендантской службы.— Вчера его оставили на произвол судьбы. Площадь Клиши до двух часов утра удерживала горстка людей. Снаряды у них кончились, тогда они стали заряжать пушки булыжником и кусками асфальта.

— Значит, можно заряжать пушки чем ни попадя?

— А как же, Марта, картечь — это и есть именно что ни попадя.

В отношении простых людей Предок — сама снисходительность, зато не щадит вождей Коммуны:

— Мы дорого заплатим за их трусливую политику. Им, что называется, на блюде поднесли Революцию, великолепную, идеальную, а они перетрусили. Главное для них — не спугнуть буржуа. Когда у них была полная возможность взять любое, что нужно для победы, в пер-

вую очередь Французский банк, они в ногах у господина Плека валялись, выклянчивали у него несколько паршивых миллионов (*в общей сложности двадцать*). Хотелось бы мне знать, сколько этот сволочной банкир втихую передал господину Тьеру (*двести пятьдесят восемь миллионов*). В период восстания экономическое малодушие смерти подобно. Им, видите ли, важно показаться честными — в чьих глазах, я вас спрашиваю? В глазах пролетариата? Как бы не так, в глазах собственников! Версальцы вам покажут, к чему приводят в часы революционных боев излишняя мягкость и излишнее умничанье. Мастерские пустуют, квартиры брошены хозяевами, а много ли их реквизировано? А ведь, шут их возьми, были изданы специальные декреты! Пускай пролетарии, те самые, чьими руками было сделано 18 марта, те, которые привели к власти наших милейших краснобаев, пускай пролетариат мрет в своих вонючих лачугах, тогда как пустуют сотни великолепнейших домов в богатых кварталах. XVI округ защищали бы иначе, если бы его в свое время заселили голодранцами. Будьте уверены, их клещами из новых жилищ не вытащили бы!

Принесли свежие газеты, и спор сам собой угас. Я нарочно припрятал себе в сумку номер «Пари либр» ради вот этой статьи:

«По нашим последним сведениям, версальцы просочились через заставу Сен-Клу в тыл наших баррикад, но неприятель, к тому же весьма немногочисленный, не посмел нас тревожить.

Версальцы прорвались! Ну и что из этого? Как мы и говорили вчера, именно там, где мы их ждали. От этого их положение стало еще более критическим. Теперь им придется вести уличные баррикадные бои, а в них парижанин особенно грозен. Отважится ли неприятель на это?»

Гонец 183-го батальона IV округа заявил, что баррикаду у Мадлен, где находился Брюнель, атаковали с тыла.

Война возобновилась с зарей.

Свежее утро сулило прелестный денек. Федераты, собравшиеся на паперти, тянули головы в сторону Монмартра, но зря они вслушивались: пушки молчали. Было около девяти часов. В небе кружились редкие черные хлопья, словно сорванные до времени с деревьев листья, и лениво опускались на землю. Марта подобрала такой листок, на котором можно было еще прочесть:

«Министерство финансов.

Управление общественными доходами...»

Ванда Каменская, Клеманс Фалль и Бландина Пливар явились от комитета бдительности требовать издания двух новых декретов: первый — уполномочивающий командиров баррикад реквизировать продовольственные припасы и необходимый рабочий инструмент, второй — обязывающий поджигать все дома, откуда стреляли по федератам. Орудия с укреплений люди прямо на себе перетащили на Бютт-Шомон и улицу Пуэбла. Батарею пятнадцатифунтовых орудий установили на Пэр-Лашез, откуда она могла прикрывать весь Париж.

К одиннадцати часам солнце уже припекало вовсю.

Какой-то молодой капитан в блузе каменотеса жаловался на своих людей, которые предпочли погибнуть за убогим укрытием, сложенным наспех из булыжника, вместо того чтобы укрепиться в домах:

— Щадят, видите ли, их! Не смеют киркой ударить! А ведь какие прекрасные бойницы можно было бы понаделать, какие проложить переходы, это позволило бы нам совершать обходное движение. Ну, как прикажете управляться с инсургентами, которые уважают собственность? А версальцы-то не слишком церемонятся, хотя и являются присяжными защитниками домовладельцев.

После утреннего затяжного яростного боя Мадлен была взята. Все триста федератов, защищавших церковь, были расстреляны. На глазах 66-го батальона расстреляли шестерых его бойцов. На площади Оперы, изрытой снарядами, 117-й батальон выдерживал наступление с трех сторон: со стороны бульвара Капуцинок, со стороны улицы Обер и улицы Алеви.

Брюнель не сдавал редут, отстреливаясь своей дюжиной пушек от шестидесяти вражеских.

В полдень нас послали с депешами на Монмартр.

— Куда путь держите, ребятки? — окликнул нас с тротуара Предок.

Когда мы выехали из-под арки, он придержал Феба за уздечку.

— На Монмартр, дядюшка.

— И речи об этом быть не может. Над башней Сольферино уже развевается трехцветный флаг. А кто это вас туда послал?

— Артиллерийское управление.

— А-а, эти! Могли бы, кажется, дать себе труд подняться на крышу и осмотреть Париж. Вручите-ка мне ваше послание. Я сейчас скажу им парочку слов.

На площади народ толпился вокруг десятка бойцов, спасшихся после монмартрской бойни: Монмартр сдали! Пушки не стреляли, снаряды оказались не того калибра. Измена! Предательство!

Без всякого дела, просто потому, что так захотелось Марте, мы добрались до площади Бланш, где женщины с ружьями в руках держали баррикаду.

Может, сейчас это звучит наивно, но в тот час народ казался мне непобедимым.

Только что на улице Мирра ранило Домбровского. Его в тяжелом состоянии перенесли на носилках в лазарет Ларибуазьер. Где-то в западной части города трезвонили колокола.

Вот тогда-то начались пожары.

Решение об этом принял Брюнель. Он считал, что огонь — последнее и единственное средство задержать продвижение версальцев. Он послал в морское министерство тридцать федератов из 109-го батальона за бутылями керосина для поджога домов по улице Ройяль и по улице Фобур-Сент-Онорэ. Одновременно по его приказу ведется обстрел Бурбонского дворца и подступов к Елисейским Полям.

Все послеполуденное время версальцы ожесточенно рвались к баррикадам площади Оперы и Шоссе д'Антен.

В конце концов немногие оставшиеся в живых федераты вынуждены были отойти к баррикаде, идущей от улицы Друо к Ришелье. Двое офицеров из 177-го батальона отказались бросить свою пушку и зарядный ящик; с помощью нескольких федератов они приволокли ее на себе под градом свинца, и капитан одной рукой тянул пушку, а другой размахивал знаменем Коммуны.

Рассказывали, что на левом берегу Варлен все еще удерживает перекресток Круа-Руж, Лисбонн — улицу Вавен, а Врублевский* — Бютт-о-Кай.

Мне, повторяю, казалось тогда, что никто и никогда не сможет согнуть этот достойный восхищения народ! Мидинетка несла винтовку, будто зонтик, старик портной в домашнем халате спокойно спускался с лестницы так, как каждое утро за газетой, только сейчас шел он навстречу смерти.

Позже их обнаруживали почерневших от пороха и посеревших от страха, недоверчиво через плечо поглядывавших на окна квартиры, откуда они только что вышли.

— На баррикадах смерть может прийти откуда угодно,— пояснил мне Матирас.— Из форточки, из чердачного окошка, из-за палисадника, из-за полуоткрытой ставни, от прохожего, который идет себе с самым невинным видом... в грудь или в спину, по приказу или из-за предательства.

— Предательство...— вздохнул Кош.— Ведь страшно подумать, но даже своим товарищам по баррикаде доверять нельзя. Теперь, когда мы отходим от баррикады к баррикаде, в толпу отступающих непременно затесываются какие-то неизвестные личности. Твой дружок, с которым ты из одной амбразуры палишь, вдруг может бросить ружье... Сам посмотри!

И действительно, мостовая за баррикадой была сплошь усеяна оружием.

Но почему же, почему я был тогда уверен, что мы непобедимы, почему даже сейчас, в Рони, хотя уже стоит июнь, только путем долгих рассуждений я принуждаю себя не верить в конечную победу народа?

Мстители Флуранса ждали нового штурма. Они явно боялись — одного боялись, что не хватит патронов.

— Может, у Бержере еще есть запасец? — спросил Фалль.— Идемте к нему!

А Кош крикнул нам вслед:

— Будьте осторожны, дети мои! Там, в центре, не дремлет буржуазная гвардия, а обыватели уже повытаскивали из ящиков комодов трехцветные повязки.

Сегодня обед принес мне сам папа:

— Слушай, Флоран, может, лучше будет, если ты мне станешь каждый день отдавать свои листки.

В такой форме он хотел дать мне понять, что шпики из Парижа могут в любой момент вернуться на ферму и что я еще отнюдь не в безопасности.

Моя сумка! Отец только о ней и думает. Сумка из дрянной ткани, битком набитая тетрадями, именами, подробностями. Теперь, когда в Версале идут военные суды, мои записи приобрели взрывную силу динамита, и отец первым делом подумал о сумке, о том, как бы получше ее припрятать. Что за человек!

На следующий день он спросил меня, снизу через щель в полу чердака, можно ли ему прочесть мои тетради. В кухне всю ночь горела свеча, а на следующее утро отец не пришел запрягать Бижу; теперь он все прочитал, я догадался об этом, прежде чем он попросил у меня продолжения, по его глазам догадался и по звуку голоса. Сумку он оставил у себя, а потом явился и вернул мне револьвер.

Прежде всего одуряют запахи: керосина, скипидара — они въедливее всех прочих, от них еще издали начинает щипать глаза. Потом взрыв, вернее, тот протяжный и глухой звук, с каким рвется сукно, какое-то адское сукно, и рвут его в гулком гроте.

Феб сбросил меня на землю. Он брыкался, ржал, вставал на дыбы и так запрокидывался, что я боялся, как бы он не рухнул навзничь, задрав к небу все свои четыре копыта — тогда он непременно сломал бы себе хребет. К счастью, я не выпустил поводья. Жеребец совсем обезумел от этого полыхания. Пришлось отвести его к Сен-Жермен-л'Оксеруа, покрепче привязать к решетке мэрии I округа. Надо сказать, это был действительно пожар из пожаров!

Чудовищный взрыв: на воздух взлетел Павильон Часов.

Чистая работа! Апартаменты, салоны, часовня, театр, Павильон Флоры, а также Павильон Марсан... каждому отряду свой участок. Паркеты, стены, панели и лепнина были тщательно промазаны керосином и скипидаром. Бочонки с порохом расставили в ряд в Маршальском зале и начиная от площадки парадной лестницы вплоть до середины двора. Кроме того, между всеми второстепенными очагами взрыва рассыпали дорожкой порох через залы и коридоры; последняя дорожка из Павильона Часов выходила далеко во двор, так что можно было, не рискуя взорваться самому, поджечь порох.

— А чтобы промашки не получилось,— объяснил мне какой-то молоденький федерат,— мы зарядные ящики сверху еще порохом присыпали. И в погребе их полнымполно — двадцать две штуки. Вот если бы Коммуна всегда все делала так основательно!

Огонь вспыхнул сразу. Языки его рвались сквозь все отверстия, будто сквозь прорези жаровни. Гигантские столбы пламени рассыпались краткими рыжими вспыш-

ками или плясали высоко в небе, расточая невыносимый жар; стены императорского дворца коробились, вспучивались, потрескивали и выли человеческим голосом, словно чудовище, извивающееся в агонии.

Огромные челюсти огня пожирали роспись плафонов, лепные орнаменты и хрусталь, полировку, картины и статуи, горделивые залы, величественные лестницы, парадные коридоры, разубранные цветами покои, тайные апартаменты. Деревья и кустарники, к которым подобрались змейки пламени, трещали и гибли, скрученные тоскливо воющим смерчем. На берегах Сены издыхал дракон, корчась и изрыгая пламя.

Бержере велел вынести стол на террасу, соединяющую Лувр с Павильонами Тюрго и Ришелье. И пировал там со своим штабом.

— Холодный ужин, как в высшем обществе! — воскликнул кто-то из сотрапезников.

— Да, мой милый, но зато какое зрелище...

Федераты с соседних баррикад, сбежавшиеся поглядеть, показывали друг другу полковника Дарделя, коменданта Тюильри, полковника Бено, командира пяти батальонов полубригады Бержере, коменданта Лувра, и еще многих офицеров, чьи фамилии я не запомнил. Тут-то я обнаружил Марту, оживленно болтавшую с каким-то здоровенным усатым парнем, лоб у него был квадратный, взгляд прямой, а повадки крестьянские; он оказался майором Буденом, тем самым, что несколько часов назад приказал расстрелять трех пленных у стены Павильона Часов, который сейчас пылал, как факел, среди рыжеватой мглы.

Этьен Буден, сорока трех лет, столяр, родом из Ионны, награжденный медалями за Крымскую войну. Вернувшись после Севастопольской кампании, он снова взялся за свое ремесло в XVII округе на улице Сальнев и в качестве столяра работал в Тюильри в покоях императрицы. Затем он вступил в Кавалерийский добровольческий корпус Республики под командованием Дарделя, а тот после своего производства в полковники и назначения на должность коменданта Тюильри в свою очередь произвел Будена в капитаны и сделал его своим адъютантом.

— Объясни, пожалуйста, Марта, почему это он тебя так интересует?

— Дурацкая твоя башка, никогда ты ничего не понимаешь! Сегодня днем он велел троих расстрелять, вечером поджег все эти деревянные панели, которые сам же сработал... И это еще не конец, поверь мне!

Сбившись под деревьями, служители Тюильри смотрели на пожарище. Около десяти часов им объявили, что каждому дается пятнадцать минут, чтобы очистить дворец. Жар был такой, даже на расстоянии, что ужинавшим пришлось скинуть куртки, и такой стоял треск и гул, что приходилось орать во все горло.

— Мы окружены, вернее, почти окружены! — кричал майор Серва.— Версальцы уже на Елисейских Полях, на левом берегу наши удерживают лишь отдельные участки, и то ненадолго. Только что пала Вандомская площадь. На улице Мулен баррикада под угрозой. Стрелки, которых я послал на правый берег, вынуждены были отойти и укрыться за стеной, а этот безумец Брюнель по-прежнему удерживает улицу Ройяль! На пощаду надеяться нечего! Наши солдаты следят за каждым нашим шагом... Иначе мы поступить не могли, не ради развлечения мы пошли на такое.

— Замолчи, Серва, надоел! Дай себе волю и не угрызайся, а главное, иезуит, не порти удовольствия другим! — завопил Буден, новый любимчик Марты.

— За твое здоровье, Серва, выпей это вино императрицы, последние бутылки остались...— добавил кто-то.— Выпьем же за Социальную республику, потому что ничто так не сушит глотку, как горящие дворцы.

Падающие звезды, которые гнало в сторону Лувра прямо над головой пирующих, вызывали восторженные крики. От горевшего лака шла такая вонь, что даже в горле першило.

Какой-то мужчина лет пятидесяти, в рединготе, с красной кокардой в петлице, похожий на Валлеса, когда тот еще носил бороду, взгромоздился на стол и вещал что-то, подняв хрустальную чашу к пурпурным облакам дыма, прошитым золотыми и серебряными блестками, беспорядочно кружившимися в небе.

— Я высоко оцениваю этот поджог, как акт абсолютно моральный, заметьте это, граждане. Мы видим, как уносится в клубах дыма твердыня монархии, этот ненавистный символ подлого прошлого, этот зловещий дворец, откуда шли приказы убивать народ, где все это замышля-

лось, где славословили преступления, направленные против общества! Я готов плясать от радости, видя, как он пылает, словно ветошь! Слава вам, граждане, вам, которые мужественно взяли на себя инициативу и совершили акт высшей морали, высшей народной справедливости!

Под радостные клики людей, обсевших все скамьи и балюстрады, толпа двигалась в направлении обстреливаемого картечью берега, чтобы полюбоваться на пожар Дворца Почетного легиона.

Бенуа Декам, бывший кровельщик, а ныне зачисленный в личную охрану Эда, рассказывал нам, как все произошло. Участники этого дела облили керосином не только проклятый дворец, но и частные особняки на улице Лилль. Женщины не поскупились на горючее. Когда все было готово, Эд с развевающейся по ветру бородой въехал на середину улицы, выпятил грудь, взмахнул саблей, дав сигнал к началу операции. Грохнул револьверный выстрел, поджегший ручеек керосина — и бах!..

Ужин пришел к концу. Гости Бержере остались сидеть за столом и, задрав головы, багроволицые, с трепещущими ноздрями, принюхивались; бороды и шевелюры их пронизывал свет, и все они молча глядели на алые потоки, на круговорот огненного наводнения, превращавшего эту майскую ночь в ту самую, первую, что создал Творец.

Во дворе казармы Лувра полковник Бено сцепился со стариком, хранителем Тюильри, остававшимся на своем посту и при Республике, и при Коммуне.

— Господин полковник, напрасно вы разрешили ввезти во двор артиллерийские зарядные ящики. Музей может взорваться! А там собраны бесценные сокровища!

Полковник Бено кликнул двух федератов:

— Выньте-ка револьверы и отведите этого холуя на площадь Наполеона. Пусть оттуда любуется, как горит дворец его хозяев!

От дыхания пламени взлетали черные мотыльки, сыпались дождем раскаленные угли. Шагая взад и вперед среди искр и алых отсветов, генерал Бержере, прижав левую руку к сердцу, а правую с вытянутым указательным пальцем воздев к небу, полузадушенному беспорядочно мятущимся дымом, диктовал депешу, предназначенную Коммуне:

«Только что исчезли последние остатки королевской власти. Я желал бы, чтобы такая же участь постигла все памятники Парижа».

Диктовку прервал какой-то запыхавшийся мальчишка, который от имени Брюнеля — и своего собственного тоже — принялся крыть всех и вся: дует восточный ветер и из-за пожара Тюильри еще действующие батареи фактически прекратили стрельбу, более того, им отрезан путь к отступлению.

Это оказался наш Торопыга.

— Хрен с ним, с отступлением,— сказал он нам,— а вот Пружинного Чуба сейчас убили.

Дантова ночь. Весь левый берег полыхает, как костер.

(Горели: сорок домов на улице Лилль и на улице Бак, Дворец Почетного легиона, Государственный совет, Монетный двор, дома на углу улицы Круа-Руж; на правом берегу — Пале-Ройяль, Тюильри, дома на улице Ройяль и министерство финансов — это последнее загоралось дважды.)

Целую неделю стояла адова жара, и памятники вспыхивали, как спички. Ослепительный свет, свет Апокалипсиса заливал весь Париж. Восточный ветер усилился. Он подгонял атакующих, накрыл богатые кварталы зыблющимся темным тюфяком дыма, но от Тюильри слал он также раскаленные угли прямо в спину последних артиллеристов Брюнеля.

Шквальный порыв прибивал к земле тучи искр, рыжий пар, густой дым, от которого задыхались бельвильские ребята, из последних сил старавшиеся под командованием маркитантки Машю втащить на лафет огромную пушку, которая валялась среди обломков рухнувшей балюстрады.

— Где Пружинный Чуб? — взвизгнула Марта.— Где он?

Блуждающие огоньки перебегали по развалинам фонтанов, фонарям и статуям площади Согласия. Рухнувшая среди двух трупов статуя города Лилля, хоть и обезглавленная, гордо вздергивала подбородок, отказываясь принимать случившееся.

— Его перенесли в морское министерство,— вмешался Шарле-горбун.— Но вам-то зачем туда идти? Вас тоже ухлопают.

Он возился у пушки, и от усилий даже горб его подрагивал.

На улице Ройяль над какой-то потерной болталась на удавке крыса, а над ней прицепили надпись: «Смерть Тьеру, Мак-Магону и Дюкро — пожирателям народа».

Было уже за полночь.

Лазарет устроили в морском министерстве. Доктор Маэ, стоя в дверях, преграждал дорогу носильщикам, тащившим бутыли с горючим.

— Вы не смеете, не должны. Некоторых раненых нельзя транспортировать.

Брюнель, отказавшийся подчиняться многочисленным приказам Коммуны об отступлении, только что получил от Комитета общественного спасения грозный приказ очистить позиции, но предварительно зажечь и взорвать морское министерство.

— Что ж, доктор, мы-то еще можем прибегнуть и к иным мерам, а вот когда версальцы нагрянут, ваши больные живехонько выздоровеют!

Потом начался кошмар, да еще Марта чуть нас не свела с ума. Пружинный Чуб был лучшим ее другом, ее единственной семьей, и она решила во что бы то ни стало разыскать его тело, перешагивала через раненых, умирающих, переворачивала, передвигала трупы. Я хотел было ее утихомирить — куда там, она отбивалась, царапала меня, чертыхалась, но глаза у нее были сухие. Пришлось оглушить ее ударом кулака по голове и взвалить себе на плечи, как куль с мукой.

Когда мы снова нашли Торопыгу, он дернул меня за сумку:

— Живо! Жарьте отсюда, очумели, что ли, дьяволы!

Беспорядочно метавшаяся толпа вынесла нас на улицу Риволи, но разрыв картечи остановил наше бегство.

— У-у, черт! — вдруг завопил Торопыга.

— Чего это ты?

— По-моему, маслина мне прямо в брюхо угодила.

— Залезай сюда!— крикнула Марта, спрыгивая с моих плеч.

Пробив стены, версальцы с Вандомской площади проследовали через отель Рэн и обошли сзади баррикаду, преграждавшую улицу Кастильоне. Они обстреливали нас изо всех окон, словно в тире, а мы тем временем пытались перелезть через ограду Тюильри.

Торопыга, которого я нес на плече, лишь слабо стонал, хотя его и здорово трясло, но рубашка моя стала липкой от крови. Я быстро перебросил свою сумку с бока на живот.

Марта плелась позади. Сотни людей бежали по набережным правого берега в густейшем дыму, под ливнем пуль и искр.

Само небо, казалось, вспорото багровым рубцом. Справа от нас струилась дымящаяся огненная река. Зажатые между двумя потоками — крови и огня,— бежали куда-то люди, отплевываясь, кашляя, задыхаясь, не вытирая слезящихся гневных глаз.

Феба мы обнаружили у решетки мэрии, чему немало удивились. Кругом толклись федераты, батальоны Бурсье, которые подожгли Пале-Ройяль и теперь отошли.

Я попытался было пристроить потерявшего сознание Торопыгу на спину Феба, но конь слишком горячился. Пришлось Марте вести его под уздцы, а мы, то есть Филибер Родюк, Шарле-горбун и я, несли на шинели нашего Торопыгу, нашего продавца газет.

— А где дочка мясника? — спросила вдруг Марта.

— Ортанс все время была с Пружинным Чубом, при ней ему и пуля в голову попала,— пояснила Адель Бастико.— Когда его тело перенесли в морское министерство, она за ним пошла, и с тех пор ее никто не видел.

Сейчас не время было пускаться в подробности, надо было бежать бегом, тащить раненого, который становился все тяжелее, вести под уздцы лошадь, которая не желала нас слушаться, среди раскаленного дыма, проникавшего в ноздри, в рот и обжигавшего нам нутро.

Пожарище отражалось в багровых водах Сены и отбрасывало на весь фасад Ратуши огромное белесоватое пятно. Баррикада сквера Сен-Жак была укреплена стволами только что срубленных деревьев. Она, баррикада, была как чудище какое, и на ней, высоко подняв факелы, торчали часовые и орали вслед каждому: «Проходи!» А позади нее, вокруг бивуачных огней, спали люди, словно живым ковром укрывшие всю мостовую.

Окна Дома Коммуны светились. Делеклюз, Ранвье и еще несколько несгибаемых бодрствовали, подписывали приказы, проверяли счета. Какой-то призрак слонялся по этому полю спящих, напоминавшему поле после битвы.

Он перешагивал через тела, каким-то чисто дамским жестом подбирал полы своей необъятной шинели, не перетянутой поясом. Время от времени он деликатным пинком ноги будил кого-нибудь из федератов. Короткий диалог, какое-то звяканье... Оказалось, это просто-напросто казначей, разыскивающий ротных счетоводов и вручающий им деньги — по тридцать су на душу. За спиной у него болтался мешок. Ну прямо Рождественский дед со своей пышной белоснежной бородой.

Над пылающим Парижем смолкла канонада.

Все многочисленные дворы Ратуши превратились в караван-сараи, и суетня там была соответствующая. Приносили раненых, вытаскивали трупы, грузили зарядные картузы и снаряды в повозки и омнибусы, с грохотом выезжавшие на рысях через узкие арки. В коридорах гулко отдавались стоны и смех.

Конец ночи мы провели у изголовья Домбровского. Генерал скончался ранним вечером в Ларибуазьере, после жестоких страданий *(несмотря на все героические усилия главного хирурга доктора Кюско)*. Незадолго до захвата лазарета версальцами майор Брионсель перевез на фиакре его тело в Ратушу. Поляка отнесли на второй этаж, в так называемую Голубую спальню, которая в свое время была отведена для дочери барона Османа; его положили на обтянутую лазурным атласом кровать Валентины Осман. Комиссар полиции, он же рисовальщик Пилотель, вышел из спальни, зажав под мышкой папку с набросками — набросками с усопшего.

Какие-то тени, неслышно ступая на носках, приближались к атласному ложу и запечатлевали поцелуй на челе генерала, перешептываясь по-польски. Среди них мы узнали нашего Янека из Дозорного, он тоже прикоснулся губами к челу усопшего, дал клятву над телом и отошел к своим друзьям эмигрантам, толпившимся в темном углу.

Восковое лицо Домбровского, лежавшего на левом боку, было повернуто в их сторону. Огонек свечи силился прогнать узенькие полоски тени, залегшие на этом маленьком лице. Казалось, полуоткрытый глаз и кончик острой бородки генерала одобряли приглушенные речи его мятежных соотечественников.

Марта уткнулась головой мне в грудь. Она где-то потеряла свою алую ленту, и ее рассыпавшиеся волосы щекотали мне нос. Дыхание стало ровнее. Она вся ушла

в созерцание этого маленького мертвого человека, этого великого генерала, которому по мерке оказалась девичья постель.

«Поляки... Польша... польский...» Эти слова то и дело доносил до нас беспокойный шепот из темного угла спальни. Мы разобрали также слово «Ярослав» и, пожалуй, больше ничего не поняли, но мы знали, что там вспоминают жизнь мятежного вождя. В том уголке девичьей спальни вместе с рассказами об ушедшем титане возникали кавказские ветры, варшавские ружья, сибирские снега. Нет, не речь над могилой, а просто шелест уважения и любви. Мы уловили также раза два имя Флуранса, нежное и сильное слово, посмертный дар воину, алый цветок в бокале вина с острова Крит.

— Польша,— шепнула мне Марта с придушенной яростью.— Польша! Наша Польша! О, Флоран, Флоран! Неужели и мы когда-нибудь станем чьей-то Польшей?

Она протянула мне губы. У них был вкус пороха и гари, дыхание ее обжигало, сама душа ее была пропитана запахом пожарищ. После того как и мы тоже принесли свою клятву генералу Домбровскому, Марта заснула, привалившись ко мне, на хлипком канапе, заснула, пожалуй, даже счастливая. А между тем моя рубашка, пропитанная кровью Торопыги, совсем задубела. А между тем красное знамя, которым прикрыли тело героя, вопияло на голубом атласе Валентины, но зато в темном уголке не умолкал шепот, блестели в полумраке глаза, слышалась мелодия растоптанных костров и мятежей, тлеющих под пеплом. Поляки... Польша... извечная мелодия схваченной за горло надежды.

24 МАЯ. СРЕДА. 1871 ГОД

Утром в среду Коммуна, или, вернее, то, что от нее уцелело, обосновалась в мэрии XI округа.

Уже к утру версальцы стали хозяевами доброй половины города. Красные панталоны, коим показывали дорогу квартальные патрули, еще ночью заняли I округ. После боя — резня. Труп доктора Напиа-Пике, расстрелянного на улице Риволи, пролежал там целый день, причем победители стащили с него башмаки. Той же ночью было убито много женщин.

На заре гражданин Бурсье, член Центрального комитета Национальной гвардии, в полной полковничьей форме, в красной перевязи с серебряной бахромой, тот, что защищал, а потом предавал огню Пале-Ройяль, объявил:

— Я должен попрощаться с женой.

Он оставался у себя не больше четверти часа. Спускаясь по лестнице, сказал консьержке:

— Я поступлю, как другие. Похороню себя под развалинами.

В тот же час капитан Бернар, защищавший Пале-Ройяль вместе с Бурсье, забежал в последний раз к себе домой на улицу Арбр-Сек. Он сказал домохозяину, гражданину Бюзону:

— Я стоял перед баррикадами, но пули от меня отказались. Мне жаль только моей матери.

Площадь перед мэрией XI округа сплошь кишела из конца в конец людьми. Сюда стекались остатки батальонов, уцелевшие после вчерашних боев, вольные стрелки, федераты в разномастной форме, а то и вовсе без формы, и каждый вносил свою лепту свидетельств и гнева. Особенно ярился 66-й батальон, который сражался в собственном квартале. Тот самый батальон, который отчаянно защищал церковь Мадлен и теперь устроил штаб-квартиру в двух шагах отсюда, в маленькой лавочке на улице Седен.

— Шестеро наших смельчаков,— рассказывала батальонная маркитантка,— были окружены, взяты в плен и расстреляны на наших глазах. А мы, мы укрылись чуть подальше и видели, как их поставили к стенке. Ничего мы для них сделать не могли. Мы смотрели, как падали они, сраженные пулями, с криком: «Да здравствует Коммуна!»

Эта смелая женщина, одетая в военную форму, была знаменита. Многим была знакома сдвинутая на затылок круглая шляпа, расстегнутая куртка, красный пояс. Звали ее Маргарита Генде, по мужу Лашез. Газета «Кри дю Пепль» воздала должное мужеству, проявленному Маргаритой под огнем на Шатийонском плато 3 апреля: «Она и солдат, и хирург. Львиная кровь течет в жилах этой храброй женщины». Статья была вывешена в булочной на улице Седен. Федераты 66-го все были с улицы Рокетт, с бульвара Вольтер и из Менильмонтана, а также из тех

ремесленных улочек, которые расположены вокруг мэрии, где ныне была резиденция Коммуны.

Квартал трясло в приступе грозной лихорадки у подножия статуи Вольтера.

Беглецы, раненые, убитые, повозки и военное снаряжение — все, отступая, стекалось сюда. Коммуна была теперь будто одной семьей, собравшейся по случаю какого-нибудь из ряда вон выходящего события. Расспрашивали о том, о другом, как бывает среди съехавшихся на сборище дальних родственников. И так мы узнавали все. Узнавали об отмщении и смертях, делились плохими и добрыми вестями. Собравшаяся вместе семья наконец-то обретала единую коллективную душу, кипевшую грозным рокотанием.

«Армия Коммуны была столь малочисленна, что одни и те же люди постоянно встречались друг с другом».

Луиза Мишель

— Их было четырнадцать. Женщины заряжали ружья, мужчины стреляли. Я застряла у окна и не могла выбраться ни через верх, ни через низ — лестницу разбило, и она висела, не доходя до полу. Вдруг слышу: «Сдавайтесь! Сдавайтесь!» — «Ни за что! Да здравствует Коммуна!» Так их всех и убило, до последнего человека. Остались только две женщины. Версальцы поставили их к стенке. Под дулами ружей женщины плевали им в лицо, проклинали.

— Скорее сюда! Измена!.. Бакалейщик на углу улиц Седен и Попенкур отказывается давать консервы.

— Факел, граждане, лишь только факел — непобедимое оружие, это единственное орудие, которое нельзя уничтожить! Восставшие будут передавать его, как эстафету, из рук в руки на всем пути гражданских войн!

— А ведь этот юноша, гражданин студент, прав! Это говорю вам я, ветеран 48 года, старый бланкист, и я тоже могу вам напомнить те случаи, когда пламя освещало мировую историю, вспомните хотя бы Нумидию, Карфаген, Сарагосу, Кремль!

Ноздри слушателей чуть вздрагивали, как подрагивают ноздри льва. Воздух Парижа слегка отдавал гарью.

Говорят, что делегаты Коммуны и некоторые военные командиры под дулами своих солдат настаивали на

том, что следует спасти от огня Лувр, Национальную библиотеку, Пантеон, Собор Парижской богоматери, часовню Сент-Шапель и Национальный архив. Они готовы были пасть от руки своих же ради спасения нескольких книжонок и какой-то там мазни на стенах, но их солдаты, вот чудаки, не стали стрелять!

Мужчины и женщины, устроившиеся у ограды статуи Вольтера, очень хвалили Тотоля — того самого командира батальона, который желал взорвать Пантеон.

— Вот уж кому плевать было на все эти храмы славы и гробы со знаменитыми упокойниками! Но гражданин Валлес запротестовал! Тотоль еще хотел взорвать церковь Сент-Этьен-дю-Мон и Библиотеку святой Женевьевы! А один старичок, маленький такой и голос еле слышный, сказал так: «По совести говоря, граждане, для вящей славы Коммуны нам, мне кажется, обязательно надо быть там, когда взрыв произойдет. Так-то оно лучше получится, если мы оттуда не уйдем и взлетим вместе с версальцами. Я, граждане, не оратор, но кое-что смекаю... Вы меня извините, я человек застенчивый и никогда еще публично не выступал. Но вот сегодня я в первый раз посмел и, по-моему, сделал превосходное предложение. Только уж давайте поторапливаться, если мы еще долго будем так болтать, никогда мы не взорвемся...»

У подножия статуи Вольтера смеялись с особенным удовольствием. Приятно было думать, что есть чисто революционные мотивы уважать старость.

Появились главные делегаты Коммуны — Вайян, Авриаль, Журд, Верморель, Тейс, Валлес, Лонге* и Делеклюз. Они прошли сквозь почти враждебно молчавшую толпу, исчезли в подъезде мэрии XI округа.

Последнее заседание Коммуны состоялось в восемь часов утра, присутствовало пятнадцать человек, принявших не без дискуссии решение покинуть здание Ратуши.

Старик Делеклюз, валившийся с ног от усталости, пытался еле слышным голосом втолковать присутствующим, что Коммуна родилась в Ратуше и именно в Ратуше ее избранники должны умереть.

Между тем комендант Ратуши Пенди завершал последние приготовления к поджогу. И только тогда Габриэль Ранвье последним присоединился к остальным — убедившись, что все будет сделано как следует.

Лефрансэ и Жерарден явились к своим товарищам в мэрию XI округа между десятью и одиннадцатью часами. Они рассказывали, еще ошеломленные всем, что пришлось увидеть:

— Мы направились в Ратушу договориться с Комитетом общественного спасения насчет обороны IV округа. Нас встретил отчаянный треск, звон лопающихся стекол, пламя, лизавшее фасады...

Женщины, дети взбирались на крыши посмотреть новый пожар.

Сражение шло почти рядом. Всего несколько шагов, и маркитантки и зеваки оказывались на мостовой у площади Бастилии или у Шато-д'О. Каждый затылком чувствовал жерла пушек Пэр-Лашез.

Марте, Фебу и мне было приказано срочно доставить донесение Фаллю, который по-прежнему находился в бывшей полицейской префектуре, где он командовал отрядом Мстителей Флуранса.

То была наша последняя скачка. Марта... Я чувствовал боками ее тепло, чувствовал, что она вся дрожит, услышал ее вздох:

— Ох, Флоран, никогда уж нам с тобой не скакать по Парижу!

Версальцы продвигались по набережной Конти.

Мы вырвались с Аркольского моста как раз в ту минуту, когда огонь с новой силой охватил здание Ратуши и на площадь с ревом посыпались фонтаны искр и пылающие головешки.

Феб встал на дыбы, сбросил нас с Мартой наземь, заржал, задрав морду к небу, которое было такой же масти, как и он сам, и, даже не оглянувшись на нас, взял с места кавалерийским галопом, перемахнул через баррикаду у башни Сен-Жак, свернул на улицу Риволи, понесся прямо на версальцев и исчез навсегда.

— К своим удрал...— проворчала Марта.— Не про нас такой конь. Он при нас состоял, когда мы в королях ходили, а теперь перешел к врагу, и не он один. Это лошадка для победителей. Богатенькая кляча, буржуйская...

На площадь Вольтера выходили люди из ворот кладбища Пэр-Лашез, где только что предали земле тело Домбровского.

В двух шагах от могильного рва батареи Пэр-Лашез отрывисто проревели свое надгробное слово.

Эта среда становилась похожа на воскресенье. Солнце расточало упоительное тепло. Женщины надевали свою лучшую одежду и шли с ребятишками к баррикадам, отнести мужьям поесть. Харчевни и кабачки были переполнены народом, но то и дело оттуда доносились возгласы:

— Мне лично хватит! Хватит!

— Ох, нет, не такой нынче день, чтобы напиваться!

И все-таки какое-то прекрасное веяние проносилось надо всей этой сумятицей. Никому не известный офицер, взгромоздившись на столик, ораторствовал:

— Единственное, что требуется,— это поставить вокруг всего округа заслон из тех, кто будет биться до конца!

Два брата, отправляющиеся на баррикады, обнимались на прощание. Один шел к Шато-д'О, другой — на площадь Бастилии. Старики с неловкой улыбкой буркали себе под нос:

— Ничего не попишешь! Что нужно сделать, сделаем. Так-то вот оно!

Под застрехой нашего сарая поселилась парочка снегирей, свили себе гнездышко прямо в расколотой миске, стоявшей на выступе балки. Гнездо никогда не пустует, кто-нибудь из родителей непременно остается сидеть на яйцах, прикрыв их всеми своими перышками. Стоит мне пошевелиться, и дежурный тут же поворачивается ко мне в профиль и щурит на меня свой круглый глазок, просто из любопытства, из интереса, а не со страху. Мы теперь с мсье и мадам Снегирь закадычные друзья.

Вот уже три дня, как мне еду носит папа. Если за передвижением по двору наблюдают, то гораздо естественнее ходить в конюшню или в сарай мужчине, а не женщине. Приносит он мне также и газеты, более или менее свежие. Всего три-четыре — не более, потому что наши усердные читатели газет, даже версальских, сразу попадают на подозрение. Я жадно проглядываю все эти опусы убийц, потом стараюсь прочитать что-нибудь между строк, а главное — обнаружить любимый силуэт среди всех этих одной черной краской намалеванных портретов арестованных женщин. Сотрудники «Пари-Журналь» так описывают «петролейщиц»:

«Одни, без спутников, чаще всего скромненько, но не бедно одетые. Не идут даже, а скользят вдоль стен. На первый взгляд просто обыкновенные домашние хозяйки, отправляющиеся за покупками...»

Вы, гнусные писаки! Знайте же, что это как раз и были домашние хозяйки, которые, не скрываясь, несли кувшины с молоком, потому что им приходилось, хочешь не хочешь, выходить из дому, чтобы накормить вопящего от голода младенца!

У меня так и захолонуло сердце, когда на глаза мне попало описание одной из девушек, шивших мешки и взятых в плен у Законодательного корпуса; надо сказать, что на сей раз борзописец не прибег к излюбленному приему опоганивания:

«Высокая красивая девушка по имени Марта, препоясанная красной перевязью с серебряной бахромой — подарок одного из ее любовников...»

Не та Марта, другая. Ибо вряд ли версальский строчкогон заметил бы мою при ее маленьком росте.

Прежде чем вылететь в окошко, под которым я пишу, папа снегирь, а может, мама снегириха описывает круг над моей головой и обязательно прощебечет мне что-то трижды, негромко, но дружелюбно.

Несчастных прохожих, на которых указали люди как якобы на Курбе, Лефрансэ, Гамбона и Амурý, только что расстреляли, тут же, на тротуаре перед Гербовым управлением. Версальская солдатня изощрялась в гнусных выдумках; например, складывали трупы друг на друга, чтобы по ним можно было ходить, как по ступенькам лестницы; кидали с размаху штык в глаз уже убитого федерата; победитель в этой игре в «ножички» забирал ставки, внесенные прочими участниками; стрелок-моряк, распоров живот молодой женщины, разматывал ей кишки...

Такие рассказы с быстротой молнии перелетали от группы к группе людей, теснившихся среди артиллерийских обозов на площади Вольтера.

К вечеру в среду мы пришли к убеждению, что это уже предел ужаса, что самое худшее уже позади.

В ушах у меня гудит, отголоски резни сливаются с вечным рефреном неистощимых иллюзий.

— Ох, и грозны наши женщины. На улице По-де-Фер поймали они артиллериста, который хотел было улизнуть, и поставили его к орудию: «Вот оно, ваше место. Ежели вы желаете, чтобы мы сохранили вам жизнь, выполняйте свой долг!»

— А на баррикаде у фонтана, как раз против Политехнического училища, всех перебили, кроме одной старухи, местной жительницы. Она стреляла, заряжала, снова стреляла... Версальцы несколько раз по ней били. Она была убита на месте, как стояла, эта старуха.

На углу улицы Фоли-Реньо мы вдруг услышали знакомый голос — это в кабачке «Мирный Парень» Предок рассказывал участнику событий 48 года о Бланки, о Флурансе.

Старик очистил нам место за своим столиком, заказал две большие миски мяса с овощами.

— Огорчает меня наш дражайший Делеклюз,— ораторствовал дядя Бенуа,— просто диву даешься, как это он еще на ногах держится. Не умирающий даже, а развалина какая-то. Поглядите на него, послушайте — это уже не революционный боец, а «великий прадед» Революции! А знаете, что он только что набормотал! — Тут наш старик заговорил умирающим голосом: — «Я предлагаю, чтобы члены Коммуны, препоясанные своими шарфами, устроили на бульваре Вольтера смотр всем батальонам, какие только удастся собрать. А оттуда мы выступим во главе наших бойцов и отвоюем...» Отвоюем!.. Все никак не может отделаться от ветхозаветных представлений о массовой вылазке. Но где же массы, где они сейчас, ради всего святого, граждане, скажите, где же они? Ах, этот чертов Делеклюз, милый ты мой, старый борец Революции! Существуют великие люди, которые мечтают, чтобы им еще при жизни статуи воздвигали, ну а наш трогательнейший якобинец еще дальше пошел, он при жизни стал собственной мумией! И никому к своим пеленам притронуться не дает, собственноручно их на себя накручивает, совсем как рабочий свой фланелевый пояс. Вот вам, граждане, добрый почин, пускай каждый положит булыжник в Делеклюзову пирамиду!

Мстители Флуранса заглянули в кабачок наскоро перекусить перед отправлением к Шато-д'О.

Нищебрат подошел к Предку, встал перед ним, опустил голову.

— Простите меня, дедушка.
— За что простить-то, внучек?
— А за то, что я вам не доверял, а верил Феликсу Пиа. Не на того старика поставил. Но и вы меня поймите, вы были везде — и нигде, вы всех знали — а сами вроде никто. А теперь, когда смерть приходит, вы здесь, с нами, так что простите меня, дедушка!
— Возраст у меня такой...
— Это не довод, совсем даже наоборот.
— И жить я устал.
— Вот это действительно довод, дед!
— Выпьем, гражданин!
— Редко когда я отказывался выпить с другом,— отозвался Нищебрат.— Но сейчас у нас патронов в обрез, незачем, чтобы в глазах двоилось.

Бютт-о-Кай был, в сущности, запоздалым Аустерлицем в этом гигантском Ватерлоо. В XIII округе Врублевский не только оборонялся, он сделал больше — нападал. Минувшей ночью версальцы прощупывали его позиции. А чуть забрезжило, бросились в атаку. Но федераты, которыми командовал польский генерал, не стали ждать неприятеля, а пошли ему навстречу. Четыре раза они отбрасывали версальцев. А те до того перепугались, что перестали слушать команду офицеров.

— Если бы у Коммуны были одни только Врублевские!

«О Польша»,— мечтательно вздыхал кабачок. «Польша!»

Ни капли горечи не слышалось в этом шепоте, напротив, каждому было приятно произносить это слово, просто смутная тоска, и только...

Марта потянула меня за собой на вершины Пэр-Лашез.

Артиллерийская батарея была размещена на самом возвышенном пункте кладбища, в северной его части, возле могилы герцога де Морни, а склеп, воздвигнутый на этой могиле, превратили в арсенал. Позади батареи вздымалась знаменитая пирамида — усыпальница семейства Божур, а в конце аллеи спали в своих могилах вечным сном Шарль Нодье, Казимир Делавинь, Эмиль Сувестр и прочие великие мира сего. Штаб расположился в часовне, по бокам его стояли еще две пушки.

Гул здесь заглушал человеческий голос, зато на этих высотах дышалось легче.

Пушки Бисетра, Бютт-Шомона и Пэр-Лашез зажигали над Парижем свои звезды, гаснувшие через мгновение. Им с Трокадеро, Пантеона и Монмартра отвечала артиллерия версальцев.

У подножия огромного парижского кладбища корчилась столица, задыхалась, потрескивала, это было подобно агонии дракона среди бурного кипения лавы, в удушающих ватных потемках, рассекаемых сабельными ударами молний.

— А все-таки им не много останется,— с удовлетворением заметила Марта.

Она хотела сообщить мне это по секрету, а проорала во весь голос над самым ухом.

Мы отправились ночевать к ней, в склеп господина Валькло.

ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ 1871 ГОДА

В тот четверг штормовой ветер вздувал пламя до самых небес.

Еще накануне, раздеваясь, мы увидели черные хлопья — конфетти огневого карнавала. Как супружеская чета на склоне лет, сидели мы на пороге нашего склепа и все всматривались в горящую ночь.

— Нет, этот дворец не мой,— говорила Марта.— Эти памятники не мои. Мой дворец — Коммуна, и мое единственное богатство — это народ. И его-то хотят истребить. Можно помешать рождению одного ребенка, но не всех детей, но не будущего...

Бессознательно она сложила руки на своем узеньком животе.

В глубине склепа, в пушечном гуле этой ночью мы любили друг друга. Ненадолго задремали. Затем Марта разбудила меня:

— Флоран, милый, нужно все, все песни перебрать, сегодня или уже никогда.

И мы снова лежали в объятиях друг друга. И снова уснули, но на этот раз уже крепко, под грохот батарейного огня.

Когда я проснулся, солнце рассыпало сквозь листву свою картечь. Снаряды свистели, перелетая через египетские, этрусские или греческие надгробья.

Мы шли по аллее акаций, зная, что там будут варить кофе артиллеристы.

Ночью на подмогу артиллеристам прибыла орудийная прислуга, уцелевшая после обстрела Латинского квартала.

Так, попивая кофе, мы узнали о резне, учиненной версальцами в семинарии Сен-Сюльпис, где был устроен лазарет. Там находились на излечении три сотни раненых. Версальская солдатня прирезала их на койках, предварительно расправившись с доктором Фано, который, защищая своих пациентов, взывал к Женевской конвенции и христианскому милосердию.

Тюильри все еще горел.

Мстители удерживали баррикаду на улице Шато-д'О. Всего их было двенадцать: Фалль, Чесноков, Пливар, Пальятти, Нищебрат, Шиньон, Матирас, Янек, Гифес, Феррье, Кош и Желторотый.

Тесная кухонька выходила на баррикаду, а спальня — на улицу Ланкри. Хозяйка, низенькая, добродушная женщина в кружевном чепчике, с решительными ухватками, чистила овощи. И ответила Фаллю, когда он посоветовал ей уйти отсюда:

— А куда мне прикажете идти?

Марта тихонечко шепнула мне в самое ухо:

— Вот дуреха-то, а с другой стороны, верно, зачем это ей уходить из собственной квартиры — третий этаж, до площади рукой подать, небось бешеные деньги плачены!

В представлении Марты любой, кто не ютится в каморке под лестницей, тот первый богач.

Между двумя атаками завязывались разговоры. Защитники баррикады приходили к нам поболтать.

Пушки били по Тамплю и Шато-д'О, они находились метрах в пятистах отсюда.

Как спокойно я пишу обо всем этом, а сарай потрескивает от жары. «У тебя сердца нет!» — бесилась Марта, когда я вынимал из сумки жалкие свои письменные принадлежности.

Папа принес мне несколько книжек. Перечитываю Гюго.

Паркая духота, не страшная, не от пожара, а просто летняя, привела мне на память тот четверг, когда мы

засели в кухне, а наша хозяйка — поневоле — ставила на жаркий огонь огромную кастрюлю с супом.

Люди перекликались над баррикадой из окна в окно. Кто-то спросил Киску Маворель:

— Сестрица Анна, не едет ли кто?*

— Никто не едет... А вижу я, поля зазеленели, а Коммуну мы просвистели!

Бойцы и зеваки, заглядывавшие к нам на минуту, приносили слухи о капитуляции: члены Коммуны и Центрального комитета Национальной гвардии якобы потихоньку сдались победителю, а оставшиеся в живых федераты собрались в Бельвиле и попросили пруссаков пропустить их, не чиня препятствий...

— А куда идти-то?

— Гражданин Растуль считает, что можно будет отплыть в Америку.

— Размечтались! На баррикаду! — взревел Фалль.

Тем временем подобные проекты уже начали кое-где претворяться в жизнь. По слухам, посол Соединенных Штатов предложил пруссакам выступить посредниками между версальцами и Коммуной. Теперь ясно, что речь шла о новой ловушке*: в тот же самый четверг пять тысяч баварцев установили кордон от Марны до Монтрейя; еще пять тысяч немцев заняли Венсенн, окружили форт, над которым по-прежнему развевалось красное знамя. Они перерезали дорогу батальону федератов гарнизона, спешивших к нам на помощь. Они отдали наших в руки тьеровских палачей — словом, продолжают оказывать версальцам дружеские услуги.

Не позже чем вчера я видел в окошко одного из этих несчастных. Впереди по Авронской дороге по направлению к Парижу ехали два фельджандарма и о чем-то беседовали, посасывая свои длинные фарфоровые трубки, а сзади со связанными руками, с веревкой вокруг шеи, приторoченной к седлу, плелся, спотыкаясь, наш товарищ. Папа проговорился, что это рабочий-мраморщик, горнист 73-го батальона, его арестовали в Вильмомбле, где он скрывался у родственников.

В течение утра число защитников баррикады удвоилось. Сюда подтянулись федераты, уцелевшие после боев в сквере Сен-Лоран и в предместье Сен-Дени, пришли

служащие Коммуны, чье начальство неведомо куда скрылось, и все дружно требовали ружей. Пришли и штатские, преимущественно старики, в их числе слесарь из Туртиля, который сказал мне:

— Ежели тебе, сынок, удастся выйти отсюда живым, не забудь сообщить моим дружкам, что Патор, старый плебей, погиб на баррикадах, как настоящий революционер.

А через час его на куски разорвало картечью.

Свинец пуль и сталь снарядов, как нарочно, метили именно в прохожих и в тех, кто только что прибыл на баррикаду. Надо признать, что Мстители научились определять угол падения снаряда и вовремя укрывались. Свист бомб не мог их обмануть.

— Снаряд — он все равно что человек,— говорил Чесноков,— самые шумные — не самые опасные.

— Какая бы армия была у Коммуны, если бы нам дали еще хоть несколько месяцев жизни,— вздыхал Гифес.

— Да и не только армия! — добавил Маркай, явившийся сюда в сопровождении литейщиков из заведения братьев Фрюшан.

На гребне баррикады скопилось столько людей, что буквально некуда поставить локоть.

Бесконечно долгие, тяжелые минуты, когда подпускаешь атакующих на расстояние ружейного выстрела. Пожары, канонада, смрад, крики, хрип умирающих, одышливое дыхание — все отступало перед этим ожиданием.

Это не была настоящая атака, когда враг идет открыто, широко развернутым строем, скрестив штыки, шагает рядами под барабанную дробь. Сейчас враг просачивался. Он был повсюду — на тротуарах, версальцы пользовались любым выступом, рассыпались по всем этажам, взбирались даже на крышу и били оттуда по нашему укреплению со свирепой меткостью.

Рабочие из литейной, Шашуан и Фигаре, сраженные пулей в спину, как-то ужасно незаметно, не издав ни звука, опустились на землю слева от меня, и оба, формовщик и полировщик, даже в смерти были едины — два их ружья остались на бруствере, раскачиваясь в неустойчивом положении.

— Огонь по любому движущемуся объекту! — скомандовал Фалль.

— Ты, должно быть, хорошо стреляешь,— наседала на меня Марта.— Попытайся снять вон того наверху, я промазала. Целься в трубу, он сейчас выглянет.

Я прицелился. До сих пор у меня перед глазами стоит эта крыша, на ней кирпичный параллелепипед, из которого подымались три трубы, увенчанные металлическими колпаками, и еще одна с флюгером в виде сидящей кошки, вырезанной из жести. Сначала я заметил ствол ружья, направленный вниз. Потом разглядел красное кепи, толстый нос, прижатый к прикладу. Я выстрелил. Фигура исчезла за трубой. Ружье отдало с такой силой, что мне чуть не оторвало плечо. А спину припекал огонь горящей лавчонки.

Выстрелы с обеих сторон стали реже. Каждый занимал свою позицию и держался начеку. Мы находились между двух огней. Никогда это выражение не казалось мне таким уместным. Перед нами — версальские ружья, сзади — горящий дом.

Марта куда-то исчезла.

— Без паники, граждане! Мстители вас прикроют. Уходите по одному, сначала пропустите детей.

Фалль выкрикнул эти слова, но голос его звучал спокойно, а кричал он, только чтобы всем было слышно. Он стоял во весь рост на мостовой, повернувшись к засевшим за баррикадой. И это он, который никогда не шутил, добавил еще:

— Тот, кто спешит, пусть заранее себе могилку роет.

Грохнул выстрел. Две-три секунды Фалль стоял, сложив на груди руки. Его коротенькая глиняная трубка упала и с треском разлетелась на куски. А когда упал он, мы впервые увидели под пышными усами, свисавшими бахромой из-под маленького круглого носика, его нижнюю ярко-красную губу. Остановившийся взгляд его округлившихся глаз, казалось, недоуменно вопрошал кого-то: как посмели не дать ему, бывшему литейщику завода Шнейдера в Крезо, закончить начатое дело? Потом он головой вперед рухнул на мостовую так, как стоял, со скрещенными руками.

На занявшемся пороге появилась Марта.

— Ты что, рехнулась, откуда ты взялась?

— Хочу попрощаться с Мартеном. Это тебе бы следовало пойти. Слишком много своих мы бросаем, даже мертвых. Не могу этого вынести.

Тут только я заметил, что наша смуглянка привязала к стволу своего ружья добрых два метра черной материи.

— Теперь, Флоран, такое у нас будет знамя!

О смерти гражданина Делеклюза мы узнали вечером от Предка. Старик плакал над стаканом вина в харчевне «Мирный Парень».

— Я сам себе, бедные мои детки, стал противен! Подумать только, что я такое вчера наболтал! Сравнивал его с мумией! А раз мумия, значит, давно помер. Эх, сумел он умереть, благородный наш якобинец!

На бороде его лиловели пятна вина. Предок, оказывается, сопровождал делегацию, уполномоченную вести переговоры с пруссаками.

— Вести переговоры с пруссаками, и это нам-то, кто стоял за войну не на жизнь, а на смерть! Ах, детки мои, представляете себе эту картину — мы идем к Венсеннской заставе с тросточкой в руке, а в это самое время Брюнель, Тейс, Лисбонн, Жоанар, Верморель, Варлен, Ранвье и другие ведут бой с ружьем в руках! Делеклюз всю дорогу слова не проронил, головы не поднял. Шел он в обычном своем штатском костюме, в цилиндре, в темном рединготе, а под ним красная перевязь. Но у заставы, когда он хотел было уже вступить на подъемный мост,— стоп! Федераты преградили ему путь: «Прохода нет!» — «Но ведь я гражданин Делеклюз, Военный делегат!» — «А нам плевать на это. Никто из Парижа не выйдет. Нам каюк, и ты останешься с нами!» Тогда папаша Делеклюз повернул назад и медленно, волоча ноги, как тяжелобольной, пошел прочь. Он вернулся в мэрию XI округа...

В мэрии находился между другими неукротимый Брюнель, раненный в бедро, его доставили сюда на тачке под градом снарядов, был здесь также и тяжело раненный Лисбонн. И еще Врублевский.

— Я предлагаю вам взять на себя командование,— сказал поляку Делеклюз.

— А несколько тысяч человек у вас есть?

— Самое большее несколько сотен.

— В этих условиях я не могу взять на себя такой ответственности.

И не ведавший страха поляк схватил чье-то ружье и пошел на баррикаду, как простой федерат.

— Ох, детки мои, детки,— продолжал Предок,— представьте себе мэрию XI округа, когда туда явился Делеклюз! На улице вокруг нескольких знамен с императорским орлом ревет толпа, эти знамена, говорят, отобрали у версальцев. Не знаю, какой такой зловещий шутник додумался до этого ребяческого фарса, якобы долженствующего поднять дух бойцов! Франкеля, раненного на баррикаде в предместье Сент-Антуан, приводит гражданка Дмитриева, тоже, кстати сказать, раненая. Раненые, умирающие, сколько же их! Пока красавица блондинка перевязывает нашего министра Труда, Делеклюз в соседней комнате снимает свой редингот. И аккуратно вешает его на спинку кресла. Потом садится. Подписывает несколько приказов, пишет письмо *(своей сестре: «Не могу и не хочу быть жертвой и игрушкой в руках торжествующей реакции. Прости, что я покидаю этот свет раньше тебя, тебя, которая всем ради меня пожертвовала!»)*. Затем он встал, надел редингот, посмотрел на всех поочередно, а глаза у него усталые, печальные. Хотел что-то сказать, но ничего не сказал. Стал спускаться с лестницы. Этажом ниже Тео Ферре достает из бочонка с новехонькими монетками по сто су, готовясь уплатить женщинам, шившим мешки. Детки мои, детки, так бы и передал по завещанию кому-нибудь свои глаза, чтобы тот, другой, видел, всегда видел, как видел я, гражданина Делеклюза, шагавшего по бульвару Вольтера, под ливнем металла и огня! Маленького! Щупленького! В цилиндре, в застегнутом на все пуговицы рединготе, в черных панталонах, в ярко начищенных ботинках — до конца дней своих не изменил моде, революционной моде 48 года! Шел в своей красной перевязи спокойно так, тяжело опираясь на тросточку. По дороге ему попались носилки — это несли в мэрию смертельно раненного Вермореля. Делеклюз пожимает умирающему руку, что-то ему говорит на прощание, потом снова надевает цилиндр на свою седовласую голову. *(В мэрии Верморель сказал поцеловавшему его Теофилю Ферре: «Теперь вы видите, что меньшинство тоже умеет идти под пули ради дела Революции». С этими словами он скончался.)* Мне,— продолжал Предок,— сажа забила ноздри, уши, сыпалась за шиворот. Весь Париж изрыгал в небо пламя, и оно низвергалось на город сажей. По бульвару Вольтера били пушки, рвалась картечь. Ветки сыпались, как спички, когда откроешь коробку не с той стороны. В пятиде-

сяти метрах от баррикады всех заставляли укрываться под арками. Пушки обстреливали бульвар продольным огнем. Из-под арки я видел нашего великого Делеклюза, его тощенькую черную фигурку на фоне алого диска закатного солнца. Опираясь на тросточку, он карабкался на баррикаду.

Перед Предком на столе лежала его любимая трубка. Он взял ее и стал указательным пальцем уминать в чашечке табак. Потом отпустил палец. Бах! Трубка упала. С секунду она покачивалась вправо и влево, словно отрицательно мотала головой.

Тут нас окликнул Филибер Родюк:

— Квартиру меняем! Коммуна перебирается в Бельвиль. Вас ищет Ранвье.

Париж пылал со всех четырех сторон. По-прежнему горел Тюильрийский дворец.

ПЯТНИЦА, 26 МАЯ 1871 ГОДА

Все-таки и в эту пятницу встал рассвет, пыльный, серый. Шел дождь, мелкий, упорный, назойливый.

У Коммуны осталось только два округа, XIX и XX, а также частично X и XI. А защищали этот островок всего три-четыре тысячи бойцов, против которых Мак-Магон двинул свои пять корпусов.

Всю ночь мы трудились: помогали мэрии XI округа перебраться в мэрию XX.

— Коммуна возвращается к своим истокам,— заметил Предок.

— К себе домой вернулась! — радостно подхватила Марта.

На мятежной горе Бельвиль кишели толпы мужчин в лохмотьях, растерзанных женщин, вдруг повзрослевших ребят. И на каждом лице, исхлестанном дождем, смывавшим кровь и порох, горели глаза непереносимым блеском. Каждый выбрался из ада и рвался поскорее снова спуститься в преисподнюю.

Людей оставалось так мало, что почти все знали друг друга.

Баррикаду предместья Сент-Антуан взяли только после полудня. За ней обнаружили сто трупов. Защищали ее сто человек, и среди мертвецов лежал, сраженный

в грудь тремя пулями, с очками на носу, краснодеревец Шоссвер.

Дядюшка Бансель требовал семнадцатифунтовых снарядов для орудия, установленного на двойной баррикаде за театром «Батаклан», на бульваре Вольтера. И как же он был счастлив, этот старый часовщик с улицы Ренар: защитники баррикады на улице Сен-Себастьен ухлопали версальского генерала — везет же людям!

В низком зальце толпятся командиры, являющиеся отовсюду с рапортами. Здесь не продохнешь от мешанины запахов табака, пороха, пота и крови, затхлых берлог, но над всем царит влажный тяжелый дух — такой идет от промокшей шкуры хищника.

«Закрывайте двери, так вас!..», или «Туды вас всех!», или «Шут вас возьми!» — то и дело кричит Предок.

Он чихает в бороду и всякий раз ловко подхватывает вываливающуюся от чиха трубку. Перед ним на столе разложена карта, откуда сквозняк сносит даже быстрее, чем неприятель, баррикады, выложенные из спичек.

— В семь часов нам сказали, что версальцы вошли в предместье *(Сент-Антуан)!* Мы бросились туда с пушкой, требовалось зацепиться на высоте любой ценой, а то бы площадь Бастилии обошли,— рассказывает Табачный Нос, он же тряпичник.

Они вели бой на улицах Алигр и Лакюе, на мостовой, в домах, среди развалин, под горящими балками. Шесть часов держались они и погибли все до одного.

Тем немногим, кого пощадила пуля, было отпущено всего десять лишних минут жизни — их расстреляли на месте. Офицер карательного отряда в порыве зверского вдохновения решил расстрелять тряпичника на груде мусора. Гражданин Бонот, по кличке Табачный Нос, запротестовал:

— Всю жизнь я прожил в дерьме, но я дрался и имею право умереть чисто!

Тьер и принц Саксонский подписали соглашение, по которому немецкая армия должна была в понедельник 22 мая окружить столицу с севера и востока.

Версальцы теперь продвигались с огромным трудом. Прежде чем рискнуть на вылазку, они сметали все, что было впереди, артиллерийским огнем, и артиллерия долж-

на была поддерживать их отступление, если они дрогнут. А за ними сразу же вступали в дело специальные отряды, на чьей обязанности лежали обыски и расстрелы.

Люксембургский сад превратился в арену сплошной бойни. Наспех сколоченные импровизированные военно-полевые суды заседали повсюду по двадцать четыре часа в сутки — в Сенате, в Опере, в театре «Шатле», а также в казармах и в кабачках, в школах и на задних дворах.

После каждой «порции», пользуясь их же словечком, трупы расстрелянных сбрасывали на берег Сены или еще куда-нибудь. В траншеях, вырытых в сквере Сен-Жак, насчитали более тысячи трупов.

«Когда снова ворошили заступом в этих сырых ямах, то натыкались на головы, руки, ноги, плечи. Очертания трупов вырисовывались под тонким слоем мокрой земли...» («Монитер универсель» от 1 июня).

В номере «Иллюстрасьон» от 10 июня Леон Крейль писал:

«Версальцы расстреливали тут же, на месте, по собственному почину. Расстреливали на баррикадах, на улицах, в общественных местах, были в спешном порядке созданы военно-полевые суды, дабы страшная расправа шла без передышки...»

«...приводили все новые и новые партии пленных. Каждая такая группа состояла примерно из одних и тех же персонажей. Национальные гвардейцы, мужчины в рабочих блузах, женщины предместий, маркитантки, дети, оборванные девчонки. Пленников запирали в здании театра. Можно было видеть, как они прохаживались по балкону фойе, идущему вдоль фасада. Надо ли говорить, что ради такого зрелища к театру сбегались любители сильных ощущений.

Огромная толпа запрудила площадь Шатле от театра до набережной, горя желанием посмотреть, как подводят все новые партии пленных. Несчастные, вышедшие на балкон подышать свежим воздухом, стали объектом проклятий.

Надо признать, что эти бранные выкрики не смущали «коммунарщиков». Почти все высоко несли голову. Особенно это заметно было у тех, кто сражался на баррикадах. Ответы, которые приписывали им, были в полной гармонии с этими вызывающе дерзкими физиономиями.

На задаваемые им вопросы большинство, не колеблясь,

отвечали, что исполняли свой долг! Значит, бывает и такой долг — поджигать и разрушать Париж!

Один из членов Коммуны якобы ответил, что не жалеет о том, что сделал, и, будь у него возможность, начал бы все снова...

Осужденных выводили из театра группками по двадцать, по двадцать пять, тридцать, сорок человек и под эскортом солдат вели по набережной к казарме Наполеона, расположенной позади Ратуши. Осужденные были связаны попарно за кисти рук. Ни один из них не питал иллюзий относительно ожидавшей его участи...

Двери казармы Лобо открывались и захлопывались за очередной «порцией». Это словцо полюбилось публике, стоявшей шпалерами на всем протяжении пути. Уже через минуту после того, как пленных вводили в казарму, раздавался ружейный залп, потом отдельные выстрелы. И «порция» была уничтожена...

Однако в целях истины мы должны сказать, что эти массовые казни, длившиеся в течение многих дней, произвели за границей глубокое впечатление. На заседании бельгийского парламента господин Демер заявил: «В Париже обе стороны совершали жестокие действия. Правосудие должно оставаться правосудием».

Одна из версальских газет под заголовком: «Значит, пленных больше не существует?» писала:

«Если среди пленных находится хоть один честный человек, вовлеченный в вихрь событий, вы сразу заметите его среди прочих. Честного человека узнают по нимбу над головой; так предоставьте же нашим храбрым солдатам свободу мстить за своих товарищей тут же, на поле боя, пусть в минуту ярости они свершат то, что не пожелают сделать завтра, когда остынет бешенство схватки».

А все-таки молодец Золя, великолепной фразой заканчивает он свое «Чрево Парижа»: «Какие же мерзавцы эти честные люди!»

Дождь все лил и лил. И каждый, как ни странно, клял его, словно бы забывая о том, что не так уж он страшен по сравнению со снарядами, яростно бьющими уже второй день с Монмартра по Бельвилю и Менильмонтану.

На нашем участке Эжен Варлен, сменивший Делеклюза, подписывал приказы. Когда очередной офицер грубо окликал его, требуя невозможного — свежего батальона

или батареи,— Варлен поднимал на мгновение от бумаг свою чуть седеющую пышноволосую голову, свое прекрасное задумчивое лицо, обрамленное квадратной, тоже седеющей бородой. Вновь назначенный Военный делегат отсылал просителя, дав ему шестерку ветеранов и гаубицу, заржавленную, но зато снабженную пятнадцатью снарядами — и то редкость!

— Варлен, он принадлежит к меньшинству,— вздыхал Эмбер.— Я в «Пэр Дюшен» обозвал его трусом.

Мстители Флуранса стояли в центре редута, который находился, под командованием Жантона, Фортена и Да Косты, на улице Седен, прикрывая подступы к мэрии XI округа. Их единственное орудие было разбито вражескими снарядами, но стрелки заняли позицию в домах. С третьих этажей они били в направлении улицы Попенкур вплоть до бульвара Вольтера. Во время коротких передышек они откладывали ружья и брались за лопату.

— Вот я опять со своей лопаточкой — благодарение богу,— восклицал Нищебрат,— нашему красному богу повстанцев. Наконец-то Коммуна решилась предоставить мне работу! Я уже не безработный, аллилуйя!

После гибели своего командира Фалля Мстители не стали выбирать нового начальника — не было ни времени, ни возможности об этом подумать. Теперь старшим стал шалопай Нищебрат. Произошло все это без споров, само собой произошло. Именно такого командира требовали обстоятельства, и Нищебрат взял на себя командование, сам того не желая, в силу своих качеств, а именно: голоса, роста, отваги, бесшабашной своей улыбки, одним словом, благодаря своему неукротимому зубоскальству, воистину страшной своей веселости.

Наш пламенный Нищебрат как нельзя лучше подходил к роли командира в те последние минуты, когда голодранцы готовились вцепиться в горло врага зубами.

Сбежал Пливар. Внезапно страх оказался сильнее, даже непонятно почему. Нищебрат не позволял злословить насчет заячьей душонки Пливара.

— Чего уж тут! Пливар, он кто был? Закройщик у Годийо. А для наших дел он не годится...— Нищебрат протянул руку к заложенному матрацем окну, за которым лежала улица Седен, насквозь прошитая пулями.— Пливара учили дубить шкуры не человечьи, а животных. Он дрался, и хорошо дрался целых два месяца и в Курбвуа,

и в Нейи, и в Исси, и на Новом Мосту, и у Шато-д'О, и на бульваре Вольтера. Отдал все, что мог, поэтому не ругайте вы его. Он смылся, но от него уже ничего не осталось, внутри пусто, так что о нем не жалейте. Кто следующий, граждане Мстители?

Стрелки в ответ поносили его, но ему, Нищебрату, казалось, только того и надо, это как бы входило в его систему командования.

Пливар вернулся к себе в тупик просто для того, чтобы переодеться в штатское платье. Бландина встретила мужа словами:

— Сбежал, значит? Оно к лучшему. Давай мне свое ружье! Мне хватит духу на двоих. А ты займись ребятами, рогач несчастный!

Мы только что покинули Мстителей, пора было вернуться на свой участок, но тут горохом посыпались пули. Мы обернулись. Беспорядочные ружейные выстрелы лихорадочно догоняли друг друга, словно боясь опоздать. Предназначались они Пальятти, который был застигнут на углу улицы Бафруа, посреди мостовой. Каменщик-итальянец словно застыл в позе Дискобола с поднятой рукой, выставив вперед ногу. А стрельба не унималась. Казалось, убийцы промахивались раз за разом. Крови не было заметно, так как Пальятти носил красную рубаху гарибальдийца. Наконец он решился нарушить свою неподвижность, чуть повернулся, выпрямился, раскинул руки, откинул назад курчавую голову — и мы увидели его лицо римского гладиатора, все в глубоких складках,— широко открыл свои огромные глаза, к небу взлетел его могучий рев, и он свинцово-тяжело рухнул на землю.

Стрельба прекратилась. Раздался нечеловеческий крик. Кричала Дерновка, от нее мы не ожидали ни этого крика, ни проклятий:

— Это мой муж, мой! — выла она.— Вы убили моего мужа, понимаете? Законного мужа. С ним-то я не просто спала.

Мстителям не удалось ее удержать. Их маркитантка, их Дерновка устремилась вперед, она бежала по улице, неуклюжая, круглобокая, встряхивая белобрысыми кудрями, большие груди колыхались под старой кофтой, бежала, нелепая и трагическая, к своему поверженному гарибальдийцу. Снова наперебой заговорили ружейные залпы. Бывшая Дерновка с бега перешла на медленный

шаг, руки судорожно прижались к кофте, обагренной кровью... Казалось, ей вовек до него не добраться. Уже на коленках она протащилась два последних метра и упала на окровавленный труп Пальятти. Дождь хлынул с новой силой. Через несколько мгновений ложе, доставшееся двум телам, соединенным в объятии, окрасилось в розовый цвет.

— Теперь уж они по-настоящему поженились,— сказала Марта.

Все еще прибывали пушки, без единого снаряда, их тащили на себе. Когда запас боеприпасов подошел к концу, началось короткое совещание, последнее. Товарищи, которые желают двинуться к XI округу, оставят на баррикаде свои зарядные картузы и впрягутся в пушки. Прежде всего спасти пушки!

Площадь Вольтера имела тогда три ипостаси: бивуак, лазарет, морг. Лежа в грязи, под ливнем, раненые, которых уже никто не подбирал, истекали кровью. От дождя отлипла от стены мэрии XI округа и болталась на ветру афишка с обращением к версальским солдатам, повесили ее совсем недавно, и она вызывала горькую улыбку:

«Мы отцы семейств... Братья, присоединяйтесь к нам, вы — часть народа...»

Солдаты Коммуны, из тех, что были легко ранены или просто стойки в страдании, переговаривались между собой.

— Есть только,— говорил Удбин Сенофру,— есть только два сорта людей — те, кто хочет спасти свою шкуру, и те, кто хочет продать ее подороже!

— Увы,— отозвался прославленный мастер по сплавам.— Мы в теперешнем нашем состоянии не относимся ни к тем, ни к другим.

Обоих мастеров Фрюшана сразил один снаряд — одного в ногу, другого в поясницу.

Они спросили нас о пушке «Братство».

— Надо бы поосторожней с ней, ребятки!..— начал Сенофр без улыбки.

Но его друг не дал ему договорить:

— Знаешь, им, по-моему, теперь тоже не до того!

— Да я, дружище, просто хотел их предупредить, так сказать, по долгу профессиональному.

Один раненый все старался оправдаться, он чувствовал себя виноватым: дал себя изувечить врагу. И говорил хлопотавшей при нем жене:

— Когда дождь хлещет в лицо, прямо в глаза бьет, мало что видно. Слышишь — в тебя стреляют, а откуда, кто? Видишь только, как блестит мостовая, и все...

Старый солдат с окровавленной штаниной вмешался в разговор:

— Под конец большой битвы всегда дождь идет. Видно, небесам уханье наше осточертело.

Ревущая толпа перед тюрьмой Ла-Рокетт: выводят заложников. Всем ясно — на расстрел.

— На этот раз комплект.

— Ровно полсотни — священники, жандармы, шпики.

— Пятьдесят — это точно?

— Без обмана! Их выводили по десять зараз и потом во дворе еще пересчитывали. Когда рядом взрывался снаряд, люди переставали выкрикивать: «Смерть им!», приветствовали взрыв вдохновенным: «Да здравствует Коммуна!»

— Начали они с банкира Жекера, с улицы Партан. Это правильно. А потом гражданин Гуа подумал о тех, кто оставался в Ла-Рокетт.

— С гражданином Гуа можно быть спокойным: правосудие совершится.

Федерат-полковник, в куртке и кепи, с саблей на боку и револьвером за поясом, приводил в порядок кортеж у выхода из тюрьмы.

Эмиль Гуа был местный. Военный писарь, бланкист. Друг Эда и Тридона, Гуа был в ссылке в Ламбесса (Алжир) с 1852 по 1856 год. В 1870 году в связи с волнениями после убийства журналиста Виктора Нуара был присужден к каторжным работам, бежал в Бельгию, вернулся после 4 сентября. После 18 марта Эд взял его к себе в штаб адъютантом, дав ему чин полковника.*

Впереди шли тридцать шесть парижских жандармов в форменных куртках, холщовых серых панталонах и кепи, некоторые в каскетках. В заключении они находились с 18 марта. За ними следовали десять священников — иезуитов и монахов из монастыря Пикпюсс*— в сутанах. Четыре заложника в гражданской одежде замыкали шествие, их охраняли особенно строго. К ним были приставлены капитан с револьвером в руке, национальные гвардейцы в темно-зеленой форме, с гарибальдийским петушиным пером на мягких шляпах, они шли, держа

арестованных под дулами нацеленных на них ружей; возбужденная толпа не отрывала глаз от шествия, на четверых указывали пальцами, о них рассказывали друг другу. Высокий сухой господин, не гнущийся, как палка, в строгом черном сюртуке и в черных же панталонах, был чиновником канцелярии полиции и звался Дерест. Толстый, в зеленой шинели национального гвардейца,— Ларжильер. Кургузый карлик в красных штанах, какие носят каменотесы,— Рюо. И наконец, четвертый — шпик Грефф. Они вызывали у людей особенную ярость. *(Чиновник Дерест, секретарь зловещего Лагранжа, шефа политической полиции, был непременным участником всех провокаций Империи. Ларжильер — ренегат. Он был причастен к июньскому восстанию 48 года, приговорен к каторжным работам, помилован и по возвращении в Париж поступил в полицию.* **(В 1855 году он подписывал свои донесения именем « Луи », получая сначала сто пятьдесят, потом сто франков в месяц.)** *Каменотес Рюо тоже был когда-то активным участником революционных событий. Его знали в Бельвиле, где он назывался «дядюшка Жозеф». По некоторым предположениям, он согласился стать агентом-провокатором из-за нужды.* **(Подписывался «Антуан». Сто, потом семьдесят пять франков ежемесячной мзды).** *Грефф, рабочий-краснодеревщик, председатель Общества свободомыслящих, был в 1860 году инициатором кампании за гражданский похоронный обряд. Он использовал это для засылки множества шпиков в революционные группы.* **(Подписывался «Мартен». Соответственно сто, потом семьдесят пять франков в месяц.)**

Неистовствовавшие вокруг этого кортежа люди объясняли на ходу зевакам:

— Директор тюрьмы Франсуа, не захотел выдать нам этого подлюгу Греффа. Надеялся устроить ему побег. Они, говорят, были закадычными друзьями. К счастью, Гуа, не посмотрев на то, что гражданин Франсуа директор тюрьмы, приставил ему пистолет к животу.

Кроме двадцати национальных гвардейцев Эда, шествие охраняла еще рота, которую полковник Гуа называл своим карательным отрядом: люди отряда носили вокруг кепи красную полоску.

Толпа, обращаясь к ним, спрашивала:

— Куда ведете?

— В Бельвиль!

Отряд не без труда удерживал женщин, стариков и детей, которые требовали расправы тут же, на месте, восклицая:

— Смерть попам!

— Смерть шпикам!

Беглецы и уцелевшие после боев стягивались со всего Парижа, Парижа Коммуны, в наш и без того переполненный Бельвиль. Женщины Дозорного разбились на отдельные группки сообразно личным своим переживаниям, к одной принадлежали перепуганные: портниха мадемуазель Орени, госпожа Жакмар — булочница... К другой любопытствующие: тетушка Канкуан, Тереза Пунь, к третьей убитые горем вдовы: Леокади Лармитон, тетушка Патор, старушка Шоссвер; были вдовы неистовые — Камилла Вормье, жены Шашуана, Фигаре, Удбина, Сенофра, вдовы страшные — Элоиза Бастико, Клеманс Фалль, были матери, наводящие ужас,— Селестина Толстуха, Бландина Пливар, и особняком стояла белокурая эриния — Трусеттка.

Если говорить откровенно, то до последнего времени я был недалек от мысли, что все эти «бдительницы», эти клубные кумушки, эти своего рода мегеры Бельвиля, мегеры политических страстей, более или менее равнодушны к своим отпрыскам. Лишь изредка наш тупик давал мне зримое доказательство материнской любви в такой форме, в какой представлена она в школьных учебниках, в благомыслящих изданиях и с иллюстрациями, короче, в стиле христианской морали. Ни подарка, ни ласки на людях во дворе; у матерей для этого не было ни средств, ни времени. Материнская любовь выражалась в том, что они урезывали себя во всем ради ребятишек, приносили ради них вечные жертвы, о чем трудно было догадаться, глядя, как мамаша шлепает свое чадо. Воспитывать своих сыновей и дочерей для Революции — это значит дать им хорошее воспитание, а послать их в бой — значит послать по хорошему пути. Мальчик с ружьем в руках на баррикадах — это хорошо воспитанный мальчик, и мама может гордиться им перед своими подружками.

Когда же наконец старый мир поймет, что пора вывернуть наизнанку, как грязный носок, все свои представления, когда он уразумеет, что так называемый «хо-

рошо воспитанный мальчик» — в действительности просто маленькое чудовище, тщеславное, скрытное, холуйствующее и бесконечно подлое?

Так, мне казалось, что Бландина Пливар с легкостью препоручила заботы о своей Пробочке глухонемому кузнецу. «В конце концов,— думал я,— у мамаши Пливар и так ребят мал мала меньше, так что не худо отделаться от лишнего рта». И точно так же я считал себя вправе воображать, будто моя тетка интересуется своим сыном, а моим кузеном Жюлем лишь в той мере, в какой он является для нее поставщиком политических сенсаций.

Никогда себе этого не прощу — как даже смел я так подумать! Что знал я тогда о необъятном сердце матерей-пролетарок?

Они не из хнычущих. Я думал о маме, о всех ее заботах обо мне. Но она другой породы — она и страдает-то по-крестьянски. В этом тоже есть свое величие, но подмешано к нему, я даже в толк не возьму, как именно, что-то мученическое, смиренное. По-разному кричат от боли больная собака и раненая львица. Моя мать вызывает жалость, а те матери — страх.

— Трусеттке только что сказали о смерти Жюля,— шепнула мне Марта.— Его с Пассаласом расстреляли вместе с другими в Опере.

Немотствующие и застывшие, эти женщины уже не были прежними Трусетткой, Бландиной Пливар, Селестиной Толстухой... Их нельзя было узнать. Безутешные матери. Матери беспощадные.

Они шли во главе кортежа, предшествуемые горнистами, которые возглашали боевую бельвильскую застольную.

Кортеж двинулся вверх по улице Аксо и остановился на мгновение там, где она переходит в улицу Борего. На пересечении этих улиц, напротив сада, где толпа теснилась, следуя за заложниками, в окне кабачка Дебена, Марта указала мне на двух журналистов, которых я немного знал,— на Лиссагаре и Эмбера.

— А Валлеса узнаешь? — Марта ткнула пальцем в редактора газеты «Кри», прислонившегося к садовой ограде. Он беседовал с Алавуаном из Национальной типографии, Арнольдом и Фортюне*.

— Да-с,— говорил Арнольд,— не для того мы создавали Центральный комитет Национальной гвардии.

Их разговор заинтересовал Марту. Убеленный сединой федерат наставил свой револьвер на преградившего ему дорогу Алавуана.

— Вот уже неделя, как наших расстреливают,— неистовствовал он.— А вы хотите щадить этих людей!

Нахлобучив круглую шляпу на глаза, Валлес рассказывал глухим голосом:

— Там, сзади, я видел старика, поспешавшего за толпой. Он был без кепи, потные седые волосы спутались. Он ковылял из последних сил — шутка ли,— седьмой десяток! Я узнал его. Я встречал этого еле тащивщего ноги старика с трясущейся головой в последние дни Империи, во время осады, у папаши Белэ. Тогда мы здорово поругались. Присутствовавшие упрекали меня в недисциплинированности и кровожадности. Теперь я воззвал к нему: «Скорей сюда, помогите нам! Через пять минут с ними расправятся!» Старичок остановился, чтобы перевести дух, и, потрясая ружьем, которое сжимали его морщинистые руки, завопил вслед за другими: «Смерть им!» — «Как, и вы тоже?..» Он как безумный оттолкнул меня: «Пустите! Дайте мне пройти! Их тут шестьдесят? Значит, мой счет сойдется: только что я сам видел, как расстреляли шестьдесят человек, хотя перед тем им была обещана жизнь!» — «Да послушайте вы меня!» — «Убирайтесь к дьяволу или я вас сейчас пристрелю!»

— Марта, послушай! Что это? Что за музыка?

В паузах между криками и залпами выстрелов отчетливо слышались обрывки мелодии.

— Пруссаки играют за укреплениями.

Совсем рядом, за укреплениями, пруссаки играли плавный и тяжеловесный «Венский вальс».

Задыхающийся старик, друг папаши Белэ, подошел к Валлесу.

— Я был с вами груб, но теперь, когда дело сделано, можно и поздороваться по-человечески. Ах, дорогой мой, я отомстил! Если б вы видели этого Ларжильера: он прыгал, как кролик!

— Ну а другие?

— Другие! Они расплатились за подлое предательство на улице Лафайет! Это уже не политика, это простое убийство! Я в ваших делах ничего не понимаю, я

из-за Галифэ полез в это пекло. Я не с коммунарами, но я против золотопогонных палачей... Скажите мне, где еще их можно перещелкать, и я туда брошусь!

Стоявшая неподалеку женщина проговорила только:

— Мой возлюбленный умер. Его выследил Ларжильер. Я первая выстрелила в этого шпика.

На обратном пути нам встретилась кучка стариков, уцелевших из той тысячи федератов, которые в течение всего дня на улице Аллемань удерживали двадцатипятитысячную армию версальцев под командованием Ладмиро,— они были все в крови. Над Ла-Виллетскими пакгаузами стлались в небе черные языки пламени — это горели тысячи литров масла, керосина и спирта.

Не скоро я забуду эту ночь с пятницы на субботу, нашу с Мартой последнюю ночь.

С вершин Бельвиля мы пытались узнать знакомое лицо Парижа, города, который мы десятки раз пересекали вдоль и поперек. Под дождем почти всюду погасли пожары. Только по коротким алым вспышкам, расцветающим то здесь, то там, можно было угадать скелет купола, обглоданную огнем арку. Канонада стихла, но прусская медь и дудки по-прежнему кружили в вальсе у нас за спиной.

Марте больше не хотелось спать.

И мы отправились с дружественным визитом на кладбище Пэр-Лашез, где артиллеристы лихорадочно пересчитывали свои последние снаряды. А неподалеку от них могильщики рыли огромную братскую могилу для погибших бойцов Коммуны, которых при свете факелов приносили на скрещенных ружьях федераты; а впереди шагал один-единственный барабанщик — бледный мальчуган с горящими глазами — и бил как бог на душу положит по барабану, обтянутому черным крепом.

Люди смеялись, рассевшись вокруг бивуачных костров, длинные языки пламени выхватывали из тьмы белесые контуры надгробий. В центре кружка, у костра, мы увидели нечто странное. Два призрака с лицами мертвецов... Вдруг эти призраки сняли свои маски — два оскаленных черепа. Это оказались мой кузен Жюль и его дружок Пассалас.

Их действительно схватили и привели на площадь Оперы, где версальцы устроили бойню. Так что все слышанное нами не было выдумкой. Но им удалось оттуда

вырваться, историю эту они рассказывали в сотый раз и все более и более путано. Оба были сильно пьяны и словно тронулись.

Здание Оперы занимали две роты версальцев. Одна была в правом крыле, в помещении дирекции театра, другая — в левом. Двор был забит арестованными, которых загоняли в глубь двора, чтобы вместить партии вновь прибывавших.

Жюль, оглядевшись, сделал небезынтересное наблюдение: капитан первой роты отправлял в подвал подозрительных, капитан второй роты — командовал расстрелами. Понятно, что наши парни проскользнули в помещение дирекции.

Версальская солдатня, в ожидании своей очереди убивать безоружных коммунаров, сидела и лежала на широкой лестнице Оперы. Юнцы разбрелись по театральному залу. Они забавлялись, растаскивая обнаруженную за кулисами бутафорию и костюмы, а также маски, служившие актерам на последних спектаклях. *(«Волшебный стрелок» и «Коппелия».)* Кто закутался в саван, а кто напялил на себя маску гримасничающего скелета.

Порой, вызванные сержантом, они бежали занять свое место в строю карателей, к этой липкой от крови стене, так и не сняв своего призрачного облачения. *(Костюмы персонажей оперы Вебера «Волшебный стрелок» в сцене отливки пуль.)*

— Нам по-настоящему повезло,— чуть позднее сказал Пассалас, призывая нас с Мартой в свидетели: — Вот оба они знают четырех бретонцев из тупика. Одного, по фамилии Мари, ткнули штыком в ягодицу. Мы его выходили. И он с нами не один стаканчик опрокинул в «Пляши Нога». Я лично полагаю, что главную роль тут сыграли эти застолья! Когда он нас с Жюлем узнал, то даже обомлел. Не очень ему хотелось нас расстреливать, этому Мари. Но по правде сказать, что он-то мог сделать! Серая скотинка, в чинах его не очень повышали! «Ты о нас не беспокойся, Мари,— сказали мы ему.— Дай нам только потихоньку парочку саванов и черепушек, масок то есть».

Вокруг костра переходили из рук в руки бутылки с красным вином.

Ночевали мы с Мартой в склепе господина Валькло. Вдруг Марта взяла мои руки в свои и стала приглядываться к ним в свете разрывов.

— Как я твои руки, Флоран, дорогой, люблю, какие они у тебя белые, мягкие. Дай мне слово, что с завтрашнего утра ты будешь мыть их четыре раза в день.

— Это еще зачем!

— А затем, что твой революционный долг, лично твой,— это выбраться отсюда вместе с твоей сумкой, с твоими тетрадями,— проговорила она важным тоном.

Она сама сняла с меня белый пояс, штаны зуава, черно-зеленый костюм Мстителей Флуранса. Раздела донага и тщательно осмотрела. Руки ее бродили по моей коже, как изгнанник в последней прогулке по родной стране. Особенно внимательно присматривалась к левой подмышке. Помассировала мне плечо с каким-то даже отчаянием, синяк от отдачи ружья не исчезал. Несчастным голоском она все повторяла:

— Клянись, Флоран, клянись, что ты больше не будешь стрелять из ружья.

В глубине склепа, у стены, лежали приготовленные ею — не знаю даже когда — белая рубашка, бархатная куртка, черные панталоны и новехонькие желтые штиблеты.

Раз за разом в течение этой такой короткой ночи она будила меня и задавала вопрос, очевидно не шедший у нее из головы:

— Флоран, ты помнишь все уголки, все лазейки, все проходы, которые я тебе показывала в Бельвиле?

Не совсем уверен, но мне кажется, что один раз, уже под утро, она выдохнула еле слышно, касаясь губами моей шеи:

— Флоран, я люблю тебя.

Всю ночь раздавался храп Алавуана. Бывший бельвильский печатник *(член Центрального комитета Национальной гвардии и член Интернационала)*, ставший активным деятелем IV округа, вернулся в свой Бельвиль. Потрясенный расстрелами заложников, смертельно измученный, он уснул в склепе герцога Морни, рядом с двумя артиллеристами, сморенными усталостью и вином, и крепко спал возле убитой лошади, от которой уже разило падалью.

Вчера вечером мираж. На вершине холма возникла против света чья-то фигурка. Невысоконькая, юбку и волосы треплет ветер. Я чуть было не выскочил наружу.

Кликнул маму, а это в моем нынешнем положении весьма неосторожно.

— Что с тобой?

— Ничего, мам...

Марта, должно быть, явилась прямо к нам на ферму и дожидалась темноты. Если это действительно она и если она решила исчезнуть, то, значит, были у нее на то свои причины. Может, она просто пока что хотела подать мне знак — что, мол, жива? Послав за ней маму, я наверняка бы спутал ее планы, хуже того — выдал бы ее.

Одно бесспорно: Марта меня ищет. Теперь ищет она.

СУББОТА, 27 МАЯ

На заре Марты в склепе Валькло уже не оказалось.

Все смешалось начиная с этой минуты. Все это время я искал ее, ничего другого и не делал. И если говорить совсем уж откровенно, и сейчас ничего не делаю, только ищу ее, даже не выходя из нашего сарая...

...Штаб, вернее, то, что осталось от штаба, перебрался в бельвильскую мэрию. В жалком же состоянии находился этот бывший кабачок, весь изрешеченный осколками с выбитыми окнами, с провисшими балками. Там не знающий страха Ранвье подписывал приказы, рассылал людей, Эда — сюда, Гамбона — туда...

Ортанс Бальфис окликнула меня:

— Флоран, иди быстрее! Женщины заметили, что снаряды для пушки «Братство» слишком малы, не по ее калибру.

— Марту видела?

— Видела издали, совсем недавно, если только не ошибаюсь.

— А куда она пошла?

— Очевидно, в Дозорный. Так вы и будете друг за другом бегать и потеряетесь. Уж кто-кто, а Марта в любом случае в тупик вернется.

Шли часы, и пространство, где я мог искать Марту, все сужалось и сужалось. Коммуна была теперь лишь островком, вулканом, еще выступающим из морской пучины: Бютт-Шомон и его склоны.

В десять часов была разрушена баррикада на улице Пуэбла.

Вскоре вулкан взорвался. От Коммуны остались три

маленьких, три обреченных островка: предместье Тампль, Бельвиль и улицы Труа-Борн и Труа-Курон.

В течение этого дня я то натыкался на призраки, привидения и домовых, то терял их из виду.

Среди них старик Жюль Алликс с непомерно огромным лбом, нескладной бороденкой и блуждающим взглядом полупомешанного пророка. Гражданин Алликс *(близкий человек семейства Гюго)* был делегатом от VIII округа вместе с Риго, Вайяном и Арну.

Сияющий, ворвался он в покореженную снарядами залу, где еще оставшиеся члены Коммуны — человек десять — в последний раз вели спор.

— Граждане,— возгласил Жюль Алликс,— все идет как нельзя лучше, просто грандиозно! Центральные кварталы очищены от войск. Самое время выступить нам всей массой.

Члены Коммуны смотрели на него с ласковой улыбкой, со слезами на глазах. Потом снова начали дискуссию. Одни еще верили в то, что пруссаки пропустят беглецов, другие, наоборот, считали, что надо этих самых беглецов задерживать. Версальские пушки сотрясали их парламент, как трухлявое сливовое дерево. Ранвье закрыл дебаты.

— Идем сражаться, хватит споров.

Продолжение заседания было отложено на более позднюю дату.

Октябрь 1917 года.

Вслед за полубезумным стариком явился во всем великолепии своей шевелюры Франсуа Журд, Делегат финансов. У него была пышная кудрявая грива с пробором посредине и задумчивые, мягко лучившиеся глаза добросовестного счетовода.

Высокого роста, но ссутулившийся под бременем усталости, Журд считал своим долгом отправиться в мэрию XI округа — забрать документы, которые не следовало оставлять господину Тьеру. На баррикаде бульвара Вольтер он застал уже только двух наших людей: Теофиля Ферре и Гамбона, обоих препоясанных красной перевязью. Выполнив свою миссию, Журд зашагал в Бельвиль. Пятно лишая, безобразившее худое лицо Журда, выделялось над светлой бородой, как зловещий стигмат. Ранвье отправил Журда поспать.

После полудня разнесся слух, что версальцы продвигаются через укрепления и Парижскую улицу. Снова и снова толпы перепуганных людей устремлялись к Роменвильской заставе, где началась страшная давка: пруссаки насмешливо отказывались их пропустить; какой-то жандармский бригадир, роменвилец, орал: «Стреляйте, да стреляйте же в эту сволочь!»

Тем временем несколько версальских батальонов, следуя стратегической дорогой, прошли тылами Бютт-Шомона до Крымской улицы. Им надо было преодолеть теперь улицу Бельвю, в сотне с лишним метров от мэрии XX округа.

На Бютт-Шомоне оставалось возле пушек не более пяти артиллеристов. После полудня, израсходовав все снаряды, они спустились с холмов и направились на баррикады, чтобы присоединиться к стрелкам.

В это же время через Бельвиль проследовал последний и, пожалуй, самый впечатляющий кортеж Коммуны: это были сотни *(тысяча триста тридцать три)* пехотинцев, обезоруженных 18 марта, которые отказались служить под знаменами федератов. Их аккуратно переводили с места на место по мере приближения врага, из одной казармы в другую; нынче, в субботу, они проследовали в Бельвиль, где их последним бивуаком стала церковь Иоанна Крестителя. Они ели, выпивали и били баклуши за счет нашей добренькой матушки Коммуны. Красномордые, красногубые, распустив пояса пошире, они пялили удивленные глаза на наше разбитое снарядами предместье, на людей-призраков, которые, притопывая под ливнем, смотрели им вслед. Сбежавшиеся отовсюду федераты глядели на этот парад с удивлением, но без гнева.

Это событие отвлекло внимание от баррикад, которые в одно мгновение опустели. Воспользовавшись этим, версальцы заняли площадь Фэт и Бютт-Шомон, последние их защитники собрали теперь свои силы на двух последних островках — в предместье Тампль и на нашей Гран-Рю.

Коммуна напоминала сегодня сахарную голову под дождем, таяла, распадалась на куски...

Еще не наступили сумерки, а трехцветное знамя уже развевалось над Бютт-Шомоном. Ранвье, Варлен и Тренке вышли из мэрии с ружьями в руках.

— Куда идете, граждане?

Все трое ответили одновременно пожатием плеч. Они шли, чтобы кончить свою жизнь под пулями. Неужели это надо объяснять?

Какой-то восьмидесятилетний старик уверял слушателей, что никогда еще не видел такого щедрого дождя.

Черное знамя Марты развевалось над баррикадой нашего тупика. Она сама водрузила его здесь, после чего ушла. Раскопала где-то трехметровую жердь, прикрепила это древко к пушке «Братство» с левой стороны. А чтобы оно держалось, привязала его к спицам колеса с помощью полоски ситца, вырванной из подола своей юбки.

Под навесом кузницы — два гроба, один большой и один маленький... Бельвильцы еще не успели предать земле тела дядюшки Лармитона и Пробочки. Барден, присев на наковальню, несет при них печальную вахту, подперев голову огромными кулачищами. Леокади варит кофе в котлах.

Пливару, который еле справляется и со своими ребятами, сбыли на руки всех младенцев Дозорного, начиная с сиротки Митральезы, взятой в свое время под крыло Дерновкой. Пливара называют «мамкой» и при этом прыскают по смеху.

Уцелевшие от расправы прибывают отовсюду и устраиваются во дворе, под дождем. Квартиры же, мансарды, мастерские — словом, все крытые помещения, отданы раненым, поступающим непрерывно. Исключение составляет только кабачок «Пляши Нога», где в низкой зале разместился штаб. Стараясь подчеркнуть свою добрую волю, матушка Пунь открывает последние бочки вина.

— Вот и мои боеприпасы на исходе! — объявляет она.

Старожилы Дозорного переглядываются: впервые на их памяти сварливая кабатчица шутит — и тут же приветствуют возгласами «Да здравствует Коммуна!» какой-то залетный снаряд, попавший, всем на радость, прямо в статую Непорочного Зачатья и разбивший ее на куски.

Мари Родюк с опасностью для жизни отправилась опустошать близлежащие садики под носом у версальских аванпостов. Вдруг взбрело в голову... Вернулась она с корзинками красных гвоздик. Переходя от одной женщины к другой, она расцвечивает их корсажи и кофты.

Чудом уцелевшие Мстители Флуранса с шумом вваливаются в кабачок.

— Прощай, вещевые мешки! — бросает Матирас.— Воюем, братцы, на дому!

— А домой вернуться неплохо,— вздыхает Шиньон.

— Нигде не помрешь так славно, как дома! — добавляет Нищебрат.

На голове у него белая повязка, в центре которой расплылось красное пятно. Желторотый и Кош едва успевают растянуться на лавке в кабачке, и уже слышится их храп.

Вот и весь наличный состав Мстителей.

— А Чесноков? — спрашивает Людмила.

Они отвечают взглядом. Она уходит.

Нищебрат спрашивает, ни к кому не обращаясь, вернулся ли Леон. Нет. Теперь граждане, которые исчезают, больше не возвращаются.

Те, у кого еще хватает сил, становятся в очередь к колонке — помыться. Затем идут к себе — переодеться. Сбрасывают шинели, куртки, кепи и возвращаются в блузах и рабочих брюках. Они дома, им хочется чувствовать себя непринужденно. Биться они будут уже как пролетарии.

Сидони, жена Нищебрата, с изумлением разглядывает мужа, увенчанного высоким пурпурно-звездным тюрбаном. У нее вырывается крик:

— Какой же ты красивый!

Она бросается к нему на шею, целует в губы при всем народе, только сейчас ею овладела страсть, страсть к человеку, с которым она прожила годы. Нищебрат не сразу приходит в себя, потом восклицает: «Да здравствует Коммуна!» И возвращает Сидони поцелуй.

Каких только людей мы не видели в эти дни в Дозорном, замечательных людей: министров, делегатов, полковников, журналистов.

Наш тупик стал Парижем.

Полковник Бено, из бригады Бержере, тот самый, что отличился в Лувре, по-соседски приветствовал нас — он командует на улице Ребваль баррикадой, которая прикрывает наших.

Жюль Валлес рассказывает, что он был свидетелем расстрела какого-то буржуа во дворе нашей мэрии:

— Он выбрал себе место поудобнее, спиной к стене. Место, где ему умирать. «Ну как, здесь, что ли?»— «Да».— «Пли!» Он упал... еще шевелился. Выстрел из пистолета в ухо. На этот раз недвижим.

Этот Валлес, редактор «Кри дю Пепль»,— славный человек, и матушка Пунь разогревает специально для него кровяную колбасу с яблочным пюре, он это обожает! Но и сейчас он не перестает предаваться сомнениям и угрызениям... Осточертел нам этот Валлес!

Конец всем этим эффектным и спесивым позам, размахиванию флагом, хотя, с другой стороны, без позы тоже не обойдешься да и красный цвет именно сейчас играет как никогда!

Внимание присутствующих все больше приковывает Предок, разъясняющий слушателям:

— Что бы ни болтал сейчас этот карла Тьер, в счет не идет. Сам он, конечно, прекрасно знает, чего хочет, но говорит как раз обратное. Он нарочно затягивает кровопролитие, нарочно убивает раненых и пленных. Так для него меньше риска, я имею в виду братание. Он ведь не слишком уверен в своих войсках, брошенных им на Париж; 18 марта — вот что не дает ему спать спокойно! И посейчас еще. Он прекрасно понимает, что возмездие Коммуны не может не обрушиться на заложников! Но ему сто раз наплевать на кучку священников и полицейских. Наплевать, что он утвердит свою победу на груде дымящихся развалин, лишь бы Капитал мог начертать на камнях Парижа такую эпитафию: «Здесь покоится Социализм!»

Были здесь и федераты 119-го полка, которые сражались на Монпарнасском кладбище — давным-давно, пять дней назад, во вторник,— и которые прошли, так и не переставая сражаться, через всю столицу, от баррикады к баррикаде.

— На улице Шан-д'Азиль мы контратаковали, в штыки пошли, и версальцы потерпели поражение. Ихний унтер-офицер свалился на бегу. Подскочил один из наших, замахнулся, вот-вот пригвоздит версальца к земле и тут узнает своего родного брата. Как он стоял — со вскинутым штыком, так и застыл. В общем, он бросил оружие и заплакал. А считал себя покрепче брата! Гражданин Аллеман велел им обоим выйти из боя и разойтись по домам.

Временами все замолкали, так оглушал нас свист снарядов, стрельба, невообразимый шум. Федераты, задыхающиеся, в крови, под неутихавшим дождем, кричали нам на ходу:

— Улица Прадье — вся баррикада к чертям!

— Улице Ребваль требуется подмога!
— На улице Пре паника!
Вдрызг разжиженный дождем ночной мрак хотел только одного: поскорее прикрыть все это собой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАЯ 1871 ГОДА

Троицын день, воскресенье.

От Коммуны остался только клочок, не больше носового платка — в пятнах, скомканного, рваного, липкого, окровавленного.

Прошлой ночью версальцы расположились бивуаком на площади Фэт и прилегающих улицах, Фессар и Прадье, их крики и песни долетали до нас.

Часть XI округа еще держалась в районе Фонтен-о-Руа. Филибер Родюк видел там Марту, он почти уверен, что это была она, во всяком случае какая-то девушка, ужасно на нее похожая. Видел издали: в ослепляющем свете горящих пакгаузов Ла-Виллета она переходила улицу Сен-Мор.

Вся версальская артиллерия бьет по Бельвилю.

Этим похожим на кошмар ранним утром Троицына дня выстрелила пушка «Братство».

Тем временем пал Пэр-Лашез. Только много позже я узнал о его конце. В эти последние часы мы фактически не знали ничего, что происходит за рубежами нашего таявшего на глазах пятачка.

В «Монд иллюстре» некий Шарль Монселе вздыхал по этому поводу с циничным облегчением:

«Бойня теперь уже далеко, пожар оттеснили в предместья. Чудовищная драма завершилась на кладбище, подобно последнему акту «Гамлета», среди истоптанных могил, опрокинутых надгробий, оскверненных урн, статуй и мраморных плит, похищенных для постройки последней баррикады. Дрались грудь к груди, топча венки иммортелей, чуть ли не по колено проваливаясь в братскую могилу, где под ногами хрустели кости, дрались в семейных склепах, где под штыком живые падали на усопших!»

Федератов на Пэр-Лашез было не более двух сотен. Когда прямым попаданием из пушки снесло главные ворота, стали драться штыками, саблями, ножами — и все это в потемках, под проливным дождем. Федераты бы-

ли смяты численно превосходящим их врагом. Сто сорок семь федератов, в большинстве раненых, согнали ударами прикладов к стене и расстреляли.

Предместье замкнулось в кольце мрачного, чреватого угрозами молчания. Молчала и баррикада, которую укрепляли всю ночь. Слышен был только стук булыжника о булыжник и временами чей-то спокойный голос: «Подсобите-ка, гражданин, это за вас мы будем умирать». Камни, мебель, мешки с песком и грязью громоздили друг на друга до самой зари.

Баррикада была границей, тупиком, родиной. В свободные от работ и караула минуты каждый приводил в порядок свои личные дела.

Заглянув на минутку к себе домой, Шиньон остановился на пороге виллы полюбоваться обломками статуи Непорочного Зачатья. «Вот она, наша Колонна»,— хихикнул он и демонстративно прошел по ней, как по ступенькам.

Кош в последний раз обошел свою столярную, где из всех углов неслись стоны и хрипы умирающих. Раненых уложили повсюду, даже на верстаки. Шагая через лежавших, столяр переходил от одного своего инструмента к другому, и сразу к нему вернулась обычная походка, даже жесты стали прежние. Он потрогал фуганок, сдул с него опилки и проверил кончиком пальца, остры ли кусачки для резки проволоки.

Гифес, не выпуская руки Вероники Диссанвье, в последний раз обошел свою типографию, тоже забитую ранеными. Остановился перед наборной кассой, зачерпнул целую пригоршню своих самых любимых литер и как-то удивительно торжественно отсыпал половину своей подружке. В нежную подставленную ладонь из его горсти потекли медные литеры и коротко блеснули, как струйка в песочных часах. А из типографии любовники, не скрываясь, отправились прямо в квартиру над аптекой, чтобы любить друг друга в последний раз в кровати фармацевта.

На всех этажах женщины опустошали ящики комодов. Избежавшие ломбарда простыни шли на саваны.

Каждого вновь появляющегося я расспрашивал о Марте. Кто говорил, будто видел ее накануне, кто — поздно вечером, издали, она неслась куда-то при свете пожарища — горели пакгаузы Ла-Виллета.

Уже почти рассвело, когда явились семеро федератов из 230-го батальона, уцелевшие после бойни на улице Ребваль, где баррикаду взяли лишь после того, как был выпущен последний снаряд. Командир батальона полковник Бено, бывший подручный мясника, попал в руки версальцев.

На бульваре, куда выходила Гран-Рю, от 191-го батальона не осталось ни одного человека, а от бывшего батальона Жюля Валлеса уцелели всего только офицер и пятеро-шестеро бойцов, расстрелявших все свои патроны и присоединившихся к нам.

— Теперь наш черед! — крикнул Нищебрат.— Занимай свои посты!

Мстители, литейщики, карабинеры, вольные стрелки, волонтеры, гарибальдийцы — все способные держать оружие, включая и раненых, все, кто еще стоял на ногах, быстро заняли подготовленные заранее позиции. Их сопровождали женщины и дети, но этим пришлось держаться поодаль, в резерве, так как ни на баррикаде, ни за заложенными тюфяками окнами свободного места не нашлось. Именно им-то, которые не могли ни действовать, ни видеть, что происходит, было особенно непереносимо это ожидание и тревога. Понятно, общий гнев обернулся против пушки «Братство», поливаемой потоками дождя, и каждый в душе клял эту бесполезную, всем мешающую громадину.

— Да ведь подходящих снарядов нет! — объяснял Филибер Родюк.

— Значит, нужно стрелять теми, какие есть! — взвилась Трусеттка.

— Спокойно, женщины! — крикнул Нищебрат.— Так или иначе, а времени у нас уже нет.

Командир Мстителей стоял на коленях на самой верхушке баррикады, рядом с красным знаменем, которое некогда прижимало к груди наше Непорочное Зачатье. Но женщины еще не сразу угомонились, еще поворчали немного: стоило, мол, ради такой пушки из кожи вон лезть, сколько на нее бронзовых монеток передавали, сколько старались... Потом и они замолчали.

— А ну, тише, други, птички уже летят!

Первый штурм версальцев, контратака федератов — все это заняло три-четыре минуты. С моего места я почти ничего не смог разглядеть.

Сначала мертвая тишина, торопливый топот ног, потом все ближе, все громче яростный гул голосов, ружейный залп, второй — ответный, свист пуль над нашими головами, бруствер, увенчанный огнем и дымом, Шиньон, отброшенный на нас с расколотым черепом, потом кто-то еще, потом еще двое и, наконец, Барбере, главный литейщик братьев Фрюшан. В дыму на верхушке баррикады мелькнули трое-четверо версальцев, но тут же исчезли. Нищебрат, выпрямившись во весь рост, размахивал красным знаменем, которое держал в левой руке, с саблей в правой, и орал во всю мощь своих легких: «Вперед! Да здравствует Коммуна!» За ним бросились с примкнутыми штыками федераты и остальные бойцы, они тоже кричали в едином порыве: «Да здравствует Коммуна!» — и исчезали за баррикадой. Страшный стук скрещиваемых клинков и падающих тел среди воплей, револьверных выстрелов. Потом частый топот ног стал глуше. И все та же удушающая тишина.

Вместе с ней пришли сумерки.

Федераты медленно возвращались к баррикаде. Замыкающие несли раненых. Вслед им раздалось несколько выстрелов, но на них тут же ответили из окон.

Пересчитали наличный состав. Эти несколько минут стоили нам двадцати семи человек.

Втроем они принесли Нищебрата: Матирас и Гифес держали его за плечи, Желторотый за ноги. Командира Мстителей положили на стол перед кабачком. Он все еще прижимал к груди красный флаг, держал его у кровоточащей раны, как повязку. Потом протянул Гифесу:

— Держи. Теперь ты снова командир. Я со всеми голосовал за Фалля, а сейчас все проголосовали бы за тебя. Гражданин Гифес, ты заработал командирские нашивки.

И еще спросил:

— Скажите честно, как, по-вашему, не посрамили мы Флуранса, а?

Какой-то гонец примчался во весь опор:

— Кто у вас теперь командир?

— Я,— ответил Гифес, сжимая древко окровавленного знамени.

— Давай сюда, они парламентера прислали!

Движением руки Нищебрат отослал Гифеса и всех нас тоже. Ему хотелось остаться наедине со своей Сидони.

Пока мы шли к баррикаде, а идти было буквально

несколько шагов, новому командиру Мстителей пришлось отбиваться от наседавших на него бойцов и женщин.

— Не принимай ты его, гражданин Гифес,— молила Клеманс.

— Небось скажет, что сохранят нам жизнь, если мы сдадимся,— истерически хохотнула Мари Родюк.

— Они повсюду такую штуку устраивают,— заметил кто-то.— А если кто сдастся, сразу к стенке.

— Да плевать нам на это! — заорала Селестина Толстуха.

— Они вступают в переговоры, чтобы выиграть время,— пояснил Предок.— А потом как бахнут!

— Пусть приходит, тут ему и каюк будет,— бросила Трусеттка.

— Нет,— наконец заговорил Гифес,— нет. Пускай враги такими делами занимаются.

— Значит, что ж, примешь их предложение? — взревела моя тетка.

— Нет.

— Но ты же согласен, чтобы он сюда пришел? Согласен с ним говорить? Отпустишь его целым и невредимым?

— Да.

— А почему? Мы не в кружавчиках воюем. К чему все эти кривляния, гражданин владелец типографии? Почему ты хочешь его выслушать?

— Ради удовольствия ответить ему: «Дерьмо!»

Вероника шла рядом со своим возлюбленным и не спускала с него глаз. А он мотнул головой, и кончик знамени, коснувшись его щеки, отметил ее кровью Нищебрата.

Заря все медлила, во влажном предутреннем сумраке, в молочной его дымке изредка пробегали серые струйки дыма и дрожащие розовые отсветы.

Парламентером к нам послали старика сержанта с длинными висячими усами. Все в нем: и блеск только что начищенных башмаков, и красные панталоны, и застегнутая на все пуговицы куртка, и ровно лежавшие эполеты, и кепи, надетое прямо, а не набекрень,— все, повторяю, было неумолимо аккуратно. В высоко поднятой руке он держал белую скатерку, очевидно стащил в первой попавшейся квартире. Выпятив грудь, он смотрел прямо перед собою, даже когда спотыкался о трупы. Он печатал шаг посреди мостовой, усеянной оружием, всякой рухлядью

и мертвецами, и казалось, камень курится под его подошвами. Каждый его шаг гулко отдавался среди разрушенных домов. Чем ближе он подходил, тем нереальнее казалось нам это видение среди окружающей нас декорации.

Он остановился шагах в двадцати от баррикады. И тут его лицо внезапно утратило свое невозмутимое выражение. Он заметил черный флаг. Выпучив глаза, он уставился на знамя Марты. Его великолепные усы дрогнули, слишком уж выразителен был этот знак траура.

Гифес взмахнул окровавленным знаменем, которое завещал ему Нищебрат:

— Говори!

Сержант сразу же предложил нам сдаться на милость победителя. Вся баррикада ждала, не скажет ли он еще чего-нибудь, потом из всех глоток, из всех сердец вырвалось только одно слово.

Старик сержант сделал положенный по уставу полуоборот, решительно повернулся к нам спиной и удалился, не торопясь, твердо печатая шаг.

— Уложу на месте каждого, кто посмеет в него выстрелить,— проревел Гифес и угрожающе вскинул револьвер.

Наши пальцы судорожно впились в приклады ружей.

Версальский парламентер ушел, и через пять минут снова начался обстрел баррикады. Два снаряда крупного калибра разорвались в начале Гран-Рю, но мы увидели только вспышку пламени. Метрах в пятидесяти. Прямое попадание. Снаряды, прицельная стрельба. Мы лежали ничком за баррикадой.

— Сначала они ее разрушат, а потом начнут нас картечью поливать, а там и в атаку пойдут,— пояснял Предок, улыбаясь в свою бороду, в которой застряли комочки земли.

Ему был знаком этот прием, еще в 1830 году артиллеристы королевской армии применяли его во время уличных боев. И на память ему пришла его мятежная юность, баррикады на Центральном рынке, все, что было в его двадцать лет. Рассказывал он об этом маневре «юнцу» Гифесу: пушки заряжают в укрытии, а расположены они за правым и левым углами улицы, потом их оттуда стремительно выкатывают и направляют на препятствие.

Огонь! Пушки и впрямь уже показались из-за угла улицы Вьейез и «Таверны Косарей».

— А при этих обстоятельствах, сынок, даже самые меткие и сноровистые стрелки не успевают уложить наводчика! И мы тоже не можем, нам и развернуться здесь негде.

— Да еще с этой пушкой,—пробормотал типографщик.

— Вы ее, нашу пушечку, сейчас услышите! — вдруг завопила Адель Бастико.

Возясь с пушкой, мы смогли оценить невосполнимость наших потерь.

Не стало двух наших главных пушкарей — Торопыги и Пружинного Чуба,— и красивый маневр, отлично слаженный после десятка репетиций, пришлось разучивать с новым нашим пополнением — Орестом, подмастерьем булочника, и Рике из Менильмонтана, которым нужно было все показывать, и все это в таком грохоте, в этой сумятице! Но главное — не хватало Марты. Только сейчас мы осознали во всей полноте, что именно она была подлинным командиром орудия.

Две пушки, скрытые за углом улицы и бившие почти в упор, причиняли страшные разрушения. От каждого снаряда вздымался фонтан булыжника, и часть его падала за баррикадой, что было, пожалуй, похуже самих бомб. Камень угодил в шиньон Трусеттки, слава богу, волосы у нее густые, но ее оглушило, и по лбу ее стекали четыре тоненькие струйки крови.

Надо было действовать без промедления. И впрямь, сначала почти беcприцельная стрельба обоих быстро выдвигавшихся вперед орудий с каждой минутой становилась все точнее, теперь они уже метили в самый верх баррикады. Бойницы разлетались на куски. К счастью еще, амбразура, приготовленная для нашей пушки «Братство», была сделана на редкость прочно.

Желая восполнить смехотворно малый объем бомбы, братья Родюки утроили порцию пороха. Все было готово. Пришлось мне занять место отсутствующей Марты, и я лег плашмя на лафет, потому что видел, как ложилась она в Нейи, когда нужно было навести орудие. Гифес пояснил нам:

— Наша задача — вывести из строя обе их пушки, но не следует гоняться за двумя зайцами сразу. Поэтому вы-

берем ту пушку, что справа. Если бы удалось попасть в нее, когда она высунется, просто идеально было бы.

По словам Предка, следившего за ходом стрельбы с часами в руках, перерыв между двумя громоподобными взрывами равнялся примерно двум — четырем минутам, и не потому, что прислуга — всё профессионалы — тратила на зарядку пушек каждый раз то больше, то меньше времени, а, по всей видимости, потому, что командиры батарей с умыслом варьировали интервалы, намереваясь захватить федератов врасплох.

Все наши по-идиотски задержали дыхание.

Стрелки, занимавшие позиции в окнах жилых домов и безуспешно пытавшиеся снять версальских артиллеристов, показавшихся на мгновение из-за угла улицы, подбадривали нас криками.

Итак, пушка против пушек. Пусть даже одна против двух, все равно мы чувствовали себя ужасно сильными. Безрассудная надежда зажглась в сердцах защитников баррикады.

Я навел орудие туда, откуда появлялся ствол пушки, стоявшей справа. Как только он высунулся, Гифес скомандовал: «Огонь!» И десятки глоток подхватили эту команду. Шарле-горбун дернул за веревку терочного воспламенителя.

В адском грохоте среди клубов дыма мы в первую минуту не поняли, что произошло. Минуту — а может, и меньше.

А произошло вот что...— но до чего же по сравнению с жизнью слова тягучи и медлительны,— так вот, оба орудия версальцев появились, выстрелили и исчезли. Снаряд угодил в правый угол баррикады, как раз в середину, осколки осыпали фасад и пробили тюфяк, которым было заложено окно на антресолях. Второй упал у подножия баррикады, подняв столб земли, так как булыжников в мостовой уже не осталось. Такую неточность в наводке можно было объяснить лишь появлением на сцене нашей пушки, вернее, ее громоподобным голосом, но, увы, это был единственный ущерб, причиненный ею неприятелю.

Ибо пушка «Братство» взревела во весь свой уже ставший легендарным голос. В гулкой воронке Гран-Рю ее «бу-у-у-ум-зи» прогремело еще грозней, чем на мосту Нейи, ее колокольный рык был еще более мощным и завораживал. Словно шмель раблезианского размаха пронесся над Парижем с вершин Бельвиля. Вся вновь

отвоеванная неприятелем столица со своими зданиями, превращенными в пепел, и с этими победителями, опьяневшими от резни, должно быть, вздрогнула, услышав голос «Братства».

А вслед за тем неожиданно воцарилась тишина.

Когда улеглась пыль, когда рассеялся дым, федераты, женщины и дети, забыв о вражеских пулях, высыпали на бруствер, желая взглянуть, какие разрушения принес этот чудовищный взрыв.

И что же мы увидели? Маленький, крошечный, жалкенький снарядик, упавший метрах в двадцати от баррикады, не нашел в себе силы даже взорваться, и катился преспокойно, катился, следуя естественному уклону почвы, только в силу закона инерции. Катился, катился наш безобидный снаряд, и ничто ему не мешало катиться, путь перед ним был свободен. Прокатился мимо раскинутых ног трупа и мимо разбитого ружейного приклада; какой-то пригорочек свернул его в сторону сломанного штыка, и этого обломка хватило, чтобы затормозить его неспешное продвижение.

Он катился среди всесветной тишины.

В пыльном рассвете он исчез вдали, укатился куда-то в сторону Тампля. Думаю, версальцы расступались перед этим добродушным перекати-полем и глядели ему вслед.

Тишину не прерывала ни артиллерийская, ни ружейная стрельба.

Но где-то перед нами, где-то там, в том конце улицы, раздалось сначала не то шуршание, не то шипение, до того слабое, что приходилось напрягать слух. Но уже через минуту отдаленный шум приобрел совсем иную окраску, превратился в щебет, воркование, бульканье; эта звуковая мешанина крепла и разрывала нам уши. Это было, конечно, не так громко, как пушечный выстрел, и в то же время куда оглушительнее, не так убийственно, но зато еще более жестоко.

Хохот.

Хохот — хохот тысячи глоток, безумный хохот, хохот всезаглушающий, хохот врага.

И однако, самое унизительное было впереди, и вот оно: хохот передался нам. Как объяснить, если нельзя объяснить эти взрывы смеха среди такой бойни? Надо сказать, что поначалу мы, окаменев, следили за изящным скольжением нашего снаряда. Не смели поднять глаз на соседа.

Первыми стряхнули с себя оцепенение женщины; вот уже кто-то нерешительно пожал плечами, кто-то вяло огрызнулся, кто-то проворчал с брюзгливой снисходительностью: «Ну, чего вы хотите, наши малыши забавлялись со своей пушечкой, так оно всегда и бывает, ничего не скажешь, игрушка хорошая, лучше нет, правда дороговата...»

Короче, хохот врага передался нам. Сначала кто-то хихикнул, кто-то принужденно фыркнул, кто-то смущенно рассмеялся, потом открыто захохотали, громче, уже не таясь, хохотали задорно, хохот шел от человека к человеку, как зараза, становился непристойным, звучал как вызов. Хохотали все — от верха бруствера до арки, ведущей в тупик, хохотали на всех этажах за окнами, заложенными тюфяками, гоготала вся баррикада. Агонизирующий Бельвиль бросал в небеса громыхающие взрывы смеха.

Как это объяснить? Да никак — смеялись, и все.

Смех в лицо смерти! Убийственный ей ответ!

На смех существует лишь один ответ — смех.

Особенно, когда уже чуточку рехнулся.

Хорошо смеется тот, кто смеется последним.

Обе пушки, настоящие, реальные до ужаса, появились из-за угла. Два снаряда скосили семерых хохотунов. Двойной выстрел снес голову Ритона из Менильмонтана, не прервав смеха, застывшего на его губах.

И меня постигла бы та же участь, до того я одурел, если бы Кош, смеясь во всю глотку, силой не швырнул меня на землю.

Еще два снаряда. Смех прекратился.

Каждый вражеский снаряд сотрясал всю баррикаду. Она постепенно оседала, стала ниже на целую треть. Справа при каждом выстреле все больше расширялась брешь, и пушкари ожесточенно били именно туда. За этим таявшим на глазах, растрескавшимся укреплением, осыпавшим своих защитников тучей осколков,— ни разговоров, ни возгласов. Кое у кого на лице еще играла улыбка — отголосок того смертного смеха, но у всех в голове проносились одни и те же мысли, неспешные, однако чем-то схожие со скольжением и припрыжкой нашего маленького смешного снарядика: много шума из ничего. Коммуна — это только набат, а пушка «Братство» — ее символ.

«Коммуна и пушка «Братство» — одно и то же»,— говорила Марта, и мне почудилось даже, всего на несколько мгновений, как раз тогда, когда мы поняли, что это странное булькание в том конце улицы просто-напросто сдержанные раскаты версальского хохота, как раз тогда, когда нас еще не настигла зараза смешливости,— мне почудилось, повторяю, будто я различил характерный, чуть горький смешок Марты. На верхотуре в мансарде или на крыше — потому что в решающие часы ей требовалось взбираться вверх,— я представил себе Марту, смотрящую на нас, услышал ее короткий нервный смех — негромкий, хрипловатый, но способный поднять на ноги целое предместье.

Да-да, пока баррикада рушила на нас свои осколки и обломки, в наших головах мелькала та самая мысль, что преследовала Марту многие недели: их пушки и наша — два мира, стоящие друг против друга. Ихние сделаны из нужного металла, а наша — из варева бронзовых монеток, из нищенских подаяний. Их пушки отлиты на заводах, принадлежащих капиталистам, они цементированы пóтом наемных рабочих, это прекрасная работа. Нет пирамид без фараонов, не будь их — рабы ловили бы себе пескарей в мутных водах Нила. А пушку «Братство» сварганили сами рабочие, без начальства, по собственному почину, она — романтическая приманка, сделанная на скорую руку, детище бродячего корзинщика, и, когда у корзины отваливается дно, ищи-свищи самого разносчика.

Уже две тысячи лет они умеют закаливать металл, а наш только вчера с неба свалился.

Их пушки несут зло, наша — смех.

И мы по-прежнему лежали ничком в грязи, уткнув нос в собственное дерьмо, а над головой гремел гром.

Чья-то рука коснулась моего плеча. И кто-то добродушно-ворчливо произнес у меня над ухом:

— Они стары! А мы, сынок, мы, слышишь, мы! Мы юность мира!

Это оказался Предок.

Только один человек не смеялся над пушкой «Братство», Маркай, секретарь синдиката литейщиков братьев Фрюшан. Больше того, после нашего нелепого залпа он проникся к пушке доверием, чего за ним раньше не замечалось. Он отозвал нас под арку, нас — это братьев Родюк, Маворелей, Шарле-горбуна, Ортанс и меня.

— Ну-ка скажите, ребятки, сколько вы туда всадили зарядных картузов?

— Три,— признался Филибер Родюк, потупившись.

— Но ведь это же просто чудесно!

— Как так?

— А так, значит, ваша пушка «Братство» — превосходная пушка! Вы насовали в нее в три раза больше допустимого числа зарядных картузов, а она не взорвалась. Скорее, ребятки, зарядите-ка ее картечью!

На что мы хором ответили:

— Легко сказать, картечью! Да у нас картечи нет! И где ее раздобыть? В такое время, да еще в самый угол нас загнали...

Машинально я поискал взглядом Предка, но, оказывается, Гифес послал его на улицу Пуэбла посмотреть, не обходят ли нас с тыла.

— Ну, картечь можно самим изготовить.

— Из чего?

— Из всего. Из медных пуговиц, болтов, винтов, гвоздей, монет, медалей, из любого куска металла, что под руку попадется. Бегите, даю вам пять минут!

Так начался последний сбор. Если хозяев, которые могли бы дать нам что-нибудь подходящее, не оказывалось дома, мы сами брали без спросу... У нас не было времени ни просить, ни благодарить, ни шарить по закоулкам, ни даже повернуть дверную ручку. Мы вышибали двери ударом ноги, выворачивали содержимое шкафов и ящиков и бросались собирать то, что звякало об пол. Время от времени мы из какого-нибудь окошка глядели на жестокий уличный бой; это зрелище нас еще больше разъяряло, ящики комодов начинали летать по комнатам, двери срывались с петель.

Мы разбили на секторы поле нашей грабительской деятельности: Маворели взяли четные номера домов, Родюки — нечетные, еще одной группе поручили тупик, Орест с Шарле взяли на себя виллу, а мы с Ортанс — все прочее.

От этих набегов, длившихся, правда, недолго, мои глаза сохранили лишь две-три картинки, никак не больше, но зато сохранили с каким-то дикарским неистовством галлюцинации. Позади или впереди Ортанс я как смерч врывался в жилые помещения, самые разнообразные, в лачуги и салоны, но не удержал в памяти даже расплыв-

чатого представления о мебели, картинах, коврах или обоях — только позвякивание металлических вещиц. Ортанс бросала их в подол юбки, придерживая ее за кончики, а я — в свою мягкую шляпу, давно лишившуюся петушиного пера.

Мне не только лиц не удалось запомнить, даже ни одного силуэта. А ведь при нашем вторжении обомлевали трясущиеся от страха за запертыми ставнями семьи, какие-то и без того перепуганные личности, забившиеся в постели. А ведь нас встречали мольбами, негодующими протестами, жалобами, угрозами... Ничего, ровно ничего я не помню, кроме позвякивания в тулье моей гарибальдийской шляпы.

Нет, помню: троих трусов. Только много времени спустя передо мной всплыла их гнусная ухмылка.

В полумраке наглухо закупоренной комнаты, где горела только одна свеча, которую схватила Ортанс в поисках нужного нам металла, вдруг выступила чья-то мерзкая физиономия с раздутым носом, и непонятное существо рухнуло перед нами на колени, хрустнув чем-то деревянным. Только сбегая с лестницы, я сообразил: оказывается, мы побывали в «Пляши Нога», тот, наверху, значит, был Пунь.

А через несколько секунд мы очутились в темной гостиной. Вышибив ударом ноги ставню, я впустил в комнату дневной свет. И там тоже какая-то огромная туша молила нас о чем-то, а рядом горстка костей щелкала от страха зубами. Клянусь, я только потом понял их мольбы:

— Сжалься, доченька, сжалься, маленькая. А ты хоть ради Бижу, ради старой твоей лошадки...

Мы находились в квартире над мясной лавкой. Но лишь на улице Ортанс, не отпуская подола, где лежало то, чему суждено было стать нашей картечью, вдруг спросила меня:

— Это мой отец, что ли, был? И моя мать?

А ведь мы задержались в этой гостиной дольше, чем где-либо в другом месте, потому что, вышибив ставню, я кликнул Ортанс и мы постояли вдвоем в проеме большого окна, и, свесившись, словно из ложи бенуара, смотрели на развертывающийся внизу спектакль, который длился несколько минут — дольше, чем все наши набеги, всего несколько минут, отбивших охоту присматривать-

ся к этой чете презренных трусов. Взгляд, увидавший такое, сам проходил сквозь них...

Пока мы собирали наши крохи металла, артиллерия версальцев в буквальном смысле слова разнесла баррикаду. С обеих сторон зияли огромные бреши. Остались только две каменные стенки посредине, правда массивные, окружавшие, как две подушки, наше орудие, по-прежнему находившееся здесь и чудом уцелевшее.

Сейчас версальцы били картечью. Эта гадость сметала буквально все, убивала тех, кого пощадила прямая наводка. Спастись от нее — все равно что пройти сухим под проливным дождем.

Трусеттка отвела женщин и детей в укрытие под арку. А картечь била по мужчинам, как град по спелым колосьям. Все бойцы, а также и все Мстители были сражены картечью, за исключением Коша, который стоял с винтовкой в руке позади пушки, да Гифеса, лежавшего в крови и грязи, но еще подававшего признаки жизни. Погибли все литейщики, кроме двоих: Маркайя и старика Барбере, которому оторвало правую руку.

Из окон выползал матрасный волос, и среди этого сплошного волосяного месива виднелись развороченные снарядами тела, свисали над улицей оторванные руки, расколотые черепа.

Мы готовили последний заряд, он был как раз по размеру жерла.

Да, мы сумели ее зарядить, нашу пушку «Братство». Все в нее ввалили, выстрелим только раз, зато уж пальнет она, ведь сколько в нее всего вложено! Пуговицы всех размеров и фасонов, болты, винты, медальоны, ложки, вилки, часы, браслеты, ожерелья, гвозди, резцы Ферре, щипцы Шиньона, иголки Мари Родюк, коклюшки Селестины Толстухи, все шрифты — гордость Гифеса: и эльзивир, и антиква, и курсив, и жирный, и строчные буквы, и прописные, и буквицы, и звездочки, а также марзаны и заставки, а также монеты в сто су, экю, наполеондоры, луидоры, франки и су, маленькие бронзовые су, опять они...

Всем этим добром мы набили нашу пушку «Братство», до самой глотки набили.

Ортанс, Адель и Филибер притащили целые охапки холодного оружия: сабли, рапиры, кинжалы, кривые

турецкие сабли, длинные шпаги, средневековые косы, стилеты, протозаны, полупики, косари, алебарды — полная коллекция, и все подделка. Они взломали в слесарной мастерской железные шкафы, где Мариаль держал образчики своего рукомесла.

У нас не было времени выбирать, версальцы снова пошли на приступ.

Гифес еще дышал. Он лежал, прислонившись головой к колесному ободу, он что-то бормотал. Кош нагнулся над ним.

— Наш командир приказал нам ждать, когда они подойдут на двадцать, а то и меньше шагов, и тогда только открыть огонь,— пояснил нам столяр, разогнувшись.

— И он совершенно прав,— подтвердил Маркай.— Раз пушку зарядили до отказа, будет страшная отдача. На тридцать шагов орудие сметет всю улицу до третьего этажа.

Итак, мы ждали, и каким же томительно-долгим показалось нам это ожидание. Мы сгрудились за кое-как залатанной баррикадой.

Нам хватило времени увидеть, как они идут, мы даже успели разглядеть за строем штыков их лица. В первом ряду шли юнцы и старики, шли блондины, шли седовласые, бледные и румяные, шли веснушчатые, рябые, шли флегматики и шли трусы.

Изредка мы опускали глаза к Гифесу, лежавшему у колеса. Типографщик-интернационалист уже не в силах был поднять веки. Но, лежа навзничь на земле, он мог определить нужную нам дистанцию по тяжелому топоту солдатских сапог, становившемуся все громче, отчетливее.

Наконец он с трудом приподнял руку.

Шарле-горбун потянул за веревку.

Это был последний выстрел пушки «Братство». И он был страшен.

Прежде всего отдача. Орудие отскочило назад по меньшей мере на три метра. Хоботом лафета распороло живот Филиберу Родюку, а левое колесо раздробило поясницу его брату Раулю. Меня отбросило вбок и назад к стене, шагов на пять-шесть. А Шарле-горбуна, который был легче меня, отшвырнуло еще дальше.

Затем такой же адский грохот.

Казалось, никогда не кончит греметь это знаменитое «бу-у-у-ум-зи», и оно неслось вдаль, ширилось, вбирая

в себя звон колоколов и треньканье колокольчиков, словно перли напролом какие-то фантастические стада; миллионами отголосков пело золото, серебро, медь, олово, сталь, свинец, цинк, алюминий, железо, жесть, бронза — каждый бельвильский металл вносил в общий гул свою долю крика.

И наконец, результат был чудовищен.

Уцелели лишь задние ряды версальских солдат. С воплями они разбежались по своим норам.

На сей раз мясниками были мы.

Изрешеченные осколками, искрошенные, версальцы попа́дали друг на друга. Посреди мостовой трупы лежали в два-три слоя. И каждая пара красных штанов, рассеянных вокруг баррикады, прикрывала собой другие мертвые тела. Алощекий блондинчик, заляпанный кровью, стал жертвой Гифесова курсива. Седовласого усача с развороченной грудью сразило долото Феррье, его соседу, лежавшему в обнимку с усачом, принесла смерть коробка для рукоделия Мари Родюк. Сержанту в глаз впились ножницы Шиньона, а капралу в глотку — коклюшка Селестины. Остальные погибли кто от медальона, кто он вилки, кто от пуговицы, кто от бронзового су, если не от золотой монеты.

Нет, то не было наше богатство, просто — все сокровища Дозорного.

Послышались конский топот, ржание.

— Быстрее разбирайте этот хлам! — крикнула Киска Маворель, остановившая свой выбор на алебарде XIV века.

Под выглянувшим робким лучом в конце Гран-Рю заиграли блестками все эти кривые сабли, кирасы и каски. Многокрасочное получилось зрелище: темно-синие мундиры, колеты с красными петлицами, алые эполеты, белые пуговицы, медные каски с черными конскими хвостами, да еще с кисточкой красного волоса, кожаные леи... Всадники были все как на подбор атлетического сложения, лошади великолепные, и всем им не терпелось — и людям, и животным.

Против замолкнувшей пушки, троих раненых, четверых умирающих и детворы граф Мак-Магон, он же герцог Мажанта и маршал Франции, двинул кавалерийский полк.

Барден двумя руками поднял над головой свою наковальню.

Ну а другие мужчины — те уже привыкли к штыку. Раненые поделили между собой ружья и пистолеты.

Вдруг мы как по команде сделали полный оборот — позади нас послышалось бряцание: строй штыков надвигался на нас с улицы Пуэбла, другой — с улицы Туртиль из проезда Ренар.

— Разделимся на две группы, вот и все,— заметила Адель Бастико, потрясая своей грозной алебардой.

Тут кто-то потянул меня за штанину. Это оказался Гифес. Я встал на колени, мне пришлось приложить ухо к самым губам умирающего, иначе я не расслышал бы его слов:

— Флоран... беги... это приказ.

Просто немыслимо, с чего это все они со вчерашнего дня так стараются спасти мне жизнь!

— Сказано же тебе, мотай отсюда,— прошипела Адель Бастико.

А Ортанс Бальфис мило, но настойчиво:

— Беги скорее, ведь это приказ.

— Да чей приказ-то?

— Ты сам отлично знаешь чей.

Кузнец без церемоний взял меня за шиворот, приподнял и швырнул под арку.

Нашими никому не известными переходами я помчался к тайнику Марты.

А тем временем оснащенная самым современным оружием и самая мощная армия, какой когда-либо располагала Франция, завязала рукопашный бой с горсткой мальчишек и девчонок, вооруженных средневековым холодным оружием.

К полудню все смолкло. Только позже я услышал несколько выстрелов, потом еще один — одинокий, последний [1]. Страшное молчание опустилось на Бельвиль.

Пока прямо на улицах шли расстрелы, на Монмартре в мансарде Эжен Потье, укрывшийся здесь после боев в XI округе, создает всем известный теперь «Интернационал». Послушайте его сейчас: ни одна мысль, ни один

---

[1] Согласно некоторым рассказам,— пишет Андре Герен (в книге «1871, Коммуна», издательство «Ашетт», 1966),— бойца, стрелявшего последним на улице Оберкан, звали Альбер Лежен, «последний коммунар». Это почетное звание было присвоено ему в Советской России, где он и скончался в 1942 г.— *Прим. автора.*

образ, ни одно слово не устарели. Нельзя сказать сильнее, больше и лучше в столь немногих словах. А под окошком мансарды шли расстрелы.

Вчера после полудня я вдруг разленился, уж больно истомили меня слишком затянувшиеся каникулы на этой соломе, под этой соломенной крышей. Задыхаюсь от жары. Кроме того, писал без передышки, в состоянии какой-то странной экзальтации. Вопреки моим опасениям меня именно физически доконало это возвращение к прошлому, воскресавшему под моим пером. Не говоря уже о том, что все это приближает меня к Марте. Как раз в эти минуты я угадываю ее близкое присутствие, уверен, что она осторожно бродит где-то совсем рядом. Жду ее каждое мгновение.

Так я и заснул, во власти усталости и оптимизма.

Тайник Марты был вполне надежным убежищем. К тому же из него открывается вид на три стороны: во-первых, на Дозорный тупик, во-вторых, на зал «Пляши Нога» с его низкими сводами и, наконец, на тот угол, где торчали развалины баррикады.

Сумка моя исчезла — на том месте, где она лежала, я обнаружил записку: «Твои тетради отбыли в Рони».

Версальцы вторгались в Дозорный тупик дважды.

Сразу же после рукопашной, после того как сомкнулись их пехотинцы и артиллеристы, когда я только-только устроился здесь.... Штурм был зверским, молниеносным.

Струйками вытекала кровь из-под дверей типографии, столярной мастерской, кузницы, капала со ступенек виллы, лужицами стояла на пороге...

Два часа спустя прибыл карательный отряд, капитан, сержант и аптекарь Диссанвье, с трехцветной нарукавной перевязью — вся эта банда явилась в качестве военно-полевого суда и засела в сводчатом зале кабачка. Наконец под конвоем жандармов привели пленных.

Из моего укрытия мне была видна лишь часть происходившего и только некоторые палачи и жертвы, но я старался дополнить то, что ускользало от моих глаз, тем, что доносилось до моего слуха.

«Военный суд» прежде всего распорядился о кормежке для себя.

Обильный завтрак был сервирован на прекрасной скатерти, подали даже серебряную посуду, которую вынимали только раз, когда принимали здесь Флуранса. Тереза постаралась и блеснула своими кулинарными талантами, а ее Пунь порхал вокруг стола, разливал вино, сопровождая поклоны множеством жалоб и вздохов. Тройка военных судей в конце концов отослала его, чтобы откушать без помех. Мне был виден только капитан, худенький сорокалетний низкорослый версалец в пенсне на остреньком носике. Он исправно подкладывал себе кушанья, жевал сосредоточенно и внимательно. Во время трапезы во двор въехали две повозки: в фургоне для мебели навалом лежали мертвецы, на другой, двухколесной тележке, привезли песок и лопатами засыпали лужи крови. Уходя, возчик, а за ним и ломовик буркнули младшему лейтенанту, командиру взвода: «До скорого!»

«Военный суд» справлял свое дело следующим образом.

Председательствовал капитан, по правую руку от него сидел аптекарь, а по левую — наш бывший нищий Меде.

Бригадир вводил каждого «подозрительного» в сопровождении конвоя. Назвав фамилию и занятие, бригадир сообщал, были ли обнаружены на руках задержанного следы пороха, а на плече — синяки от ружейного приклада.

Капитан сначала поворачивался к сидевшему справа, потом к сидевшему слева, потом задавал арестованному один-два, редко три вопроса, и то очень коротких, после чего делал костлявой рукой жест отмашки и произносил: «Следующий!»

На все это уходило две-три минуты...

Приговоренного уводили на кучу мусора. Убийцы вскидывали ружья...

«Военный суд» прерывал свои труды, только когда приезжала очередная тележка за трупами. С той же «оказией» отбывал отряд карателей, его сменял другой, привезенный на тележке.

Тех «подозрительных», кому удавалось избежать смертной казни, жандармы запирали в надежно охраняемой столярной мастерской. Впрочем, такое случалось один раз из десяти. И только одного «подозрительного» спокойно отпустили на все четыре стороны — Бальфиса.

Меде упрекал его за поведение дочки. Но даже быв-

ший нищий Дозорного не знал всего! Диссанвье что-то долго говорил на ухо капитану.

Сам же мясник не произнес в свою защиту ни слова, это был уже не человек, а просто зареванная, вздыхающая и всхлипывающая туша.

Иногда перед судьями возникали неожиданные проблемы. Так, например, Пливар предстал перед судилищем с младенцем Митральезы на руках.

— А кто ж о моей ребятне позаботится? — насмешливо бросил он.

— Хм... а сколько их у вас? — спросил явно смущенный капитан.

— Цельный выводок!

— На то есть монастырские приюты,— отрезал аптекарь.

Тереза Пунь приняла младенца из рук Пливара, уложила его на свою кровать, а тем временем нашего «труса» расстреляли.

Иные отказывались от вражеского милосердия. В числе их был Маркай, покрытый кровью и землей, его поддерживали два жандарма. К этому времени капитан, уже обнаруживавший признаки усталости, промямлил:

— Это литейщик... Если перебьем всех рабочих...

— Ничего, новых обучим,— возразил аптекарь.

— И новые посмирнее будут,— уточнил Меде.

— Но все-таки, все-таки...— упорствовал капитан.— Бригадир, заприте его в столярной.

Маркай спокойно объявил:

— Я был секретарем синдиката.

— В таком случае следующий!

Когда бригадир ввел аптекаршу, все трое судей вздрогнули, и все по разным причинам.

Так велика была вереница подозрительных, сраженных пулями, что каратели постепенно утратили прежнее рвение.

Веронике удалось спастись каким-то чудом, ее даже не поцарапало. Меде краешком глаза наблюдал за Диссанвье. Судьи велели увести ее и после долгого совещания снова ввели в судилище.

— Ну ладно,— сказал аптекарь,— я тебя прощу, если ты...

— А я тебя никогда не прощу.

И она шагнула прочь. Жандармы засеменили за ней,

но красавица аптекарша уже встала лицом к дулам карателей.

Предок был предпоследним. Он единственный, стоя под дулами, поднял глаза не к небу, а ко мне. Он, должно быть, знал, что я там, наверху. Он всегда все знал. Он был почти таким же всеведущим, как Марта.

Наш старик — молодец все-таки — умер с исполненной веры улыбкой.

Поймав его последний взгляд, я вспомнил, что он хотел «завещать» мне свои глаза, в которых еще жил образ великого Делеклюза, восходящего на баррикаду на бульваре Вольтера.

Отряд тут же перезарядил ружья. Дула опустились к земле. Я подумал, что теперь они решили убить собаку или кошку. Но, услышав их гогот, понял. Они расстреливали безногого мужа нашей Мокрицы...

Выбравшись из Бельвиля, выбравшись из Парижа, ускользнув от версальцев, ускользнув от пруссаков, добравшись к себе в Рони, я, по ребяческому своему недомыслию, счел себя спасенным. А был я дичью.

Настоящая охота только еще начиналась.

Для них я как был коммунарщиком проклятым, так коммунарщиком и остался. Мы клеймом на всю жизнь отмечены — как скот.

Истекает июнь 1871 года. Я в опасности, и дела мои идут все хуже и хуже. С 22 мая по 13 июня восстановленная полиция получила 379 833 анонимных доноса.

Завтра уезжаю в Швейцарию.

Оказия: бродячий акробат, друг Предка — из молодых карбонариев, сподвижник Бакунина,— возвращается с ярмарки в Бельвиле. Да-да, с ярмарки, ибо в ту самую неделю, что последовала за неделей резни, жонглеры, огнеглотатели, акробаты и торговцы сластями раскинули свои бараки на больших дорогах, еще влажных после генеральной поливки.

Я буду участвовать в балаганном представлении, мой ярмарочный хозяин берет меня на роль помощника клоуна.

Мой выход из стен Дозорного тупика, мое бегство из Бельвиля и исчезновение из Парижа прошли без осложнений. Просто повезло.

Я дождался зари, зная, что в нынешних обстоятельствах одиночный прохожий рискует быть задержанным на любом перекрестке. В воскресные вечера до утра понедельника Бельвиль оглашался песнями и воплями пьяной солдатни, проводившей время в драках. Я решил, что лучше всего воспользоваться часами похмелья, наступавшими после этих оргий.

В тайничке Марты я нашел нарукавную повязку с красным крестом.

Пушка «Братство» все еще высилась, вся в пятнах крови, вся в следах неописуемой бойни у входа в тупик. Улицу очистили только от тех трупов, которые мешали движению.

Непроспавшиеся зеваки толпились у воззвания маршала Мак-Магона.

«Французская армия пришла спасти вас. Париж освобожден. В четыре часа наши солдаты очистили районы, занятые мятежниками. Сегодня борьба завершилась. Вновь возродятся порядок, труд и свобода».

Группки читающих рассеивались, как только на горизонте появлялось кепи жандарма, из опасения, что придется пачкать себе руки. «Осторожно,— предупреждал сосед соседа,— каждый прохожий, которого удастся захватить врасплох, будет вынужден рыть ямы и захоранивать трупы!»

Всюду развалины, скрюченные мертвые тела, лошади с развороченными животами, оружие и разбитые ящики, вперемешку со всем этим груды одежды — одежды, перепачканной кровью.

Тут я и заметил женскую черную кофту. Я не мог ошибиться, нащупал кончиком пальцев проволочку, скреплявшую порванный клок. В тот же самый миг чья-то рука тяжело опустилась мне на плечо:

— Флоран! Ты? Пойдем-ка, есть работа.

То был военный врач Жуанен — или Жувен,— тот, кого мы повстречали после битвы при Шампиньи. Все в той же фуражке санитарной службы из темно-красного бархата.

— Господин доктор, вы видели Марту?

— Марту?

— Вы должны помнить, темноволосая такая... она была со мной...

— Н-нет!

— Быть может, нашли ее тело?

— Не знаю, пойдем, Флоран!

Когда я пишу эти строки, мною овладевает мучительное сомнение. В ответе врача слышалось какое-то колебание. В конце концов, с того дня в Шампиньи врачу пришлось видеть столько девушек, столько раненых, столько убитых женщин... Он почти силой потащил меня, не дав мне унести с собой окровавленную кофту.

— Господин доктор, мой долг объяснить вам прежде всего...

— Некогда, Флоран, пошли...

Он, конечно, был порядочный человек... Вообще-то даже трудно передать, какую бойню можно устроить при участии одних славных малых! Я помогал ему, как умел, несколько долгих часов. Держал раненых, из тела которых он извлекал иголки, медные литеры, обломки зубила.

Уже к вечеру, когда, оставшись одни, мы пили кофе, я собрал все свое мужество и сказал:

— Господин доктор, было бы непорядочным с моей стороны...

— Слушай меня внимательно, дорогой Флоран. Я тоже должен вести себя как порядочный человек, порядочный со всеми, что не так просто, и быть порядочным с самим собой, что почти невозможно. Мы переживаем дни, когда, по-моему, мыслимо только одно: быть глухим и немым. Другого решения нет. А ты как думаешь?

— Я понимаю, что вы имеете в виду, я действительно знал одного глухонемого, который...

— А твои родители где, Флоран?

— В Рони.

— Очень кстати. Видел высокого кирасира, которого мы перевязывали? Его ранило алебардой, в средние века применялось такое оружие. Правда, в данном случае это просто подделка под средневековую алебарду, но великолепная, из лучшей стали, какой у самого Людовика XI не было в распоряжении. Так вот, этот несчастный парень — крестьянин из Вильмомбля. Ему хотелось бы на поправку поехать к себе на ферму. Он не жилец на этом свете, мы можем доставить ему такое удовольствие. Довези-ка его до места и еще трех-четырех раненых, тоже его земляков. Вот и будут у тебя пассажиры. По дороге будешь за ними смотреть. Поедете в омнибусе. Я вам выправлю пропуск для прусских караулов...

— Господин доктор, если увидите Марту...

Этот доктор — само совершенство. Делает, что надо делать, говорит то, что надо говорить, и умеет доказать, что есть такие люди, которые не могут умереть.

Моя сумка ждала меня в Рони. Кто-то подкинул ее в ясли Бижу, пока родители были в поле. Перед тем как уехать в изгнание, доверю свои тетради отцу. Оставлю ему также письмо для Марты, но верить — я уже не верю. Короче, хотел бы не верить.

Она заранее позаботилась достать мне костюм. Переодеться.

Жизнь продолжалась. Швейцария. Пописываю для газеты «Журналь де Женев». Амнистия. Занимаюсь репортажем в Париже. Пишу под псевдонимом, уже завоевавшим некоторую популярность. Изредка встречаю то одного, то другого. Тренке, возвратившегося из Кайены, теперь он муниципальный советник в Бельвиле, и Пассаласа — комиссара полиции в Отейе.

И Марту я представлял себе среди тысяч и тысяч заключенных, то в тюрьме на Бютт-Шомоне, то в Сен-Лазаре, то в Птит-Рокетте, то в лагере Шантье в Версале,— сколько часов я провел, с лупой в руках вглядываясь в групповой снимок, где среди сотен и сотен женских и девичьих лиц можно было разглядеть на первом плане Леонтину Сюетанс, Изабеллу Ретифф, Мари Леруа и Луизу Мишель. Марта, которую я представлял себе по очереди в Бельгии, в Англии, в Новой Каледонии...

Марта, в конце концов исчезнувшая в дымке тумана.

Нереальная Марта, безумная мечта, как Коммуна.

О финале фантастической судьбы нашей пушки «Братство» рассказал мне по возвращении из Берлина мой друг Жан Лот.

Пруссаки оказали ни с чем не сравнимую услугу господину Тьеру. Они возвратили ему его офицеров, его солдат, его пушки, его митральезы, они по его просьбе блокировали восточные районы столицы и сделали все это на совесть. Вот одна из многих живописных картинок: прусские музыканты играют, выстроившись под укреплениями, а что до немецких орфеонов, разве такое опишешь? Музыканты в пестро расшитых одеждах, в касках, увенчанных орлом, распростершим крыла, наяривают на каких-то

немыслимых инструментах, змееподобных медных трубах, на гигантских тромбонах, дудках, колокольчиках — бум-бум, тра-ля-ля... Время от времени рядом с ними по рву проползал окровавленный, еле живой коммунар, чуть не тыкаясь в огромные сапожища солдафона с фанфарами, который продолжал дудеть, согласно партитуре, свои бум-бум-бум и тра-ля-ля... А в тот момент, когда в партитуре значилась пауза, исполнитель — удачное словечко! — вытаскивал из кобуры пистолет — бах! бах! — добивал умирающего, и все это не в ущерб мелодии — бум-бум-тру-ля-ля. И хоть бы он сфальшивил, хоть бы где нарушил ритм, просто неблагозвучное бах! бах! — и поди услышь, ведь они вот какой гам подымают, прусские музыканты!

Короче, добренькие пруссаки так ублаготворили впечатлительного господина Тьера, что он не знал, как их и отблагодарить. Тут-то ему и пришло в голову преподнести в дар Бисмарку эту пресловутую пушку «Братство», о которой шло столько разговоров.

И вот таким образом бельвильская пушка очутилась в Берлине и прокрасовалась целых сорок семь лет в Военном музее.

1918-й. Немецкие рабочие восстают. Теперь они создают Берлинскую Коммуну. Полвека — не более одного мига для короткой памяти капитализма, считающего себя вечным! Потерпевшая поражение немецкая военщина напоминает об оказанной в свое время услуге потерпевшей в свое время поражение французской военщине. Гинденбург добивается от маршала Фоша возвращения немецких военнопленных, в первую очередь офицеров, а также передачи пяти тысяч пулеметов. С помощью этих людей и этого оружия Коммуна Берлина будет подавлена.

— Спартаковцы—федераты Берлина,—рассказывал мне Жан Лот,— измотанные, понесшие огромные потери, испытывали в то время острейший недостаток в оружии.

Они отправляются в Военный музей, где по-прежнему выставлена пушка «Братство», увозят ее и переливают на пули.

— Странные это были пули,— добавил Жан Лот,— в их свисте звучал голос бронзы, обращавший в бегство берлинских «версальцев»...

И это, старина Жан, была лебединая песня маленьких бронзовых грошиков из Бельвиля!

Примечания

Стр. 21

Международное бюро труда — орган, выполнявший функции постоянного секретариата Международной организации труда, созданной в 1919 г. в качестве автономной организации Лиги наций. Занималось разработкой международных конференций и рекомендаций, а также распространением информации по вопросам труда.

Стр. 27

Базен, Франсуа-Ашиль (1811—1888) — маршал Франции, монархист, в 1863—1867 гг. возглавлял французскую вооруженную интервенцию в Мексике. Во время Франко-прусской войны командовал Рейнской армией, в октябре 1870 г. капитулировал в Меце.

Стр. 30

Бриссо, Жак-Пьер (1754—1793) — деятель Французской буржуазной революции конца XVIII в., лидер жирондистов. В своих историко-философских сочинениях выступал как ученик Ж.-Ж. Руссо. В одной из своих работ сформулировал положение «собственность есть кража», позднее выдвинутое П.-Ж. Прудоном.

Бабеф, Гракх (1760—1797) — французский революционер, коммунист-утопист, один из предшественников научного коммунизма, руководитель движения «во имя равенства» в период термидорианской реакции и Директории. Казнен 27 мая 1797 г.

Прудон, Пьер-Жозеф (1809—1865) — французский публицист, экономист и социолог, идеолог мелкой буржуазии, один из родоначальников анархизма.

Стр. 36

...уничтожают дивизию генерала Дуэ под Виссамбуром.— Эта победа открывала немецким войскам путь на Эльзас.

...прорывают фронт под Фрешвиллером и Вертом.—Одно из первых крупных сражений Франко-прусской войны 1870—1871 гг.

...истребляют при Шпихерне нашу знаменитую Рейнскую армию.— В сражении при Шпихерне (или чаще при Форбахе) прусские войска раз-

били 2-й корпус Рейнской армии под командованием генерала Фроссара, что привело к оккупации немцами части Эльзаса и Лотарингии.

Стр. 41

...позубоскалить насчет «дела Ла-Виллет».—14 августа 1870 г. Бланки со своими сторонниками совершил нападение на казарму пожарников на бульваре Ла-Виллет. Бланкисты рассчитывали захватить оружие и раздать его народу, что должно было послужить началом всеобщего восстания. Так как благоприятный момент для выступления был упущен, нападение на казарму закончилось поражением.

Бланки, Луи-Огюст (1805—1881) — французский революционер, коммунист-утопист, организатор ряда тайных обществ и заговоров; активный участник революций 1830 и 1848 гг. Виднейший вождь пролетарского движения во Франции, один из руководителей восстания 31 октября 1870 г. в Париже. В период Коммуны находился в заключении.

Эд, Эмиль-Франсуа-Дезире (1843—1888) — французский революционер, один из ближайших соратников Бланки. Участник восстания 31 октября 1870 г. Генерал Парижской Коммуны, член ее Исполнительной и Военной комиссий, позднее член Комитета общественного спасения. После подавления Коммуны эмигрировал в Англию. Заочно приговорен к смертной казни.

Флотт, Бенжамен (1814—1888) — друг и последователь Бланки, в последние годы Империи участвовал в тайных бланкистских организациях. Выступал в качестве посредника в переговорах между коммунарами и Версалем по поводу обмена Бланки на архиепископа Парижского Дарбуа, арестованного Коммуной.

Стр. 48

Валлес, Жюль-Луи-Жозеф (1832—1885) — писатель и журналист демократического направления. Участник революции 1848 г. Активно боролся против правительства Второй империи. Участник восстания 31 октября 1870 г. Член Комиссии просвещения и Комиссии внешних сношений Парижской Коммуны. После ее подавления эмигрировал в Англию. Заочно приговорен к смертной казни. Наиболее известные его произведения— автобиографическая трилогия, один из романов которой, «Инсургент», посвящен Парижской Коммуне.

...о казни четырех сержантов из Ла-Рошели в сентябре 1822 года.— Речь идет об одном из военных заговоров, организованных обществом карбонариев в годы Реставрации. Сержанты 45-го линейного полка Бори, Рау, Губен и Помье, организовавшие пропаганду в Ла-Рошели, были арестованы, увезены в Париж и 21 сентября 1822 г. казнены на Гревской площади.

Стр. 51

...Флурансовых молодцов — Флуранс Гюстав (1838—1871) — французский революционер и естествоиспытатель, бланкист, член I Интернационала. В 1866—1867 гг. принимал участие в борьбе за освобождение острова Крит от турецкого господства и был избран депутатом критского Национального собрания. Сражался в Неаполе в отрядах Гарибальди. Во время осады Парижа немецкими войсками командовал батальоном Национальной гвардии. Один из руководителей восстаний 31 октября 1870 г. и 22 января 1871 г. Активный участник революции 18 марта 1871 г. в Париже. Член Военной комиссии Коммуны, генерал Национальной гвардии. Во время похода коммунаров на Версаль 3—4 апреля командовал одной из колонн, был захвачен версальцами и зверски убит.

С т р. 59

Трошю, Луи-Жюль (1815—1896) — французский генерал и политический деятель, глава «правительства национальной обороны», главнокомандующий вооруженными силами Парижа (сентябрь 1870 — январь 1871), предательски саботировал оборону города.

...когда пушка по тревоге подняла всю столицу, когда над башнями Собора Парижской богоматери реяло черное знамя.— 10 августа 1792 г. в Париже произошло народное восстание, возглавленное созданной в ночь с 9 на 10 августа Парижской Коммуной. Сигналом к восстанию, покончившему с монархией во Франции, послужили набат и оружейные выстрелы. Знамя Парижской Коммуны было черного цвета.

С т р. 60

...солдат Второго года.—Во время Французской буржуазной революции конца XVIII в. был введен новый календарь, по которому начало года (и летосчисление) считалось со дня провозглашения республики — 22 сентября 1792 г.

С т р. 61

Гамбетта, Леон (1838—1882) — французский государственный деятель, буржуазный республиканец. В 1870—1871 гг.—член «правительства национальной обороны».

С т р. 66

...когда солдаты крошили ...мятежников на площади Бастилии и в предместье Сент-Антуан.— 26 июня 1848 г. после четырехдневного героического сопротивления было подавлено массовое вооруженное восстание парижских рабочих.

С т р. 67

Мексиканская экспедиция—вооруженная интервенция Франции, первоначально совместно с Испанией и Англией, предпринятая в 1862—1867 гг. против прогрессивного республиканского правительства Бенито Хуареса, имевшая целью превращение Мексики в колонию европейских государств. Стоила Франции огромных денег и закончилась для нее поражением в результате героической освободительной борьбы мексиканского народа.

Крымская война (1853—1856) — война России против коалиции Англии, Франции, Турции и Сардинии.

Дюшатель, Шарль Мари-Таннеги (1803—1867) — французский государственный деятель, министр внутренних дел в 1839—1840 гг., с 1840 по февраль 1848 г.

Варлен, Луи-Эжен (1839—1871) — рабочий-переплетчик, один из виднейших деятелей французского и международного рабочего движения 60-х гг. XIX в. и руководителей секции Итернационала во Франции. Участник восстаний 31 октября 1870 г. и 22 января 1871 г. в Париже. Член ЦК Национальной гвардии, активно участвовал в революции 18 марта 1871 г. Занимал ряд важнейших постов в руководстве Парижской Коммуны (Комиссия финансов, продовольствия, военная и т. д.). Расстрелян версальцами.

... *на втором процессе Международного товарищества рабочих*, т. е. Интернационала. — Процесс был организован правительством Второй империи против парижских секций Интернационала в мае 1868 г. Обвиняемые, главным из которых был Варлен, были приговорены к денежному штрафу и тюремному заключению.

Тринадцать погибло в июне в Ла-Рикамари.— 17 июня 1869 г. правительственные войска подавили стачку шахтеров Кантенских копей (район Сент-Этьена). В Ла-Рикамари было убито 13 рабочих.

Четырнадцать — в октябре в Обене.— В октябре 1869 г. с человеческими жертвами была подавлена стачка шахтеров Обена.

С т р. 69

Виар, Помпей-Огюст-Венсан (1836—1892) — член Комиссии продовольствия и Исполнительной комиссии Парижской Коммуны. После подавления Коммуны эмигрировал. Заочно приговорен к смертной казни.

Бержере, Жюль (1839—1905) — член ЦК Национальной гвардии. Активный участник революции 18 марта 1871 г. Член Военной комиссии Парижской Коммуны, начальник главного штаба Национальной гвардии, комендант Парижского укрепленного района. После подавления Коммуны эмигрировал. Заочно приговорен к смертной казни.

Остен, Франсуа-Шарль (1823—1912) — член Федерального совета парижских секций Интернационала и ЦК Национальной гвардии. В Коммуне входил в Комиссию общественных служб и Комиссию продовольствия. Заочно приговорен к смертной казни. Эмигрировал в Женеву.

Люсипиа, Луи-Адриен (1843—1904) — член I Интернационала. Член ЦК 20 округов. Секретарь квестора Коммуны Лео Мелье. После подавления Коммуны приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. Амнистирован в 1880 г.

Тренке, Алексис-Луи (1835—1882)—рабочий-сапожник, член Комиссии общественной безопасности Парижской Коммуны. Схваченный версальцами, был приговорен к каторге, откуда вернулся по амнистии в 1880 г.

Ранвье, Габриэль (1828—1879) — рисовальщик по фарфору, пользовался большой популярностью в Бельвиле. Член ЦК 20 округов и ЦК Национальной гвардии. Участвовал в восстании 31 октября 1870 г. Член Военной комиссии Коммуны и Комитета общественного спасения. Активный участник последних боев в Париже. Заочно приговорен сначала к каторге (1871), а затем к смертной казни. Эмигрировал в Англию, где входил в Генеральный совет I Интернационала.

С т р. 71

Канробер, Франсуа-Гертрен (1809—1895) — маршал Франции (с 1856 г.), бонапартист, один из активных участников государственного переворота 2 декабря 1851 г. Принимал участие в завоевании Алжира. С сентября 1854 по май 1855 г.— главнокомандующий армией в Крыму. Во время Франко-прусской войны 1870—1871 гг. командовал корпусом, взят в плен в составе армии Базена под Мецем.

...Гравелот.— У деревни Гравелот 16 августа 1870 г. произошло одно из самых ожесточенных кавалерийских сражений (его называют также битвой при Резонвиле), проигранное из-за бездарности и бездеятельности маршала Базена. 18 августа после кровопролитного боя у Сен-Прива армия Базена была отброшена к Мецу и блокирована немецкими войсками.

Стр. 73

Эбертист, якобинец.— Речь идет о неоякобинцах: небольшой группе мелкобуржуазных демократов-республиканцев во Франции в XIX в., считавших себя продолжателями дела якобинцев 1793—1794 гг. В дни Парижской Коммуны 1871 г. неоякобинцы играли значительную роль, занимали в ней видные посты. Среди коммунаров были также сторонники тактики левых якобинцев периода Французской буржуазной революции XVIII в., называвшиеся по имени главы этого крыла Ж.-Р. Эбера.

Стр. 74

Распай, Франсуа-Венсан (1794—1878) — французский революционный демократ и утопический коммунист, естествоиспытатель. Участник революции 1830 и 1848 гг. Был тесно связан с рабочим движением. В последние годы примыкал к левому крылу партии радикалов.

Барбес, Арман (1809—1870) — французский мелкобуржуазный революционный демократ. Вместе с Бланки участвовал в революционных заговорах 30-х годов. В 1839 г. за организацию восстания приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Освобожден в 1848 г., выступал против революционного движения пролетариата.

Стр. 75

Фавр, Жюль (1809—1880) — французский адвокат и политический деятель, министр иностранных дел в «правительстве национальной обороны» и правительстве Тьера, вел переговоры о капитуляции Парижа и мире с Германией, один из палачей Парижской Коммуны.

Стр. 79

...расстреливали из ружей и пушек толпы кабилов.— Имеется в виду борьба племени кабилов (Северный Алжир) против французских завоевателей, которые утвердились в Кабилии в 1857 г.

Стр. 81

...выпустили воззвание.— 12 июля 1870 г. члены парижских секций Интернационала опубликовали в газете «Ревей» манифест «К трудящимся всех наций», в котором призывали французских и немецких рабочих к борьбе против войны.

Стр. 84

Мишле, Жюль (1798—1874) — французский историк, идеолог мелкой буржуазии, антиклерикал, республиканец. Выступал против режима Второй империи.

Стр. 89

Шалонская армия — армия, сформированная из уцелевших после поражения французских частей в середине августа 1870 г. в Шалони под командованием Мак-Магона. После ряда боев 1 сентября была оттеснена к Седану, окружена там и 2 сентября капитулировала вместе с Наполеоном III.

С т р. 91

Рошфор, Анри (1831—1913) — французский журналист, издавал газету «Марсельеза», затем «Мо д'Ордр», политический деятель, левый республиканец. Осуждая контрреволюционную деятельность версальцев, в то же время критиковал действия Коммуны. После подавления Коммуны сослан в Новую Каледонию, откуда ему удалось бежать 20 марта 1874 г. вместе с пятью другими ссыльными.

Арну, Шарль-Огюст-Эдмон-Артюр (1833—1895)— писатель и журналист. Член Комиссий внешних сношений, продовольствия и просвещения. После подавления Коммуны заочно приговорен к ссылке с заключением в крепости. Эмигрировал в Швейцарию.

С т р. 92

...*разбитые при Бомоне*.— В сражении при Бомоне 30 августа 1870 г. немецкие войска разгромили 5-й французский корпус Шалонской армии Мак-Магона. Это сражение представляло собой этап военной операции пруссаков против группировки Мак-Магона, завершившейся ее разгромом при Седане.

Тьер, Адольф (1797—1877) — французский политический и государственный деятель, буржуазный историк, глава правительства в 1871 г., один из главных палачей Парижской Коммуны.

...*правительственного совета национальной обороны*.— Имеется в виду делегация «правительства национальной обороны», направленная в Тур в середине сентября 1870 г. для организации сопротивления немецкому вторжению в провинциях и осуществления внешних сношений. С начала октября и до конца войны делегацию возглавлял Гамбетта, руководивший военным министерством и министерством внутренних дел. Деятельность делегации была направлена на формирование и вооружение новых крупных военных сил. С начала декабря 1870 г. делегация переехала в Бордо.

С т р. 94

Асси, Адольф-Альфонс (1841—1886) — рабочий-механик, активный участник рабочего движения в последние годы Второй империи (в частности, участвовал в стачке 1870 г. в Крезо). Член ЦК Национальной гвардии и Парижской Коммуны. После ее подавления приговорен к ссылке, где и умер.

Курбе, Дезире-Жан-Гюстав (1819—1877) — выдающийся художник-реалист, участник революции 1848 г. После революции 4 сентября 1870 г.— председатель художественной комиссии по охране памятников искусства. Член Парижской Коммуны, возглавлял Федеральную комиссию художников. После подавления Коммуны арестован и приговорен к тюремному заключению и штрафу в 323 тысячи франков на восстановление Вандомской колонны (Курбе приписывали инициативу ее разрушения, которая на самом деле принадлежала Ф. Пиа).

С т р. 97

Симон, Жюль (1814—1896) — французский государственный деятель, умеренный буржуазный республиканец, министр народного обра-

зования в «правительстве национальной обороны» и в правительстве Тьера, один из вдохновителей борьбы против Коммуны.

Ферри, Жюль (1832—1893) — французский адвокат и политический деятель, член «правительства национальной обороны», мэр Парижа.

Стр. 102

...*Второго декабря.*— 2 декабря 1851 г. произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришел Наполеон III.

Стр. 106

Федеральная палата рабочих обществ — объединение синдикатов и других рабочих обществ Парижа; создана по инициативе Интернационала в 1869 г., охватывала более 50 профессиональных союзов и рабочих обществ.

Стр. 107

...*на площади Кордери.*— Здесь помещались Федеральная палата рабочих обществ и Федеральный совет парижских секций Интернационала, а с 6 марта 1871 г. — ЦК Национальной гвардии.

Стр. 110

...*вспоминает о недавних восстаниях в Польше.*— Имеется в виду национально-освободительное восстание польского народа против гнета русского самодержавия в 1863—1864 гг.

Стр. 111

Клеман, Жан-Батист (1836—1903) — рабочий, поэт-песенник и публицист, бланкист. Освобожденный революцией 4 сентября 1870 г. из тюрьмы, вступил в Национальную гвардию. Участвовал в восстаниях 31 октября 1870 г. и 22 января 1871 г. Член Комиссии общественных служб и Комиссии просвещения Парижской Коммуны. После подавления Коммуны эмигрировал в Лондон. Заочно приговорен к смертной казни.

Стр. 116

Блан, Луи (1811—1882) — французский мелкобуржуазный социалист, историк. Стоял на позициях соглашательства с буржуазией. В августе 1848 г. эмигрировал в Англию. Вернувшись во Францию в 1870 г., выступал против Парижской Коммуны.

Стр. 118

Уде, Жозеф-Эмиль (1826—1909) — рисовальщик по фарфору. После революции 4 сентября 1870 г. помощник мэра XIX округа. Член Парижской Коммуны. После ее подавления эмигрировал.

Стр. 119

...*Зал для игры в мяч.*— Зал в Версале, где депутаты Национального собрания во время Французской революции 1789 г. дали клятву не расходиться, пока не будет создана конституция.

Комитет 20 округов — Центральный республиканский комитет 20 округов, созданный 5 сентября 1870 г. из представителей республиканских комитетов бдительности всех округов Парижа. Большинство

инициаторов создания этой организации входило в состав I Интернационала. В период осады Парижа в каждом его округе были созданы республиканские комитеты бдительности. Решение об этом было принято 5 сентября 1870 г. на собрании рабочих представителей на улице Омар. В их задачу входило оказание помощи правительству в организации обороны города и охрана республиканского порядка от происков реакции. Каждый комитет бдительности посылал своих представителей в ЦК 20 округов. Комитеты бдительности фактически являлись стихийно возникшими органами самоуправления широких народных масс.

Стр. 122

Винуа, Жозеф (1800—1880) — французский генерал, бонапартист, участник государственного переворота 2 декабря 1851 г.; во время Франко-прусской войны командовал рядом соединений, с 22 января 1871 г. губернатор Парижа; один из палачей Коммуны, командовал резервной армией версальцев.

Стр. 153

Бомбы рвутся над Герникой.—Во время фашистского мятежа и итало-германской интервенции 1936—1939 гг. в Испании город Герника 26 апреля 1937 г. был разрушен в результате многочасовой бомбардировки германской авиацией.

Стр. 172

Табаран — сценическое имя актера французского народного театра Антуана Жирара (1584—1626), выступавшего на одной из ярмарочных площадей вместе с лекарем Мондором, с которым он вел диалоги и разыгрывал фарсы собственного сочинения, исполненные жизненных наблюдений, острой комедийности и грубоватого юмора. Они были впоследствии изданы отдельной книгой.

Стр. 181

...берет на себя командование армией Римской республики против Удино.— Имеется в виду возглавленная Д. Гарибальди оборона провозглашенной 9 февраля 1849 г. Римской республики против объединенных войск европейской контрреволюции (Франции, Австрии, Испании, Неаполя), которыми командовал французский генерал Н.-Ш. Удино.

Стр. 183

Клюзере, Гюстав-Поль (1823—1900)— кадровый офицер, участник Крымской кампании и войны в Алжире. В июне 1848 г. участвовал в подавлении восстания парижских рабочих. С 1858 г. в отставке. Участник борьбы гарибальдийцев. Воевал в армии Севера во время Гражданской войны в США. По возвращении во Францию примкнул к оппозиции, за что был приговорен к тюремному заключению. Член I Интернационала. Участник бакунинских выступлений на юге Франции. Со 2 апреля — Военный делегат Парижской Коммуны. 30 апреля в связи с ухудшением положения на фронте снят с поста и арестован, но затем оправдан и освобожден. После падения Коммуны эмигрировал в Швейцарию. Вернулся во Францию после амнистии 1880 г.

Стр. 184

Пиа, Феликс (1810—1889) — французский публицист, драматург, политический деятель, мелкобуржуазный демократ, участник революции

1848 г., противник самостоятельного рабочего движения. Член Исполнительной комиссии, Комиссии финансов и Комитета общественного спасения Парижской Коммуны. Один из лидеров якобинско-бланкистского «большинства». В боях против версальцев в дни «кровавой недели» не участвовал. После подавления Коммуны эмигрировал в Англию. Заочно приговорен к смертной казни. К. Маркс резко критиковал Ф. Пиа за фразерство и склонность к интригам.

С т р. 185

...*знаменитым словцом Камбронна.*— Речь идет об ответе, приписываемом командиру бригады старой гвардии Наполеона I генералу Камбронну в ответ на предложение сдаться во время битвы при Ватерлоо: «Merde! La garde meurt et ne se rend pas!» («Дерьмо! Гвардия умирает, но не сдается!»)

С т р. 188

Делеклюз, Луи-Шарль (1809—1871) — французский политический деятель, публицист революционно-демократического направления, мелкобуржуазный революционер, неоякобинец, участник революций 1830 и 1848 гг. Член Комиссии внешних сношений, Исполнительной и Военной комиссий Парижской Коммуны. Входил в состав Комитета общественного спасения. С 10 мая Военный делегат Коммуны. Погиб на баррикаде во время последних боев.

31 октября 1870 г. в Париже вспыхнуло стихийное восстание с целью свержения правительства Трошю. Поводом к нему послужило известие о капитуляции 27 октября в Меце маршала Базена со 170-тысячной армией. Народ захватил Ратушу и требовал провозглашения Коммуны. Была сделана попытка создания нового революционного правительства во главе с такими деятелями, как Бланки, Флуранс и др. Однако неподготовленность восстания, слабость революционного лагеря, наличие неизжитых иллюзий у рабочего класса, мешавших ему стать подлинно руководящей силой нации, привели к поражению восстания.

С т р. 192

Мильер, Жан-Батист (1817—1871) — французский революционер, журналист и адвокат, депутат Национального собрания 1871 г. Во время Коммуны находился в Париже, выступал в социалистической прессе в поддержку ее мероприятий. Критиковал правительство Тьера. Расстрелян 26 мая версальцами по личной инициативе Ж. Фавра, грязное прошлое которого Мильер разоблачил в печати.

С т р. 194

Алликс, Жюль (1818—1897) — участник июньского восстания 1848 г. в Париже и республиканских заговоров во время Второй империи. Член Парижской Коммуны.

С т р. 195

...*После плебисцита и муниципальных выборов.*— 3 ноября 1870 г. в Париже был проведен плебисцит по вопросу: «Подтверждает ли население полномочия правительства?» В обстановке поднимающейся волны реакции и растерянности левых сил после понесенного ими 31 октября 1870 г. поражения результат склонился в пользу «правительства национальной

обороны» (560 000 голосов «за», 63 000 «против»). 5—6 ноября состоялись выборы окружных мэров Парижа, а 7—8 ноября выборы их помощников. За кандидатов правительства было подано около 100 000 голосов, за кандидатов оппозиции — около 150 000 голосов. Среди мэров и их помощников появилась группа социалистов — более десяти человек.

С т р. 196

Тома, Клеман (1809—1871) — французский политический деятель, генерал, участник подавления июньского восстания 1848 г. в Париже. В ноябре 1870 — феврале 1871 гг. командующий Национальной гвардией Парижа, саботировал оборону города. 18 марта 1871 г. вместе с генералом Леконтом расстрелян восставшими солдатами.

С т р. 217

...примиренческая концепция... сторонников коммунализма и федерализма.— В основе политической программы Коммуны лежала идея коммунальной автономии и превращения Франции в Федерацию самоуправляющихся коммун. Широкая популярность идей автономизма и коммунализма во время Коммуны объяснялась резко отрицательным отношением трудящихся масс и мелкобуржуазных слоев населения к полицейско-бюрократической централизации, доведенной до крайности в период Второй империи. Однако в руководстве Коммуны не было полного единства по этому вопросу и там были сторонники более жесткой централизации власти.

С т р. 220

...женевский флаг.— В 1863 г. в Женеве конференция 14 стран сформулировала основные принципы деятельности Обществ Красного Креста и утвердила в качестве эмблемы этих обществ красный крест на белом фоне.

С т р. 225

Везинье, Пьер (1823—1902) — мелкобуржуазный французский публицист. После переворота 2 декабря 1851 г. изгнан из Франции. Участвовал в восстании 31 октября 1870 г. Член Парижской Коммуны. После ее подавления эмигрировал в Лондон. Заочно приговорен к смертной казни. В своих книгах о Коммуне грубо клевещет на коммунаров, особенно на интернационалистов и бланкистов.

Верморель, Огюст-Жан-Мари (1841—1871) — журналист и историк революционно-демократического направления. Освобожден из тюрьмы революцией 4 сентября 1870 г. Участник восстания 31 октября 1870 г. Член Комиссии юстиции, Исполнительной комиссии и Комиссии общественной безопасности Парижской Коммуны. 25 мая 1871 г. тяжело ранен на баррикаде и умер в плену у версальцев.

Лефрансэ, Гюстав-Адольф (1826—1901) — видный деятель рабочего и социалистического движения во Франции, член I Интернационала. По профессии счетовод, позже учитель. Участник революции 1848 г. Член ЦК 20 округов, участвовал в восстании 31 октября 1870 г. В Коммуне был членом Исполнительной комиссии, Комиссии труда, промышленности и финансов. После подавления Коммуны эмигрировал в Швейцарию. Заочно приговорен к смертной казни. Автор двух книг о Коммуне, одну из которых читал и конспектировал В. И. Ленин. Э. Потье посвятил ему «Интернационал».

С т р. 255

Риго, Рауль-Адольф-Жорж (1846—1871) — французский революционер, бланкист, журналист. Во время Второй империи неоднократно подвергался репрессиям. После революции 4 сентября 1870 г. был освобожден из тюрьмы и назначен специальным комиссаром при новом префекте полиции, что позволило ему ознакомиться со списками полицейских агентов, пробравшихся в ряды революционеров. Участник восстания 31 октября 1870 г. Делегат общественной безопасности Парижской Коммуны, потом прокурор Коммуны. 24 мая 1871 г. схвачен и расстрелян версальцами.

С т р. 256

Д'Орель де Паладин, Луи-Жан-Батист (1804—1877) — французский генерал. Во время Франко-прусской войны командовал Луарской армией. В марте 1871 г. командующий Национальной гвардией Парижа.

Бурбаки, Шарль (1816—1897) — французский генерал, во время Франко-прусской войны командовал Национальной гвардией, а затем Восточной армией.

С т р. 266

...о забастовке литейщиков в феврале 67 года.— В феврале 1867 г. парижские бронзовщики, которым предприниматели предъявили требование отказаться от участия в «Обществе взаимного кредита», объявили забастовку. Их борьба против произвола хозяев длилась около двух месяцев. При поддержке Генерального совета I Интернационала рабочие одержали победу.

С т р. 288

...«новый комитет Карно...».— Речь идет о революционном правительстве Франции в период якобинской диктатуры 1793—1794 гг.— Комитете общественного спасения, членом которого был математик и член Конвента Лазар-Никола Карно (1753—1823),— один из организаторов обороны страны против коалиции европейских государств.

С т р. 311

...резни в Бюзанвале.— Сражение при Монтрету или Бюзанвале произошло 19 января 1871 г. Плохая организация, отсутствие единства в действиях привели к поражению и огромным потерям — более четырех тысяч убитых и раненых. Среди погибших — известный художник Анри Реньо и подполковник Рокбрюн, командовавший батальонами Сент-Антуанского предместья.

С т р. 313

Эмбер, Альфонс (1844—?) — служащий аптеки. Принимал активное участие в республиканском движении. В 1870 г. сотрудник газеты «Марсельеза», а во время Коммуны сотрудничал в «Пэр Дюшен». Приговорен к пожизненным каторжным работам.

Жаклар, Шарль-Виктор (1840—1903).— Член I Интернационала, активный участник революционного движения в годы Второй империи. Член ЦК Национальной гвардии. Участвовал в революции 18 марта

1871 г. и в вооруженной борьбе Парижской Коммуны против версальцев. Эмигрировав из Франции после подавления Коммуны, некоторое время жил в России. Был женат на русской революционерке участнице Парижской Коммуны А. В. Корвин-Круковской. Вернулся на родину после амнистии 1880 г.

Стр. 315

Малон, Бенуа (1841—1893) — деятель французского социалистического движения. Сын крестьянина, рабочий-красильщик. Участвовал в создании секций Интернационала во Франции. Освобожден из тюрьмы революцией 4 сентября 1870 г., вошел в состав ЦК 20 округов. Участник восстаний 31 октября 1870 г. и 22 января 1871 г. Помощник мэра XVII округа. Член Комиссии труда, промышленности и обмена Парижской Коммуны, после ее подавления эмигрировал в Англию. Заочно приговорен к смертной казни.

Дюваль, Эмиль-Виктор (1841—1871) — рабочий-литейщик, видный деятель французского рабочего движения. Организатор синдиката рабочих-литейщиков в Париже. Член I Интернационала. Был связан с Бланки. Освобожден из тюрьмы революцией 4 сентября 1870 г. Член ЦК 20 округов и ЦК Национальной гвардии, генерал Парижской Коммуны. Во время похода на Версаль 4 апреля взят в плен и расстрелян.

Мелье, Лео-Никола-Сесиль-Франсуа (умер в 1909 г.) — французский революционер, левый республиканец, по профессии адвокат. В ноябре 1870 г. помощник мэра XIII округа. Участник восстания 31 сентября 1871 г., за что был заключен в тюрьму. Член Комиссии юстиции и Комиссии внешних сношений. С 28 марта 1871 г. квестор Коммуны. С 1 мая член Комитета общественного спасения. Гражданский комиссар в армии Врублевского. После подавления Коммуны эмигрировал в Англию. Заочно приговорен к смертной казни.

Серизье, Мари-Жан-Батист (1830—1872) — рабочий, член I Интернационала, полковник Национальной гвардии, командир XIII легиона. Участник восстаний 31 октября 1870 г. и 22 января 1871 г. Версальским судом приговорен к смертной казни по обвинению в казни 13 монахов-доминиканцев (к которой он был абсолютно не причастен). Расстрелян 25 мая 1872 г.

Стр. 317

Шодэ, Гюстав (1820—1871) — французский публицист и юрист, правый прудонист. После революции 4 сентября 1870 г. мэр IX округа. Принял активное участие в подавлении восстания 22 января 1871 г. Расстрелян по приказу Рауля Риго в тюрьме Сент-Пеллажи в ночь с 23 на 24 мая 1871 г.

Стр. 319

Сапиа, Теодор-Эммануэль (1838—1871) — журналист, бланкист. Член ЦК 20 округов. Командовал отрядом Национальной гвардии во время восстания 22 января 1871 г. Убит при подавлении восстания.

Стр. 326

Мольтке, Хельмут Карл Бернхард (1800—1891) — прусский генерал, с 1871 г. генерал-фельдмаршал, один из идеологов прусского милитариз-

ма и шовинизма, начальник прусского генерального штаба (1857—1871). Во время Франко-прусской войны фактически главнокомандующий.

Стр. 336

7—8 февраля 1870 г. в Париже происходили волнения, вызванные арестом Рошфора за его статью в газете «Марсельеза» 11 января 1871 г. по поводу убийства журналиста Виктора Нуара. В статье содержался призыв покончить с режимом Наполеона III. В различных пунктах города, особенно в рабочих районах, были сооружены баррикады. В организации сопротивления правительству в Бельвиле активно участвовал Г. Флуранс. По делу 7—8 февраля в Бельвиле были привлечены к суду «за участие в мятеже» 94 человека, главным образом рабочие. Флурансу удалось скрыться.

Стр. 337

Завтра Франция голосует.— 8 февраля 1871 г. во Франции состоялись выборы в Национальное собрание. Проводимые под двойным давлением, французских реакционеров и чужеземных оккупантов (43 департамента из 89 находились в руках пруссаков), они дали большинство реакционно-монархическим кругам (из 630 депутатов в Национальном собрании насчитывалось около 430 монархистов).

Стр. 339

Орлеанисты — монархическая группировка во Франции, выступавшая в начале 1830 г. в поддержку притязаний на престол Луи-Филиппа Орлеанского. Способствовала возведению его на престол во время июльской революции 1830 г. Представляла интересы финансовой буржуазии. Играла активную роль в подавлении Парижской Коммуны.

Граф де Шамбор, Анри-Шарль (1820—1883) — последний представитель старшей линии Бурбонов, внук Карла X, после победы июльской революции 1830 г. находился в эмиграции за границей, претендент на французский престол под именем Генриха V.

...Ассамблея в Бордо.— Открытие Национального собрания состоялось 12 февраля 1871 г. в Оперном театре города Бордо.

Стр. 340

Выложить в три года пять миллиардов.— По условиям прелиминарного мирного договора между Францией и Германией Франция должна была уплатить контрибуцию в сумме 5 млрд. франков, из которых 1 млрд. следовало выплатить в 1871 г., а остальные — в последующие три года.

Стр. 349

Центральный комитет Национальной гвардии — высший руководящий орган Федерации Национальной гвардии Парижа. С 24 февраля 1871 г. существовал как временный орган, окончательно оформился 15 марта 1871 г. на собрании делегатов 215 батальонов Национальной гвардии в танцевальном зале Тиволи. В его составе были члены Федерального совета парижских секций I Интернационала и ряд будущих членов Парижской Коммуны. 18 марта 1871 г. члены ЦК в своих округах возглавили сопротивление попыткам правительства Тьера разоружить Национальную гвардию. После победы революции 18 марта 1871 г. ЦК Нацио-

нальной гвардии становится фактически первым правительством рабочего класса и выполняет эти функции до провозглашения Парижской Коммуны. Осуществил ряд мероприятий в интересах трудящихся масс Парижа. Некоторые ошибки, допущенные ЦК в период его правления (например, отказ от немедленного наступления на Версаль), сыграли впоследствии роковую роль в поражении Парижской Коммуны. После передачи власти Коммуне ЦК сохранился как орган руководства Национальной гвардией.

Стр. 350

Моро, Эдуар-Огюст (1838—1871) — литератор, прославился своей храбростью во время осады Парижа. 18 марта 1871 г. вошел в ЦК Национальной гвардии. Гражданский комиссар при Военном делегате, руководил интендантством. 25 мая 1871 г. захвачен версальцами и расстрелян в казарме Лобо.

Республика не позволит пруссакам маршировать по парижским Бульварам, как в 1815 году!— После поражения Наполеона I в битве при Ватерлоо 18 июня 1815 г. прусские части в составе войск антинаполеоновской коалиции 6 июля 1815 г. вступили в Париж.

Стр. 361

Брюнель, Поль-Антуан-Маглуар (1830—?) — офицер, отличился во время осады Парижа. Играл видную роль в революции 18 марта 1871 г. Член Парижской Коммуны. Храбро сражался против версальцев, тяжело ранен во время «кровавой недели». Эмигрировал в Англию. Заочно приговорен к смертной казни.

Стр. 363

Пенди, Жан-Луи (1840—1917) — рабочий-столяр, член I Интернационала. В 1869 г. участвовал в создании Федеральной палаты рабочих обществ Парижа. После революции 4 сентября 1870 г. член ЦК 20 округов, один из руководителей Федерального совета парижских секций Интернационала. Вошел в ЦК Национальной гвардии. Член Военной комиссии Парижской Коммуны, затем комендант Ратуши. Участвовал в боях майской «кровавой недели». После подавления Коммуны эмигрировал в Швейцарию, заочно приговорен к смертной казни.

Стр. 379

Лишить Париж звания столицы!— Национальное собрание вынесло решение о фактическом лишении Парижа звания столицы и постановило с 20 марта 1871 г. перенести свои заседания из Бордо в Версаль.

...легитимисты — партия сторонников свергнутой во Франции в 1792 г. династии Бурбонов, представлявшая интересы крупной земельной аристократии и высшего духовенства. Оформилась в 1830 г., длительное время не пользовалась никакой поддержкой населения, активизировалась в 1871 г., включившись в общий поход контрреволюционных сил против Парижской Коммуны.

Стр. 380

Ранк, Артюр (1831—1908) — журналист, бланкист. Избранный в Национальное собрание, отказался от мандата в знак протеста против

заключения мирного договора. Член Парижской Коммуны, входил в Комиссии юстиции и внешних сношений. 5 апреля 1871 г. вышел из состава Коммуны. Это не спасло его впоследствии от репрессий, вынудивших эмигрировать в Бельгию.

Тридон, Эдмон-Мари-Гюстав (1841—1871) — журналист и историк. Активный участник республиканского и социалистического движения 60-х годов. Ученик и помощник О. Бланки. Неоднократно подвергался репрессиям. После революциии 4 сентября 1870 г. член ЦК 20 округов. Участник восстания 31 октября 1870 г., депутат Национального собрания. Член Исполнительной комиссии, затем Военной комиссии Парижской Коммуны. Тяжело больной, активной роли в Коммуне не играл, однако принял участие в боях майской «кровавой недели». Умер в эмиграции в Бельгии.

С т р. 382

Вийом, Максим (1844—1925) — журналист, сотрудничал в различных газетах демократического направления. Во время осады Парижа офицер Национальной гвардии. Участник восстаний 31 октября 1870 г. и 22 января 1871 г. Издавал вместе с Альфонсом Эмбером и Эженом Вермершем очень популярную в Париже газету «Пэр Дюшен» («Отец Дюшен»). Участвовал в вооруженной борьбе с версальцами. Арестованный 25 мая, Вийом был приговорен военным судом к смертной казни, но ему удалось бежать из Франции. Автор мемуаров, являющихся интересным источником по истории Коммуны.

С т р. 388

...на улице Транснонен.—Во время восстания в Париже в апреле 1834 г. солдаты ворвались в дом № 12 на улице Транснонен, заявив, что выстрелом отсюда ранен их офицер, и перебили всех жильцов, включая женщин и детей. Это зверское избиение послужило темой одного из рисунков Оноре Домье.

Ла-Гийотьер.— Речь идет о восстании 30 апреля 1871 г. в рабочих кварталах Лиона Круа-Русс и Ла-Гийотьер, которое было подавлено с применением артиллерии.

С т р. 395

Лисбонн, Максим (1839—1905)—был солдатом, потом директором театра, страховым агентом. Член ЦК Национальной гвардии, активный участник революции 18 марта 1871 г. Ранен во время последних боев Коммуны. Приговорен к пожизненной каторге.

С т р. 400

Аллеман, Жан (1843—1935) — типографский рабочий, участвовал в забастовке парижских печатников в 1862 г. С 18 марта до последних дней Коммуны сражался как офицер федератов. Приговорен версальцами к пожизненным каторжным работам. Автор «Воспоминаний коммунара».

Журд, Франсуа (1843—1893) — служащий банка, прудонист, член ЦК Национальной гвардии. Делегат финансов член Исполнительной комиссии Парижской Коммуны. Был против конфискации фондов Французского банка. Приговоренный к ссылке в Новую Каледонию, бежал оттуда в 1874 г.

Стр. 404

Ферре, Теофиль-Шарль-Жиль (1845—1871) — французский революционер, бланкист, счетовод по профессии. В качестве члена комитета бдительности Монмартра принял участие в революции 18 марта 1871 г. Член Комиссии общественной безопасности Коммуны, один из заместителей прокурора Коммуны. Принял активное участие в боях майской «кровавой недели». Схваченный версальцами, держал себя исключительно мужественно на суде и во время казни. Расстрелян 28 ноября 1871 г.

Стр. 417

Да Коста, Гастон-Пьер (1850—1928) — студент-бланкист. Помощник прокурора Коммуны Рауля Риго. Арестованный в июне 1871 г., приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами в Новой Каледонии.

Стр. 426

Выборы в Коммуну происходили 26 марта 1871 г. 28 марта состоялось торжественное провозглашение Парижской Коммуны.

Стр. 434

Под влиянием известий о революции 18 марта 1871 г. в Париже в ряде городов неоккупированной части страны вспыхнули восстания и были провозглашены Коммуны: 22 марта в Лионе, 24-го— в Марселе, Тулузе и Нарбонне, 26-го — в Сент-Этьене и Ле-Крезо. Однако провинциальные коммуны, ведущую роль в руководстве которыми играли мелкобуржуазные демократы и буржуазные радикалы, проявившие неспособность к решительной борьбе с силами контрреволюции, были подавлены уже в начале апреля.

Стр. 437

Белэ, Шарль (1795—1878) — инженер, социалист мелкобуржуазного направления, личный друг и ученик Прудона. Участник революции 1848 г. Член ЦК 20 округов. В октябре 1870 г. вошел в состав Федерального совета парижских секций Интернационала. Член Комиссии финансов Парижской Коммуны, ее Делегат во Французском банке, препятствовал захвату Французского банка Коммуной. Версальское правительство после подавления Коммуны позволило ему беспрепятственно уехать в Швейцарию.

Стр. 439

Шардон, Жан-Батист (1839—1900) — рабочий-котельщик, бланкист, член ЦК Национальной гвардии, начальник штаба генерала Дюваля. Член Военной комиссии, затем Комиссии общественной безопасности Парижской Коммуны. После подавления Коммуны эмигрировал в Швейцарию.

Франкель, Лео (1844—1896)— рабочий-ювелир, эмигрировал из Венгрии, член I Интернационала, друг Маркса. Член Комиссии труда, промышленности и обмена и член Комиссии финансов Парижской Коммуны. Делегат труда, промышленности и обмена. Раненный во время майской «кровавой недели», эмигрировал в Лондон. Заочно приговорен к смертной казни.

Стр. 446

Тейс, Альбер-Фредерик-Феликс (1839—1881) — резчик по металлу, социалист, деятель рабочего движения, член I Интернационала. Член ЦК 20 округов. Член Парижской Коммуны, назначенный ею директором почтового ведомства. Сломив саботаж высших служащих, наладил службу связи. Член Комиссий финансов и труда, промышленности и обмена. Активно участвовал в боях майской «кровавой недели». После подавления Коммуны эмигрировал в Лондон. Заочно приговорен к смертной казни.

Стр. 447

Мишель, Луиза (1830—1905) — учительница и писательница. Была делегатом Монмартра в ЦК 20 округов. Активный деятель женского движения. Участвовала в восстаниях 31 октября 1870 г., 22 января 1871 г. и в революции 18 марта 1871 г. Во время майской «кровавой недели» сражалась на баррикадах. Была приговорена к ссылке.

Дмитриева, Елизавета Лукинична (Томановская) (1851— ?) — русская революционерка, одна из основательниц Русской секции I Интернационала (1869—1870 гг.). 28 марта 1871 г. приехала из Лондона в Париж, где оставалась до последних дней Коммуны. Информировала Генеральный совет I Интернационала и лично Маркса о ходе дел в Париже. Сыграла значительную роль в создании «Союза женщин для защиты Парижа и ухода за ранеными», фактически являвшегося секцией Интернационала. Пользовалась большим авторитетом среди женщин-работниц. Во время майской «кровавой недели» участвовала в уличных боях. После падения Коммуны Дмитриевой удалось уехать в Швейцарию, откуда она вернулась в Россию.

Стр. 450

Галифэ, Гастон-Александр Огюст (1830—1909) — французский генерал, во время Франко-прусской войны командовал кавалерийским полком, был взят в плен в Седане; освобожден для участия в войне против Коммуны, командовал кавалерийской бригадой в армии версальцев. Отличался исключительной жестокостью при расправе с коммунарами.

Стр. 464

Буланже, Жорж-Эрнест-Жан-Мария (1837—1891) — французский генерал, политический авантюрист. Участвовал в подавлении Парижской Коммуны. Военный министр в 1886—1887 гг. Стремился к установлению военной диктатуры. После разоблачения его связей с монархистами 1 апреля 1889 г. бежал в Бельгию, где покончил жизнь самоубийством.

Стр. 468

Пиккьо, Эрнест-Луи (1840—1893).— портретист и автор картин на исторические сюжеты. Подпись под одним из полотен 1870 г. гласила: «Смерть Альфонса Бодена». (Депутат-республиканец Боден погиб 3 декабря 1851 г. на баррикадах Сент-Антуанского предместья.) Во время Коммуны — член Федеральной комиссии художников, участник боев с версальцами. Посвятил памяти Коммуны ряд картин, самая известная из которых — «Стена федератов».

Стр. 471

Домбровский, Ярослав (1836—1871) — польский революционер, офицер русской армии. За участие в подготовке польского восстания 1863 г. был арестован и сослан в Сибирь, по дороге в ссылку бежал и уехал во Францию. В период Парижской Коммуны был командиром в Национальной гвардии, с 6 апреля — генерал. Командующий вооруженными силами Коммуны на правом берегу Сены, с начала мая фактически главнокомандующий всех вооруженных сил Коммуны. 23 мая был смертельно ранен.

Стр. 476

Люлье, Шарль (1838—1891) — морской офицер. ЦК Национальной гвардии поручил ему после революции 18 марта 1871 г. командование Национальной гвардией. Был, по-видимому, связан с версальским правительством и с подпольной контрреволюционной организацией в Париже. Смещен с поста и арестован.

Стр. 489

Вайян Эдуар-Флоримон-Мари (1840—1915) — инженер, врач. Член I Интернационала и ЦК Национальной гвардии. Член Исполнительной комиссии, Делегат просвещения Парижской Коммуны. После ее подавления эмигрировал в Лондон, заочно приговорен к смертной казни.

Стр. 490

Речь идет о декрете Коммуны от 16 апреля 1871 г. о передаче брошенных хозяевами предприятий в руки рабочих кооперативных обществ.

Стр. 493

Бебель, Август (1840—1913) — выдающийся деятель международного и немецкого рабочего движения. Член I Интернационала, друг и соратник Маркса и Энгельса. Выступал в поддержку Парижской Коммуны.

Якоби, Иоганн (1805—1877) — видный немецкий демократ. Врач. Лидер левого радикального крыла буржуазной оппозиции. В 1870 г. за протест против намерения германского правительства аннексировать Эльзас-Лотарингию был заключен в крепость.

Стр. 496

А ведь и без того между Коммуной и Комитетом Национальной гвардии все идет вовсе не так гладко!— У ЦК Национальной гвардии и Коммуны отсутствовало единство взглядов по вопросу ведения борьбы с версальцами. Положение обострялось вмешательством ЦК в дела военного командования и существованием в нем оппозиции Коммуне, где действовала пробравшаяся в ЦК агентура Тьера. Разногласия по военным вопросам между Коммуной и ЦК Национальной гвардии серьезно осложняли и без того нелегкую организацию обороны Парижа против версальцев.

Стр. 507

Мио, Жюль-Франсуа (1809—1883) — фармацевт, член I Интернационала. Во время осады Парижа заместитель мэра XIX округа. Член Комис-

сии просвещения Парижской Коммуны. После падения Коммуны эмигрировал в Швейцарию.

Стр. 514

Зачем только я пошел на эту галеру! — перефразировка известной реплики из комедии Мольера «Проделки Скапена».

Стр. 522

Россель, Луи-Натаниэль (1844—1871) — офицер французской армии. Прибыв в Париж после революции 18 марта 1871 г., командовал легионом Национальной гвардии. С начала апреля начальник главного штаба военного министерства, председатель военного трибунала, а с 30 апреля Военный делегат Коммуны. Проявил на этом посту большую активность. 9 мая, после падения форта Исси, подал в отставку. Коммуной издан декрет о его аресте, но он скрылся. 8 июня арестован полицией, приговорен версальским судом к смертной казни и расстрелян.

Ла Сесилиа, Наполеон (1835—1878) — уроженец Корсики. В 1860—1861 гг. был капитаном в армии Гарибальди. Участвовал в борьбе против Второй империи и в борьбе против немцев во время Франко-прусской войны. Примкнул к Коммуне, стал ее генералом, проявив себя способным военачальником. Во время майской «кровавой недели» принимал участие в уличных боях на Монмартре и в других районах Парижа. После подавления Коммуны эмигрировал в Лондон.

Стр. 531

Бланше, Жан-Батист-Станислав-Ксавье — был монахом, секретарем комиссара полиции, старьевщиком. Член ЦК Национальной гвардии. Член Комиссии юстиции Парижской Коммуны. Разоблаченный как бывший полицейский Второй империи, 5 мая 1871 г. был исключен из Коммуны и арестован.

Арно, Антуан-Жюль (1831—1885) — служащий железных дорог, сотрудник газеты «Марсельеза», член I Интернационала, бланкист. Участник восстаний 31 октября 1870 г. и 22 января 1871 г., член ЦК Национальной гвардии. Делегат Коммуны при министерстве внутренних дел, входил в состав Комиссии внешних сношений, затем Комиссии общественных служб. Член Комитета общественного спасения. В дни майской «кровавой недели» сражался до последнего часа. После подавления Коммуны эмигрировал в Англию. Заочно приговорен к смертной казни.

Авриаль, Огюстен-Жермен (1840—1904) — рабочий-механик, член I Интернационала, делегат Федеральной палаты рабочих обществ. Неоднократно подвергался репрессиям. Участник восстания 31 октября 1870 г. Член Федерального совета парижских секций Интернационала. Один из руководителей революции 18 марта 1871 г. Член Комиссии труда, промышленности и обмена, Исполнительной и Военной комиссий. После подавления Коммуны эмигрировал в Англию. Заочно приговорен к смертной казни.

Гамбон, Шарль-Фердинан (1820—1887) — французский революционер-демократ, адвокат по профессии, участник революции 1848 г. Избранный в Парижскую Коммуну, активно участвовал в ее работе. Член Комиссии юстиции. Предлагал активизировать пропаганду в пользу Коммуны в провинции. Участник последних боев с версальцами. После подавления Коммуны эмигрировал в Швейцарию. Заочно приговорен к каторжным работам, лишению гражданских прав, штрафу, наконец, к смертной казни.

Стр. 534

...странное шествие масонских лож.— 29 апреля 1871 г. в Париже состоялось шествие франкмасонов к городским укреплениям с целью добиться прекращения военных действий со стороны версальцев. 26 и 29 апреля Коммуна устроила встречу с франкмасонами в городской Ратуше для привлечения симпатий республиканской мелкой и средней буржуазии, политические взгляды которой они выражали. На этих встречах франкмасоны, предложения которых о перемирии были отклонены Тьером, заявили о своей поддержке Коммуны.

Стр. 536

Республиканский союз департаментов — политическая организация, состоявшая из представителей мелкобуржуазных слоев, уроженцев различных областей Франции, проживающих в Париже, выступала под знаменем Коммуны, призывала к борьбе против версальского правительства и монархического Национального собрания и к поддержке Парижской Коммуны во всех департаментах.

Стр. 541

Жерарден, Шарль (1843—1921) — счетовод и коммивояжер, член I Интернационала и Парижской Коммуны. Входил в состав Комиссии общественной безопасности и Комиссии внешних сношений, член Комитета общественного спасения. После подавления Коммуны заочно приговорен к смертной казни.

Стр. 557

Вот почему ваша дочка немая!— известная реплика из комедии Мольера «Лекарь поневоле».

Стр. 604

Байи, Жан-Сильвен (1736—1793) — деятель Французской буржуазной революции конца XVIII в. Один из лидеров крупной буржуазии и ее партии конституционалистов, стремившейся к компромиссу с королевской властью. В 1789—1791 гг. председатель Национального собрания и мэр Парижа.

Стр. 606

Жоанар, Жюль-Поль (1843—1892) — рабочий, изготовлял искусственные цветы. С 1868 г. член Генерального совета I Интернационала. Судим по третьему процессу парижской секции Интернационала. Освобожденный из тюрьмы революцией 4 сентября 1870 г., вошел в ЦК 20 округов. Член Комиссии внешних сношений Парижской Коммуны, затем Военной комиссии, гражданский комиссар при армии Ла Сесилиа. После поражения Коммуны эмигрировал в Англию. Заочно приговорен к смертной казни.

Марото, Гюстав (1849—1875) — журналист. Во время осады Парижа сражался добровольцем. В период Коммуны руководил газетами «Монтань» и «Салю Пюблик», пользовавшимися большой популярностью среди парижского населения. После подавления Коммуны приговорен за свои ста-

тьи к смертной казни, замененной пожизненными каторжными работами. Несмотря на плохое состояние здоровья, сослан в Новую Каледонию, климат которой оказался для него смертельным.

Стр. 609

Врублевский, Валерий (1836—1908) — участник польского восстания 1863 г., приговорен к расстрелу, эмигрировал в Париж. Работал там фонарщиком и печатником. Во время осады Парижа вступил в Национальную гвардию. Стал на сторону Коммуны, произведен ею в генералы. Вместе с Я. Домбровским способствовал участию 500—600 польских эмигрантов в вооруженной борьбе Коммуны. Имея в своем распоряжении только 12—15 тыс. федератов, придерживался тактики активной обороны. До последнего дня Коммуны сражался на баррикадах. Летом 1871 г. добрался до Лондона. Заочно приговорен к смертной казни.

Стр. 622

Лонге, Шарль (1833—1903) — французский социалист, видный деятель I Интернационала, журналист. Входил в Генеральный совет I Интернационала. После революции 4 сентября 1870 г. член ЦК 20 округов и командир батальона Национальной гвардии. С 27 марта 1871 г. редактор официального органа Парижской Коммуны «Журналь Оффисьель». Член Комиссии труда, промышленности и обмена Парижской Коммуны. После поражения Коммуны эмигрировал в Лондон. Заочно приговорен к смертной казни. С 1872 г. муж старшей дочери Маркса, Женни.

Стр. 630

Сестрица Анна, не едет ли кто? — известная реплика из сказки Шарля Перро «Синяя борода».

...речь шла о новой ловушке. — Имеется в виду провокационная роль, которую играл в период Коммуны Уошберн, американский посол в Париже. Вечером 24 мая 1871 г. Уошберн послал своего личного секретаря Мак-Кина на экстренное заседание Коммуны, происходившее в мэрии XI округа, где собрались 22 члена Коммуны и ЦК Национальной гвардии. Коммунарам было сообщено, что прусское командование якобы предлагает посредничество между ними и версальцами на условиях приостановления военных действий, переизбрания как Коммуны, так и Национального собрания, отвода версальских войск из Парижа, гарантии безопасности всем коммунарам. На следующий день секретарь Уошберна, явившись на заседание Коммуны, возобновил предложения, которые были приняты при условии двухмесячного срока для проведения выборов в Национальное собрание. Однако представитель Коммуны не был принят прусским командованием. Провокационные действия американской дипломатии, целью которых было возбудить у коммунаров веру в нейтралитет прусских войск и в их посредничество, чтобы тем самым дезорганизовать оборону Парижа, нанесли тяжелый удар Коммуне. По словам одного из ее членов, «результатом этого американского вмешательства ...было то, что в самый критический момент оборона была на два дня парализована». Кроме того, поскольку сведения об американских предложениях быстро распространились, в значительной мере благодаря стараниям версальских агентов, многие национальные гвардейцы, поверив в нейтралитет пруссаков, бросились к прусским линиям, сдаваясь в плен. Часть беглецов была расстреляна прусскими часовыми, остальные были выданы версальскому правительству.

Гнусные действия американского посла были заклеймены К. Марксом в воззвании Генерального совета к нью-йоркскому Центральному комитету секций Международного товарищества рабочих «Г-н Уошберн, американский посол в Париже» (см.: К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 17, стр. 388—391).

Стр. 642

...*в связи с волнениями после убийства журналиста Виктора Нуара.*— 10 января 1870 г. принц Пьер-Наполеон Бонапарт убил у себя дома журналиста-республиканца Виктора Нуара, сотрудника газеты «Марсельеза», явившегося к нему в качестве секунданта бланкиста Паскаля Груссе, сотрудничавшего в той же газете и считавшего себя оскорбленным выпадами принца по его адресу в одной из клерикальных газет. Убийство, совершенное принцем, всколыхнуло рабочий Париж. 12 января в парижское предместье Нейи, куда был доставлен гроб с телом Нуара, явилось около 200 тыс. рабочих. Туда же прибыл приехавший из Брюсселя Бланки со своими вооруженными приверженцами (которых насчитывалось около 2 тыс. человек). Флуранс настаивал на превращении похорон в политическую манифестацию. Однако ввиду крайне неблагоприятного для революционного выступления соотношения сил (200 тыс. безоружных рабочих противостояло 60 тыс. солдат) Рошфор и Делеклюз решительно воспротивились этому.

...*из монастыря Пикпюсс.*—Речь идет о монахах монастыря Пикпюсс в Париже. В мае 1871 г. в этом монастыре были обнаружены скелеты взрослых и детей, а также три женщины, содержавшиеся в тайной монастырской тюрьме. Это событие вызвало бурю негодования в парижской прессе и привлекло к тщательному расследованию преступлений церковников. Антиклерикальная кампания, развернутая Коммуной в связи с разоблачением преступлений духовных лиц, во многом обусловила то, что среди заложников, взятых Коммуной и расстрелянных в дни майской «кровавой недели», были священнослужители.

Стр. 645

Анри, Сикст-Касс, по произвищу *Фортюне* (1822—1882) — рабочий-сафьянщик, член ЦК Национальной гвардии, член Комиссии продовольствия Парижской Коммуны. После подавления Коммуны эмигрировал в Испанию. Заочно приговорен к смертной казни.

Н. Федоровский

Оглавление

Ж.-П. Шаброль

Пушка «Братство»

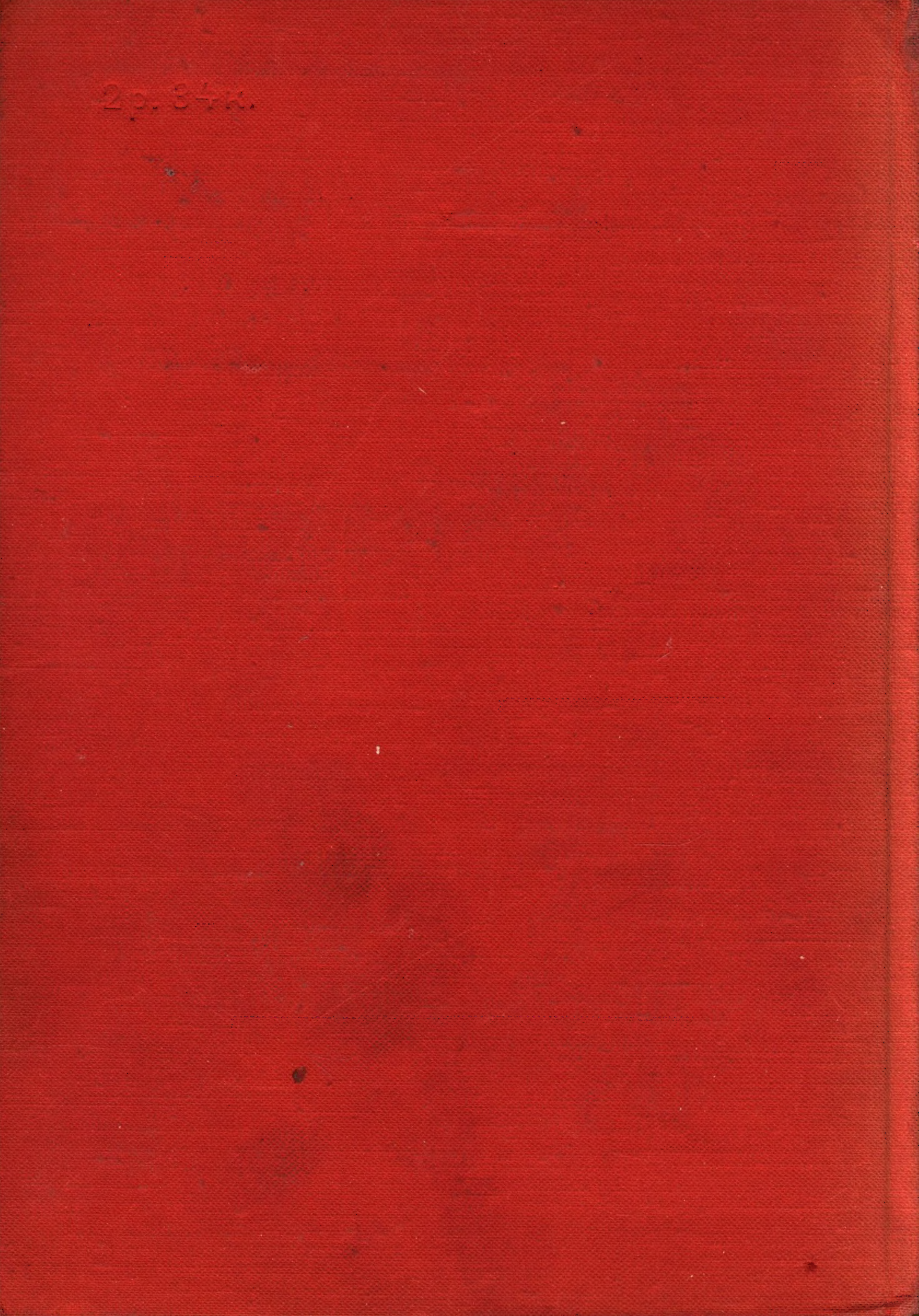
Редактор **Е. Бабун**
Художник **Т. Толстая**
Художественный редактор **А. Купцов**
Технический редактор **Е. Гоц**
Корректор **Э. Зельдес**

Сдано в производство 29/XII 1973 г.
Подписано к печати 13/VI 1974 г.
Бумага 60×84 1/16 тип. № 1. Бум. л. 22,0
Печ. л. 40.92. Уч.-изд. л. 39,63. Изд. № 15350
Цена 2 р. 34 к. Заказ № 955

Издательство «Прогресс» Государственного
комитета Совета Министров СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли
Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28

КВ. №


2 р. 34 к.

Жан-Пьер
Шаброль
ПУШКА
«БРАТСТВО»